

**ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**  
**СОБЫТИЯ И ЛЮДИ**  
**1916 -2011**



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

*95-ЛЕТИЮ ПГНИУ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ*

## **ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ**

Страницы истории филологического факультета  
Пермского университета

Пермь 2011

УДК 80 (91) (470)  
ББК 80(63)  
Ф 51

Автор проекта и составитель – доцент кафедры русской литературы ПГНИУ **Н. Е. Васильева**

**Филологический** факультет: события и люди.  
Ф 51 Страницы истории филологического факультета Пермского университета / сост. Н. Е. Васильева; отв. за вып. Б. В. Кондаков; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2011. – 608 с.

ISBN 978-5-7944-1734-0

Издание подготовлено к юбилейной дате филологического факультета – его 95-летию. Книга носит мемуарно-обзорный характер и представляет рассказ о наиболее важных событиях из жизни филфака за длительный период его существования, воспоминания о людях, фактах, победах, кризисах, встречах. Авторы книги – выпускники факультета, его преподаватели и студенты. Издание не претендует на полноту и всеохватность проблем и событий филологического бытия, но дает достаточно широкое и многостороннее представление о том, как факультет жил и развивался, преодолевал трудности и совершенствовался. Эта книга – своеобразный пролог к осмыслению 100-летнего юбилея факультета.

**УДК 80 (91) (470)**  
**ББК 80 (63)**

Издается по решению ученого совета филологического факультета

Ответственный за выпуск декан филологического факультета ПГНИУ  
профессор **Б. В. Кондаков**

Редакционная коллегия: Е. А. Баженова, Н. Е. Васильева, Т. Б. Карпова,  
Б. В. Кондаков.

ISBN 978-5-7944-1734-0

© ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», текст, 2011.

© Н. Е. Васильева, составление, 2011.

© В. А. Леготкин, компьютерная верстка, 2011.

© Л. Г. Писорогло, оформление, 2011.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Предисловие</b>	3
<b>Раздел I. Вспомним начало</b>	5
<i>Зайцева Е. Ф.</i> Страницы истории	5
<i>Вяткина С. А.</i> Первый на Урале	10
<i>Молодцов В. В.</i> Университет	11
<b>Раздел II. Филфак в годы Великой Отечественной войны</b>	21
<i>Арустамова А. А.</i> Сохранить связь времен: историко-филологический факультет в годы войны	21
<i>Кожина М. Н.</i> Память доброе хранит	34
<b>Раздел III. Научные школы и направления</b>	41
<i>Баженова Е. Л.</i> Легенда филфака: М. Н. Кожина и ее школа	41
<i>Сироткина Т. А., Русинова И. И.</i> Елена Николаевна Полякова и школа лингвистического краеведения	56
<i>Грузберг Л. А.</i> Акчимская матрица	65
<i>Горланова Н. В.</i> Акчимиада	67
<i>Грузберг Л. А.</i> О самоназваниях	72
<i>Четина Е. М.</i> Лаборатория культурной и визуальной антропологии	101
<i>Масальцева Т. Н.</i> Как начиналась журналистика	107
<i>Спивак Р. С.</i> Необычный спецсеминар	118
<b>Раздел IV. Наше творчество: формы и виды</b>	127
<b>1. Творческий кружок</b>	127
<i>Вяткина С. А.</i> Солнце всходит и заходит	127
<i>Асланьян Ю. И.</i> В центре круга	163
<b>2. Самодеятельность</b>	167
<i>Черепанов М. А.</i> И никакой самодеятельности!	167
<i>Проскурнин Б. М.</i> «Глядь – страна Халабала...»: о филологической художественной самодеятельности и не только	172
<i>Караваева С. Б.</i> И вечная «Весна»!	179
<b>3. Творческие издания и объединения</b>	183
<i>Бубнов В. М.</i> Аз есмь или короткая жизнь неподцензурного журнала	183
<i>Королев А. В.</i> «Кактус» и все, все	201
<i>Шумова С. М.</i> «Глаза и уши» филфака начала 80-х годов	219
<i>Лебедева М. А.</i> Газета «Горьковец»: попытка определения	222
<i>Васильева Н. Е.</i> Из книги воспоминаний о профессоре Римме Васильевне Коминой «Римма»	224
<b>Раздел V. За пределами факультета</b>	228
<i>Абашев В. В.</i> Как вышел «Юрятин»	228
<i>Кайгородова В. Е.</i> Вместе и рядом: университетские филологи в педагогическом	240
<i>Копысова Э. С.</i> К истокам педагогического мастерства: филологический факультет – образованию	250
<i>Соловейчик И. А.</i> Наши в деревне	266

<b>Фольклорные истории</b>	271
<i>Васильева Н. Е.</i> Из книги воспоминаний о профессоре Римме Васильевне Коминой «Римма»	271
<i>Васильева Н. Е., Литвина Р. С.</i> В Чердынь за песнями («Люди и встречи»)	273
<b>Раздел VI. Наши имена</b>	280
<i>Зебзеева А. Г.</i> Остаются книги	280
<i>Антонов А. В.</i> Пристрастные заметки	293
<i>Гашева Н. Н.</i> В филологическом контексте	302
<i>Васильева Н. Е.</i> «Я жил среди вас» (о книге стихов Бориса Гашева «Невидимка» и о нем самом)	328
<i>Лукашин А. П.</i> По Тимофеевским местам	334
<b>Раздел VII. Было и такое</b>	341
<i>Соколовская Е. С.</i> «Живи, да бойся»	341
<i>Кертман Л. Л.</i> Дело Геннадия Оффингейма	347
<b>«Дело Солженицына»</b>	354
<i>Васильева Н. Е.</i> Из книги воспоминаний о профессоре Римме Васильевне Коминой «Римма»	354
<i>Гашев Н. В.</i> Три встречи с Солженицыным	358
<i>Тамарченко Е. Д.</i> Об историзме поэтики Солженицына	377
<i>Кондаков И. В.</i> «Дело Кондакова» (Сцены из советских времен)	409
<b>Раздел VIII. Наши юбиляры</b>	483
<b>Наталья Самойловна Лейтес</b>	483
<i>Любимова А. Ф.</i>	483
<i>Спивак Р. С.</i>	484
<i>Лейтес Н. С.</i> Из истории моей семьи (страницы воспоминаний)	494
<b>Римма Васильевна Комина</b>	508
<i>Воловинская М. В.</i>	508
<i>Лейтес Н. С.</i> Страницы воспоминаний (из книги «Римма»)	516
<b>Соломон Юрьевич Адливанкин</b>	518
<i>Мишланов В. А.</i>	518
<i>Андаева Р. Г.</i>	522
<i>Ребель Г.М.</i>	526
<i>Шахова-Адливанкина В. Л.</i> Дом, в котором мы жили	534
<i>Шахова Т. Л.</i> Соломон, муж моей сестры	582
<i>Шапиро Б. А.</i> Вспоминаю	589
<b>Раздел IX. Воспоминания с благодарностью</b>	593
<i>Голдобина Е. Н.</i> Юбилейный 1951	593
<i>Клоц А. П.</i> Родной филфак (отрывок из воспоминаний «Это повесть моя»)	598
<i>Аборкина А. В.</i> Воспоминания	602
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</b>	605

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга юбилейная, однако по сути своей она не столько наш разговор о 95-летию филологического факультета, сколько своеобразный «разбег» перед его столетним юбилеем. Поэтому данное издание следует рассматривать как предварительное, как «подступ», в котором намечены самые главные и очевидные аспекты жизни факультета от момента его открытия в 1916 г. до сегодняшнего дня без попытки представить весь его путь в жесткой хронологической последовательности в исчерпывающей полноте. Будущая книга видится в ее системном варианте как «100 событий из жизни филфака», где будут представлены тщательно собранные факты, даты, имена, и настоящее издание послужит безусловной основой для расширенного и углубленного разговора о столетней истории факультета.

Имея в виду такую перспективу, мы постарались подготовить стартовую картину, не замахиваясь на отражение всего исторического пути в его целостном виде. С этой задачей связаны разделы книги, каждый из которых предваряется немногими вступительными и объяснительными словами, которые по этой причине не звучат в предисловии.

Подзаголовок книги – «события и люди» – ориентирован на формулу М. Бахтина, который, развивая мысль о событийной основе жизни, говорил и писал о «событиях бытия». И при составлении книги мы думали и заботились о том, чтобы в ней были представлены воспоминания и материалы о значительных и значимых событиях факультета или отдельной частной судьбы, а именно таких, которые определяли развитие факультета, резонировали в его будущем, были связаны не со случайными, а с важными и знаковыми фактами в жизни факультета, его ключевыми моментами и эпизодами. С этой точки зрения книга отражает неполную, но объемную картину событийного бытия факультета, и в ней представлены не только страницы побед, успехов и достижений, но и те стороны жизни, которые сегодня вызывают не только удивление, но чувство стыда и горести за намеренное или невольное соучастие в позорных страницах истории страны. Это так называемые факультетские идеологиче-

ские дела, которые были связаны с персональными проработками, выговорами, исключениями и т.д. Новым поколениям о них полезно знать – и потому, что это неотменимые факты истории, и потому, что это незаменимые уроки жизни. Сегодня это смешно, а было драматично – таковы коррективы судьбы, но эти страницы пережиты факультетом, и помнить о них нужно.

В 2011 году на факультете было бы три персональных юбилея: 85 лет Р.В. Коминой, 90 лет Н.С. Лейтес, 90 лет С.Ю. Адливанкину. В книге уделен этим датам отдельный раздел.

Рубрики будущей книги, к столетию факультета, должны быть принципиально расширены, и многие из них ясны уже сегодня. Например: «Жизнь факультета в сатире и юморе», «Филологические династии и семьи», «Наши деканы в столетней истории», «Выпускники филфака в государственных наградах и званиях», «Наши ветераны» и т.д.

В выпускаемой книге многих сторон истории факультета коснуться не получилось: сроки подготовки книги и наличная площадь издания не позволили развернуть глобальный и всесторонний поиск и разговор. Он – в руках будущих составителей и издателей.

## РАЗДЕЛ I ВСПОМНИМ НАЧАЛО

В разделе представлены два редких материала: краеведческое исследование, воссоздающее страницы подготовки и открытия ПГУ и филологического факультета; оно написано специально для юбилейной книги выпускницей филфака 1969 года, известной пермской журналисткой Е. Зайцевой, занимающейся проблемами культурной истории дореволюционной Перми. Второй материал принадлежит В. Молодцову, выпускнику филфака первого набора 1916 года. Его разыскала и подготовила к печати С. Вяткина, пермская журналистка, выпускница филфака 1979 г.

*Е. Ф. Зайцева<sup>1</sup>*

### СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

1 октября 1916 года Пермь ликовала: совершилось торжественное открытие университета. Губернские СМИ живописали высоким слогом: «Даже почти страшные грозовые тучи, идущие на нас вот уже третий год с вражеских границ Австрии, Германии и прочих супостатов славянства, не омрачили нашей радости». Голос ныне забытого местного поэта Б. Бронина звенел на церемонии открытия слезами восторга:

*В день первый октября луч солнца высших знаний*

*В ликующей Перми прорезал тьму веков...*

*Открыл широкий путь для умственных дерзаний,*

*Для мысли больше нет связующих оков!*

Как известно, Пермь праздновала очень трудную победу. «Ливонские Афины», каковыми считали свой Юрьевский (Дерптский) университет тамошние профессора, отнюдь не рвались в наш город. Профессор Тарановский на заседании совета 27 февраля 1916 года возмущался идеей перевода университета именно к нам, говорил, что любой другой город подойдет –

---

<sup>1</sup> Зайцева Е. Ф., выпускница 1969 г., журналист.



Тамбов, Воронеж, Екатеринбург – только не Пермь, которая, по его мнению, «утратила своё прежнее руководящее значение в Приуральском крае», давно уступила его Екатеринбургу, не имеет самостоятельного контингента слушателей, а из других местностей «никто не поедет в далёкую и глухую Пермь». То есть будущих «уральских Афин» учёные европейского Запада империи уж никак не желали предвидеть.

Что определило победу? В первую очередь то, что «лоббистов» из других городов преодолели единым напором земства, губернская администрация, интеллигенция и купечество. Министр просвещения граф П. Игнатьев был покорён таким энтузиазмом и тягой к просвещению. В немалой степени и тем, что свой энтузиазм пермяки подкрепили материальной базой: бесплатным предоставлением миллионером Н. Мешковым целого городка с автономной электростанцией и прачечной, огромной суммой от него же на развитие пермского вуза. Купец-пароходчик И.П. Каменский (сам выпускник Боннского университета, доктор химии и философии) учредил стипендии для беднейших студентов. Было немало и других пожертвований – деньгами, книгами, даже мебелью.

Наш пермский вуз был организован сначала как пермское отделение Петроградского университета, но уже с 1917 года считался самостоятельным. Аббревиатура ПИУ значила «Пермский Императорский университет». В 1918 г. «Императорский» заменилось на «правительственный» (ППУ), а затем, как известно, на многие десятилетия закрепилось ПГУ.

Первые профессора и преподаватели университета – в большинстве своём выдающиеся учёные с известными именами: ботаник А. Генкель, физиолог Б. Вериги, социолог Н. Устрялов, зоолог В. Беклемишев и многие другие.

Деканом историко-филологического университета стал (до 1919 года) античник Б. Богаевский. Кафедру русской литературы долгие годы возглавлял фольклорист и краевед П. Богословский. Филологов обучали и Ю. Верховский – известный поэт и литературовед, друг Б. Пастернака, и поэт-переводчик В. Гиппиус (заведовал кафедрой новой русской литературы с 1922 по 1932 год). Лингвистов растил С. Обнорский

(впоследствии академик АН СССР), его брат профессор Н. Обнорский преподавал зарубежную литературу и латинский язык.

Ординарный профессор кафедры русской истории Г. Вернадский (сын основоположника учения о ноосфере В. Вернадского) писал о первых годах университетской жизни: *«При университете образовалось “Общество исторических, философских и социальных знаний”, в котором принимала участие, кроме профессоров, и городская интеллигенция (учителя, члены Пермской учёной архивной комиссии и др.)... Создали музыкальный кружок, устраивались вечера камерной музыки и пения... Местное общество поразило нас своей культурностью»*. Затем наступил 1918 год: *«Большевики тогда захватили власть и в Перми. Продукты начали исчезать с рынка. Чека начала развивать свою деятельность»*.

Последовало – из песни слова не выкинешь – порой буквальное бегство из университета крупных учёных. В 1920 году наш город покинул автор теории расширяющейся вселенной А. Фридман. С 1922 года просился из Перми хоть в Саратов, хоть в Казань ректор А. Рихтер – известный учёный-ботаник. Главпрофторб немало попортил ему крови, отвечая на просьбы о переводе бюрократическими отписками, но желание бежать из Перми преодолело и новую советскую бюрократию. Немало выдающихся учёных и педагогов потерял наш вуз и после победы над Колчаком: они не захотели вернуться в Пермь, оседали кто где, даже в далёких Харбине и Шанхае.

О чём свидетельствуют документы, письма, тогдашние сообщения прессы? Университет переживал серьёзные трудности. Стипендии студентам выдавали овсом, в столовых зачастую был только бесплатный кипяток. Большинство преподавателей оказались в чудовищных жилищных условиях, а тех, кто имел более или менее сносные жилплощади, упорно преследовали местные Швондеры, желая «уплотнить буржуев». Газеты писали о нередких столкновениях преподавателей, не забывших достоинства, правил вежливости, формулы «честь имею», обращения «милостивый государь», с победительным гонором пролетар-

ского студенчества. Из 2179 обучающихся в 1922 году 902 студента были выходцами из рабочих и крестьян.

Ещё в 1919 году историков и филологов объединили с юристами в факультет общественных наук. А в 1922 году был создан особый педагогический факультет, который через 8 лет стал пединститутом. В университете же с тех пор до 1941 года филологов не обучали.

Тридцатые годы прошли под лозунгами: «Задача дня – усиленная пролетаризация вузов»; «Форсировать досрочный выпуск специалистов!»; «Закончить переход всех вузов на непрерывный рабочий год»; «Активные методы преподавания – вместо лекционной системы». Тогдашний ректор Стойчев вещал с трибуны: *«Пролетариат на нынешнем историческом этапе своей диктатуры поднял науку на такую высоту, на которую она не была и не могла быть поставлена столетиями буржуазно-капиталистического развития».* Это при том, что не было самых необходимых учебных пособий, лабораторий и книг, а по штатному расписанию не хватало 29 профессоров, 30 доцентов, 102 ассистентов.

Историко-филологический факультет, возродившись в 1941 году, обогатился эвакуированными в Пермь учёными: известным пушкинистом Б. Городецким (был деканом факультета в 1943-44-х годах), любимой студентами Д. Мотольской и другими. Б. Городецкий руководил литературоведческим кружком, а замечательный педагог-лингвист И. Захаров – кружком стилистики. Кстати, старостой «стилистов» была Маргарита Кожина, впоследствии, как известно, учёный с мировым именем. Идеологический напор, конечно, не иссякал. Ни литературоведам, ни лингвистам некуда было бежать от громогласных кампаний то по борьбе с «низкопоклонством перед Западом», то с «менделистами-морганистами». В 1948 году специальное заседание учёного совета было посвящено десятилетию «Краткого курса истории ВКП(б)» – «энциклопедии основных знаний марксизма-ленинизма».

Но университет к этому времени всё-таки был уже особым миром, который воспитывал и подлинную жажду знаний, и нравственную брезгливость, и внутреннее отторжение от мёрт-

вого сленга лозунгов. В послевоенное время на историко-филологическом факультете стали работать уже и собственные выпускники: М. Кожина, Е. Полякова, О. Богословская, Н. Потапова, М. Ганина. Из университетов страны в преподавательский коллектив влились С. Фрадкина, З. Станкеева, Р. Комина, Н. Лейтес, Л. Мурзин, С. Адливанкин, К. Фёдорова, Л. Сахарный. Тем, кто у них учился, не надо объяснять, какой глубины были научные штудии и какой высоты нравственный уровень этих учёных и педагогов. Затем пришло новое поколение выпускников в числе любимых студентами преподавателей: Р. Спивак, Н. Васильевой, Н. Гашевой, Л. Грузберг, В. Шеншина.

В 1960 году факультет разделился на истфак и филфак, а кроме русского, образовалось и романо-германское отделение. Последующие страницы истории – на памяти нынешних поколений.

...Итак, у Пермского университета долгая история, а впереди значительный – вековой – юбилей. У истоков «могучего света просвещения», в те самые «высокоотржественные» дни в Перми был проездом наш земляк, писатель Михаил Осоргин. В его мемуарах есть строки об открытии университета, но вот ликования в них не ощущается. Скорее мягкая осоргинская ирония по поводу речи ректора петроградского университета, слов «волею нашего монарха» и грациозного поворота на каблуках к портрету императора. Конечно, Осоргин понимал, что значит для пермяков статус университетского города. Но он также понимал, что становление интеллектуальной атмосферы, независимости мысли, презрения к сервиллизму – дело очень долгого становления самого духа учебного заведения. Что ж, эти долгие годы уже прошли. И нашему старейшему вузу есть чем гордиться: учеными школами, научными открытиями, успехами выпускников в их творческой деятельности. Ну и тем самым духом умственной и нравственной непотопляемости, который зарождался и выстоял в самые трудные годы нашей с вами истории.

## ПЕРВЫЙ НА УРАЛЕ

Василий Васильевич Молодцов был одним из первых студентов Пермского университета. Он учился на историко-филологическом факультете почти сто лет назад и оставил краткие воспоминания об этом периоде своей жизни.

А я впервые увидела Молодцова, когда мне было 12 лет. Его дочь Лариса Васильевна Солохина преподавала в нашем классе литературу и русский язык. Однажды Лариса Васильевна вошла в класс вместе с высоким пожилым мужчиной благородной внешности. Это и был Василий Васильевич. Наша учительница заняла место за задней партой, а ее отец, тоже учитель литературы, только уже бывший на пенсии, стал рассказывать нам об Александре Блоке, хотя это было вовсе не по программе, это я точно помню.

Тот урок до сих пор не стерся из памяти, и дело было не в получении какой-то уникальной информации. Я никогда не слышала таких интонаций и такого языка, не видела столь отточенной жестикуляции – сдержанной и одновременно выразительной. Было ощущение, что наш гость сошел со старой гравюры. Василий Васильевич читал стихи о Прекрасной Даме, где была фраза «Да святится имя Твое». Тогда я не знала, что это слова молитвы «Отче наш», и красота этой строки меня буквально пронзила. Свой восторг я, по религиозному невежеству, всецело адресовала Блоку.

Больше всего запомнилась возвышенная атмосфера того урока, нежели слова учителя. Потом я долго считала, что видела человека, который лично знал Блока, хотя Молодцов только раз видел его в Петрограде на каком-то публичном выступлении. Сам Василий Васильевич, как я после узнала, всю жизнь писал стихи и очерки по краеведению, кое-что из его творчества есть в моем архиве.

---

<sup>2</sup> Вяткина С.А., выпускница 1979 г., журналист, член Союза журналистов, главный редактор журнала «Светоч».

Воспоминания об учебе на филфаке он передал своей сокурснице Елене Андреевне Кузнецовой<sup>3</sup>. Дочь Елены Андреевны Надежда Михайловна Ветошкина в свою очередь отдала их мне, сказав при этом: *«Моя матушка страсть как любила учиться. В 1909 году она уехала в Париж, где поступила на курсы в Сорбонну. Прожив во Франции какое-то время, она вернулась в Пермь. А когда у нас открылся свой университет, мама не преминула и туда поступить на историко-филологический факультет...»*.

В очерке Василия Васильевича интересны не только факты и подробности о времени зарождения Пермского университета, но в первую очередь личность автора – его благородное и благодарное сердце.

*В.В. Молодцов<sup>4</sup>*

## УНИВЕРСИТЕТ

Утро 1 сентября 1916 г. (по старому стилю) выдалось безоблачным, морозным. Земля подстыла, и было приятно пройти по улицам, когда под ногами звенели льдинки, и вдыхать свежий, бодрящий воздух.

Почему мне запомнился этот день, хотя с того времени прошло уже более сорока пяти лет? Именно в этот день в губернском городе Перми открылось первое на Урале высшее учебное заведение – Пермское отделение Петроградского университета. Это было знаменательное событие в жизни нашего города, и я, семнадцатилетний юноша, не мог в этот день спокойно оставаться дома: хотелось движения, ну хотя бы быть на улице, раз нельзя присутствовать там, где в торжественной об-

---

<sup>3</sup> Е.А. Кузнецова знала 12 языков и работала зав. кафедрой иностранных языков в сельхозинституте. Прожила 92 года. Ее дочь Н.М. Ветошкина знала три языка; прожила 98 лет. Свою уникальную библиотеку иностранной литературы они передали в дар педагогическому университету.

<sup>4</sup> Василий Васильевич Молодцов (1899–1996), заслуженный учитель РСФСР.

становке происходило заседание, посвященное открытию университета.

Я весело и бодро шагал по улицам, улыбаясь тому приятному, большому и значительному, что ожидало меня впереди. А впереди заманчиво вырисовывалась перспектива стать одним из первокурсников нового вуза. Для меня, новоиспеченного выпускника реального училища, поступившего на службу в Государственный банк, начиналась новая, полная глубокого смысла жизнь.

Я слышал, что за право открытия университета велась многомесячная борьба между Пермью и Екатеринбургом (теперешним Свердловском)<sup>5</sup>. Екатеринбург, всегда влиятельный и богатый, хотел заполучить университет себе. В Перми было сильное земство, богатая и знаменитая в то время губернская земская больница – база для будущего медицинского факультета. Земство предоставило в распоряжение университета свое новое здание, а пароходчик Мешков принес в дар городу огромное каменное здание, выстроенное на Заимке, которое стало ныне главным корпусом Пермского университета. Кроме того, в Пермь было эвакуировано университетское имущество из Дерпта. Все это легло на чашу весов в пользу Перми, и она победила.

Здесь хочется сказать несколько слов о Николае Николаевиче Мешкове. Говорят, это был очень богатый, энергичный и в то же время предельно скромный человек. Он ворочал миллионами, но не был заскорузлым собственником. Его благотворительность была широко известна. Это был умный человек, понимавший важность развития наук для процветания города.

Первым ректором университета был доктор астрономии, профессор К.Д. Покровский. На его имя я и подал прошение с просьбой о зачислении меня студентом на историко-филологический факультет. Однако я был принят только вольнослушателем, так как у меня не было знания латинского языка.

Увы, посещать университет мне не пришлось – началось бурное предгрозовое время. И вскоре все смешалось в жизни

---

<sup>5</sup> В момент написания мемуаров город назывался Свердловск, а ныне ему возвращено прежнее имя.

страны. Победила революция. Потом началась гражданская война. Только в 1920 г. в Пермском университете начались регулярные учебные занятия. Вот этой осенью я действительно стал студентом.

### **Преподаватели и студенты**

Историко-филологический факультет разместился в бывшем особняке пароходчицы Любимовой (теперь здесь фойе Пермского областного драматического театра)<sup>6</sup>. Дом великолепный: цельные окна, лепные потолки, камин в изразцах. Я впервые был в таких богатых покоех. Правда, теперь здесь было очень холодно, так как печи едва-едва топились из-за отсутствия дров. Но это нас не смущало: мы не снимали верхней одежды, а иные даже в шапках сидели на лекциях. Так, опустив уши ушанки и нахлобучив ее на глаза, слушал лекции студент Пьянков, впоследствии профессор истории Полтавского университета. В то время я посчитал его «невежей» из-за того, что он никогда не стаскивал с головы своего мехового треуха. Прошел год, и Алеша Пьянков сделался всеми уважаемым студентом, любимым учеником профессора Дьяконова. Алексей был трудолюбив, любил работать с первоисточниками и поражал нас на семинарских занятиях своей эрудицией. Мы про него даже песенку сложили: «Наш Алеша-эрудит все над книгами сидит...». Но это было позднее, а пока мы, первокурсники, со священным трепетом внимали голосам наших новых учителей.

Никогда мне не забыть увлекательные лекции по общему языкознанию. Читал их молодой ученый Леонид Арсеньевич Булаховский, теперь уже академик, автор многих научных работ. Помню, как пушкинский стих «Не спи, казак: во тьме ночной чеченец ходит за рекой...» Леонид Арсеньевич прочел на многих славянских языках: болгарском, чешском, польском и др. Читал он свои лекции увлеченно, и мы с не меньшим увлечением слушали его.

Учиться было очень интересно. Занятия были вечерние, и я после работы в банке спешил в особняк Любимовой, где по-

---

<sup>6</sup> Сейчас в этом здании расположен Пермский ТЮЗ.



гружался в совершенно иную обстановку, удовлетворявшую мои интеллектуальные запросы, поднимавшую меня на какую-то высоту, а какую именно, я не мог тогда разобраться. Словом, несмотря на ужасный материальный недостаток, жить было очень интересно. Замечательны были лекции, профессора, студенты, и я в свои годы (мне шел тогда двадцать второй год) был совершенно счастлив.

С большим уважением я вспоминаю нашего декана Сергея Павловича Обнорского, ныне действительного член Академии Наук СССР. А в те годы он тоже был молод, красив, активен. Я никогда не забуду один вечер в университете – заседание «ОФИСА» (Общества философских, исторических и социальных наук), посвященное памяти великого русского ученого-лингвиста А.А. Шахматова. Сергей Петрович был его учеником и сделал доклад о своем учителе. Содержания доклада не помню, но зато я хорошо запомнил, с каким волнением говорил Сергей Павлович, на его глазах даже слезы блестели. И я понял тогда, как сильно может любить ученик своего учителя и какое великое дело – поприще науки. Я очень благодарен Сергею Павловичу за этот урок, очень рад, что он здравствует, и от всего сердца желаю ему долгих лет жизни.

Помню, что на том же заседании председатель «ОФИСа» профессор А.П. Дьяконов выступил с докладом, посвященным египтологу Б.А. Тураеву.

Так постепенно мне открывался мир науки. Лекции по истории древнего Египта нам читал начинающий ученый Алексей Викторович Шмидт, сын нового ректора университета профессора-анатома В.К. Шмидта. Это был, пожалуй, самый молодой и очень оригинальный преподаватель. Я хорошо запомнил его долговязую фигуру, жизнерадостные глаза и захлебывающийся от избытка энергии голос. Его специальностью была археология, и он постоянно возился с черепками и косточками, любовно раскладывая их по полочкам стеклянных шкафов в кабинете древностей. Тут же на алом бархате лежали какие-то египетские фигурки, разные пряжки и бляшки, добытые при раскопках Гляденовского костыща.

Я близко сошелся с Алексеем Викторовичем и часто бывал в его кабинете. Помню, когда я готовил доклад к семинару, Алексей Викторович пригласил меня к себе домой, был очень любезен и подарил мне тоненький краеведческий сборник, в котором была напечатана его статья. Он даже сделал дарственную надпись на обложке. Как я тогда был счастлив! До сих пор стоит перед глазами его прямой почерк.

Летом А.В. Шмидт ездил на раскопки на р. Чусовую. Его постоянным спутником был мой сокурсник П.С. Попов. Однажды я побывал на раскопках. День был очень жаркий, и мы решили пойти купаться. Алексей Викторович не умел плавать и плескался на мели, при этом смеялся и брызгался как ребенок. Вообще он был мало приспособлен к жизни, что-то с ним всегда приключалось. Вот и тогда он сильно обгорел на солнце, а спустя несколько дней он сорвался с крутого обрыва и сломал ногу. С большим трудом Попов привез его на лодке в город, откуда его увезли в больницу.

Я навещал его в больнице, и мне запомнилась такая картина: Алексей Викторович лежит на спине, загипсованная нога приподнята к спинке кровати и оттянута вниз привязанным к шнурку кирпичом. Лицо по-прежнему живое, веселое, только обросшее рыжеватой бородой. Своим видом он напоминал незадачливого Паганеля – ученого из кинофильма «Дети капитана Гранта». С ним разговаривал молодой доктор, оба смеялись. Когда доктор ушел, Алексей Викторович рассказал мне, что этот хирург делает удивительные пластические операции, например, может сделать римский нос из курносого и наоборот. Было очень жаль, когда милый Шмидт покинул Пермь, чтобы работать в Эрмитаже. «Приезжайте в Ленинград, – говорил он, прощаясь, – я вам все сокровища покажу».

Спустя одиннадцать лет я оказался в Ленинграде, конечно, был и в Эрмитаже, спрашивал о Шмидте. «У нас такой не работает...» – был ответ.

Я не знаю, какова дальнейшая судьба Алексея Викторовича. Боюсь, что конец ее был трагическим... Этот долговязый добрый человек мог легко разбираться в черепках тысячелетней

давности, но вовсе не был приспособлен к суровой действительности.

Таким же трогательным чудаком и безобидным добряком был и профессор Касовский, поляк по происхождению, впоследствии уехавший в Польшу. Мы его так и называли – «пан Касовский». Он был очень рассеян, говорил запинаясь, каким-то очень высоким голосом. Когда он припоминал даты, а он их приводил часто и много, то поднимал очи, словно все даты были написаны на потолке. Не знаю почему, но про него сложили такую песенку:

*Пан Касовский любит кашу.*

*Дурденевский – сын мамыши.*

Профессор В.Н. Дурденевский читал курс политэкономии. Так как этот курс был обязателен для всех, то он читался в зале бывшего Екатерино-Петровского училища<sup>7</sup>, где можно было собрать воедино много народу. Холод там был жуткий. Отопительная система не работала. Естественно, мы, студенты, сидели в шубах и валенках. Но не таков был наш профессор. Появившись на сцене в шубе, он раздевался, клал шубу, шапку, перчатки, кашне на крышку рояля, снимал теплые калоши и, оставшись в строгом изящном костюме, приступал к лекции.

Читал он прекрасно, выразительно, не прибегая к конспекту, в совершенстве владея материалом и словом. Студенты слушали его, затаив дыхание.

Где теперь профессор Дурденевский? Как-то в центральной печати я встретил его фамилию в числе экспертов, посылаемых в Западную Германию. Это было, по-видимому, тогда, когда наше правительство восстановило дипломатические отношения с ФРГ.

Лекции по статистике был приглашен читать инженер Владимир Михайлович Сумароков. В то время он заведовал Пермским статистическим бюро. Это был милейший человек и отличный оратор. Я близко знал всю семью Сумароковых и любил у них бывать. Курс по статистике считался необязательным,

---

<sup>7</sup> Здание, возведенное по проекту В.В. Попатенко (ул. Большевикская, 71). Ныне там находится Пермское музыкальное училище.

и на первую лекцию пришло всего два человека: я и еще один студент.

Вечером, когда я был у Сумароковых и мы сидели за чаем, Владимир Михайлович с улыбкой сказал, обращаясь к своей жене: «Ты знаешь, Лена, сегодня Вася увеличил мою аудиторию на 50 %».

Семья Сумароковых была на редкость дружной. Владимир Михайлович для меня являлся примером высокой культуры, благородства, человечности. Как жаль, что он умер в расцвете своих сил – его унес в могилу брюшной тиф. Это случилось летом, а весной, я помню, он, посадив на пустыре за домом несколько кустиков виктории, радовался каждому зеленому листочку. «Я никогда так не радовался жизни», – говорил он.

Хорошей школой мысли были лекции профессора А.П. Дьякова, который читал курс по раннему христианству. Его лекции были интересны своим построением, одно положение всегда вытекало из другого, закруглялось, цеплялось за новое звено и последовательно раскрывалось. Все сказанное тщательно аргументировалось. Его мысли было легко записывать.

Полной противоположностью была лекторская манера профессора общей истории Владимира Эдуардовича Крусмана. Когда он был за кафедрой, то забывал обо всем на свете. Перерыва между двумя частями «пары» для него не существовало. Он словно художник, который пишет картину в красках: его речь лилась вдохновенно, образно, ярко. Мысли набегали одна на другую, теснились, торопили докладчика скорее их изложить. Трудно было записывать эти лекции, поэтому мы откладывали тетради и только слушали. Но в целом у нас от его лекций оставалось хорошее впечатление, они нас не оставляли равнодушными, и мы были благодарны профессору. Вообще Крусмана все любили как-то особенно нежно. Больно было узнать, что в 1922 году он умер в Москве. Мы увеличили его портрет и повесили в кабинете всеобщей истории.

Без сомнения, самой тонкой поэтической душой обладал сдержанный и скромный профессор психологии Анатолий Иванович Сырцов. Студенты его обожали, особенно за бережное обращение с молодежью. Он любил и хорошо знал музыку, жи-

вопись. Я помню его лекцию об искусстве, прочитанную в картинной галерее. Был весенний вечер, и когда я подходил к зданию бывшего Спасо-Преображенского кафедрального собора, где разместили галерею, то вся верхняя часть колокольни вдруг озарилась пламенем заката. Эффект был поразительный: казалось, что розовыми были не только высокие перистые облака, но и все, что было на земле – стены домов, ветви еще голых лип, голуби и даже самый воздух. Потом в галерее профессор Сырцов начал лекцию, и что же! Он стал говорить об этом пожаре зари, о том, как прекрасен окружающий нас мир, о том, что художники умеют не только заметить это, но и запечатлеть в своих произведениях. Анатолий Иванович был организатор камерных концертов в Доме ученых.

В Пермь приезжали прекрасные таланты. Это были настоящие праздники искусства. Огромное эстетическое наслаждение я получал, слушая выступления струнных ансамблей – трио им. Станиславского, квартет им. Глазунова, квартет им. Страдивариуса; вспоминаются приезды выдающихся пианистов – Оборина, Гинсбурга, арфистки Веры Дуловой и многих других.

В Доме ученых я слушал «Медного всадника» в исполнении Антона Шварца и Сергея Балашова. Мурашки бежали по коже, когда Сергей Балашов произносил: «Ужасен он в окрестной мгле...».

Зал бывшего Екатерино-Петровского училища памятен мне и по концертам, которые устраивались там музыкантами-любителями. Концерты носили тематический характер и знакомили нас с музыкой Глинки, Чайковского, Римского-Корсакого, Бетховена, Шопена. На эти концерты собирались как пожилые люди, так и студенческая молодежь. Это были хорошие культурные мероприятия, яркое доказательство того, что музыкальная жизнь не замирала в нашем городе. Перед началом обычно была лекция, которую читал профессор Сырцов, а музыкальные произведения исполняли: Окунь (скрипка), Ерухманов (рояль), Эварестов (лирический тенор).

Помню приезд в Пермь ленинградского профессора Гукковского. Он прочел две лекции: «Ломоносов» и «Державин».

Только после его лекции я почувствовал мощь державинского стиха, а до встречи с Гуковским Державин был для меня старомодным поэтом, певцом «Фелицы».

Так впечатления от университетских лекций перемешивались с эстетическими впечатлениями, наполняя наш внутренний мир.

### Новоселье

В 1921 г. историко-филологический факультет был переведен в здание на углу улиц К. Маркса и Пушкина. Это было то самое здание, которое в 1916 году земство передало университету. В течение ряда лет в нем размещался госпиталь. Когда мы въехали в него, то на дверях будущих аудиторий все еще висели таблички с номерами палат.

В огромном трехэтажном доме было неуютно, темно и холодно. Отопительная система не работала, а электрическая арматура вообще отсутствовала. Так как мы продолжали заниматься по вечерам, то пользовались керосиновыми лампами и по всему зданию разносился резкий запах керосина. Лампы мы заправляли сами, а заведовала раздачей керосина студентка старшего курса Татьяна Петровна Кольфгауз. Большая бутылка с керосином хранилась в кабинете по русской истории.

Кроме недостатка света, мы страдали от холода. В морозные дни все кутались, а в чернильницах замерзали чернила. Мне запомнился такой случай. Профессор В.Э. Крушман в больших подшитых валенках – розовых в горошек! – и в какой-то рыжей, выдавшей вида дохе, обмакнул было перо в чернильницу, чтобы поставить студенту зачет, но чернила замерзли. Возвращая студенту зачетку, он с добродушной улыбкой сказал: «Ничего не попишешь».

И, тем не менее, жизнь на факультете кипела. Занятия шли полным ходом, и я каждый день, вернувшись с работы, бежал к своим профессорам и студентам-товарищам.

Я считаю, что мне повезло: за свои студенческие годы я услышал столько замечательных лекций!

Мне памятно пятилетие университета, которое отмечалось в театре. С научной речью выступил профессор физики Орлов.

Уже тогда он говорил о таинственной силе атома: «Если на земле иссякнут все источники энергии, ученые зажгут воздух...».

### Эстафета

Студенческая братия была дружной. Некоторые увлекались поэзией Ахматовой, Блока, Есенина. Филологи не замыкались в своей среде. Мы почему-то больше водили дружбу с медиками. Я, например, дружил с Николаем (Михайловичем) Степановым, впоследствии известным профессором-хирургом, безвременно умершим в 1969 году. Коля Степанов – «Михалыч» – был еще и регентом студенческого хора. Мне случалось бывать на спевках, проходивших в студенческой столовой, где было также неуютно, как и несыто. Но песни компенсировали многое, от них светлело на душе.

Среди студентов-медиков были бывшие семинаристы. Почти все они обладали замечательными голосами, и хор звучал внушительно. Из песен их репертуара мне запомнилась одна:

*Повеяло черемухой,  
Проснулся соловей...*

Это была красивая лирическая песня, исполнявшаяся с большим чувством. К сожалению, больше я ее нигде не слышал. Мне хочется закончить эти беглые записки рассказом о Николае Петровиче Обнорском, который в течение долгих лет заведовал фундаментальной библиотекой университета, преподавал нам греческий и английский языки. Это был человек энциклопедических знаний и очень высокой культуры. И еще очень сердечный. Заметив, что я отстаю в греческом языке, он пригласил меня в библиотеку и дал мне индивидуальный урок. Он брал чистые библиотечные карточки и писал на них. Эти карточки я храню до сих пор как драгоценную память о замечательном учителе.

Мне очень много дал университет. Это была незабываемая и, пожалуй, самая интересная полоса моей жизни. Здесь я научился уважать науку и человека, ценить добро. Здесь я принял эстафету, которую несу всю жизнь и пытаюсь передать идущему на смену, более счастливому молодому поколению.

## **РАЗДЕЛ II**

### **ФИЛФАК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ**

Период войны выделен в книге в отдельный раздел. Его особый событийный смысл связан с тем, что на филфаке в тот период трудились эвакуированные столичные профессора, закладывающие основу и традиции дальнейшего развития факультета. Об этом статья доктора наук кафедры русской литературы А. Арустамовой, созданная на основе редких архивных источников. Воспоминания М.Н. Кожиной дополняют этот очерк и интересны тем, что, будучи выпускницей филфака первого военного выпуска, М.Н. Кожина в живых штрихах и эпизодах воссоздает атмосферу учебных будней тех лет и их реальных участников.

*А.А. Арустамова<sup>1</sup>*

#### **СОХРАНИТЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН: ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ В ГОДЫ ВОЙНЫ**

Военные годы для Пермского университета были тяжелыми: 30 научных сотрудников и преподавателей, 400 студентов, в том числе и филологи, ушли на фронт в самом начале войны. Трудно приходилось и тем, кто был в тылу, оставался в Перми.

К сожалению, сегодня события военного времени, портреты студентов, преподавателей, реконструируются все больше на основе опубликованных воспоминаний, скупых архивных строк, воспоминаний тех, кто еще с нами. Эта глава – попытка вспомнить тех, благодаря кому Пермский университет выжил в Великую Отечественную, сохранил научный и кадровый потенциал,

---

<sup>1</sup> Арустамова А.А., выпускница 1994 г., доктор филологических наук, профессор ПГУ.



а главное, преемственность между поколениями как ученых, так и студентов.

Среди фронтовиков-филологов были М.Ф. Власов и А.А. Мошева<sup>2</sup>.

М.Ф. Власов в 1939 г. с отличием окончил школу № 22 г. Перми, поступил в Ленинградский политехнический институт. Зимой 1940 г. студенты первого курса были призваны на финскую войну, затем уцелевшие были передислоцированы на юг. К началу войны М.В. Власов находился в составе 459-го стрелкового полка 150-ой дивизии Южного фронта, служил старшим сержантом химического взвода. Летом 1942 г., попав в харьковский котел, Михаил Федорович оказался в плену. С августа по октябрь 1942 г. в качестве военнопленного был принужден работать в шахте Г. Бойдена (Верхняя Силезия), лишился правой руки. М.В. Власов прошел несколько лагерей для военнопленных, в том числе Заксенхаузен и Ламмдорф. Весной 1944 г. он участвовал в коллективном побеге из лагеря в Седлице. Пережив множество лишений, он сумел добраться до Перми.

В 1944 г. М.В. Власов поступил на историко-филологический факультет ПГУ, с отличием окончил его в 1949 г. Некоторое время он работал учителем русского языка в школе № 22 г. Перми, затем поступил в аспирантуру при Ярославском педагогическом институте, в 1956 г. защитил диссертацию и был направлен преподавателем в Тюменский пединститут. В 1962 г. М.Ф. Власов вернулся в родной университет в качестве преподавателя, где и проработал до 1985 г в должности доцента кафедры русского языка.

М.Ф.Власов награжден медалями «За победу над Германией», «20 лет победы в ВОВ», «50 лет Вооруженных сил СССР», «За доблестный труд».

А.А. Мошева родилась 29 августа 1921 г. в д. Волеги Нытвенского района Пермской области в семье кузнеца. В 1939 г. она с отличием окончила школу и поступила в Пермский педин-

---

<sup>2</sup> По материалам сайта кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного университета:  
<http://www.psu.ru/faculties/philology/stilist/personalia2/03>

ститут на литературный факультет. В июне 1941 г. А.А. Мошева начала работать на военной базе г. Перми рабочей по чистке оружия, а в апреле 1942 г. добровольцем ушла в действующую армию. А.А. Мошева прошла всю войну в качестве рядовой ПВО г. Москвы.

После окончания войны А.А. Мошева продолжила учебу в пединституте. По окончании его в 1947 г. работала там же лаборантом, затем была переведена на должность ассистента. В Пермский госуниверситет А.А. Мошева пришла в 1958 г. Работала сначала в должности старшего лаборанта кафедры русского языка и общего языкознания, затем – ассистента, преподавателя. В 1979 г. она защитила кандидатскую диссертацию и продолжала работу в должности старшего преподавателя.

А.А. Мошева награждена медалями «За победу над Германией», «20 лет победы в ВОВ», «30 лет победы в ВОВ», «50 лет Вооруженных сил».

С серьезными трудностями сталкивались и те, кто остался в тылу, продолжал учиться и работать в ПГУ: не хватало средств, кадров, материальной базы, условий для обеспечения учебного процесса. Зимой температура в аудиториях не поднималась выше 12 – 14, а то и 8 – 10 градусов, студенты и преподаватели, недоедая, не имея теплой одежды, вынуждены были сами заниматься хозяйственной деятельностью, заготавливать дрова и уголь, расчищать снег, работать на предприятиях города, в госпиталях...

Трудные времена настали и для историко-филологического факультета, вновь восстановленного в 1941 г. Вот как вспоминала об этом Т.А. Рубинштейн, выпускница 1946 года: *«...тяжкое было время, и каждое слово симоновского стихотворения “Убей его!” звучало как заклятье, а проникновенные строки “Жди меня” казались обращенными к каждой из нас, ибо, кроме троих юношей, на филологическом отделении учились одни девочки. И все же это время запомнилось, и не только потому, что мы были молоды, но и потому, что именно в то время человек проверялся в делах, в поступках. Все мы, комсомольцы, пошли добровольно работать на завод имени Ф.Э. Дзержинского, делали снаряды. Рабочий день наш выгля-*

*дел так: с девяти утра до двух часов дня – занятия в университете, с шести вечера до двух часов ночи – работа на заводе, на конвейере. Казалось бы, для настоящей учебы времени не оставалось. А между тем, как много мы успевали! Читали, спорили, создавали газеты, около которых толпился весь университет» (Первый на Урале, 1987: 65 – 66)<sup>3</sup>.*

М.А. Генкель также подчеркивала: *«...в годы войны люди необыкновенно хорошо относились друг к другу, помогали... Была одна мысль: скорее дожидаться победы. Необыкновенно хорошо учились студенты. Они все и учились, и работали (иначе было бы не выжить), и усердно занимались. А ведь были еще и субботники: то вылавливали бревна из Камы, чтобы накормить ненасытную кочегарку, то выгружали вагоны на Перми-II, то работали в госпиталях <...> Меня, обремененную детьми, в те годы не посылали ни в колхоз, ни на субботники. А всем моим товарищам было трудно! Мужчины косили сено в колхозах, заготавливали дрова для института. Женщины работали в госпиталях; помимо учебной нагрузки, читали лекции на вокзалах солдатам, уходящим на фронт» (Генкель, 1996: 33, 36)<sup>4</sup>.*

«Настоящей учебы», о которой писала студентка военного времени, не могло бы быть, если бы университет не направлял усилия на то, чтобы – при всей текучести профессорско-преподавательского состава – сохранить кадры, пригласить эвакуированных в Пермскую (в те времена Молотовскую) область ученых, обеспечить как можно более высокий уровень преподавания.

Так, в военные годы на историко-филологическом факультете работала Д.К. Мотольская, известный ученый из Ленинграда. Д.К. Мотольская родилась в 1907 г. Окончив в 1932 году ЛГПИ им. Герцена, а затем аспирантуру, в 1930-е годы работала в ряде вузов Ленинграда: ЛГПИ, Ленинградском государственном театральном институте, Коммунистическом

---

<sup>3</sup> Здесь и далее цитаты даются по изданию: Л.Е. Кертман, Н.Е. Васильева, С.Г. Шустов. Первый на Урале. Пермь. 1987.

<sup>4</sup> Здесь и далее цитаты приводятся по изданию: Пермский университет в воспоминаниях современников. Вып. III. Уральские просветители. Семья Генкель. Пермь. 1996.

институте журналистики, Институте усовершенствования учителей.

Д.К. Мотольская читала курсы теории литературы, истории русской литературы XVIII века, вела семинары по русской литературе XIX века. Ею написаны глава о Ломоносове в «Истории русской литературы», а в учебнике по русской литературе под редакцией В.А. Десницкого разделы о Ломоносове и Тредиаковском. В 1939 г. Д.К. Мотольская являлась депутатом Ленинградского городского совета депутатов трудящихся.

В феврале 1942 г. Д.К. Мотольская эвакуировалась на Урал, оказалась в Молотовской области, в селе Ильинском Пермско-Ильинского района. Там она работала заведующей районным педагогическим кабинетом. Именно там ее нашла телеграмма, направленная Пермским университетом: «Многоуважаемая Дина Климентьевна! Молотовский государственный университет им. Горького просит Вас прибыть в г. Молотов для переговоров о возможности Вашей работы в университете. Настоящее отношение является основанием для проезда в гор. Молотов». Телеграмма была подписана деканом историко-филологического факультета Б.П. Городецким и и.о. ректора Р.В. Мерцлиным, назначенным на этот пост в самом начале войны в связи с уходом ректора А.И. Букирева в армию. На этом посту Р.В. Мерцлин находился до 1946 г.

Д.К. Мотольская проработала на историко-филологическом факультете государственного университета до августа 1944 г., оставив, однако, след в сердце и в памяти тех, кому посчастливилось слушать ее лекции. Они отличались ярким поэтическим словом, увлекали слушателей, в полном смысле слова влияли на выбор их жизненного пути. Студенты того времени вспоминают, что *«Искрящийся ум Д.К. Мотольской, ее семинары были подлинной кузницей творческой мысли»* (Первый на Урале, 1987: 72).

О.И. Богословская, ставшая видным ученым, отдавшая многие годы преподаванию в ПГУ, отмечала, что именно филологическое слово Д.К. Мотольской предопределило выбор профессии: *«Я пришла в университет, окончив 8 классов средней школы, сначала на подготовительные курсы. <...> Преподава-*

ние на курсах вели опытные университетские педагоги, в том числе еще оставшиеся в эвакуации москвичи и ленинградцы. Многие предметы доставляли мне подлинную радость, например, физика, решение задач. И я уже подумывала, как буду обходиться без задач, если поступлю, как намеревалась ранее, на филологический факультет. Однако страстное, поэтическое слово замечательного ленинградского пушкиниста Дины Климентьевны Мотольской положило конец моим колебаниям» (там же). По воспоминаниям студентов тех времен, на лекции Мотольской, Б.П. Городецкого, пушкиниста, эвакуированного из Ленинграда ученого, сбегались студенты всех факультетов» (там же).

В военные годы преподаватели факультета не только на должном уровне поддерживали процесс обучения студентов, но и, несмотря на лишения, осуществляли научную деятельность. Это были высококвалифицированные, энциклопедически эрудированные люди, владевшие несколькими языками. Так, в военные годы, в период работы в ПГУ, защитил докторскую диссертацию «Творчество Гофмана» (1943) А.Ф. Шамрай. В Пермский пединститут профессор А.Ф. Шамрай, владевший семью языками, прибыл в 1938 г. из Ферганы, где работал в пединституте. А до этого, в 1930-е годы, преподавал в Харьковском университете (профессор украинской литературы) и Удмуртском пединституте (профессор западной литературы)<sup>5</sup>. В Пермском университете А.Ф. Шамрай с 1942 г. читал курс античной литературы, занимался творчеством Гофмана, Шиллера и Шекспира. Коллеги и руководители отмечали и педагогическое мастерство А.Ф. Шамрая: «...проф. Шамрай в процессе своей педагогической работы обнаружил широкую эрудицию, прекрасное знание

---

<sup>5</sup> Заслуги ученого были оценены на его родине – Украине, в Харькове, где он начал свою педагогическую деятельность после окончания Харьковского университета. В 1996 г. в Сумах (А.Ф. Шамрай родился в г. Мирополье Сумской области) была проведена конференция, посвященная 100-летию со дня его рождения. По итогам конференции были изданы материалы: А.П. Шамрай: Матеріали наукової конференції, присвченої 100-річчю від дня народження видатного вченого-літературознавця і педагога. Сум.пед.ін-т. Суми. 1996.

*материала по своей специальности, умелый методический подход к студентам».* Как и многие преподаватели университета, в военные годы проф. Шамрай работал с учителями, выступал для них с лекциями, выезжал в районы области для консультации учителей.

Преподаватели историко-филологического факультета вносили свой вклад в победу не только тем, что продолжали обучение студентов, писали статьи и защищали диссертации в военные годы, но и работали в госпиталях, отвечали на нужды фронта. Так, именно тогда был составлен русско-немецкий словарь военной терминологии под руководством Е.И. Преображенской, человека высочайшей образованности, знавшей несколько языков. Е.И. Преображенская, учившаяся в Сорбонне и в Герценовском институте, стажировавшаяся в Германии, работала с 1938 г. в Пермском университете старшим преподавателем кафедры иностранных языков, вела занятия по немецкому и французскому языкам, а с мая 1943 г. исполняла обязанности заведующего кафедрой иностранных языков. Ей, возглавившей кафедру в столь тяжелое время, удалось добиться ее расширения, привлечь к работе квалифицированных преподавателей, организовать кабинет иностранных языков, что по тем временам нехватки кадров, оборудования и помещений являлось очень серьезным административным успехом.

Е.И. Преображенская вела занятия не только со студентами. На общественных началах она работала в госпитале, занималась с бойцами иностранными языками. Удивительно, как при этом хватало сил на научную работу и подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. С 1938 г. шла переписка между Пермским, Ленинградским университетами и ВАКом о предоставлении Е.И. Преображенской возможности сдать в Ленинграде кандидатские экзамены. Наконец, в 1944 г., спустя 6 лет, было принято положительное решение – допустить ее к сдаче экзаменов. В личном деле Е.И. Преображенской хранится справка, в которой приведены результаты испытаний: немецкий язык – отлично, французский язык – отлично, история французской литературы – отлично (с примечанием, что вопрос о «Персидских письмах» Монтескье дан на французском языке), мар-

ксизм-ленинизм – отлично. Е.И. Преображенской было в то время 40 лет...

Надо полагать, значительную роль в судьбе Е.И. Преображенской, как и всего университета, сыграл Н.П. Обнорский, работавший в ПГУ со дня его основания. Знавший несколько языков, Н.П. Обнорский служил директором фундаментальной библиотеки в университете, с 1932 по 1942 гг. заведовал кафедрой иностранных языков. В связи с острой нехваткой преподавателей иностранных языков он *«в семидесятилетнем возрасте вернулся к преподаванию классических языков и античной литературы»* (Первый на Урале, 1987: 71). Е.И. Преображенская вспоминала позже: *«Николай Петрович, талантливый педагог и воспитатель, восхищал студенчество и нас, тогда молодых преподавателей, своей эрудицией, увлеченностью делом, щедрой доброжелательностью к людям. Удивительно деликатный, тонкий, он незаметно руководил нами и пользовался каждым удобным случаем, чтобы раскрыть перед нами что-то новое, вызвать интересные ассоциации обычными на первый взгляд языковыми или литературными явлениями»* (там же).

Готовность, несмотря на возраст или самочувствие, дать студентам все лучшее из возможного, стремление просветить, научить самостоятельно и независимо думать – наверное, именно эти черты характеризуют наиболее ярко это поколение профессорско-преподавательского состава, передаваясь от учителя – к ученику, новым преподавателям-филологам Пермского госуниверситета. *«Обнорский! – вспоминает Т.А.Рубинштейн. – Так и представляется его маленькая фигурка, перепопаянная крест-накрест портфелями с книгами, а то и толкающая перед собой тележку с книгами. Книги предназначались для нас...»* (там же).

К сожалению, сегодня мы не знаем многих, зачастую трагических, обстоятельств судьбы тех, кто преподавал в военные годы на факультете, деталей их биографии – репрессии не миновали и историко-филологический факультет. Все меньше остается свидетелей тех лет, свидетелей истории, а полотно военной жизни реконструируется преимущественно на основе ар-

живных документов. Но все же кое-какие свидетельства дошли до нынешних дней.

Так, сегодня достаточно много известно о драматичной судьбе И.М. Захарова, старейшего преподавателя Пермского университета, работавшего в нем со дня основания, создателя кафедры языкознания<sup>6</sup>. И.М. Захаров, родившийся в конце XIX в., в 1910 г. окончил историко-филологический факультет Казанского университета. *«С этого, 1910 года, жизнь Ивана Михайловича то в большей, то в меньшей степени связана с Пермью»* (Потапова 2006: 14). Он преподавал в Мариинской женской гимназии, реальном училище, гимназии Циммермана. После прихода Колчака в Пермь отправился в Петровск-Забайкальский, однако вернулся в 1920 г. Преподавал на рабфаке и в педагогическом техникуме, одновременно активно печатая работы, в которых освещал вопросы как преподавания русского языка, так и стилистики – только начинавшей разрабатываться области лингвистики. В 1930-е гг. И.М. Захаров работал в Горском пединституте (Владикавказ), в Московском пединституте в должности доцента.

Вспоминая о московском периоде жизни И.М. Захарова, М.А. Генкель писала, что именно он убедил ее сдавать вступительные экзамены в аспирантуру. *«Переехала в Москву. Два года работала в районной библиотеке, не решаясь подать документы в аспирантуру при Институте им. Ленина (тогда А.С. Бубнова). Наконец встретила И.М. Захарова... Он предложил мне посещать летние курсы усовершенствования учителей, где сам читал лекции, уговорил подготовиться к экзамену в аспирантуру. Экзамены я сдала»* (Генкель, 1996: 85).

В 1938 г. И.М. Захаров вернулся из Москвы в Пермь и был арестован по обвинению в участии диверсионной повстанческой эсеровской организации. Как писала М.А. Генкель, *«Ивана Михайловича осудили по 58 статье (контрреволюционная пропа-*

---

<sup>6</sup> О судьбе И.М. Захарова написаны две обстоятельные статьи: Потапова Н.П. Иван Михайлович Захаров (в кругу событий своего времени) // Взойди, звезда воспоминанья! Пермь. 2006; Потапова Н., Станковская Г. Учитель и Время // Филолог. 2004. № 4. Эти материалы используются в настоящем тексте.



ганда). Он потом рассказывал нам страшные вещи. В тюрьме, в камере, заключенные стояли вплотную, нельзя было ни лечь, ни сесть. Окна были забиты досками, люди задыхались, теряли сознание, но продолжали стоять. Вскоре он совершенно потерял силы: дистрофия. Его перевели в тюремную больницу. Однажды его вынесли в коридор. Он лежит и слышит разговор: “Надо дать знать на волю, что умер профессор”. Он испугался, что эта новость дойдет до его жены, стал требовать врача, настоял, чтобы его снова вернули в палату. Так железная воля, воля к жизни победила смерть! В лагере он работал в бухгалтерии, жена слала посылки, и он отбыл свой срок. И.М. рассказывал о перекрестном допросе, при котором следователи меняются, а подсудимый стоит под светом электрической лампы без еды и сна столько часов, сколько может выдержать. И.М. выдержал 48 часов, а потом все-таки подписал протокол». Во время допросов Ивану Михайловичу выбили зубы, а восхищавшей нас белизной блистали протезы...» (там же: 28).

Выпускники послевоенного времени отмечали: «...внешне он был не совсем “советский”, а скорее – светский, *comme il faut*: всегда отутюженный костюм, безукоризненно белая сорочка, белоснежный крахмаленный воротник, красиво завязанный галстук. У него были небольшие узкие усы и небольшая острая бородка, совершенно седая, широкий красивый лоб, тёмно-карие глаза и темные брови, а зубы были ослепительно белыми (мы тогда даже не подозревали, что за этим стоит). В облике его было что-то не совсем русское. Может быть, татарское? И глаза очень печальные. Правда, во время чтения лекций он воодушевлялся, начинал приводить примеры, “подсказанные поведением аудитории”».

Был Иван Михайлович не очень высокий. Зимой и в университете ходил в валенках (это уже не *comme il faut*, но жизнь), на плечи всегда набрасывал зимнее пальто на меху, так и читал лекции. Делал он это только сидя. Приходил в аудиторию, садился за стол, доставал из портфеля текст лекции, коробку папирос “Беломорканал”, спички. Курил он беспрерывно: когда папироса была близка к окончанию, он из пачки, лежащей на

*столе, вынимал следующую, зажигал спичкой и продолжал курить. Когда заканчивалась лекция, слева от него лежала горка не докуренных до конца папирос; Иван Михайлович аккуратно собирал окурки в бумагу и уносил...» (там же).*

И.М. Захарова освободили досрочно 15 февраля 1943 г. С 1943 года по 1945 г. он являлся научным сотрудником Института усовершенствования учителей г. Молотова. В октябре того же 1943 года Иван Михайлович получил должность исполняющего обязанности доцента кафедры языкознания университета, в 1944 г. – и.о. заведующего кафедрой языкознания ПГУ. Среди его учеников – О.И. Богословская, М.Н. Кожина, на чье формирование как ученых И.М. Захаров оказал важнейшее влияние. В воспоминаниях об И.М. Захарове они подчеркивали широту его эрудиции, интуицию ученого-лингвиста, концептуальность мышления, человечность и доброту.

*«Иван Михайлович Захаров – мой первый университетский Учитель. Все его лекции – это целый лингвистический университет! В лекциях по современному русскому языку, которые он читал артистично, Иван Михайлович учил чувствовать слово и постигать его тайны. Так я стала стилистом. Иван Михайлович подсказал мне и тему дипломной работы, которая позже стала темой кандидатской диссертации. Она посвящена поэтическому творчеству знаменитых кижских сказителей Рябининых. Работа связана с удивительными в своей первозданности кижскими говорами и их носителями, лучшие черты которых хранят народные песни и поэтические предания. Так возникла проблема: народно-поэтическая и народно-разговорная речь, которая стала темой моих научных изысканий на всю жизнь» (там же).*

*«Иван Михайлович не просто эрудированный преподаватель, доцент, но незабываемая самобытная личность, редкой души человек. Как специалист – это высокого класса профессионал, многосторонний знаток различных областей филологии, прекрасный методист, это в полном смысле – профессор старейшей классической школы. Он читал нам общее языкознание, старославянский язык, руководил курсовыми и дипломными работами. Им написан отличный учебник по синтаксису русского*

языка, концептуальный, глубокий, ясный и четкий, с богатым и ярким иллюстративным материалом. Иван Михайлович отличался необыкновенной добротой и чуткостью, подбадривал своих коллег, молодых преподавательниц, со свойственной ему лукавинкой во взгляде. Помогал он не только словом, но и делом. Как руководитель, заведующий кафедрой, был очень требователен и справедлив, но и сам много работал. Собрал дружный кафедральный коллектив» (там же).

Случалось, И.М. Захаров «спасал» студентов-филологов, особенно если им грозили неприятности, связанные с недостаточной «идеологической устойчивостью» и «зрелостью». Т.П. Чернова рассказывает: «На госэкзамене по марксизму-ленинизму я чуть не “загрелась”. Спас от позора член госкомиссии доцент Иван Михайлович Захаров, читавший у нас русский язык. Он настоял, чтобы мне поставили тройку, убедив комиссию, что два других я сдам на пять. Я так и сделала. А на выпускном вечере, вручая ему букет сирени, позволила поблагодарить спасителя стихами Лермонтова: “Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас”. И мы расцеловались»<sup>7</sup>.

Непросто сложилась и судьба В.Ф. Глушкова. Он не был арестован, однако в его научной и преподавательской судьбе было немало драматичных эпизодов.<sup>8</sup> В.Ф. Глушков родился в 1882 г. в Ульяновске. Окончил с медалью Симбирскую классическую гимназию, затем учился в Казанском университете, по окончании которого был оставлен аспирантом по кафедре римского права. В.Ф. Глушков владел пятью языками, стажировался в Париже и Берлине, где писал диссертацию, слушал лекции европейских профессоров. По возвращении в Россию в 1914 г. был принят приват-доцентом в Казанский университет, а в

---

<sup>7</sup> Чернова Т.П. Пристань вольнодумцев // Взойди, звезда воспоминанья! Т. 1. Пермь, 2006. С. 24.

<sup>8</sup> Здесь и далее воспоминания о В.Ф. Глушкове, написанные В.А. Шнайдером, цитируются по статье: Шнайдер В.А. Профессор римского права // Взойди, звезда воспоминанья! Т. 1. Пермь, 2006. С. 47 – 59.

1916 г. прибыл в Пермский университет и навсегда остался в Перми (исключая «томский период» биографии). В автобиографии В.Ф. Глушков сообщает основные вехи своего научного и преподавательского пути: *«В Пермском университете работал непрерывно до 1929 г. сначала на юридическом факультете, а потом, с ликвидацией этих факультетов, на педагогическом факультете по общественно-экономическому отделению, как историк; преподавал историю Рима и экономическую историю Европы XV-XVIII в. и Советское государственное право...»*.

Когда был организован историко-филологический факультет, в 1941 г., профессор Глушков *«был приглашен... для ведения преподавания по истории Рима и латинскому языку на историческом отделении факультета»*, и работы в качестве профессора кафедры языкознания. В характеристике, данной В.Ф. Глушкову в 1948 г., указано, что, будучи профессором историко-филологического факультета, он вел курсы по истории древнего мира, спецкурс истории Рима, теорию и историю права, латинский и греческий языки.

Однако далее судьба В.Ф. Глушкова, очевидно, сделала поворот, потому что с 1950 г. и до выхода на пенсию он работал старшим преподавателем латинского языка на юридическом факультете. О характере этого поворота сегодня можно только догадываться. Окончивший в 1956 г. юридический факультет В.А. Шнайдер, отмечал *«вольтеровскую» улыбку старого профессора, его бесстрашие, свободу высказываний на занятиях по латинскому языку. «Уши наши, случалось, улавливали отдельные обмолвки — на кафедре и вокруг — о неприятии Глушковым марксизма как основополагающей науки. Допустить такое возможно, учитывая, что наш профессор принадлежал к дореволюционной школе ученых, привыкших говорить о своих научных взглядах совершенно открыто. Этой прямоты Василию Федоровичу и не простила власть, жестко охранявшая незыблемость своих идеологических “скрижалей”. Удивительно, что не посадили! Но от чтения курс права, хотя бы и римского, отстранили»* (Шнайдер, 2006 : 54).

Размышляя над вопросом, почему профессор старой школы не боялся «ушей», почему вел себя так неосмотрительно,

В.А. Шнайдер указывает на главную, может быть, особенность представителей профессорства того поколения: «генетически укоренившуюся привычку – быть самим собой!», сохранять чувство собственного достоинства (там же).

Несмотря на потери, тяжелейшие условия военного времени, историко-филологический факультет выжил, после войны появилось новое поколение Пермских ученых – молодых, ярких, талантливых, открывших новую страницу в истории Пермского государственного университета.

*М.Н. Кожина*<sup>9</sup>

### **ПАМЯТЬ ДОБРОЕ ХРАНИТ...**

В статье Светланы Викторовны Усть-Качкинцевой «Война. Пермский университет глазами подростка» (Журнал «Пермский университет», 2009 – 2010 гг.) хорошо представлена жизнь работников университета в военное время. Однако этот рассказ можно дополнить некоторыми сведениями, что я и хочу сделать, имея в виду годы моей учебы, а затем и работы в ПГУ на филологическом факультете.

В военное время студенты и преподаватели не только работали на расчистке от снега железнодорожных путей, добывали для университета бревна из речной воды, мерзли в холодных аудиториях, голодали и прочее, но и жили интересной духовной жизнью. Об этом и вспоминается в первую очередь.

Да, в университете мы не снимали верхней одежды, писали лекции в перчатках, потому что стыли пальцы, а ректор университета профессор Роман Викторович Мерцлин, человек аристократического вида, ходил в ватнике...

Но кроме темных и трудных сторон в нашей тогдашней жизни было немало светлого и радостного.

Мне очень запомнились те дни, когда на стене нашего корпуса появлялась очередная факультетская газета, каждый

---

<sup>9</sup> Кожина М.Н., выпускница 1948 г., доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

выпуск которой становился событием. В стенгазетах помещались плоды студенческого творчества: стихи, рассказы, критические статьи. В день выпуска стенгазеты к месту в коридоре, где она была вывешена, невозможно было подойти: теснилась целая толпа студентов и преподавателей. Они обменивались впечатлениями от прочитанного, оценивали его, живо реагировали на все. В общем, это были действительно настоящие праздники!

Надо сказать, что выпуск таких газет постепенно превратился в традицию, и еще долго в университете шло соревнование между факультетскими стенгазетами, ставшими для многих выпускников местом их первых творческих публикаций.

Вторым особенно запомнившимся мне событием была работа научного кружка по русской литературе. Участвовали в нем студенты разных курсов – и младших, и старших. Руководил кружком известный специалист, эвакуированный из Ленинграда сотрудник Пушкинского Дома Б.П. Городецкий. Темы выбирались остро дискуссионные, не решенные в науке. Докладчиками были преимущественно старшекурсники, но в обсуждениях и спорах свое мнение мог высказать любой желающий. Дискуссии были очень жаркими, эмоциональными, они продолжались и после заседания кружка. Помню, как поразило меня уже первое заседание, на которое я пришла. Возможно, тогда у меня и зародился интерес к науке. Характерно, что студенты-филологи военных лет, эвакуированные из Киева, Ленинграда, Москвы (курсы в то время были большие – человек 80), запомнились именно по участию в этом кружке, и, встречаясь со многими из них после войны, я вспоминала и узнавала своих бывших товарищей по их выступлениям на тех заседаниях.

Из светлых сторон и событий можно вспомнить, помимо обычных плановых курсов лекций, факультативы: по живописи, по истории музыки. Причем читались они крупными специалистами, среди которых был, например, сотрудник (даже, кажется, директор) Русского музея.

Всегда радостным было и посещение Кировского (теперь Мариинского) театра, эвакуированного в годы войны в Пермь.

Совершенно новым для студентов I – II курсов было изучение древних языков – латинского и греческого, которым нас обучали Николай Петрович Обнорский (брат известного академика Сергея Петровича Обнорского) и искусный и талантливый преподаватель Василий Федорович Глушков – специалист по римскому праву. На образцах лучших текстов эти ученые знакомили нас с четкостью и лаконичностью латыни, образностью и музыкальностью греческого.

\* \* \*

После войны активизировалась студенческая самодеятельность, и в университете она развивалась, можно сказать, на профессиональном уровне. Студенты и молодые преподаватели, обладающие голосами, занимались в вокальном кружке, а химик Борис Арсеньевич Облапинский закончил в то время Ленинградскую консерваторию. То и другое дало возможность поставить университетскими силами настоящую оперу – «Запорожец за Дунаем» Гулака Артемовского. Затем, много позже, университет прославился в городе мужским вокально-инструментальным ансамблем «Бригантина», который организовал Б.А. Облапинский и много лет им руководил.

Интересно, что университетская самодеятельность тяготела к произведениям крупных форм. Так, кроме оперы, была поставлена и прошла весьма успешно комедия Мольера «Тартюф». Уровень игры студента Балалаева, исполняющего главную роль, мог, по мнению многих, конкурировать с игрой известных московских артистов.

Значительные изменения претерпел за многие послевоенные годы внешний вид университета. По сравнению с теперешним университетским городком, территория университета выглядела совершенно иначе. Место, где сейчас находится здание главного корпуса и дальше по улице Генкеля, было застроено деревянными бараками. Те, что получше, – квартирного типа – занимали преподаватели, остальные представляли собой общежития студентов. Так было до тех пор, пока университет не получил многоэтажное каменное здание на улице Ленина. А много позже были построены благоустроенные студенческие общежи-

тия и многоквартирный «дом ученых» на Комсомольском проспекте.

Быстро рос университет и в научном, и в учебном плане.

Если в первый послевоенный год, когда эвакуированные студенты вернулись в свои города, факультет выпустил лишь 11 филологов, то очень скоро число студентов на каждом курсе составляло 30 и более человек. Пополнялись и кадры преподавателей, приезжали читать лекции профессора и доценты из МГУ, некоторые оставались работать в нашем университете. Оживилась научная деятельность, появились свои публикации, были инициированы всесоюзные конференции, весьма многочисленные.

Уровень обучения и знаний выпускников университета был достаточно высоким, о чем можно судить хотя бы по тому факту, что они поступали в аспирантуру Академии наук СССР.

Позже настало время, когда стали завязываться связи с зарубежными учеными, получили известность, высокую оценку и признание научные публикации лингвистов ПГУ.

По рекомендации Института русского языка АН СССР и при поддержке министерства филологи ПГУ довольно часто выезжали на конференции и международные конгрессы. Ректор университета Владимир Петрович Живописцев всегда поддерживал эти поездки, считая их важными для развития как науки, так и самих исследователей. Однажды, встретив меня у входа в университет, он приветливо заметил: «А Вы, оказывается, уже в Перми?»...

Вообще, стоит сказать, что руководство университета всегда хорошо относилось к своим сотрудникам. Может быть, потому и атмосфера в целом в ПГУ и на кафедрах была толерантная. Ректорат всегда отмечал успехи своих подопечных, отношение ректоров, проректоров к сотрудникам было заботливым. Помню, как во время празднования моего 50-летнего юбилея В.П. Живописцев с теплотой отметил поздравление, присланное из Болгарии от кафедры иностранных языков военной академии. А визиты заведующих кафедрами к проректору В.Ф. Попову с трудно разрешимыми кадровыми вопросами обычно заканчивались успешно для обеих сторон.



Отдельно хочется сказать об особом внимании, с которым недавний ректор (сейчас президент) Владимир Владимирович Маланин относился к подающим надежды сотрудникам. Замечу кстати, что с посещавшими его иностранными специалистами Владимир Владимирович разговаривал на родных для них языках, которыми хорошо владеет. В.В. Маланин всегда внимательно следил за научными успехами сотрудников университета, инициировал динамику их научного роста. Это видно, в частности, даже из новогоднего поздравления: «Пермский государственный университет поздравляет вас с Новым 2011 годом! Пусть наступающий год станет годом новых свершений, профессиональных успехов, амбициозных и дерзких планов! Пусть он принесет вам незабываемые минуты радости от исполнения желаний, ощущение счастья от завершения начатых дел!». Отметим и такую деталь: Владимир Владимирович помнил дни рождения многих сотрудников и поздравлял их.

То, что наш университет один из лучших в России, – большая заслуга ректора В.В. Маланина. Помимо того что при нем построены новые красивые корпуса, обустроена и приобрела привлекательный вид университетская территория – университет преобразился в целом и стал действительно одним из лучших в России: ПГУ присвоена категория «Национальный исследовательский университет». По словам директора музея ПГУ Александра Стабровского, *«новый статус университета – свидетельство признания его лидерских позиций, как в области фундаментальных исследований, так и в деле подготовки высококвалифицированных кадров»* (Журнал «Пермский университет», 2009–2010). И в этом, несомненно, большая заслуга В.В. Маланина. Я всегда говорила и говорю, что Владимир Владимирович – лучший ректор у нас в стране. Верю, что такое мнение разделяют многие. Об этом свидетельствуют и министерские оценки и награды нынешнего президента ПГУ В.В. Маланина.

Благоприятная для работы обстановка в Пермском университете давала возможность успешно завязывать контакты с зарубежными учеными и получать отклики из разных стран. Так, когда я стала применять статистические методы в стили-

стике, то, спустя короткое время, неожиданно получила из-за рубежа бандероль с книгой на близкую тему. И поскольку такие почтовые отправления были тогда редкостью, то в областной газете «Звезда» тут же появилась заметка под названием: «Флоренция отвечает Перми».

Еще один красноречивый пример: я работаю дома, вдруг звонок из Москвы, говорят из Министерства иностранных дел и сообщают: «Ваш учебник по стилистике перевели в Пекине на китайский язык. Когда его вам передать? Благодарим за него. Спасибо, что вы таким способом участвуете в улучшении отношений с Китаем». Вот такой неожиданный факт!

Вообще, связи с иностранными учеными у кафедры русского языка и стилистики нашего университета были довольно широкими и многогранными. Уже ранние публикации были отмечены положительными рецензиями и ссылками в академических журналах, сборниках статей международных конгрессов, обзорах, монографиях; из них выростали темы диссертаций. Отклики на наши исследования представлены в Чехии, Словакии, Польше, Сербии, Болгарии, США, Германии, Австрии, Голландии, Китае и других странах.

Следует отметить, что поворот к функционализму, а затем его утверждение и развитие речеведческих исследований в отечественном языкознании – все это произошло под влиянием лингвостилистических исследований Пермской школы стилистики. В этом аспекте знаменателен факт приглашения пермских стилистов к сотрудничеству с кафедрой Гёттингенского университета, полученного в 60-х годах – на заре отечественной функциональной стилистики – от известного профессора Дмитрия Чижевского, члена Пражского лингвистического кружка.

А сегодня сотрудники кафедры русского языка и стилистики участвуют в разработке международной программы «Синтез славянской стилистики», являются членами редколлегий международных журналов по стилистике «Stylistyka» (Польша), «Стил» (Сербия).

Фундаментальные работы начала двухтысячных годов, сделанные при участии и под редакцией автора этих заметок, ставшие настольными книгами стилистов, – «Стилистический

энциклопедический словарь», «Стилистика русского языка» (учебник для вузов) – следует, безусловно, отнести к достижениям всей лингвистической кафедры ПГУ.

Высокий статус кафедры пермских лингвостилистов выразился не только в широко известных публикациях и выступлениях на международных конгрессах, но и в том, что, будучи весьма авторитетной, она инициировала и организовала целый ряд российских и международных конференций, в которых принимали участие ученые Института русского языка академии наук СССР и ведущих вузов страны. Так, первая конференция, преследующая цель утверждения лингвостилистики в качестве новой языковедческой науки, была проведена именно в Пермском университете. Тем самым был признан высокий ранг филологического факультета ПГУ.

И статус Пермского университета, и творческая и толерантная атмосфера, поддерживаемая ректоратом, создавали те условия, при которых у сотрудников не возникало желания искать другие места работы и отвечать согласием на приглашения вузов, находящихся в более «теплых широтах».

Добрые традиции университетского сообщества дают мне уверенность в том, что наш университет, знавший и тяжелые, и радостные времена, университет, с которым меня связывает шестьдесят лет жизни, имеет большой потенциал и большое будущее.

## РАЗДЕЛ III НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

Научный статус факультета измеряется, прежде всего, его научными школами, теми научными достижениями и открытиями, которые создают имя и лицо факультета. В этом разделе представлены отдельные научные школы и имена их создателей: это и получившая мировое признание легендарная школа профессора М.Н. Кожинной, и известная во всероссийском масштабе школа лингвистического краеведения профессора Е.Н. Поляковой, и научное направление культурной и визуальной антропологии, созданное и успешно разрабатываемое в настоящее время доцентом Е.М. Четиной. С помощью воспоминаний участников представлен научный спецсеминар профессора Р.С. Спивак – как пример становления научного мышления и формирования перспективных научных кадров факультета.

В этом же разделе рассказано о журналистике как самостоятельном отделении факультета.

*Е.А. Баженова<sup>1</sup>*

### ЛЕГЕНДА ФИЛФАКА: М.Н. КОЖИНА И ЕЕ ШКОЛА<sup>2</sup>

25 мая 2011 г. филфак ПГУ праздновал Международный день филолога. Интрига праздника заключалась в том, чтобы обнародовать имена студентов и преподавателей, достигших наибольших успехов в научной, учебной и общественной жизни факультета и ставших победителями в ряде номинаций – «Открытие года», «Достижение года», «Человек года» и др. Кульминацией церемонии должно было стать оглашение имени не просто успешного, а *выдающегося* филолога, достижения кото-

---

<sup>1</sup> Баженова Е.А., выпускница 1981 г/, доктор филологических наук, профессор ПГУ, зав. кафедрой русского языка и стилистики.

<sup>2</sup> Материал подготовлен на основе публикаций М.П. Котуровой, Н.В. Данилевской, Ст. Гайды, Л.Г. Кыркуновой.

рого выходят далеко за рамки лишь одного учебного года, одного факультета, одного университета, одного города, одного государства... Для такого необыкновенного филолога была учреждена особая номинация – «ЛЕГЕНДА ФИЛФАКА». Теперь это звание по праву принадлежит профессору Маргарите Николаевне Кожиной.

...На практическом занятии по предмету «Культура деловой речи» одна студентка-первокурсница рассказывала об известных ей еще из курса школьной программы стилевых чертах официально-делового текста. Остальные вели себя как обычно: кто-то сосредоточенно слушал, кто-то рисовал в тетрадке, двое что-то бормотали, создавая усыпляющий монотонный фон. Девочка решила завершить свое сообщение эффектно: *«И, как нам говорили еще в школе, основной работой, в которой представлены стилевые черты не только официально-делового, но и научного, и других функциональных стилей, является учебник «Стилистика русского языка» известного исследователя второй половины прошлого века Кожиной...»*.

*«...Маргариты Николаевны, – автоматически продолжила я [Л.Г. Кыркунова] ее фразу, – профессора кафедры русского языка и стилистики Пермского государственного университета, основателя Пермской школы функциональной стилистики, исследователя, который плодотворно работает и по сей день и, наконец, моего научного руководителя»*. Произнесла и почувствовала, что договариваю фразу в гробовой тишине: бормотанья не слышно и даже ручка замерла над тетрадкой. Зато шестнадцать пар глаз внимательно и с некоторым недоверием смотрят на меня.

*«Это правда?»* – раздается вдруг голос из аудитории. *«Правда, что вы ее видели? Расскажите нам о Кожиной, оказывается, она наш, пермский автор, да еще здесь работает. Как интересно!»*.

Как рассказать о легендарной Кожиной, чтобы легенда стала живой? Чтобы этот рассказ о яркой, неординарной личности не превратился в «опоэтизированное сказание об историческом лице»? Чтобы студенты нового поколения, которые знают ее имя лишь по книгам, увидели Человека?

...Ее имя хорошо известно лингвистическому миру, как в Отечестве, так и за рубежом. Автор многих фундаментальных трудов, М.Н. Кожина – доктор филологических наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный профессор Пермского университета, Почетный профессор Опольского университета (Польша), создатель Пермской научной школы функциональной стилистики, долгие годы главный редактор межвузовских сборников научных трудов по проблемам стилистики, член редколлегии международных журналов «Stylistyka» (Польша) и «Стил» (Сербия), соруководитель международной программы «Синтез славянской стилистики», автор и главный редактор «Стилистического энциклопедического словаря русского языка», трехтомного труда «Очерки истории научного стиля русского литературного языка XVIII – XX вв.», автор более 200 работ, в том числе вузовского учебника «Стилистика русского языка», научный редактор многих монографий, написанных ее учениками.

Кажется, такие достижения не под силу неизлечимо больной женщине, вынужденной долгие годы вести борьбу за свое здоровье. Однако Маргарита Николаевна – удивительно сильный и целеустремленный человек, способный не только вписать свое слово в науку, но и по-своему, вопреки всем медицинским прогнозам, написать собственную судьбу.

Маргарита Николаевна родилась 1 августа 1925 года в г. Кыштыме Челябинской области. Ее отец Николай Иванович и мать Екатерина Ивановна Кожины учились в Подмосковье в лесотехнической академии. Николая Ивановича оставляли на кафедре, но он попросил направить его в лесные края. Так Кожины оказались на Урале. Молодые специалисты отличались устремленностью ко всему высокому, так что в их семье царил дух музыки и литературы. Несмотря на трудную жизнь в предвоенные и военные годы, родители добились того, чтобы юных сестер Кожиных – Маргариту и Ирину – обучал музыке эвакуированный в Пермь знаменитый ленинградский профессор-органист И.А. Браудо, а артистка ленинградского ТЮЗа Т. Орлова давала им уроки художественного слова. Вообще, ху-

дожественным словом Маргарита Николаевна занималась много лет с разными специалистами.

Интересно, что овладение искусством музыки и речи Маргарита Николаевна, будущий известный ученый-лингвист, рассматривала как необходимый начальный этап на пути осуществления своей мечты стать артисткой. Поэтому в школьные годы активно занималась в драматическом кружке, играла роли в спектаклях по пьесам Островского, Грибоедова, Мольера. На пермском радио даже была сделана запись «Песни про купца Калашникова» Лермонтова в ее исполнении. А позже вместе с подругой М.Н. Кожина поступала в театральную студию при Пермском драматическом театре, но, успешно пройдя два тура, «завалила» третий. Сначала было обидно, что ее мечта о сцене не сбылась (кстати, подругу – впоследствии известную актрису Пермского театра Т. Шилову – приняли в студию), однако потом, как вспоминает Маргарита Николаевна, она благодарила судьбу за этот «провал» и за то, что сверху кто-то заботливо отвел от нее эту линию жизни.

И все-таки в формировании М.Н. Кожиной как будущего профессора стилистики главную роль сыграла личность отца. Будучи от природы одаренным человеком, Николай Иванович обладал научным складом мышления, был прекрасным математиком. Он поощрял любые серьезные занятия своей дочери: домашние дискуссии, размышления вслух, чтение академической литературы. Кстати, идея разработки и применения статистического метода при анализе языкового материала возникла у Маргариты Николаевны именно благодаря отцу, который вместе с ней разрабатывал принципы этого метода и помогал в математических расчетах. Не случайно в автобиографии М.Н. Кожина называет отца ученым [«Родилась в семье служащего (ученого-лесоведа)»], а свой первый учебник по стилистике (1977 г.) посвящает памяти любимого отца – учителя и друга.

Выпускница Пермского университета 1948 г., М.Н. Кожина поступает в аспирантуру при Институте языкознания АН СССР (Ленинградское отделение) к диалектологу Н.П. Гринковой. Но стать кандидатом наук по диалектологии не позволило здоровье: в эти годы стала заявлять о себе тяжелая

болезнь (миопатия) и молодой аспирантке врачи запретили выезды в экспедиции. Пришлось менять научного руководителя. Им стал С.Г. Бархударов, сразу увидевший в своей ученице большие способности, исключительную серьезность и самостоятельность суждений. Очевидно, поэтому он почти не вмешивался в процесс работы своей аспирантки и, прочитав уже готовый автореферат, одобрил всю работу.

И все-таки аспирантские годы были связаны далеко не только с наукой. Как вспоминает сама Маргарита Николаевна, это время было самым веселым в ее жизни. Она спешила воспользоваться культурным богатством северной столицы: каждый вечер был занят музыкальными концертами в филармонии, или лекциями по искусствоведению в Эрмитаже, или театральными спектаклями, или посещением музеев... Субботними вечерами она любила танцы в аспирантском общежитии, где, невзирая на боль в ногах, танцевала от души. А возвратившись в свою комнату, сквозь слезы думала о выпавшей на ее долю трагической необходимости быть счастливой через преодоление. Наверное, в этом умении сопротивляться уже тогда проявился тот редкий дар мужества и целеустремленности, который стал знаком всей жизни Маргариты Николаевны.

Текст кандидатской диссертации в ее первом и окончательном варианте был написан в рекордные сроки – за три месяца. В 1954 г., окончив аспирантуру успешной защитой диссертации в Институте русского языка АН СССР в Москве, Маргарита Николаевна вернулась в родной Пермский университет, где работает уже почти шестьдесят лет, пройдя путь от ассистента до профессора и заведующего кафедрой, которой руководила 22 года.

Говорят, что в жизни каждого человека есть моменты, когда судьба лукаво улыбается. Оказалось, что, уже добившись кандидатской степени, М.Н. Кожина еще не представляла своего предназначения в науке и проблема диссертации «Морфология глагола в “Ведомостях” Петровского времени» была лишь одной из интересных тем грамматики. Озарение пришло вскоре после защиты: в 1954 г. во время стилистической дискуссии в журнале «Вопросы языкознания» она, молодой ученый, поняла,



что стилистика – это ее стихия, это та лингвистическая область, где сейчас не только интересно, но и просто необходимо работать, где требуются неотложные и нетривиальные решения. Вот она – ирония судьбы, которая лишь избранным дает шанс найти свое предназначение в жизни и испытать счастье от полной самореализации.

Уже первые публикации М.Н. Кожиной – «Стилистика и некоторые ее категории» (1961 г.), «О понятии стиля и месте языка художественной литературы среди функциональных стилей» (1962 г.) – были замечены и оценены научной общественностью. В этих и особенно трех последующих монографиях – «О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной стилистики» (1966 г.), «К основаниям функциональной стилистики» (1968 г.), «О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми другими» (1971 г.) – были обоснованы главные положения функциональной стилистики, отличающейся от структурного языкознания динамическим подходом в трактовке языка. В этих работах научным пером будущего профессора были выписаны основы понимания коммуникативной сущности языка. Идеи классиков отечественной лингвистики о функционализме получили углубление и развитие в докторской диссертации, блестяще защищенной М.Н. Кожиной в 1970 г. в МГУ.

А в 1971 г. под молодого доктора наук на кафедре русского языка и общего языкознания была открыта аспирантура. М.Н. Кожина начала возвращать учеников, формировать коллектив единомышленников, расширять проблематику стилистических исследований – словом, создавать свою научную школу...

В современном науковедении школа понимается как структурная ячейка науки, как тесно спаянный коллектив ученых старшего и младшего поколений, усилия которого сконцентрированы на решении актуальных проблем, т.е. находится – что особенно важно! – *на магистральной линии развития науки*. В этом отношении существенно подчеркнуть, что профессор Кожина и ее ученики разрабатывают актуальные проблемы функциональной стилистики – дисциплинарного направления в

филологическом образовании. Стилистика русского языка уже четверть века преподается в вузах по учебнику М.Н. Кожиной, который получил медаль ВДНХ, переведен на китайский язык, широко используется и в других странах. Четыре издания учебника – это научно-исторический факт, которым может гордиться Пермский университет.

Можно считать, что развитие школы М.Н. Кожиной продолжается полвека, ведь начала она формироваться уже в начале 60-х годов XX в. Этот путь условно легко подразделить на 4 этапа: **первый** – *фундаментальный* в плане разработки общей стратегии речеведения, его основных понятий, категорий, теоретических оснований, методологии исследования функционального аспекта языка. Кожина поставила задачу определить действительную специфику функциональных стилей как речевых систем, обусловленных базовыми экстралингвистическими факторами. В этот период был заложен мощный теоретический фундамент стилистической школы.

**Второй** этап развития школы – *интенсивный* – 70–80-е гг. – характеризуется активной подготовкой кадров, количественным и качественным ростом школы, созданием учебника по стилистике.

**Третий** этап – *экстенсивный* – 90-е годы – выход на широкий отечественный и международный уровень сотрудничества.

**Четвертый** этап – *синтезирующий* – с начала XXI в. по настоящее время – ознаменован появлением в 2003 г. «Стилистического энциклопедического словаря русского языка» и публикацией в 2008 г. переработанного учебника по стилистике.

Научные интересы М.Н. Кожиной сформировались под воздействием работ академиков В.В. Виноградова, Л.В. Щербы, проф. Г.О. Винокура и ученых Пражского лингвистического кружка В. Матезиуса, Б. Гавранека, К. Гаузенбласа и др. Главным же поворотным пунктом М.Н. Кожина считает упомянутую выше дискуссию по проблемам стилистики в журнале «Вопросы языкознания» (1954 – 55 гг.), а также дискуссию «Слово и образ» в журнале «Вопросы литературы» (1959 г.).

В 60-е гг. М.Н. Кожина обосновывает функциональное направление в лингвистике, утверждению которого способствовала целая серия монографий 1961, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 гг. издания. Классификация стилей именно на экстралингвистической базе и на основе междисциплинарного подхода оказалась весьма актуальной: функциональная стилистика находилась в начале пути и постепенно завоевала признание.

Работы М.Н. Кожинной органично вписываются в эпистему второй половины XX – начала XXI века: изучение языка не только в его системных качествах, но и в соотношении с аспектами его живой жизни, т. е. функционирования, выходят на первый план. Объемное, гармонически стройное мышление М.Н. Кожинной позволило создать целостную концепцию функциональных стилей, которую она скрупулезно обосновывала анализом огромного материала – как статистическим методом, так и тончайшим исследованием семантики языковых единиц в текстах разных типов. Развитие этой концепции привлекало все новых и новых учеников. С одной стороны, формировалась школа, с другой – концепция функциональных стилей превращалась в теорию функциональной стилистики. Вот этот глубочайший внутренний, субъективный, процесс проникновения идей лидера в его учеников в единстве с внешним, объективным, видимым процессом формирования теории как синтеза содержания всех статей, монографий, защищенных диссертаций и есть по существу *научная школа*, в данном случае – конкретно-уникальная стилистическая школа профессора Маргариты Николаевны Кожинной.

Основной состав школы – 6 докторов наук, 30 кандидатов наук и большое число исследователей в различных городах страны и за рубежом. Как это достигалось? Ни одной случайно сиюминутной темы! Продуманная целенаправленность исследований. В результате учеными Пермской школы защищены диссертации и изданы монографии по неисследованной ранее научной речи; вышли в свет коллективная монография по теории и истории научного стиля, 20 выпусков межвузовских сборников по стилистике, основная часть которых посвящена научной речи, 15 выпусков международного сборника «Стереотипность и

творчество в тексте» (ред. проф. М.П. Котюрова), в которых научной речи также посвящен специальный раздел. К. Попов из Софии отмечает, что «давно уже Пермский государственный университет стал центром плодотворных исследований проблем научного стиля». Действительно, когда при кафедре была открыта аспирантура, тематика диссертаций молодых ученых, а также курсовых и дипломных работ студентов сконцентрировалась в основном вокруг научного функционального стиля речи.

Характерной чертой Пермской школы при изучении стилистики с самого начала является междисциплинарный подход, предвосхитивший его широкое применение в лингвистике и оказавшийся близким дискурсивному анализу. Именно сфера научной речи представляет собой благодатный материал для реализации комплексного подхода. Научная речь не может быть изучена вне экстралингвистической проблематики, а значит, без смежных дисциплин – психологии познания и творчества, науковедения, психологии общения и др. Надо сказать, что определение истинной, т. е. на объективных научных основаниях, специфики функционирования языка значимо для каждого стиля. И это доказано в ряде диссертаций, выполненных на материале публицистики и официально-деловой речи.

Основные направления и проблемы речеведения разрабатываются учениками М.Н. Кожиной (а сейчас уже и учениками учеников) в диссертациях, монографиях, статьях. Например:

– проблемы исторической стилистики представлены в работах М.П. Котюровой, Н.А. Линк, Н.П. Лепихина, Т.Б. Трошевой, Т.А. Зыряновой, Т.Н. Плюскиной;

– сопоставительной стилистики – в работах С.В. Абрамовой, Т.М. Пермяковой и др.;

– семантической значимости в функциональном стиле лексических и грамматических единиц – Н.В. Кириченко, В.А. Салимовского (канд. дис.), И.А. Смирновой;

– углубления стилистически значимых для научного текста экстралингвистических факторов – М.П. Котюровой, Е.А. Баженовой;

– изучения закономерностей функционирования синтаксических и текстовых единиц в функциональных стилях –

Э.П. Новоселецкой, С.О. Глушаковой, Н.И. Конюховой, Е.М. Крижановской и др.;

– проблем смысловой структуры научного текста – М.П. Котюровой, В.А. Салимовского (докт. дис.), Е.А. Баженовой, Н.В. Данилевской, Л.М. Лапп, И.В. Самойловой;

– специфики научных текстов в аспекте текстовых категорий – М.П. Котюровой, Э.Б. Погудиной, Л.В. Шиукаевой, Т.Б. Карповой, И.С. Бедриной, Я.А. Чиговской, Н.В. Соловьевой, Л.С. Тихомировой и др.;

– экспрессивности научной речи – Н.Я. Миловановой, Н.В. Данилевской;

– диалогичности письменной речи – Н.А. Красавцевой, Л.Р. Дускаевой;

– значимости междисциплинарного подхода для определения типов мышления – Е.А. Юниной;

– жанровой дифференциации официально-деловой речи – Л.Г. Кыркуновой;

– проблем индивидуального стиля речи ученого – Р.К. Терёшкиной, М.П. Котюровой, Н.В. Соловьевой, Л.С. Тихомировой и т. д.

Настоящую научную школу создает лишь настоящий Лидер, способный сформировать коллектив единомышленников и повести их за собой. Профессора Кожину с глубоким убеждением можно признать за образец научной личности.

Мы открыто изумляемся ее работоспособности, творческому долголетию, интеллектуальной мощи и умению испытывать радость от выполненной работы. Сказать о Маргарите Николаевне, что она – исследователь-специалист, что она – специалист высочайшего класса, значит, ничего не сказать. Следуя своей жизненной миссии, она еще не отыграла свою роль в театре научной жизни. Феномен Кожиной в том, что она отождествляется с личностью в деятельности ученого.

Наука – ее призвание, ее жизненная миссия. Призвание – как редко сегодня мы используем это слово! – одна из глубочайших гуманистических идей, которая определяет смысл человеческого бытия. Маргарита Николаевна стала ученым по призванию. Призвание одинаково относится как к ее жизненному

пути, так и к глубокой уверенности в правильности выбранного пути. Творческая сила интеллекта, умноженная на энтузиазм и силу воли, делает ее подлинным лидером научной школы.

В личности профессора Кожина гармонично сочетаются два противоположных начала научной деятельности – элитарность и демократичность. Элита в науке – узкий, но открытый круг признанных мастеров и корифеев, которые хотят и могут быть, согласно этосу науки, проводниками и учителями на пути поиска научной истины, которые являются авторитетами в вопросах науки. Согласно принципу демократичности, каждый искатель на научном пути независимо от возраста, пола, происхождения, образования имеет одинаковые права. Абсолютизация принципа элитарности приводит к выделению олигархов, т. е. людей, заботящихся о власти, огласке, привилегиях, личной выгоде. Абсолютизация принципа демократичности может привести к охлократии (власти толпы) в науке. Когда оба принципа гармонично сочетаются, в научной деятельности складываются отношения «учитель – ученик» (а не «начальник – подчиненный», «хозяин – клиент»). Профессор Кожина стала Учителем.

Настоящую научную школу может создать лишь настоящий Учитель, способный стать эталоном для ученика.

Вдали от шума и бюрократизма современной науки М.Н. Кожина организовала невидимый университет, суть которого – сотрудничество учителей и учеников. В этом университете отношения «учитель – ученик» вписываются в отношения «авторитет – новичок», и культура учеников формируется посредством культуры многих учителей одновременно. Авторитет научной школы действует на новичков, которые хотят состояться в науке, формирует их научный характер и учит сохранять и развивать традиции. Профессор Кожина стала Великим мастером и Авторитетом в университете стилистики.

Вспоминает доцент кафедры русского языка и стилистики Л.Г. Кыркунова:

*Мне посчастливилось быть дипломницей и аспиранткой Маргариты Николаевны. Тогда мне казалось, что время это очень трудное, сделать надо много, постоянно спешишь и все равно не успеваешь. Сейчас я с удовольствием вернулась бы в*

то время, когда Маргарита Николаевна проводила с нами, аспирантами, многочасовые консультации, устраивала на кафедре обсуждение всех новых научных работ. Ведь для нее наука не просто всегда была на первом месте в жизни – для нее жизнь и есть наука. Помню реакцию Маргариты Николаевны на мое сообщение о том, что я уйду в декретный отпуск. М.Н. Кожина сказала: «Ну вот, на три года выпадаете из настоящего дела!». Через много лет мы вспомнили этот эпизод, и Маргарита Николаевна призналась, что если бы выбор (наука или ребенок) стоял перед ней, то она обязательно выбрала бы ребенка. Но у нее такого выбора нет – поэтому **только наука!** В этом вся Маргарита Николаевна.

Нельзя сказать, что Маргарита Николаевна «выполняла обязанность руководителя» дипломников и аспирантов. Она жила интересами и проблемами своих учеников. И формализмом Маргарита Николаевна не была никогда. Однажды она попросила меня (еще до поступления в аспирантуру) изложить на одной странице концепцию работы. Я принесла, но не текст с формулировками и определениями, а таблицу. Шла к Маргарите Николаевне домой, как обычно, часов в 10 вечера. Страшно боялась, что она не станет даже смотреть, разбираться не захочет. Маргарита Николаевна посмотрела, помолчала и говорит: «Ну, так что, теперь осталась ерунда – написать текст диссертации. И не забудьте эту таблицу включить в текст как приложение. Хорошая таблица, обобщающая!».

Маргарита Николаевна всегда отличалась непостижимым умением смотреть «в корень» любой проблемы. В роли заведующего кафедрой, приезжая на работу все с большими и большими трудностями, она успевала за несколько часов разгрести вал различных административных дел, при этом контролировала работу преподавателей, была в курсе личных дел сотрудников. Все, кто работал на кафедре русского языка и стилистики в конце 80-х – начале 90-х гг., согласятся со мной: мы (замечу, взрослые, физически здоровые люди) были за Кожиной как за каменной стеной. Она не просто руководила – а помогала, как сейчас говорят, выстроить перспективу карьерного роста. Кто не помнит знаменитые кожинские карточки, на

которых записаны дела на каждый рабочий день?! Мы все – лаборанты, ассистенты, доценты – могли вздохнуть свободно только тогда, когда из карточки вычеркивалась последняя строчка. Иногда это случалось поздним вечером, даже после закрытия пятого корпуса на ключ. Но все понимали, что на этих карточках записана наша научная судьба: наши конференции, командировки, стажировки, публикации, оппоненты и пр. и пр. И только двумя словами отмечено то, что нужно самой Маргарите Николаевне, – вызвать такси на 22.40.

Конечно, каждый день жизни Маргариты Николаевны – подвиг. По сей день она, преодолевая трудности, стараясь не думать о недуге, нагружает себя работой настолько, насколько позволяют обстоятельства. При этом любому, кто беседует с Маргаритой Николаевной, и в голову не придет, что она живет достаточно изолированно, лишена возможности свободно передвигаться. Она всегда в курсе событий: вот только что закончила читать интересную статью в последнем выпуске иностранного журнала, вот посмотрела новую театральную постановку на канале «Культура»... Многое становится возможным благодаря помощи сестры, Ирины Николаевны. Ей удалось создать особую атмосферу кожвинской квартиры. Все, кто посещает квартиру Кожвиных в первый раз (дипломники, аспиранты), удивляются огромному количеству книг. Затем начинают понимать, что не только книги, но и многие другие предметы в квартире поселяются надолго, обрастают своей историей, демонстрируют свой особый характер. Кто из нас не помнит знаменитый папоротник Маргариты Николаевны? Студенты и сейчас рассказывают, что мощный «хмурый» цветок как будто присматривает за гостями, если хозяйка удаляется из комнаты. И наконец, поражает всякий раз скромность и простота быта: ничего давящего, вычурного, никаких излишеств. Только самое необходимое. Наверное, это и есть простота величия – величия духа.

Трудно рассказывать о Маргарите Николаевне. Это, то же самое, что рассказывать о горной вершине, находясь у ее подножия. Многого мы не знаем, а чего-то нам не дано постичь. Но в одном, я думаю, со мной согласятся все, кто про-



*шел кожинскую школу аспирантства и работы на кафедре: она не только сама является без всякого преувеличения крупнейшим ученым нашего времени. Она умеет еще и выращивать целеустремленных, одержимых наукой учеников. Таким, я думаю, и должен быть настоящий ученый, филолог, интеллигент. Таким должен быть настоящий Учитель.*

М.Н. Кожина – не только лидер известной в стране и за рубежом научной школы, но и крупный организатор науки.

В 1992 г. Комитет языкознания и Институт польского языка Польской академии наук начали издавать международный журнал «Stylistyka». Идею подхватили сербские стилисты, учредившие в Белграде международный журнал «Стил». В составе редколлегии этих журналов известные ученые: Ст. Гайда (Польша), М. Елинек (Чехия), Й. Мистрик (Словакия), Б. Сандиг (Германия), М. Чаркич (Сербия) – и среди них М.Н. Кожина, представляющая российскую лингвистику. Эти журналы отражают динамичную познавательную ситуацию – многоаспектное исследование проблем функционирования языка, объединенных стилистическим подходом. При этом стилистика понимается очень широко, как междисциплинарная речеведческая наука, охватывающая целый комплекс проблем – от стилевой компетенции до индивидуальных стилей с учетом психического, социального и культурного контекстов. Наряду с изданием международных журналов была поставлена задача интеграции достижений в смежных дисциплинах по вопросам, входящим в понятие «стиль». Решению всех этих задач способствовала реализация международной программы «Синтез славянской стилистики», одним из соруководителей которой стала М.Н. Кожина.

Организаторскую роль Маргариты Николаевны в развитии международной стилистики трудно переоценить. Признавая ее заслуги, Ученый совет университета в г. Ополе (Польша) присвоил М.Н. Кожиной звание Почетного профессора Опольского университета. На торжественной церемонии в Польше в мае 2010 г. проф. Станислав Гайда, назвав М.Н. Кожину «первой дамой русской и мировой лингвистики», завершил свою речь такими словами: «Пани профессор войдет в прекрасный список почетных профессоров и докторов нашего университета,

являясь в нем звездой первой величины». Нельзя не отметить, что Кожина – единственный на сегодняшний день сотрудник ПГУ, имеющий статус почетного профессора зарубежного вуза.

Своего апогея пермская стилистическая школа достигла на рубеже веков, что выразилось в защите пяти докторских диссертаций: Т.Б. Трошевой (1999), Е.А. Баженовой (2001), В.А. Салимовского (2002), Л.Р. Дускаевой (2004), Н.В. Данилевской (2006). Результатом напряженной творческой работы всего коллектива под руководством М.Н. Кожиной стало и создание уникального «Стилистического энциклопедического словаря русского языка», который вышел в издательстве «Флинта – Наука» в 2003 г. (второе издание в 2006 г.). Этот словарь – своего рода компендиум по стилистике: в нем полно и системно отражено современное состояние науки, представлено ее становление, развитие и перспективы. Проф. К.Э. Штайн из Ставропольского университета назвала Стилистический словарь «фундаментальным изданием кафедры русского языка и стилистики Пермского университета», подчеркнув при этом: «Пермская лингвистическая школа подтвердила еще раз, что ей принадлежат приоритетные позиции в области изучения стилистики русского языка, поэтому появление столь значительного труда – закономерный результат многолетней работы пермских ученых».

Школа Кожиной – это действительно научная школа с четкой программой и отработанной системой методов, притом отнюдь не сковывающая «школьников», поскольку лишена догматизма.

Школа Кожиной имеет будущее. Ее позитивная перспектива не только обусловлена развивающейся теорией речеведения, но и сформулирована, как всегда, с особым чувством нового, в программных статьях Маргариты Николаевны: «Истоки и перспективы речеведения» (Саратов), «Стилистика и речеведение на современном этапе» (Белград), «Стилистика жива!» (Пермь).

Обоснованный М.Н. Кожиной 50 лет назад подход к анализу речи оказался чрезвычайно продуктивным и стал неотъемлемым признаком стилистики. Плодотворное развитие этой ре-

человеческой науки закономерно, поскольку современная историческая ситуация – общественная, социокультурная, коммуникативная, языковая – как нельзя лучше способствует исследованию динамической, функциональной стороны языка, его использования в различных сферах живой речевой деятельности человека.

...Для тех, кто сегодня переступает порог студенческой аудитории, М.Н. Кожина действительно *легенда*, классик отечественной лингвистики, автор вузовского учебника. Для нас же, ее непосредственных учеников и коллег, Маргарита Николаевна – близкий человек, которому мы обязаны своей состоявшейся профессиональной судьбой.

*Т.А. Сироткина*<sup>3</sup>  
*И.И. Русинова*<sup>4</sup>

## **ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ПОЛЯКОВА И ШКОЛА ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ**

«Полякова Елена Николаевна, исследователь в области русской исторической лексикологии, лексикографии и ономастики, автор книг по лексике, топонимии и антропонимии пермских памятников письменности XVI – XVIII веков и русских говоров Прикамья, профессор Пермского государственного университета, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации», – этими словами начинается библиографический указатель научных работ Елены Николаевны, изданный в 2002 году к ее 70-летию. Но есть у Елены Николаевны еще один титул, не отраженный в издании – заслуженный профессор ПГУ.

---

<sup>3</sup> Сироткина Т.А., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и методики его преподавания Сургутского государственного педагогического университета.

<sup>4</sup> Русинова И.И., выпускница 1986 г., кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и славянского языкознания ПГУ.

В этих ёмких определениях отражена одна из главных ипостасей Елены Николаевны – Исследователь. Назовем основные направления ее научной деятельности – история русского языка, палеография, диалектология, ономастика, источниковедение – и охарактеризуем некоторые из них.

### **История русского языка**

Свое увлечение историей русского языка Елена Николаевна связывает с личностью Ксении Александровны Федоровой. В автобиографии об этом влиянии Елена Николаевна пишет так: *«Моим главным учителем в университете была Ксения Александровна Федорова – доцент кафедры русского языка и общего языкознания, человек большой души, прекрасный специалист в области истории русского языка и диалектологии, очень требовательный к себе и к своим ученикам ученый. Именно она принесла к нам на спецсеминар подлинные скорописные свитки XVII в. и увлекла меня проблемами их расшифровки и анализа языка. Под ее руководством я писала дипломную работу «Палеографический и лингвистический анализ шадринской рукописи XVII века».*

Продолжая начатое в студенческие годы, будучи преподавателем Кунгурского сельскохозяйственного техникума, Елена Николаевна разобрала коллекцию свитков Пермского краеведческого музея и составила их коллекционную опись, а затем описала коллекцию свитков и тетрадей XVI – XVIII вв. Кунгурского краеведческого музея. Параллельно с этим она начинает поиски пермских текстов в архивах, музеях, библиотеках различных городов: Москвы (Российский государственный архив древних актов, Российская государственная библиотека), Санкт-Петербурга (архив Института истории Российской академии наук), различных хранилищах Пермского края (музеи Чердыни, Соликамска, Кунгура), хранилищах Перми (Государственный архив Пермского края, библиотека им. Горького, краевой музей). Елена Николаевна рассматривала местную лексику в сопоставлении ее с материалами центральных и не пермских памятников, что дало возможность поставить вопрос о роли делового языка в формировании лексики русского литературного

языка XVII века. Это и стало основной мыслью докторской диссертации Елены Николаевны «Лексика пермских памятников XVII – начала XVIII века (к проблеме делового языка как функциональной разновидности русского литературного языка)», которая была защищена в 1983 году.

Так постепенно накапливался материал для создания «Словаря пермских памятников XVI – начала XVIII века (вып. 1 – 6. Пермь, 1993 – 2001). Это был первый опыт лексикографирования материалов деловой письменности Верхнего и Среднего Прикамья за длительный период (1558 – 1715 гг.), отразивший состояние делового языка и особенности устной речи в регионе.

Параллельно с созданием словаря и написанием диссертации Е.Н. Полякова пишет учебное пособие «Лексика местных деловых памятников и принципы ее изучения (1798 г.)». Следующей книгой стало учебное пособие «Русская региональная историческая лексикография» (1990), в котором обобщает свой опыт лексикографического описания местных памятников деловой письменности и дает рекомендации всем исследователям, которые сталкиваются с аналогичными научными проблемами.

Возвращаясь снова и снова к данным пермских памятников, оценивая их с разных позиций, пополняя картотеку, Елена Николаевна решает переиздать словарь. В 2010 году увидел свет двухтомный «Словарь лексики пермских памятников XVI – начала XVIII века». Новое издание существенно дополнено обнаруженными в последние годы материалами: в корпус словаря введено более 700 новых словарных статей и большое количество новых цитат из текстов памятников. Они позволили выявить новые значения описанных ранее слов или уточнить их семантику. Кроме того, в отдельные словарные статьи словаря включены прозвища, образованные из слов нарицательных, употреблявшихся в живой речи жителей Прикамья, но не попавших в памятники письменности (*Весёлко, Заяка, Лошило*). Словарь содержит материалы по истории, этнографии и географии края, поэтому представляет интерес для очень широкого круга читателей.

Не случайно и то, что многие аспиранты Елены Николаевны занимались именно проблемами исторической лексикологии. В 1996 году защищает кандидатскую диссертацию Л.В. Соколовская. Тема ее работы – «История слов с корнем -лук-/-ляк- в русском языке XI – XX вв. (семантический аспект)». «Отвлеченные существительные в кунгурской деловой письменности середины XVI – начала XVIII века (словообразовательный и стилистический аспекты)» – так звучит тема кандидатской диссертации Л.А. Беловой, защитившей ее в 1997 году.

Исторической ономастике посвящены две диссертации аспирантов Елены Николаевны: в 1999 году защищается Н.В. Медведева с темой «Антропонимия Прикамья первой половины XVII века в динамическом аспекте (на материале переписных документов по вотчинам Строгановых)», а в 2000 году – Д.В. Семькин, исследовавший антропонимию чердынской ре-визской сказки 1711 года.

### **Диалектология**

Исследование лексики пермских памятников Елена Николаевна проводит, сопоставляя ее с материалами пермских говоров. Она выехала первый раз в диалектологическую экспедицию еще в студенческие годы, в «холодное лето пятьдесят третьего», и интерес к диалектной лексике, возникший именно там, побуждает Елену Николаевну, когда она уже стала сотрудником Пермского государственного университета, к изучению речи жителей сел и деревень разных территорий Пермской области. Елена Николаевна участвует в сборе материала для картотеки и в написании «Словаря говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области», записывает лексику в Чердынском, Соликамском, Ильинском, Добрянском, Карагайском, Оханском, Осинском, Частинском и других районах. По разработанной ей «Программе собирания географических терминов и названий хозяйственных участков» обследованы говоры более 200 населенных пунктов края. На основе полученных данных написана книга «От арайны до яра: Русская народная географическая терминология Пермской области» (1988), в которой, на-

ряду с современными, были использованы и материалы пермских памятников письменности.

На основе книги «От арайны до яра», но с включением огромного пласта новых материалов Елена Николаевна составила «Словарь географических терминов в русской речи Пермского края», вышедший в 2007 году. Этот словарь содержит описание более 1,5 тысяч диалектных и общерусских слов, называющих географические объекты. При составлении словаря преследовались две цели: во-первых, показать богатство русской речи, ценность современной лексики и исторические языковые закономерности читателям; во-вторых, сохранить записи живой речи для науки, так как в связи с изменениями в общественной жизни меняется и состав лексики говоров, часть слов утрачивается. Так потеряны говоры многих так называемых «неперспективных деревень», в которых в прошлом (в 60 – 80-е гг.) были сделаны записи, использованные в словаре.

Являясь одним из авторов «Словаря русских говоров севера Пермского края», на базе материалов картотеки географических терминов Елена Николаевна написала словарные статьи этой тематической группы для нового диалектного словаря кафедры.

Диалектные материалы и данные памятников явились основанием для описания Е.Н. Поляковой этапов формирования пермских говоров: в первой части коллективной монографии «Русские говоры пермского региона» (1998), написанной ею, рассматриваются вопросы формирования пермских говоров, начиная с XV века.

И это направление исследований Елены Николаевны не осталось без продолжателей. В 1996 году ее аспирантка И.И. Русинова защищает диссертацию «Глагольные вербальные формулы в быличках севера Пермской области» и сейчас продолжает заниматься пермской диалектологией, возглавляя коллектив создателей «Словаря русских говоров севера Пермского края», руководя сбором диалектного материала для «Лексического атласа русских народных говоров».

Учебное пособие «Региональная лексикология и ономастика», написанное Е.Н. Поляковой в 2006 году, показывает на

местном материале состав и закономерности развития лексики и ономастики края, происхождение и историю диалектной лексики и ономастики (*костёр, ляд, согра, отного, степь*), этимологию диалектных основ пермских фамилий (*Баталов, Бузунов, Вакорев, Воропаев, Кондырев* и др.), отражение в языке взаимодействия различных языков Прикамья.

В 2009 году вышло еще одно учебное пособие Елены Николаевны – «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего Прикамья». В пособии решаются проблемы формирования и функционирования русской речи в этом регионе, связи русских говоров с коми-пермяцкими, рассматривается лексика и ономастика края в аспекте отражения в ней материальной и духовной культуры, показано происхождение и история отдельных слов (*гляден, кекур, пока*) и топонимов (*Егошиха, Пермь, Слудка*).

Монографиями, учебными пособиями, научными статьями далеко не исчерпывается научная и учебная деятельность Елены Николаевны. С 1985 по 2000 год она являлась членом специализированного совета по защите докторских диссертаций при Уральском государственном университете. С 1991 по 2000 год была заместителем председателя диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций при Пермском государственном университете, позже (с 2000 года по настоящее время) – членом диссертационного совета по защите докторских диссертаций при Пермском государственном университете.

Она ежегодно составляет десятки отзывов и рецензий (на кандидатские и докторские диссертации, авторефераты, учебники и учебные пособия, учебные программы). Елена Николаевна для многих любимейший рецензент и оппонент, но не потому, что от нее легко получить хвалебный отзыв. Просто все знают: Полякова просто так, незаслуженно, не будет ни превозносить, ни ругать. Отзыв будет содержать максимально объективную оценку научного труда.

### **Ономастика**

К исследованию пермских имен собственных Е.Н. Полякова обращается еще в 60-е годы. В сборнике всеосо-



юзной конференции по топонимике СССР (1965) публикуется ее статья «Из наблюдений над топонимикой д. Акчим Красновишерского района Пермской области в связи с составлением полного словаря акчимского говора». Проблема включения имен собственных в диалектный словарь недифференциального типа не просто обозначается ученым, занимающимся в это время другими немаловажными изысканиями в области лексики, а серьезно обсуждается. Елена Николаевна продолжает размышлять на эту тему на протяжении долгого времени. Не случайно в этом плане появление у нее аспирантов, чьи темы непосредственно связаны с данной проблемой: в 1993 году защищает кандидатскую диссертацию «Топонимы и оттопонимические единицы в лексической системе одного говора (говора д. Акчим Пермской области)» В.А. Малышева, в 1998 году – кандидатскую диссертацию «Русская гидронимия и ойконимия бассейна реки Обвы на Западном Урале» О.В. Гордеева, в 1999 году – кандидатскую диссертацию «Антропонимы в лексической системе одного говора и их лексикография в недифференциальном диалектном словаре (на материале говора деревни Акчим Пермской области)» Т.А. Сироткина, в 2003 – кандидатскую диссертацию «Реконструкция русской апеллятивной лексики на материале ойконимии Пермской области» М.В. Богачева.

В 1975 году в Москве в издательстве «Просвещение» выходит в свет стотысячным тиражом настольная книга всех отечественных ономастов – «Из истории русских имен и фамилий». Адресованная школьникам, написанная просто и понятно, данная книга содержит глубокие наблюдения над тем, когда и как формировалась русская антропонимическая система. Став библиографической редкостью, но будучи востребованной в образовательном сообществе, в 2002 году эта книга была переиздана.

В словаре «К истокам пермских фамилий» (1997) описано происхождение около 2,5 тысяч фамилий, история которых начинается в XVI – XVII вв. на территории Пермской области. Он составлен по рукописным переписным книгам и судебно-административным актам, хранящимся в архивах, музеях и библиотеках различных городов страны. А в «Словаре пермских фамилий» (2005) представлено уже около 5,5 тысяч фамилий,

возникших в Пермском крае или принесенных сюда с других территорий России в XVI – XVIII вв. В этом словаре показаны способы образования фамилий, представлено восстановленное значение слов, употреблявшихся в прошлом в пермских говорах. Дело в том, что большую часть пермских фамилий составляют такие, которые образованы от прозвищ. Е.Н. Полякова указывает, от какого прозвища возникла фамилия и какое слово нарицательное могло это прозвище дать. Значение этих слов восстанавливается на основе сопоставления их с материалами исторических, диалектных и этимологических словарей русского языка (ЖУЛАНОВ. *Фамилия от прозвища Жулан из слова жулан – в пермских говорах ‘снегирь’* (с. 132). ПОВАРНИЦЫН. *Фамилия от прозвища Поварница ‘разливательная ложка, поварешка’. Прозвище мог получить также тот, кто вываривает соль из соляного раствора* (с. 298)). Прозвища, образованные от коми, коми-пермяцких слов, анализируются с привлечением словарей соответствующих языков (ТУРЫШЕВ. *Фамилия от прозвища Турыш из коми слова турыш ‘кладовая при охотничьей избушке; лесная кладовая на стойках’* (с. 386)). Таким образом, словарь показывает старейшие русские фамилии Пермского края и дает материал для исследователей лексики прошлого, не зафиксированной в памятниках письменности.

Елена Николаевна, много лет занимаясь изучением пермских памятников, составила картотеку пермских имен и на базе этой картотеки написала и выпустила в 2007 году «Словарь имен жителей Пермского края XVI–XVIII веков». В книге более 1900 словарных статей, посвященных именам, зафиксированным в памятниках письменности указанного периода. В нем рассмотрены календарные имена (*Аникий, Еупл, Дария*), некалендарные имена (*Бурундук, Варач, Дунай*), имена церковно-книжного (*Горгоний, Иакинф, Евфимия*) и делового языка (*Аким, Евгений, Анисица*), а также живой речи (*Антошка, Борька, Олёнка*). В словаре показаны различные формы имен (иногда многочисленные), возникшие в Пермском крае (например, от Варфоломей – *Варфолом, Варфолома, Вахромей, Вахромий, Вохромей*), приведены имена, образованные от полных имен, т. е. неполные и оценочные антропонимы, зафиксированные в перм-

ских памятниках (например, от Александр – *Алекса, Александрик, Александрко, Сандрак, Сандрик, Санька, Саня, Саша*). Словарь посвящен русским именам, но поскольку Пермский край всегда был многонациональным и многоязычным, в приложении к словарю дан список 38 тюркских и финно-угорских имен, зафиксированных в русских памятниках XI–XVIII веков.

Издание предназначено не только для научных работников, им интересуются школьники, студенты, краеведы и все, кто неравнодушен к истории своего края.

### **Лаборатория «Духовная культура Прикамья в лингвистическом аспекте»**

Еще одним научным детищем Елены Николаевны является руководимая ею на протяжении многих лет лаборатория «Духовная культура Прикамья в лингвистическом аспекте». Начало этой работы уходит в советские времена, когда Е.Н. Полякова участвовала в реализации комплексной программы Минвуза СССР «Духовная культура Урала». Постепенно вокруг Елены Николаевны образовался круг ее учеников и коллег (И. И. Русинова, Л.А. Белова, М.В. Богачева, Ю.В. Зверева, Ю.А. Шкураток, Н.В. Чугаев и др.), которые тоже были ее учениками (в основном дипломниками и аспирантами), и эта лаборатория стала сугубо лингвистической. Именно Елена Николаевна выступает вдохновителем новых идей, оказывает поддержку всем проектам, которые задумываются и выполняются в рамках лаборатории (например, новым региональным словарям), руководит многочисленными научными исследованиями, поддержанными грантами различных научных фондов. В числе последних «грантовских» исследований двухмиллионный научный проект 2009-2011 гг. «Лингвокультурное пространство Верхнего и Среднего Прикамья», финансируемый Министерством образования и науки РФ в рамках Аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциал высшей школы».

Кроме научной, Елена Николаевна ведет большую общественную деятельность. Например, долгие годы (с 1973 по 2008 год) она работала в комиссии по наречению улиц и других

объектов Перми при отделе культуры Администрации города, а с 2008 года во вновь созданном общественном совете по топонимике при Администрации города Перми, возглавляемом мэром.

В пределах одной публикации невозможно перечислить все, чем занимается профессор Е.Н. Полякова. Остается только удивляться ее глубокому знанию предмета и тонкому чувству языка, неиссякаемой энергии, способности воплощать свои научные замыслы, щедро дарить себя многочисленным ученикам и последователям, среди которых есть такие, которые работают над докторскими диссертациями.

## АКЧИМСКАЯ МАТРИЦА

*Л.А. Грузберг<sup>5</sup>*

В зачине было, конечно же, слово.

Нина Евгеньевна Васильева, автор идеи этого юбилейного Сборника, сказала, что Сборник будет содержать несколько *проблемных узлов* и что *проблемный узел* под условным названием АКЧИМ обеспечивают диалектологи...

Диалектологи начали, конечно же, с вопроса.

Опрашиваемыми стали выпускники филологического факультета от 1955 до 2010 года выпуска. Опрос проводился в ходе личных бесед, телефонных и скайповых разговоров и по электронной почте. Строго индивидуально. Точнее, опросов было два. При втором информанты отвечали на вопрос: «Какой заголовок Вы предложили бы для раздела, касающегося Акчима?» (Да простит нас Нина Евгеньевна, что мы *проблемный узел* переименовали в *раздел*).

Вот некоторые ответы (порядок – алфавитный): Акчим; Акчим в тебе и во мне; Акчим – диалектологическая Мекка; Акчим – диалектологическая столица Европы; Акчимада; Акчим как состояние души; Акчим – любовь моя; Акчим – наше всё;

---

<sup>5</sup> Грузберг Л.А., выпускница 1959 г., доцент кафедры общего и славянского языкознания ПГУ.

Акчим – это событие; Акчим – это судьба; Акчимская матрица; Все начинается с А; Диалектная изнанка языка; (Какое-нибудь) диалектное выражение; Есть Акчим, который я вижу во сне; И это все о нем; И я там был; Кладовая народной речи; Концепт АКЧИМ; Кто бывал в экспедиции...; Мы, словарики; Нас вырастил Акчим (на верность науке); Прекрасная северная сторона; Северная страна; Собираем слова; Таинство языка...

*Что же из этого следует?*

Следует, наверное, ознакомиться с данными первого опроса. Он представлял собой ассоциативный эксперимент. Информантам предлагалось привести три ассоциации на словостимул *Акчим*. Некоторые ответы (порядок – по мере поступления):

- глушь, старина, первозданность, север;
- словарь, экспедиции, бабушки;
- пермское село, Франциска;
- медвежий угол, Вишера, пятый курс;
- Вишера, Франциска Леонтьевна, моторная лодка;
- Франциска Леонтьевна, словарь, ПГУ;
- экспедиции, Франциска, картотека;
- словарный кабинет, Людмила Александровна, студенчество;
- перлы народной речи, карточки, Вишера;
- белые ночи, Соломон Юрьевич, бабушка;
- первозданная красота, лошадь с саними, акчимцы;
- экспедиция, студенческие годы, народная речь;
- словарь, наука.

Самые высокочастотные реакции (порядок – по убывающей частотности): *экспедиции (экспедиция), Франциска Леонтьевна (Франциска), Вишера, карточки (картотека), словарь, бабушки, народная речь (перлы народной речи), первозданность (первозданная красота)*.

Обобщенное ассоциативное поле позволяет (с некоторой – неизбежной – долей условности) вычленил следующие смысловые доминанты (порядок перечисления – случайный): «*Мы, словарики*» (словарь, картотека, Словарный кабинет, карточки, перлы народной речи); «*Прекрасная северная сторона*» (перво-

зданная красота, первозданность, север, белые ночи, Вишера); «Кто бывал в экспедиции...» (экспедиции, бабушки, акчимцы, глушь, старина, медвежий угол, моторная лодка, лошадь с санями); «Пора студенческая» (студенчество, студенческие годы, ПГУ, пятый курс, Франциска Леонтьевна, Соломон Юрьевич, Людмила Александровна).

*Что же из этого следует?*

Следует, по-видимому, попытаться рассказать о том Акчине, который видят во сне, который олицетворяет прекрасные студенческие годы, который приоткрыл таинства языка, стал диалектологической столицей (и не так уж важно – Европы, Урала, Пермского университета, Пермского края или всего мира...) и *просто* состоянием души. Иначе говоря – воспроизвести акчимскую матрицу.

***Н.В. Горланова<sup>6</sup>***

### **Акчимиада**

Наш друг Саша Баранов предполагал, что название Акчим происходит от того, что его жители все время вопрошают: – Ак чё мы?! Мы хохотали. Казалось, что в этом вопросе сгустились глобальные недоумения русской души: кто виноват? Что делать? Кому на Руси жить хорошо?

#### *О войне*

У всех у нас были любимые информанты. Одним нравились люди с юмором, а юноши любили выпить с мужиками и записать истории про рыбалку, охоту. Кто-то из полевых исследователей дежурил в магазине, чтобы «охватить большой контингент». За детьми было очень интересно записывать, потому что они непосредственны. Франциска Леонтьевна любила Анну Герасимовну за ее мудрость. А я предпочитала Степаниду. Писала диссертацию по сравнениям в акчимском говоре, и речь Степаниды была просто подарком небес: «У них в семье одни девки, как шипишный куст (имелся в виду цветущий куст ши-

---

<sup>6</sup> Горланова Н.В., выпускница 1970 г., писательница.

повника)». «Лампочка, как собака, не горит». И вот Степанида сильно заболела. А я жила у Морозихи, пришла на обед опечаленная. Моя хозяйка узнала причину и разразилась: «Ты Степаниду жалеешь? А меня не жалеешь. Она всю жизнь с мужем. А я одна бьюсь-бьюсь! Пятьдесят четыре мужика ушли на фронт из Акчима, и поезд разбомбило до фронта еще. Вернулись четыре, все израненные. Как почтальонша пошла похоронки разносить из дома в дом (Морозиха в воздухе начертила зигзаг), по всей деревне вой пошел». Я посчитала: наш разговор был в 74-м году. С войны прошло тридцать лет. А горе не утихло, зависть не устала к тем, кто получил обратно выживших.

Вдовая Морозиха жила очень неплохо по деревенским меркам: сын у нее был бригадир. А Степанида билась жизнь напролет в огромной нужде, до копейки все уходило на лечение мужа-инвалида. Моя Морозиха готова была отдать свой достаток, чтобы выдали ей хотя бы тяжелораненного мужа, но нет такого обменного пункта... Мы тогда впервые остро почувствовали, что войны по календарю не заканчиваются.

### *Шагал в Акчиме*

Мы вместе с мужем приехали в Акчим летом 1974 г. Только что мы поженились. В день отъезда из Перми кто-то подарил нам альбомчик Шагала. Тогда это было такое чудо, такое событие, что мы не могли расстаться с ним и взяли с собой. Хотя мы в Акчиме работали с утра до ночи и записывали беспрерывно, но урывали несколько минут, чтобы полистать Шагала (он лежал на подоконнике). Однажды мы уже проснулись и хотели встать. Тут входит Морозиха со старушками-подружками. Стала хозяйка показывать им Шагала. А мы глаза не открываем. Слушаем. Понимаем, что началось полевое исследование. Запоминаем, чтобы потом записать:

– Смотри-ко, люди летают... – А Никандрьч-от говорил, что на фронте так-от летали. А мы не верили.

– Тут не на фронте дак. Смотри: с цветами.

– Ну, наверно где-то за границей это есть.

– А вот андел с крылами. У нас в церкви были раньше такие анделы.

- А теперь все аннулировано...
- Смотрите: люди с двумя головами.
- А ведь бывают такие люди.
- Помните, теленок с двумя головами родился?...

Шагал для них был не каким-то сюрреалистом, а репортером. Ведь все, что напечатано на бумаге, – это правда! Для чего же тогда печатают, если не правда?

Мы подождали, когда старушки-информанты разойдутся по своим огородам, вскочили и все записали, радуясь, что обогатим акчимский словарь новой темой. А теперь я вспоминаю эту сцену, и хочется написать картину «Старушки рассматривают альбом Шагала».

Диссертацию я так и не защитила. Но за девятнадцать поездов в Акчим я научилась все слышать – до звука. Как писательнице это мне очень помогает. Акчимцам льстило внимание «ученых людей». В ответ они кормили нас хариусами с душиком (до революции поставляемыми к царскому столу), а ягоды и грибы мы сами собирали.

Катя Соколовская, участник диалектологической экспедиции 1966 года: «Было столько грибов, что набрали все корзинки, а в лесу продолжался грибной ужас, мы сняли ветровки и в них еще набрали. Грибовница с рябчиками – это было высшее цветение деревенской кухни, не уступающее ресторану «Доктор Живаго».

#### *О поездке в январе 1965 г.*

Руководителем у нас был Леонид Владимирович Сахарный. В Красновишерске стояла полка синих томов Марины Цветаевой из «Большой библиотеки поэта». А в Перми в это время царил жесточайший книжный голод. Анастасия Ивановна Шорина, доцент ПГУ, стояла на коленях перед книжной княгиней – директрисой магазина №1. Та растерянно вопрошала: «Из-за книги – на коленях?! – Из-за Цветаевой – могу». Вы думаете, я – Нина Горланова – затрепетала? Да я ничего, первокурсница, до этого момента о Цветаевой не слышала. Сахарный мне тогда подарил этот синий плотный том. Но в студенческом общежитии многие слишком хорошо знали, кто такая Цветаева,



и с моей полки книга исчезла в первую же ночь по приезде из экспедиции.

*Году так в 73-м* примерно, когда я сидела одна в Словарном кабинете (Ф.Л. Скитова была в докторантуре), вошли два радиожурналиста из Москвы. Они взяли у меня очень большое интервью о словаре, о красоте народной речи в Акчиме, о красоте русского севера, о народно-смеховой культуре (я тогда была помешана на Бахтине). «Живот на живот – все заживет» – подобные шуточки, записанные в Акчиме, можно встретить в моих ранних рассказах. В общем, это интервью – минут аж на 40 минут – пару раз передали по всесоюзному радио. И вдруг пришла посылка от Виктора Королева из Фрязино. Он услышал интервью, понял, что я всегда везу в Акчим подарки и лекарства, и вот прислал очень редкие антибиотики импортные и все такое. Кое-что пригодилось и мне самой! Эта дружба с Витей длилась лет 30... Хотя в Акчим я не езжу с 75 года (когда родился сын). Сколько из Фрязино щедрых подарков было получено! Сколько счастья было от Акчима!

#### *Словарь говора д. Акчим<sup>7</sup>*

Деревня Акчим «расположена на правом берегу реки Вишеры, притока Камы, недалеко от места впадения в Вишеру речки Акчим, на западном лесистом предгорье Урала. Расстояние до районного центра – г. Красновишерска – 65 км. (Красновишерск отделяет от Перми 524 км). Точных сведений о времени основания деревни и ее первых жителях в специальной литературе нет. Известно, однако, что заселение бассейна Вишеры русскими относится к середине XVII в. Предшественниками русских здесь были манси. Сами акчимцы рассказывают, что деревня основана двумя смельчаками – Горшковым и Усаниным (все коренные жители деревни носят фамилию Горшковых и Усаниных), которые бежали в эту глухую когда-то местность,

---

<sup>7</sup> Из введения к словарю говора д. Акчим: Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области. Пермь. 1984. Вып. 1. С. 8 – 10.

спасаясь от 25-летней царской службы в армии или непосильных налогов.

Селение помечено на картах с конца XVIII в. По переписи 1810 г., в нем было 10 дворов с 72 жителями, спустя 60 лет – всего 11 дворов, к концу XIX в. – 29 хозяйств со 156 жителями. По данным на 1 января 1981 г., население деревни составляло 114 человек.

Основным занятием акчимцев в прошлом была охота и рыбная ловля. Объединяясь в небольшие группы, по 4–6 человек, мужчины два раза в год отправлялись на охоту. Поздней осенью в лодках поднимались к верховьям рек. К этому времени выпадал снег, и охотники на лыжах, таща за собой нарты с одеждой и припасами, переваливали через Уральские горы и, построив *балаганы* или расположившись в ранее поставленной избушке, начинали охоту на рябчика, белку, соболя. В начале декабря возвращались в деревню.

С февраля начиналась охота на крупного зверя – лосей, оленей, медведей. Добычу перевозили по частям, волоча тяжелые нарты через крутые горы и чащу к *становьям*, и складывали в специально построенные на высоких столбах помещения – *лабазы*, затем доставляли ее к верховьям рек и хранили до ледохода в бревенчатых срубах – *чамьях*. По вскрывшимся рекам добычу на лодках и плотах увозили домой.

Рыбу ловили сырпами и неводами. *Сырп* – огромную воронкообразную сеть – вывозили на двух лодках и, воткнув в дно реки шесты, к которым он был прикреплен, перегораживали реку. Все другие участники артели поднимались в лодках выше и пугали рыбу шумом и ударами шестов по воде, загоняя в сеть. *Сырпали* не только днем, но и ночью. Зимой сооружали *заколы* и ставили в них сплетенные из расщепленных корней ели и ивовых прутьев *морды*. Кроме *хариусов*, на которых в основном и были рассчитаны все рыболовные снаряды, ловили и мелкую рыбешку – *вандышей*.

Занимались также хлебопашеством, ведя *подсечное* хозяйство. Выбрав сухое место, рубили лес, корчевали пни и выжигали *делянку*. Через год вспахивали это место и засевали. В течение 3 – 4-х лет поле давало относительно неплохой урожай, за-

тем его оставляли, принимаясь за многотрудную работу на другом месте <...>.

Небогатые урожаи приносило и огородничество. Сеяли репу, несколько позже стали выращивать картофель, коноплю, лен. Сена заготавливали мало и нередко вынуждены были кормить скот корой рябины, мелкими ветками ивняка и березы. Одежду шили из самодельных льняных и шерстяных тканей, а также из овчины и шкур лесного зверя. Обувь тоже была самодельной – из шкур лосей и оленей <...>.

Дорог до последнего времени здесь не было. Летом ездили по реке на лодках, выдолбленных из осины, отталкиваясь березовыми шестами, а зимой по застывшей реке на лошадях, запряженных в сани. Если летом необходимо было перевезти по суше какие-либо грузы (бревна, сено, снопы), то пользовались *волокушами*. Телег здесь не было <...>.

Достаток жителей был весьма скуден. Своего хлеба не хватало. Охота богатой добычи не давала. После расчета с посредниками чердынских купцов за порох и другие охотничьи припасы остаток от основного промысла был ничтожным, а некоторые охотники оставались в долгу у купцов.

В 1884 – 86 гг. грамотные были лишь в одной акчимской семье. Школа с трехлетним обучением открылась только в начале XX в. Лечились местные жители средствами народной медицины или с помощью *бабки-знахарки* <...>.

Л.А. Грузберг

### О самоназваниях

Чаще всего акчимцы называют себя *акчимёры* (ед. ч. – *акчимёр* и *акчимёрка*): *Мы акчимские, акчимёры. Это не ругательное слово. Он акчимёр, тут родился; Акчимёрка, зачем пришла?*;

*Акчимёры, акчимёры,  
Акчимёры, вы умны!  
Писанята, писанята,  
Писанята, вы дурны!*

[*Писанята* – уроженцы, жители д. Писаная] (частушка сочинена акчимцами).

В качестве самоназвания используется и слово *акчимские* (в значении существительного): *Дак оне* [диалектологи] *не от здешних не пишут, от писанских не пишут, им надо лично от акчимских; С осени уезжали на охоту. Акчимские жили по своей речке, по Кутиму, там другие – по Вёлгуру.*

С особой лукавинкой и по-особому шутливо-горделиво жители Акчима называют себя *акчимскими хариусами*. А поскольку слово хариус живет в говоре во множестве огласовок (*х`арюз, х`арюс, х`ариуз, х`ариз, х`арис, х`-рес, х`ариес, х`ариюс, х`арьюз*), то и название жителей представлено несколькими вариантами. Ср.: *В Сылучах – монголы их зовут. Нас – акчимёры, акчимские харюзы. А в Писаном – писанские ельцы. Там много рыбы ельца; Ту деревню [Писаную] называли ельцами. А нашу деревню – кого увидят – харюсками звали. Акчимские харюски. Така кака-то была привычка; Акчимские харьюски. Харьюсками прозвали.*

Но особенно интригует, и прежде всего – своей амбивалентностью, слово *челдон* (*чалдон*). На семантической истории этого слова сказалось все: народная этимология, «нехорошая» фоносемантика, давняя традиция использования, непрозрачность внутренней формы, различия в индивидуальном восприятии слова и другие факторы. Наши попытки вразумительно рассказать об этом слове потерпели фиаско (не лег рассказ на бумагу!). И тогда мы решили представить вниманию всех читателей реальный фрагмент Акчимского словаря, где приводится это слово и ряд его производных. Делаем это с некоторым умыслом: нам хочется не только показать семантику слова *челдон* во всей ее (так и хочется сказать – *красе*) сложности, но и познакомить вас хотя бы с небольшим кусочком Словаря. Итак,

ЧЕЛДОН. 1. *По представлениям местных жителей, переселенец с Дона, его потомок.* Челдон – человек с Дона; Были раньше люди с Дону, отсюда челдоны названье; Самой такой нации нет. Вроде (рассказывают) пришёл человек с Дона и имел челнок, лодку. Ну и пошло: чёлдон, чёлдон; И прозвали нас челдонами. Это раньше человек с Дона бежашший, окоренивший

здесь; Я чалдон, я спокон веков здесь рождён. [**Так чалдон – это пришедший с Дона или, напротив, коренной местный житель?** – Л.Г.]

2. пренебр. *Приехавший издалика человек, чужак.* У нас вон всегда чалдонами зовут, у нас вроде как ругают: чужие, дальние. [**А в 1-м ЛСВ явно с гордостью сказано «Я чалдон...»** – Л.Г.]

3. пренебр. *Представитель нерусской народности.* Ты хотел нас обсмеять, но не выйдет! Не расхваливайте себя. Мы знаем вас, а вы нас, но не чалдоны мы, мы – русские! Некрасиво так говорить. [**Итак, от ‘приехавший с Дона’ до ‘нерусский’ – прямо-таки саженный семантический шаг!** – Л.Г.]

4. неодобр. *Необразованный, невежественный человек.* Чалдоны дак чалдоны и есь, необразованные; Целдоны слепые, тёмные.

ЧЕЛДЌБНЕЦ, пренебр. = *чалдон* 4. Вы нас чалдонцами не называйте, если мы не такие слова говорим!

ЧЕЛДЌБНИЙ, пренебр. *Такой, в котором проживают «чалдоны».* Страна цял-донья!

ЧЕЛДЌБИТЬ, несов. неперех. *Говорить, как местное коренное население – «чалдоны».* Это украинцы (так говорят), а деревенские чалдонят.

ЧЕЛДЌНИХА. *Женск. к чалдон* 3. А тут женщина шла с котомкой, давеча шла, а это чалдониха-то.

ЧЕЛДЌНКА. 1. *Женск. к чалдон* 3. Она чалдонка, я русский.

2. *Женск. к чалдон* 4. Чалдонка, так по-чалдонски и говорю.

ЧЕЛДЌНКА = *осиновка.* Чалдонки, лодки-осиновки, делают и так зовут.

ЧЕЛДЌНСКИЙ. 1. *Используемый местными коренными жителями.* Чальпы – это руки на чалдонском языке.

2. *Изготавливаемый местными жителями.* Штите чалдонские беда хороши мне!

3. *Добываемый местными жителями.* Чё, чалдонской рыбки (хариуса) захотели покушать?

ЧЕЛДОНЧИК, уничижит. = *челдон* 4. Цялдонцики вот настояшшые (о себе).

ЧЕЛДОНЬЯ, бран. *О девочке, женщине или при обращении к ним.* Где она, челдонья?! Неумытая челдонья, бран. Сам ты неумытая челдонья! Понятно?!

*Замечательно, не правда ли?*

## **Все начинается с А**

Первая фиксация акчимского говора относится к 1900 году, когда известнейший этнограф и фольклорист Н.Е. Ончуков исследовал по программе Российской Императорской Академии Наук ряд вишерских говоров. Из пермских диалектологов первой побывала в Акчима Франциска Леонтьевна Скитова, собиравшая в начале 50-х годов XX в. материал для кандидатской диссертации...

### *А до Акчима был Атлас*

Ф.Л. Скитова<sup>8</sup>

*В 1949 году «небольшая группа диалектологов Пермского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета имени А.М. Горького выехала в первую экспедицию для изучения народной русской речи в деревнях и селах Пермской области. С тех пор кафедра русского языка и общего языкознания регулярно направляла в районы области своих сотрудников и наиболее подготовленных студентов для фиксирования и изучения народной разговорной речи, всегда энергичной, экономной и выразительной, хранящей элементы глубокой старины и постоянно рождающей новое.*

*Из года в год увеличивалось число участников экспедиций, улучшалось качество собираемого материала, углублялось теоретическое осмысление его. К 1957 году диалектологи университета побывали в 23 районах области, исходили около*

---

<sup>8</sup> Из сб. «Живое слово в русской речи Прикамья». Пермь. 1969. Вып.1. С.3.

4000 километров, изучили по программе Академии наук СССР говоры 200 населенных пунктов».

Е.Н. Полякова<sup>9</sup>

*Июль 1953 г. Сданы экзамены за 3 курс, впереди первая в моей жизни экспедиция – диалектологическая <...>.*

*В группе лингвистов третьего курса было всего шесть человек: Ира Никольских – будущий преподаватель медучилища, три будущих кандидата филологических наук – Лия Андреева, Аида Седельникова (Шварц) и Рита Ванеева, и два будущих доктора наук – Володя Санников и я. Пишу об этом, чтобы показать, насколько серьезно нас готовили к научной работе уже в университете и насколько интересно нам было учиться. В экспедиции руководила этой группой Франциска Леонтьевна <...>.*

*Работали по академической программе сбора материалов для диалектологического Атласа русского языка. В программе в общей сложности было более 300 вопросов. На каждый необходимо было дать исчерпывающий ответ. Иногда получить его было совсем непросто. Так, надо выяснить, как произносят слово пшено (пшено, пышено, пашено или еще как-то). Спрашиваешь бабушку, показывая на ладони крупу: Как это называется? А она смотрит на тебя как на последнюю дуру и говорит: Просо. Вот и попробуй выяснить особенности фонетики слова пшено.*

*В одном месте мы никак не могли получить форму на меже. Я выспросила все, что было возможно об этой самой меже, но нужной формы нет. А уже надо уезжать. И после длительных разговоров почти в отчаянье спрашиваю: А что на ней растет? И тут бабушка, не выдержав моей тупости, чуть не расплакалась: На меже-то? Да ничего на ней не растёт... Я была счастлива: карточка заполнена, можно ехать.*

*По этим программам работали многие группы в разных районах области, и сейчас на филологическом факультете в*

---

<sup>9</sup> Из сб. «Взойди, звезда воспоминанья!». Пермь. 2006. С. 32–33.

43 аудиторши есть заветный шкаф, в котором хранятся альбомчики, сшитые из карточек, заполненных в экспедициях. Это прекрасное основание для решения многих вопросов истории языка и диалектологии, в частности классификации пермских говоров. Альбомчики еще послужат многим исследователям. А нередко это и памятник тем деревням, которые давно или недавно исчезли с карты Прикамья, и жившим в них людям.

### *S Акчим —> R экспедиции*

Словарь говора д. Акчим<sup>10</sup>

Участники лексикологических экспедиций провели в Акчима более 2000 человеко-дней, причем каждая экспедиция работала от двух до пяти недель. Полевые записи составили в целом около 23000 страниц, записи, снятые с магнитофонной ленты, – 300 страниц. Созданная на основе накопленных материалов картотека словаря включает около двух миллионов карточек.

Т.И. Жукова<sup>11</sup>

Почему-то в Акчим нас поехало четверо: наш руководитель Ангелина [А.А. Мошева], Леня Юзефович, Оля Купрюшина и я.

...Утром мы бежали с ней под уклон к Вишере, бежали по зеленой траве, бежали, распахнув руки, разметаив волосы. У воды сбросили туфли и ступили в теплую реку. Плеснули из ладоней в лицо колдовской водой, посмотрели друг на друга и рассмеялись.

– Куда плывут эти сосны-баланы?

– Смотри, а вот этот застрял на гальке. Давай его освободим.

---

<sup>10</sup> Из словаря говора д. Акчим: Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области. Пермь. 1984. Вып. 1. С. 11.

<sup>11</sup> Из сб. «Взойди, звезда воспоминанья!». Пермь. 2006. С. 184 – 185.



*Я толкнула бревно, и оно медленно, нехотя отправилось в путешествие.*

*– Эй, счастливого пути!*

*Ходили мы втроем от избы к избе, разговаривали со стариками и молодыми, записывали. Один дед зацепил меня хитрым взглядом, прищурился и сказал:*

*– А ты, девка, наша, своя.*

*Рассказывали нам про охоту, про случаи разные, угощали гольянами, квасом, пели песни. Спрашивали, когда же, наконец выйдет книжка [словарь].*

*Мы узнали, что деревья в лесу не растут, а живут. Живут, как люди. Нам так и сказали: «А еще у нас в лесу живут кедры, сосны». Мальчишки переправлялись лихо на долблёнках-пир`огах к другому берегу, белками карабкались на кедры, совали за пазухи шишки. Прямо на улице, в чугунке, варили эти еще не доспевшие шишки и угощали нас.*

*Леониду надо было уезжать, и мы дня через три его проводили. Позднее познакомилась с геологами. Однажды я заболела, меня оставили на печи. Вечером пришли Ангелина с Олей. Оля поставила на стол банку с коричневой сгущенкой, намазала на ломоть черного хлеба, протянула мне. Угощение было от геологов. Потом они подарили нам невидные серые камешки с отпечатками раковин, названия камешков были впечатляющими: брахиопода и камаратеха. Их я тоже запомнила на всю оставшуюся жизнь.*

*Через десятки лет, на далекой Вологодчине, я снова встречу с этими камешками. И, может, не обратила бы я на них внимания, если бы не отголоски нашего Акчима... Если бы не заложено было в нас нашими университетскими педагогами желание дойти до сути явлений, пытливость и стремление к новому. Я очень им благодарна. Где бы я ни была, то, что они сумели вложить в нас, было рядом со мной...*

*...Мы уходили из Акчима в светлое дождливое утро. Капли сверкали на траве, на серых стогах. Позади остались камни [скалы]. Затихала Вишера. Мы уходили от Акчима, а он оставался в нас, оставался навсегда. Он останется в нас навсегда и будет напоминать о красоте, силе и правде нашей земли.*

Н.А. Линк

*Мы знали о создании Акчимского словаря с первого курса. Невзирая на столь юный наш возраст, нам даже доверяли участвовать в разработке словарных статей, однако увидеть далекую и такую знаменитую в филологических кругах деревню мы смогли только на пятом курсе.*

*Часть словаря была почти готова, и нужно было все еще раз проверить и уточнить – в общем, как говорили в словарном кабинете, надо было ехать вычитывать словарь. Мы не очень представляли себе этот процесс, но поехать зимой в Акчим нам очень хотелось, да и компания подбиралась хорошая. Руководила нашей экспедицией Нина Горланова (почему-то все мы ее так называли, хотя на втором курсе она читала нам диалектологию, то есть была преподавателем и, конечно, тогда имела имя и отчество).*

*Стояли сильные морозы, но к моменту нашего отъезда из Перми в Соликамск они неожиданно ослабели, и пошел снег. Помню, что такое улучшение погоды не помешало надеть на себя максимально теплое и надежное – старую коричневую шубку и валенки.*

*Сама дорога в Акчим была практически дорогой на край света. Из Соликамска на автобусе мы приехали в Красновишерск, оттуда на каком-то «пазике» вместе с рабочими добрались до Мутихи. Было уже темно, когда спустились к замерзшей Вишере и пошли по тропке друг за дружкой, замирая и радуясь (городские девчонки в темноте по льду шли первый раз в жизни).*

*Акчим встретил огоньками и лаем собак. Начались экспедиционные будни, правда, на лыжах кататься все-таки успевали, а однажды соседский сын, старшеклассник, позвал меня с подружкой поехать в лес за сеном для коровы. Никогда до этого, да и после, не ездили мы в настоящих санях по заснеженному лесу в такую сказочную и нетронутую глухомань, что пропадало чувство реальности. Разве в пригородных лесах увидишь такие поляны, снежные шапки на деревьях, ширь и простор, а*

главное – вдруг показалось, что кроме нас больше никого на свете и нет.

Однако мы не только должны были восхищаться красотою, но и стать помощниками в деле укладки сена в сани. Деревенский, по-хозяйски умелый паренек вилами брал сено из заготовленной летом копны и складывал в сани, а мы должны были утаптывать его, чтобы вошло как можно больше. От работы стало жарко, сбросили шубы, топтали старательно, воз становился все выше. Чтобы все наше сооружение не рухнуло, сено закрепили специальной круглой и длинной палкой, на нее еще положили сена, забрались наверх и поехали домой. С воза смотреть кругом было еще интересней, да что там смотреть! – жить было интересней, дышать легче.

**Акчим – это судьба**

*Н.В. Горланова*

**Ряженые  
(рассказ)**

До деревни было недалеко, километров семь, но три из них в гору, поэтому Федор взял тяжелый Линин рюкзак.

– Подвижница! Что у тебя там?

– Подарки: краска для полов, лекарства для нашей хозяйки, крючки рыболовные. Не на любой крючок клюет харюжьё.

Лина с удовольствием тянула последнее слово – совсем по-усьвински. Какая она бескрайняя и яркая, эта страна народных слов! И слаще нет ничего для составителя словаря, чем поездка за текстами. Лина любила родной язык, как моряки любят море, а летчики – небо. И хорошо, что она везет сюда Федора!

– Хочешь проверить меня народом? Не оригинально.

Федор приехал к ним на кафедру из Московского университета. Он был моложе Лины на два года и боялся показаться мальчишкой, даже слова старался выговаривать по-особому, столличному. «Еще вздумает так разговаривать с Ленькой Усаниным – не дай бог!» Ленька – давнишний Линин поклонник – из охотников, и если все еще не женат...

Они почти поднялись на гору, когда неожиданно начался снегопад – к большой досаде Лины. А она-то представляла, как обомлеет Федор, едва ступив на вершину. Вид с нее должен захватить новичка: горизонт далеко, а внизу две мощные северные реки раздвигают Уральские горы и тут же сливаются воедино. Деревня примостилась как раз «на стрелке» – углом. Но сейчас, сквозь летящий снег, видно плохо, дома с трудом можно различить. Они казались маленькими, легонькими, словно прилетели вместе со снегопадом и опустились на землю – передохнуть.

– А, правда, ряженные будут? – спросил Федор, уже наслушавшийся на кафедре разговоров о всякой экзотике.

– Будут, будут.

Вопрос задел ее – только из-за ряженных поехал он, что ли?!

Стали переходить реку, навстречу хромал старичок, вышедший из крайней избы.

– Ну опять наехали геологи! – признал он Лину.

Как и большинство жителей деревни, он звал так филологов – это стало вроде шутливой пародии.

– Ты, Ивановна, долгонько у нас не была! – Он вопросительно посмотрел на Федора.

А тот не сразу понял, что это Лину назвал и по отчеству, но потом сообразил: так ей здесь выказывали уважение. Протянул старику свою руку:

– Федор.

– А по батюшке?

– Николаевич.

– Будем знакомы: Петруха Семенович.

– Так это вы – один на один с медведем?

– Я, он самый. Ты, Ивановна, уже все нахлопала!

– Немного. Приходите за крючками – мы привезли.

– К Марте?

– Надеюсь, что к ней.

Остановиться именно у Марты Ильиничны было бы удобно со всех сторон. Во-первых, потому, что пустовала летница – целая половина избы. Второе, что привлекало, – ровный нрав хозяйки. Сурова она только к тем своим ровесницам, которые

«при живых мужьях еще на судьбу жалуются». Муж Марты был в числе сорока восьми усьвинцев, которые не вернулись с войны.

Еще студенткой-первокурсницей впервые остановилась здесь Лина и за восемь лет успела подружиться с Мартой, научилась стряпать грибные пироги – излюбленное угощение Марты. Кроме всего прочего, любила Лина еще две иконы, висевшие в летнике: Георгия и Богородицу-троеручицу...

Марта Ильинична встретила их как всегда сдержанно.

– А у меня нынче в летнике теленок живет. Не знаю, как он к вам отнесется: пустит или нет? – и она направилась к поленнице.

Федор вопросительно посмотрел на Лину.

– Все нормально, – ответила она. – А теленок нам не мешает.

– Отлично! Я буду за ним все записывать.

Лина увидела, что Федор весел, а Марта совсем не «в лежку больна», как писала, значит, все будет хорошо и пора доставать подарки.

Пока хозяйка бегала за соседкой-подругой, прихромал Петруха Семенович и принес полный бидон «хариусов с душком». Федор был много наслышан о фирменном деликатесе, который в старину вывозили аж в самую Москву, но только теперь, на вкус, смог по достоинству оценить его. Он уже отложил тетрадь, хотя Лина и пыталась заставить его записывать все, что говорилось за столом, но старушки напали на нее:

– Брось ты! Пей досуха, а люби до смерти!

– Ты закуси – худушшая приехала.

– У нас, Федя, толстые так красивые кажутся. А у вас ведь надо талию, чтобы танцевать.

– Ты, Федор, к нам летом приезжай! Такое раздолье! – Петруха Семенович старался держать солидную беседу, поэтому обращался преимущественно к Федору.

И Марта наваливалась на Лину:

– Давай, не купорось старух, ешь. Живот не бутылка – не лопнет, раздастся!

Петруха Семенович разрывался: нужно и мужской разговор вести, да и Лине честь оказать.

– Ивановна, чт`о не можешь, где?

– Живот.

– Живот на живот – все заживет, – заметила Марта и подмигнула соседкам, – мы вот да вот, завтра заболят головушки-то наши!

– А и что – нам ведь не писать, не читать с утра! Нынче ведь никто на работу-то не гонит, не хочешь робить – помирай с голоду.

–Хариусы-то все?

– Рыбы нету у меня, – оправдывалась Марта, – харюзы-то сами ко мне не зайдут ведь.

– Мы сейчас, с Федей пойдем, добудем...

– Ивановна, закуси ты хорошо!

Было время, когда вино веселило Лину, а теперь, в двадцать шесть лет, единственное, что оно давало – это терпение. Она говорила себе: «А ведь еще все не так плохо с Федором, еще можно терпеть его презрение к провинции, его мечту поскорее обратно в Москву. Можно, можно те-петь». Она посмотрела на Петруху, заснувшего прямо тут, на лавке, и на Федора, посапывающего рядом с котом на печи. «Ничего, Федор еще возмужает». Марта Ильинична ушла провожать соседку, да так, видно, там и осталась. Лина одна пошла в летницу, к теленку.

Дни полетели молниеносно, словно Богородица-троеручица быстрее, чем обычно, перебрасывала листки календаря – тремя-то руками оно сподручнее... Лина все время работала, записывала. Как раз ударили морозы, Марта Ильинична сидела в избе, ткала половики и пекла пироги, которые Федор очень полюбил. Сам он целыми днями пропадал у информантов (так по кафедральной привычке он называл жителей деревни), на обед заявлялся голодный, но блаженный и пересказывал самые лакомые кусочки записей:

– Прихожу к Дмитрию Петровичу, а девки...

– Что девки? – ревновала Лина, и глаза ее темнели, становились почти фиолетовыми.

– У нас про такие семьи, где одни девки, говорят: как ши-  
пишный куст, – добавляла Марта Ильинична, имея в виду куст  
цветущего шиповника.

– Не доходи до черноглазия! – успокаивал ее Федор. –  
Людка – двенадцать лет – чистейший литературный язык. Все  
остальные окают, чёкают... Еще бабка вышла и крестит меня:  
«Нынче уж слово-то не уронят в землю – всё подынут, запи-  
шут».

– Мать его – девяносто лет, а еще разъезжает: то у дочери,  
то у сына, – сказала Марта и спросила: – Выпил? С Митькой  
Петровичем? Он ведь выпивается... Ох уж это не человек, если  
каждый день бутылка.

– Да он... да я... Я сам купил. Он налил ухи и говорит...

– За ухой выпивает и глухой, – подсказала Лина.

– Откуда ты знаешь?

– Знаю я здесь все.

– Ой, боюсь, – подлаживался под нее Федор.

После обеда Марта Ильинична забиралась на печь – под-  
ремать. Чтобы не мешать ей, гости уходили в свою половину.  
Лина просматривала записи, тут и там дополняя текст коммен-  
тариями, для которых заранее оставляла место. А Федор пытал-  
ся отлынивать, шептал:

– Нынче ведь никто на работу-то не гонит...

Она начинала делать ошибки.

С полатей на них падали березовые веники – ни с того, ни  
с сего.

Теленок пугался и мычал.

Эти чудеса заставляли трепетать Лину. Мысленно она мо-  
лила Троеручицу: «Пошли мне ребенка! Пошли мне ребенка!»  
Но Богородица отмахивалась от грешницы всеми своими тремя  
руками. Зато Георгий смотрел не отрываясь, как Федор распус-  
кает Линину косу. Федора раздражала та сила, которая мускуль-  
но перекатывалась в заплетенной длинной и толстой косе, с рас-  
пущенными волосами Лина казалась слабой и беззащитной.

Однажды, когда они вышли из летницы, увидели: Марта  
Ильинична сосредоточенно шила из клетчатой материи что-то  
похожее на варежку. Заметив своих постояльцев, очнулась и

улыбнулась хитро, потом ловко набила «варежку» ватой и стала пришивать к мужским брюкам. Федор обрадовался:

– Ряженные? Когда?

– Завтра, завтра машкерад, – ответила хозяйка, откусывая нитку своими крепкими зубами и вешая приготовленные брюки так, чтобы ничего особенного в них не было заметно.

А назавтра с утра пришел Ленька Усанин.

Он начал ходить за Линой, когда она была первокурсницей, а он восьмиклассником. Несколько раз звал ее замуж, задаривал мехами, умолял, проклинал и даже один раз – пьяный – пытался силой утащить ее в свой дом. Но она не могла даже мысли допустить о том, что станет его женой. Пусть сильный, пусть мужественный, пусть дитя природы, но не для того же она так долго училась и пишет диссертацию, чтобы вернуться к тому, с чего начала: корова, сенокос, печь. В воспоминаниях о детстве это выглядело здорово, но стать Линой Усаниной не хотелось. Конечно, благодарность женщины, не избалованной поклонением, часто заставляла ее делать глупости: то принять подарок, то самой что-нибудь ему подарить, все это обнадеживало Леньку. Но теперь, по словам Марты, он нашел себе невесту в соседней деревне и давно не спрашивал про Лину. Дома его нынче не было, зимой он вообще бывал редко – стал бригадиром в охотничьей бригаде, успевает заработать на все про все: и на свадьбу копит, и семью свою одевает. А семья немалая: отец, мать да девять братьев и сестер, самый последний еще «рубашу застывает».

Ленькину мать считали в деревне женщиной странной, и Лина – тоже. Шутка ли – десять детей, казалось, что и сердца не хватит на всех. Но в эту зиму тоска и мечта иметь ребенка многое изменили в душе Лины: Ленькина мать уже представлялась ей мудрой и счастливой. Да еще Марта несколько раз сказала одобрительно: «Десять, и все живые! Как мураши шумят в избе-то! Десять брюшин было – подумать только!» и «Роб'ят, как чашш'а, народилось. Родила да и выкормила». Федор несколько раз ходил к Усаниной, и Лина прочла у него в тетради: «Говорится, когда маленький, так: ой, батенько, не убейся, ой, не



убейся. А когда вырастет: ой, батенько, не убей! Не так, что ли? Вон Ленька у нас нехороший пьяный-то...».

Пришел Ленька с рюкзаком, чуть ли не прямо из леса. Лина испугалась, Марта Ильинична срочно завела с ним какой-то житейский разговор, Федор, ничего не подозревая, сел записывать. Ленька ни слова против, и только к Лине с вопросами: когда, мол, выйдет, наконец, усьвинский словарь и почему она не остригает косу.

– Вот словарь выйдет, сразу остригу. В наше время коса ведь рождает не восторги, а вопросы: своя или нет?

Только здесь еще верят в мою косу.

Ленька, видимо, уловил, что ученый юноша, приехавший с Линой, не муж ей. Он раскрыл рюкзак и достал свои подарки: две шкурки куниц и одну – рыжей лисы. При муже он, конечно же, не посмел бы так разойтись.

— Ну как балерина! – восхищенно сказал он, закутав Линину голову в лисий хвост.

Лина прекрасно знала, что рыжий цвет ей не идет, но Ленька продолжал восхищаться, к нему присоединилась и Марта:

– Как невеста – хоть сейчас под венец!

Лина тут же повернула разговор: говорят: скоро свадьба?

– Да, нашел себе некрасовскую женщину.

Федор посмотрел на него с интересом, он ведь не знал, что тут насмешка над Лениным советом: мол, тебе некрасовская нужна, чтобы коня на скаку и в горящую избу могла, а не стихи читала. А Ленька вдруг подошел к Федору, вмиг забрал из его рук тетрадь – никто и слова сказать не успел, как он вырвал два листа с записью своих слов. Да еще и цыкнул:

– Разрешение спрашивать надо, молодой человек! – и вышел.

Федор схватил свою куртку, выбежал следом, но опоздал – никого. Он не знал, что Ленька – сын соседки (то есть прошел огородом). Надувшись, Федор ушел в летницу и заперся там на крючок. Лина несколько раз стучала, но в ответ слышала только возню тельца.

Про ряженных таким образом совсем забыли, поэтому «машкерад» свалился на голову неожиданно и стремительно. Федор вышел ужинать: вел себя так, как будто ничего не случилось. Марта Ильинична возилась на кухне, за перегородкой. За окном время от времени слышался шум и смех, дело обычное – время-то субботнее. Но вот шум стал нарастать, приближаться, кто-то дернул снаружи дверь, толпа ряженных ворвалась властно, в один миг перевернув все вверх дном. Кто-то стянул с полатей старую гармошку и тут же рванул что-то знакомое.

В это время некто с бычьей головой как раз лез целовать Лину, а другой – в маске собаки – обнимал Федора, не стесняясь закусывать из его тарелки. Вино лилось из неведь откуда взявшихся бутылок, не подавали только Петрухе Семеновичу – он в длинной женской юбке и белом девичьем полушалке с кистями держался с подчеркнутой скромностью. Марта Ильинична неожиданно вышла из-за перегородки – в мужском костюме, с нарисованными усами, а на голове – огромные оленьи рога. Она ринулась на Петруху с гиканьем и свистом, все отступили, и Петруха, путаясь в юбке, стал жеманно увертываться, всем своим видом показывая, что хочет сохранить невинность. Кончилось это грандиозной свалкой, после чего все схлынуло так же мгновенно, как появились, увлекая за собой Марту Ильиничну и отбрасывая всех непосвященных в сторону.

Ряженные пронеслись мимо окон и ворвались в дом Усаниных, а Лина и Федор все еще смотрели друг на друга, не решаясь сорваться и побежать следом за всеми. Федор наконец решился:

– Давай свою косметику, быстро! Тебе не стоит, а я сбегаю!

Он нарисовал веки и губы синим, нацепил на себя Линину шапку и старую фуфайку, в которой Марта ходила к корове. Фуфайка была явно мала ему, но он как-то весь ужаснулся, запахнулся и убежал, заверив Лину, что скоро вернется. Вернулся он действительно скоро – на шапке были куски навоза, и Лина чуть не заплакала.

– Отлично! – смеялся, раздеваясь, Федор. – Представляешь... Да ты хорошо ли знаешь теорию?

– Какую? – оттирая пятна на шапке, обиженно спросила она.

– Народно-смеховую?!

– Проходили на третьем курсе, а что?

– Вся Москва сейчас это знает: верх и низ. Низ – начало рождающее. Раньше послать куда-нибудь означало пожелание обновления.

– Ничего не понимаю: почему ты в навозе-то?

– Просто: послали и толкнули. Один мощный мужик-бык...

– Ленька, что ли? – спросила Лина и тут же пожалела об этом, потому что Федор сразу замкнулся.

К счастью, вернулась Марта, устало села за стол.

– Не те мои годы – бегать по деревне, пугать всех без разбору.

Сели за стол. Разговор не находился. Тут как раз под окном раздались молодые повизгивающие голоса.

– Девки маскырованные бегают, ишь шичамоча! – объяснила Марта Ильинична. – Школьники, а туда же, наряжаются.

Чей-то знакомый голосок явственно донесся сквозь двойные рамы:

– Ангелина Даваловна!

Лина вздрогнула от неожиданности. А тот же звонкий голосок вызывающе проскандировал имя-отчество Марты Ильиничны, но вместо «Ильинична» вставил отчествоподобное слово, производное от известного ругательства. На этом соло закончилось, на улице громко засмеялись. Федор прямо в рубашке выскочил на мороз, а Лина и Марта прильнули к окну: компания подростков с воплями рассыпалась по ночной деревне. Кричали что попало:

– Ой, спасайтесь, убивают! Горим – помогите! наших бьют!!!

Федор вернулся злой, а Марта стала ему же выговаривать:

– Вот ты полюбил Людку-то, дочь Митьки Петровича, за литературность, а она вишь чё вытворят! Кина им мало – скверничать охота! В двенадцать-то лет, тьфу ты, господи! Слушать не могу, – и она угрюмо полезла на печь, столкнув своего лю-

бимца-кота, чего никогда не бывало. Кот спрыгнул на пол, улегся на коврик и мгновенно невозмутимо-философски заснул.

А Федор в летнице все ворчал:

– Эх, надо было хоть одну в снег головой! Это же наглость какая, завтра пойду в школу разберусь.

– Ты чего? Сам ждал-ждал: ряженые, ряженые! Вот они, ряженые, смеховая культура.

– Культура? Тебя оплевали, Марту – у нее муж на войне погиб – обматерили. Ничего святого для них нет.

– Федор, это ж маскарад – здесь все равны. Избранных нет, тем он и хорош.

– Никогда не думал, что ты будешь эту гадость защищать...

– Ты думал: слова из них выскакивают, как чертики из табакерки, да? Да вместе с ними душа выплескивается, понял? Марта если говорила: живот на живот – все заживет, значит, сама она в народно-смеховой стихии, как рыба в воде.

– Но ей не понравилось, что Людка так выступила!

– Ну и что! Она считает: их поколению это годится, а от молодых они ждут другой культурности, чтобы как в кино...

Федор с удивлением смотрел на Лину: неужели она может защищать такую мерзость? Вспомнил, как его толкнули в навоз, раздраженно заметил:

– Да-да, вот Ленька Усанин подошел бы тебе в мужья, а больше – никто!

– В Леньке, между прочим, есть то, чего тебе недостает, – и она начала одеваться в Мартино плюшевое пальто, висевшее в летнице и обсыпанное махоркой – от моли. Косу быстро подеревенски обмотала вокруг головы, накинула шарф и провела карандашом морщины на лице. – Ты, значит, ждал прилизанных, приличных ряженых! О которых в Москве можно рассказывать в компании! Каких по программе проходили? Да?

– Не кричи. Посмотри в зеркало — на кого ты похожа!

– На себя! – и она выбежала на улицу.

Безлунная деревенская ночь встретила ее первобытной таинственностью. На миг показалось, что вокруг притаились лешие, водяные и домовые, а также прочие сверхъестественные силы. Далеко, на краю деревни, светился в окошке огонек свечи (элек-

тричество здесь выключали ровно в полночь), Лине представилось, что это не спит знахарка-ведунья-колдунья или как ее там. Небось варит приворотное зелье, а то и отворотное.

Мимо прошумели ряженные с факелами.

Петруха Семенович размахивал своим скворечником, знаменитым на всю деревню: он был сделан в виде обнаженной женщины с летком в самом детородном месте. Раньше, когда скворечник висел над домом, не одно поколение скворцов вылетело из этих чресел. Начальство, проходя мимо дома Петрухи, плевалось, а скворцы ничего, они даже одобряли такой скворечник. Но, видно, он отслужил свое и годился теперь лишь для маскарадов.

Лина догнала ряженных. Разошлись в третьем часу, Петруха на прощанье подарил ей свой скворечник.

Когда она вернулась, Федор спал. Всю ночь Лине снились скворцы, пролетавшие по воздуху в разумном порядке, красивыми зигзагами, и все влетали в Петрухин скворечник. Когда влетела последняя птица, раздалась мощная трель будильника. Федор давно проснулся и испуганно смотрел на скворечник.

### **S Акчим —> R Франциска Леонтьевна**

В.З. Санников<sup>12</sup>

*Любимыми преподавателями были (для меня, во всяком случае) Ксения Александровна Федорова (история русского языка) и Франциска Леонтьевна Скитова (общее языкознание и диалектология). Поступая в университет, я бредил русской литературой, даже и не думал стать лингвистом... Именно эти преподаватели, их увлеченность своим предметом пробудили во мне и других студентах интерес к языку и его истории. Этому отдавали они всю душу, не жалея ни сил, ни времени <...>.*

*В трудные послевоенные годы лингвисты – преподаватели и студенты российских вузов – проделали громадную работу по фиксации того, что под напором городской речи, литера-*

---

<sup>12</sup> Из сб. «Взойди, звезда воспоминанья!». Пермь. 2006. С. 41 – 43.

турного языка исчезало буквально на глазах, – народной речи, говором русского языка. Каждый пединститут или университет снаряжал с этой целью диалектологические экспедиции, которые по строго определенной программе собирали нужные материалы. Задачей было успеть зафиксировать исчезающие языковые особенности и записать как можно больше текстов живой деревенской речи.

А какой радостью в студенческие годы были сами эти диалектологические экспедиции! Ездили дважды в год, в летние и зимние каникулы обычно двумя отрядами, которыми руководили любимые наши преподаватели – Ксения Александровна и Франциска Леонтьевна...

Г.М. Лебедева<sup>13</sup>

Благодаря Франциске Леонтьевне многие мои сокурсники отдали предпочтение лингвистическим дисциплинам, особенно диалектологии. И ежегодно принимали участие в летних экспедициях за «золотинками» неповторимых народных говором. А возвращались в университет окрыленные всем увиденным, услышанным в деревенских глубинках Пермского края.

М.Б. Холмогорова<sup>14</sup>

Очень ярким явлением на факультете была Франциска Леонтьевна Скитова. Для многих поколений филологов – Франя. Уже тогда она нам представлялась очень противоречивой личностью (как сочетание Франциска и скит) – строгий преподаватель, добрая подруга в диалектологических экспедициях, парторг факультета. Трудоголик. Аналитик. Распределяет нас парами по деревням. Франя – наш центр, штаб. Мы ее любим и боимся. Я не отличалась трудолюбием и возвращалась в штаб не с тем количеством записей народного говора, с каким представляли перед Франей наши диалектологические асы – Люся Оборина [Людмила Александровна Грузберг], Люда Рындина [Людмила Евгеньевна Щербакова] и прочие. Однажды Франя,

---

<sup>13</sup> Из сб. «Взойди, звезда воспоминанья!». Пермь. 2006. С. 73.

<sup>14</sup> Там же. С. 134 – 135.

*внимательно посмотрев на меня, изрекла: «Понятно, чем вы, Миля, занимались. Вас выдает шея. Она у вас очень загорелая, а в такой позе с «объектами» [по-нынешнему, с информантами] не разговаривают, да и записывать неудобно. Было стыдно <...>».*

*Надо отдать должное Франциске Леонтьевне: благодаря ей мы прикоснулись к этой частичке России, увидели прекрасные деревенские характеры, терпеливые, добрые; яркие индивидуальности, пережившие все тяготы сельской жизни. Эти старики и старухи стали нам родными. Я уверена, что каждый из нас помнит «своих» стариков и старух, «объектов».*

Е.Н. Полякова<sup>15</sup>

*...К нам приехала Франциска Леонтьевна проверить нашу работу. Она осталась довольна сделанным, погода наладилась, стало тепло, и мы отправились купаться. Берег песчаный, в обуви идти плохо – увязаем, но много сосновых шишек – и без обуви плохо! Меня поразило, как Франциска Леонтьевна буквально мчалась по этому берегу босиком, не обращая внимания на эти шишки, а я плелась еле-еле, выбирая место для каждого шага.*

В.Г. Тиунова<sup>16</sup>

*Мы не раз спорили, сколько лет Фране – так называли Ф.Л. Скитову. Самые модные кофточки, летящая прическа, красивые ухоженные руки. Уже взрослые дочери? Трудно верить. Читала нам диалектологию, увлеченно рассказывала о северных наших говорах, волшебнице Вишере, загадочном селе Акчим <...>».*

*На Вишере с нашего курса побывали шесть студентов и признаются сегодня, что это самые яркие воспоминания последних лет университетской жизни.*

Т.И. Ерофеева

---

<sup>15</sup> Там же. С. 37.

<sup>16</sup> Там же. С. 144.

*В научной судьбе Ф.Л. Скитовой АКЧИМ сыграл – без преувеличения – основополагающую роль. На материале верхневишерских говоров (в том числе акчимского диалекта) строилась ее диссертация, великолепной научной лабораторией был Акчимский словарь. Франциска Леонтьевна была фактическим руководителем целого ряда диссертаций, исследующих самые различные аспекты народно-разговорной речи на материале говора д. Акчим.*

*Здесь же мы хотим сказать, что на акчимском фундаменте выросли многие научные идеи, выходящие за пределы не только конкретного говора, но и за пределы диалектологии, – идеи, сопряженные с общелингвистическими проблемами. Так, именно под руководством Ф.Л. Скитовой развернулась работа по сбору и интерпретации фактов языкового быта современного регионального города. Идея описания языка города с учетом диалектного окружения оказалась очень плодотворной и объединила научные интересы многих пермских лингвистов, явившись, таким образом, предпосылкой для создания Пермской школы социолингвистики.*

*В рамках настоящего издания мы лишь перечислим некоторые проблемы, разрабатываемые пермской школой социолингвистики и опирающиеся на идеи, авторство которых принадлежит Франциске Леонтьевне.*

*1. Территориальное варьирование устной формы литературного языка. Изучение языкового состояния устной речи в Пермском крае позволило сделать, в частности, следующие теоретические выводы:*

*1. Устно-разговорная форма литературного языка представляет собой систему, обнаруживая при этом специфические черты. Одной из таких черт является менее строгая нормализация, б'ольшая подвижность и изменчивость, б'ольшая проницаемость – сравнительно с кодифицированным литературным языком.*

*2. Объединяя всех носителей языка, литературный язык в его устной форме вместе с тем неодинаково реализуется на различных территориях: местные особенности, и прежде всего*



территориальные диалекты, накладывают на него свой отпечаток.

3. Оценка всех случаев диалектного воздействия как безграмотных неизбежно приводит к отказу от признания роли диалектов в развитии и совершенствовании национального языка.

4. Одним из критериев вариантности литературной нормы является статистический фактор – степень употребительности языкового элемента на определенной территории. Другой критерий, сопряженный с первым, – это соответствие вариантов тем системным отношениям, которые свойственны литературному языку в целом: варианты не должны противоречить системе.

#### II. Локализм как единица устной литературной речи.

Когда локальная вариативность устного литературного языка стала очевидной, возникла необходимость во введении новой лингвистической единицы, отражающей взаимодействие литературного языка и диалекта. Были введены новое понятие и соответствующий ему новый термин – локализм. В отличие от диалектизмов, локализмы бытуют не только в речи жителей сельской местности, но и в городской речи, а в отличие от литературных единиц, они территориально ограничены, т. е. характерны для устной речи жителей определенных регионов (в том числе для речи людей, владеющих кодифицированным литературным языком). В процессе сбора и изучения локальных единиц сформировалась идея составления Словаря локализмов.

III. Словарь локализмов, получивший в дальнейшем название «Социолингвистический глоссарий пермских локализмов», будет включать локальные единицы всех типов: собственно лексические: галить 'водить (при игре в прятки)', вышка 'чердак', бусый 'дымчато-серый'; семантические: ограда 'двор', девка 'дочь'; словообразовательные – начистовую, засоня, взди; фонематические – чё, битон, вскольз; грамматические: берёсто, яблок (ед. ч., муж. р.), бланка (жен. р.), а также локальные фразеологизмы: упасть назад себя, сидеть голодом, атомный квас 'перебродивший квас' и т. п.

Особое внимание в глоссарии уделяется разработке словарной статьи, которая дала бы возможность представить в комплексе основные параметры слова как объекта лексикографического описания и как функциональной единицы речевой деятельности.

#### IV. Явление регресса в речевой практике поколения.

Как показали исследования пермских социолингвистов, с возрастом человека заметно активизируется употребление локальных элементов в его речи. Причины такой зависимости кроются, по нашему мнению, в следующем. По мере того как человек отходит от активной общественной деятельности (работы, науки, собраний, дискуссий и т.д.), резко сокращается число сфер, в которых проявляется его речевая деятельность, общение для многих людей практически ограничивается бытовой сферой. Вследствие этого и проявляется своеобразный «речевой регресс», при котором в речи уменьшается удельный вес литературных элементов и возрастает количество локальных элементов, с детства знакомых и привычных.

Положение о речевом регрессе было высказано Франциской Леонтьевной еще в 60-е годы.

Исключительно плодотворными оказались также идеи создания речевого портрета города, исследования разговорной речи малых социальных групп (например, одной семьи) и изучения городской речи на основе архивных материалов.

Говоря об архивных материалах, в данном конкретном случае мы имеем в виду записи русской городской речи 20–30 гг. XX века, собранные под руководством профессора Бориса Александровича Ларина, заслуженного деятеля науки, учителя Франциски Леонтьевны Скитовой.

Данные картотеки, составленной по этим записям, очерчивают функциональное поле «некоего “низкого” разговорного языка»<sup>17</sup>, ибо разговорный язык города, по мнению Б.А. Ларина, есть конгломерат многих жаргонов и аргю. Самым широко представленным в этих материалах оказалось аргю заключен-

---

<sup>17</sup> Ларин Б.А. История русского языка и общее языкознание. М. 1977. С. 187.

ных Соловецких островов. Кроме того, есть записи лексики школьников, артистов, крымских босяков, картежников, барышников, офеней. В картотеке зафиксированы профессионализмы из речи шоферов, моряков, летчиков, стекольщиков, монтеров, рабочих и т. д.; жаргонизмы из речи солдат, юнкеров, гимназистов, студентов. Есть единицы городского просторечия целого ряда городов России.

Научная систематизация и описание этого уникальнейшего материала дают возможность осуществить сопоставление городской речи во времени и в пространстве, что в свою очередь обеспечивает глубину и надежность научных выводов.

### **S Акчим —> R словарь**

В 1961 году, когда звуковой и грамматический строй акчимского говора был изучен достаточно полно, диалектологи Пермского университета, напутствуемые профессором ЛГУ Борисом Александровичем Лариным, приступили к подготовке уникального труда – **полного словаря говора одной деревни**.

Словари полного типа, в отличие от так называемых дифференциальных, включают не только диалектные слова, а весь реальный лексический запас говора. О непреходящей ценности подобных словарей говорили многие языковеды и деятели культуры. Некоторые суждения:

Ф.Л. Скитова<sup>18</sup>

*Только полный, а не дифференциальный словарь современного диалекта, т. е. реально функционирующей и достаточно точно очерченной языковой единицы, позволил бы выяснить во всех деталях лексико-семантическую систему говора и тем самым в очень большой степени содействовал бы разработке одной из актуальнейших проблем современного языкознания – проблемы системы в лексике.*

---

<sup>18</sup> Из сб. «Живое слово в русской речи Прикамья». Пермь. 1969. Вып. 1. С. 9.

О.И. Блинова<sup>19</sup>

*Словари полного типа «опрокидывают бытующие еще мнения о диалекте как языковом типе второго сорта, с предельно ограниченным словарным запасом, со стилистически нивелированной организацией, со значительным преобладанием конкретной лексики перед отвлеченной и т.д.».*

Ф.Л. Скитова<sup>20</sup>

*Отражая элементы глубокой старины и ростки нового в их диалектическом единстве, полный словарь говора дал бы в руки исследователей богатейший материал для прослеживания развития лексического запаса говора, для выявления закономерностей этого развития, что в конечном итоге помогло бы глубокому изучению поступательного движения национального языка в целом и развития его ведущей формы – литературного языка – в разные эпохи.*

Ф.П. Филин<sup>21</sup>

*Такой словарь был бы интересен во многих отношениях, и попытки подготавливать полные словари каких-либо отдельных современных говоров следует всячески приветствовать.*

Ф.Л. Скитова<sup>22</sup>

*Современное языкознание, ставящее перед собой в ряду первостепенных задач изучение лексики как определенной системы, вскрытие специфических особенностей языковой системы на лексическом уровне и требующее изучения каждого конкретного явления в его обусловленности системными отношениями, испытывает острую необходимость в словарях полного типа, в том числе и в словарях, фиксирующих лексический запас*

---

<sup>19</sup> Из сл.: Полный словарь сибирского говора. Томск, 1995. Т. 4. С. 271.

<sup>20</sup> Из сб. «Живое слово в русской речи Прикамья». Пермь. 1969. Вып. 1. С. 8.

<sup>21</sup> Филин Ф.П. Проект словаря русских народных говоров. М.–Л. 1961. С. 14.

<sup>22</sup> Из сб. «Живое слово в русской речи Прикамья». Пермь. 1969. Вып. 1. С. 7.

*одного конкретного говора как разновидности живого народного языка.*

О.И. Блинова<sup>23</sup>

*Полные словари имеют большое историко-культурное значение, внося существенный вклад в решение проблемы экологии культуры, в данном случае – экологии речевой культуры народа.*

О.И. Блинова<sup>24</sup>

*Полный словарь говора – это памятник народной духовной культуры, хранилище богатств народной речи.*

Однако за вопросом о достоинствах словаря полного типа с неизбежностью встает вопрос, **почему именно акчимский говор** избран объектом описания в подобном словаре?

Создатели Словаря отвечают:

Словарь говора д. Акчим<sup>25</sup>

*Обращение именно к акчимскому говору обусловлено тем, что это говор самобытный, вполне отчетливо выделяющийся как реальная диалектная единица и вместе с тем типичный для территории относительно раннего заселения Пермской области русскими.*

*Генетически говор связан с речью жителей древней Чердыни (Перми Великой), основную массу русских первоначальников которой составили выходцы из Вятской, Вологодской, Архангельской и Новгородской земель.*

*Акчимский словарь показывает лексику говора деревни, типичной для русского Севера, где крестьянство издавна сочетало хлебопашество с охотой, рыбной ловлей и лесным промыслом.*

---

<sup>23</sup> Из сл.: Полный словарь сибирского говора. Томск, 1992. Т. 1. С. 3.

<sup>24</sup> Из сл.: Полный словарь сибирского говора. Томск, 1995. Т. 4. С. 273.

<sup>25</sup> Из словаря говора д. Акчим: Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области. Пермь. 1984. Вып. 1. С. 7.

Но до опубликования этого уникального словаря его создателей отделяло еще множество трудностей и разного рода препятствий. Перед вами – одно из свидетельств:

Т.И. Ерофеева<sup>26</sup>

*Моим первым «подвигом» на должности декана была поездка в Москву [1982 г.] за разрешением Минвуза напечатать Акчимский словарь. Над ним работали уже много лет, а возможности издания не предвиделось, поскольку Пермское издательство этим правом не обладало. Идея поездки в Москву принадлежала главному редактору словарного коллектива Франциске Леонтьевне Скитовой, которая считала, что вновь избранному молодому декану (в то время я была еще худенькой и стройной) не откажут, и возлагала на меня большие надежды, поскольку Словарь был делом ее жизни. Начиненная разной информацией о научной значимости Словаря, я приехала в Москву.*

*Прихожу к главному редактору по издательским делам. Сажусь, показываю первый том словаря, рассказываю о важности такого рода издания, которое представляет в системе говор одной деревни – д. Акчим Красновишерского района Пермской области. Чиновник внимательно слушает, затем открывает первую страницу, читает словарную статью на слово «абажур» и резюмирует: «Ничего нового я здесь не вижу, есть уже у нас такие словари!». И мои дальнейшие объяснения, показ экзотических слов, сугубо диалектных, во внимание не принимаются... На мое счастье, чиновника вызвали в другой кабинет. Разговор не окончен, я лихорадочно думаю, что бы еще такое весомое сказать, на что обратить его внимание, чтобы получить такое важное для всех словарников разрешение «в печать».*

*И тут меня озарило! «В лингвистике XX века есть много нерешенных теоретических вопросов, как например, понятие нормы, вариативности русского языка и т. д. Происходит это в том числе из-за нехватки эмпирического материала, не за-*

---

<sup>26</sup> Из сб. «Взойди, звезда воспоминанья!». Пермь. 2006. С. 101.

*фиксированного вове́ремя. Не думаете ли вы, что наши потомки будут довольны тем, что собранный в течение полувека материал не был по каким-то причинам издан?» Чиновник внимательно посмотрел на меня, подумал и... дал разрешение к публикации (правда, в сокращенном виде).*

*Сегодня вышло в свет шесть выпусков Словаря. Материалы его прочно вошли в теоретико-научный фонд русского языкознания, используются в кандидатских и докторских диссертациях.*

Первый выпуск Акчимского словаря увидел свет в 1984 году. В 1990 году появился второй выпуск, а в 1993 году на страницах «Живого слова в русской речи Прикамья» был опубликован отзыв об этом труде, написанный старшим научным сотрудником Института языкознания РАН Игорем Александровичем Поповым<sup>27</sup>, в котором, в частности, говорилось:

*Выход из печати двух выпусков Акчимского словаря – большое событие в русской диалектной лексикографии. Словарь пополнил широкий круг русских областных словарей и с большим удовлетворением воспринят научной общественностью как один из замечательных памятников народного обиходного языка нашего времени. На страницах словаря этот язык навсегда сохранится в том виде, в каком он существовал в начале второй половины XX в., хотя многое с течением времени изменится (и уже изменяется или изменилось) в этом языке. Отсюда значение Акчимского словаря трудно переоценить, в особенности учитывая ту любовь и старание, с которыми он сделан. <...>*

*В словаре масса материалов для изучения истории края лингвистами, историками и этнографами. Он – богатейший источник создания колорита народного языка в нашей художественной литературе.*

*Акчимский словарь с полным основанием можно назвать энциклопедией жизни русского народа, отраженной в языке; в*

---

<sup>27</sup> Из сб. «Живое слово в русской речи Прикамья». Пермь. 1969. Вып.1. С. 210 – 211.

словаре имеются сведения о названиях природы, человека, семейных и родственных отношений, традиционной духовной культуры, трудовой деятельности крестьянства, в которой сочеталось хлебопашество с охотой, рыбной ловлей и местными промыслами, а также жилища, одежды, пищи и т.д. <...>

*Сохраняя традиции русской диалектной лексикографии, Акчимский словарь в то же время является во многом новаторским, и его опыт весьма поучителен при создании других словарей. Это касается разных сторон словаря: организации работы, теоретических установок, методики собирания материала и т.д.*

*Составители словаря избрали трудный, мало изведанный в ту пору, но плодотворный по результатам своим путь создания словаря по возможности полного типа и последовательно прошли его как в разработке теории, так и в составлении словаря<...>.*

**Последний, шестой, выпуск Словаря только что вышел из печати.**

**Не анекдот:**

- Слушай, а на что похож сыр маскарпоне?
- Ой, да это же настоящий акчимский сливок!

(Реальный диалог, 2010).

***Е.М. Четина***<sup>28</sup>

## **ЛАБОРАТОРИЯ КУЛЬТУРНОЙ И ВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ**

Лаборатории культурной и визуальной антропологии в этом году исполняется десять лет, хотя наши первые научные материалы по народной культуре Прикамья, положившие начало текстовому и видеоархиву, были собраны намного раньше. Экспедиционные выезды первоначально были вызваны учебной не-

---

<sup>28</sup> Четина Е.М., выпускница 1982 года, доцент кафедры русской литературы ПГУ.



обходимостью и состоялись спонтанно, хотя теперь мне кажется, что все происходившее было не случайно: «поле» позвало нас в дорогу. Важно отметить, что «поле» в современной антропологии понимается не как некое объективное пространство, в котором обитают носители культуры, но как диалогическая ситуация, возникающая в ходе контакта исследователя и народной культуры.

В начале 1990-х годов фольклорная практика на филологическом факультете оказалась под угрозой. Стремительно рушились социальные связи, самораспускались общественные организации, начались криминальные войны, и вывозить филологов в экспедиции, по мнению многих, стало просто опасно. Были и экономические причины: финансирование поездок было заморожено на неопределенное время. Когда я услышала, что наши первокурсники никуда не поедут, а, возможно, фольклорную практику навсегда перенесут «в архив», стала доказывать, что без знакомства с живой народной традицией невозможно понять русскую культуру; на кафедре прозвучал вполне уместный вопрос: «Где найдете такого идиота, который согласится взять на себя ответственность?». Я ответила, что повезу студентов «в поле», хотя еще не знала, куда ехать и как организовать выезды, да и фольклористика не входила в сферу моих научных интересов.

Кстати, общаясь сегодня на Конгрессах фольклористов с коллегами из других вузов, выясняю, что многие кафедры отказались в то время от полевых выездов, а вернуть их в учебный процесс уже не удастся. Новые поколения гуманитариев, так и не включившихся в экспедиционные исследования, не подозревают, насколько обеднена их научная жизнь. Работа исключительно с архивными материалами создает у филологов ложное впечатление, что традиционная культура осталась далеко в прошлом; современные фольклористы часто изучают пост-фольклор, «интернет-фольклор», реалии массовой культуры.

Полевые выезды дают филологу не только научный, но и новый социальный, коммуникативный, жизненный опыт. Для многих студентов наша практика стала открытием нового мира, о котором они писали рассказы и статьи в факультетскую стенга-

зету «Горьковец» («Путешествие в сказку», «Странствия с открытым сердцем» и др.), часть из них продолжила ездить в экспедицию и на старших курсах, уже не для зачета, а «для души». Маршруты наших экспедиций мы выбирали сами, в первую очередь – районы культурного пограничья: Ильинский, Карагайский, Суксунский. Постепенно экспедиционные дороги привели нас в Коми-Пермяцкий автономный округ и не только потому, что степень сохранности традиции здесь достаточно высока; мы так полюбили эти места, что считаем их своей «малой родиной».

Наше внимание в ходе исследований привлекли, в первую очередь, факты народной религиозной жизни – совокупность верований, практик и нарративов, связанных с представлениями о сакральном. Сферами наиболее интенсивного проявления сакрального в собранных материалах представляли местный ландшафт, «икота» (высказывание от лица «подселенного духа»), магическая обрядность. Территория Прикамья отличается многообразием историко-культурных и природных памятников, здесь сохраняется ряд устойчивых ритуально-мифологических традиций; нам удалось собрать уникальные материалы о почитании «живых камней», заветных деревьев, старинных могильников и «чудских» колодцев. Уральская тайга Парма (в настоящее время, к сожалению, происходит ее хищническая вырубка) определяет специфику не только природного, но и этнокультурного ландшафта. Важное место в традиционной культуре продолжает занимать система представлений и правил поведения, призванных регулировать отношения человека с миром природы. Принципиально значимым представляется традиционный символизм лесного мира, который обеспечивает непрерывность и преемственность между природным / священным и культурным / мирским пространствами.

Собранный материал был настолько интересен, что возникла необходимость видеосъемок. В 1998 году все отпускные я потратила на первую видеокамеру. Учиться операторскому мастерству приходилось по очереди, съемки велись в любую погоду (иногда в сорокаградусные морозы). Мы стали ездить «в поле» не только летом, но и зимой (на Рождество и Крещение), и весной (на Великий четверг и Пасху), появилась возможность фик-

сировать не только фольклорные тексты, но и максимально широкий контекст их бытования. «Киноглаз» дополняет непосредственное наблюдение исследователя, позволяет проследить неожиданные и новые аспекты, не отрефлексированные народным сознанием и не находящие вербального выражения. Экспедиционные видеоматериалы мы начали монтировать, таким образом, пришлось приобретать еще и режиссерские навыки.

Постепенно расширялся архив текстовых и аудиовизуальных записей, которые необходимо было вводить в научное и культурное пространство. Студенты выступали с докладами на региональных и международных конференциях, принимали участие в «Летних школах» по фольклористике, печатались в сборниках научных трудов и все более втягивались в новое исследовательское пространство. При этом новые интересы не мешали изучению литературы, а, наоборот, расширяли спектр проблем. Некоторые из участников первых экспедиций стали моими дипломниками и аспирантами, успешно защитили диссертации: Алексей Курганов – по антропологии русского модернизма, Светлана Королева – по современной прозе о деревне; блестящая кандидатская диссертация и монография Ильи Роготнева посвящены исследованию универсалий смеховой культуры в русской классике. Наши выпускники, освоившие видеокамеру в ходе экспедиций, теперь успешно работают в сфере массовых коммуникаций, в кино и на телевидении (Галина Красноборова, Кирилл Пищальников, Анна Черепанова, Елена Антонова и др.). Первые навыки творческой работы они получили «в поле».

На II Всероссийском фестивале антропологических фильмов в Салехарде «Салехард – 2000» наш видеосюжет «Моление о дожде» получил первое место в одной из номинаций. В 2001 году нас пригласили принять участие в III Всемирной театральной олимпиаде в Москве. Это было грандиозное событие – в столице круглосуточно шли показы лучших театральных школ, лабораторий, народных коллективов. В рамках программы «Узкий взгляд скифа» выступали буддийские монахи, шаманы, актеры японского театра «Но», киргизские сказители; здесь были показаны и наши экспедиционные видеосюжеты, вызвавшие большой интерес. Там я впервые представила комплекс ви-

деоматериалов о пратеатральных практиках в крестьянской культуре, которые привлекли особое внимание как специалистов в сфере национально-культурных традиций, так и искусствоведов. Ранее элементы фольклорной комики, пронизывающие диалоги с «подселенным духом» в русской и коми-пермяцкой традициях, не рассматривались в научной среде. На наш взгляд, праэстетические образы и ритуалы прикамской культуры оказываются близки некоторым актуальным техникам современного европейского театра.

В 2001 году официально была оформлена новая научно-исследовательская структура – Лаборатория культурной и визуальной антропологии. Обозначенные в названии научные направления являются своего рода демаркационными линиями, определяющими междисциплинарную направленность нашей деятельности.

Расширение проблемного поля в изучении традиционной и современной культуры представляется нам одной из приоритетных задач. Мы рассматриваем традиционную культуру Пермского края как единое пространство символических реальностей, обладающее своеобразной идентификационной парадигмой. Современная народная культура характеризуется изменчивостью и вариативностью, в то же время представляет собой достаточно устойчивое поле культурных практик. Принципиально важными представляются экспедиционные исследования народной календарной и магической обрядности, выполняющей социально-регулятивные функции, актуализирующей возрастные и гендерные идентичности. Традиционный обряд в современной реальности, несмотря на редукцию ритуальной составляющей, остается событием для крестьянского мира, при этом его ведущими элементами становятся метамеханизмы, обеспечивающие значимость коллективного действия. К сожалению, в настоящее время наблюдается трансформация народных праздников и обрядовых практик в фестивальные мероприятия, где «событие» превращается в показываемое «зрелище».

Одно из направлений деятельности Лаборатории – изучение малых «городов-заводов», социокультурный облик которых во многом предопределен «петербургским текстом» и поддер-

жан сформировавшейся локальной идентичностью. Проведенные нами исследования позволяют проследить принципы организации сакрализованного городского текста, выявить сходство столичных и региональных мифологических моделей, закономерности катастрофических сценариев развития. Результаты наших полевых исследований нашли отражение в монографии «Символические реальности Пармы: Очерки традиционной культуры Пермского края» (Пермь, 2010). Принципиально важным мы считаем использование современных аудиовизуальных технологий, что позволяет не только осуществить подробную видеофиксацию традиционных обрядов, интенсифицировать сбор фольклорно-этнографических материалов, но и актуализировать новые ресурсы гуманитарного знания.

По итогам экспедиций нами были сняты антропологические фильмы: «Ты прости-ко, прощай...», «Мы с икоткой тихонько живем...», «Гаврилов день», «Турун вежан лун», «От Рождества – до Крещения», «Пасха, Плэшка, День Земли», «Всемирный Семик», «Последние поминки», в которых зафиксированы в реальном времени уникальные (ранее считавшиеся утраченными) русские, коми-пермяцкие, марийские традиции.

Сотрудники Лаборатории ведут сотрудничество с международной Комиссией по визуальной антропологии, наши фильмы демонстрировались в рамках конкурсных и тематических программ на международных фестивалях: Фестиваль визуальной культуры (Тарту, Эстония, 2005 г.), «Дни этнографического кино» (Москва, 2009 г.), Московский международный фестиваль антропологического кино (Москва, МГУ, 2010 г.), Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» (Пермь, 2002 г., 2004 г., 2007 г.). Видеоматериалы и фильмы были представлены также на международных научных форумах: 5 – 9-е Конгрессы этнологов и антропологов России, 15-й Всемирный конгресс антропологов и этнографов (Флоренция, Италия, 2003 г.), 16-й Всемирный конгресс антропологов и этнографов (Куньминь, Китай, 2009 г.), «Жан Руш фестиваль» (Париж, Франция, 2009 г.) и др.

Сфера наших визуально-антропологических исследований не ограничивается рамками традиционной культуры, снят об-

ширный видеоматериал, посвященный культурному пространству родного вуза; наш видеофильм об одном из ведущих университетских ученых – «Профессор Орлов. Левый марш» демонстрировался в тематической программе «Флаэртианы-2007».

Деятельность Лаборатории осуществляется за счет грантового финансирования; в настоящее время сфера интересов нашей исследовательской группы сосредоточена в области изучения символических ресурсов современного общества: пространственно-временных систем традиционной культуры (взаимосвязей ландшафтных объектов, календарных традиций и социальных идентичностей), культурных границ и систем идентичностей, сакральных символов в повседневной культуре, форм существования неформальных социальных сетей.

Работа Лаборатории тесно связана с образовательной деятельностью: методическое, техническое, материальное обеспечение лекционных курсов «Культурология», «История русской культуры» и спецкурсов; разработан и внедрен в учебную программу новый лекционно-практический курс «Культурная антропология».

*Т. Н. Масальцева<sup>29</sup>*

## **КАК НАЧИНАЛАСЬ ЖУРНАЛИСТИКА (об открытии специальности «Журналистика»)**

Разговоры о возможности открытия на филологическом факультете специальности «Журналистика» велись еще с середины 1970-х годов (а возможно, и ранее), поскольку около 25 % выпускников факультета работали журналистами пермских СМИ: радиостанций, телекомпаний, областных, городских и районных газет – или сотрудничали со СМИ на правах внештатных корреспондентов (правда, весьма успешно работали в пермских СМИ и выпускники исторического факультета).

---

<sup>29</sup> Татьяна Николаевна Масальцева, выпускница 1994 г., кандидат филологических наук, ст. преподаватель кафедр русской литературы и журналистики университета.

Реально такая возможность появилась только в конце 1990-х годов: в университете в это время открывались и другие специальности, например, на философско-социологическом факультете. Прежде всего, это были те специальности и направления, которых не было в других вузах города. В их числе была журналистика. Ректор университета В.В. Маланин активно поддерживал идею подготовки журналистов в университете, этот вопрос неоднократно обсуждался на Ученом совете факультета. Конечно, преподаватели филологического факультета понимали, что многие курсы необходимо будет разрабатывать заново, нужно будет перерабатывать и уже читавшиеся курсы, готовясь преподавать их именно журналистам. Но на филологическом факультете были сотрудники, имевшие опыт работы в журналистике и активно сотрудничавшие с пермскими СМИ: К.Э. Шумов, Н.Е. Васильева, В.В. Абашев. Преподаватель кафедры русского языка и стилистики Л.Р. Дускаева под руководством М.Н. Кожинной написала кандидатскую диссертацию по публицистическому стилю и взяла на себя организационный труд (переговоры с УМО по журналистике, подготовку необходимой документации и разработку программ по данной специальности). В 1997 году при кафедре русского языка и стилистики была открыта специализация по журналистике в рамках специальности «Филология», а через год, после прохождения процедуры лицензирования и аккредитации, на факультете была открыта и специальность «Журналистика». Л.Р. Дускаева выполняла обязанности руководителя специальности с правами заместителя декана филологического факультета.

Создание специальности «Журналистика» подразумевало подготовку сотрудников печатных и аудиовизуальных средств массовой информации: газет, журналов, телевидения, радио, издательств, информационных агентств, справочно-рекламных служб, служб связей с общественностью и пресс-центров.

В 1998 году от Министерства образования РФ была получена лицензия на открытие специальности «Журналистика». В 1999 году состоялся первый набор студентов, и конкурс сразу же составил около 10 человек на место (и сегодня конкурс на эту специальность остается одним из самых высоких в России).

В обучении студентов принимали участие 11 профессоров и 38 доцентов, а также бывшие выпускники факультета, имевшие опыт журналистской работы и получившие журналистское образование в других российских вузах: Т.А. Черепанова и А.Н. Маленьких, закончившие в разное время факультет журналистики МГУ, и многие действующие пермские журналисты.

Благодаря активности Лилии Рашидовны в первые годы, когда еще не хватало своих преподавателей, для чтения лекций приглашались многие именитые ученые и ведущие преподаватели из разных вузов России. Среди них М.И. Шостак (МГУ), В.В. Тулупов (Воронежский университет), А.Л. Факторович (Краснодарский университет), А.И. Акопов (Ростовский университет) и другие специалисты. Значительную поддержку новая специальность получила и от выпускницы ПГУ, члена Президиума УМО по журналистике, одного из авторов действовавшего государственного образовательного стандарта по журналистике Л.Г. Свитич, профессора кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ, автора учебных пособий «Введение в специальность. Профессия: журналист», «Социология журналистики». Л.Г. Свитич читала студентам ПГУ курс по социологии журналистики и стала первым председателем ГАК.

Студенты-журналисты проходили производственную практику в Перми и городах Пермского края, а также в самых разных городах России: Ростове-на-Дону, Краснодаре, Москве, Екатеринбурге, Саратове, Барнауле. Практические занятия и семинары проводились на редакционных площадках крупнейших творческих коллективов Перми: в редакциях печатных СМИ, теле- и радиоконпаниях. С первых дней кафедра активно привлекала к занятиям со студентами журналистов-практиков. Некоторые спецкурсы читали такие специалисты, как писатель Владимир Киршин, редактор газеты «Пермский обозреватель» (в то время еще делового издания) Светлана Горелова, обозреватель газеты «Новый компаньон» Вячеслав Запольских, бильд-редактор газеты «Звезда» Владимир Соловьёв.

В 2002 году состоялось долгожданное открытие кафедры журналистики, которой отныне предстояло стать одной из самых популярных как на филологическом факультете, так и в универ-



ситете в целом. Возглавил «новорожденную» кафедру доктор филологических наук профессор Владимир Васильевич Абашев, ставший известным, в частности, как создатель и руководитель Лаборатории литературного краеведения, Пермского общественного фонда культуры «Юрятин», заведующий кафедрой русской литературы и как один из тех, кто формирует творческую ауру Перми. Коллектив Лаборатории литературного краеведения занимался изучением истории региональной печати и накопил огромный материал о региональной культуре. В дальнейшем эта лаборатория была преобразована в лабораторию региональной культуры и СМИ при кафедре журналистики.

Коллективу кафедры удалось оборудовать компьютерный и видеоклассы, а также закупить необходимую аудио- и видеоаппаратуру для проведения занятий по радио- и телевизионной технике и технологии, организовать выпуск учебной газеты и т.д. Кафедра наладила тесное сотрудничество студентов и преподавателей с печатными СМИ города Перми и Пермского края, телерадиокомпаниями и Интернет-изданиями. Кафедрой проведены совместные семинары с другими вузами и организациями, осуществлявшими подготовку журналистов, – как в России, так и за рубежом. Например, в 2000 году в рамках проекта подготовки тележурналистов Media Academia (Нидерланды) провела в Перми обучающий семинар для студентов и преподавателей.

О работе кафедры журналистики рассказывают ее преподаватели и недавние выпускники:

*У филологов отсутствие практических навыков в журналистике при выходе на работу в СМИ компенсировалось фундаментальным гуманитарным образованием и системным мышлением, которое формировалось в курсах лингвистических дисциплин. Постепенно естественным путем сформировалась потребность в открытии новой специальности «журналистика». Изучение языка СМИ было предпринято силами лингвистов, что привело к созданию научного направления, формировало теоретическую базу. Кроме того, на филологическом факультете преподавали сотрудники, имеющие практический опыт в журналистике (бывшие редакторы газет, внештатные со-*

трудники радио, телевидения и газет). В конечном счете, сочетание этих составляющих привело к потребности более полной реализации изначального замысла.

Как правило, кафедры и факультеты журналистики делятся на два основных направления. В первом упор делается на формирование системного теоретического мышления (навыки приобретаются в ходе практической работы). Во втором упор делается на формирование навыков в ущерб теоретическим знаниям. На филологическом факультете ПГУ успешно сочетаются оба подхода.

Константин Шумов, выпускник 1982 г.,  
доцент кафедры журналистики.

Осенью 1999 года мы поступили на первый курс специальности «Журналистика» в Пермском государственном университете. Мы были первым набором, и нас было 25 человек. Забегая вперед, скажу, что почти в том же составе мы окончили вуз, а красные дипломы получили сразу 10 человек.

Специальность, по которой мы обучались, была открыта благодаря Лилии Рашидовне Дускаевой. Её энергии хватало и на организационные вопросы, и на лекции, и на личностный подход к каждому студенту. Лилия Рашидовна знала каждого из нас по имени, знала наши способности, помогала раскрыть таланты. А экзамены принимала «строго, но справедливо» – так говорили в группе.

Мы знали, что есть старшекурсники-«журналисты» – студенты, которые учились на специальности «Филология» («Русский язык и литература») и выбрали специализацию «Журналистика». Их было мало: по несколько человек на курсе. По некоторым дисциплинам, которые им ранее еще не читали, мы занимались все вместе.

Когда мы учились на четвертом курсе, открылась кафедра журналистики. Мы были рады и восприняли это как естественный процесс роста специальности. Преподавателей журналистских дисциплин стало больше, многие имели опыт работы в СМИ, занимались исследованием истории пермской журналистики. На кафедре журналистики я начал работать с момента её открытия. В моих обязанностях лаборанта (немногим ранее

*Лилия Рашидовна устроила меня лаборантом на кафедре русского языка и стилистики со словами: «Будешь вести занятия в компьютерном классе», за что я ей по сей день благодарен), ничего не изменилось, зато многое изменилось в моей университетской жизни. Появилась Кафедра. С одной стороны, это отдельная аудитория № III, скрывающаяся за дверями несколько уютных комнат, где можно было общаться с коллегами или провести собрание актива студентов. С другой стороны, это коллектив, сплоченный идеей образования и воспитания будущих журналистов. На кафедре всегда было приятно находиться, все быстро находили общий язык. Специальность развивалась, кафедра осваивала новые дисциплины, методики преподавания. Дух первопроходцев объединял, придавал энергии.*

Иван Печищев, выпускник 2004 г.,  
доцент кафедры журналистики ПГУ

*Удивительная у журналистов профессия, ведь журналист – человек, который должен разбираться во всем сразу, и ни в чем конкретно. А как этому научиться? И тем более, как этому научить? Не говоря уже о том, как организовать такое обучение «с нуля», там, где никогда раньше журналистов не учили? Вот, например, приди ко мне однажды с утра человек в штатском, пусть это будет, скажем, ректор университета, и скажи: «Организуй-ка ты, Тарас Валерьевич, обучение журналистов в нашем университете». Я подумаю и отвечу: «Нет уж, спасибо, я, наверное, не смогу». А вот Лилия Рашидовна Дускаева смогла. На ровном месте, с помощью какой-то своей невероятной энергии, ума, терпения она создала то место, которое сегодня носит гордое звание «Кафедра журналистики Пермского государственного университета». Сегодня в Перми и за ее пределами работает уже не одна сотня профессиональных дипломированных журналистов – и все благодаря Лилии Рашидовне. Отдельно стоит отметить важную деталь: журналистское образование в Пермском университете организовано самое что ни на есть классическое: комплексное и всеобъемлющее. Страшно даже подумать, скольких нервов стоило этого*

*добиться. Но кафедра журналистики в Перми работает. И за это – огромное спасибо Лилии Дускаевой!*

*Еще один человек, которого сразу вспоминаешь при мысли об университете, – это, конечно же, заведующий кафедрой журналистики Владимир Васильевич Абашев. Он из тех людей, кто способен зарядить, увлечь, заинтересовать своим предметом, тем, во что он сам искренне верит. Его лекции всегда одновременно и возможность расслабиться, послушать интересную историю, и вместе с тем – почва для глубоких размышлений, возможность самому прийти к каким-то еще более далеким выводам...*

Тарас Гамазинов, выпускник 2005 г.,  
начальник пресс-центра Западно-Уральского банка  
Сбербанка России.

*Журналистика – та профессия, которую надо начинать осваивать как максимум лет в 18. И заслуга преподавателей в том, что они практически «с места в карьер» бросали нас в эту профессию. На телевидение я попала уже на третьем курсе: и вот здесь большое спасибо и кафедре, и одногруппникам – помогали, «прикрывали» во время отсутствия на парах и, самое главное, понимали.*

*Пожалуй, самым показательным в этом плане было вручение дипломов. Среди наших сокурсников были студенты из Китая, вот о них-то и попросил снять сюжет мой шеф-редактор. Не скажу, что я очень обрадовалась – всё-таки в последний день обучения хочется быть студенткой, а не корреспондентом, но спорить на телевидении просто некогда. В общем, с причёской, на каблуках, в платье и с оператором я отправилась на съёмку, совмещённую с вручением диплома. И самое смешное случилось по дороге – нужно было срочно снять то ли пробку, то ли водителей (сейчас и не вспомню). В платье, на каблуках и с причёской пришлось сначала выполнять редакционное задание! К началу вручения я, естественно, опоздала, но и здесь мне помогли – диплом я получила, хоть и с приключениями!*

Лариса Суходолова, выпускница 2008 г.,  
корреспондент ГТРК «Пермь».

Студенты проходят практику в газетах, на радио и ТВ, в рекламных и информационных агентствах, в службах общественных связей и пресс-центрах, участвуют в работе российских и международных конференций. Многие студенты уже со второго курса успешно совмещают учебу с работой в пермских СМИ, а также рекламных и PR-агентствах.

*На I курсе, когда во время учебной практики я столкнулась с деятельностью информагентств и осознала, что такое ИТАР-ТАСС, и какое место среди прочих информагентств оно занимает, я поняла – хочу работать именно там. Я шла в сторону федеральных СМИ в периоды практики. В частности, я напросилась на практику в «Известия – Пермский край», а «Известия» и ИТАР-ТАСС в Перми состояли в одном медиахолдинге, поэтому я за время практики часто сталкивалась с работой корреспондентского бюро ИТАР-ТАСС по Пермскому краю.*

*В середине четвертого курса я узнала, что в ИТАР-ТАСС требуется корреспондент, и, не раздумывая, согласилась «писать новости». Почти год я работала внештатным корреспондентом в Перми и Пермском крае, была даже трудоустроена в ИД «Компаньон», поскольку холдинг принадлежал именно им, но позже оттуда уволилась. Так я на несколько месяцев перестала считать себя корреспондентом ТАСС и снова начала искать работу.*

*А поменялось все в один день. Вернее, в одну ночь. Для очень большого числа людей она была самой страшной ночью в их жизни, а для кого-то последней. Меня взяли в штат ИТАР-ТАСС после событий 5 декабря 2009 года в кафе «Хромая лошадь». За большое количество оперативных материалов и репортажей с места происшествия. Так я и стала штатным корреспондентом самого крупного в России информационного агентства при правительстве РФ. А началось все с родной кафедры журналистики, без которой я мало что узнала бы о своей будущей работе.*

Анастасия Пяткина, выпускница 2010 г.,

корреспондент «ИТАР-ТАСС».

*Журналистика – это, в конце концов, не теория. Это прежде всего практика. Поэтому те, кто хотел действительно посвятить себя профессии, за партами не засиживались, а работали. А найти интересную работу помогали на кафедре. Не впрямую, конечно, но все же. Понять, что тебе интересно – ТВ, радио или печать – всегда помогали встречи с журналистами-практиками. Анастасия Лебедева, Павел Лях, Александр Попов и другие профессионалы, хотя и не были штатными сотрудниками, передавали бесценный реальный опыт и знания о профессии.*

Данил Постановов, выпускник 2006 г.,  
редактор-координатор службы информации  
радиостанции «Эхо Перми»,  
главный редактор портала «Пермский мост» ([perm-most.ru](http://perm-most.ru)).

*1 сентября 2001 года – первый день взрослой жизни в роли студента-журналиста. И старт в этот информационный Клондайк был дан преподавателями Пермского государственного университета.*

*Для нас, желторотых новичков, которые толком не понимали, куда пришли и что такое журналистика, – первой учительницей стала Лилия Рашидовна Дускаева. Очень интересный и строгий человек. Она заставляла нас выкладываться по полной программе. Наставляла в тяжелой и малопонятной теоретической части обучения мастерству. До сих пор помню семинар, когда мы столкнулись с вопросом: «Что такое журналистика? Мастерство или творчество?..»*

*Даже сейчас, возвращаясь к этому вопросу, я понимаю, что однозначного ответа на него нет. Но тогда мы искали его со всей бесстрашностью юности. Кидались как в омут с головой из одной специализации в другую. К нам на занятия приходило много пермских журналистов. Они были разные: молодые и горячие, люди старшего поколения и умудренные жизненным опытом. Они общались с нами вживую, вспоминали случаи из*

*своей практики, делились опытом, приоткрывали секреты профессии...*

*А потом была наша первая практика... в деревне. Лилия Рашидовна настояла, чтобы вся группа выехала «в поле» и получила свой первый урок в районной газете. Это и в самом деле был ценный опыт! Вырванные из привычной городской среды, мы столкнулись с журналистикой, пишущей огрызком карандаша в блокноте на самые разнообразные темы и в самых разных жанрах. Строительство новой котельной, юбилей у ветерана Великой Отечественной войны, акция «Осторожно, дети!», новости про заблудившихся грибников, заводские митинги... Вот таков kaleidoscope жизни небольшого городка и его газеты.*

*Затем в обязательном порядке всю группу устроили на практику на местное телевиденье. Ох, и тяжело пришлось многим из нас. Оперативно среагировать, уловить суть, заснять кадр и написать хороший текст в кратчайшие сроки – не каждому опытному журналисту это удается, а что уж говорить о студентах второго курса?*

*Тем не менее, на третьем курсе, определяясь с выбором дальнейшей специализации, почти все ребята уже твердо знали, кем хотят стать. Пишущая братия, «радийщики» и «телевизионщики», а еще «PR-щики» – один сплошной креатив.*

*Между тем, классический вуз на то и классический, что тебя выводят за рамки узкой специальности. Литература, философия, история, экология, экономика и многое другое. Конечно, отнюдь не все из этого богатого багажа знаний используешь в ежедневной работе. Но именно такой подход в обучении помог мне сформироваться как личности и взглянуть под другим углом на профессиональные вопросы.*

*Евгения Красильникова, выпускница 2005 г.,  
постоянный автор Интернет-СМИ, информационно-сервисного ресурса 59.ru*

*Для меня поступление в университет на кафедру журналистики было своеобразной проверкой. Тогда мне казалось, что приемная комиссия должна поставить мне некий «диагноз»: могу я стать журналистом или нет. К счастью для меня, не*

подавшей кроме специальности журналистика документы ни на один факультет, в университет меня зачислили. Но как оказалось, моя проверка только началась. Сегодня многие говорят, что журналистике научить нельзя и поэтому никакого специалиста с кафедры журналистики выйти не может. А мне кажется, что в этом вся прелесть нашей профессии: нам ничего не преподнесут «на блюдечке», ты должен сам найти и взять то, что тебе нужно, будь то новая тема или знания и умения. Интересные встречи, интересные люди, интересные книги. Всего было так много, что казалось, успеть везде просто невозможно. Практически каждую сессию сдавать нужно было по 5 экзаменов и иногда по 9 зачетов! Для этого необходимо было перечитать огромную стопку книг и запомнить множество дат. Но как оказалось, если захотеть, все можно осилить. В университете тебе дают шанс, и уже на твоей совести, как ты его используешь. Если захочешь, ты обязательно возьмешь те знания, которые дают. Захочешь научиться журналистике – научишься. А научить через силу, наверное, действительно нельзя. Думаю, это главный урок, который я усвоила за университетскую жизнь.

Ирина Пелявина, выпускница 2008 г.,  
корреспондент газеты «Коммерсант» в Перми.

Четыре года назад я закончил филологический факультет ПГУ. Три месяца назад заведующий кафедрой «Журналистики» В.В. Абашев предложил мне провести практический курс по дисциплине «Деловая журналистика». Я согласился. Что из этого получилось? Попытаюсь рассказать. В таких случаях публицисты пишут заметки «короткой строкой».

Первое время меня всерьез беспокоили сомнения: чему может научить студентов молодой журналист, который сам лишь несколько лет назад взялся за «перо». Не говоря о полном отсутствии преподавательского опыта. Утешала одна мысль – в отличие от опытных и зрелых «аграновских» пермской журналистики, я твердо знал, что нужно студентам. Сложилась нестандартная ситуация – преподаватель и студенты оказались в равных условиях: студентам не хватало опыта в



*написании материалов, у меня не было практики работы со студентами. Мы учились друг у друга.*

*Я ставил перед собой цель погрузить студентов в журналистику, т.е. в среду, в которой они почувствуют себя именно практиками, а не теоретиками.*

*За несколько недель нам удалось сделать многое. Студенты поучаствовали в пресс-конференции ведущих экспертов рынка недвижимости наравне с практикующими журналистами. В рамках спецкурса было проведено три брифинга при участии топ-менеджеров Западно-Уральского банка ОАО «Сбербанк России». Наконец, на открытой встрече со студентами-журналистами побывал руководитель аппарата правительства Пермского края Макар Герман.*

*Вот так мы сделали первый шаг навстречу друг другу и по окончании курса в глазах некоторых студентов все чаще начал загораться огонек интереса к будущей профессии.*

*Алексей Лучников, выпускник 2007 г., редактор раздела «Бизнес» Интернет-портала «Proregm.ru»*

Соединение хорошей теоретической базы с практикой обеспечило высокий потенциал кафедры. С момента первого набора на специальность «Журналистика» прошло 12 лет. Выпускники работают в газетах и журналах, на телевидении и на радио, занимают ответственные посты в госструктурах и крупных компаниях. Кафедре уже есть чем гордиться!

## **НЕОБЫЧНЫЙ СПЕЦСЕМИНАР**

*Р.С. Спивак<sup>30</sup>*

В поздней лирике И.А. Бунина есть стихотворение, несколько строчек которого давно врезались в мое сознание:

*Срок настанет – Господь сына Божьего спросит,  
Был ли счастлив ты в жизни земной?*

---

<sup>30</sup> Спивак Р.С., выпускница 1959 г., доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы ПГУ.

С годами, еще в этой жизни, до «срока», приходит время, когда каждый немолодой человек задает себе вопрос, чем он доволен в своей деловой, рабочей жизни?

Прокручивая в памяти свою педагогическую деятельность в Пермском университете, я останавливаюсь на спецсеминаре, который я создала вместе с моими студентами и руководила им в течение 1999 – 2006 годов. Позже он перестал вмещаться в новый, формализованный с помощью компьютера учебный план и вынужден был прекратить существование. Но он, такой семинар, был – необычный для нашего факультета – и оставил след в судьбах его участников.

Традиционный литературоведческий семинар филологов – это практикум по анализу художественных произведений, который преследует в основном учебные цели. Руководитель должен подготовить студентов к написанию курсовой работы, заслуживающей хорошей оценки. С переходом на следующий курс студент, согласно учебному плану, работает в другом семинаре под руководством другого преподавателя. Реально есть возможность продолжить работу с прежним руководителем курсовой, но – совмещая с выполнением задания в новом семинаре либо по негласной индивидуальной договоренности в обход правил. Конечно, часто в группе участников семинара выделялись несколько лучших, более способных, имеющих замыслы сделать научную карьеру, однако в основном семинар ориентировал его участника на создание квалификационного сочинения.

Но всероссийские и международные конференции подарили мне информацию о существовании иных семинаров – у А. Флакера в Загребе, Ю.М. Лотмана в Тарту, Б.О. Кормана в Ижевске. Это были спецсеминары, участники которых объединены многолетней работой под руководством одного педагога в рамках одного научного направления. Они были увлечены творческой научной работой и сплочены ею в коллектив энтузиастов.

И мы создали такой семинар для желающих. Это был семинар межкурсовой. Студенты занимались в нем четыре года, все вместе – старшекурсники и начинающие. Эта «совместность» разных возрастов и уровней профессиональной подго-

товки оказалась очень продуктивной. Старшие делились с младшими своим опытом, обретали в процессе такого общения веру в себя, задавали обсуждениям докладов высокий уровень. Младшие воочию видели, каких результатов можно достигнуть, убеждались в престижности владения профессиональным мастерством. Им хотелось заслужить уважение успешных старших, получить свои научные результаты. Заданная самими студентами планка научных результатов была высокой. Однажды одна из начинающих младшекурсниц написала слабую работу, ее раскритиковали на обсуждении, я посоветовала ей сменить семинар, попробовать себя в лингвистике. На это она решительно заявила, что останется в этом семинаре. По окончании университета она защитила кандидатскую диссертацию.

Материал исследования, конкретно поставленные в курсовой темы и проблемы были, конечно, разными, но всех нас объединяла общая методология в рамках одного научного направления: мы исследовали художественную философию русской литературы – Пушкина, Лермонтова, Блока, Волошина, Ремизова, Сологуба, Хлебникова, практически неизвестного науке молодого символиста И. Новикова, Левитанского и Самойлова, литературных критиков А. Л. Волинского, Ю.Н. Говорухи-Отрока.

В те годы студенты младших и средних курсов ограничивались участием в отчетных научных студенческих конференциях ПГУ. У нас же установились прочные связи с очень сильным филологическим факультетом Удмуртского университета, где до сих пор сильны традиции Б.О. Кормана. Участие в научных конференциях других вузов – Москвы, Ленинграда, Свердловска, Тарту, Таллина и, естественно, Ижевска – стало нормой нашей семинарской жизни.

Наш спецсеминар дал шесть кандидатов филологических наук. Научную степень получили Ю. Зверева, О. Попова (Каменских), А. Моисеева (Куневич), А. Штраус, К. Зимирева, Е. Михалик (Тузова). Две диссертации лежат пока не законченными – А. Скибы (Пичкалевой) и Е. Деревенковой. Другие выпускники семинара, даже если и работают не в науке и вне собственно филологии, а в других областях культуры, работают

ярко, творчески – в образовании (В. Мальцева), в искусстве, мастера прекрасных кукол как элемент дизайна Г. Дурновцева (Сажина), Л. Заяц, (Петерс), в рекламе (Е. Деревенкова), в пермском туризме (Л. Тимашова), уже не первый диск со своей авторской песней записала Н. Корнилова, хорошую научную статью напечатала в Вестнике ПГУ Ю. Кропотина.

Такой вот был спецсеминар...

Ниже приводим воспоминания о семинаре его выпускников.

*Е.А. Михалик*<sup>31</sup>

На межкурсовой семинар Риты Соломоновны я попала уже в первый год обучения на филологическом факультете и, честно говоря, чувствовала себя в компании четверо-, пятикурсников не вполне уверенно, однако с интересом прислушивалась к разговорам о постмодернизме, ролевой лирике, философском метажанре, – вещах, представлявшихся таинственными и не вполне постижимыми для первокурсника. Впрочем, через довольно небольшой промежуток времени я освоилась, поскольку на наших семинарских занятиях традиционно царил свободная атмосфера, каждый (и взрослый, и «маленький») получал возможность высказать свое мнение. Обсуждения разнообразных методов исследования текста шли оживленно, а иногда и бурно.

Помню одну дискуссию об авторской позиции, развернувшуюся после прочтения работ Б.О. Кормана. Я с жаром отстаивала мысль, что задача литературоведа именно её, эту самую позицию, исследовать, оставляя за бортом различные читательские «домысли и вымыслы» как не имеющие к делу отношения. Мне возражали, что авторский замысел всегда уже результата – художественного произведения, которое существует по своим особым законам и выступает как нечто в значительной степени отдельное от автора. Приводились в пример и знаменитое пушкинское высказывание о Татьяне, которая «взяла, да и замуж вышла», и неудачные попытки Ильфа и Петрова разде-

---

<sup>31</sup> Михалик (Тузова) Е. А., выпускница 2006 г., канд. филологических наук, преподаватель русского языка в Варшаве.

латься с Остапом Бендером, первоначально замышлявшимся как проходной персонаж, но по ходу развития сюжета выступившим вперед, заслонив тщедушную фигуру Ипполита Матвеевича. Особенное впечатление на меня произвел рассказ Ани Моисеевой (тогда ещё Куневич) об истории романа братьев Стругацких «Трудно быть богом», который писался как роман о трагедии советской интеллигенции, но в результате получился произведением философским, проблематика которого далеко не сводится к осмыслению конкретно-исторической ситуации.

Вообще, дискуссии были, на мой взгляд, самой запоминающейся частью наших семинарских занятий. Рита Соломоновна старалась выработать в нас навык свободного обсуждения и полемики, что, конечно, сослужило нам хорошую службу в последующей научной работе. Помню, ещё на первом курсе Рита Соломоновна попросила присутствовать на конференции, где выступали аспиранты и соискатели, причем потребовала, чтобы мы обязательно задавали вопросы, иначе «потеряем её уважение». «Потерять уважение» было ох как страшно, поэтому мы бомбардировали вопросами выступавших, за что получили позднее от Риты Соломоновны похвалу и почетное звание «молодцов».

*Ю.А. Кропотина*<sup>32</sup>

Вышла за стены университета с большим багажом филологических знаний, сотнями прочитанных книг, пестрым аттестатом. Со временем многое уже стерлось из памяти, отошло в прошлое. Но остались два актуальных момента: любовь к исследованию и сознание того, что есть единомышленники, с которыми мы встречаемся теперь каждый год у нашего гостеприимного педагога.

Эти непреходящие сокровища подарил нам семинар Р.С. Спивак по русской литературе. Уникальность семинара заключалась в том, что в его работе, кроме преподавателя и нескольких моих однокурсников, принимали участие студенты

---

<sup>32</sup> Кропотина Ю.А., выпускница 2006 г., главный специалист отдела протоколов администрации г. Перми.

старших курсов и даже захаживали аспиранты. Можно было послушать их интересные доклады и услышать вопросы и мысли по поводу своего исследования. Порой завязывались горячие дискуссии. Наш преподаватель, Рита Соломоновна Спивак, не только организовывала работу семинара, но и делилась собственным научным творчеством, например захватывающей интерпретацией рассказа Л. Андреева «Иуда Искариот». Также на семинаре мы знакомились с различными методами литературоведческого анализа и испытывали их на практике, участвовали в конференциях, проходивших как в родном городе, так и в других городах России.

Атмосфера семинара была дружественная и вдохновляющая. Нам была дана прекрасная возможность быть услышанными и испытать чувство, что твои работы интересны и другим, а значит, это было не бессмысленное «крапанье» или «скачивание» материала для отметки в зачетной книжке.

Семинар, бесспорно, вырастил меня как профессионально, так и в личностном плане. Нередко на семинарских занятиях мы переходили с обсуждения литературоведческих вопросов на философские и этические темы. На это вдохновляла сама русская литература, ставящая перед читателями-потомками вечные и волнующие вопросы.

Я считаю, что межкурсовые семинары, которые проводятся творчески, очень эффективная учебная форма, создающая хороших научных работников и просто мыслящих людей, способных искать и находить решения в проблемных ситуациях.

*Г.Е. Дурновцева*<sup>33</sup>

Вот уже десять лет, как учёба позади, но творческое, интересное, плодотворное общение с преподавателями в кругу однокурсниц оставило в памяти счастливый след. Студенческие годы – годы незабываемых событий в моей жизни. Одно из них – дружный семинар под руководством любимой нами Риты Соломоновны Спивак. Прежним составом мы встречаемся до сих

---

<sup>33</sup> Дурновцева (Сажина) Г.Е., выпускница 2001 г., домохозяйка.

пор каждый год (благодаря Лене и, конечно, самой Рите Соломоновне).

Особенно мне запомнились первые «уроки». Наша работа начиналась со знакомства с методикой Б.О. Кормана по книге «Изучение текста художественного произведения». С помощью этой методики мы учились исследовать для начала небольшие произведения классиков (А.П. Чехов, И.А. Бунин, И.С. Тургенев и др.), понимать идейно-эстетическую концепцию автора, видеть разнообразие художественных средств в тексте.

Помню, как мы анализировали рассказ «Душечка» А.П. Чехова. Меня поразила мысль, что это произведение о любви, о двух типах любви, одну из которых (смесь чувства жалости и плотской привязанности) Чехов отвергает, а другую (самопожертвование, глубокое, материнское чувство, возвышенное состояние внутреннего мира героини) принимает... «Ах, как она его любит! Из её прежних привязанностей ни одна не была такой глубокой, никогда ещё раньше её душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней всё более и более разгоралось материнское чувство». Обычно ирония Чехова полностью поглощает читательское внимание, и нужно обладать зорким видением, чтобы не пропустить главное в нем. Именно такую способность пыталась развить в нас Рита Соломоновна.

*А.А. Моисеева*<sup>34</sup>

Моя бабушка, будучи страстным книголюбом, в дни своей молодости скупала все книжные новинки, в результате чего оставила в наследство огромный шкаф, забитый бестселлерами советской литературы. Поэтому не удивительно, что слово «спецсеминар», услышанное на первом курсе, в тот момент вызвало в моем сознании ряд весьма специфических ассоциаций. Доминирующее положение в нем занимали образы мускулистых советских «спецов» в промасленных *спецовках* и *специально* для них предназначенных суровых подруг в алых косынках, готовых на всем скаку остановить классового врага и без промедления

---

<sup>34</sup> Моисеева (Куневич) А.А., выпускница 2003 г., канд. филологических наук, ст. преп. кафедры русской литературы ПГУ.

загнать его в горящую избу. Идти на этот самый спецсеминар как-то не очень хотелось, и любимая подруга Тоня Штраус буквально втащила меня туда за руку, уверяя, что будет интересно, полезно и здорово, за что я не устану говорить ей большое человеческое «спасибо».

Теперь, когда я слышу это чуточку неуклюжее, но ставшее таким привычным и совсем родным слово, перед глазами возникают абсолютно другие картины. Фотография мудрого серебристого барса с обложки старой тетради, той самой, в которую я записывала по ходу семинарских занятий различные ценные мысли об анализе текста – к ним я не раз возвращалась потом, в том числе и в процессе подготовки собственных лекций и практикумов. Рядом – апельсиновая корочка «Дооктябрьской лирики В.В. Маяковского», за которой таится дорогой моему сердцу автограф: «Анечке – на память о счастливом научном детстве». Кружка-оптимистка с надписью «Счастливый день», сопровождавшая меня на многочисленные студенческие конференции и, наверное, еще помнящая вкус питерского бананового йогурта и ижевского шоколадного мороженого. Добродушная морда гигантского плюшевого пса по имени Семинар (для друзей – просто Сёма), подаренного нашим дружным сборищем Рите Соломоновне. А над всем этим, конечно же, лица и голоса людей – разных лет, характеров, привычек, но объединенные любовью к литературе, интересом к жизни, замечательными воспоминаниями и творческим подходом к окружающей реальности.

Действительно, даже те из нас, кто сейчас не работает по специальности (хотя их не так уж и много – пятеро защитили кандидатские диссертации по истории русской литературы) так или иначе занимается творческой деятельностью. Вика закончила курсы по компьютерному дизайну, Лада организует увлекательные туристические мероприятия, Лариса создает замечательных кукол в лучших традициях народного прикладного творчества. Наташа в прошлом месяце вернулась с гастролей из Санкт-Петербурга и наконец-то состоялся её сольный концерт в бард-кафе. Призовое место на научно-практической конференции школьников в прошлом году получила девочка, анализиро-



вавшая стихи Маши. Наверное, в том и заключалась уникальность нашего спецсеминара, что мы не только сообща анализировали творчество русских классиков, не только воспринимали как творчество сам процесс анализа, но и учились творчески воспринимать мир вокруг нас и самих себя в этом мире.

*Л.С. Петерс*<sup>35</sup>

Мне университет представляется как муравейник. Он также открывает перед каждым большое разнообразие направлений деятельности. А спецсеминар подобен муравьиной тропке, которая приведёт к желанной цели, научит трудиться, подарит жизненный опыт. И умение анализировать литературное произведение не самое главное, что приобрели мы на спецсеминаре. Общение с настоящим интеллигентным человеком, его жизненный и исследовательский опыт постепенно и незаметно формировали наши молодые личности. Мы словно бы получили прививку от различных интеллектуальных и нравственных инфекций. Каждый прореагировал на неё по-своему. В моей жизни её следствием является уважительное отношение к чужому мнению; желание научно подтвердить свои суждения, выводы; ответственность за свою деятельность.

---

<sup>35</sup> Петерс (Заяц) Л.С., выпускница 2006 г., мастер по изготовлению народной игрушки.

## РАЗДЕЛ IV НАШЕ ТВОРЧЕСТВО: ФОРМЫ И ВИДЫ

Из всех видов творческих начинаний, которыми всегда был богат и интересен филфак, в книге отражены три главных: работа творческого кружка (о двух из них, существовавших на факультете в разное время, рассказывают их участники С. Вяткина и Ю. Асланьян), наша знаменитая самодеятельность (об этом вспоминают популярные «фанаты» художественного сценического творчества М. Черепанов, Б. Проскурнин, С. Караваева, опирающиеся на личный опыт участия в факультетской самодеятельности), и разные формы издательской студенческой деятельности, которые практически исчезли сегодня, а в свое время были важными событиями творческой жизни факультета. В книге вспоминаются рукописный журнал «Аз», историю создания которого рассказывает его участник В. Бубнов; творческий литературный ансамбль «Кактус», о котором говорит свое слово А. Королев, писавший для него юморески и обозрения; и многострадальная стенная газета «Горьковец», страницы из судьбы которой воссозданы в рассказах редакторов Н. Васильевой, С. Шумовой и М. Лебедевой.

### ***1. ТВОРЧЕСКИЙ КРУЖОК***

***С.А. Вяткина<sup>1</sup>***

#### **СОЛНЦЕ ВСХОДИТ И ЗАХОДИТ**

Время моего студенчества сегодня называют «застойным». Но, как сказал поэт, «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Вот и мы, студенты 70-х, жили не тужили, расточительно распоряжаясь годами юности и своими молодыми силами.

---

<sup>1</sup> Вяткина С.А., выпускница 1979 г., журналист, член Союза журналистов, главный редактор журнала «Светоч».

Я училась в одном из лучших вузов страны – Пермском государственном университете им. А.М. Горького, на филологическом факультете. Это было в конце 70-х – давно, так что многое уже стерлось в памяти.

Филологов в университете считали зазнайками. И неспроста. Своим статусом мы невероятно гордились, и в общении со студентами других факультетов были иронично-снисходительны, дескать, увы, ребята, филфак не резиновый...

Существовало много анекдотов, где филологи демонстрировали свое превосходство. О наших девчонках говорили: «Сразу видно – филологиня!» А юноши наши вообще были небожителями. Помню, я только поступила, и надо было в библиотеке учебники получить. Заполняю формуляр, а библиотекарь спрашивает:

– Ваше имя? Фамилия? Факультет? Ах, да – филологический!

Я удивилась:

– Как это вы поняли?

– О, вас видно! – Улыбнулась она.

А я еще и учиться-то не начала. Загадка...

Приход в университет – это, конечно, полный поворот кругом. Вся жизнь перевернулась, закружилась и стала довольно экспрессивной. В школе таких ритмов не было, там мы до последнего часа считались детьми, поскольку ни учителя, ни родители не спешили видеть в нас самостоятельных людей. Став студентами, мы в одночасье перешли в категорию взрослых, поскольку именно так относились к нам университетские преподаватели.

Огромную радость доставлял сам процесс учебы. Уже одно то, что из жизни навсегда ушли химия, физика и математика, было для меня великим счастьем. Как выразился известный английский поэт начала прошлого века Винни Пух, «Конец моим страданиям и разочарованиям, и сразу наступает хорошая погода...».

Касательно *погоды*, она могла быть и лучше: после хрущевской оттепели в стране опять подморозило. Руководство КПСС вновь призвало соотечественников усилить политиче-

скую бдительность для выявления внутренних врагов социализма. Приунесли и физики, и лирики, особенно после событий в Чехословакии (1968 г.): все враз поняли, что социализма с человеческим лицом не будет.

Тем не менее идея «поиска врагов» уже не доминировала в общественном сознании – наступила другая эпоха. Люди не желали возвращаться в мир тотального страха, доносов и репрессий. Только культ вождей в нашей стране оставался неистребимым как блохи на уличных кошках.

Моя студенческая юность пришлась на период правления «дорогого Леонида Ильича», к которому, как мне тогда казалось, никто не относился всерьез. Народ высмеивал его любовь к цацкам, южно-русский диалект и затяжные поцелуи с членами политбюро. Зато говорили, что времена сейчас «вегетарианские».

Филфак в те годы считался идеологическим факультетом, и это приносило ряд особенностей. Так, «военка»<sup>2</sup> была не только у парней, но и у девушек. Нам читали лекции по медицине, водили на практику в городские больницы, а по окончании университета выдали настоящий диплом «со змеей» – о среднем медицинском образовании. Не скажу, что мне нравилось изучать медицину, однако многие практические навыки, как-то: поставить укол, сделать перевязку, – в жизни пригодились. Конечно, мы завидовали студенткам тех факультетов, где на военную подготовку призывались только парни, а у девчонок был дополнительный выходной.

Все девушки филфака были военнообязанными, как бы комиссары запаса. Видимо, наверху считали, что если грянет война, то идейно подкованная филологиня возьмет на себя функцию «агитатора, горлана-главаря» и по совместительству – медсестры.

Из-за этой «военки» при поступлении у меня случился конфуз: в приемной комиссии не взяли мои документы, так как выяснилось, что из-за перенесенной в раннем детстве желтухи я

---

<sup>2</sup> День военной подготовки в высшей школе для студентов дневной (очной) формы обучения.

не имею права учиться на «спецфакультете», потому что *в случае чего* не смогу стать... донором.

Сейчас это звучит как бред, но тогда все было всерьез, и меня охватила паника. Выручила наша квартирная соседка, работавшая фельдшером: она написала мне другую медицинскую справку, где о желтухе не упоминалось. Тетя Шура – так звали нашу соседку – врать не любила, ее нервировало то, что пришлось совершить «должностное преступление», но и отказать своей подруге – моей маме – она не могла. Помню, ее громкое ворчание и мамино смиренное терпение при выслушивании упреков: «Ладно, напишу я твоей Светке справку, но имейте ввиду, что по закону справедливости, ей попадетя либо трудный билет, либо вредный преподаватель, который завалит ее на экзамене. И поделом – пусть не лезет! Раз нельзя – подчиняйся...».

Прогноз тети Шуры не сбился, меня приняли.

\* \* \*

Математики на филфаке действительно не было, зато нас изнуряли «идейным матом», так мы называли истмат и диамат – исторический и диалектический материализм. Эти предметы относились к философским наукам, и на любом факультете отношение к ним было священным, а уж на гуманитарных – вообще караул!

Успеваемость по этим предметам являлась показателем политической зрелости человека. Почему-то именно филологи в этом отношении сильно отставали от других студентов, так что преподаватели-философы постоянно укоряли нас в политической инфантильности и даже тупости. Объяснялось это просто: математики (физики, химики) говорили, что для них философия являлась возможностью переключиться от бесконечных формул и трансфинитных чисел к *болтологии*, то есть слегка расслабиться, отдохнуть. Но для гуманитариев все эти *маты* были сущим наказанием. Судите сами, после лекций об Эхиле, Шекспире, Фолкнере, Достоевском, Ахматовой слушать какие-то малопонятные, казавшиеся нам дикими постулаты о примате марксизма-ленинизма в мировой мысли. Мы, конечно, были разгильдяями, но не такими уж идиотами, чтобы всерьез этому

верить. Наоборот, именно изучение творчества лучших представителей всех времен и народов расширяло наш кругозор, избавляя от идеологической зашоренности.

К марксистской философии мы относились как к скучной, но необходимой обязательке, что-то типа дезинфекции помещения, мол, «надо, Федя!». Запах хлорки, к примеру, тоже неприятен, зато выветривается быстро, так и здесь: сдали – забыли. Таким же формальным было и пребывание в комсомоле. Я тут вообще отличилась: еще на первом курсе, во время субботника, стащила из картотеки свою «учетную карточку комсомольца» и навсегда забыла об этой организации. Лишь по окончании вуза, когда я подписывала обходной лист, университетский секретарь комсомола был шокирован моей беспартийностью. «Не может такого быть! – обескураженно лепетал он, проверяя картотеку. – Как же мы вас проглядели...» Не скрою, было приятно.

Еще мы изучали историю КПСС и научный коммунизм. Нас заставляли вручную конспектировать гигантское количество ленинских работ. Для студентов это была пытка, достойная средневековой инквизиции, но, повторяю, времена уже были вегетарианские, так что мы ловчили, подсовывая на экзаменах одну и ту же тетрадь по нескольку раз. Конспекты по ленинизму какой-нибудь прилежной студентки даже передавались по наследству. Горе, конечно, если экзаменатор засечет, что это не твой почерк, тогда уж пересдача неизбежна. Но и в этом случае студент находил и предьявлял другую *хорошую* тетрадь.

Не обходилось и без курьезов. Помню, учившаяся несколько раньше нас Нина Горланова рассказывала, как на госэкзамене по научному коммунизму ее попросили назвать выдающихся женщин-марксисток. Нина, ничтоже сумняшеся, стала перечислять: «Роза Люксембург, э-э... Клара Цеткин,... Манон Леско...» Видимо, по некоему созвучию фамилий в голове выпускницы произошла забавная контаминация и она решила, что очаровательная Манон была пламенной *революционеркой*. Позднее, когда Горланова рассказывала эту историю, то сквозь гомерический хохот было слышно, как кто-то, кажется, Юра Власенко изрек: «В общем-то, правильно ты их в один ряд поставила, хотя Розе с Кларой сильно польстила».

В средней школе нас тоже пичкали идеологией, но без фанатизма. В основном учителя были озабочены успеваемостью. В их идейность мы верили только в младших классах, а когда подросли, принимали ее как необходимые правила игры, что-то типа ритуальных плясок. И когда на школьных собраниях или линейках кто-нибудь толкал дежурную речь *за коммунизм*, мы опускали головы, чтобы скрыть ироничные улыбки и смешки.

Тем неожиданной для меня было то, что в университете в этом смысле все оказалось намного суровей. Чего стоил такой предмет, как ОПП – общественно-политическая практика. Ужас был в том, что оценку по ОПП выводили на основании «внешних наблюдений». Например, смотрели, как ты учишься по «главным» предметам: истории КПСС, политэкономии, философии. Кроме того, учитывалось, насколько активно студент принимает участие в общественной жизни факультета, ходит ли он на демонстрации 1 мая и 7 ноября, не позволяет ли себе сомнительных высказываний и знакомств. За «тройку» по ОПП лишали стипендии.

Сегодняшних студентов, наверное, развеселит подобная информация, зато нам было не до смеха. Мой сокурсник Виталий Кальпиди, который был талантливей всех нас вместе взятых, вылетел из университета только за то, что был замечен в общении с человеком, уезжающим в Израиль (настучали «стукачи»), а также за вполне логичные вопросы, заданные им на семинаре по истории КПСС. В частности, он спросил: «Почему мы осуждаем теорию перманентной революции Троцкого, хотя на деле претворяем ее в жизнь?». Виталий вообще был слишком «открыт для диалога».

Этого хватило, чтобы его арестовали, поместили на какое-то время в психушку и, само собой, выгнали из университета. Конечно, требовалась «веская» причина для отчисления, и тут перед чекистами и партийными лидерами факультета встала серьезная проблема, потому что Кальпиди, по словам Франциски Леонтьевны Скитовой (доцента кафедры русского языка), был «эрудированней многих наших преподавателей», то есть завалить его на экзамене не представлялось возможным. Он сам

дал повод для отчисления, прогуляв несколько дней – ездил домой в Челябинск. Тут же был подписан приказ: «За нарушение дисциплины студента первого курса Виталия Олеговича Кальпиди...».

Мы, сокурсники Виталия, конечно, были шокированы столь строгой мерой наказания, ведь студент-то был незаурядный. Никто не знал об истинной причине его исключения. Помню, парни с третьего курса подбивали меня собрать подписи и подать в деканат челобитную о заступничестве, но куратор сказала, что вопрос решен окончательно. В общем, наивные мы были. Сам Виталий казался невозмутимым, лишь усмехнулся: «Все к лучшему, на следующий год в МГУ поступлю».

Вдруг наших юношей стали по одному приглашать в КГБ, где их просили «проявить сознательность и оказать помощь» в сборе компромата на Кальпиди. Хочется думать, что они себя не уронили, а если кто и дрогнул, то ничего, кроме сочувствия, к такому сегодня не испытываю, ибо представляю, как ему горько и стыдно. Опытному чекисту запутать или запугать желторотого мальчишку – пара пустяков. Мы и про стукачей-то толком ничего не знали, потом уж стали понимать, что к чему.

Данный инцидент был первым политическим уроком. Парадокс был в том, что из нас пытались выковать идейных защитников *системы*, но эффект получался обратным. Именно такие события делали нас диссидентами вопреки нашему желанию.

Прошли годы, жизнь все расставила по своим местам: самой яркой личностью нашего курса сегодня является известный русский поэт Виталий Кальпиди, автор многочисленных поэтических книг, удостоенный премии Академии русской современной словесности, Лауреат премии им. Б. Пастернака, Большой премии «Москва-Транзит», премии «Slovo».

И хотя мы учились вместе меньше года, но дружить с Виталием продолжали. Кстати, по-настоящему я познакомилась с ним как раз в тот день, когда вывесили приказ об его отчислении. Мы тогда сидели в пустой аудитории троим: Виталий, Слава Букур и я. Говорили о поэзии, но сначала Виталий устроил мне экзамен: «*Пастернака любишь? Хорошо! А Цветаеву?*



*Рильке читала... Наш человек! А то тут девицы Асадова цитируют – просто мрак!».*

Сколько вынес тогда этот 17-летний юноша лишь за то, что был умен, талантлив, образован, искренен, по-мальчишески порывист, а также за то, что умел самостоятельно мыслить и не боялся говорить то, что думает. КГБ закрыл ему дорогу во все вузы страны, да и на работу его никуда не брали, и не печатали долгих 20 лет.

Тогда, в 1975 году, мы не сознавали степень его страданий, потому что не побывали в его обстоятельствах. Сам же Виталий мало распространялся о своих делах. Тем не менее я всегда испытываю неловкость за то, что у меня есть диплом об окончании университета, а у него – нет, ведь мои скудные знания и способности – ничто по сравнению с его энциклопедической образованностью и филологической одаренностью.

\* \* \*

Вернусь к разговору об ОПШ. Отметки за эту странную «практику» выставляла традиционная «птица-тройка»: представитель партии из преподавателей – «коренной коняга», комсорг и староста – «пристяжные». Аттестация велась в духе допроса с элементами торга. Мы входили по одному в аудиторию, садились перед комиссией.

*– Вот у вас по истории партии «удовлетворительно» и по диамату «удовлетворительно». Вы что же, пренебрегаете общественными дисциплинами? – спрашивал партиец студента или студентку.*

*– Ну почему! Просто не повезло... – как мог, отбивался бедолага.*

*Сокурсники пытались помочь:*

*– Зато он (она) участвует в студенческой весне.*

*– А на демонстрации не был, прочерк стоит! – Не уступал ответственный товарищ.*

*– Так ведь он иногородний, есть разрешение...*

Короче говоря, приходилось придуриваться ради хорошей отметки.

Лично я ни на какие демонстрации сроду не ходила и в комсомольской жизни не участвовала. Выручало то, что комсорг

Ирина Миронова была хорошим человеком и на демонстрации ставила галочку против моей фамилии. Да еще я посещала творческий кружок. Участие в кружках засчитывалось как общественная работа.

\* \* \*

Творческий кружок – это отдельная история моей студенческой жизни. С ним связано второе политическое дело, которое коснулось не только моих товарищей, но и меня.

О работе кружка я узнала в первый же месяц учебы, совершенно случайно наткнувшись на объявление возле деканата: дескать, такого-то числа в такой-то аудитории состоится занятие Творческого кружка, приглашаются все желающие.

Когда после занятий нашла указанную аудиторию, там уже стоял мой сокурсник Алексей Ширинкин. Мы с ним были едва знакомы, ведь учеба только-только началась. Однако впоследствии творческий кружок нас подружил, и мы с Алешкой повсюду ходили вместе, даже на лекциях сидели рядом, потому что пристрастились к игре в буриме.

В общем, под дверями «творческой» аудитории мы с Лехой познакомились, и он сразу же сообщил, что пишет прозу: фантастические повести и романы. Я чуть не рухнула. Ничего себе – романы он пишет! Куда я попала...

Само собой, в школьные годы мне тоже приходилось что-то сочинять, поскольку я была вечным школьным редактором, выпускала на пяти ватманских листах общешкольную стенгазету «Дзержинец», писала сценарии для живой газеты «Луч», которую мы представляли в актовом зале на больших собраниях. Однажды даже пьесу накатала и сама же поставила на школьной сцене, завербовав в артисты своих одноклассников. Случалось и для учителей сценарии писать, у них, оказывается, тоже были смотры художественной самодеятельности. Но чтобы повести и романы – до такого я не разгонялась.

Вскоре собрались остальные творческие личности – в основном юноши со старших курсов, из девушек пришла только Варя Субботина. Руководителя кружка Риту Соломоновну Спивак ребята приветствовали ликованием, было видно, что все рады этой встрече в новом учебном году. А я узнала в ней экзаме-

натора, принимавшего у меня вступительный экзамен по литературе, и тоже обрадовалась.

Рита Соломоновна в те годы была молодой и очень красивой, ей было лет 36 – 37. Мы, кружковцы, за глаза звали ее просто Ритой, но панибратства не было и в помине, наоборот, мы испытывали к ней самые благородные чувства и относились с большим пиететом. Рита Соломоновна бесконечно любила поэзию, много знала наизусть и замечательно читала стихи вслух, опустив темные веки. Мы тогда благоговели перед Поэзией и были в этом смысле сектой посвященных.

Когда все собрались, ребята как бывалые матросы поэтической бригадины достали пачки с сигаретами и закурили, лишь мы с Лешкой не умели и смущались этим. Ладно, научимся, дело нехитрое. Во время моей юности творческий человек без сигареты – что Дед Мороз без бороды.

Рита Соломоновна сразу же предложила составить график обсуждений новых *произведений*. Оказывается, большинство кружковцев что-то писали, в основном стихи, ведь в юности все – поэты. Дефицит прозаиков был налицо, поэтому произведения моего сокурсника вызвали неподдельный интерес. Его фантастическую повесть – уже не помню, как она назвалась, – решили обсуждать первой.

Впоследствии Алексей Ширинкин охладел к прозе и тоже перекинулся в стан поэтов. Его Муза, замечу, была весьма скептической и ироничной дамой, что, на мой взгляд, качественно снижало Алешкин поэтический потенциал. Своим скепсисом он словно извинялся, что за чем-то прибеж к изящной словесности. У меня сохранился рукописный сборник его студенческих стихов, поэтому могу процитировать.

### ***Сибирский тракт***

*Предатель. Каторжник. Мальчишка...*

*Лечу с конвойными к Перми.*

*Опять я сослан из интрижки*

*На рудники своей любви.*

*Покорно шествую. Как видно,*

*Всю жизнь преследует твой жезл.*

*Что снова не за грязь – обидно,  
Не за заклятие божеств.  
Казнить судейские устали.  
Я усмехаюсь... Я, увы,  
Воображал себе скандалы,  
А в жизни проще – кандалы.*

Почти все его стихи были с налетом такой же усмешки. А поводом для вдохновения могло послужить любое текущее событие: чья-то покупка очков («телезоров ли вина, или следствие акселерации, человеческая слепота стала быстро распространяться»), газетный очерк о Бермудском треугольнике («и как любовный сотрясает ум все чаще лишь Бермудский треугольник»), свежий анекдот, ну и любовь, конечно. Однажды, новое стихотворение родилось из прочтения статьи Чернышевского «Русский человек на rendez-vous»:

*Сам влез в нули. Позор! О Боже!  
Как в мыле, в бешеном бреду,  
Дурея, мчал на rendez-vous,  
Где русский юноша ничтожен...*

*(«Rendez-vous», 1976 г.)*

На лекциях по философии, политэкономии, истории КПСС мы с Алешкой часто сидели на галерке и сочиняли буриме – экспромты на заранее заданные рифмы. Чтобы усложнить задачу, договаривались, что сегодня пишем сонет или балладу, используем амфибрахий, хорей, ямб... Одним словом, поэзия была для нас, как и всех прочих кружковцев, естественной средой обитания, она помогала нам приподняться над бытом – воспарить. Да и вообще, положи руку на сердце, кто из филологов не грешил стихами? Вряд ли такие найдутся, поскольку любовь к литературе и искусству предполагает рефлексию в виде попыток сформулировать собственные переживания и свой взгляд на окружающий мир. Стихосложение вообще естественно для юности как гормональные бури.

Кроме того, стихи были нашими юношескими молитвами, так как душа искала горнего. Духовной жизни у нас не было никакой, в этом смысле мы были настоящими дикарями, так как

все религии в СССР были под запретом. Почему? Да по кочану! КПСС видела в Церкви мощного идейного соперника и, надо сказать, не зря боялась конкуренции.

Духовными ценностями тогда называли гуманистические идеи о добре, красоте, гармонии и усовершенствовании мира, конечно, с помощью Морального кодекса строителя коммунизма, – в общем, все то, что правильной отнеси к душевной сфере.

А Дух – это Дух Святой. Это – Божие.

\* \* \*

Обсуждение нашего творчества на кружке проходило так: автор садился лицом к слушателям и читал стихи или отрывки прозы, остальные внимали. После читки начинался коллективный литературный анализ – темы, проблемы, художественных особенностей и т.д. и т.п. Каждый высказывал свое мнение, упражнялся в красноречии. По сути, мы по-братски безжалостно трепали жертву, не утруждая себя правилами высокой дипломатии, правда, хамства не допускали никогда. Авторское самолюбие каждого смельчака, рванувшего на себе тельняшку – «стреляйте, гады!», подвергалось серьезнейшему испытанию, но мне кажется, что никто на критику товарищей не обижался, потому что, во-первых, таковы были правила игры; во-вторых, ни личных счетов, ни злобivosti, ни пренебрежительного отношения к автору не было, каким бы беспомощным не являлось его произведение. Уважение вызывало само стремление писать стихи, даже плохие. Много из того, что обсуждалось на кружке, потом печаталось в филологической стенгазете «Горьковец».

Кружок посещали не только факультетские поэты, прозаики, драматурги, но и критики, поскольку критика – неотъемлемая тень литературы и искусства. Иногда в нашей газете рядом со стихами начинающего поэта помещалась и рецензия начинающего критика. Газету-то делали те же самые кружковцы: Сережа Финочко, Слава Дрожащих. Надо отметить, что студенты ее очень ценили.

Наш творческий кружок гремел на весь университет и пользовался авторитетом не только у филологов, но и на других факультетах. К нам приходили историки, физики, геологи – все,

кого посещала ветренная Муза и кто хотел услышать *компетентное* мнение о своем творчестве. Помню, однажды приехал даже поэт из Нижнего Тагила – Вадим Бетев. Его стихи очень понравились Рите Соломоновне, так что мы немного приревновали.

Все без исключения поэты на обсуждении получали «по первое число». Пришельцев с других факультетов наша строгость ошеломяла, ибо у себя они привыкли к восторженным дифирамбам, а тут их ждал разнос, зато – от *профессионалов*...

Мне кажется, что слабаку мы могли раз и навсегда отбить желание самовыражаться. Впрочем, это вполне по-чеховски, ведь Антон Палыч тоже советовал применять самые жесткие меры для смирения писательского зуда, а если на любителя пачкать бумагу ничего не действовало, стало быть, он безнадежен для нормальной жизни и обречен на этот крест.

Закалка творческого кружка мне очень пригодилась в будущем, когда я стала работать в журналистике. К критике у меня был выработан мощный иммунитет. Более того, я убеждена, что самая злая и несправедливая критика намного полезней комплиментов и похвал, которые, само собой, тешат самолюбие и ублажают автора. Довольный собой писатель начинает почитать на лаврах, а это – начало стагнации. Много раз я сталкивалась с людьми, которые не способны были терпеть малейшее замечание в свой адрес и впадали то в депрессию, то в агрессию, если слышали критические оценки своих произведений. В таких случаях я усмехалась: вас бы, судари мои, к нам на творческий кружок – на курс молодого бойца, враз бы отучились падать в обморок, яко гимназистки.

Впрочем, как бы кому ни доставалось на читке и как бы сильно ни потрепали братцы-филологи юное дарование, у каждого дебютанта была неизменная заступница – Рита Соломоновна. Ее анализ был всегда доброжелательным, критика конструктивной, замечания точными, и она обязательно находила такие моменты в обсуждаемых произведениях, которые выделяли и приподнимали автора в наших глазах. Ее заключительное слово становилось бальзамом на раны и вдохновляло к новым твор-

ческим горизонтам. Конечно, именно ее оценку каждый выступавший ждал больше всего.

Тон на кружке задавали наши юноши: Дрожащих, Финочко, Егоров, Челознов, Ширинкин. Иногда к нам на огонек заглядывали Борис Кондаков, Владимир Абашев и тоже охотно принимали участие в обсуждении молодых авторов. Абашев уже тогда считался человеком с абсолютным поэтическим слухом. Кондаков обладал тонким чувством юмора и был талантливым пародистом. Он иногда смешил нас, изображая в лицах анекдотические ситуации, подмеченные им на экзаменах или семинарах. Кое-что мы даже брали на заметку и включали в свои концертные репризы. Однажды, к примеру, он показал, как некой филологине на экзамене по литературе XIX века достались «Повести Белкина». Девушка их не читала и честно объяснила почему: «Нигде нет этих повестей, даже в Горьковке. Есть там какой-то Белкин, но он пишет о сельском хозяйстве...». Интеллигентнейший преподаватель Владимир Константинович Шеншин, потомок Фета<sup>3</sup>, потерял дар речи и сам ужасно сконфузился. Борис очень похоже склонял набок голову и потирал стекло в очках, изображая оторопевшего Шеншина. А мы смеялись.

Самыми известными поэтами у нас были Слава Дрожащих и Люся Шистерова. Без их творений не выходила ни одна стенгазета. Слава и сейчас пишет и публикует свои стихи, а про Люсю ничего не слышно.

Однажды на кружке читал стихи даже В. Кальпиди – он тогда жил в Перми. Мы не афишировали его приход, и это сошло с рук. Если честно, по гамбургскому счету, то мне тогда нравились только его стихи. Было видно, что для него поэзия –

---

<sup>3</sup> Доцент кафедры русской литературы В.К. Шеншин на самом деле не был потомком А.А. Фета. Вопрос об его корнях я как-то задал ему в одной из бесед, состоявшихся в конце 80-х годов. В.К. рассказал мне, что Шеншин – фамилия его отчима, удмурта по национальности, военного и «красного командира», естественно, не имевшего никаких родственных связей со старинным российским дворянским родом Шеншиных, почти все представители которого погибли в годы революции и гражданской войны или эмигрировали на Запад. «Родовая» фамилия В.К. была Килин. *Примечание Б.В. Кондакова.*

не временное увлечение, не дань моде и юности, а то, ради чего он будет жить. И было понятно, что у него есть своя интонация, стилистика, музыка, энергия. Да и красив он был тогда, как античный бог. Литературный штамп («бледное лицо, обрамленное черными кудрями»), использовать который считается дурным тоном, более всего подходит к описанию внешности молодого Виталия. Впрочем, и молодого Славы Дрожащих. На них только посмотришь, сразу видно – поэты. У Славы тоже был свой поэтический голос, но лично я запутывалась в его бесконечных ассоциациях и не всегда понимала, о чем он так вдохновенно поет.

То, что Виталий лидировал с большим отрывом, мне кажется, понимали все, но он, к сожалению, уже не был нашим студентом, и даже его имя было под запретом. Как-то Славка Полунин положил на музыку стихотворение Виталия, которое тот написал ещё будучи школьником. Получился замечательный романс, который Полунин и его жена спели под гитару на «Студенческой весне»<sup>4</sup>, вызвав бурю оваций. Для обмана жюри (все тексты согласовывались с парторганизацией) автору стихов придумали другую фамилию. Попробую вспомнить этот романс, хотя столько лет прошло, могу ошибиться.

*Мои печальные стихи –  
Уже успела раствориться  
Неприкасаемы ресницы,  
Как удаляющийся звук.  
Неописуемо свежо  
Двойною тенью снег залит,  
В руке опущенной забыт  
Сухой, неброшенный снежок...  
Улыбкою немного больной,  
Полоски губ твоих тихи...  
Мои веселые стихи  
Лишь для тебя одной печальны.*

---

<sup>4</sup> Так назывался смотр художественной самодеятельности среди студентов в Перми.



Жизнь показала, что высшая справедливость существует, и сегодня стихи Кальпиди известны огромному числу читателей в нашей стране и за рубежом. Поэтическая судьба прочих кружковцев гораздо скромнее. В этом нет ничего удивительно-го, расстановка сил всегда была такой.

Замечу, что в те годы звание «пермский поэт» казалось нам обидным. Помню, на кружке свои стихи читал Валерий Мерлин, интеллигентный юноша, профессорский сын, выпускник филфака. Мерлина больше всего задело как раз то, что кто-то назвал его поэзию «типично пермской».

Вячеслав Полунин за свою манерность получил кличку Граф. Стихи он писал в основном на английском языке, сочинял к ним музыку и замечательно пел свои «синглы» вместе с двумя девушками с английского отделения. Мы Графа никогда не критиковали, не понимая содержания текстов, просто наслаждались пением и музыкой.

Поэт Юрий Беликов выступал на нашем кружке один раз – как прозаик. Он читал рассказ, где социальные проблемы подавались очень уж завуалированно. Помню только один эпизод: главный герой, простой мужик, на рыбалке намазывал на хлеб дождевых червей и ел этот бутерброд, приговаривая: «Ловко, ловко, Нюрка – воровка». Эта Нюрка вроде продукты воровала в столовой. Мы, как водится, раскритиковали рассказ, сочтя его то ли шибко посконным, то ли абсурдистским. Но Беликов, как оказалось, «не косил» ни под Кафку, ни под деревенщиков, он возмущался тем, что в Перми не было... мяса. Нас это не цепляло. В Перми тогда много чего не было, никаких червей не хватило бы, чтобы сожрать все проблемы.

\* \* \*

Мы не только пели про «нечто и туманную даль». В кружок поступали заказы от факультетского начальства. Например, нас просили провести вечер по творчеству пермских поэтов для гостей города, или по творчеству поэтов военных лет, вечер испанской лирики, французских символистов и т.д. Мы читали лекции о поэзии в различных организациях, даже ездили с агитбригадой по весям Пермской области, где выступали со стихами в сельских клубах и Домах культуры. Меня тогда приятно пора-

зило, что на наши выступления приходили всей деревней или селом. Стихи простые люди слушали замечательно, и это воодушевляло.

Самыми ответственными заказами были сценарии для «Студенческой весны». Не знаю, как сейчас, но в мое время студенческие фестивали художественной самодеятельности были популярнейшими мероприятиями. Пригласительные билеты на них было не достать.

Творческий кружок ежегодно выдавал какой-нибудь поэтический дивертисмент – этакую цыганочку с выходом. Народу на эти концерты набивалось много, чуть не на люстрах висели. Писатель Владимир Киришин вспоминает в книге «Частная жизнь»: «Самые популярные концерты были на филфаке ПГУ: в переполненный зал не попасть, духоту взрывали бури аплодисментов. На «Студенческой весне-76» филологи разыгрались не в меру – устроили капустник из пьесы Горького «На дне», наговорили двусмысленностей про нашу жизнь. Дух захватывало от намеков...».

Да, именно «Студенческая весна» 1976 года неожиданно обернулась для нас колючим отзимьем.

Как мы сочиняли свои «куплеты»? Обычно собирались после занятий, писали стихи или переделывали тексты известных шлягеров, а затем связывали отдельные номера общим замыслом. Потом сами же исполняли свои репризы на сцене.

Шутили, к примеру, на тему сессии:

*На экзамен я пришел  
Ничего не знаячи,  
Даже взмок, как сел за стол,  
До трусов и маечки.  
Вот задали мне вопрос,  
А какой – не помню я.  
У меня в мозгах склероз,  
Атрофия полная.  
И не помню, что сказал  
Я экзаменатору,  
Только он меня послал...  
Прямо к психиатру!*

Для вечера первокурсника пародировали мюзикл «Бременские музыканты»:

*Ах ты, бедная моя первокурочка,  
Посмотри, как исхудала фигурочка...*

Для скорости мы делились на группы и распределяли темы. Потом читали вслух, отбирая самые остроумные тексты, предпочтительно с драматургическими элементами, чтобы было место для лицедейства. Веселились от души. Вспоминаю арию преподавателя, сочиненную Славой Дрожащих, переделавшим известную песню на стихи Евтушенко:

*Со мною вот что происходит,  
Ко мне на лекции не ходят.  
Студенка N, студьозис T  
– Он где-то пьет "Алиготэ"! (крик из кулис)  
Ко мне пришел студент Молчалин  
С подругой Софьей на зачет,  
Сидит, молчит, как бы в печали  
Ей руки на плечи кладет...*

\* \* \*

В 1976 году решили сделать капустник по пьесе Горького «На дне». Эту идею подала нам Рита Соломоновна, она как раз читала курс литературы начала XX века. Горький был, так сказать, «программный», да и вообще – «пролетарский писатель», «основоположник соцреализма», «буревестник революции»... Подобные штампы нас ужасно забавляли и служили почвой для остроумия. Из общепринятых ярлыков мы даже составили словарь кратких определений «Это должен знать каждый». Например, Лев Толстой – это «зеркало русской революции», Ленин – «глыба» и «матерый человечеще», «Аппассионата» – «нечеловеческая музыка» и т.д.

Так же обстояло дело и с известными поэтическими цитатами, которым мы давали иное звучание: «Не искушай меня без нужды... а искушай меня с нуждой»; «Будто я весенней гулкой ранью проскакал на розовом... баране»; «Есть женщины в русских селеньях... В других же селеньях их нет!» и т.д.

Сначала нам не хотелось писать по Горькому, но решили попробовать, а там – как пойдет. Собрались, как всегда, после занятий, открыли первоисточник и стали думать, из чего тут можно выжать юмор. От нас же все ждали веселых шуток и остроумных реприз. Кружковцев и выпускали-то обычно под занавес – «вкусное на третье». Само собой, концерты были регламентированы: сначала шла патетическая часть программы, которую проще назвать «партийной», потом факультетские таланты демонстрировали певческое, танцевальное, музыкальное и прочие виды искусства. Ну а в конце – студенческий юмор.

Итак, освежив в памяти текст пьесы «На дне», мы стали его *актуализировать*. Там действие происходит в ночлежке, а у нас – в общежитии филфака, тем более что главный корпус университета, знаменитый Дом Мешкова, до революции служил как раз ночлежкой.

В пьесе Актер мечтал о сцене, а у нас он – Поэт, который жаждет напечататься в пермской молодежной газете.

У Горького Настёнка – гуляющая девка, начитавшаяся бульварных романов и грезящая о чистой любви, а у нас она – комсомольская активистка, напичканная идеологемами, живущая по девизу: «В жизни всегда есть место подвигу».

Слесарь Клещ в нашей интерпретации стал рабфаковцем, пришедшим в университет по заводской путевке.

Сатин, которого ярко играл Сережа Финочко, вместо знаменитой фразы «Человек – это звучит гордо» восклицал, став на стул: «Филолог – это звучит горько!». Здесь мы еще и каламбурили – от фамилии Горький.

Я уже не помню всей коллизии, так, отдельные моменты. Например, у Горького в начале первого акта есть монолог:

*Сатин (приподнимаясь на нарах). Кто это бил меня вчера?*

*Барон. А тебе не все равно?..*

*Сатин. Положим – так... А за что били?*

*Бубнов. В карты играл?*

*Сатин. Играл...*

*Бубнов. За это и били...*

Мы начали действо как раз с этого места, только вместо Бубнова у нас Барон – его играл Алешка Егоров.

*В студенческой общаге просыпается подгулявший накануне студент Сатин и спрашивает: – Кто это бил меня вчера?*

*Барон. Тебе не все равно?*

*Сатин. А за что били?*

*Барон. Филолог?*

*Сатин. Филолог!*

*Барон. За это и били...*

Сценарий писали коллективно, все подбрасывали реплики, идеи, каламбуры. Каждая фраза произносилась вслух – одобрялась нами или отбрасывалась. Помнится, купили для бодрости сухого вина, так что дело спорилось.

Когда сценарий был написан, начались репетиции. Рита Соломоновна в это время болела и текст капустника не читала. Видимо, в городе была эпидемия гриппа, потому что бессменный художественный руководитель всех концертов филфака Соломон Юрьевич Адливанкин тоже был на больничном. Режиссером назначили Леонида Николаевича Мурзина – талантливого лингвиста, преподавателя кафедры русского языка. Он очень увлеченно репетировал, видимо, вспомнил с нами свою студенческую юность.

На репетициях я была потрясена, сколь многогранно талантливы наши юноши. Они так легко и естественно перевоплощались в персонажей пьесы, словно были студентами театрального вуза, где годами оттачивается актерское мастерство. Нам, девчонкам, далеко было до них. Особенно мне запомнилась игра Алеши Егорова, который с первой репетиции так задрал планку, что остальным пришлось подтянуться. Егоров играл Барона, Слава Дрожащих – Поэта (тоже блестяще), Сережа Финочко – Сатина, Юра Беликов – Клеща, а ваша покорная слуга – Настёнку. Были и другие герои, всех уже не помню.

Филфак, как правило, лидировал на «Студенческой весне», так что мы понимали свою ответственность и, конечно же, болели душой за свой факультет, желая победы. Главными нашими соперниками были историки, у которых традиционно

гвоздем программы являлся студенческий ансамбль «Политическая сатира», сокращенно «ПОСАТ». Конечно, все тексты «ПОСАТа» были идеологически заостренными, так как их главная цель – обличить мировой капитализм. Круг наших тем и задач был неизмеримо шире, что давало огромные преимущества.

Мы ими воспользовались сполна...

Основная часть концерта прошла без сучка и задоринки, настал наш черед. Мы отыграли на одном дыхании. Капустник был воспринят «на ура» – аплодисменты, овации, крики «браво». Мы были горды и довольны тем, что порадовали публику. Помню, после концерта в троллейбусе ко мне подошел незнакомый парень и начал говорить любезности: «А я вас узнал... вы играли на сцене... позвольте вашу ручку... как здорово... просто молодцы...».

В тот вечер никто не предполагал, что наш капустник вызовет неудовольствие властей, однако вскоре разразился скандал.

Кто был инициатором «телеги» в КГБ, сказать трудно. По слухам, сидел в жюри один физик-аспирант, многие говорили, что он «стукач», и потому легко движется по карьерной лестнице. Этот физик, кстати, однажды читал у нас на кружке свои стихи. Правда, тогда же на всякий случай Рита Соломоновна предупредила: «Ребята, если N кому-нибудь предложит почитать Солженицына, ни в коем случае не берите». Сначала я не поняла, что это предостережение и возразила: «Как же не взять, очень хочется почитать». Рита Соломоновна многозначительно на меня посмотрела: «Ни в коем случае не поддавайтесь на подобные провокации». До меня дошло...

Одним словом, этот физик, говорят, первым поднял «кипиш», мол, това-а-рищи, как это следует понимать? Тут же голимая антисоветчина!

Страшнее этого ярлыка была лишь измена Родине. За нее полагался расстрел. Советская действительность и КПСС были священными коровами, посягательство на коих каралось беспощадно.

И понеслось. Риту Соломоновну, несмотря на то что она была на больничном и не участвовала в подготовке капустника,

отстранили от чтения лекций. Ее обвинили в воспитании диссидентов под прикрытием творческого кружка. Леониду Николаевичу Мурзину запретили защиту докторской диссертации, которая вот-вот должна была состояться, и у него случился инфаркт. Было очень жаль этого человека, попавшего в нашу историю как «кур в ошип». Кружковцев начали таскать на «проработку». Мы с ребятами договорились «косить под придурков» – а что еще оставалось!?

Ничего глупее тех претензий, которые нам предъявили, я в жизни не слышала. Тогда же поняла, что чекистам надлежало создавать видимость политической бдительности и расторопности, чтобы хоть как-то мотивировать существование огромного штата в своем ведомстве. Разоблачать «врагов» и находить компромат даже там, где его нет, было для них мерилом профпригодности.

Нам устроили партийный разнос. Придирались к каждой реплике и ремарке. Во-первых, почему основой капустника стала пьеса Горького «На дне»? Хотели поглумиться над пролетарским писателем? Это что же на филфаке, как на дне жизни, как в ночлежке, где собрались опустившиеся маргиналы?!

Мы делали удивленные глаза:

– Что вы! Мы просто использовали всем знакомое произведение, ведь наш университет носит имя Горького.

А почему ваш Поэт спрашивает, кто бил его вчера, и били его, оказывается, за то, что он филолог. В реальной жизни филологов никто не бьет, значит, вы намекаете на то, что филологи получают идейные тумачи!

– Да от кого? – недоумевали мы.

И почему представитель рабочего класса Клещ вырядился у вас в красную рубаху? На что вы намекаете?

Никто не знал, почему Юрка Беликов напялил эту злосчастную рубаху, которой только быков дразнить. Потом он говорил, что просто выбрал для концерта самую нарядную рубашку.

Как же вы посмели гулящую девку превратить в комсомольского лидера? Она еще и курит!

Действительно, у нас комсомолка Настя курила, потому что тогда на филфаке курили все девчонки. Правда, курила она

не сигареты с фильтром, а папиросы «Беломор-канал» и хотела потрудиться на стройках социализма, то есть наша героиня тоже была далека от прозы жизни и витала в облаках, как горьковская Настёнка. И еще, помню, по роли мне надо было постоянно что-то вязать на спицах, потому что это тоже было популярным занятием у студенток, ведь модных вещей в продаже не было.

Отразилось тут и то, что агитация БАМа нас просто утомила. Как только мимо Перми шел состав с добровольцами, строителями Байкало-Амурской магистрали, так нас снимали с занятий и гнали на вокзал – для показухи: вот, дескать, студенческая молодежь приветствует и с завистью провожает молодежь рабочую, едущую «за туманом и за запахом тайги». К нам подбегали корреспонденты с микрофонами и спрашивали бодрыми голосами, дескать, ребята, а вам не хочется на стройку вместе с передовой молодежью? Мы честно отвечали: «Не-е-е, лучше учиться, учиться и учиться!».

В общем, все детали мы брали из жизни.

Образ Поэта вызвал еще большее негодование партийцев: студент-филолог сочиняет антисоветские стихи!

Стихи в жанре ахиinei для своей роли Слава Дрожащих написал, конечно, сам. В них он пародировал псевдонародный стиль, подмеченный в лирике пермских поэтов, с обилием сложных предлогов типа «по-над-». Ну и острил, конечно, высмеивая требования идеологов даже в любовной лирике не забывая о партийности литературы.

*Плыли утки в лунной заводи,  
Где мы свиделись вдвоем.  
По-над-вдоль да перед заводью  
Вспоминаю оком.*

*Ах, вы, уточки-утяточки,  
На эпической волне  
Поднимает вас упаднически.  
Соцъялизм давно в стране.*

*Но не утки и не лебеди,  
А наш красный флот-гигант,*



*Раздвигая воду лезвием,  
Выплывает в окоян!*

– Что это за уточки у вас там плывут? И куда они плывут, и почему «упаднически»?! Почему вы пишете – «соцъялизм»? Так говорят только наши враги! – шумел на нас парторг факультета.

Мы изображали тупых недорослей, дескать, это чтобы ритм стиха не нарушать.

Конец пьесы был оптимистическим: каждый добивался чего-то хорошего. Настенка радостно восклицала: «А мы решили всей группой на БАМ махнуть!» Поэт тряс газетой: «Меня в «Молодой гвардии» напечатали!» Барон хвастался, что выменял на балке томик Камю. И так же, как у Горького, мы хором пели:

*Со-олнце всходит и захо-о-дит,  
а в окне моем светло.  
По зако-о-ну астроно-о-мий,  
всю-то ночь горит оно...*

Напомню, что у Горького песня звучит иначе: «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно...». Так что у нас-то налицо светлое будущее.

Ну да, мы использовали в капустнике элементы сатиры и гротеска, но во всем этом было, скорее, обычное желание порезвиться, присущее молодости, нежели стремление подложить идейную бомбу под фундамент государства. На это мы и не думали замахиваться. Сказалось и то, что на наших нежных тушках еще не было следов от зубов КПСС, которая, как выяснилось, «может двигать собой в полный рост».

Как-то надо было нас *поучить*, но факультетское начальство не хотело широкой огласки. Разбирательства ни к чему не привели, держались мы монолитом: не было злого умысла, хоть стреляйте... Видимо, сами кэзэбэшники распорядились, чтобы дело замяли. Нас взяли на заметку, но наказали мягко: всем поставили «удовлетворительно» по ОПП, то есть лишили на полгода стипендии. Кружок, конечно, разогнали. Как позднее мне объяснил сотрудник КГБ, профилактический надзор за каждым

из нас осуществлялся еще три года. Так у них было заведено, да мы и сами это понимали.

Когда я рассказывала дома о наших проблемах и объясняла маме, за что меня лишили стипендии, пришла соседка тетя Шура, которая не преминула подлить масла в огонь:

– А я что говорила! Все по совести. Раз болела желтухой, нечего было соваться на этот факультет...

– У вас желтуха как чеховское ружье: раз уж появилось вначале, то непременно должно меня грохнуть, – огрызнулась я.

Мама и тетя Шура переглянулись.

– Иди-ка попей холодненького, – сказала мама и повернулась к своей подружке. – А ты, Шура, не каркай! Кто посмеет выгнать больного ребенка?

– По документам она здорова, я ж сама ей справку писала.

– Эта справка – липовая! – отрезала мама, давая понять, что дружба дружбой, но родная дочь ей дороже.

\* \* \*

Через год в деканате решили возобновить работу творческого кружка и пригласили возглавить его редактора Пермского издательства Надежду Гашеву. И хотя у нее было вполне приличное реноме, я принципиально не вошла в состав нового кружка и осерчала на своего друга Алешку, который стал туда ходить. Для меня это было как штрейкбрехерство по отношению к Рите Соломоновне, к старшим ребятам. Конечно, на первокурсников мое негодование не распространялось, какой с них спрос. Все закономерно: «Придут другие, еще лиричней, но это будем не мы – другие...».

В новый кружок вошли те, кто учились за нами: Беликов, Асланьян, Субботин и иже с ними. Год спустя на «Студенческой весне» они выступили с высокоидейной поэтической композицией по стихам советских поэтов – реабилитировали факультет.

Когда начались разборки с капустником, то больше всего мы переживали за Риту Соломоновну, понимали, что она пострадала из-за нашего легкомыслия. Деканом в ту пору был А.А. Бельский, при котором Рите Соломоновне не только о защите докторской стоило забыть, ее могли вообще «запретить».

Вскоре после очередной проработки кто-то сказал: «У Риты через неделю день рождения, давайте ей что-нибудь подарим на память». Тогда только-только вышел черный томик Ахматовой – страшный дефицит. Достать это роскошное по тем временам издание можно было на балке – популярном в те годы книжном рынке, где паслись все книголюбы. Там мы и выменяли, а может, купили заветную книгу. Еще повезло, что достали.

Рита Соломоновна была растрогана подарком и пригласила нас вечером собраться в кафе «Уют». Пришли все кружковцы. Заказали шампанского и что-то из еды. Как обычно, шутили, говорили о поэзии, искусстве, любви... Никто не вспоминал о случившемся, но было ясно: мы вместе и мы благодарны друг другу за все. Сейчас наши пути разойдутся, но впереди вся жизнь, а в жизни бывают разные периоды, как в той песне: «Солнце всходит и заходит...».

Этот вечер в кафе стал нашей агапой – трапезой любви, хоть мы и не знали тогда таких слов. В свое время Бог открылся нам. А «социализм» сморщился. Ибо еще мудрый царь Екклесиаст сказал: *«Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит... И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что это томление духа; потому что во mnogой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь»* (Екк. 1: 5, 17, 18).

\* \* \*

Неизвестно, чем бы в итоге все это закончилось, но летом 1977 года Бельский умер. Злосчастный капуста был предан забвению. Рита Соломоновна снова стала читать свой курс по литературе, Мурзин защитил докторскую. А мы стали осматривательней.

Конечно, в душе остался осадок. Появилось точащее чувство неуюта в родном городе. Классическая охота к перемене мест стала неодолимой, казалось, что только в Перми такая невыносимо затхлая атмосфера и отсюда надо бежать. Карету мне, карету! В Москву, в Москву, в Москву! В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов! Узнать, для воли иль тюрьмы на этот свет родимся мы...

Летом я случайно встретила Кальпиди, он листал только что купленный «День поэзии». Тогда мы эти альманахи очень ценили. «Светка, слушай! – он стал читать стихи какой-то поэтессы:

- *Давайте уедем!*
- *Давайте. Куда?*
- *На улице слякоть...*
- *Наденем пальто!*
- *А вдруг пожалеете?*
- *О, никогда!*
- *Другого полюбите?*
- *О, ни за что!...*

Автора стихов не помню, зато это «давайте уедем» втянулось намертво.

По окончании университета я, проигнорировав распределение, уехала в Грузию и много лет прожила на Черноморском побережье – «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря».

\* \* \*

Были ли мы затюканы идеологическими конфликтами? Нет, конечно. Удалось ли превратить нас в амёб? Еще чего!

Мы были молоды, а молодость – сильное время, так что вперед смотрели с надеждой. Кроме того, в университете были не одни только оголтелые партийцы, большинство наших преподавателей – по-настоящему интересные, умные и порядочные люди. Впрочем, коммунисты тоже ведь не по шаблону вылеплены, среди них встречалось немало искренних, талантливых и совестливых людей.

Все перевернула с ног на голову безбожная эпоха, не зря же дьявола называют «обезьяной Бога». В стране давно уже был создан перевертыш христианства: вместо Закона Божия появился Моральный кодекс строителя коммунизма, вместо святых икон – портреты вождей; вместо крестных ходов с хоругвями и образами – демонстрации с флагами и портретами тех же вождей; вместо молитв – торжественные обещания и клятвы; вместо храмов – дворцы культуры. Многие люди, конечно, чувствовали

пародийность советской символики, но система подавляла любые признаки несогласия.

И все же университет прежде всего был учебным заведением, и учили нас хорошо.

Я уже сказала в самом начале, что учиться на филфаке было необычайно интересно. Чего стоили лекции по лингвистике! Сами преподаватели говорили, мол, повезло вам, салагам, сразу такие тузы занялись вашим преобразованием. И, правда, уже на первом курсе раздел по лексикологии современного русского языка нам читал Леонид Владимирович Сахарный – известный на всю страну лингвист, основатель петербургской школы психолингвистики, автор первого в стране учебного пособия по психолингвистике, а также ряда научно-популярных книг. Его лекции оставляли ощущение интеллектуального пира. Мы видели перед собой подлинного ученого и умного, тонкого, ироничного человека.

Сахарному нравилось разговаривать со студентами о языке, учить их лингвистическому чутью. О том, чтобы пропустить его лекцию, не могло быть и речи – кто ж от таких подарков отказывается! Время на его лекциях словно останавливалось, и звонок об окончании пары звучал как досадный, неуместный шум.

По окончании курса Леонид Владимирович объявил, что поставил три «автомата», то есть «пятерки» без сдачи экзамена. Была названа и моя фамилия. С одной стороны, приятно и лестно получить его одобрение, но с другой – немного жаль было, что я *автоматически* лишалась удовольствия интересной беседы с умным человеком. Именно так я представляла себе экзамен у Сахарного.

Забавно, что в тот самый момент, когда Леонид Владимирович объявил свое решение об «автоматах», вошла лаборантка, которая накануне проводила у нас диктанта. Да, да, как в школе, нам устроили зачет в виде диктанта. Дело в том, что филфак в наше время был факультетом отличников. Конкурсы при поступлении были огромные, поэтому у рядовых троечников шансов учиться на филфаке почти не было, разве что по великому благу их брали кандидатами в студенты.

Наши умные преподаватели придумали простой и доходчивый способ, чтобы сбить спесь с новоиспеченных филологов: они составили диктант такой сложности, что даже отличники получали «неуды». Таким образом, не чуя подвоха и не подозревая коварства от ранее вполне приятной во всех отношениях дамы по имени Лингвистика, мы накатали этот диктант и забыли о нем. Как говорится, рано радовались. Лаборантка сказала, что на «отлично» не написал никто, «четверка» только одна на весь курс, есть еще несколько вялых троек, но большинство студентов получили «пары».

В аудитории наступила тишина, подобная той, что оглушает в финале гоголевского «Ревизора». Леонид Владимирович полученным эффектом был явно доволен и тут же заявил, что к экзамену будут допущены лишь те, кто получил за диктант положительную оценку. У меня, слава Богу, была «тройка», чем горжусь по сей день.

\* \* \*

Оказалось, что в следующем семестре современный русский язык нам читает уже другой человек. Жаль было расставаться с Сахарным, но огорчались мы недолго, потому что Людмила Александровна Грузберг тоже оказалась прекрасным преподавателем.

Она тогда только что вернулась из-за границы, кажется, из Чехословакии, где обучала русскому языку пражских студентов. Впрочем, может, я путаю страну, да это и неважно. Помнится, она всегда несколько запаздывала, торопливо входила в аудиторию и сразу же, еще не сняв шубку, начинала говорить. Ее лекторское искусство было поистине ювелирным. Вот и опоздает, но на перемену обязательно вовремя отпустит, еще даст несколько лишних минут погулять, да и закончит всегда чуть раньше, но тему лекции закруглит, выслушает все наши вопросы и обязательно на них ответит. Людмила Александровна, как и Сахарный, обладала неподражаемым чувством юмора.

Никакого мандража перед ее экзаменом не было и в помине, разве что предпраздничное волнение. Она нас честно предупредила, что не видит ничего страшного в том, что студент не выучил какую-то тему или не может ответить на заданный во-

прос, эти факты даже на оценку не всегда влияют. Зато к шпаргалкам отношение категорически отрицательное, в них Грузберг видела неуважение к преподавателю и оскорбление его доверия. И горе тому, кто попадется со «шпорой» – пощады не будет.

Мне ее слова показались справедливыми. Никогда больше я не воспринимала экзамены как интересные собеседования с коллегой-преподавателем, но уверена, что это и есть высший пилотаж обучения, когда студент не боится, а радуется экзамену как возможности пообщаться с научным руководителем. Впрочем, то же было и на экзаменах у Р.В. Коминой.

Вскоре мы узнали, что Леонид Владимирович Сахарный перевелся на работу в Ленинградский университет, так как у него в Питере образовалась новая семья. Говорили, что банкет по случаю его отбытия на кафедре русского языка прошел весело. Коллеги посвятили этому событию много стихов и песен, типа: «Нас на бабу променял...» В общем, наши преподаватели не уступали студентам в реализации творческого потенциала.

Конечно, из-за дефицита книжной площади нет возможности написать о всех наших преподавателях. О Сахарном и Грузберг я сказала чуть подробнее лишь потому, что их лекции стали нашим введением в храм науки. Недаром сначала чуть не весь курс ринулся в лингвисты. Но когда начались лекции А.Ф. Любимовой, Р.В. Коминой, Н.В. Гашевой, Н.Е. Васильевой, Н.С. Лейтес, Р.С. Спивак, С.Я. Фрадкиной, то филологическая братия рванула в литературу. Вот и я первую курсовую защищала по лингвистике, но впоследствии – только по литературе.

\* \* \*

Так уж получилось, что меня в большей степени притягивали любители изящной словесности. Как охотничья собака, я замирала и вострила уши, как только слышала ритмическую речь, поэтому мои воспоминания имеют своеобразный крен относительно общей вертикали обучения. Помню, к примеру, что большой почитательницей поэтического слова была Анастасия Ивановна Шорина, читавшая методику преподавания русского языка. У нее было прозвище «бабка Шорина», которое мы переняли от старшекурсников, и в нем не было ничего обидного,

просто ласковый студенческий юмор. Она и правда была «в годах», ходила с тросточкой, но в интеллектуальном плане никаких возрастных немощей не наблюдалось, наоборот, мне нравились ее остроумие и эрудиция во многих областях искусства. Больше, чем методики преподавания, запомнились «лирические отступления» на лекциях, когда она вдруг принималась говорить о поэзии. Шорина иногда задавала вопросы с подвохом, например, прочитала как-то стихотворение «По грибы» и спросила: «Что скажете об авторе?» Послышались скептические реплики, типа: «Так себе стишки, какой-то провинциальный стихоплет накропал...». Анастасия Ивановна кивала головой, слушала «умные» высказывания, а потом буднично замечала: «Это Борис Леонидович Пастернак написал». Мы конфузились, а она добродушно посмеивалась. В другой раз попросила вспомнить поразившие нас поэтические сравнения. Мы по очереди читали вслух пышные фразы. Вдруг она спросила: «*Кто написал «он был как выпад на рапире»?* Ладно, подскажу, Пастернак написал. А кого он так характеризовал? Неужто не знаете, филологи? Узнайте, сделайте одолжение...». Нам подобные «плюхи» нравились.

Рита Соломоновна Спивак читала нам литературу Серебряного века – любимейший период студентов всех поколений, как-никак – поэтическая колыбель XX века. С первого курса мы видели, как старшекурсники закатывали глаза и поднимали вверх большой палец, когда рассказывали о ее лекциях. Ирина Коротнева, учившаяся двумя годами раньше, говорила мне, что замирает «от модуляций Ритинового голоса». Рита Соломоновна действительно превосходно читала стихи, и ей это шло: тонкий профиль, мелодичный голос, библейские глаза.

Риту Соломоновну всегда интересовали студенты как творческие личности, она одобряла наши первые, часто неуклюжие, попытки писать и вселяла уверенность, что мы можем чего-то достигнуть на этом поприще.

Об уровне ее лекций можно судить по такому случаю. Однажды Р.В. Комина, встретив Сережу Финочко, попросила его прихватить еще кого-нибудь из парней и помочь что-то там сделать. В общем, нужна была мужская сила.



– Я бы с удовольствием, но у нас же занятия, – ответил он.

– Скажите, что это я разрешила вам уйти.

Сергея замялся.

– Понимаете, у нас сейчас лекции Спивак, а мы их не пропускаем...

Комину порадовал его ответ, потому что Рита Соломоновна была ее ученицей.

\* \* \*

Наш новый декан Римма Васильевна Комина была самой легендарной личностью факультета. Выпускница филологического факультета МГУ, она была ученицей А.А. Белкина, знаменитого ученого, специалиста по Достоевскому и Чехову. Говорили, что в свое время у них в МГУ тоже был какой-то литературный кружок, который разогнали, но я об этом мало знаю. Вроде бы, Комина из-за того инцидента и очутилась в Перми. Для нее это, наверное, было как ссылка, зато Перми повезло.

Когда мы учились на младших курсах, то постоянно слышали отовсюду: «О, Комина, Комина...». Она читала нам лекции на третьем курсе, к этому времени мы уже считали себя *бывальцами*, но перед ее авторитетом робели. Правда, начав заниматься, совершенно успокаивались, нас захватывала атмосфера интеллектуального диалога с классиками русской литературы, который Римма Васильевна умело организовывала. Она постоянно обращалась к аудитории с неожиданными вопросами, проводила интересные параллели с современностью, учила нас видеть в произведениях прошлого перекличку с сегодняшней жизнью. Скажем, читаем очерк Салтыкова-Щедрина «За рубежом», где беседуют «мальчик в штанах и мальчик без штанов». Римма Васильевна подсказывает: «Читайте это как мальчик в джинсах и мальчик без оных». Одна фраза, и действие становилось узнаваемым, актуальным, интересным. Кто забыл, напомним, что джинсы в 1977 году стоили 250 рублей, а средняя зарплата по стране составляла 130 руб., так что такие штаны были далеко не у каждого студента, но мечтали о них все.

Некоторые преподаватели филфака были учениками Коминой и передали нам свое благоговейное отношение к ней. Сегодня коллегами и выпускниками филфака о Римме Васильевне

написана целая книга воспоминаний. Это самый дорогой и достойный ее памяти акт благодарности – «царственное слово».

К Римме Васильевне я испытываю глубочайшее уважение и признательность. Три года она была моим научным руководителем, и я очень многому у нее научилась. От нее, например, я заразилась любовью к театру и даже хотела по окончании университета поступить на театроведческий факультет. Увы, в Тбилисском театральном институте преподавали только на грузинском языке, который я знала плохо.

\* \* \*

От одной из подруг-старшекурсниц я часто слышала дифирамбы в честь «гениальной» и «потрясающей» Нины Евгеньевны Васильевой. И вообще ее интеллектом нас «пугали» так же, как интеллектом Коминой. Это немного интриговало: хотелось приобщиться к обществу филологической элиты, что-то позаимствовать, а с другой стороны – мы комплексовали: не хотелось бледно выглядеть в глазах *такого* человека. Нина Евгеньевна читала нам историю русской и советской критики – теоретический курс, считавшийся одним из самых трудных. Недаром к нему приступали только на четвертый год обучения. Предмет был трудным, а преподаватель – легким. Она была для нас образом обаяния: молодая, стройная, белокурая, приветливая и подвижная, как лодочка на воде. Свой предмет Васильева читала действительно превосходно и так увлеченно, что эта энергия и нас захватывала.

Нина Евгеньевна запомнилась и своими человеческими качествами, например, добрым отношением к нашему брату студенту. Как-то я решила посоветоваться с ней по поводу рецензии на спектакль «Фантазии Фарятьева», которую написала по заданию Коминой. Прежде чем выступить на семинаре, хотелось услышать оценку главного «критика» факультета. Встретив ее в коридоре, я подошла и объяснила суть своей просьбы. Нина Евгеньевна словно обрадовалась, увидев мои листочки. «Могу ли я прочитать? Не только могу, но очень хочу! С огромным удовольствием прочитаю, а после обсудим. Только... давайте завтра – хорошо? У нас ведь еще есть время? – Она загадочно посмотрела на меня, словно приглашала стать участником заго-

вора. – Понимаете, сейчас я тороплюсь – мы с мужем идем в кино...». Ее счастливая улыбка и радужное состояние меня покорили. Готовность поделиться со студенткой не только своими знаниями, но и простой человеческой радостью – это было непривычно.

Или вот моя сокурсница К., писавшая диплом у С.Я. Фрадкиной по творчеству Трифонова, в итоге вынуждена была признать, что теоретическая часть у нее получилась слабой, а времени на исправление уже нет. Дело было еще и в том, что недавно вышедший роман Трифонова «Дом на набережной» вызвал недовольство властей и всю критику на Трифонова тут же изъяли из библиотек. К. даже в Москву ездила, но и там было глухо, а без опоры на авторитеты писать могли далеко не все. Научным оппонентом К. была как раз Васильева. Поняв, в чем уязвимость исследования, она предложила спасительный выход: «Давайте отнесем данную работу к жанру эссе». К. была тронута тем, что руку помощи ей протянула ее оппонент – та, кого, по правилам, следовало остерегаться. Однако помочь, поддержать, укрепить Нине Евгеньевне свойственно больше, нежели раскритиковать. Вообще я заметила: чем талантливее преподаватель, тем добрей и снисходительней он к учащимся. И наоборот.

Филфаковцы нашего поколения говорят, что по сей день используют в своей преподавательской практике примеры и образы, которые переняли у Н.Е. Васильевой – золото не тускнеет.

\* \* \*

Конечно же, жизнь в университете не сводилась только к учебе и отношениям с преподавателями. В юности общение со сверстниками – главная составляющая бытия. Мы завязывали дружбу, кутили, влюблялись, заводили семьи. Досуг проводили, как правило, вместе, небольшими компаниями. Очень любили ходить в кино и театры, не пропускали ни одной премьеры.

Несмотря на то что студенты народ небогатый, мы довольно часто посещали кафе и рестораны. Больше встречаться было негде, разве что в общежитии, но там неуютно. В Перми почти не было заведений, где можно было бы недорого посидеть в кругу друзей. Сейчас у нас на каждом шагу различные кафешки и бистро, куда даже школьники могут прийти пообщаться

или просто перекусить, но в наши дни выпить стакан лимонада или сока можно было разве что в гастрономе – в отделе «Соки-воды».

Серость быта ощущалась внятно и порой нагоняла мощную тоску. Иногда после занятий домой ехать не хотелось, а идти было некуда. Моя подруга Света Пандакова обычно спрашивала, когда мы подходили к арке на Перми Второй:

- Куда сегодня кости бросим?
- Не знаю. Может, в кино?
- Так нет ведь ничего приличного...
- Тогда по домам?
- Домой неохота.
- Ну, давай хоть в «Каме» посидим.

Ехали в кафе «Кама», где можно было за маленькие деньги съесть пару горячих блинчиков с яблоками и выпить немного сухого вина. На все про все уходило меньше рубля. Правда, публика там собиралась неавантажная – окрестных алкашей тоже привлекала возможность недорого выпить и закусить. Без символической закуски там не наливали, поэтому некоторые завсегдатаи ограничивались покупкой всего одной карамельки-подушечки, что нас со Светкой умиляло.

Чтобы иметь деньги для вечеринок, мы экономили на обедах. Питались бегло, перехватывая что-нибудь в буфете, обычно бутерброд с колбасой и томатный сок. На это уходило копеек 20 – 25. Есть нам хотелось всегда, но на это не обращали внимания, тем более что все, от тощих до очень тощих, мечтали похудеть. У девушек 46-й размер считался уже «толстым», правда, не помню, чтобы кто-то изнурял себя диетами. Слова «целлюлит» еще не было в нашем лексиконе.

Конечно, приходилось очень много читать. Читали в транспорте, за обедом, ночами – всегда и везде. Почти все мы были очкариками.

Филологическим шиком было привнести новое словечко или придумать каламбур. Например, купив сигареты «Лайка», тут же обыгрывали это: «Кто хочет полаять?» Играть словами вообще было признаком хорошего тона. Кажется, Алеша Егоров придумал словечко «трататня», и оно сразу же прижилось в на-

шей среде, больше я его нигде не слышала. Трататня – от «тра-та-та», то есть пустой звук, ерунда. Трататней, само знамо, мы звали все партийные дисциплины.

Преподаватели наши тоже любили лингвистические игры. Например, когда нас послали всех вместе на уборку моркови, они объявили конкурс на лучшее определение данного занятия. Победил Сахарный, назвав выдергивание корнеплода из земли весьма поэтично – «Одним касанием». Л.А. Грузберг отметила, что сказано «очень по-мужски».

На сельхозработках любители поэзии кучковались вместе, чтобы читать друг другу стихи. На фольклорной или диалектологической практиках мы писали *деревенские циклы*. В Акчиге Алешка Ширинкин придумал даже записывать стихи на ленточках бересты. Одна такая «берестяная грамота» с его автографом у меня чудом сохранилась. Там всего один катрен:

*Воры, ночи у нас тихи,  
Да и патроны кончились.  
Украдите мои стихи!  
Чтоб ничего не помнилось...*

До сих пор считаю, что юность без поэзии – преждевременная старость. Не верится, что можно прожить, минуя эту «высокую болезнь».

Когда мы собирались на вечеринки, то неизменно пели «Душу косолапую»:

*Ох, душа ты моя косолапая,  
Что болишь, душа, кровью капая.  
Кровью капая, да в пыль дорожную,  
Не случится со мной невозможное.  
Не решу никак незадачу я:  
Отчего у собак жизнь собачья.  
Ты не лай на судьбу да на хозяина,  
На хозяина, что злее Каина.*

Мы о Каине тогда знали, но смутно. Библию почти никто не читал, но все почему-то хотели ее *где-нибудь* раздобыть. Однажды я даже выменяла на балке старинное Евангелие на цер-

ковно-славянском языке, и все говорили, что мне страшно повезло. Читать по церковно-славянски нас научили еще на первом курсе, правда, предмет назывался «старо-славянский язык» – чтобы никакого упоминания о Церкви. Ведь мы учились тогда, когда слово Бог еще писали с маленькой буквы...

*Ю.И. Асланьян<sup>5</sup>*

## В ЦЕНТРЕ КРУГА

Из армии, только начав службу, я написал домой и попросил выслать мне какой-нибудь блокнот для записей. Вскоре мне его прислали, он был чистым, но на одной из страниц я обнаружил стихотворение, начинавшееся строчкой: «Как ты смеялась высоко!». По почерку я понял, что запись – моя, вспомнил, что и стихотворение – моё! Странно, но я его совершенно забыл... Прочитал и подумал, что зря забыл, оно вроде удачное. Мне было всего восемнадцать лет, а написал я его в семнадцать.

Хороший текст перед тобой или плохой? Никакие энциклопедические знания не помогут ответить на этот вопрос. Только чувство вкуса, которое вырабатывается с детства, юности, дай Бог – под опекой какой-нибудь настоящей души.

Мы, члены творческого кружка филологического факультета Пермского госуниверситета, сидели в небольшой аудитории на втором этаже студенческого общежития № 8, где обычно проходили занятия иностранными языками.

Новый руководитель кружка, Надежда Николаевна Гашева, быстро просматривала листы с отпечатанными на машинке стихотворениями молодых, наглых и боязливых, молча наблюдавших за ней. «*Как ты смеялась высоко!*... – прочитала она. – *Хорошее стихотворение*». И стала просматривать дальше – фамилий авторов на листах не было.

«*Значит, тогда, в армии, я не ошибся,* – подумал. – *Как долго приходится учиться, чтоб отличить хорошее от плохого!*».

---

<sup>5</sup>Асланьян Ю.И., выпускник 1980 г., писатель.

Когда нам стало известно, что творческим кружком будет руководить Надежда Николаевна Гашева, редактор Пермского книжного издательства, возникло двойственное чувство. С одной стороны – восторга, что с нами будет заниматься настоящий редактор, с другой стороны – страха, ведь нас будет оценивать профессионал! Страху оказались напрасными. Надежда Николаевна никому ни одного разноса не устроила. Понимала, что мы только начинаем писать, щадила, поддерживала, давала советы. То есть делала то, что нам было необходимо.

В творческом кружке того времени занимались Михаил Шаламов, Вячеслав Запольских, Юрий Беликов, Анатолий Субботин, Алексей Иванов-Ширинкин, Александр Попов, Марина Крашенникова и автор этих строк. Это в основном были мы, поступившие в 1975 году, и те, что были младше нас на два курса.

Помню, мы обсуждали стихи Беликова: «Как вызов витринной насмешке, последним в людской толчее, сидит инвалид на тележке, как будто по пояс в земле». Оценивали фантастический рассказ для детей Вячеслава Запольских с фантастическим названием «Барколуса» (по имени героя). Надежда Николаевна помогала анализировать тексты, говорила осторожно, но веско. Удивительно, но мы всегда с ней соглашались, когда она делала критические замечания. Настолько убедительно это звучало.

Помню, как однажды член нашего кружка прочитал свое стихотворение, с выпренной афористичностью: *«Есть женщины, с которой пить нельзя, из-за которой грех нам не напиться!»*. *«Нет такой женщины!»* – тут же пресекла его Надежда Николаевна.

Она, как скульптор, отсекала от нас все лишнее. Учила не только вкусу, но и стилю жизни. Навсегда запомнил, как она сказала: *«Если вы идете по улице и вам приходит в голову какая-нибудь стоящая мысль, остановитесь, присядьте где-нибудь – и доведите эту мысль до конца!»*.

Она рассказывала о своих учителях, редакторах Пермского книжного издательства Борисе Назаровском и Савватии Гинце, восхищалась их интеллектом. Как будто говорила: вот какими надо быть!

«Почему вы не пишете о любви?» – спрашивала она нас. Нет, мы писали, но мало. И что-то в этом было от времени, в котором жили. Это потом мы поняли, что любовь – штука редкая, более того, опасная. В том же году Саша Попов, писавший о любви и живший ею, покончил жизнь самоубийством.

Мы по книгам знали, что это такое – свобода, и тайные коды природы требовали личностной реализации. С одной стороны, нам говорили, что искренность – основа литературы, с другой – о партийности литературы. Поэтому больше любви нас волновала метафора, её тайные возможности в качестве эзопова языка поэзии, поскольку мы жили в стране, находящейся под контролем цензуры.

Юрий Беликов в это время был студенческим редактором факультетской стенгазеты «Горьковец», где были опубликованы подозрительные стихи членов кружка и Анатолия Култышева, земляка и товарища Юрия. В стихотворении Култышева звучало такое: *«Желтая пятка вашей души, сохнувшей от неискренности»*. Текст был нанесен на рисунок человеческой ступни. Художником газеты был Саша Попов. Там же стоял кусочек из пьесы Владислава Запольских с героями-снежинками, которые не были членами ВЛКСМ. Текст Култышева кто-то вырезал прямо из газеты. Это издание, возможно, показалось деканату декадансом. А тут ещё сам Беликов не явился на выборы депутатов Верховного Совета страны, проходившие под строгим партийным контролем – и его сняли с ответственной идеологической должности, поставили более надежного человека, «члена партии с 1905 года».

Сейчас все это вспоминается с улыбкой, но в те молодые годы это было нашей реальностью. У нас не было другой жизни – свободной прессы, публикаций, интернета и прочего, доступного сегодня практически всем.

Под влиянием свободных речей Надежды Николаевны, творчества символистов, имажинистов и других модернистов мы создали свою творческую группу, назвали её «Времери» и организовали несколько собственных выступлений. Один раз, например, читали стихи студентам в библиотеке политехнического института. Для прикола, как горят молодые сегодня, мы



выносили Анатолия Субботина на эстраду сидящим на стуле. Он читал стихи – и его снова уносили. Потом выносили снова – и он опять читал. И только в конце программы Анатолий вставал и покидал сцену самостоятельно. Почему Субботина? Наверно, потому что он был самым легким из нас. Самым тяжелым был Миша Шаламов, который тоже читал свои стихи. Мы были такими молодыми, нам хотелось озорства и свободы не только в творчестве, но в поведении. Это было что-то вроде невинного вызова окружающей среде.

А Надежду Николаевну сняли с должности руководителя, говорили: кто-то донес, что на творческих заседаниях поэты распивали вино и распускали языки! Декан Римма Васильевна Комина дала понять Юрию Беликову, что она в курсе образа жизни и творчества членов кружка. В курсе!

Гашева уходила из университета. Помню её на привокзальной площади. Вечерние огни, люди кругом, она стоит в простеньком пальто, кажется, с капюшоном. Никогда не замечал в ней тягу к тому, что сейчас называется гламуром, ни к тому, что тогда называлось богемой. Она всегда казалась простой, без претензий, если не иметь в виду образованность и поэтический слух.

Надежда Николаевна была для нас человеком со стороны, не из преподавательского состава, и мы знали, что она может в любую минуту уйти. И она это знала, поэтому не стеснялась вести себя так, как может человек независимый. Наверное, поэтому ей руководить кружком долго не дали. Но мы продолжали с ней встречаться, у неё дома. Запомнился один вечер, когда она жила на Городских горках.

Мы ехали на встречу с Юрием Беликовым, в трамвае. А рядом с нами стояла девочка, школьница, на которую мы не обратили внимания. А она по нашему разговору поняла, кто мы и куда едем. На улице она обогнала нас и пришла домой первой – кто знал, что девочка станет драматургом и поэтом Ксенией Гашевой.

В тот вечер Надежда Николаевна попросила нас снять с рук часы и сложить их в пустую тарелку, чтобы сидеть и не смотреть на время.

Мы пили вино и упивались стихами. Помню, что я читал Валерия Брюсова: «По улицам Венеции, в вечерний Неверный час блуждал я меж толпы...» («Данте в Венеции»). Надежда Николаевна подсказывала, когда кто-либо забывал строку классика, и улыбалась. Конечно, она знала, что самое главное – не память на стихи или теории, самое главное – чувство вкуса и свободы.

Года полтора назад я наконец-то издал книгу стихов – итог сорокалетнего поэтического творчества, книгу, на одной из первых страниц которой стоит стихотворение «Как ты смеялась высоко!».

Ничего просто так не бывает. И никто просто так не приходит.

Позднее все мы стали поэтами, писателями, журналистами. И книги наши редактировала Надежда Николаевна Гашева. Поэтому можно сказать, что кружок продолжает свою деятельность до сих пор, став творческим кругом, в центре которого находится она, женщина с абсолютным поэтическим слухом.

## **2. САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### ***М.А. Черепанов<sup>6</sup>* И НИКАКОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ!**

Это банальное выражение известно многим: и тем, кто большую часть своей жизни прожил при советской власти, и тем, кому уже довелось приобщиться к нынешней «вертикальной», и тем, кто хоть однажды работал с «авторитарным» начальником: «Никакой самодеятельности!» – это значит «делай, как я сказал... И меня (начальника, партию, режим) не интересуют ваши взгляды и предпочтения, если они расходятся с моими, а тем более противоречат им».

---

<sup>6</sup> Черепанов М.А., выпускник 1974 г., общественный деятель, сотрудник общества «Мемориал».

А вот «художественная самодеятельность» всегда приветствовалась властью: и на предприятиях, и в школах, и в вузах. Правда, не каждая. А лишь та, которая бы «соответствовала высоким идеологическим образцам советского искусства».

Бедные студенты филфака! Идеологически выдержанными пристало быть студентам исторического факультета, многие из которых знали, что через истфак пролегал путь к власти: сначала через идеологические отделы райкомов комсомола, а затем и правящей партии. Но филологи-то! Они ведь воспитывались на других образцах: творчество, свобода, свобода творчества, правда, социальная справедливость... А образцы служения «доброму и вечному», своему отечеству и своему народу давали великая русская и мировая гуманистическая литература и ее проводники – лучшие преподаватели филфака.

Художественная самодеятельность помогала студенту проявить себя, понять свой творческий потенциал: в музыке, пении, танце, чтении стихов, в исполнении эстрадных миниатюр. Довольно часто, благодаря такому опыту, самые талантливые становились потом профессиональными певцами, музыкантами, актерами и режиссерами.

Но для филолога всегда, конечно, «В начале было Слово...». Хотелось высказаться, поделиться своим видением, пониманием, отношением к тому, что происходит – в мире, в жизни, в душе.

Об этом знали и другие. Те, кто неусыпно следил за словом, укорачивали его и загоняли в дозволенные рамки. На исходе шестидесятых годов многим казалось (видимо по инерции), что хрущевская оттепель еще не закончилась. Вроде можно было еще говорить об Александре Солженицыне и Варлааме Шаламове, Анне Ахматовой и Марине Цветаевой, Михаиле Зощенко и Михаиле Булгакове, Андрее Платонове и Борисе Пастернаке... Но это только казалось. Уже начиналось «дело» о распространении «самиздата», по которому главными обвиняемыми стали Олег Воробьев<sup>7</sup> и Рудольф Веденеев. И уже десятки сту-

---

<sup>7</sup> Олег Воробьев, уроженец г. Перми, студент филологического факультета МГУ, в 1971 году осужден на 6 лет лишения свободы. Три

дентов прошли через «беседы» в КГБ и дали подписку о неразглашении.

\* \* \*

Студенческие театральные весны, ежегодно проводившиеся в вузах Перми, задолго до «весны» взрывали относительно стабильную жизнь факультетов. Заканчивались учебные занятия, а найти свободные аудитории было невозможно. Везде шли какие-то репетиции. Посторонние не допускались, все делалось втайне, шпионы конкурентов изгонялись.

Факультеты боролись за первое место в вузе, вузы боролись за первое место в городе. Специальные комиссии, созданные в институтах с благословения парткомов, разрабатывали систему подсчета баллов за исполнение тех или иных номеров. Оценивалось все: техника исполнения, актуальность темы, гражданственность, костюмы, красиво/некрасиво, понятно/непонятно, прокоммунистично или попахивает проклятым Западом. Специальные баллы давали за участие студентов факультета в работе вузовских коллективов художественной самодеятельности, за участие преподавателей и сотрудников в отчетных концертах и т.д. и т.п.

Номера для отчетного концерта факультета тщательно отбирались. Эту нелегкую и ответственную работу выполняли на филфаке в разные годы С.Ю. Адливанкин, Л.В. Сахарный, Л.Н. Мурзин, Р.В. Комина, Б.М. Проскурнин и другие преподаватели. Этот труд действительно был непростым. За любую идеологическую ошибку и просто нечаянную оплошность можно было схлопотать партийное взыскание с последующими жизненными осложнениями. Так и случалось. Очень часто эти преподаватели «прикрывали» студентов, принимая удар на себя.

А ведь студентам хотелось на концертах не только «себя показать», но и поднять какие-то острые проблемы, а порой и просто «похулиганить». Филологам в этом часто помогало профессиональное умение работать с «подтекстом» и «эзоповым

---

года провел во Владимирской тюрьме и три года в колонии строгого режима «Пермь-36». После отсидки выдворен за рубеж, где прожил почти 20 лет.

языком». Студентам университета конца 60-х – начала 70-х наверняка помнятся миниатюры по мотивам русской классики: «Идиот», «Мертвые души», «Преступление и наказание» и другие постановки «Кактуса» и «Фикуса», которыми руководил Л.В. Сахарный.

Здесь я хочу выделить одно замечательное свойство и условие студенческого самостоятельного творчества – желание и умение творить вместе. Когда людей объединяет общая цель, близкие духовные ценности, взаимопонимание и доверие друг к другу, в их совместной работе рождается нечто большее, чем очередной блестящий номер концертной программы. В процессе совместного творчества происходит обмен мыслями и эмоциями, возникает своеобразная цепная реакция: мысль одного человека высекает искру, а порой и молнию в мыслительной деятельности другого человека, а затем в этот процесс включаются и другие. И в этом «пиршестве духа» каждый становится хоть чуточку богаче.

Были на филфаке и другие стабильно, из года в год, работающие коллективы, через которые прошли сотни будущих школьных учителей, журналистов, ученых: фольклорный ансамбль, ансамбль английской песни, поэтические, танцевальные и инструментальные группы. В особом почете всегда были свои поэты и барды. Филологи университета стабильно занимали первые-вторые места в студенческой театральной весне. Основными их соперниками выступали чаще всего историки, физики, экономисты и биологи.

Филологи участвовали и в университетских коллективах художественной самостоятельности. Это и знаменитый университетский хор, и мужской вокальный ансамбль «Бригантина», вокальный класс, ансамбль скрипачей, поэтический театр и другие. Занятия в этих коллективах давали возможность участия в различных фестивалях и конкурсах, концертных поездках по городам области и России, что значительно расширяло студенческое общение.

Мне лично повезло в составе ансамбля «Бригантина» попасть в финал телевизионной передачи «Алло, мы ищем таланты» на центральном телевидении в Останкино. Две недели жиз-

ни в Москве, репетиции в концертном зале «Россия» в очередь с известными артистами эстрады – все это впечатляло. Но самое главное, я нашел возможность через редакцию журнала «Новый мир» встретиться с известным писателем Юрием Трифоновым, чьи последние повести подверглись уничтожающей критике (и, как я считал, несправедливой) в литературных журналах. В курсовой работе по литературно-художественной критике (руководитель – Римма Васильевна Комина), в которой я критиковал критиков Трифонова за необъективность, было много наивного, но и было искреннее желание добиться правды и защитить его. Работа была написана, и мне хотелось услышать оценку писателя. Юрий Трифонов благосклонно отнесся к моим аналитическим опытам, но сразу же подверг сомнениям мой оптимизм по поводу только что вышедшего постановления ЦК КПСС «О литературно-художественной критике». И он оказался прав. Был июль 1972 года, Москва задыхалась от жары и дыма горящих торфяников, а из мордовских лагерей уже отправлялся первый эшелон политических заключенных в Чусовской район Пермской области – в «Пермь-35» и «Пермь-36». Но тогда мы этого еще *не знали*.

Всегда существовало два противоположных взгляда на художественную самодеятельность, которая или отвлекает студента от получения качественного образования, или способствует художественно-эстетическому развитию студента, а значит, и развивает его в целом – как личность и как профессионала.

Мне кажется, что в жизни и судьбе конкретного человека возможно и то, и другое. Я знаю людей, которые, с головой уйдя в художественную самодеятельность, забрасывали учебу, а в результате не становились профессионалами ни в избранной профессии, ни в художественной среде.

Но я знаю и многих известных ныне в университетских, театральных и писательских кругах выпускников филфака, которые приобщились в свое время к художественной самодеятельности и, по-моему, не пожалели об этом.

Потому что разве можно жалеть свое время, потраченное на творчество, поиск себя и приобретение опыта *самодеятельности*?

*Б.М. Проскурнин<sup>8</sup>*

**«ГЛЯДЬ – СТРАНА ХАЛАБАЛА...»:  
О ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НЕ ТОЛЬКО**

Заблестели купола,  
Глядь – страна Халабала.  
Отворяют ворота,  
Выплывают три кита,  
А на них Халабала.  
У страны Халыбалы  
Невеселые дела:  
Ни прописки, ни угла,  
Ни рекламного села,  
Лишь одна Халабала.  
В той стране Халебале  
Сорок восемь королей.  
С ними всеми, весела,  
Королева там была,  
Но и та Халабала.  
Зато уж мужики там молодцы,  
Все они халабальцы:  
Начищают купола  
И звонят в колокола.  
Вот и все у них дела.

Эта песенка Юрия Визбора стала знаковой в моей судьбе: оказывается, еще со времен моего участия на втором курсе в мужском факультетском ансамбле, выступавшем с нею в весною 1970 г. на университетской «Весне», а потом и на городском ее этапе, меня заметили люди из студенческого клуба, в том числе Леонид Владимирович Сахарный, тогдашний председатель Художественного совета университета, и Нина Бори-

---

<sup>8</sup> Проскурнин Б.М., выпускник 1973 г., декан факультета СИЯЛ ПГУ.

совна Носова, в те времена курировавшая от парткома университета художественную самодеятельность – одно из самых «рисковых» с точки зрения идеологии явлений студенческой жизни. Я как сейчас помню наш – Миши Черепанова, Юры Аблязова, некоего Стаса, чью фамилию я тогда не запомнил (он был для нас просто Стас), и мой – выход на сцену актового зала корпуса № 1 в «хемингуевских», как говорила бесконечно их вязавшая Нина Горланова, свитерах, волочащих (якобы от усталости их обладателей) рюкзаки и с удивленными от радости, что мы наконец нашли что-то неожиданное, но желаемое, глазами (пели мы между прочим на три голоса и почти не фальшивили).

К этому моменту я уже успел «засветиться» и как ведущий и режиссер концертов университетского хора, и как участник танцевального ансамбля филфака, едва не потерявший бумажную бороду в норвежском танце, чем изрядно повеселил публику в зале. Словом, «участь моя была решена» благодаря «Халабале», когда через три года «добрая комиссия» по распределению отправляла меня в поселок Малый Сарс преподавать в тамошней школе английский язык, несмотря на ждущую нашего первенца жену, еще студентку: забота о счастье отдельно взятой молодой советской семьи не входила в интересы комиссии, поскольку ей во что бы то ни стало надо было выполнить разрядку ОбЛОНО. С легкой руки (а вернее языка) однокурницы и заядлой «самодеятельщицы» Ольги Фомичевой, Нина Борисовна, искавшая кандидатуру на освободившуюся должность директора студенческого клуба, вспомнила обо мне. Она посоветовалась с Сахарным, который, будучи до мозга костей патриотом филфака, был только рад увидеть на этой должности филолога, пусть даже и романо-германца, и стала пробивать мою кандидатуру у ректора В.П. Живописцева. В результате молодая советская семья не пострадала, а наша старшая дочь благополучно родилась и попала в ареал восхищения и любви новоиспеченного отца тут же и на месте, а не с расстояния в пару сотен километров. Это великое событие произошло буквально за три дня до моего вступления в должность директора студенческого клуба ранним августом 1973 г.



Но сейчас я понимаю, как любопытно, если не сказать парадоксально, совпала эта песня со временем, как она основательно вскрывала столь поражающий сейчас меня контраст между реальностью и романтикой, в нас сидящей не только потому, что мы были молоды и молодости положено существовать в контексте романтической эйфории от шального счастливого ощущения, что все еще впереди, а потому что мы были воспитаны на романтике. А если учесть, что молодость моя совпала пусть с закатом и эхом, но оттепели, то мы не могли не быть романтиками. Увы, реальность же вовсе не была столь романтической. Визборовское «все Халабала» – яркая тому метафора, смысл которой я понял гораздо позже.

Апрельским утром 1970 г., напевая «Заблестели купола, / Глядь – страна Халабала», я весело сбегая по ступенькам с пятого этажа «восьмерки», чтобы успеть на занятия на втором этаже. Почему-то мы, жившие ближе всех городских к месту занятий, чаще всего на них и опаздывали. Никогда не забуду, как однажды в полдень наш ангел-хранитель Лидия Ивановна, методист деканата, ходила по пятому этажу и буквально будила нас: ожидался рейд учебного отдела по проверке посещаемости, и Лидия Ивановна не хотела подставлять своих студентов, поскольку начальство грозило лишить стипендии тех, кто будет без уважительной причины отсутствовать на занятиях в тот день.

Торопясь вниз, я вдруг останавливаюсь на одной из лестничных площадок: на стене висит самодеятельная газета с забавными историями, студенческими байками, смешными рисунками, основной смысл которых сводился к поздравлению всех с 1 апреля. И на шнурке висела эмалированная кружка с надписью «На пропитание голодающим студентам», в которую кто-то уже успел положить монетку в десять копеек. Я весьма позабавился, читая все это, как и те, кто проходил мимо, и даже, как помнится, положил монетку «на пропитание страждущим». Надо сказать, что бурное празднование 1 апреля еще не стало тогда традицией в университете, как это произошло в пору моего директорства в клубе, когда вместе с экономистом Андреем Климовым и историком Леней Сотниковым, которые

оба в комитете комсомола «отвечали» за культурно-массовую работу, мы придумали этот праздник, в течение долгих лет бывший, наряду с концертно-театральной Весной, главным культурным событием года.

Когда же вечером того дня я возвращался обратно в свою 155-ю на пятый этаж, то первоапрельской газеты уже не было, остался лишь след от гвоздя, на котором висела эта самая кружка для пожертвований. Между прочим, то, что студенты часто едва ли не голодают, я знал не понаслышке. Сам не раз оказывался в ситуации, когда за неделю до стипендии уже жил на последние копейки, мучительно выбирая: пойти в столовую на завтрак или на ужин – об обеде не могло быть и речи, тогда бы деньги кончились еще быстрее; вот почему мы хватались за любую подработку: я, например, со второго курса репетировал английский, причем особенно мне нравилось, когда к заветной трешке присоединялся еще обед или ужин с родителями малолетки, которого я пытался увлечь иностранным языком. Только через пару-другую недель я узнал, что шуточная стенная газета и прибитая к ней кружка были сняты комендантом, отнесены в комитет комсомола, показаны в парткоме и объявлены крайне подозрительными и порочащими студенчество, поскольку советские студенты не нищие и подаяния не просят. Был найден и отчислен из университета автор газеты; им оказался тот самый Стас, который пел с нами «Халабалу». Скорее всего, университетское начальство воспользовалось тем, что он, как и некоторые творческие ребята из самодеятельности, не был слишком усерден в учебе: ему просто не дали возможности сдать «хвосты»... Тут даже заступничество Лидии Ивановны не помогло.

Напевая «Халабалу» и легко перескакивая через ступеньки, взбегаю на пятый этаж, чтобы захватить забытую тетрадь для конспектов по истории КПСС, и вижу, что Саша Футерман, живущий со мной в 155-й, сидит на своей кровати и настойчиво овладевает премудростями игры на гитаре вместо того, чтобы быть на лекции по зарубежке. На мой вопрос, почему он дома, Сашка гордо сообщает, что лекции по романтизму они всем курсом решили бойкотировать, так как читающая курс преподаватель, только что вернувшаяся из Москвы с защиты диссер-

тации, заменила так им понравившуюся феерическую Екатерину Осиповну Преображенскую. А в ответ на тихий ропот аудитории позволила себе пару-другую едких и совершенно несправедливых замечаний в их и, что особенно возмутило студентов, в адрес смененного лектора. Словом, весь их курс решил во что бы то ни стало добиться замены этого преподавателя. К ним с уговорами отказаться от бойкота приходил сам заведующий кафедрой А.А. Бельский. Но ребята своего добились, и Екатерина Осиповна вернулась в аудиторию. О Екатерине Осиповне я уже слышал от своих друзей по университетскому хору – Володи Дика и Тамары Покрышкиной. Они с восторгом рассказывали об ее лекциях, о свободном цитировании Гете по-немецки, а Жорж Санд по-французски, о том, как они сдавали экзамен по романтизму Преображенской и пели дуэтом на немецком языке гейневскую «Лорелею», а Екатерина Осиповна таяла от восторга. Человек, учившийся в Сорбонне, а в детстве воспитывавшийся бонной-француженкой, в наше глубоко советские времена был обречен обрастать легендами. Пятерки Тамаре и Володе были поставлены, конечно, не за слаженное пение, а за знания, но все же они отсылали слушателей к сходному опыту французов, которые отвечали Преображенской, читая наизусть по-французски что-то из поэзии Гюго, и к опыту англичан, которые читали по-английски какие-то отрывки из Байрона. Через год мне посчастливилось слушать два курса в замечательном исполнении Екатерины Осиповны, но петь или декламировать Скотта и Диккенса мне, увы, не случилось.

Напеваю «Халабалу» и захожу на свой этаж, который, обычно лениво-спокойный, в это время после занятий и перед ужином, бурлит и шумит. Вижу во главе некоей колонны человек в 10 – 15 Вовку Дика со шпагой в руках и гордо накинута на плечи покрывале, слегка похожем на мушкетерский плащ. Оказывается, жюри смотря факультетской самодеятельности подвело итоги и вопреки очевидности отдало первое место не нам, филологам, а историкам. Несправедливость такого решения «всколыхнула массы филологов», и они вышли на стихийную демонстрацию протеста. Я, конечно же, присоединяюсь к протестующим, приглашая и других филологов, удивленно вы-

глядывающих из своих комнат, пройтись маршем протеста. Так уж получилось, что историки жили в комнатах дальней части коридора, а мы, филологи, в ближней... Пару часов мы бурно веселились, с шуточными плакатами и лозунгами протеста курсируя до символической границы, отделявшей одну половину этажа от другой. То же весело и с речевками делали и историки, также вооружившись шпагами (для одного из номеров травестийной переделки «Ромео и Джульетты» в жанре «Почти по...» наш режиссер взял напрокат четыре учебных, конечно, затупленных, шпаги в каком-то фехтовальном клубе; как одна из них попала к историкам, я до сих пор не знаю). Веселье постепенно стало всеобщим. Особенно филологи ликовали, когда Вовка Дик эффектно «победил» в фехтовальном поединке своего визави с истфака. И вдруг мы увидели крайне напуганного коменданта общежития, который стал призывать нас «прекратить безобразия, попахивающее Чехословакией». Я никак не мог понять, почему эта шуточная схватка двух извечных соперников в художественной самодеятельности «попахивает Чехословакией», но вскоре на этаже появились люди из комитета комсомола и деканатов обоих факультетов. Капустническое по своей сути «мероприятие» вдруг напугало многих в университетских верхах, но, слава Богу, никаких последствий эта шутка для ее участников не имела. И только спустя годы, вспоминая это с историком Пашей Волковым, к тому времени уже перебравшимся с женою, моей одноклассницей Аллой Забегай, в Курган, мы поняли, что в отличие от нас – наивных и политических *tabula rasa* – комендант знал о том, что самыми активными среди протестовавших в августе 1968 года против ввода советских танков в Чехословакию были студенты, а один из них в знак протеста даже сжег себя.

«Халабала» оказала мне и еще одну услугу, когда подарила мне удовольствие от участия в университетском вокальном ансамбле со слегка цирковым и, как я теперь понимаю, несколько претенциозным названием «4-Вокал-4». Университетская самодеятельность в те годы крепко дружила с ребятами из музыкального училища. К примеру, гремевший – в прямом и переносном смысле слова – джаз-банд химфака «Муссон» на

добрую треть состоял из музучилищных студентов, и именно в нем начинал свой университетской взлет будущий руководитель «Бригантины» Иосиф Даллакян. А уж когда наступала пора факультетских смотров самодеятельности, организаторы всячески старались заручиться поддержкой ребят из училища. Так, например, с филологическими вокальными ансамблями с радостью и удовольствием (и даже во вред занятиям в училище) работали Лера Сыскова и Таня Стаминская. А в университетском хоре одновременно проходили практику 4 – 5 студентов хорового отделения. Одним из таких был необычайно талантливым парень Арик Лейтуш, которому явно не хватало работы в качестве помощника хормейстера, и он уговорил некоторых хористов создать вокальный ансамбль. Уговорил и меня, сославшись в том числе и на то, что помнит, как мы пели «Халабалу». Среди 8 участников трое были филологами, между прочим. Одно из самых ярких впечатлений моих как участника этого ансамбля – наше выступление в Горьковской консерватории. Арик был особенно доволен, так как понравился консерваторским профессорам, что сыграло свою роль в его успешном поступлении туда через три года. Сейчас Арья – дирижер одного из американских симфонических оркестров. И всякий раз, когда Юрий Николаевич или Нинель Алексеевна Пучковы, чьим учеником был Арик, сообщают что-нибудь об его успехах, я горжусь, что наш ансамбль помог ему в карьере, как и знаменитая «Бригантина», в которой он тоже успел поработать хормейстером пару лет. Филологами-участниками ансамбля был все тот же Володя Дик, обладавший бархатистым баритоном, и Надя Зимина, которую Бог наградил глубоким и красивым по тембру альтом. Вовка на старших курсах всерьез увлекся классическим вокалом и на последней его студенческой весне замечательно пел в квинтете из «Кармен», из-за чего однажды появился в общежитии перекрашенным в жуткого брюнета; причем цвета вороньего крыла были и усы и бакенбарды. Пение его от этого не проиграло, более того – он лихо вошел в роль страстного испанца, а вот улыбок и шуток по поводу вдруг сменившегося цвета волос избежать ему не удалось. Но он не обижался и сам первым весело смеялся над собою новым.

Образы, созданные нами в «Халабале», оказались живучими: через год почти тем же составом, но уже с примкнувшим к нам Сашей Чернооком, который буквально вскоре после этого начнет блистать в знаменитой «Бригантине», мы пели «Чунга-Чангу» Шаинского. Мы были все в тех же «хемингуэевских» свитерах, все с теми же рюкзаками и с не менее удивленно-ошалелыми глазами. И хотя, в отличие от визборовской, внешне это детская песенка, в ней тоже хватало романтики; мы тогда не придавали никакого значения тому, что в стране Халабале мужички только то и делали, что начищали колокола до блеска (потому и были «невеселые дела» в этой стране), а остров Чунга-Чанга был хорош главным образом тем, что там ничего не надо было делать, все само тебе в рот сыпалось: и кокосы, и бананы... Нет, как я понимаю, мы (и слушатели наши тоже) искали что-то наполненное светом и радостью, так как и те, кто был на сцене, и те, кто сидел в зале, были молоды, веселы, радостны, счастливы атмосферой праздника, которая всегда есть в юности. Кроме всего этого, я уверен, подсознательно мы впадали в некий эскейпизм и утопию, так как надвигались времена нашей неизбежной взрослости, а значит, и понимания реалий окружающей жизни, в которой в самом деле «лишь одна Халабала», но совсем не в нашем, а в грустно-ироническом и даже саркастическом визборовском прочтении...

*С.Б. Караваева<sup>9</sup>*

## **И ВЕЧНАЯ «ВЕСНА»!**

Что это было?... Сейчас я отчетливо вижу, что эта часть жизни факультета некоторым из нас дала почти столько же, если не больше, чем аудиторные занятия. А тогда мы вряд ли задумывались, просто попадали в эту стихию и выныривали – кто раньше, кто позже – другими людьми, отмеченными на всю жизнь особым невидимым знаком студенческой весны. Пи-

---

<sup>9</sup> Караваева С.Б., выпускница 1976 г., сотрудник Департамента образования Пермского края.

шу без кавычек, потому что это и впрямь была вечная весна в нашей жизни, зарождающаяся еще осенью, бурно полыхающая в декабре и не утихающая до летних каникул.

Для первокурсников все, кто был связан со студклубом, казались небожителями. Мы застали золотые времена «Бригантины» и «Кругозора», университетский хор был многолюден и с успехом гастролировал по стране. Маленький студклуб в «старом главном» никогда не пустовал, там всегда что-то происходило, там можно было близко увидеть легендарных музыкантов и режиссеров, актеров и авторов миниатюр. Имея определенную дозу нахальства и уверенности в себе, ты мог сразу пойти практически в любой коллектив (и могли взять!). По моему, уже во время приема документов дежурили ребята из студклуба и брали на заметку тех, кто что-то умел.

Но большинство все-таки попадало в самодеятельность через факультет. После обязательной поездки «на картошку» первокурсники уже знали своих гитаристов и певцов, сочинителей и танцоров. И вот, подбадриваемые друзьями, они-то и приходили на просмотры. Номера придумывались, разумеется, самостоятельно, иногда небрежней, иногда тщательней репетировались – в зависимости от темперамента исполнителей. Просмотры проходили где придется, аудиторий всегда не хватало.

Три великих мужчины факультета наблюдали за нашими щенячьими играми снисходительно и доброжелательно. Соломон Юрьевич Адливанкин, Леонид Николаевич Мурзин и Леонид Владимирович Сахарный, все вместе или порознь. Это не было похоже на вступительный экзамен в театральном вузе, но смотрели взыскательно, советовали, как можно довести номер до такого уровня, чтобы не стыдно было показать на отчетном концерте факультета. Отвергали слабое решительно и деликатно, необидно подшучивали над полудетским нашим снобизмом. Каждый из них имел на это полное право: их эрудиция, вкус и несомненный артистический дар задавали высокую планку. Как много потеряли те, кто не слышал Гоголя в исполнении Л.Н. Мурзина или военные стихи, которые так неподражаемо читал С.Ю. Адливанкин!

Главным для нас, пожалуй, были тексты. Что войдет в композицию (обязательный для конкурсного концерта литературно-музыкальный монтаж), какие авторы, какая музыка, как развернуть заданную тему, чтобы было интересно и не «в лоб» (а чаще всего это была какая-нибудь политическая или «датская» тема – к юбилею комсомола, к примеру) – на это уходила большая часть подготовительного процесса. Собирались обычно довольно большой компанией в общежитии или у кого-нибудь дома, обкладывались книгами, собственными набросками. Мозговой штурм мог затянуться на несколько суток. Рождение нового коллективного произведения из индивидуальных предпочтений и вкусов, бесконечных споров, оттачивания стиля, драматургических ходов, внезапное возникновение новых смыслов – ух, как это было увлекательно! Мы учились работать вместе на результат, скорее всего, не осознавая этого, мы учились друг у друга, открывая новых для себя поэтов, открывая самих себя. Особо ценились те, кто знал стихи наизусть, мог легко находить смысловые акценты и, не напрягаясь, предлагать интересные фрагменты, точно зная, кому они принадлежат. Отличная профессиональная школа для филолога: расширение культурного поля, получение навыков анализа, и, наконец, практическое применение знаний.

От качества литературной композиции во многом зависело, насколько удачно пройдет концерт. Мрачное занудство наконец убивало хорошие концертные номера. Эпатаж перетягивал на себя внимание, а значит, разрушал цельность замысла. Кстати, мне кажется, в 70-е именно на филфаке зародилась идея концерта как самостоятельного спектакля – т. е. то, что сейчас стало для университета привычным.

Вторым направлением литературного творчества были, конечно, эстрадные миниатюры, скетчи и жанр, открытый тоже филфаком, который в программках значился как «Почти по...». Достоевский, Чехов, Горький... Классический текст в контексте университетской жизни превращался в сатиру, которая приводила в восторг студентов и в ужас – партком. Можно долго спорить, что сложнее – «попасть» в стиль известного писателя или создать оригинальную миниатюру. К счастью, у нас на фа-



культете могли и то, и другое. Был даже баснописец, Сережа Туляков, написавший замечательные миниатюры для нашего кукольного театра.

Наконец, наши поэты. Без скидок – это была стартовая площадка и большое испытание. Творческий кружок выступал как «Клуб поэтов». Мы слышали голоса своих сверстников, друзей или незнакомцев. Различные манеры письма и поведения, сильные и слабые стороны сочинений при свете софитов выглядели совсем не так, как во времена камерных посиделок в общежитии. Университет вывел на орбиту Юру Асланьяна и Юру Беликова, Наташу Гашеву, Аллу Волкоморову, Ксению Гашеву.

«Весна» учила нас свободе, равенству и братству. Не провозглашала эти ценности, а именно учила. Свобода творчества, свобода мысли – невозможные без ярких индивидуальностей наших преподавателей. Один вид студенческой деятельности поддерживался другим: общение на семинарах и спецкурсах заставляло каждый раз искать новый способ сценической жизни, а все, что происходило на концертах, помогало найти точки соприкосновения на учебе.

Заметки эти очень субъективны, возможно, мои однокурсники, а затем студенты и коллеги, с которыми мы «делали весну» потом, когда я работала уже на факультете, воспринимали все не совсем так или совсем не так. В одном я уверена: это одно из лучших воспоминаний о факультете.

### **3. ТВОРЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ**

**В.М. Бубнов<sup>10</sup>**

#### **АЗ ЕСМЬ ИЛИ КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ НЕПОДЦЕНЗУРНОГО ЖУРНАЛА**

1

Апрель 1966 года. Группа студентов первого курса филологического факультета Пермского государственного университета выпустила и распространила среди товарищей первый номер рукописного литературно-художественного журнала, озаглавленного коротко и ёмко – «Аз». Журнал увидел свет без предварительного цензурного досмотра. Событие из ряда вон выходящее.

Забавно читать в «Литературном энциклопедическом словаре» уже перестроечной поры о том, что «Великая Октябрьская социалистическая революция положила конец царской и буржуазной цензуре». Как будто на этом её история и закончилась, хотя общеизвестно: родилась новая цензура – советская, жестким требованием которой была необходимость «литовать» всю печатную продукцию тиражом свыше двенадцати экземпляров – от романов до билетов в кино или бланков квитанций. На практике с литературным КГБ старались согласовывать буквально любую писанину вне зависимости от её тиража, чтобы, не приведи Господь, не вышло какого-нибудь конфуза, а то и крупной неприятности.

Не претендуя на заманчивые аналогии, всё-таки замечу, что до выхода в Москве скандального альманаха «Метрополь» – символа Свободы на творческих баррикадах столичной художественной тусовки – предстояло жить еще долгие тринадцать лет, до 1979 года. Потому есть основание допустить смелое предположение, невероятное только на первый взгляд, а именно: филологический «Аз» явился первым за все советские годы неподцензурным изданием не только на факультете, в университете

---

<sup>10</sup> Бубнов В.М., выпускник 1970 г., журналист.

или в Перми. Возможно, он был первым свободным изданием во всём СССР.

Предвижу возражения: дескать, уже активно действовал в ту пору «самиздат». Кто же спорит? Так и было. Но ведь «самиздат» – это подполье, работавшее скрытно от власти с целью досадить ей. Мы такой цели не преследовали. Более того, считали подполье разновидностью неволи. Создатели «Аза» наивно верили в то, что любой акт творчества достоин открытости, что автор – лицо не только деятельное, но и свободное в поступках и помышлениях. Полная открытость в процессе создания журнала «Аз» роднила его с грядущим «Метрополем».

Я далек от мысли сравнивать уровень художественных, документальных или критических текстов в этих изданиях. Любопытна их схожесть в другом. Например, в процессах «предпечатной подготовки» и «печатания».

Василий Аксенов свидетельствовал: *«Если уж создавать акцию неподцензурности, нужно всё делать своими руками в контексте скромности средств. Нужно сделать двенадцать экземпляров альманаха, но не больше... Потому что если больше чем двенадцать, то нам могут вменить нелегальное распространение нежелательных, то есть нецензурированных текстов... Значит, надо просто-напросто сделать три закладки по четыре копии на обычной пишмашинке... Решено было наклеивать по четыре страницы на каждой стороне больших ватманских листов. Обложки были сделаны из листов картона, покрытых так называемой мраморной бумагой с разводами... Символом альманаха стал рисунок, составленный из трёх старинных граммофонов с раструбами...».*

Подобным кустарным способом редколлегия журнала «Аз» – Лёня Юзефович, Голя Королёв, Володя Виниченко и автор этих строк – изготавливали номер издания вместе с примкнувшими к ним помощниками. Их роль была в основном чисто технической: резать и клеить по указанию бильдредатора бумагу, готовить бутерброды и тихо присутствовать. Закладку в отличие от будущих «метропольцев» мы делали одну, однако трофейная немецкая машинка «Оптим Прима», принадлежавшая Виниченко (он напишет несколько пьес для театра, а впо-

следствии издаст несколько книжек для детей – прозу и стихи), неплохо пробивала пять листов – именно этой цифрой исчислялся тираж «Аза». Тексты печатали по очереди все. Самую высокую скорость демонстрировали первая Володина жена – львовская красавица Татьяна – и главный редактор Юзифович (через сорок четыре года он станет лауреатом главной литературной премии страны «Большая книга»). Священнодействия – наши издательские бдения – происходили в уютной двухкомнатной квартирке бабушки и дедушки. Заставки, коллажи, рисунки мастерски делал на наших глазах будущий автор постмодернистских романов Анатолий Королёв, также снискавший через много лет престижные премии в столице и за пределами России. Он ловко препарировал ножницами цветные фотографии из иностранных журналов. Его рисунки, сделанные обычной шариковой авторучкой, были аскетически просты, но чрезвычайно выразительны. Он был властелином пространства белого листа, он был повелителем живых, излучающих энергию линий, послушными собачонками бежавших вслед за его твердой рукой. Эта рука вывела «Мыслителя», ставшего лицом журнала «Аз». *«На обложке первого номера журнала «Аз», который мы стали издавать на нашем филологическом факультете, я нарисовал «Мыслителя», в котором легко узнать Лёню Юзифовича»,* – десятилетия спустя расскажет в дивной документальной повести о своих детстве и юности «Утонувшее время» сам Королёв.

Без затей разрешили проблему обложки и переплета – купили пять «скоросшивателей» и аккуратно обклеили их черной бумагой с фактурным тиснением «под кожу». Такую бумагу продавали для изготовления новогодних домашних поделок и прочего рукоделия.

Что же находилось внутри нашего журнала?

Он открывался девизом – на форзаце большими красными буквами были выведены известные тогда едва ли не всей стране слова из поэтической молитвы столичного барда: «О, были б помыслы чисты...». Редколлегия (кроме Королёва) была представлена стихами. Но не только. Володя Виниченко дал рассказ «Тринадцатая верста» – о не вернувшемся с войны солдате. Лё-

ня Юзефович «раздолбал» невзыскательный поэтический вкус органа парткома ПГУ – газеты «Пермский университет». Толя Королёв выступил в нескольких амплуа: в роли художника-оформителя, публициста, а также автора пародии на детектив – литературного жанра, презируемого нами в те годы. Снисходительно-ироническая усмешка прокралась даже в название его опуса, подчеркивая вульгарность жанра. «Убийство черного дьявола» – так озаглавил он свою смешную пародию.

Имелся, конечно, и манифест создателей «Аза». Он, как помнится, был сочинен Королёвым и доработан общими усилиями все в той же квартире Лёниных бабушки и дедушки, уехавших в какую-то длительную поездку, благодаря чему вести себя можно было достаточно вольготно. И творческая, и человеческая атмосфера складывалась весьма комфортным образом в плане запросов молодости. Являлись в дом № 113 по улице Уральской и любопытствующие. Например, милейший Семён Ваксман – геолог и отчаянный поэт. Или вальяжный Илья Рейдерман, уже заканчивающий изучение филологических премудростей. Он вещал, полуразвалиясь на маленьком диванчике зеленых тонов, а Королёв, утонувший напротив в глубоком кожаном кресле заморской работы, недружелюбно сверлил гостя взглядом. Толя и сам был разговорчив. Он говорил талантливо и увлекательно, его стремительные вербальные импровизации по силе воздействия на слушателей, а более того на слушательниц, были подобны музыкальным феериям виртуозного Армстронга, выделявавшего со своей трубой акустические чудеса. Рейдерман мешал нашему другу осуществляться.

Появлялись в бабушкиной квартире профессиональные писатели – порой не совсем трезвые. Благо, их не видели интеллигентные, степенные хозяева жилплощади. На нашу затею члены СП СССР смотрели скептически, но охотно разглядывали наших юных помощниц, имея не очень-то и скрываемую цель расшатать девичьи устои, пробив брешь в целомудренном обете долга и верности.

С юмором поведал Королёв читателям в заключительном слове, снабдив его интригующим заголовком «Кто сказал Аз?», о том, как делался первый номер журнала: «*Машинку принесли в*

*хозяйственной сумке, она была старая и зубастая, как щука. Её извлекли на свет. Все пытались работать. Особенно много было стихов. Настоящий стихопад. Поэты мусолили ладонями лбы. Критик и ответсек вилкообразно копались в тёмных закоулках собственных душ. Художник портил листы и нервы. Главред всё не мог сложиться в более портативный вид и мыслил задевающе за углы. Молодой прозаик пытался сравнить солнце с лампочкой в туалетной комнате квартиры.*

*Китайский божок на пианино злорадно хихикал.*

*Но вот кто-то запел вполголоса: «О, были б помыслы чисты...».*

*Я взглянул на происходящее серьёзно и понял, что юмор кончился...».*

Сегодня уже никто из нас не может припомнить, кому принадлежит авторство замечательного названия для филологического журнала. Оно выстреливало «в десятку». «Аз» по-старославянски значит «Я». То есть уже в названии журнала мы заявляли о возможности свободного самовыражения, необходимого в юности более чем когда-либо. «Аз есмь, я есть. Я хочу, чтобы меня услышали». Так можно было расшифровать смысл названия.

Но вернемся к манифесту.

*«21 января 1948 года над американской авиабазой Нокс заметили огромное летающее блюдо. Столб красного пламени вырывался из него. Неужели это космический корабль неизвестной цивилизации?»* – так нетривиально начинался наш идеологический документ, призывавший однокурсников и всех сочувствующих вливаться в общее дело. Далее рассказывалось, как капитан ВВС США Томас Монтелла, рванувший на своем истребителе навстречу пришельцам, сгинул, навсегда исчез из земной жизни, успев радировать с высоты девять тысяч метров: «Иду на сближение!».

Вывод из шокирующих сознание обстоятельств делался таковой: *«Удивительные вещи происходят в мире, а у нас на факультете скука. Но все зависит от вас, как от нас зависел выпуск этого журнала.*

*Мы назвали его «Аз».*

### *Мы выходим на связь».*

Выход на связь по всем правилам промоушена и пиара был сопряжен с атмосферой скандала. Мудреных американских рекламных понятий еще не существовало в советском быту, но интуитивные догадки двигали в правильном направлении: чтобы заметили, надо сделать резкое движение. Лёня Юзефович в критической заметке «О поэте и ответственности» писал: «*В газете «Пермский университет» печатаются стихи под громкой рубрикой «Клуб поэзии», хотя талантов не только на клуб – на уголок поэзии не хватает.*

*Поражает полное отсутствие поэтичности...*

*Самое страшное, когда романтика становится пошлостью...*

*Может быть, те же обвинения можно предъявить и нашим стихам – что ж, мы не обидимся.*

*Валяйте».*

Сегодня эти строчки могут показаться дерзкими – не более того (хотя Леонид имел полное право на строгий разбор текстов, ибо сам в девятнадцать лет сочинял стихи не только технически безупречные, но наполненные потаенным смыслом и музыкальностью, что, собственно, и является атрибутом настоящей поэзии). А в 1966 году это было больше, чем дерзость. Это был неосознанный вызов кондовой партийной посредственности, руководившей всем и вся, в том числе и «Клубом поэзии». Лёня сказал правду о вкусе редакторов газеты «Пермский университет» и беспомощности виршеплёттов, а получился идеологический демарш – орган университетского комитета КПСС был уличен в некомпетентности. Вот какие опасно скандальные неожиданности могут таиться в омуте нецензурированных текстов...

Другая публикация – «Великовозрастные школьники» – замахивалась на основы классического образовательного процесса. Теперь мы готовы посыпать пеплом покаянные головы – не разглядели, не поняли умысел буревестника революционных идей. Автор публикации Таня Гумурова, как опытный диверсант, закладывала мину замедленного действия в пермском вузе, а рвануло через десятилетия с разрушительной болонской силой

по всей стране. Неужели уже тогда она провидела своим пристальным азиатским взором драматически противоречивое будущее российских университетов и чуть ли не подгоняла его, так излагая в заметке генеральную мысль: *«Мы предлагаем сократить число лекционных часов, придавая основное значение практическим занятиям»*. Знали бы мы, как аукнутся через годы её слова в связи с болонской перестройкой российских вузов, превращаемых в профессиональные училища! Невозмутимопорная, Татьяна была находкой в нынешнем Министерстве высшего образования, в департаменте фундаментальных реформ. Кстати, она уехала в Москву вскоре после вручения диплома – отца перевели в главное статистическое ведомство. Татьяна всю жизнь проработала в издательстве «Детская литература» в качестве редактора, издали наблюдая за жизнью и творчеством советских детских писателей – близко к себе рядовых сотрудников издательства они не подпускали. В столице былой Татьянин задор поутих. Она очень тяготилась своим «пермским происхождением», а коллегам сообщала, что окончила курс в Ленинградском университете.

...Итак, первый номер «Аза» был выпущен и принесен в университет для распространения. «Аз» был пущен по рукам, началась его короткая жизнь.

Прежде чем продолжить эту историю, я не могу не вспомнить двух обаятельнейших умников – Леонида Николаевича Мурзина, в то время декана филологического факультета, и его заместителя Сахарного Леонида Владимировича, куратора художественной самодеятельности на факультете. Известные в стране учёные-языковеды внесли заметную лепту в разработку проблем структурализма и психолингвистики. Оба были азартными исследователями, старались увлечь своими научными интересами и идеями зеленую студенческую молодежь. Они хорошо чувствовали и понимали нас, ибо и сами-то не так давно покинули студенческую скамью. Их вклад в дело издания «Аза» – неоценим, потому что они взяли на себя всю ответственность перед партбюро за нашу затею. Перед выходом в свет первого номера они прочитали книжку журнала (Мурзин читал дома за обедом и пролил на страницу щи, в чем честно нам признался –



этот экземпляр мы хранили как раритет). Итак, они прочитали, поулыбались и, высказав остроумные замечания, не настаивали на каких-либо изменениях, на какой-либо правке. Мол, взрослые люди. Учитесь сами отвечать за свои слова. Хотя отвечать на партбюро приходилось как раз им, нашим деканам-кураторам.

Резонанс по выходе журнала случился, можно сказать, незамедлительный. Не то с чьей-то подачи, не то по собственному вдохновению группа студенток во главе с Анной Кац (вскоре после окончания университета она уехала искать счастье за океаном, в Штатах) организовала обсуждение журнала. Ни одного доброго слова мы не услышали – были обвинения в келейности, закрытости, зазнайстве и снобизме. Однокурсницы слишком несправедливо трактовали нас и наши действия, в этом угадывалась некая обида. На что же обижались они? Мы открыто приглашали всех желающих принять участие в новом деле – и не наша вина, что откликнулись единицы.

## 2

Впрочем, другого нельзя было ожидать.

Напомню, что у филологического факультета существует альтернативное название – факультет невест. Пронизанный мощными силовыми полями женской энергии, филфак всегда и во всем был и остаётся особенным, ибо здесь взрывают и переплетаются в гуще девичьих студенческих масс такие гендерные интересы, рождаются такие коварные планы, осуществляются такие многоходовые операции, имеющие четкие цели и задачи, что все это вдохновенное богатство – продукт деятельности хорошеньких кудрявых головок – пером описать невозможно, только руками разведёшь да вздохнешь, возведя очи горе. Противостоять этой энергии невозможно, как невозможно спорить с Ниагарским водопадом.

Знаменитый фокс Микки, увековеченный талантом Саши Чёрного, умный и наблюдательный пёсик («собака-поэт, умнее которой в мире нет»), однажды записал в дневнике по поводу своей хозяйки Зины: «И зачем девочке так много учиться? Всё равно вырастет, острижет волосы и будет на кушетке по целым дням валяться. Уж я эту породу знаю».

Наши факультетские девочки, окунаясь пока ещё в каботажные глубины теоретической лингвистики или бродя в сумрачном лесу пугающих разум проблем когнитивной структуры эмоций, спотыкаясь об корни успехов методологического анализа основных понятий и проблем поэтики на основе общей систематической эстетики, всё-таки отдавали себе отчёт в том, что ни красавец Бодуэн, ни умник Гуссерль, ни Лейбниц с Декартом, а уж тем паче ни Лотман с Бахтиным никак не смогут споспешествовать появлению в доме кушетки, на которой, по мнению мудрого фоксика, так приятно поваляться, обрезав волосы. Кушетку должен был принести кто-то другой, и на него объявлялась охота. Вот куда предусмотрительно направлялись оставшиеся от усиленных занятий таланты и интеллект. Интуиция подсказывала вчерашним школьницам, что расстояние от «прелесть каких дурочек» до «ужас каких дур» не так велико. Если не задумываться о будущем уже сегодня, на исходе быстро промелькнувшего первого курса, то можно сильно опоздать. И вдруг навсегда? А тут мальчишки с каким-то глупым «Азом». Да подождет он, никуда не денется!

Не удивлюсь, если узнаю, что образ античной Дианы-охотницы с поверженным к её ногам оленем нередко являлся барышням в горячих снах. Пополнялся их охотничий арсенал, совершенствовались методы охоты.

Оружием массового поражения была в годы нашей молодости миниюбка, и филологини оценили её возможности. Она была наповал, но без разбору. Была по площадям, а не по целям. Для индивидуальной работы требовался более деликатный инструментарий. Игра на фортепиано (на гитаре) при свечах, задушевное декламирование стихов в интимном полумраке, приступы восхищения эрудицией собеседника, загадочные намеки на роковые тайны предыдущей жизни, просьбы об оказании мелких услуг с одновременным проявлением собственной чуткой женской заботы об этих неприспособленных к жизни мужчинах. Капризы, внезапное охлаждение к объекту. Бурное примирение. Когда становился очевидным задуманный итог охоты, можно было приступать к вязанию свитера собственными руками для очарованной жертвы. Словом, охота велась по всем пра-

вилам: ямы, загородки, тенёта, сети, капканы, и для совсем неподдающихся – банальный загон.

«Лосята, пойманные молодыми, легко приручаются, могут размножаться в неволе и быть приучены к упряжи», – считал известный учёный-охотовед Леонид Сабанеев.

Не уверен, что многоумные филологини читали Сабанеева, но эта его мысль получила бы безусловное их одобрение. К счастью, наша компания в описываемое время не представляла интереса в смысле приручения и приучения к упряжи.

Зачем я сделал такое пространное отступление? Чтобы доказать: уже первый номер журнала «Аз» мог быть разнообразнее и интересней, если бы в его создании приняли участие обидевшиеся интеллектуалки и эрудитки, талантливые наши сокурницы. Не захотели. Им было некогда.

Типичность этой своекорыстной поведенческой парадигмы прочитывается, например, в творческой судьбе Нины Горлановой. Она могла ещё в студенческие годы прославиться на страницах «Аза» и поддержать журнал своим пробуждающимся ото сна талантом. Но нет. Не поддержала. Поставила на первое место индивидуально-личное. Только завершив matrimониальные поиски и родив в 1974 году первого младенца – Антона, она решила описать всю Пермь. Конечно, добилась она впоследствии на литературном поприще многого, спору нет. И была даже Букеровским номинантом. А начала бы с «Аза» – и добилась бы главного, как Юзефович. Эх, Нина, Нина!

Кстати сказать, её подруги по студенческому общежитию в ответ на выход нашего журнала быстренько состряпали пародию на него – «АнтиАз». Или «Аз-штрих»? Кажется, было смешно.

– Если ты помнишь, где-то в это же время Пермское книжное издательство выпустило «женский» поэтический сборник «Княженика», – как о дне вчерашнем говорит мне Лёня Юзефович в ответ на мой звонок в Москву с просьбой помочь освежить память о некоторых событиях, связанных с выпуском «Аза». – Телевизионницы Галя Лебедева и Вера Шахова тут же сделали пародию на «Княженику». Пародию, может, и обидную, но забавную. Удивительное было время – шестидеся-

*тые годы. Все были талантливы. Все писали стихи. Тогда было интересно жить.*

3

Второй номер журнала «Аз» увидел свет через месяц – в мае 1966 года. Круг авторов стал заметно шире.

Открываю оглавление. В рубрике «Стихи» – фамилии наших однокурсниц Ларисы Пермяковой и Тамары Виблиани. Танечка Жукова опубликовала лирическое эссе о Каме, о молодости, о неизбежном взрослении, снабдив свою поэтическую прозу собственным рисунком в духе тогдашней романтической символики.

По поводу стихов-песенок Ларисы Пермяковой и других поэтов главный редактор высказался так: *«Мы не боимся, что наш журнал будет похож на песенник. Хорошие стихи всегда хочется петь... Так легче выразить своё мироощущение, если хотите, даже свою личность. Этому способствуют и музыкальность, и более пристальный взгляд в себя, и камерность. Может быть, именно в камерности секрет популярности авторской песни... И мы хотим дать этим песенкам среду и аудиторию. А ноты не нужны – их надо слушать. Но это в будущем, когда у «Аза» будут свои корреспонденты с магнитофонами, а поэты научатся поприличнее играть на гитаре. А пока приходится читать».*

Как видите, своему журналу «Аз» мы прочили длинную жизнь, большую историю.

Журнал пытался приобрести респектабельное лицо. Этой цели служила новая рубрика «У нас в гостях». Первым в списке «гостей» значилось имя Нади Пермяковой – Надежды Николаевны Гашевой. Впоследствии легендарный редактор Пермского книжного издательства, обязанного Надежде прорывными творческими идеями и замечательным их воплощением, пастырь и поводырь начинающих и мудрый наперсник зрелых авторов, эрудит, умница, лихой мотоциклист, надежный друг своих друзей и талантливый поэт, превзошедший в своём мастерстве многих ею же опекаемых профессионалов, Надя, после окончания филфака уже работавшая в издательстве, подарила «Азу» стихо-

творение, которое, на мой взгляд, и сегодня является лирическим шедевром, написанным несколько десятилетий назад молодой девчонкой. Вот оно:

*Что за город, что за город заколдованный...  
Как короны, эти кроны тополей.  
В этом городе полно некоронованных,  
Подписавших отречение королей.  
Им не спится в их каморках хмурых,  
Там стучат соседи в домино.  
А они табак дешёвый курят,  
Пьют плохое, горькое вино.  
До утра горят витые свечи,  
А к рассвету, а к рассвету захмелев,  
Короли болтают, будто легче,  
Будто легче без корон и королев...  
Так и стынет город заколдованный.  
Но однажды под короны тополей  
Соберу я всех некоронованных,  
Подписавших отречение королей.  
Я скажу им: «Вы не из последних,  
Хватит врать и нечего острить,  
А положен королю наследник,  
Чтоб кому-то царство подарить,  
Ну хотите, каждого побрею...  
И от этой роли ошалев,  
В той же коронованной аллее  
Соберу капризных королев.  
«Окажите мне – скажу – услугу,  
По врагу чего вам не стрелять,  
Только не шутите с сердцем друга,  
Не шутите с жизнью короля!»  
И ответят королевы хором:  
– Это вправду глупая вина.  
Ты пришли нам белый пароходик,  
Закажи хорошего вина...  
Я пришлю вам белый пароходик,  
Закажу хорошего вина.*

Не только лирической поэзией заполнялся «Аз».

Володя Виниченко попытался выразить кредо молодого человека образца 60-х годов – этакого современного сталкера, воздвигающего этажи собственной судьбы своими руками по собственному разумению, но на фундаменте прочных исторических и культурных традиций. В программном поэтическом заявлении уже можно было заметить при желании некий протест, некий экивок, некую двусмысленность. Начиналось стихотворение такими словами:

*В начале мира было слово,  
А мир непрочен и покат...  
В умах смещаются основы(!),  
Рассветом кажется закат(!!!).*

Эти восклицания ныне поставлены моей рукой. Надо полагать, что члены партбюро, получив книжку вышедшего «Аза», именно в этих местах и спотыкались: какие-такие основы смещаются в умах глупых первокурсников, на какой рассветный закат намекают?

*Мы верим в душу и дельфинов,  
Для нас минута – не судья...  
И, стоя на плечах эллинов,  
Мы выпьем сами за себя.*

Эти заключительные строки стихотворения можно было уверенно трактовать как призыв к уходу из единственно верного материалистического миропонимания в буржуазное болото идеализма. Мало того, история советского государства приравнивалась к небольшому отрезку времени на фоне мирового исторического развития, и не этой минуте поклонялся автор, взбираясь на плечи древнегреческого наследия... Даже для свободных шестидесятых такая постановка вопроса молодым поэтом Виниченко представлялась, мягко говоря, более чем сомнительной.

Лёня Юзефович от критики университетских талантов в первом номере журнала перешёл к анализу благородной большой литературы, назвав свои историософические заметки

«Связь времён» – о поэзии Данте Алигьери и Владимира Луговского. Страшной трагедией оборачивался для Данте и Луговского разлад со временем, отмечал автор. Первокурсник излагал далее достаточно крамольные мысли, объяснить смелость высказывания которых можно было только одним: наивностью молодости. Он продолжал так: *«Своей кровью склеивали они позвонки веков... Два суровых поэта, два суровых века. Данте рвал с эпохой, тянувшейся века, Луговской – с эпохой в двадцать лет. Четырнадцатый век становится рядом с двадцатым»*. Или: *«Бог уже заискивает перед Человеком, ему тоже нужна земная слава. У каждого государя – свой еврей, у каждого государя – свой поэт»*.

Сегодня я искренне сочувствую «старшим товарищам», представляя, с каким внутренним содроганием читали они наши откровения. Все эти фиги в кармане и скользкие аллюзии в общем-то были им чужды и в силу возраста, и в силу убеждений. Само наличие неподцензурного журнала создавало на факультете ненужное напряжение – а ну как сверху спросят, что за вольница на филфаке?

Конечно, можно ответить, что, дескать, студент Королёв Анатолий опубликовал в последнем номере журнала яркий и выдержанный в нужном духе материал об антифашистской картине коммуниста Пабло Пикассо «Герника». Но ведь не секрет, что автор «Голубя мира», разделяя гуманистические взгляды и идеалы всего прогрессивного человечества, в творческой жизни исповедует в ущерб реализму формалистические заблуждения, намеренно искажая действительность и образ самого человека. А ведь человек – это звучит гордо!

Создатель искусствоведческого опуса так излагал свои соображения на страницах «Аза»: *«Возьмём Поля Гогена. Сразу видно, что картины с интервалом в двадцать лет написаны одним автором. То же самое можно сказать и о Ван Гоге, и о Врубеле, и о Рерихе. Этого не скажешь о Пикассо. Невозможно поверить, что и «Странствующих акробатов», и «Гернику» написал один и тот же человек. В каждой картине Пикассо сжигает себя и, как Феникс, рождается в другой – новым. Одним и тем же месяцем у него помечены и реалистические на-*

*тюморты, и кубистические полотна. Критики объясняют это тем, что Пикассо – художник, якобы мечущийся в поисках выхода из некоего тупика формализма, что на его полотнах запечатлен трагический раскол личности, раздираемой противоречиями буржуазного мира».*

Наметанному глазу очевидно, что студент Королёв все-таки не полностью разделяет правоту компетентных суждений отечественных историков искусства по поводу причуд франко-испанского художника Пабло Пикассо и, возможно, в душе даже одобряет методы и приёмы его формалистических исканий. Куда могут завести такие настроения неопытного студента, безответственно увлекающего за собой однокурсников?

Невольные и намеренные прыжки в сторону, а также провокационные подскоки на месте, имевшие место во втором номере журнала, уравнивались моим рассказом «Праздник в феврале», лишённым идеологической нагрузки. Нет, он не был посвящён Дню Советской армии. Речь в нем шла о любви студента и студентки на фоне питерской жизни – близкой и хорошо известной мне в ту пору. Банальная история: девочка любит одного, а выходит замуж за другого. Почему? Чтобы не разбить любовную лодку о быт? Возможно. Но определённо этого не знает никто, и в первую очередь сам автор, наводя романтическую тень на несуществующий плетень.

Первый в своей жизни рассказ я написал за несколько часов, сидя ночью в ванной и подложив под тетрадку крышку от бака для кипячения белья. Надо ли говорить, что стулом при написании трогательной истории мне служил унитаз – другого места для творческих потуг в небольшой квартирке не было. Рассказ вместе с рисунками моего школьного приятеля Гены Азанова занял значительное место в общем объеме журнала, разбавив дерзостный настрой других публикаций. Он был написан в модном тогда жанре исповедальной прозы, и сегодня читать его попросту невозможно. Хотя несколько фраз и органичный ритм тревоги, ненадежности происходящего я взял бы отсюда и нынче.



Хорошо помню, с каким воодушевлением мы сочиняли солнечным майским днём заключительные слова второго номера журнала.

*«Вот вы и перевернули предпоследнюю страницу последнего в этом году номера нашего журнала. Не за горами сессия, практика и лето. Много где придется побывать и много чего узнать. И в третьем октябрьском номере «Аза» мы надеемся увидеть ваши стихи, рассказы, путевые заметки, очерки.*

*Давайте учиться писать!*

*Филологу это всегда пригодится.*

*Итак, если всё будет в порядке, до встречи в октябре.*

*С литприветом, Редколлегия».*

#### 4

Третий номер журнала в октябре не вышел.

Не вышел он ни в ноябре, ни в декабре. Журнал вообще больше не вышел.

А ведь номер был почти собран, и даже имелся «гвоздь» – это заметки о поэзии Евтушенко и Вознесенского только что поступившего на филфак Игоря Кондакова – известного в школе № 9 пермского вундеркинда от литературоведения. Заголовком служила хлёсткая стихотворная строка – «Невозможно расправиться с нами...».

Толя Королёв продолжил искусствоведческий ликбез рассуждениями о французских модернистах под скромным заголовком «Анри Руссо и другие».

Но ни стихи, ни проза, ни публицистика негодились.

Журнал умер.

Причиной его скоропостижной и несвоевременной смерти стали события, происходившие далеко от Перми. События глобального масштаба.

Я прошу прощения у читателей за неожиданный переход в агитпроповскую тональность – но именно она, на мой взгляд, способна адекватно отразить то вероломство хитроумного цинизма, ту дерзость подковёрных интриг вновь запущенного процесса политической деструкции, который плавно выплыл в

середине шестидесятых из обманчиво-сказочной мишуры мирового десанта.

Сначала тихо и незаметно, а потом, набирая силу и уверенность, в отдохнувшей от ужасов войны Европе начался новый передел мира. Пока без пушек, танков и авиации. Объектом атаки было сознание молодых людей – жителей стран Восточной Европы, находившейся, как известно, после Второй мировой войны в зоне влияния СССР. Через средства массовой информации, языком театра и кино, с помощью невинных, казалось бы, культурных акций, привлекая возможности международных молодёжных организаций и прочих учреждений, в головах людей исподволь создавали представление о грядущей, якобы более справедливой и человеческой модели мира, конструировался явно несимпатичный образ СССР. У Европы оказалась короткая память. В новом сознании освободитель Европы, уничтоживший фашизм, превращался в оккупанта. Не так уж много времени оставалось до трагического 1968 года и событий последующих лет, когда антироссийские выступления в Европе приняли открытый и активный характер. Мы – неверные наследники своих отцов-победителей – по глупости своей восторженно аплодировали им, не понимая истинной глубины и направленности умело запущенного проекта, который успешно осуществляется по сей день. Идеологическую войну СССР проиграл и погиб, а Россия всё ещё не может найти своё место в новом миропорядке.

Ах, наши ослиные головы! Ах, наши ослиные уши!

В 1966 году явными стали политические настроения в стане чешских и польских интеллектуалов, транслировавшиеся через «самиздат» и «голоса» в СССР. Подбрасывались, так сказать, дровишки для будущего костра. Ответом на это стало «закручивание гаек» в нашей стране, свёртывание различных самостоятельных начинаний.

Вот и нам было рекомендовано приостановить выпуск очередного номера журнала «Аз», выпавшего по чьей-то вине из-под присмотра комсомола и партийной организации. А позже начались дела более серьёзные, об «Азе» уже думать не приходилось. Печальная судьба ожидала машинку, на которой печата-

лись тексты для нашего журнала – она была конфискована у Володи Виниченко и бесследно исчезла в подвалах КГБ. Но это уже совсем другая история.

5

Получается, что невинный «Аз» был принесён в жертву глобальной политической «разборке», и это возвышает память о нём. Жаль, что невинная жертва никому не помогла.

А экземпляры «Аза», разойдясь по рукам, видимо, давно истлели, превратились в труху.

Но не все. Экземпляр первого номера хранится у Королёва в Москве, второго номера – у меня, а материалы третьего – не увидевшего свет – номера хранит Володя Виниченко.

Посылая мне изъятия из самого первого «Аза», Толя Королёв сделал приписку-эпитафию:

*«Вот так, дорогой Василий, наивно, дерзко и глуповато мы пытались обозначить своё «Я», сиречь «Аз». Но ты прав в главном – этот хлипкий рукописный журнальчик первокурсников тиражом 5 экземпляров был, видимо, первым неподцензурным изданием в Перми за минувшие к тому времени 50 лет советской власти. Обнимаю, твой Король».*

Склоним же головы в память о канувшей в Лету молодости, когда было сказано задорное и звонкое слово «Аз».

## «КАКТУС» И ВСЕ, ВСЕ

### *Пролог*

В ту пору, куда нацелилась моя память, а именно в 1965 – 1966 годы прошлого века, наш Пермский университет переживал, пожалуй, одну из самых ярких полос своей жизни, представьте себе хотя бы главный корпус, лестничные марши которого были дерзко расписаны копиями авангардных работ начала века, вспоминаю, хотя бы «Даешь тяжелую индустрию» художника Юрия Пименова..., косые тела полуобнаженных рабочих внутри огромного цеха, выписанных с явным обожанием авангарда и холодком к гегемону.

Подавая документы для поступления именно на филфак, я ясно понимал, что ищу пропуск в новую жизнь, путь в облака, подальше от провинции, поближе к Москве. Так вот, друзья, вы не поверите, но я с треском провалил уже самый первый экзамен, сочинение!

И как!

Я совершил то ли 10, то ли 13 синтаксических ошибок, за что получил законную пару. Эта катастрофа усугублялась еще и тем, что за содержание я получил «пять», но с учетом моей полной безграмотности по совокупности вышла «двойка».

Вот так номер... срезался...

Увидев свою оценку в списке на стенде абитуриентов, я похолодел.

И было отчего – в сентябре меня призывали служить в СА, солдатом, а в те памятные годы несчастный солдатик служил три года, а в Морфлоте – четыре. Потерять в аду свою юность... меня бросило из холода в пот.

---

<sup>11</sup> Королев А., выпускник 1970 г., писатель, драматург, эссеист. Автор романов «Голова Гоголя», «Эрон», «Человек-язык», «Быть Босхом», «Stop, Коса!», «Хохот»... лауреат итальянской премии Пенне, премии АРСС (Академии российской современной словесности), премии правительства Москвы и др. Член русского Пен-клуба. Профессор Литературного института им. М. Горького.

А всему виной была моя глупость, умноженная на пижонство.

Я понадеялся на своего приятеля-грамотея, с которым вместе поступал на филфак, в школе у него была твердая четверка по русскому языку (в отличие от моей хилой тройки). Мы уютно расположились парой за последним столом и, быстро написав каждый свое, поменялись текстами и вроде бы тщательно проверили чужие листочки, я нашел у него две ошибки, он – три у меня.

Не подозревая, что дружок чуть струхнул и, боясь, что застукают, проверил меня абы как, я спокойно отдал задолго до конца экзамена свое сочинение на свободную тему лаборанту, и мы вышли гулять на солнышко.

...Что делать?

Вернувшись домой, я кинулся плашмя на диван и едва не расплакался: «Идиот! Балда!» – честил я себя от души и только к вечеру взял себя в руки.

Дело в том, что у меня был запасной ход.

Окончив родимую незабвенную одиннадцатилетнюю среднюю школу с политехническим уклоном № 32, на Слудской горе, где я получил серенький аттестат зрелости, а заодно и разряд токаря, я отправился работать на пермское телевидение, куда проложил тропинку еще в школьные годы, в отдел молодежной жизни (под крыло уникальной дамы и блистательной журналистки Татьяны Черновой), и был (надо же!) принят на телестудию корреспондентом по договору, а значит, получил на руки трудовую книжку и мог, мог, господи, законно поступать на вечерний факультет.

Вот этой кроличьей норой я и воспользовался.

Утром молнией примчался в отдел кадров на студию, взял выписку и метеором примчался опять на филфак, где пулей перевел документы на вечернее отделение и стал снова готовиться к приемным экзаменам.

О, теперь я был холоден как кусок льда. Перспектива улететь в армию меня никак не прельщала. Сочинение я написал размером с гулькин нос, в две с половиной страницы, где практически не было ни одного сложносочиненного предложения и

за грамотность которого я ручался головой. На этот раз я проверял каждое слово и запятую под лупу до конца экзамена.

Уф, в итоге – пять за содержание и пять за грамотность.

Второй экзамен – русский устный. Тут случилась первая приятная неожиданность: экзаменатор по языку, холеный вальжный царственный красавец в шикарном светлом костюме в полоску (это был Соломон Адливанкин), вдруг вспомнил, что какой-то Королев уже поступал на дневное отделение, написал прекрасное сочинение, но допустил столько ошибок, что он был вынужден поставить двойку способному абитуриенту... «Это был я!...» – стыдливо признался Королев и соврал, что писал де с температурой. Господин ласково развел руками и украсил мой экзаменационный лист изящной пятеркой.

Уф! Две пятерки! Я воспрял духом.

Следом шла история, которой я ни капельки не боялся.

Дело в том, что, имея, например, в девятом классе сплошные двойки по химии, физике, алгебре, геометрии, тригонометрии, русскому и французскому языку, я был круглым отличником по истории, а ее у нас вел сам директор школы Николай Васильевич Смирнов... О, это был царь... Войдя в плохом расположении духа в класс, хлопнув по столу полированной указкой из красного дерева, он вызывал к доске по очереди 10 человек и, поставив за пять минут десять единиц, вызывал меня. И я начинал отвечать, порой до самого звонка, то есть почти сорок минут. Я знал историю намного шире школьной программы: сколько выплавлял стали СССР до войны, а сколько после? А уголь? А роль партии в годы войны? А это? А вот еще... В мертвой тишине напуганного до смерти класса я стойко стоял на обороне родного девятого «Б», пока не раздавался долгожданный звонок.

Растроганный уровнем школяра директор ставил в журнал огромную пятерку ростом в три фамилии, брал в руки трость (указку) и удалялся на педсовет, где учителя призывали его расправиться с лодырем, задавакой, лентяем Королевым и выгнать его вон из учебного заведения за низкую успеваемость, на что директор веско отвечал: это лучший ученик школы, но к нему нужен подход.

Дорогой Николай Васильевич (увы, его уже давно нет на свете), никогда не забуду вашей роскошной опеки.

Короче, за ответ на экзамене по истории в университете я получил третью пятерку.

15 баллов! А проходной на вечернее отделение – 16.

Нужна была всего лишь самая квелая тройка, и я в дамках!

Но... впереди был последний экзамен. Французский язык. Признаюсь, тут я был совершенно ни в зуб ногой. Мне был заранее гарантирован полный провал. И все же, не зря говорит народная мудрость, что и зайца можно научить зажигать спички.

По-прежнему сохраняя в душе холод арктического айсберга, я пришел на экзамен французского языка рано утром, задолго до начала экзамена... Французский принимали две молодые женщины, и было ясно, что два педагога меня не пощадят... Весь свой расчет я строил на том, что одна из них обязательно уйдет по делам... Начался экзамен. Абитуриенты шли потоком в класс, каждый третий получал неуд., я же уныло отказывался заходить, торчал в коридоре, листая учебник и выжидая точный момент. Прошло долгих четыре с половиной часа. Есть! Одна дама устало ушла из аудитории, вторая осталась одна.

От нее зависела – не шучу! – вся моя жизнь.

Я четко понимал, что при малейших свидетелях моего плохого ответа педагог ни за что не поставит тройку, вот почему мы должны были остаться только один на один... И вот, наконец, в шестом часу вечера, когда за мной уже никого не осталось, я вошел в класс. Все шло по плану: за столами сидела последняя порция абитуриентов, я был замыкающим.

Взял билет, там было что-то совсем не по-русски написано, и стал сочинять свою коронную фразу, а именно: читая французскую литературу, я больше узнал Францию, чем на уроках французского языка...

И вот мы одни.

Я открыл рот.

Дама немедленно вздрогнула и насторожилась. Надела очки. Плохой знак! Мой язык был ужасен.

– Что вы хотите сказать? Повторите членораздельно.

Слава богу, я разобрал, что меня спрашивают.

И ответил по-русски:

– Читая французскую литературу, я больше узнал Францию, чем на уроках французского языка...

– Да вам ни в жизнь не сказать эту фразу...

Она печально рассмеялась, взяла мой экзаменационный лист, чтобы поставить пару, но тут увидела мои сверкающие три пятерки и запнулась... Я тут же ввинтил, что, мол, у нас в школе два года не было педагога, прилгнул, конечно.

Только тут она оценила мою хитрость – ведь мы были наедине – и, подумав, сдалась.

– Ладно, Королев, я поставлю вам три, но учтите, если вы попадете в мою группу, я с вас три шкуры спущу.

Ура, я был спасен! 18 баллов.

Через пару недель я был зачислен на вечернее отделение филологического факультета, взял выписку в ректорате, пулей примчался в райвоенкомат, где предъявил в окошко справку о поступлении в университет (окно зло крякнуло) и вышел вон из «тюрьмы».

Уф... Только тут, спустя месяц, я, наконец, перевел дух, перехваченный той демонической парой по сочинению.

Кстати, сегодня, окидывая взором те дни, я ясно вижу, что «двойка» за сочинение сослужила мне хорошую службу, ведь если бы я явился на экзамен французского языка без нужной опаски, расстегнутым, пошел бы в потоке, стал бы молотить языком прилюдно, получил бы законную пару и... и не успел бы, друзья, сдать документы для приема на вечернее отделение, не успел.

Но вернемся в август 1965 года.

Подводя финальную черту, я явился в родной деканат, где впервые увидел ладного кругленького, как Чичиков, молодого рыжеголового начальника – декана, с чудесной улыбкой и намекающей лысиной, это был Он! Голубоглазый! Леонид Владимирович Сахарный. Человек, который сыграл не последнюю роль в нашей общей судьбе. Сахарный, иронично наклонив голову, выслушал мою странную просьбу: разрешить студенту-вечернику посещать на правах вольнослушателя занятия на пер-



вом курсе дневного отделения. «А как же работа?» – спросил он, удивленно встрепенувшись. На что я ответил, что я фри лансер, вольный стрелок, и могу работать на телестудии когда захочу... «Где-где?» – моя служба необычайно заинтриговала моего визави. И узнав, что сей вундеркинд а) снимает телерепортажи, б) пишет тексты, в) не лишен чувства юмора, г) рисует!..., Сахарный с ходу предложил мне активно поучаствовать в жизни факультета, при этом заметив: «У нас каждый юноша на вес золота!», и предложил зайти через недельку прямо к нему на квартиру, чтобы переговорить по одному важному делу.

Да ради бога!

Он тут же подписал мое прошение, и 1 сентября, описав сложнейшую параболу вдоль алмазной нарезки судьбы, я небрежно вошел в аудиторию первого курса, где увидел своего проштрафившегося друга (он-то за сочинение, проверенное мной, получил четверку) и мы были рады друг другу.

В молодости все лёгко.

### *«Кактус»*

Тот легендарный 1965 год отличался еще и тем, что хрущевские школы-одинадцатилетки по всей стране были закрыты и в вузы поступали одновременно два школьных выпуска, из десятого и одинадцатого классов. Сумасшедший конкурс – 17, а то и все 20 человек на место – позволил поступить в ПГУ лишь самым лучшим.

Эта волна набора сразу отразилась на жизни нашего университета.

Иду к декану.

Сахарный жил в скромном одноэтажном бараке для преподавателей вуза, который, если помните, стоял бочком вдоль асфальтовой ленты, ведущей от вокзальной площади, сквозь тоннель под железной дорогой, поворачивала направо, чуть спускалась складками асфальта по ступенькам и текла широким тротуаром вдоль насыпи к парадному входу в университет, где помещался безобразный памятник – Горький и Ленин в позе ученика и учителя.

Барак одним бочком смотрел в университетский ботанический сад.

Я вошел в тот самый миг, когда Сахарный в просторной комнате, где разом помещалась спальня, кабинет, библиотека, гостиная и кухня, смачно жарил на сковороде куски сулугуни. Оказывается, сулугуни лучше поджарить на сливочном масле до образования легкой коричневой корочки... Сколько лет прошло: канула в вечность коммунистическая держава, Россия вернулась в капитализм, сам Леонид Владимирович, увы, на том свете (26 декабря 1996 г. упал прямо на ленинградской улице на асфальт, инфаркт, мгновенная смерть в 62 года<sup>12</sup>), а я вот еще вчера на московской квартире, поджаривая сулугуни на сковороде с антипригарным покрытием, вспоминал далекий пермский рецепт моей юности.

Боже мой, мне было всего лишь 18,... а ему каких-то 31.

Отныне два «С» (Сахарный) и «С» (сулугуни) стоят рядом в моем алфавите.

Леонид Владимирович усадил за стол, познакомил с женой и дочуркой, угостил сулугуни, подлил сухого вина в стаканы и изложил свою цель: оказывается, на факультете существует маленький студенческий сатирический театр под названием «Кактус». Сахарный был его руководителем, но театрик зачах, ему позарез нужны свежие остроумные тексты, короткие и смешные, нужны и актеры... Нет, нет, заметил я его прищур, я зажимаюсь на сцене, а вот писать – с удовольствием.

– Это не ваши ли смешные рисунки напечатал Пермский университет?

– Мои.

Отлично, нам нужен художник для факультетской газеты «Горьковец»... Короче, Сахарный мигом взял меня в оборот, заразил своей увлеченностью, увлек в бой, да, да в бой... Оказалось, что у нас есть враг, и какой! Наш противник на предстоящей студенческой весне исторический факультет: правильные

---

<sup>12</sup> На самом деле Л.В. Сахарный умер 25 декабря 1996 г. в больнице после тяжелой болезни и операции. – *Прим. редактора.*

догматики, карьеристы, выскочки и начетчики, лишённые демократического порыва...

Иногда декан замолкал, и я видел в его глазах углублённую мудрость.

Сейчас-то я понимаю, что Сахарный был ой как не прост.

Да и весёлым человеком он не был; наоборот, его смех, ирония, даже сарказм взросли на почве убийственной мизантропии<sup>13</sup>. Помню, как он был печально и трепетно влюблен в фильм Клода Лелуша «Мужчина и женщина» (сколько тоски по истинной страстной любви было в его настрое!) или недоумевал по поводу фильма «Айболит-66», как такое могли пропустить? Ну, дурачье! Вот уж кто досконально изучил механизм контроля советской власти, кто был осведомлен о феруле местного КГБ и понимал, что мы все давно под колпаком, что факультет заражен осведомителями, но ни бровью, ни полсловом не выдал он своего горького знания, подначивая и подшучивая, опекая и помогая, выдумывая свое детище, заточенный хохотом «Кактус», а заодно поддерживая и наш рукописный журнал «Аз».

Только на лекциях по лингвистике его подлинный неистовый научный дух вырывался наружу как джин из бутылки, проступала его дерзость – ведь он боготворил психолингвистику, нечто совсем подозрительное по тем временам, науку, где было никак не обойтись без Фрейда и Юнга, Щербы и де Соссюра.

Но я забежал вперед.

Так вот, итогом той встречи стало написание сценария для «Кактуса», где я сочинил на свой страх и риск несколько маленьких интермедий, сцен, среди которых лучшей Он признал монолог бабки Ньюшки – старой гардеробщицы, которая недовольно ворчит на студентов, пародируя на самом деле дух партийной опеки, и еще мою вариацию на тему чеховского Ваньки Жукова, который пишет домой из общаги жалостливое письмо о притеснениях старшекурсников.

---

<sup>13</sup> Друзья и коллеги Л.В. всегда отмечали его внимательное отношение к людям, оптимизм и любовь к жизни. Мизантропия ни в коем случае не была чертой его характера. – *Прим. Б.В. Кондакова.*

Обе эти сценки блестяще исполнил наш корифей, самоучка-актер, студент-филолог из группы «А» – Юра Якименко (Бог мой! И его тоже нет. Как помолодела смерть!). Юра играл гениально, я говорю это с высоты своего театрального опыта, думаю, в нем умер великий артист масштаба нашего Игоря Ильинского или французского Фернанделя. Объемный, рослый, чуть пузатый, актер замечательной пластики и виртуозного баса, Юра за пару секунд доводил зал до истеричного хохота. Причем моих заслуг никаких нет, как автор, я всего лишь сумел не сфальшивить, а вот Юра умел поймать кураж смеховой раблезианской средневековой культуры вышучивания и, напялив, к примеру, бабий платок или в крупных слезах читая письмо на деревню дедушке о том, как старшекурсники тыкали в рожу ему рылом селедки, докручивал ситуацию до гомерической высоты античной волны. Он умел смешить как никто. Нутром чуял сам дух хохота. При этом наш Юра отличался жутчайшей склонностью к невезенью.

Когда он пытался списать на зачете, учебник, тщательно спрятанный под ремнем, шлепался на пол перед очами экзаменатора.

Когда он плюхался на сидение, из того обязательно вылезал гвоздь и рвал брюки.

Когда он цеплял вилкой сардельку в студенческой столовой и макал ее в горчицу, емкость с горчицей улетала со стола, а сарделька шлепалась в борщ соседа, брызгая прицельно на белую рубашку нашего героя. Зато как ему одновременно и везло! Купив билет лотереи, он обязательно что-нибудь да выигрывал, и не пустяк, а крупную вещь: то стиральную машину, то приемник «Спидолу», то велосипед или что-то в таком же духе. Так судьба старалась задобрить сюрпризом любимчика, а потом – р-раз – порвать рубашку. Рок с Юрой шалил.

(Кончина застала Якименко на Украине, на посту начальника городской киевской почты. Нешуточный пост).

На репетициях Сахарный довел мои опусы в исполнении Юры и других актеров до совершенства, и к началу студенческих состязаний мы были готовы; страхуясь, декан ввел меня в члены университетского жюри от филфака, заранее обеспечивая

поддержку родному детищу. Наш лидер был человек многоопытный... Кстати, к тому времени я уже приказом декана стал полноправным студентом дневного отделения и получал увесистую стипендию, кажется, 35 или 40 рублей.

В те годы на эту сумму можно было прожить.

А с телевидения мы ушли.

Что же сегодня сказать о «Кактусе» по существу?

Это, конечно, было собрание пустяков, коллекция милых беззлобных шуток, но на фоне агрессивной манеры историков мы были эльфами смеха. Вспоминаю лишь один эпизод студенческого ристалища: вот на сцену, тяжело ступая, выходят два студюоза – тащат носилки с кирпичом, пыхтят, с грохотом опускают тяжесть на пол, актовый зал содрогается от тех кирпичей, и вдруг, схватив кирпич из носилок, один из носильщиков швыряет кирпич прямо в зал, кирпич попадает в студентку на третьем ряду, все так и охнули... Тут оказалось, что кирпич тот липовый, склеен из картона и покрашен красной гуашью в тон кирпича... студентке плохо, плач, слезы, хохот...

Жюри оштрафовало шутников и срезало хохмачам истфака сразу 10 баллов.

На фоне таких хулиганских выходов «Кактус», конечно, смотрелся замечательно. Замечу еще, что студенческие сражения в самодеятельности пользовались в те годы бешеным успехом, бог мой, люди висели на стенах, места в актовом зале занимали за два-три часа до концерта, в поединки вкладывались нешуточные силы, например, был момент, когда в конкурсе участвовали сразу три любительских фильма: от филологов (эту хохму снимал ваш покорный слуга), от историков и от физиков. Кроме того, пожалуй, только в университете в рамках студенческой весны можно было в Перми услышать джаз, или послушать блюзы (на английском!) Эллы Фицджеральд, шлягеры Хампердинка и волшебный вой трубы в духе Сачмо, Луи Армстронга. Это был весьма продвинутый и не советский репертуар.

Итак, стартовый опыт в «Кактусе» был удачным, филологи стали первыми, и вот тут-то, на самом взлете мы были внезапно сбиты... «Кактус» отправили на городскую студенческую театральную весну, где нам пришлось сражаться с легендарным

студенческим театром эстрадных миниатюр (СТРЭМ) Политехнического института.

О, политехи были самыми заклятыми соперниками нас, универов.

Все в этой мрачной коробке на Комсомольском проспекте вызывало жгучую неприязнь, уже в первый визит меня огоршили нравы технарей... Я шел по коридору первого этажа, и вдруг свист, визг, вой, крики, на меня понеслась бегущая группа юнцов в спортивных трусах и майках, я вжался в стену, бегущие вихрем горячего пота промчали мимо.

Оказалось, так здесь проходят соревнования по бегу!

Мог ли я полюбить этот улей?

Но... но СТРЭМ в режиссуре Игоря Тернавского меня убил наповал. Это был настоящий мощный театр, час непрерывного действия, хохота, смеха, сарказма. И главное, технари демонстрировали сильное программное социальное чувство.... Вспоминаю, например, поразивший меня лаконизмом один эпизод: на огромную сцену выходит озабоченный парень и, ломая руки, говорит: «Ну что я мог сделать один?», следом выходит второй и тоже громко корит себя: «Что я мог сделать один?», за ним третий, четвертый, десятый, и каждый бубнит и канючит, пока все горемыки дружно не переходят в марш и, выстроившись колонной по пять, хором скандируя: «Что я мог сделать один!!!?», в ногу идут за кулисы. Овации!

А мы?

Про бабку Ньюшку?

Про селедку в общежитии?

Пара вежливых хлопков в зале и проигрыш.

Я повесил нос, остальные тоже весьма приуныли, Сахарный утешал нас, как мог. И нацелил – следующий «Кактус» будем делать по-стрэмовски боевым и злободневным.

Тут я беру короткую паузу, чтобы сказать хотя два слова о журнале «Аз». Думаю, что без Сахарного журнал бы не получил нужного резонанса и стал бы частным делом группы энтузиастов. Нет, наш декан активно включился, прочел опус первокурсников чуть ли не первым, пылко одобрил, взял на себя инициативу прикрытия, это сейчас я понимаю, что требовалось убе-

дить кураторов из ГБ в невинности нашей затеи – только эстетика, ни грамма политической вольницы... И ведь убедил: первые два года нас никто не прищучил.

Сегодня я (два номера «Аза» у меня сохранились, листаю и вижу чьи-то брезгливые подчеркивания карандаша на страницах, знаки вопросов, восклицательные знаки...) вспоминаю только один-единственный штрих контроля: во втором номере Сахарный посоветовал нам убрать заглавное стихотворение Лени Юзефовича «Пятая стража» (по-юношески замечательное, кстати). Он умел, умел ненавязчиво убеждать. А я его вообще обожал...

В октябре 1966 года наш университет отмечал 50-летие.

Сахарный решил, что на этот раз «Кактус» выступит в жанре рисованного фильма, и, естественно, заманил меня в сети своего замысла. Он написал шутивную канву об истории ПГУ, а я сделал двадцать с чем-то иллюстраций в духе французского карикатуриста Жана Эффеля (помните его эпопею о создании мира, где Бог сочиняет землю, Адама и Еву, а черт ставит палки в колеса, а вокруг реют бабочки?).

Я исполнил пером нечто вроде кальки с Эффеля – Бог, черт и ангелы опекают создание первого на Урале университета.

Мои рисунки были пересняты на стеклянные пластины для диапроектора, мы с Сахарным сочинили к каждому кадру смешные подписи, и вот настал торжественный миг...

Юбилейные торжества проходили в театре оперы и балета; сначала торжественная часть, потом концерт. И вот, наконец, стал гаснуть свет, опустился большой экран, мы с оператором проектора (тоже студенткой) включили аппарат на верхотуре в тесной кинобудке, и тут черт принялся куролесить над нами: допотопный аппарат заело, пластины полезли вкривь и вкось, я замер, девушка записывала, порядок подачи пластин был тут же нарушен, на экране было видно, как чьи-то пальцы тянут рисунок...

Только виртуозное самообладание Сахарного (он был посажен в оркестровую яму, куда протянули провод для микрофона) отчасти спасло ситуацию: видя, что кадры лезут без очереди, поперек написанного, сикось-накось, он принялся на ходу –

молнией – сочинять каждый раз новую подпись. Адские муки кошмара длились почти 15 минут, и как только в зал дали свет, я, сгорая от стыда, кинулся вон из театра, в дождь... Не смог посмотреть декану в глаза.

– Эх вы, – грустно сказал позже Сахарный, – смалодушничали?

Сколько лет прошло, не могу забыть его опечаленный голос.

Этот ляп немного остудил нашу дружбу, но не надолго.

И все же, увы, второй этап в жизни «Кактуса» для меня стал последним, да, я придумал несколько социально острых миниатюр, но Сахарный выбрал для сцены занятный и остроумный текст первокурсника Володи Пирожникова, нашего нового друга, который сочинил пародию на «Карамазовых»<sup>14</sup> Достоевского. Мои опусы в программу не вошли, а СТРЕМ к тому времени набрал самый пик своей силы и, как линкор на подводных крыльях, промчался мимо нашего кораблика из бумаги.

Новое поражение на городской весне отправило «Кактус» ко дну.

Быть вторыми мы не хотели.

Тут Сахарный заманил меня в новое приключение.

Леонид Владимирович написал забавную книжечку о языке «Удивительный, надежный, коварный». Пермское книжное издательство вознамерилось ее издать (в карманной популярной серии для школьников), и Сахарный предложил мне ее оформить своими рисунками.

К тому времени в филологических кругах я был весьма знаменит: мало того, что сочинял, я еще рисовал, оформил два номера «Аза», а это по три копии (6 штук), полсотни разных рисунков; делал коллажи, печатал юморные рисунки в газетах, дарил сюрреалистические картины друзьям. Пирожников повесил мою жутковатую иллюстрацию к «Стихам об испанской жандармерии» Гарсиа Лорки в общаге (после плакат в гневе сорвал комендант), а Юзефович украсил моим коллажем «Канатохо-

---

<sup>14</sup> Скорее всего, речь идет о спектакле по мотивам «Преступления и наказания», поставленном в «Кактусе». – *Прим. редактора.*



дец» и гуашью «Падение Икара» свою квартиру на долгие годы. Кроме того, я еще оформлял «Горьковец» в залихватском стиле свободы. Лучший номер – новогодний за 1968-ой год – был сделан в виде картонного рельефа: по листам газеты длиной в полкоридора катил склеенный мной из картона паровозик с вагонами-игрушками, путь коего пролегал в еловом лесу (приклеенные на ватман елки торчали прямо из стены частоколом и угрожали лицам читателей).

Друзья, в те годы я колебался, кем быть: может, художником?

Так вот, услышав предложение Сахарного оформить его первую популярную книжку, я с азартом согласился и получил для работы толстенную рукопись<sup>15</sup>. К той поре Сахарный переехал в новый дом в центре города на улице Карла Маркса, но жареный сулугуни по-прежнему украшал наши встречи. И сухое вино. Я сделал серию беглых рисунков пером и тушью, Сахарный крикнул «ура!» и представил мои почеркушки в издательство. И надо же! Рисунки приняли. Меня вызвал в книжное издательство главный художник, график, сумрачный гений Владимир Вагин, стартующий в облака мэтр (сейчас он в Америке, живет в живописном городке Мидлберри, и мы до сих пор дружны). Вагин сдержанно похвалил «умные рисунки» и сделал только одно замечание. Хорошо его помню, так как оно было единственным: «Гм... вот тут, Толя, у тебя указательная стрелка смотрит, пардон, в попу слона. Надо будет слона перевернуть, чтобы стрела указывала не в зад, а на хобот...».

Нет ничего проще – я нарисовал другого слона с правильной стрелкой.

Это был наш общий с деканом дебют на ниве книгоизданий.

Его писательский, мой – иллюстратора...

### *Тень Праги*

Сейчас я понимаю, тогда была кульминация наших отношений с Сахарным. Увы, к его демону, его любви до гроба –

---

<sup>15</sup> Удивительный, надежный, коварный. Пермь, 196\_. – с.

языкознанию – я был равнодушен, тем более в такой экзотической упаковке психолингвистики, какой был увлечен Сахарный. Структурализм<sup>16</sup> вообще требует особых мозгов, а жонглировать абстрактными вещами я тогда не умел. Сахарный пытался заманить меня в свой кружок по языкознанию, но я заупрямился. Был, правда, миг, когда с азартом неопита я кинулся читать труд де Соссюра, но мало что понял, а в тонкости структурной эквилибристики, в которых с наслаждением купался мой шеф, я почти не въезжал, и он милостиво оставил меня в покое.

Между тем над факультетом стали сгущаться тучи надзора.

В те годы наш драгоценный факультет был, ей богу, выдающимся – все еще молоды, красивы, увлечены наукой: Римма Комина, Сарра Фрадкина, Леонид Мурзин, Соломон Адливанкин, Наталья Лейтес, Нина Васильева, Нина Гашева, Рита Спивак (ее творческий кружок еще ждет летописца!), даже нелюбимую мне Франциску Скитову с ее Акчимским словарем я готов приплюсовать к факультетской элите...

Это брожение свободы было, конечно, где надо замечено, и тогда сработала намеренная провокация: нашу компанию (меня, Леню Юзефовича, Васю Бубнова и Володю Виниченко) втянули в чтение всякой антисоветской чепухи, практически невинной, типа книжки историка Некрича о причинах поражения СА в первые месяцы отечественной войны (она была издана ограниченным тиражом для научных библиотек). Сначала подсунули читиво, а потом всех сгребли в одну кучу, для устрашения, и через три года (в 1971 г.) провели легендарный пермский закрытый политический процесс над двумя местными правозащитниками, где я проходил в качестве свидетеля.

Сахарный одним из первых почувствовал наступление политической ночи. В отличие от нас, он был человек зрелый и понимал, что волнения в Чехословакии накануне Пражской весны вот-вот аукнутся по всему СССР реакцией власти – непременным закручиванием гаек. И в самый разгар нашего пыла –

---

<sup>16</sup> Структурализм и психолингвистику лингвисты считают разными направлениями языкознания. – *Прим. Е.В. Ерофеевой.*

мы готовили третий выпуск «Аза» – вдруг посоветовал нам умерить прыть, а выпуск номера отложить до лучших времен... Он сказал это тихо, но веско, и мы притормозили. «Кактус» тоже смирно зачах. Грянул 1968-ой год. В августе, когда мы с Ленькой и Виктором Некрасовым втроем бездумно путешествовали по Кавказу и Крыму, танковые войска Варшавского договора вошли в Прагу... Тут даже мы сообразили, что рядиться в одежды фронды будет ой как накладно и попытались уйти от слежки, перестали читать антисоветчину, кое-что просто сожгли. Мы понимали, что можем поставить под удар факультет и фактически попрятались по квартирам в ожидании ареста (он последовал в мягкой форме задержания в день начала летних учебных сборов, когда нам всем сделали жесткое внушение в органах и взяли первые письменные объяснения по делу).

Для меня до сих пор загадка: почему нас не отчислили из вуза? По легенде, нас защитил ректор, профессор Горовой, но, думаю, все было проще: власти не захотели сажать зеленых юнцов, а просто решили припугнуть все стадо заблудших овец. Ведь в воронку процесса в итоге было втянуто не меньше полусотни лиц, а кульминацией наезда стало публичное покаяние на экране всесоюзного ТВ наших московских лидеров Якира и Красина.

Гора родила мышь.

Но вернемся на факультет.

В 1968 году Сахарного «ушли» из деканов.

По Римме Коминой и ее ученикам прокатилась волна проверок. Власть перешла в руки партаппаратчика от науки тов. Бельского и его супруги. Мы пали духом и скисли. Пожалуй, последним жестом свободы стал для меня мой диплом о прозе Андрея Белого под руководством Риты Спивак, не скрою, я боялся – прокатят, но моя защита прошла на ура и – надо же! – я получил отличную оценку.

Наша кафедра в этом эпизоде внятно продемонстрировала явное несогласие с буйством запретов и наступлением сумерек. Жизнь университета стала тише и глуше – авангардные фрески на стенах замазали скучной эмалевой краской, студенческая весна потеряла энергию дерзости. Окончание вуза прошло неза-

метно, а осенью 1970 г. вся наша компания (за исключением «некомсомольца» Бубнова) была призвана служить на два года в армию, и мы, филологи, надели офицерские погоны. Ленку и Юру Якименко отправили служить на Восток, поближе к Китаю, Виниченко забрали в солдаты (его вообще хотели посадить на скамью подсудимых, но обошлось), а мне органы приготовили самое острое блюдо. Пройдя на военной кафедре ПГУ рутинную подготовку к службе командира в мотострелковых войсках (пехоте, по-старому), я, по воле опекунов из органов, угодил лейтенантом дознавателем/следователем в зону, в дисциплинарный батальон Уральского военного округа, под Челябинск, в южные степи, где на окраине военного городка у станции Бишкиль располагался солдатский лагерь... Одним словом, те, кому любопытно, читайте, мой роман «Быть Босхом»...

Я вернулся в Пермь осенью 1972 г. после демобилизации, счастливо снял погоны лейтенанта, прокутил за полгода все деньги, какие не успел потратить на службе, и только весной 1973 г. наконец поспешил в университет увидеть Леонида Владимировича. Найдя по расписанию аудиторию, где Сахарный читал лекцию, я прошел в старый корпус и тихонечко приотворил высокую дверь. Сахарный огненно чиркал мелом по черной доске, выписывая фиоритуры строения языка... И надо же, он мне был не рад. Меня словно окатило холодом. Больше того, та первая встреча – мы не виделись целых три года! – была с его стороны пропитана таким внезапным сарказмом, такой иронией и язвительностью в мой адрес (что случилось?), что я как-то смешался, сник, растерял радостный пыл, створожился как молоко, куда давнули соком из разрезанного лимона.

Меня уже предупредили, что он, кажется, оставил семью и увлечен другой женщиной, соратницей по психолингвистике из Ленинграда, что он нацелился на переезд в Питер, но я не понимал, откуда столько желчи именно в мой адрес. Между тем я прошел вброд через кровь, снимал трупы повешенных в казарме, видел солдатские пуговицы, пришитые в знак протеста кровавой ниткой к коже, отвозил арестованных в лагеря, ловил беглецов, сочинял – в знак эстетического протеста – дымящий чадом сковороды сюрреалистический роман о Босхе, прошел через

закрытый процесс, где мы не сдали ни одного педагога, – короче, много чего пережил... И вдруг такой афронт.

Я даже не помню, о чем мы в тот день говорили, да ни о чем!

Сахарный не задал мне ни одного вопроса.

Хотя, кажется, показал (но не подарил) свою новую книгу о языке.

Что ж, дорогой Леонид Владимирович, прощайте.

По молодости и гордости я не стал больше искать других встреч, ни разу больше не побывал в домашних гостях, солнце «Кактуса» с лучами-иглками закатилось, а через несколько лет (в 1977-ом) Сахарный переехал на берега Невы, туда, где его и подкараулила ранняя смерть. Иногда я узнавал о нем глухие новости, звездой лингвистики он так и не стал<sup>17</sup>, зато был отменным агитатором поиска, до самой смерти бессменным заводилой кружков и лидером пропаганды структурного изучения языка<sup>18</sup> и прочее, и прочее.

(Думаю, именно чувство тайного разочарования в себе, понимание того, что Соссюром ему не быть, и стало железной завесой в тот весенний день между нами, мой творческий настрой его раздражал...).

И последнее.

Иногда я натыкаюсь в своем архиве на скромную, размером с ладонь, брошюру Л.В. Сахарного о языке с рисунками студента-филолога (третьекурсника!) А. Королева, читаю название книжечки «Удивительный, надежный, коварный» и, поли-

---

<sup>17</sup> При жизни Л.В. Сахарный был профессором и заместителем зав. кафедрой общего языкознания Петербургского университета, под его руководством работал межвузовский психолингвистический семинар. Л.В. Сахарный считается основателем Петербургской школы психолингвистики. О деятельности Л.В. Сахарного можно узнать на ряде сайтов, например: <http://lozovska.narod.ru/sakharny.html>; <http://www.linguisticsociety.spb.ru/sem/cerr.htm> и др. См. также статью в Википедии «Сахарный, Леонид Волькович». – *Прим. Е.В. Ерофеевой.*

<sup>18</sup> Противоположность структурного и психолингвистического направлений в лингвистике отмечалась выше. Л.В. Сахарный занимался именно психолингвистикой. – *Прим. Е.В. Ерофеевой.*

став, обязательно нахожу рисунок слона; я-то знаю, что слон перевернут, что прежде указующий перст (стрела) указывал во все не в хобот...

Надо же такому случиться – я стал старше своего старшего друга.

*P. S.*

В 1989 году осенью я оказался в Праге в самый разгар бархатной революции и два месяца до головокружения упивался свободой.

*С.М. Шумова*<sup>19</sup>

## **«ГЛАЗА И УШИ» ФИЛФАКА НАЧАЛА 80-Х ГОДОВ**

Стенная газета «Горьковец» начала 80-х годов – «глаза и уши» филологического факультета, в которой можно было узнать последние новости, прочитав о новых тенденциях, мысленно побывать на мероприятиях: на научных конференциях, студенческой весне, фольклорной практике и даже сборе картошки, поучаствовать в конкурсах, быть в курсе всех событий.

Отпечатанная на пишущей машинке с написанными от руки заголовками, вывешенная на стене в пятом корпусе университета, состоящая из 10-14 листов ватмана, пестрящая многочисленными рисунками и фотографиями, она пользовалась огромной любовью и вниманием не только студентов, но и преподавателей факультета.

В конце 70-х – начале 80-х на филологическом факультете университета сформировались научные школы деривационной лингвистики, социо- и психолингвистики, функциональной стилистики. Продолжалась коллективная работа над словарем акчимского говора, исследовалась топонимика Прикамья, во время экспедиций по Пермской области собирался уникальный фольклорный архив, на базе которого выпускались сборники фольклорных текстов. Эти события получили свое отражение и в материалах факультетской газеты.

---

<sup>19</sup> Шумова С.М., выпускница 1984 г.

Не нужно забывать, что в 70 – 80-е годы факультетские стенные газеты, наряду с другими средствами массовой информации, были настоящими помощниками партийных, комсомольских и профсоюзных организаций в деле «коммунистического» воспитания студентов, в подготовке высококвалифицированных специалистов. Поэтому ни один выпуск газеты не обходился без материалов о выполнении социалистических обязательств, об укреплении трудовой дисциплины, вестей с факультетского бюро, отчетов и статей о работе профсоюзного комитета.

Все материалы для газеты, включая литературное творчество студентов, проверялись, согласовывались, только потом попадали в газету.

Редакционная коллегия того времени: редакторы – В.В. Абашев, К.Э. Шумов. Корреспонденты: Лена Лобанова, Юлия Грузберг, Марина Лебедева – тогда первокурсники филфака, а также многие старшекурсники. Художниками в этот период работали Света Красных и Сережа Усков, фотографами – Гора Холмогоров и Михаил Невлер.

Газету выпускали в аудитории на 1 этаже, использовались листы ватмана, иногда и обои, гуашь, кисти, губки для фона, цветная бумага, картон. Было трудно, так как разложить полностью газету было негде, делали ее кусками, предварительно согласовав общий макет. Вся газета собиралась уже на полу, затем ее вывешивали на стену. Было всегда интересно, что же получится в окончательном варианте.

«Горьковец» вывешивался с вечера, чтобы с утра все успели увидеть, прочитать материалы. Каждый перерыв между лекциями в центральном фойе пятого корпуса университета толпились студенты и преподаватели, все статьи читались полностью, обсуждались. Было всегда интересно смешаться с этой толпой и послушать мнение о газете, материалах, об оформлении. Надо заметить, что мы также с большим интересом наблюдали за работой своих конкурентов по выпуску стенных газет, бегали в другие корпуса университета, с пристрастием рассматривая детище другого факультета, чтобы убедиться в том, что

наша-то газета самая лучшая и по количеству и разнообразию материалов, и по оформлению.

«Горьковец» обычно выпускали к памятным датам, к праздникам. Самые строгие, «официальные» газеты – к 7 ноября, 9 мая, самые «веселые» номера – к Новому году, к 1 апреля, 8 марта.

Перед выпуском номера обсуждалась тема, направленность, структура газеты, общее художественное решение, над которым сразу начинали работать корреспонденты, фотографы, художники. Одновременно все получали задание на последующие выпуски, что нужно сфотографировать, какой материал написать, как художественно решить номера, чтобы они не повторялись, были разными по форме и оформлению.

Те материалы, которые не помещались в номер, переносились в следующий, например, литературное творчество студентов. Для размещения срочных незапланированных материалов иногда просто доклеивались лишние листы ватмана.

Художники обычно делали макет газеты: 2 заставки (в начале и конце газеты), затем размещалось название «Горьковец», заголовки, подзаголовки, продумывался общий фон, приклеивались белые листы бумаги с названиями материалов, которые еще были в печати у машинистки, оставляли места для фотографий, иногда делали фотоколлажи (студенческие научные конференции, студенческая весна, уборка урожая на колхозных полях и др.).

Больше всего в памяти осталась газета с трехголовым драконом в центре, который был сшит из поролона, раскрашен гуашью и набит старыми газетами, в одной пасти дракона висела табличка «Горьковец», лапами он держал «камень» из картона, где был своего рода указатель по газете: направо пойдешь – статьи о том-то найдешь, налево пойдешь – то-то найдешь. В один прекрасный день головы и лапы были безнадежно кем-то украдены, газету пришлось снять.

Запомнилась газета к 1 апреля в форме старинного замка с окнами, фонарями, флажками, где в каждом окне размещался материал. Если оставались пустые ниши, то они по ходу подготовки газеты наполнялись ироничными, с элементами карикату-



ры, мелкими рисунками в виде бытовых сценок с обитателями замка. Например, рука с мышью и визжащая девушка, удивленная старушка, веселый толстяк, поглощающий пирожные и другие. Такую газету хотелось и читать, и рассматривать.

«Горьковец» принимал участие в конкурсах стенных газет – как в университете, так и среди газет других вузов. Газета занимала всегда призовые места на смотрах студенческой стенной печати. Так, за «наиболее интересное содержание и лучшее оформление» редакция газеты получила большой воздушный торт и самовар, который неизвестно куда делся, так и не дошел до редакции, сколько бы раз мы ни пытались его разыскать.

Работа в газете наложила определенный отпечаток на каждого из нас. Всегда вспоминается та вдохновенная аура, творческий подъем, поиски чего-то интересного, необычного, та страничка твоей студенческой биографии, которая больше никогда не повторится.

Сейчас все учебные заведения обзавелись собственными сайтами, газеты стали электронными, продолжается внедрение в учебный и научный процесс новейших информационных технологий, но всегда тепло вспоминаются именно эти рукописные стенные газеты, куда вкладывался труд каждого из нас, частичка нашей энергетики, которые «дышали» теплом, внутренней добротой, которые делали студентов образованнее, умнее, воспитывали чувство сопричастности к жизни факультета, имя которому филфак.

*М.А. Лебедева<sup>20</sup>*

## **ГАЗЕТА «ГОРЬКОВЕЦ»: ПОПЫТКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Что такое «Горьковец»? Попытаюсь дать развернутое определение, поскольку в краткое эта не столько факультетская газета, сколько целая эпоха не умещается.

«Горьковец» – это филфак. Сказать, что «Горьковец» был визитной карточкой факультета – мало, но точно. Был, поскольку

---

<sup>20</sup> Лебедева М.А., выпускница 1984 г., доцент ПГПУ.

ку в нем отражалась духовная составляющая филфака, его эстетика (иногда эстетство), которые сквозили даже в идеологически выверенных материалах: не просто фоторепортаж, но фотосюжет, не столько отражение событий, но их осмысление.

«Горьковец» – это Слово. Слово, запечатленное в тексте – художественном, литературно-критическом, публицистическом. В газете были постоянные рубрики, отражающие внешнюю и внутреннюю студенческую жизнь. В Слове отражалось всё, что волновало умы и души: сессии, вечная парадигма «студент – преподаватель», а еще – любовь, жизнь, встречи, одиночество – как без них?

«Горьковец» – это Образ. Художественный, яркий, ёмкий, поэтому оформление: рисунки, фотографии, иногда абсолютно неожиданные дизайнерские решения (трехголовый дракон в новогоднем номере, например) – было продолжением содержания текстов и само становилось Текстом, который можно было расшифровывать, вычитывать в нем смыслы.

«Горьковец» – это творчество, которое начиналось уже с момента посвящения в члены редколлегии. Новички должны были выполнить трудно- или вовсе не выполнимые задания: взять интервью у хмурого преподавателя военной кафедры, написать буриме, создать импровизацию в любом жанре.

«Горьковец» – это личности. Газета объединяла самые разные индивидуальности: общее руководство одно время осуществлял Владимир Васильевич Абашев, творческое – Константин Шумов, чуть позже Алла Грубман, затем целая плеяда художников, создателей текстов, фотографов, а там уж легионы читателей. Читали газету не только филологи, но и наши соседи по этажу географы, вечные соперники историки, юристы. Непременная часть материалов «Горьковца» – литературные тексты (стихи и проза), созданные студентами, многие из которых в дальнейшем стали профессиональными журналистами и писателями. Творческий потенциал пишущих был настолько мощным, что выплескивался за рамки факультета – можно вспомнить о Сергее Андрейчикове, Алле Волкоморовой. И во всем, что происходило на факультете, чувствовалось влияние личности Рим-

мы Васильевны Коминой: ее советы, оценки, заданный уровень культуры мышления.

«Горьковец» – это Юность. В газете – ее материалах, оформлении, в самом процессе ее создания – сквозил тот неповторимый дух студенчества, который скрепляет своей узнаваемостью студентов всех поколений. В какие еще жизненные периоды дух творчества так обострен, когда еще можно не спать ночь, накладывая последние штрихи, а утром быть радостным и вдохновенно-гордым без тени усталости? В «Горьковце», конечно, отражалось время: необходимы были передовицы к партийным и комсомольским знаковым событиям, однако юное студенческое сознание «перемалывало» идеологию по-своему, либо не обращая на нее внимания, либо воспринимая со значительной долей иронии.

«Горьковец» – это Память. Бесконечно жаль, что все – именно все – номера не сохранились. Как хотелось бы, выстроив в длинную ленту эти объемные листы, идти вдоль них, как вдоль времени, своей и чьей-то еще юности.

*Н.Е. Васильева<sup>21</sup>*

История с «Горьковцем» началась давно – в конце 1950-х годов. Приехавший тогда в Пермь С.Ю. Адливанкин предложил новое название для факультетской стенной газеты – «Горьковец» (до этого она называлась «За науку»); в 1959 г., окончив филфак, я была оставлена лаборантом на кафедре русской литературы, мне предстояло вписываться в общественную жизнь факультета, и когда встал вопрос о редакторе обновленной газеты,..

## **ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ О ПРОФЕССОРЕ РИММЕ ВАСИЛЬЕВНА КОМИНОЙ «РИММА»<sup>22</sup>**

---

<sup>21</sup> Васильева Н.Е., выпускница 1959 г., доцент кафедры русской литературы ПГУ.

<sup>22</sup> Данный и все последующие фрагменты из книги «Римма» написаны Н.Е. Васильевой.

Римма Васильевна тут же предложила мою кандидатуру партбюро факультета на пост редактора только что созданной газеты «Горьковец», и я стала первым редактором этого ставшего на многие годы легендарным «горьковца» (с. 23-24).

<...>

Здесь я возвращаюсь к «Горьковцу», первая атака на который была проведена зимой 1962 года.

Приблизительно к этому времени в выпуске «Горьковца» мы закрутили такие обороты, что газета бессменно занимала призовые места на всех смотрах студенческой стенной печати. Равных нам по размаху и творческой оригинальности в университете не было. В то утро, когда должен был выйти «Горьковец», коридор филфака собирал пол-университета. Его 15 метров ватмана, которыми мы обматывали три полных стены, оставляя место только для прохода, были зеркалом факультетской жизни. Там было все: учебный процесс с его победами и анекдотами, портреты отличников и хвостиков, хроника общежитской жизни, чьи-нибудь воспоминания, бытовая сатира, стихи, материалы к крупным знаменательным датам, обязательные передовицы с их неизбежным афициозом, рецензии на литературные новинки, отдел дискуссий, реклама и информация и много чего другого. Группа талантливых ребят (Надя Гашева, Марина Лебедева, Жанна Ройхман, Таня Шерстневская, Коля Кинев, Борис Пахучих и много других) жила этой газетой, они делали ее денно и нощно. Я хоть и называлась редактором, но была одним из их числа; незначительная возрастная разница не делала погоды: мы были одной семьей. И предела нашей увлеченности не было. За нами тянулись другие – «Вектор» (математики), «Голос историка», «Химик» и т.д. И когда однажды отстающие посетовали, что хорошую газету негде делать, ректор университета Ф.С. Горовой неосторожно (и на свою беду) обронил: «Кабинет отдам, лишь бы творили». Мы его мгновенно поймали на слове, отступить ему некуда, и в ту же ночь наши краски, кисти, бумага и все мы оккупировали кабинет Федора Семеновича вместе с приемной. На рабочий день помещение освобождали, а ночь в нем снова наша. Надолго ли хватило его

терпения, сказать трудно. Но именно в его кабинете мы сделали тот злополучный номер «Горьковца».

Было начало февраля. В полном разгаре подготовка к Студенческой весне. Была тогда традиция участвовать в самодеятельности и преподавателям, и они это активно делали. А филологи буксовали, и именно преподаватели. Вот мы и решили пошутить на эту тему. Сочинили гипотетический репертуар, в котором расписали номера для преподавателей, естественно, с прозрачным контекстом. Всего сейчас, разумеется, не помню, но некоторые наши шуточки в памяти живы. Например, только что ставший проректором С.В. Владимиров должен был прочесть монолог царя Бориса «Достиг я высшей власти», некий Строжев (не приснись в страшном сне) исполнял по нашему замыслу романс «Когда я почте служил ямщиком», одна не без претензий дама читала бы из Некрасова «Есть женщины в русских селеньях» и т.д. А заключительным номером преподавательской программы объявлялся «Вальс цветов» из балета «Спящая красавица» с указанием в скобках исполнителя: «Цвет двух кафедр» (шли имена любимых преподавателей). Будь больше юмора и самокритичности у нашего партбюро – и все бы осталось острой шуткой. Но уже тянуло на «дела», хотелось судить. И в то же утро газету сняли. Кто? Зачем? Где она? Мы стали героями дня. Когда «процесс пошел» полным ходом, стало не до шуток. Сначала нам хотели «пришить» идейные просчеты, но не получилось: их просто не было. Потом взялись за формализм. Меня вызвали на партбюро с отчетом, где я должна была объяснить формалистическую направленность отдельных материалов. Помню, что я дерзила и требовала «предъявить формализм» конкретно. Ничем не кончилось, поскольку формализма не было. Оставалось в запасе последнее оружие – «казнить» нас за снобизм и зазнайство. Этого морального осуждения мы не боялись, но цепочка вдруг «поехала» и начала раскручиваться: редколлегия погрязла в зазнайстве, ее возглавляет Васильева, Васильева – ученица Коминой, члены редколлегии – ученики Васильевой, следовательно, налицо группировка коминских воспитанников. Удар направлялся в сторону Риммы Васильевны. Напрямую она к газете причастна не была (по партийной линии

за нас отвечали сначала Франциска Леонтьевна Скитова, потом – Соломон Юрьевич Адливанкин), но, похоже, ей уже громоздили «кирпичики» для идеологического фундамента грядущих персональных дел. Но пока ее «достать» было трудно: 6 февраля у нее родилась Марина, и Римма Васильевна на короткое время «выпала» из жизни факультета.

А дальше случилось непредсказуемое: нас с Таней Пирожковой послали на Кубу работать и мы должны были вскорости туда вылететь. Однажды меня вызывает ректор. Уверенная, что это связано с Кубой, я мчусь к нему с угарной головой. А он, по-отечески обняв меня, говорит: «Забирай-ка ты эту свою газету и не связывайся больше с ними». Так прямо и сказал. С рулоном ватмана под мышкой я бегу к своим ребятам, на виду у всего факультета мы демонстративно ее перематываем, переворачиваем, перекручиваем (смотрите: она жива!), а потом даем торжественную клятву сохранить этот номер до конца дней. И долго хранили... Так Федор Семенович, с присущей ему солдатской прямоотой и независимостью (говорят, ими он оборонялся от покрикиваний сверху, не позволяя кому попало из обкома скручивать себя и топтать свой ректорский сан, за что позже и пострадал), «разрубил» узел начинавшегося дела вокруг нашего «Горьковца» (с.27-29).

## РАЗДЕЛ V ЗА ПРЕДЕЛАМИ ФАКУЛЬТЕТА

В этом разделе собраны материалы, рассказывающие о деятельности сотрудников и выпускников факультета в широком контексте культурных, образовательных и научно-прикладных направлений. Читатель узнает о создании фонда «Юрятин» и его культурных инициативах из рассказа профессора А.А. Абашева, являющегося главой этого фонда; статья Е.В. Кайгородовой повествует о плееде выпускников университетского филфака, ставших ядром филологического факультета ПГПУ; в материале Э.С. Копысовой отслежены связи филфака с народным образованием города и области, а в личных воспоминаниях говорится о том, как по сей день трудятся выпускники филфака в селах и деревнях Пермского края.

Отдельная страница раздела посвящена рассказу о наших экспедициях: о самой первой фольклорной 1956 года вспоминают Н.Е. Васильева и Р.С. Литвина (Спивак) в своей студенческой публикации (опубликованной в 1957 году в альманахе «Прикамье»), об одной из последующих фольклорных практик рассказывает С.Б. Караваева. Знаменитый Акчим комплексно описан Л.А. Грузберг.

*В.В. Абашев*<sup>1</sup>

### КАК ВЫШЕЛ «ЮРЯТИН»

Сколько колонн у пятого корпуса? Хоть и видишь их каждый день, а сразу не ответишь, если специально не считаешь. Примелькались. Стоят и стоят. Так и фонд «Юрятин». Так долго на слуху, что уже трудно припомнить, откуда он взялся и почему в жизни факультета и его обитателей, вообще в пермской филологической и культурной жизни, стал событием. Сейчас-то какое событие? Притерся, неразличим, как седьмая колонна у

---

<sup>1</sup> Абашев Владимир Васильевич, выпускник 1978 г., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой журналистики ПГУ.

пятого корпуса. Поэтому надо вернуться к событию. Ко времени «бури и натиска». Припомнить.

Это случилось где-то в 1993 году. Молодых преподавателей, собравшихся вокруг «Лаборатории литературного краеведения» кафедры русской литературы и занимавшихся пермской литературной жизнью, осенило, что филология может быть не только кабинетным чтением, но и гуманитарным действием. Технологией. Не в кабинете, а на площади. Но для действий нужна хотя бы площадка, своя, независимая. Форма. Организация. Юридическое лицо. Действовать ведь надо быстро: решил – сделал. Тогда как раз вышел закон об общественных организациях. Вот и решили – будем фондом «Юрятин». Называясь Юрятиным, о Пастернаке специально не думали. Имя взяло наглядностью примера. Назвал Борис Леонидович Пермь Юрятиным и что-то в составе города изменил. Слово – действие.

Юрятинцев было немного – Аня Сидякина, Лена Власова, Таня Масальцева, Оля Соболева. Из постарше – В.А. Кустов и Абашевы – М.П. и В.В. И завертелось. Девяностые – годы быстрых действий. И памятных событий.

В 2000 году фонд стал Лауреатом российской премии «Малый Букер» за лучший общественно-литературный проект 1990-х годов. А тремя годами раньше, в 1997 году, «Юрятин» стал Лауреатом Пермской области в сфере культуры за комплексную работу по развитию культурной жизни города. В общем заслуженно.

Что делали? Делали культурную жизнь: события, книги, конференции...

Тогда книгопечатание в городе почти прекратилось. Именно поэтому «Юрятин» стал издавать. Больше двадцати книг пермских, уральских авторов, а также поэтов русской диаспоры США и стран Европы. В Перми вышли первые в России книги Александра Очеретянского, Елизаветы Мнацакановой, Инны Блинецовой и Анри Волохонского, того самого, что написал знаменитое с подачи БГ «Над небом голубым есть город золотой...». Откуда эти книжки появились? Благодаря дружбе юрятинцев с Джеральдом Янечком, американским славистом, знатоком русского авангарда. Книжку Елизаветы Мнацакановой



из Вены великолепно оформил Вячеслав Смирнов – бархатно черная абстрактная графика. А Андрей Гарсия поставил на мнџацкановские стихи поэтический спектакль. Бросаешь камень – идет круги. Действие рождает действие. Это было принципом. Поэты американские, а художники и артисты пермские.

Но американцы были экзотикой. «Юрџтин» издавал пермяков. Например, «Мерцание» Виталия Кальпиди. И серия «Сигнальный экземпляр» – первые книги пермских авторов Вячеслава Ракова, Владимира Котельникова, Антона Колобянина, Сергея Стаканова, Григория Данского.

В 1996 году фонд «Юрџтин» издал первую большую книгу Нины Горлановой «Вся Пермь» (Пермь, 1996). Стоит подчеркнуть, что книга в той же мере явилась плодом творчества юрџтинцев, в какой самого автора. Как целое (концепция, название, структура, составление, предисловие, оформление) книга была буквально придумана в «Юрџтине». Писательница согласилась с предложенной ей концепцией, поскольку она органично вытекала из изучения ее творчества. Но, подчеркнем, многое в подходе к изданию решала стратегия и интересы фонда. Издание оказалось успешным, книга вызвала 20 рецензий в центральной и местной печати. Обширная статья, опубликованная Евгением Ермолиным в журнале «Новый мир», называлась «Жить и умереть в Перми». Куратором этого проекта, автором вступительной статьи была М.П. Абашева. Через 10 лет под ее руководством была написана и защищена первая диссертация по творчеству Н.В. Горлановой. Автор диссертации – ее же студентка, а потом аспирантка, участник проектов фонда, Ю. Даниленко.

Рылись в старых газетах, изучали историю пермской литературной жизни, и из газет извлекались книги. Антология пермской фельетонистики конца XIX – XX вв. «Пермяки» (1996), «Прогулки по старой Перми» (1998), книга М. Осоргина «Московские письма», составленная из публикаций писателя в пермской дореволюционной периодике (2003), цикл поэм пермского дьякона Афанасия Какорина «Священная седмица святых просветителей Пермской страны» (1996).

А еще «Литературные среды в Доме Смышляева» – до сих пор о них вспоминают. Да и есть что вспоминать. В «Доме Смышляева» читали стихи Дмитрий Александрович Пригов, Иван Жданов, Алексей Парщиков, Тимур Кибиров, Ольга Седакова, Сергей Гандлевский, Александр Кушнер, Виталий Кальпиди, Лев Рубинштейн, Михаил Айзенберг, Анатолий Королев, Вера Павлова, Алексей Решетов, выступали прозаики Алексей Варламов, Павел Басинский, Олег Павлов, Петр Алешковский, Александр Морозов, Игорь Померанцев. Как это удавалось, уму непостижимо. Без копейки по существу. Оплачивали проезд, селили поэтов на абашевском диване и никто не просил гонораров. Это еще были девяностые. Еще бескорыстные.

Только один поэт не согласился читать в смышляевском доме и попросил зал филармонии. Но это был Андрей Вознесенский. И он знал, о чем просил. Пушкинку бы просто снесли желяющие его услышать. В зал филармонии набилось 600 человек.

Ехали в Пермь и мыслители. В 1999 – 2000 гг. «Юрятин» организовал в Перми публичный лекторий «XX век: идеи, изменившие образ мира и человека», в котором приняли участие яркие российские философы и культурологи Сергей Хоружий, Борис Дубин, Георгий Гачев, Михаил Рыклин, Игорь Смирнов. Открытый для всех университет.

Тогда уже начались крупные гранты. Такой грантовой программой была «Город: места и лица нашей памяти». Реализацией этой программы мы занимались несколько лет, с 2001 по 2003 годы, и потенциал ее далеко не исчерпан. Положено только начало, надо продолжать. Приступить к ее реализации позволили два гранта, полученных фондом на конкурсах социальных и культурных проектов. Это грант, выигранный в конкурсе грантов по программе «Социальное партнерство» в рамках Окружной ярмарки социальных и культурных проектов «САРАТОВ-2001» и реализованный на средства АНО «Мегапроект» и Чаритиз Эйд Фаундейшн, и грант ИОО (Фонд Сороса) – Россия по конкурсу «Культура – открытому обществу» (2002). Мы разработали программу «Устная история Перми», в ходе которой записывались устные рассказы о городе, его местах, людях, что давало возможность воссоздать детали неофициальной истории

города. В поисках приняло участие более 200 студентов и школьников. Именно они стали волонтерами большой «городской фольклорной практики». Разумеется, для участников проекта проводились обучающие семинары, были подготовлены методические рекомендации по проведению интервью, рекомендательные вопросники и т. п. Курировали эту работу Елена Власова, Татьяна Масальцева, Анна Сидякина. Полученный материал был использован во многих научных и журналистских публикациях, он вошел частью в итоговую книгу «В поисках Юрятина. Литературные прогулки по Перми» (2005), тепло встреченную читателями. Одним из результатов работы стало создание вместе с телекомпанией Т 7 минисериала «Город на ладони».

А одним из самых весомых результатов реализации программы стало открытие мемориального знака киномеханику Владимиру Самойловичу. Единственный в России такой памятник. Теплый. Нам удалось буквально воскресить для общей памяти человека, незаметного героя культурной истории. Просто киномеханика, который работал в пермском Клубе работников госторговли, показывал там элитарное кино. Многие люди даже имени его не знали. О нем не осталось ни строчки в местных газетах. И вот десятки людей говорили о встречах с ним: «переломное событие в моей жизни», «открылись глаза», «я стал ходить в Клуб работников госторговли, там я познакомился с такими-то людьми», «там я впервые увидел Феллини и понял, что такое настоящее искусство». Вот так выплыла из небытия фигура Владимира Самойловича – незаметного человека, который был страстным библиофилом и киноманом. Он не был диссидентом, борцом. Он не выступал нигде публично, он только показывал кино, которое любил. И менял жизнь людей, менял жизнь вокруг себя.

Мы собрали истории о нем, издали их. Сначала в журнале «Уральская новь». Потом по нашей просьбе Анатолий Королев написал очерк для известного и авторитетного журнала «Искусство кино». Наконец, мы поставили этому человеку памятный знак. Нашли скульптора, который тоже ходил в этот клуб и хорошо помнил Володю Самойловича. Равиль Исмагилов. Из же-

леза со свалки со своим сыном Рустамом он сварил 2,5-метровый старинный кинопроектор. Его закрепили на стене бывшего Клуба работников госторговли. Тут же – мемориальная доска: *«Киномеханику Владимиру Ивановичу Самойловичу, рыцарю киноискусства, благодарная Пермь»*. Это самый теплый памятник в Перми. И во всей этой работе есть вклад молодых людей, студентов и школьников. Каждый из участвовавших в записи устных рассказов горожан ощутил себя исследователем и хранителем живой истории города.

Вся деятельность Фонда при кажущейся разбросанности имела концептуальную основу, ядро которой составляла идея «локального текста» как своего рода культурной матрицы территории. «Локальный текст» может быть объектом осмысленной гуманитарной практики и, в определенных пределах, конструирования. Идея «локального текста» и соответствующие ей идеи гуманитарных технологий обсуждались на ряде научных конференций по региональной проблематике, организованных фондом и с его ближайшим участием: «Дягилевские чтения» (1993), «Пермская поэтосфера: проект и реальность» (1994), «Первые Осоргинские чтения» (1994), «Вторые Осоргинские чтения» (2003), научно-практического семинара «Город как пространство памяти: идеи и технологии гуманитарной практики» (2002) и международной научной конференции «Геопанорама русской культуры. Пермские чтения» (июнь – июль 2000), собравшей ведущих специалистов по региональной культуре из России, а также славистов из Италии и Голландии.

Тем временем юрятинцы вспомнили о Пастернаке. Надвигался 2006 год – девяностолетие со времени приезда в Пермскую губернию никому тогда неведомого москвича. Этим случаем нельзя было не воспользоваться для восстановления пастернаковского слоя в культурной памяти Перми.

Собственно говоря, об идее восстановления пастернаковской памяти в Перми местные журналисты впервые заговорили в конце 1980-х годов, а с публикацией в России романа «Доктор Живаго» гипотетическое сближение Перми и Юртина стало более или менее расхожим в гуманитарной среде города. Но системная работа по проявлению и формированию пастернаков-

ского слоя городской памяти началась в 2005 году и достигла нужной степени интенсивности в 2006 году в связи с 90-летием со времени приезда Пастернака в Пермскую губернию. К этому времени нам удалось убедить органы управления культурой в перспективности этого направления. Проект под общим названием «Пермский период Бориса Пастернака» был поддержан Министерством культуры Пермского края. Проект включал в себя как исследовательскую, так и издательскую и популяризаторскую работу, а также массовые общественные акции. В 2006 году была проведена масштабная Международная конференция, посвященная творчеству Пастернака, на которую в Пермь приехали ведущие специалисты по творчеству Пастернака из США, Италии, Нидерландов, Швеции, Польши, Франции, крупнейшие российские ученые, включая сына поэта Е.Б. Пастернака. Без преувеличений, гуманитарных конференций такого масштаба в Перми до этого не бывало. Возможность впервые побывать в местах жизни Пастернака на Урале стала бесспорным аргументом для приезда крупнейших ученых на конференцию. Этот форум сыграл важнейшую роль. В сознании мирового экспертного сообщества было легитимизировано понимание «пермского периода» как одного из важнейших этапов в творческой биографии Пастернака, во-первых. Произошло отождествление уральских топов лирики и прозы Пастернака с реальными местами Пермского края, во-вторых.

Последовавшая публикация материалов конференции и отдельных исследовательских статей в отечественных и зарубежных как научных, так и популярных изданиях окончательно утвердила концепцию «пермского периода» и его значения в творчестве Пастернака в экспертном сообществе. На сегодняшний момент ее можно считать общепризнанной. Любопытный штрих в подтверждение сказанного.

Одно из пермских сообществ, сопротивляющихся признанию пастернаковской темы из своеобразного местного патриотизма, – некоторые члены местного Союза писателей России. Летом 2008 года достаточно известный пермский поэт обратился за поддержкой в газету «Литературная Россия», считающуюся традиционалистской. В своем письме он разразился дежурной

филиппикой в адрес пермских филологов, которые де «упорно тянут Бориса Пастернака за уши из Переделкина (где он прожил почти всю жизнь) в Пермь (где он был проездом)», тогда как пермякам следует гордиться, ну, например, Василием Каменским. Редакционный комментарий к публикации письма был подобен холодному душу. «Пермский период в жизни Пастернака, – подчеркнула газета как нечто общеизвестное, – оказал громаднейшее влияние на судьбу писателя. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать “Доктора Живаго”, где прототипом одного из главных мест действия романа – города Юрятин – является Пермь. Не понимать этого – значит не понимать ни Пастернака, ни роли биографии в писательской судьбе. Вклад пермской филологической школы в пастернаковедение огромен, и за это ей надо сказать огромное спасибо, а не предаваться мелочному порицательству»<sup>2</sup>. Собственно, это и следовало доказать.

По мере развития проекта, после публикаций множества материалов в местных газетах и журналах, после проведения массовых общественно-литературных акций в пастернаковский проект стали включаться силы, участия которых мы не предполагали, по крайней мере, на ранней стадии проекта. Одной из таких неожиданностей стал интерес, проявленный к теме бизнесом. Уже в 2005 году группа пермских предпринимателей открыла ресторан «Живаго», в дворике которого был установлен бюст поэта, а в библиотеке (один из залов ресторана) представлены многочисленные издания романа. В самом конце 2006 года на сцене пермского театра драмы состоялась премьера мюзикла «Доктор Живаго», ставшего одной из самых успешных постановок театра, пользующихся популярностью у зрителей.

Словом, пастернаковский слой в памяти Перми в ходе трехлетней реализации проекта «Пермский период Бориса Пастернака» сформирован. И хотя отдельные группы местного творческого сообщества продолжают выступать с критикой исторической основательности проекта, эта критика уже не влияет

---

<sup>2</sup> Кто нужней Перми: Б. Пастернак или В. Каменский? // Литературная Россия. 25.07.2008.

на ситуацию. Пастернак стал осязаемой и самоочевидной частью смысловой реальности Перми. Сейчас мы вступаем в этап материальной фиксации мифа «Пермь – город доктора Живаго». Смысловая реальность нуждается в материальных знаках присутствия, и постепенно пастернаковская память материализуется в городской среде. Прежде всего, утвердилось отождествление известных мест города с топосами романа. «Дом с фигурами», юртинская читальня, дом Лары – все эти романские места появились на карте города и вошли в городской экскурсионный маршрут «Зеленая линия». В репертуаре городских экскурсий появилась экскурсия по пастернаковским местам Перми, разговор о Пастернаке стал одной из тем обзорных экскурсий по городу. Наконец, в 2009 году в Перми был установлен памятник Борису Пастернаку.

Зачем все это надо юртинцам? Главный и решающий мотив их деятельности – личный интерес, скорее даже – азарт. Дело в том, что для каждого из них работа в фонде естественно продолжает их профессиональные филологические занятия, диктуется личными познавательными интересами. Она не противоречит им, а, напротив, углубляет их и делает общественно значимыми, давая возможность соединить гуманитарное исследование с реальной гуманитарной практикой. Научная конференция, к примеру, не теряя научности, становится событием общественной жизни.

Кажется, «Юртину» удалось (по крайней мере, в ряде случаев – удастся) достичь синергетического эффекта в соединении профессиональной деятельности университетского преподавателя с его общественной активностью. Как деятель общественной жизни, «юртинец» опирается на ресурс авторитета, заработанного в профессиональной сфере, к нему прислушиваются как к эксперту. Как преподаватель вуза, он пользуется приобретенной харизмой общественного деятеля, и это новое качество становится дополнительным источником дидактического и воспитательного влияния в его общении со студентами.

Пожалуй, именно вот эта особенность – единство профессиональных интересов и общественной деятельности – отличает «Юртин» от многих других некоммерческих организаций. Ос-

таваясь в своей исконной профессиональной сфере, «Юрятин» попытался раздвинуть ее границы, и, возможно, это удалось ему без существенного ущерба для профессионального качества участников. «Юрятин» действует на границе университетского кампуса и открытого городского пространства, он переносит семинарские занятия из учебной аудитории в залы общественных собраний. И – порой – наоборот: дыхание зала общественного собрания переносит в университетскую аудиторию. Это и есть формула его контактов с молодежью. Для студентов участие в деятельности «Юрятина» способствует их профессионализации, для учащихся средней школы влияет на их профессиональную ориентацию.

И для юрятинцев «Юрятин» стал частью их профессиональной жизни. Скажем, Анна Сидякина. В сфере ее профессиональных интересов находится современная поэзия Урала, актуальное искусство, кино. Преподает арт-журналистику, историю кино, выступает в качестве практикующего арт-критика. Ее кандидатская диссертация была посвящена поэтическому андеграунду 1970–1990-х годов, преимущественно поэтам Перми. Результаты исследований отражены в монографии «Маргиналы» (2005), выдвинутой, кстати, в 2006 году на премию Андрея Белого. Профессиональные интересы А. Сидякиной полностью определили ее деятельность в «Юрятине». Она организовала множество вечеров поэзии, подготовила к изданию и выпустила в свет несколько книг современных поэтов Перми и Урала, провела фестиваль современной поэзии и т. д. Практикующий менеджер культуры, исследователь, преподаватель, журналист – такое соединение типично для «юрятинцев». Студентов увлекает подобный пример объединения академичности и общественной деятельности, исследования и менеджмента, слова и дела. Они идут за преподавателем, который предьявляет им увлекающий личный пример.

То же можно сказать о Елене Власовой. Ее профессиональные занятия историей пермской журналистики отливаются помимо научных статей и диссертации в ярких общественно значимых проектах. Во многом благодаря ее усилиям увидела свет популярная в Перми книга «Прогулки по старой Перми», а



презентация этой книги превратилась в одно из памятных событий театральной жизни Перми. Дмитрий Заболоцкий, к которому мы обратились с предложением подготовить презентацию, так увлекся нашим материалом, что в итоге сделал целый спектакль «Все та же Пермь». Это было событием. Много Елена Власова делает для актуализации наследия Михаила Осоргина. И в ее работу также органично включаются студенты. Никого не надо заставлять. Надо учить собой. Это и делают мои коллеги.

Близкая по сюжету история у Т.Н. Масальцевой. Она активно участвует в работе фонда со времени его основания. В 2006 году она защитила первую диссертацию, посвященную истории местной журналистики – газете «Пермские губернские ведомости». Но материалы ее исследовательской работы служили ранее для Т.Н. Масальцевой источником проектов, реализованных в деятельности фонда. Собранная ею хроника городской жизни послужила основой для множества публикаций в пермских СМИ, вошла в снятую с участием Т.Н. Масальцевой и А.В. Фирсовой серию фильмов о городе «Город на ладони». Эти личные истории демонстрируют примеры максимальной реализации той деятельностной матрицы, на которой основан «Юрятин». Суть ее в создании условий для обогащающего взаимодействия профессиональной и общественной деятельности.

Примеры, иллюстрирующие деятельность фонда, можно было бы продолжить. Но двух приведенных достаточно, чтобы раскрыть содержательные основы стратегии «Юрятина». Все проекты фонда, на первый взгляд такие разнородные, руководствуются единой стратегией и тактикой *вписывания* Перми в общее культурное пространство. В событиях и персонах местной культурной истории мы стремимся выявлять их универсальный смысл. Так, фигура того же Владимир Самойловича для нас значима и важна не только как фигура колоритного местного чудака. Он важен общим смыслом своей деятельности, как «рыцарь киноискусства». Он сам в своей деятельности вписывал Пермь в культурное пространство мира, стремясь разрушить установленные и культивируемые границы. И мы показываем, что его личность, его деятельность достойны *серьезного научного* внимания, а не только любительской краеведческой

или журналистской фиксации. В местном проявляем универсальное: Владимир Самойлович – характерная фигура определенной эпохи российской культурной жизни, получившей название застоя. С другой стороны, Борис Пастернак, мировой писатель, существующий для обыденного сознания в каком-то поустороннем измерении жизни и культуры, на Олимпе, оказывается героем местной истории. Его личность, его творчество – часть культурной истории Пермского края, причем более органичная, чем творчество иных уроженцев Перми. Скажем, Василия Каменского. Это не преувеличение. Перу пастернака принадлежит лучшее из всего, что написано о *нашей* Каме – стихотворение «На пароходе».

В каком-то, отчасти публицистическом, смысле стратегия фонда предполагает преодоление провинциализма, если под провинциализмом понимать в первую очередь иногда неосознанное, а иногда и сознательное стремление к культурной изоляции. Иначе говоря, провинциализм проводит жесткие символические границы между своим и чужим пространством, он стремится замкнуться в рамках местнических систем оценок, приоритетов и культурных языков. Провинциализм равно проявляется и в своеобразном местническом снобизме (все местное – уникально, неповторимо, таинственно), и в самоуничижении (все местное – второсортно, серо, ничтожно). Фонд «Юрятин», если определить его подход словами Пастернака, пробует смотреть на мир «поверх барьеров» и к этому призывает. Мы рассматриваем культуру России как пространство единого текста, в котором выделяются локальные субтексты, вроде Перми, но в котором нет жестких границ, в котором и провинциализм – один из феноменов, требующих внимания и непредвзятого описания.

Участие в проектах «Юрятин» оказалось (и оказывается) для многих студентов и аспирантов хорошей школой творческой самостоятельности. Ценности, воспринятые в деятельности «Юрятин», имеют не только специально гуманитарное, но и общегражданское содержание. Главная из них – готовность и способность к самостоятельному действию по обустройству места своей жизни в соответствии со своими представлениями о

должном. Другая, не менее важная, – владение технологией общественно значимого действия и вкус к нему.

*В.Е. Кайгородова*<sup>3</sup>

## **ВМЕСТЕ И РЯДОМ: УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ФИЛОЛОГИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ**

В конце девяностых заведующий кафедрой новейшей русской литературы Виктор Иванович Бурдин, оглядев на профсоюзном собрании аудиторию филфака педуниверситета, заметил: «Университетские, наши, здесь, как грибы, слоями идут». Грибник Виктор Иванович был знатный, обобщил со знанием дела. И сегодня, спустя годы, можно сказать о филологах-выпускниках ПГУ, работающих в педагогическом, то же самое.

Старшие, в том числе безвременно ушедший Виктор Иванович, помнят еще историко-филологический, атмосферу конца пятидесятых: Лариса Сергеевна Фоминых, Владимир Анатольевич Зубков, Наталья Петровна Монахова.

Обитатели аудиторий четвертого общежития, заканчивавшие на рубеже семидесятых, сегодня почтенные (так нам хочется думать) наставники, воспитатели поколений пермских учителей: Галина Николаевна Толова, Наталья Александровна Петрова, Лидия Васильевна Тунева и автор этих строк.

Сорока-пятидесятилетние – опора факультета на Сибирской, его ведущие специалисты: Марина Владимировна Воловинская, Елена Анатольевна Рябухина, Марина Алексеевна Лебедева, Ольга Валентиновна Филина, Галина Михайловна Ребель, Наталья Борисовна Лапаева, Людмила Игоревна Преображенская, Татьяна Дмитриевна Долгих, Ольга Ивановна Гордеева. В их числе и совсем юная Мария Владимировна Богачева.

При знакомстве университетских выпускников неизменно звучит: «Вы у кого диплом писали?» Это знак принадлежности к альма-матер, бесконечной молодости в корпусах у вокзала,

---

<sup>3</sup> Кайгородова Вера Евгеньевна, выпускница 1970 г., доцент кафедры новейшей русской литературы ПГПУ.

ощущение родства и единства. И все равно, что не у одного человека и в разные десятилетия, потому что руководитель – это на всю жизнь, это тип отношения к предмету, школа работы со словом и текстом. На всю жизнь определен в юные годы почерк выучеников блестящего теоретика, полемиста Риммы Васильевны Коминой и тишайшего, самоуглубленного потомка Фета Владимира Константиновича Шеншина<sup>4</sup>, историка русской литературы двадцатого века Сарры Яковлевны Фрадкиной, диалектолога Франциски Леонтьевны Скитовой и фольклориста Маргариты Александровны Ганиной.

О научных руководителях вспоминают нередко и чаще всего что-то очень свое, личное. Особенно Марина Владимировна Воловинская, дочь Риммы Васильевны Коминой и Владимира Васильевича Воловинского, помнящая трогательные детали кафедрального быта, для кого наши уважаемые наставники были друзьями родителей и родителями друзей детства: *«Мы часто не успеваем поблагодарить дорогого нам человека по разным причинам: из-за нашей нерасторопности или, наоборот, вечной спешки, боязни не найти нужных слов... Так получилось у меня с Владимиром Константиновичем Шеншиным, которого я всегда вспоминаю с глубочайшим уважением, и нежностью. Мне как-то неловко называть его Учителем (я сразу представляю, как он сам бы засмутился, стал бы деликатно, но в то же время искренне протестовать против обращенных в его адрес высоких пафосных слов своим негромким глуховатым голосом). И все-таки я всегда помню, что именно он был руководителем моей дипломной работы: как внимательно он читал то, что я ему приносила, как уважительно и бережно относился к моим небольшим находкам. Владимир Константинович прекрасно понимал, что у меня и без него есть с кем посоветоваться по литературоведческим вопросам, но при этом относился к своей обязанности руководителя очень добросовестно. Как очень ответственный человек, он, конечно,*

---

<sup>4</sup> Легенда о том, что В.К. Шеншин является потомком А.А. Фета, была широко распространена на филологическом факультете. Сам В.К. отрицал этот факт. *Примечание Б.В. Кондакова.*

*пришел на мою защиту, но потом как-то быстро незаметно исчез, и я так и не успела подарить ему принесенный букет.*

*А недавно у меня возникла настоятельная необходимость обратиться к его работам о традициях Достоевского в отечественном романе 1920-х годов. Не без удивления я обнаружила, что они, несмотря на все изменения, произошедшие в нашем литературоведении за последние двадцать лет, почти не устарели. И я с волнением осознала, что моя учеба у Владимира Константиновича продолжается».*

По-иному, обобщенно, вспоминает о своих университетских преподавателях специалист по литературе русского зарубежья Наталья Борисовна Лапаева, побывавшая всюду, куда выброшена была «первая волна» эмиграции. Последние по времени ее путешествия – греческий остров Лемнос и легендарное турецкое Галлиполи – пристанище на чужой земле армии Врангеля. *«Встречи с Риммой Васильевной – подарок ... Кого? Чего? Думаю, Бога.*

*Свобода и раскованность филологической мысли, смелость суждений, открытость миру и людям – это то, что, наблюдая, невозможно не видеть и не усваивать. Жить на высоте – духа, мысли – потрясающие уроки дала Римма Васильевна и в годы студенчества, и в годы пребывания в аспирантуре. Она – “АКЦЕНТ” в моей жизни».*

*«Филологизм – в ореоле именно этого начала я воспринимаю Риту Соломоновну.*

*Тонкие замечания о произведениях литературы, глубокие интерпретации текстов и писательских судеб, красота внешняя – слушал бы и слушал “дивную Риту”, смотрел бы и смотрел на нее. Прошло уже много времени после окончания Университета, а ведь получается, что “не можешь обходиться” без Риты Соломоновны. И поэтому “продолжение следует” и “всё продолжается” – в частных разговорах о литературе, в оппонировании работ ее учеников, встречах на конференциях...»*

Наши учителя не раз определяли профессиональную судьбу будущих преподавателей педагогического. Лариса Сергеевна Фоминых-Волошина, доцент кафедры методики преподавания русского языка и литературы ПГПУ, почетный работ-

ник высшего профессионального образования, выпускница 1960 года, рассказывает: *«Как случилось, что моя судьба оказалась связана с методикой преподавания (которая, что греха таить!) не была на почетном месте среди университетских дисциплин? Моей крестной матерью на этом пути стала Ксения Александровна Федорова, предложившая тему дипломной работы, связанную со школой, хотя сама Ксения Александровна занималась историей языка, а вовсе не методикой русского. По ее рекомендации пришлось ходить на уроки в школу, а школа эта была в районе Красного Октября, за железнодорожным мостом. И вставать рано утром к первому уроку ох как не хотелось! Но мне повезло: учителя были талантливы, их уроки интересны и не шаблонны. Тут и произошло увлечение школой и методикой. Между прочим, одна из учительниц – Зоя Ивановна (она же и директор школы) – оказалась мамой Тамары Ивановны Ерофеевой, бывшей потом много лет деканом филфака».*

*«Во время моей учебы в университет пришла работать Анастасия Ивановна Шорина, учитель с многолетним стажем. Ее лекции по методике русского языка не были схоластикой, чувствовался личный опыт, и это тоже увлекало нас. А после окончания вуза по рекомендации Анастасии Ивановны я попала на работу (невероятное везение по тем временам!) в Пермскую школу № 10, куда приходили на педагогическую практику студенты университета. И тут Анастасия Ивановна учила не только их, но направляла деликатно и меня, начинающего учителя. Она же через несколько лет и заронила мне в голову мысль поступить в аспирантуру именно по методике. Однако оказалось, что места в аспирантуре нет. И здесь помог случай. В Москву в командировку ехал Соломон Юрьевич Адливанкин, которому зав. кафедрой Мария Александровна Генкель поручила зайти в Министерство и узнать, нельзя ли как-то это уладить. Соломон Юрьевич поручение выполнил: он обаял (как это он умел) московских чиновников, те выяснили, что одно место, данное по сельскохозяйственному профилю, не востребовано, и согласились передать его университету совсем по другой специальности – методике русского языка. Как потом шутил Соломон Юрьевич, мы обездолили сельское хозяйство, зато укреп-*

*пили методику. Так он оказался моим крестным отцом в профессии. Так определилась моя судьба, о чем я никогда не жалею, потому что до сих пор продолжаю получать удовольствие от своей работы. А своим преподавателям университета моя неизменная благодарность, ибо все они помогли формированию нас, будущих специалистов, чем бы мы ни занимались впоследствии».*

Звезды, засверкавшие когда-то в стенах пермского университета, стали гордостью университета педагогического. Галина Николаевна Толова – муза, Прекрасная Дама легендарной «Бригантины». Предмет восхищения и подражания, самая эффектная, самая талантливая, самая-самая... Такой и осталась, такая и есть. На лекциях по мировой художественной культуре студенты слышат: «на самом деле Шартрский собор..., и я поняла, что немецкая готика..., когда ты в Риме наблюдаешь...» – ежегодно живя в Париже, путешествуя по Европе, доцент Толова имеет свои впечатления о культурных сокровищах, свои же оригинальные их съемки (любимый объект – Люксембургский сад). А еще Галина Николаевна – художник, регулярно выставляющийся в стенах ПГПУ, блогер, создатель авторских кукол, автор изысканных видеопрезентаций и сертифицированного электронного учебника для вузов. А начиналось все с университетской сцены и диплома о драматургии Теннесси Уильямса.

Аспирант Сарры Яковлевны Фрадкиной, написавший диссертацию о творчестве диссидента Виктора Некрасова, исследователь и корреспондент Виктора Астафьева, потомок старинного дворянского рода. Все это о Владимире Анатольевиче Зубкове, бесценно обучающем теории литературы будущих учителей, великолепном лекторе, аналитике и просто красавце-мужчине, неизменном предмете вздыханий юных студенток и романтических дам.

В ораторском мастерстве с ним мог соперничать только Виктор Иванович Бурдин. Принятый в университет, согласно воспоминаниям, по личному указанию ректора, еще в студенческие годы явивший себя блистательным импровизатором, автор юмористических произведений, ведущий циклов телепередач,

эрудит, любимец пермских учителей. Внезапный уход Виктора Ивановича стал общим горем филологов.

Утраты тоже объединяют. Профессор Наталия Александровна Петрова, друг и постоянный корреспондент Натальи Самойловны Лейтес, приносит в педуниверситет печальное известие – и все вспоминают аудитории «старого главного», лектор-интеллектуала с бронзовыми волосами, неизменные комментарии нового номера «Иностранки» в начале занятий, деликатные исправления неправильно произнесенных немецких и английских имен.

Выпускнику ПГУ комфортно ощущать себя частью пермского университетского сообщества, в перерывах между лекциями и семинарами обмениваться всем интересными и понятными новостями. На филфаке появился «ВАКовский» сборник – радостная весть: будут опубликованы и статьи аспирантов педагогического.

На вернисаже, на премьере общались или просто видели Софью Ляпустину, Владимира Киршина, Василия Бубнова, Тихоновец и Виниченко. Читали статьи Людмилы Каргапольцевой, Татьяны Черновой, Юлии Баталиной. Старший Кондаков приехал на Дягилевский симпозиум. Защитила докторскую Моника Спивак. И все это – свои, университетские: с кем-то учился вместе или одновременно, кому-то представили общие знакомые, лично не знаком, но знаешь – это наш.

Всегда интересно побывать по делу в университете: за рецензией, оппонентом на защите, на конференции. Большая честь – в полных книгами домах организующей новый сборник Нины Евгеньевны Васильевой, написавшей очередную статью Риты Соломоновны Спивак (если повезет – погладить легендарного гиганта-кота). Обязательно передать привет и поклон Зинаиде Васильевне Станкеевой, когда в гости к ней идет Марина Владимировна Воловинская, а после спросить о здоровье.

Увидев на Сибирской, месте ее постоянных прогулок, Маргариту Александровну Ганину, приветствовать нашего общего учителя и подробно ответить на неизменные вопросы: как живут, о чем волнуются, как предполагают решать общие проблемы в педагогическом?



«Университетское» в педагогическом ширится с годами: идут по стопам родителей в родной вуз, не обязательно на филфак, наши дети, в последние годы и внуки. Отправляются в аспирантуру и возвращаются «нашими» выпускники педагогического Ирина Ивановна Бакланова, Лариса Александровна Белова, Наталья Владимировна Медведева. Докторскую по экзотической фоносемантике защищает Светлана Сергеевна Шляхова, слушают ее в том числе и закончившие пединститут профессора Татьяна Николаевна Фоминых и Иван Васильевич Подюков, уже много лет члены университетского ученого совета.

Лучше всего, если тебе посчастливилось учиться в университете. С момента поступления отсчитывается в таком случае профессиональная судьба, как это делает заведующий кафедрой методики Елена Анатольевна Рябухина: *«Моё появление на филфаке университета было, как ни странно, и случайным, и закономерным. Семья инженеров и экономистов никак не ожидала появления в своих рядах филолога, тем более, что решать задачи и писать стихи, сценарии и сочинения я любила в школе почти одинаково. Затем началось увлечение журналистикой и подготовка к поступлению в МГУ, а когда во время экзаменов я поняла, что не наберу проходной балл, быстро сорвалась и успела подать документы на филфак ПГУ. И поступила! А дальше – состояние изумления, наполнения ранее неведомыми знаниями, общения с выдающимися учёными-филологами.*

*Хотелось впитать в себя филологическую среду, найти своё место в ней. И были преподаватели – мои путеводные звёзды, которые ставили на ноги и образовывали растущего во мне филолога. Фундаментальная и недоступная Маргарита Александровна (первую курсовую я писала у неё); покоритель сердец и непревзойдённый лектор Соломон Юрьевич (только в его исполнении история праславянской фонетики могла прозвучать прекрасной песней); сложный для понимания (может быть, моего), но очень талантливый и опередивший своё время в лингвистике Леонид Николаевич; так органично вписанный в свой историко-литературный период Борис Михайлович; резковатая, энергичная, постоянно блистающая интеллектом и поражающая им студентов Нина Евгеньевна; грозная для многих,*

*неприступная, с непоколебимыми позициями в лингвистике, светило пермской диалектологии – Франциска Леонтьевна. Тут надобно остановиться: именно эта непростая женщина, выбранная мной в научные руководители, научила исследованию в лингвистике, научному мышлению, отстаиванию собственной позиции в научных собраниях; позже, при работе над кандидатской и в дальнейших своих изысканиях я неоднократно приносила про себя слова благодарности Франциске Леонтьевне (жаль, уже нельзя поблагодарить напрямую).*

*Хочется продолжать без конца: обаятельная, тактичная, мудрая Аделаида Фёдоровна – наш куратор; человек с огромным багажом лингвистических знаний и прекрасным языковым чутьём – Людмила Александровна; жёсткий, волевой, но в конце концов всегда активно защищающий студента и факультет декан (после идеала толерантности и интеллигентности – Риммы Васильевны Коминой) – Тамара Ивановна. И многие другие.*

*Но есть в моей жизни доцента педагогического вуза ещё один важный момент, позволяющий постоянно ощущать себя причастной к филологическому миру Пермского государственного университета: анализируя лингвистические основы вопросов методики преподавания русского языка, я постоянно встречаюсь с ними, моими любимыми преподавателями, в современном языковедческом пространстве: на страницах исследований по динамическому и коммуникативному синтаксису – с Леонидом Николаевичем Мурзиным, в трудах по стилистике и речеведению – с Маргаритой Николаевной Кожинной. И самое дорогое в этих встречах – возможность передать моим нынешним курсовикам и дипломникам частичку их научных идей, приобщить к университетской науке».*

Над всем личным, частным сохраняется ощущение школы, которой все мы принадлежим. О «моём университете» рассуждает доктор филологических наук, профессор Галина Михайловна Ребель, выпускница 1974 года: «*Мой университет – это Образование (достаточно широкое и вместе с тем функционально действенное), Общение (с преподавателями и одно-*

курсниками), Обретение (профессиональных и нравственно-идеологических ориентиров).

В начале 70-х общество и страна пребывали в состоянии гниловато-безвоздушной стабильности – а на филфаке Пермского университета воздух был. Не столько диссидентский (хотя идеологические блюстители подозревали и находили крамолу во всем, что не подпадало под мыслимый ими в качестве такового стандарт), сколько просто нормальный для дыхания и роста молодых организмов нравственно-интеллектуальный воздух. Конечно, атмосферу создавали и задавали преподаватели – так уж нам повезло, что к нашему приходу сложился уникальный филологический коллектив, состоявший из очень ярких, талантливых, человечески и профессионально значительных людей, чье совокупное влияние и было ШКОЛОЙ – той самой, которая “в начале жизни” определяет содержание всей жизни. Назову тех, кто для меня лично образовал ШКОЛУ, в порядке их последовательного “программного” появления за университетской кафедрой: Соломон Юрьевич Адливанкин, Ксения Александровна Федорова, Зинаида Васильевна Станкеева, Екатерина Иосифовна Преображенская, Рита Соломоновна Спивак, Римма Васильевна Комина, Людмила Александровна Грузберг, Нина Евгеньевна Васильева, Сарра Яковлевна Фрадкина. Степень близости и характер общения были очень разные: в одних случаях отношения были строго академические, в других – почти дружеские. Но влияние было совокупным – на этом настаиваю, ибо это очень важно: возникало ощущение свободы выбора, вариативности нравственного поведения и научных стратегий в рамках безусловной порядочности и творческой добросовестности. Чему нас учили? ДУМАТЬ. Почему получалось научить? Потому что ДУМАЛИ у нас на глазах сами, а к нам относились С УВАЖЕНИЕМ и ИНТЕРЕСОМ. Безликое и плохое – связанное с другими людьми – было тоже. Но оно не помнится, во всяком случае, из активной памяти ушло, хотя в реальной жизни размножилось и восторжествовало. Помнится главное и, к сожалению, утраченное безвозвратно».

Что же влечет в педагогических университетских выпускников, в чем общность, при всей непохожести, двух филфаков?

Думается, не сказать точнее, чем это сделала ведущий в Пермском крае специалист по методике преподавания литературы, диссертантка легендарного автора учебников В.Г. Маранцмана, доцент Марина Алексеевна Лебедева, выпускница ПГУ 1984 года: *«Работа в педагогическом вузе предполагает гармоничное сплетение фундаментальных знаний и возможности их практического применения в школе. Наука – с ее чуть высокомерной и оттого холодноватой утонченностью – не теряет, а, напротив, приобретает в этом единстве новые качества, прежде всего действенность, открытость, готовность быть понятой, не утрачивая при этом глубины. Классический университетский фундамент знаний, сформированное филологическое мышление как раз и позволяют увидеть системность в эмпирике, а практику “поверить” концептуальностью.*

*Кроме того, университетское образование всегда предполагало творчество, внутреннюю свободу, готовность к импровизации, неожиданности, поиск новых путей. Ни в чем нет “внутренних пут”, ограниченности, зашоренности – а потому и наших студентов, будущих учителей, мы стараемся учить быть более критичными, “самовитыми”».*

Университетское образование, как никакое иное, способно ввести человека в мир культуры – культуры мысли, чувства, Слова, отношений. Преподавание в педагогическом вузе предполагает эту культуру – более того, проецирует ее и дальше, на школьные пути наших выпускников.

## К ИСТОКАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ – ОБРАЗОВАНИЮ

Дмитрий Иванович Менделеев утверждал: «К педагогическому делу надо призывать не тех, кто стремится только обеспечить свою жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к науке сознательное призвание и предчувствуют в нём своё удовлетворение, понимая общую народную надобность».

Именно таких своих выпускников, развитых духовно и нравственно, образованных и интеллигентных, «призывал к педагогическому делу» наш филологический факультет. Конечно, наши талантливые, одарённые, ищущие постоянного обновления коллеги, друзья по факультету находили самые разные профессиональные поля, свои личные творческие пространства для самореализации. Это была настоящая наука, успешное литературное творчество, журналистика самого высокого уровня... Это – ответственная работа корректоров, редакторов, специалистов и администраторов разного уровня, это была самая разная работа...

Но ведь в дипломе каждого выпускника была судьбоносная запись: «Филолог. Учитель русского языка и литературы

---

<sup>5</sup> Копысова Элеонора Степановна, выпускница 1961 года, зав. кафедрой воспитания и дополнительного образования Пермского краевого института повышения квалификации работников образования, кандидат исторических наук, доцент, Заслуженный учитель РФ. Э.С. Копысова – бывший комсомольский и партийный работник. Этот аспект ее деятельности подробно раскрыт в тексте И.В. Кондакова «“Дело Кондакова” (Сцены из советских времен)» (опубликованном в разделе 7 настоящего издания). Информация о партийно-комсомольской «воспитательной» деятельности Э.С. Копысовой содержится также в размышлениях И.В. Кондакова «Инакомыслие в Пермском университете 60-х (по личным впечатлениям)», опубликованных в книге «Взойди, звезда воспоминанья!» (Пермь, 2006. С. 237 – 240). В этом плане особенно примечательны ее нынешние рассуждения о «неразрывной связи времен», духовном и нравственном воспитании. *Примечание редактора.*

средней школы». УЧИТЕЛЬ... УЧИТЕЛЬСТВО... Не столько профессия, сколько образ жизни, бесконечное единство и борьба противоположностей: радость и печаль, беды и победы, благодарность и безразличие, оптимизм и разочарование, уверенность и тревога, благородный и неблагодарный, не оценённый по достоинству вечный труд наставничества, подвижничества, преданности долгу.

Известно, что три скрытых желания управляют человеком. Первое – жить. Второе – жить счастливо. Третье желание – максимально реализовать в своей жизни своё «Я». Может быть, именно учительство даёт возможность исполнить эти желания и потребности, жить в контексте культуры, которая, в частности, есть способность интеллекта преобразовывать окружающий мир во имя развития жизни. «Я – Учитель», – говорим мы себе. «Я имею возможность... отдать себя будущему, реализовать себя в нём вместе со своими учениками; оставаться молодой, жить интересами, ценностями, ориентирами каждого поколения, приходящего на смену предыдущему; иметь «самую большую роскошь – роскошь человеческого общения»... Этому учил нас наш родной университет, он демонстрировал нам самые высокие образцы высочайшего профессионализма, гуманности, преданности делу, вере в то, что «и невозможное – возможно, дорога дальняя легка, когда...». Это наш факультет делал из нас настоящих Учителей.

Наш филологический факультет может гордиться неразрывной связью времён именно в профессиональной ориентации молодых людей, интегрирующей филологию, глубокое погружение в русский язык и литературу с педагогической деятельностью, с «сеянием разумного, доброго, вечного», с преподаванием, с воспитанием Человека. Многие из нас, расширяя горизонты педагогической деятельности, работают не только в общеобразовательных учреждениях, но и во Дворцах и Центрах детского творчества, стали «Учителями учителей», воспитывают новое поколение педагогов.

Примеры полувековой давности: нас, студентов 50 – 60-х годов, выпускников Пермской школы № 7, учили и воспитывали настоящие учителя, «классные» классные руководители, уни-

кальный директор А.И. Серебренникова. Но литературу «вели» Тамара Абрамовна Рубинштейн и Валентина Ивановна Подосёнова. «Вели, вели и привели» нас на филологический факультет. А там – целая когорта великих учителей – Римма Васильевна Комина, Сарра Яковлевна Фрадкина, Франциска Леонтьевна Скитова, Мария Александровна Генкель, Зинаида Васильевна Станкеева.... И все, все, все – дорогие, любимые, отдававшие нам сполна науку жить, науку сомневаться и побеждать, науку творчества, в том числе и педагогического.

Особенностью нашего факультета была неразрывная связь с педагогикой, которая была нам интересна, осваивалась в практикоориентированном варианте. Самые лучшие учителя русского языка и литературы лучших Пермских школ, где мы «проходили» педагогическую практику, отдавали нам своё мастерство. Так, с нашей группой работала Зинаида Сергеевна Лурье, выдающийся учитель литературы, директор школы № 42, тоже выпускница филологического факультета университета. Уже тогда мы освоили новые технологии: коллективного творческого дела (Пушкинский бал), проектной деятельности (благотворительные акции), дебатов и ролевых игр, рефлексии и самоанализа. Удивительно, но у многих из нас желание идти работать учителем после практики не только не пропадало, а становилось сильнее. И не случайно выпускники филфака с энтузиазмом становились преподавателями средних школ, профессиональных учебных заведений, учёными, обогатившими и наш Пермский университет, его филологический факультет, и Пермский педагогический институт (ныне – педагогический университет).

Вспоминаю 60 – 70-е годы XX века. Позволю себе подробно остановиться на судьбах моих однокурсников: ведь прошедшие со дня выпуска полвека дали возможность и глубоко осмыслить всё то, что происходило с нами, и понять, где корни нашей профессиональной карьеры и личной жизни, какие события стали судьбоносными, какие трудности и проблемы сумели преодолеть. Именно в эти, послеуниверситетские, годы мы всё больше ценили студенческую дружбу и умение радоваться успехам друзей, их детей и внуков, принимать как свои личные любую неудачу, утрату, горечь разлук.

1961 год. За плечами – 5 лет счастливой студенческой жизни. И – как всполохи – события: первые (незапланированные, искренние) аплодисменты по окончании лекции Франциски Леонтьевны; первый опыт не очень удачных зачётов, сдаваемых Марии Александровне; первый выбор научного руководителя – «Ты что! Её же все боятся!», «Мне не справиться, я ещё ничего не умею!», «Слишком трудно!»; первые занятия латинским языком и радость тех, кто учил в школе французский – «кое-что всё-таки знаем». И отличившаяся на этих занятиях Милица Борисовна Смирнова (Холмогорова) впоследствии стала преподавать «латынь» в родном университете.

А уж бесконечный осенний дождливый праздник 1956 года на уборке льна в Карагайском районе с его постоянной усталостью и навсегда вошедшее в нашу жизнь пение романсов, классических произведений, самодеятельных песен. Мы постоянно вспоминаем работу на уборке урожая на целине – в Алтайском крае, в селе Воеводское, где освоенная нами танцевальная площадка называлась просто «тырло»! А Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов 1957 года (мы были его участниками непосредственно в своём университете – сегодня сказали бы: в «дистанционном режиме») и наши победы в волейбольных поединках и в эстафете (наш факультет стал «Чемпионом МолГУ (ещё Молотовского!)») Наша группа была очень певучая, музыкально одарённая, активно участвующая в студенческой самодеятельности. И нас принимали, уважали и любили другие студенты филфака: те, кто учился на старших курсах, и те, кто шёл следом.

И вот пришло время прощания. Белые ночи 1961 года в Перми. Первая страница нашей газеты «Пермский университет», где под пожеланием «Счастливых дорог тебе, выпускник!» наш коллективный портрет – филологи всегда отличались красотой лиц, душ, мыслей, одежд. Мы разошлись и разъехались по городам и сельским районам Пермской области – в школах Перми, Кунгура и Гремячинска, Губахи и Кизела, Оханского, Ильинского и других районах засиял отряд выпускников филологического факультета ПГУ.



Уехала в деревню Таборы Оханского района наша бес-  
сменная староста Рита Лысенина, в течение всех этих 50 лет  
поддерживающая непрерывную связь с однокурсницами, знаю-  
щая о жизни каждой всё самое главное. Именно она – инициатор  
и организатор наших судьбоносных (теперь уже редких) встреч,  
когда собирались все, без исключения: пермяки, приезжали из  
Ленинграда Таня Крылова, из Смоленска – Галя Яковлева, из  
Екатеринбурга – Эмма Рогачёва, из Иркутска – Лида Преобра-  
женская, из Подмосковья – Лариса Смолякова (кстати, все они –  
учителя, педагоги).

В Кизел уехала учительствовать наша великолепная ин-  
теллектуалка, эстет и исключительно творческий человек Зоя  
Падас. Не случайно позднее она стала одним из лучших (по на-  
шему субъективному и общественному объективному мнению)  
тележурналистов, работающих в сфере культуры.

В педагогике всегда особо ценились учителя-мужчины. С  
нами учились двое, мы их звали «наши птички». Лёва Соколов,  
выпускник сельской школы, самобытный, не очень похожий на  
нас, умница и великий труженик. После университета – люби-  
мый учитель русского языка и литературы, многие годы – ди-  
ректор средней школы в Перми, а далее – вот уж правильное  
кадровое решение – заместитель заведующего областным отде-  
лом народного образования, ведущий труднейшие вопросы фи-  
нансово-экономического и материально-технического обеспе-  
чения – нередко его выручала народная мудрость, практическая  
сметливость и хватка, твёрдость и настойчивость. Университет  
может по праву гордиться таким выпускником.

Вторая наша гордость – Володя Дроздов, Заслуженный  
артист, ведущий актёр Пермского государственного ордена  
Трудового Красного Знамени драматического театра. Как мы,  
филологи, любили и знали наши пермские театры, как горячо  
обсуждали всё, что касалось культуры! Мы гордились успехами  
режиссеров, солистов оперы и балета, ведущих артистов Драмы,  
Театра юного зрителя, Театра кукол! И мы обожали Дроздова,  
знали его роли, торжествовали на премьерных спектаклях. Но  
вот – от судьбы не уйдешь! – большой успех ждал Владимира  
Дроздова и в педагогике, в работе со студентами Пермского

колледжа искусств и культуры, где он преподавал много лет. Талант В. Дроздова был сполна отдан и одарённым детям. Это он разработал и реализовал (по тем временам исключительно инновационный) проект «Киноакадемия в школе – эффективная форма художественно-эстетического образования». До сих пор пермские школы-«Киноакадемии» № 135 и № 91 работают по этим программам дополнительного образования детей, а педагогический опыт талантливого артиста, нашего однокурсника, известен педагогической общественности страны.

Судьба Любы Хайн – особая. Вышла замуж за Диму Хренова, окончившего геологический факультет ПГУ, и сразу уехала учительствовать на самый край советской земли – в Самаркандскую область, посёлок золотоискателей Зармитан (почти Зурбаган!). Маленькая школа, никогда не знавшая таких учителей, – образованная, интеллигентная, весёлая, артистка со значимым именем Любовь – она была для своих учеников хорошим наставником, стала другом на всю жизнь. Она организовала в забытом Богом посёлке такую полнокровную жизнь, что её ученики, взрослые люди, мечтают передать хотя бы частичку этого всего своим внукам! Сейчас, живя в Израиле, она получает от них письма, общается через Интернет, активно участвует в обсуждении их жизненных, таких не простых, проблем. «Они меня помнят, я им нужна!» – пишет она в письме, адресованном в Пермь.

Ася Прокопенко, великолепная Наталка-Полтавка, солистка университетской оперы, обладающая уникальным голосом, сразу уехала в Гремячинск, до сих пор работает учителем русского языка и литературы. Какие там современные инновации и творческие муки учителей, когда почти полвека назад она включала в урок музыкальные фрагменты: классическая музыка в исполнении любимой учительницы формировала эстетический вкус, повышала мотивацию детей, в очередной раз вызывала восторг и преклонение перед талантом, отданным своим ученикам.

В жизни Альбины Соколовой (Митянишевой) была только одна школа: № 87 Кировского района г. Перми – и не одна сотня учеников, её воспитанников, и каждый – особая песня и своё

событие. Но вот событие уже XXI века – вечер встречи выпускников, посвящённый школьному юбилею. К Альбине Александровне с большим букетом цветов пробирается Евгений Анатольевич Малянов, ректор Пермского государственного института искусств и культуры. Её благодарный ученик. Кстати, первая запись в его трудовой книжке – учитель русского языка и литературы.

Можно собрать в одном зале, в одном кабинете, в одной комнате выпускников филологического факультета 1961 года, но нет такого зала, где бы можно было собрать всех наших учеников. Скажем хотя бы о некоторых наших родных детях – ведь многие из них также выбрали крутую педагогическую судьбу, и, может быть, в этой преемственности поколений особая заслуга нашего факультета и наших семей. Продолжая об Альбине Митянишевой – тридцать лет входит её дочь Елена Владимировна в класс, она – потомственный учитель.

В нашей группе училась учитель, а затем и директор средней школы № 1 г. Перми, авторитетный руководитель – заведующая Кировским районо Светлана Сергеевна Зырянова (Диздерёва), очень светлый, доброжелательный, преданный образованию человек; помню, как тяжело, как горько прощалась с ней педагогическая общественность всего города. Её дочь Ольга Викторовна Чупина, (первый ребёнок нашей группы!) – кандидат педагогических наук (кстати, предмет её исследований – формирование коммуникативных компетентностей обучающихся в поликультурном образовательном пространстве), заместитель директора по научно-методической работе той же самой, маминной, школы № 1.

Уже нет с нами и Людмилы Александровны Дубровской, любимицы нашей группы, кумира многих студенческих поколений педагогического университета, кандидата наук, доцента. Но продолжает её дело талантливая дочь – Овчинникова Ирина Германовна – наша гордость, доктор филологических наук, профессор ПГУ.

Кстати, именно с ней связана творческая педагогическая судьба выпускницы нашего факультета 1992 года Чудиновой (Пшеничновой) Аллы Робертовны. Ещё будучи студенткой

3 курса, она стала преподавать русский язык и литературу в родной школе № 22. А потом – долгие годы в гимназии № 33, одном из лучших образовательных учреждений города Перми. Дважды – в 2006 и 2011-х годах стала победителем национального проекта «Образование» в номинации «Лучшие учителя России», Почётный работник общего образования, учитель-исследователь, региональный координатор международной ярмарки социально- педагогических инноваций. Вот так!

А начиналось всё это с сотрудничества с кафедрой речевой коммуникации ПГУ, с профессором И.Г. Овчинниковой, которой была организована исследовательская деятельность учащихся по лингвистике. На международном и всероссийском уровнях побеждали пермские гимназисты – ученики А.Р. Чудиновой, представлявшие исследования по актуальным темам: «Речевой портрет подростка – участника чата, социальных сетей», «СМС – коммуникация подростка: гендерный аспект». Да и сам педагог ведёт сегодня глубокое диссертационное исследование и эксперимент.

Сразу после окончания университета я (выпускница 1961 года Порошина Эля) осваивала трудную науку учительства в средней школе № 35 на Красном Октябре (в просторечии наш микрорайон назывался «Скандаловка»!). И уже из первого моего выпускного класса 5 человек, в том числе 3 медалистки, поступили на филологический факультет университета, окончили его и всю жизнь отдали образованию. Заслуженным учителем РФ стала Н. Зайцева, сотням выпускников профессионально-технического училища помогла стать культурными людьми преподававшая литературу В. Алмакаева. Университетское образование стало основой всей моей педагогической и общественной деятельности. В 1968 году я представляла Пермскую область на Всесоюзном слёте молодых учителей, была членом Комитета советских женщин под руководством космонавта Валентины Терешковой, в 1973 году выступала на Международном Конгрессе по детскому и молодёжному движению в Орлеане (Франция). И всегда, во всех разговорах и интервью я с гордостью подчёркивала, что закончила Пермскую среднюю школу № 7 и Пермский государственный университет, основанный в

1916 (ещё дореволюционном) году, что меня учили учёные с мировым именем, что рядом со мной всегда были талантливые люди, дававшие пример постоянного развития и самосовершенствования.

\* \* \*

Судьба образования как важнейшей общечеловеческой ценности, личностного показателя и государственного института никогда не была лёгкой. «Чтоб ты жил в эпоху перемен» – это недоброе пожелание из китайского фольклора<sup>6</sup> в полной мере относится к нашей школе. Модернизация, реформирование, оптимизация, информатизация, технологизация, ЕГЭ, ГИА, введение стандартов первого, второго поколения, переход на подушевое финансирование... – всё надо, всё требуется осмыслить, освоить, внедрить, отчитаться, а также преодолеть отсутствие ресурсов, риски, возможные отклонения и негативные последствия.

Но как бы ни было трудно, каждый день и каждый час входит в класс учитель, готовый к совместному труду по поиску истины, добра и справедливости. Он готов поддержать ученика независимо от степени его одарённости и развития, он прилагает огромные усилия к созданию ситуации успеха, творчества, организации самостоятельной деятельности каждого. Именно выпускники филфака университета принесли в школу практические действия по реализации идей гуманистической педагогики, о которой писал ещё академик А.Д. Сахаров: «Научно-технический прогресс не принесёт счастья, если не будет дополняться чрезвычайно глубокими изменениями в социальной, нравственной и культурной жизни человечества. Внутреннюю, духовную жизнь людей, внутренние импульсы их активности трудней всего прогнозировать, но именно от этого зависит в конечном счете и гибель, и спасение цивилизации».

\* \* \*

---

<sup>6</sup> Фраза «Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен» обычно приписывается Конфуцию. *Примечание редактора.*

Выпускников филологического факультета, работавших и работающих на передовой образования – в должности учителя, педагога, директора – сотни. Но коль разговор о судьбах и конкретных людях – так о них и речь.

Легенда отрасли «Образование» – Полина Васильевна Галахова (в студенчестве Джуманьянц), выпускница филологического факультета Пермского государственного университета 1958 года. Этот выпуск был блестящим. Он подарил образованию таких выдающихся педагогов, как Элеонора Николаевна Падей (Поплыко), на протяжении трёх десятков лет бессменный директор Пермской гимназии № 17, любимый педагог и потрясающий руководитель, лидер в образовании; как Дмитрий Александрович Краснопёров, учитель средней школы № 109, вместе со своими учениками и коллегами – учителями литературы создавший уникальную коллекцию материалов по проекту «Литературное краеведение. Прикамье – страна творчества и талантливых людей», Минина (Белова) Галина Ивановна, сельская учительница, блестящий методист, наставник многих и многих учителей.

Итак, Учитель от Бога. Профессионал высшей пробы. Достояние Перми. Ангел-хранитель. Руководитель, опережающий время. Современный человек. Надёжный и бескорыстный друг. – Это всё о ней, о Полине Галаховой. Начиная со студенческих лет, она поднималась всё выше и выше – душа группы, отличница, активистка, волейболистка, солистка танцевального коллектива, певица – она готовилась к многогранной и трудной роли Учителя, которую блестяще исполняет уже более полувека. Всё студенческое братство, вся университетская атмосфера, весь опыт межличностного поликультурного общения были ею сполна использованы и развиты в педагогической среде Пермской области.

Учитель русского языка и литературы, заместитель директора, директор средней школы № 47 Мотовилихинского района г. Перми, заведующий Ленинским районным отделом народного образования, заместитель заведующего Пермским областным отделом народного образования. Блестящий управленец, талантливый педагог-новатор, глубокий исследователь, препода-

ватель высшей школы, общественный деятель... Настоящий Человек – «ручей, бегущий в гору» (автор этого образа – её зять, писатель Анатолий Королёв).

«Жизнь по гамбургскому счёту» – так назвала статью о П.В. Галаховой доцент ПГУ Н.Е. Васильева. *«Гамбургский счёт, принятый однажды как мера всех вещей, отработан ею не только в области профессии, но и в человеческих отношениях, поступках, поведении, вкусе, воспитании детей... Дни человека складываются в жизнь, её большой свет вырастает из маленьких огоньков...»*. Выпускница филологического факультета П.В. Галахова, наша современница и наш друг, «так построила и так прожила отдельные дни своей жизни, что их насыщенности и результатов хватит не на одну человеческую судьбу».

«Настоящее» образование получила в университете Олеся Григорьевна Пашенко, выпускница 1972 года, учитель будущих учителей – более четверти века проработавшая в Пермском педагогическом училище (теперь колледж) № 1. Вот некоторые страницы её воспоминаний о жизни, о судьбе, об университете и педагогической деятельности:

*Слово «университет» я знала с детства: в Пермском государственном университете в конце 20-х годов прошлого века учились три маминых сестры. В конце 50-х – мои двоюродные сестры и брат.*

*Кстати, филфак университета может гордиться одной из первых своих выпускниц – 1925 года – Ждановой Ниной Александровной (однокурсницей сестёр Генкель), родной сестрой моей мамы. Нина Александровна более 40 лет проработала в школе, была награждена орденом Ленина, избиралась депутатом Верховного Совета СССР от Архангельской области. Это ли не всенародное признание Учителя!*

*Но знак равенства между словами «филфак» и «мечта» я поставила, когда в старших классах преподавать литературу начала Г.Н. Хорищенко, выпускница филологического факультета ПГУ. Оказалось, что литературу нужно изучать не по учебнику: над произведениями нужно думать, размышлять и*

делать выводы. Дни, когда в расписании уроков не было литературы, казались мне серыми и скучными.

В 1967 г. я, ученица школы № 92, впервые переступила порог университета – начала заниматься в «Школе юных филологов». С восторгом слушала потрясающие лекции Р.В. Коминой, С.Я. Фрадкиной, Л.А. Грузберг – именно тогда я на практике поняла: чтобы реализовать самые далеко идущие планы и достичь высот, надо начинать с детства – отдавать юным всё лучшее, говорить с ними на серьёзном, уважительном, научном языке. И моё будущее определилось: филологический факультет ПГУ.

На пути к осуществлению мечты было три препятствия: большой конкурс, нежелание быть учителем и инвалидность с детства – травма ног.

Сегодня за моими плечами 27 лет педагогического стажа. Но тогда, дочь педагога и внучка педагога, я страшилась этой профессии, так как прекрасно знала, как она трудна! Однажды, сложив педагогический стаж моих родственников по линии мамы, я получила цифру 320 лет!

Даже сейчас на пути инвалидов к высшему образованию много препон, в конце 60-х их было еще больше. Я колебалась, и свои сомнения выразила тогда в шуточных стихах о том, как классики, на портреты которых я смотрю, реагируют на мои страхи:

Сурово Блок с укором глянет –  
Похолодеет все внутри...  
С насмешкой Лермонтов заявит:  
«Дуришь, Олесенька? Дури!»,  
Некрасов скажет с тихой лаской:  
«Ну, знай работай да не трусь».  
И я – теперь уж без опаски:  
«Уговорили, не боюсь!»

Однако все в период моего поступления сложилось удивительно удачно. Видимо, это была судьба.

Пройдя такой конкурс, мы, первокурсники, были о себе высокого мнения. Спесь сбил с нас очень быстро преподаватель



русского языка М.Ф. Власов. Он обрушил на нас такой диктант, что 90 % получили «2», тем самым дал понять, что нам еще расти и расти. В утешение сказал: «На «5» русский язык знает академик Виноградов, я его знаю на «4», а вы его вообще не знаете!».

Так началась учеба в университете. Все преподаватели обладали высокой культурой общения. С ужасом слышу сегодня о грубом, неуважительном отношении учителей и учеников друг к другу. И вузы, к сожалению, не являются исключением. Не припомню за все время учебы, чтобы кто-то из преподавателей унижал студентов, был по отношению к нам высокомерен, разговаривал небрежно. Низко кланяюсь всем моим преподавателям, как кафедры русской литературы, так и кафедры русского языка: каждый из них стремился вложить в нас, студентов, частичку любви к своему предмету. Обучение в университете и опыт работы в педучилище убедили меня в том, что знания, преподносимые без любви, всегда плохо усваиваются учениками.

О двух преподавателях хочется сказать особо: это Римма Васильевна Комина и Нина Евгеньевна Васильева.

Римма Васильевна входила в аудиторию собранная, сосредоточенная. Она не читала лекции, а творила их прямо на наших глазах. Сидя за первой партой, я с удивлением видела, что перед ней нет конспекта, лежат один-два листочка, и на них набросано несколько фраз. Бывали моменты, когда она, увлеченная материалом, чудесно преображалась. Лицо ее молодело, освещалось изнутри и становилось удивительно красивым.

Среди нас считалось, что не ходить на занятия к Р.В. Коминой – верх всякой глупости. На ее лекциях часто присутствовали не только филологи, но и студенты других факультетов. Мы все очень боялись уронить себя в ее глазах. Но я всё же решилась писать у нее дипломную работу. Было очень трудно. Но это была такая творческая школа! Римма Васильевна прекрасно чувствовала границы возможностей каждого студента и всегда требовала, чтобы я работала на пределе своих возможностей. Это она навсегда отучила меня от всякой «халтуры» и небрежности в работе.

*С Р.В. Коминой я общалась до самых последних ее дней. И сейчас уже сама общаюсь со своими бывшими учениками, как когда-то она со мной...*

*Большое влияние на меня оказали лекции Н.Е. Васильевой. Я поняла, что литературоведение – это не обмен впечатлениями умных людей, а наука, имеющая свой теоретический фундамент. И если ты умеешь правильно базироваться на нем, то успех тебе обеспечен. Не надо заучивать чужие фразы, а «вольно сметь свое суждением иметь».*

*Университетская выучка помогла мне стать специалистом, который не боится осваивать новое, который не действует по шаблону. Благодаря родному филфаку я не только обрела профессию учителя, не только получила звание Отличника народного образования, но, несмотря на инвалидность, полностью вписалась в социум и сделала карьеру в своей профессии не хуже, чем здоровые люди. Каждый педагог в той или иной мере отражается в своих учениках. И если, все то лучшее, что дал мне филологический факультет, было воспринято хотя бы частью моих учеников, будущих воспитателей детских садов, учителей начальных классов, социальных педагогов, то и на них филфак нашего университета оказал определенное влияние.*

\* \* \*

Вернёмся в 2011 год, год 95-летия нашего родного университета – классического! Уже 20 лет я возглавляю кафедру воспитания и дополнительного образования в Краевом институте повышения квалификации работников образования. Поле моего общения и совместного труда – педагогика самого высокого уровня, ориентированная на ребёнка, на гуманизацию пространства детства, на формирование дружественной детям и молодёжи среды. Дело это не простое. Оно требует такого напряжения сил, такой профессиональной компетентности и человеческой мудрости, такой бесконечной самоотдачи, что многие (абсолютное большинство, к сожалению) не выдерживают, уходят из школы, меняют профессию учителя на другую. Тем более бесценны кадры, посвятившие свою жизнь детям, образованию.

Хочу поделиться ещё одним наблюдением. В педагогическом сообществе особыми талантами, нестандартностью и творчеством отличаются педагоги – работники учреждений дополнительного образования детей. И, к моей большой радости, среди них немало выпускников филологического факультета ПГУ. Кто-то добавил к нашему фундаментальному образованию второе – окончил консерваторию, психологический или экономический факультет. Кто-то реализует себя как руководитель творческого объединения журналистов, кто-то учит детей писать стихи и читать их с большой сцены, кто-то работает педагогом-организатором, реализует задачи гражданского образования, устанавливает пространство социальной защиты детства.

Так, в трудные 90-е годы наша Таня Крылова (выпускница 1961 года, жена подводника, капитана 1 ранга А. Лукина) открыла (неожиданно для всех нас) приют «Аист» (Пушкинский район Санкт-Петербурга), который принёс надежду детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, находящимся в социально опасном положении. Здесь не одна сотня воспитанников, но каждая спасённая судьба – благородное дело нравственно чистого и честного человека.

Вот только одна судьба – педагогическая поэма талантливого человека. Заслуженный учитель РФ Нина Борисовна Орлова, выпускница 1983 года – директор Центра детского творчества «Ритм», учреждения высшей категории, современный успешный руководитель, член Аккредитационной коллегии Инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

Ведущее учреждение Пермского края – Дворец детского (юношеского) творчества города Перми, аккредитованное на высшую категорию. Май 2011 года. «Круглый стол», собравший выпускников филфака ПГУ 1983, 1988, 1989 и даже 2007 годов. Среди них Т.А. Сибирякова, заведующая отделом военно-спортивной работы (!), руководитель высшей категории; Н.А. Перетрухина, Л.П. Логинова – педагоги высшей категории по классу фортепиано; Е.В. Логинова, методист высшей категории. Вот часть этого разговора:

*Университетское образование – гигантский ускоритель развития личности, действующий всестороннее. Педагогическая деятельность, не скованная жёсткими рамками стандартов, привлекла нас и на много лет привязала к Дворцу. Фундаментальные знания, общение с мэтрами, широчайший диапазон предметов и дисциплин, освоенных в стенах классического университета, позволили нам, педагогам-филологам, на практике реализовать научно-методический и творческий потенциал, создать уникальную образовательную систему (Пермский Дворец – лауреат Всероссийского конкурса 2003 года, это первое место он разделил с Ленинградским Аничковым Дворцом – прямо скажем, лучшее в стране партнёрство!).*

*Доверительный и демократичный стиль общения педагогов и студентов, сложившийся на факультете, естественно повлиял на внутренний уклад жизни Дворца, создав неповторимую атмосферу сотрудничества и содружества, гармонии и духовности, бережного отношения к личности и слову. И если, как мы предполагаем, «вначале было слово», то для нас это слово – УНИВЕРСИТЕТ.*

Торжествует яркая весна 2011 года. Прощаются со школой выпускники: мелькают праздничные, ещё школьные, наряды, блестят глаза, сверкают улыбки. Всё впереди, всё светло и ясно, всё вселяет надежду. Интервью с выпускниками известной во всём мире гимназии № 11 – знаменитой Дягилевской гимназии, что на Сибирской улице Перми. С 5 класса они осваивали премудрости русского языка и счастье погружения в настоящую литературу вместе с учителем Валентиной Ильиничной Шенкман, выпускницей филфака университета. Вот он, голос современной молодёжи: «Учимся у неё жизни, культуре, радости совместного творчества», «Учитель – это тот, кто нам нужен и важен, остальные – просто урокодатели», «Позволяет иметь свою точку зрения, принимает её», «Научила вести диалог, быть активным и мобильным в дебатах и дискуссиях», «Открыла нам классическую литературу», «Смеётся и иронизирует вместе с нами», «Иду учиться на филологический факультет и только в классический университет: хочу настоящее образование», «Мечтаю стать учителем, как Вы».

Спасибо вам, выпускники 2011 года, за эти светлые мечты, пусть они сбудутся. Спасибо вам, учителя русского языка и литературы, наши выпускники, за ваш подвижнический труд, за тех, кто мечтает войти в стены Пермского государственного университета студентом филологического факультета.

*И.А. Соловейчик<sup>7</sup>*

## **НАШИ В ДЕРЕВНЕ**

Второй курс, зимняя сессия. Уставшие, сидим в читальном зале. Вдруг Света Степанова говорит:

– Нам преподаватели с первого курса подчеркивают, что нам дают классическое университетское образование. Это неправильно! Ведь потом мы пойдем работать в школу совсем неподготовленные.

– Так у нас же будет педагогика, психология.

– Ну и что? Это не даст тебе знаний о специфике работы в деревне.

– Свет, ты что предлагаешь?

– Надо ехать в деревню сейчас и смотреть, что такое школа.

Мы пришли в деканат к Римме Васильевне и сказали, что сдали зимнюю сессию на «хорошо» и «отлично», а теперь просим отпустить нас поработать в деревню. Мы торжественно пообещали – «честное слово! – хорошо сдать летнюю сессию».

Причем это не мы придумали. Была такая практика в университете: неуспевающих студентов «ссылали» на полгода на исправительные работы учителем в село. После такого вынужденного «академа» студент брался за ум и благополучно заканчивал универ. Мы шли на это добровольно. Наши друзья-однокурсники были в шоке. Зачем?!

---

<sup>7</sup> Соловейчик (Ковязина) Ирина Анатольевна, выпускница 1983 г., в 1984 – 1997 гг. возглавляла редакцию газеты «Пермский университет», в н. вр. начальник отдела выездного туризма в турагентстве «Евразия».

А жизнь у нас на 2 курсе была ключом. Мы жаждали впечатлений и удовольствий, познавали жизнь на всю катушку! Нормальным явлением были поездки на пару дней в Москву пройтись по театрам – причем преподаватели очень это дело поощряли. При любой возможности мы путешествовали, работали в пионерских лагерях и в стройотрядах. А дискотека, рестораны, посиделки и разговоры за полночь... Идешь по факультету, объявление: «...на кафедре русской литературы состоится обсуждение романа Ирины Грековой, опубликованной в журнале...». Как не пойти?!

Жизнь в затерянной богом деревне на севере области, в Усольском районе, куда добраться можно было весной только на лодке (мост еще не был построен), была для нас откровением.

Это было здорово! У меня в трудовой книжке появилась первая запись – завуч восьмилетней школы, – а мне 19 лет. Жили мы прямо в школе, на первом этаже, в комнатке с географическими картами... И день наш был заполнен детьми. Мы вели уроки с утра, а после обеда дежурили, вели кружки, занимались в спортивном зале, общались, гуляли, иногда ссорились. Нам было по 19, в деревне мы обе никогда не жили, и по части решения бытовых проблем ребята нам покровительствовали.

Они были не избалованы вниманием, чуткие и добрые, они показывали нам «свой» мир. Как-то во время нашей прогулки сказали с грустной усмешкой, что *«учителя от них сбегают, наверное, потому, что глупые они, не о чем с ними разговаривать»*. Не помню, что я залопотала в ответ.

Через полгода мы вернулись в Пермь и с головой окунулись во все удовольствия, наверстывая упущенное.

А наши однокурсники вдруг поехали следом в деревню учителями. Таким образом, съездили, наверное, человек 20, может, больше, – статистики мы не вели. Возвращались одни, уезжали другие. Мы не геройствовали, не обсуждали наши поездки, не анализировали хором их причины. Да их и не было, этих причин. Так, «за туманом и за запахом тайги». Но никто не пожалел, что зря потратил время на деревню, такая это была неожиданно интересная жизнь там.

Зато к 5 курсу мы уже в большинстве своем имели солидный педагогический опыт и знали, что нас ждет после окончания универа.

Филфак в основном – девичий факультет. В других вузах девушки были заранее озабочены распределением и успевали «свить гнезда» накануне распределения. Помню, как Туляков пришел нарядный как жених. Оказалось, действительно ходил подавать заявление в загс с какой-то девушкой из «кулька» – ей надо было справку о предстоящем замужестве предъявлять в деканат. Он такой ей жест благородный сделал. До свадьбы, слава богу, дело не дошло.

Мы, погруженные кто в литературу, кто в творчество, кто в удовольствие, как-то упустили из виду возможные трудовые перспективы на селе. И хотя 5 курс проходил под девизом «Шире двери – жених косяком пошел», никто всерьез угрозу скорого распределения не воспринял и на местности вовремя не сориентировался.

Распределение было всеобщей трудовой повинностью после окончания универа на три года (или два?). Причем деканат ревностно отслеживал наше прибытие на место дислокации и, наверное, отвечал за нас. И основания для беспокойства были. Например, с нами учился Назим Ибрагимов из Азербайджана. Во время сдачи экзамена у него появлялся отчетливый акцент, он мучительно подбирал слова, демонстрируя наличие знаний, но и невозможность их проявить в силу ограниченных языковых возможностей. Сразу же после экзамена акцент, впрочем, пропал. Конечно, опасность того, что сразу после окончания Назим вернется на родину, была велика. «Прима» курса, красавица Лиля подрабатывала манекенщицей в пермском Доме моделей. Она приходила на занятия и с порога начинала увлекательную историю: *«Вчера познакомилась с таким меном!...»*. И Лиля пойдет работать в школу?! Было от чего Тамаре Ивановне, нашему декану, опечалиться. Но главное, и Назим, и Лиля отработали в школе, и не пару лет. Назим так и остался в Соликамске, потом переехал в Березники. Лиля брала с собой в школу маленькую дочку, Юля сидела на последней парте и рисовала. Однажды по классу прошелестел смешок. Лиля обернулась: ма-

ленькая Юля озабоченно мела веником в проходе и на мамин вопрос, что одна делает, пояснила: «Такой байдак, мама».

Если в начале 1 курса стать учителем хотели, может быть, человека 3 – 4, то сегодня учителями и преподавателями вузов работают более трети курса. Многие наши выпускники поехали работать в школу.

Мы приехали в Сивинский район с подругой Леной Тархановой. Я так явственно помню картинку осеннего утра: дети на школьном крыльце с удовольствием наблюдают, как мы с Тарханчиком (для них – учительницей французского Еленой Борисовной) переходим дорогу. Тарханчик выглядела очень живописно: у нее красное прямое пальто, прическа каре и на голове красная вязаная шапочка, а в руке... правильно, плетеная корзинка в качестве сумочки. И Тарханчик тянет ножку в изящном коротком ботиночке, тщетно пытаясь переступить через необъятную лужу, перемешанную с глиной большим трактором-тягачом. Минут 15, в течение которых мы не могли пересечь улицу, дети веселились.

Помню, как скучали мы по асфальту или просто по твердой почве под ногами. Писали письма однокурсникам, делились сходными проблемами. Интернета у нас в 80-х еще не было, готовых тоже. Единственная доступная форма общения – письма. Мы их ждали, перечитывали, сами писали подробные отчет о своей жизни.

Туляков хотел быть переводчиком и отбивал педагогическую ссылку в Яйве Александровского района. Пишу ему: «Госка: прошли 2 месяца из 10». Туляков в ответ спокойно-величаво: «Ничего, у меня 1 из 36». Ребятам надо было обязательно работать, иначе им грозила армия. Так что он чувствовал себя как на поселении.

На уроке по творчеству Лермонтова поставила пластинку с романсом «Белеет парус одинокий». И с умилением украдкой наблюдала, как пятиклассники шепотом самозабвенно подпевали Козловскому: «*Ирина Анатольевна, поставьте еще раз!*».

Сначала воспринимая жизнь детей извне, не скупилась на двойки, щедро рассыпая их за невыполненное задание или непрочитанное произведение...



Однажды мне нужно было ехать в соседнюю деревню за 8 км. Местные учителя ездили на личном транспорте. Пешком дойти зимой, не особо зная дорогу, трудно. Можно, конечно, попросить конюха запрячь Зорьку. Но это же надо ему со мной ехать, лошадь в телегу запрягать. Ладно, я же ходила на ипподром. Попросила запрячь Зорьку – верхом поеду! Со мной поехал верхом Вовка, сын конюха, мой пятиклассник, которому двоек я наставила немерено!

По дороге Вовка рассказывал мне про обычную, по его мнению, жизнь. Встал в 6, пошел к отцу на конюшню. Почистил лошадей, вывел их, задал им корм. Пошел в школу, потом опять к отцу. Где в этом режиме ему найти место для чтения и анализа заданных мною двух – трех глав? Мне стало стыдно. О своих проблемах я писала еще своей школьной учительнице, и она тоже мне что-то подсказывала, до чего я не могла прийти своим умом. *«Не задавай на дом, если знаешь, что им некогда, старайся прочитать в классе и тут же сделай частичный анализ».* Очень скоро я, такая городская, выпускница университета, поняла свою полную педагогическую беспомощность и начала учиться заново.

Сегодня трудно представить жизнь без телевизора. А мы не скучали. Библиотека в деревне богатейшая. Мы от жадности набрали на полгода вперед. Приватизировали из учительской проигрыватель и пластинки с классической музыкой. А леса кругом без конца и края. Мы собирали шиповник, сушили его. Покупали сухие грибы, солили первый раз в жизни капусту. Все было новое, интересное.

Ребятня сразу же оккупировала нас. Хозяйства у нас нет, времени – навалом! Мы играли в футбол, катались верхом на лошадях, ходили на лыжах. Зимой играли в «бандитов» – очень увлекательная игра, которой научили нас дети.

Я приходила в школу, то прихрамывая после падения с лошади, то без голоса, когда накануне играли в «бандитов». Однажды пришла с синяком под глазом – снежком кто-то накануне попал.

Когда я озвучила завучу свое намерение летом уехать, она сказала:

- Вы еще пожалеете, еще вспоминать нас будете!
- Дайте мне возможность в этом убедиться, – попросила

я.

Так и не было у меня возможности сказать завучу Кониплотнической восьмилетней школы, что я всегда с очень теплым чувством вспоминаю и деревню, и ту жизнь, да просто свою студенческую молодость и все, что с ней связано.

## **ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИСТОРИИ**

Первый мощный толчок развитию фольклористики на факультете дала Римма Васильевна Комина, прибывшая в ПГУ из Московского университета. Об этом вспоминает Н.Е. Васильева в книге «Римма».

*Н.Е. Васильева*

### **ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ О ПРОФЕССОРЕ РИММЕ ВАСИЛЬЕВНЕ КОМИНОЙ «РИММА»**

Вспоминается наша летняя 1957 года фольклорная экспедиция в Чердынский район, которую организовала Римма Васильевна. Эта экспедиция – начало огромной и систематической работы кафедры в области фольклористики, работы, давшей науке не только богатейшие записи песен пермского края, но и решившей на многие годы проблему «фольклорных» кадров. Мы привезли оттуда чемодан песенных текстов, исходили леса и болота Чердыни, послушали пение дивных русских старух – и, вернувшись, в сентябре провели праздничную конференцию по итогам поездки. Это было первое массовое и монументальное мероприятие филологов. Аудитория 309 (ныне кафедра всеобщей истории) ломилась от собравшихся. Но на этом «отчетное» мероприятие не закончилось. И вот мы с Ритой Литвиновой (Рита Соломоновна Спивак), волнуясь и трепеща, стоим у дверей приемной Моценко, тогдашнего главного редактора альманаха

«Прикамье», куда мы принесли заказанную нам (Р.В. организовала) первую совместную статью о фольклорной поездке в Чердынский край. Статья появилась в печати. А инициатива Р.В. продолжается, и мы вместе с ней идем к пермскому композитору Горячих, который согласился некоторые из собранных нами песен переложить на музыку. И переложил. И мы передаем их в Дом народного творчества (был тогда такой) для исполнения ансамблем народной уральской песни. И концерт состоялся. И в местной газете «Звезда» появляется отзыв об этой инициативе университетских филологов. Римма Васильевна, наверное, не задаваясь такой целью специально, давала мощный урок на всю жизнь, который для себя я называю «умением жить в сцеплениях», когда жизнь проживается не по принципу линейной последовательности выхваченных из потока событий, фактов, эпизодов, ситуаций, а по закону их внутренней взаимосвязанности, сцепляемости. Вот такую «цепную реакцию» Римма Васильевна блестяще творила. В той же экспедиции, оставшиеся с Риммой Яковлевной Гельфанд в селе Вильгорт, общаясь со знаменитой исполнительницей Манефой Петровной, Римма Васильевна «выдала» интересную импровизацию: ее слух «зацепил» реплику хозяйки избы – «А старик-от седни ладит умирать». «Ладить умирать» так вдохновило Р.В., что к вечеру была готова и прочитана в вильгорском сельском клубе лекция-размышление о природе эпичности народного сознания (точного названия, увы, не помню). Были в ней и Некрасов, и Блок, и Лесков, и прямые примеры из жизни. Так она умела жить в «сцеплениях», целостно (с.18 – 19).

\* \* \*

По следам этой – самой первой! – экспедиции была написана статья «В Чердынь за песнями», отрывки из которой мы восстанавливаем в данной книге.

*Нина Васильева*

*Рита Литвина*

## **В ЧЕРДЫНЬ ЗА ПЕСНЯМИ<sup>8</sup>** **(«ЛЮДИ И ВСТРЕЧИ»)**

Наша экспедиция начала свою работу в пяти разных концах Чердынского края – в Долдах, Вильгорте, Пянтеге, Губдоре и Керчево.

В каждом месте свои дела, жизнь и работа, встречи, неповторимые впечатления.

В Долдах уже кипит. С раннего утра до самой ночи слушаем и записываем – почти без передышки. Это потому, что здесь встретили много интересных людей.

...Когда мы открыли огородную калитку, женщина выпрямилась. Низкорослая, коренастая, в широкой темной юбке и свободной кофте, в белом платке, торчащей концами в разные стороны, она производила впечатление крепко вросшей в землю крестьянки. Какие-то секунды изучали друг друга.

Степанида Егоровна, отбросив энергично лопату, уже приветствует нас:

– В избу, в избу, а то что за разговор на грядках!

И пока мы решаем, как лучше извиниться, что оторвали от работы, ее зычный голос слышится уже из избы:

– Ко мне опять гости! Где-то должно быть еще пиво!

Ничего не поделаешь – угощаемся.

Ту же сообщаем ей о цели своего визита.

– А... письни-то сказывать я мастерица, да стара стала, голос-то уж не тот, да и забыла все.

– Ну что вы, Степанида Егоровна, вспомните, вспомните, пожалуйста, нам это очень нужно, – начинаем мы входить в роль.

А Степанида Егоровна широкими шагами выходит из избы и энергично направляется по переулку.

Мы молча поспеваем за ней.

---

<sup>8</sup> Опубликовано в журнале «Прикамье», № 27 (Пермское книжное издательство, Пермь, 1959. С. 68 – 75).

– Катюха, айда ко мне письни петь, гости из города, им опеть слушать нас охота.

– Некды, некогды, буде вечером.

Степаниду Егоровну отказ не смущает. Она уже хозяйски открывает дверь следующей избы.

– Митревна дома? Скажи-ко ей, что Егоровна звала письни сказывать, гости, мол, из города.

Так благодаря Степаниде Егоровне о нас узнали в Долдах сразу же.

А та, не смущаясь, что не нашла напарницу, тащит нас в другую избу, просит хозяйку дать место гостям и без лишних слов запеваает:

*Как у нас во Рассеюшке...*

Ее хриплый, как будто испитый, голос вытягивает тоскующую мелодию, передает все ее сложные переливы. На загорелом до бронзы лице – задумчивость.

Руки Степаниды Егоровны начинают быстро перебирать платок.

– Горя-то на моем веку, девки, много было. Сынов не стало в эту войну. Последний, Ванюша, самый младший, где-ка на самолете летат. Одна я со внучатами. Горя-то больше, чем веселья. Вот грустные-то письни и поешь.

И начинает снова и снова запевать старинные песни. В это утро Степанида Егоровна поведала нам многое из своих старых запасов. Уходили от нее растроганные и счастливые. Песни были разные – не только о печальной доле. Наоборот даже – Степанида Егоровна, забывая все горести, пела назло тоске о безудержном веселье, о надежде...

Этот оптимизм души особенно чувствовался в пении сестер Миковых.

...Аккуратная избушка с высоким крыльцом и чистая комнатка в пестрых половиках.

Три сестры-«песельницы». Младшая, бойкая, смешливая, сидит на кровати. Она нетерпеливо заводит одну песню за другой высоким голосом и, стреляя лукавыми глазами на старших сестер, проказливо ввертывает:

– А я лучше вас пела!

Средняя сестра вторит низко и чуть-чуть хрипло – но как искренне и самозабвенно! Она – бабушка, на ее суровом лице след долгой нелегкой жизни.

– Ох, куда уж петь теперь, – она качает головой и охотно усаживается на лавку. Белоголовый парнишка давно тянет ее за рукав: «Бабка, пойдем, мамка кличет». А она только гладит его сморщенной рукой по голове: – Сейчас, погоди вот, споем еще.

*Брала-брала Машенька земляничку,  
Околола ноженьку о щепичку...*

Названия все новых и новых проходных, круговых, солдатских песен и частушек предлагает самая старшая. Она-то и собрала всех специально для нас в уютный, веселый домик младшей сестры. Дом старшей – через несколько изб – не такой. С крыльца двое вымазанных мальчишек сгоняют вицей курицу. Это не внуки, нет, – это соседские ребяташки находятся днем под ее присмотром. А внуков у нее нет. Нет и детей. В гражданскую войну погиб муж, в Отечественную – единственный сын. Самой жестокой стороной повернулась к ней жизнь. Где уж тут петь, кажется! Но она поет – внешне рано состарившаяся, в душе – молодая. И поет разные песни – грустные и веселые, старинные и современные, слышанные ею от дедов и заученные когда-то в школе по хрестоматии. Она не смущается – она просто жалеет, что мы не приехали в Долды раньше, когда она помнила еще больше.

Интересно было знакомство с Федором Андриановичем. За несколько дней работы мы уже свыклись с положением жертв Иванова дня и не противились, если нам предлагали «еще кружечку». И когда входили в избу Федора Андриановича, внутренне были готовы к тому, что и здесь нас встретят хлебом-солью-пивом. Но оказалось все не так. За столом, покрытом белой скатертью, сидел стрик с умным лицом и что-то чинил. Кроме него в избе никого не было. Как всегда, заговорили, кто мы и зачем в Долдах. Федор Андрианович лукаво улыбался в усы и молчал. Нам становилось не по себе – в его многозначительной улыбке виделись подозрение и недоверие. Наконец он отложил в сторону работу, снял очки и задумался.

– Так-так, ну что же, можно и рассказать, если надо, почему не рассказать? Только, может, вам сперва надо какую-нибудь справку, ну что ли кое-что из биографии, отдельные факты, а? Или, к примеру, историю Долд?

Старику явно хотелось начать длинную беседу. Ну как не уважить в таком случае человека?

Оказывается, у села своя большая и любопытная история. Возникли Долды в 1470 году. С тех пор долдинское население положило начало больше чем десятку других деревень, около ста хозяйств расселились в Сибири и на Алтае. Люди издавна занимаются различными промыслами – плотничеством, барже-строением, лесозаготовками, охотой, рыболовством. У Долд примечательное революционное прошлое. Здесь много было политических ссыльных. О них и о своем отношении к революционерам Федор Андрианович поведал с каким-то затаенным волнением.

От него мы впервые услышали, что в этих краях был и Ворошилов.

– Видаться мы с ним видались, когда я был еще молодым. Получилось это так. С политическими книгами я познакомился еще в 1905 году, – был здесь революционер Пугин; стал я ему помогать, и однажды пригласил он меня в Амбор. В этом Амборе в первый раз я и увидел Ворошилова. Все сидят за столом, вроде как пируют, а сами беседуют. А я сижу на крыльце, и как пройдет кто, даю знак – они поют.

Федор Андрианович – неутомимый сказочник. Уже в первый день мы с восторгом отмечали в дневнике: «Можно ли вообще когда-нибудь записать весь запас сказок, хранящийся в его памяти?».

В сказках Федора Андриановича – и в тех, которые он слышал, и в тех, которые он слагает сам, – героем, умным и добрым, всегда оказывается простой человек: это или солдат, женившийся на богатой невесте благодаря своему уму и ловкости, из сказки «Как солдат на три копейки женился», или простоватый мужичок, оказавшийся на самом деле мудрецом («Как мужичок учился на злачьи слова»), или сын бедного пастуха, добившийся в жизни и чина, и богатства, и счастья с помощью

смекалки и трудолюбия... Старик мог рассказывать сказки часами, чаще сочинял просто на ходу. И если видел, что мы уже не в состоянии записывать, предлагал нам идти гулять по Долдам и по дороге говорил, философствовал, вспоминал, мечтал вслух.

Как-то он копал землю и натолкнулся на лунку с золой и углем; оказалось, что таких лунок девять штук и они расположены кругом. Он не сомневался, что открыл капелище (место жертвоприношений), о котором не знает даже Лунегов. Мы снова перекопали эти лунки и открыли еще одну – в центре круга. Действительно, на глубине 20 см залегает слой золы и черного угля. Конечно, гипотеза о капелище сомнительна, но жестоко было бы не разделить со стариком его тайной радости.

Таким он и остался в нашей памяти – добрым, наивным мудрецом.

То, что нам рассказал Федор Андрианович о революционном прошлом Долд, натолкнуло на одну мысль: не с этим ли фактом связано то, что в Долдах много поют революционных песен?

Чаще основной темой таких песен являются переживания солдата перед боем или смертью: солдатская песня, которую нам спели сестры Миковы, – «За лесом солнце закатилось».

Знакомство с Манефой Степановной Кетовой началось еще в Перми. Впервые мы услышали о ней от композитора В.И. Горячих, который сам записывал фольклор в Вильгорте. Вместе с Манефой Степановной им была написана песня «О Колве». Он-то и посылал нас к Кетовой, как к знатоку и хранителю народной песни. С именем Манефы Степановны мы неизменно связывали успех нашей экспедиции.

*Рассытсья, горох,  
По широкой грядке,  
А я выйду плясать  
На шестом десятке!...*

В этом вся Манефа Степановна. И когда смотришь на ее фотографию, привезенную с собой нашими вильгортцами, ощущение крепости, оптимизма, энергии только усиливается. Статная, черноволосая, немолодая женщина... От ее фигуры,



так же как от выражения волевого лица и привычки «держать руки в боки», веет какой-то особой силой, душевным равновесием. Годы действительно не мешают ей быть культурным организатором на селе. Вот что записали о Манефе Степановне наши «вильгортцы» в своем дневнике:

«Трогают задушевность и теплота исполнения мелодии. Голос течет плавно; сначала дивишься чистоте интонации, затем неисчерпаемости песенных запасов Манефы Степановны. Задумчивые “Шумит-то – болит”, “Не велят Машеньке за реченьку ходить” сменяются шутливой, наивно-милой, лирической “Маланьей”, рекрутская “Ваньку Хренова забрили” – сатирической песней о монахе. Звучат озорные частушки на местные темы. За простоголосой песней следует “походенишная”, плясовая, круговая, шуточная, историческая, свадебная» (с. 71 – 73).

<...>

Последний экспедиционный день... Вновь парходный гудок и вздохи колес под палубой наполняются для нас смыслом и значением. Снова бегут, спешат навстречу песчаные отмели и полосы кустов, но только теперь все это движется в обратную сторону, назад, туда, где мы уже побывали.

Трехместная каюта тесновата для десяти человек, но от этого все чувствуют себя особенно просто. Стол завален тетрадами, блокнотами.

Общее количество собранных песен превышает четыреста.

Оказалось, что в записях, сделанных по разным селам, много общего, перекликающегося. Человек всюду привил песню. Горе и счастье, тревога и радость жизни пели в ней. И почти в каждой песне нежной березкой или гордой сосной, белой лебедушкой или смелым соколом вырастал образ природы.

Песен очень много – интересных, мелодичных, разных по тематике, жанрам, времени написания. Больше всего оказалось песен старинных, а из них – «походенишных», круговых, шутливых и свадебных. В блокнотах каждой группы под специальным заголовком, как большая драгоценность, – песни революции, гражданской и Отечественной войн. Их меньше, чем старинных. Но все большее место в записях этих лет занимают ли-

тературные произведения, песни, имеющие авторов и композиторов, пропагандируемые через радио, кино, книги. Советская литература забирается в область народного творчества, обогащается его традициями и, являясь выражением народных мыслей и желаний, часто вытесняет собой фольклор.

Еще заметнее этот процесс в послевоенные годы – в песне, сказках, в рассказах. Но зато бурно расцветает, находя себе новые формы, привлекая все новых творцов и исполнителей, жанр частушки (с. 75).

## РАЗДЕЛ VI НАШИ ИМЕНА

На протяжении всей истории филфака его заканчивали люди, ставшие впоследствии известными писателями, поэтами, издателями. Это – наши имена, которыми можно гордиться. В одной книге рассказать сразу о всех невозможно, пришлось ограничиться отдельными именами. О самых первых филологах-творцах (Л. Давыдычеве, А. Домнине, В. Радкевиче, А. Ромашове) рассказывает А. Зебзеева, вспоминая о тех наших выпускниках, которые стали известными издателями. Из имен последующих поколений выделены Ю. Беликов и В. Дрожащих – о них рассказывает наш выпускник А. Антонов, а также Б. Гашев и Ю. Асланьян, о которых размышляет Нат. Гашева; эссе Н. Васильевой посвящено памяти известного поэта Б. Гашева, трагически погибшего в 2000 году.

В этой книге впервые представлены и имена пермских фантастов, ядро которых составляют выпускники филфака разных лет. О них рассказывает А. Лукашин (выпуск 1976 г.), известный в Перми и за ее пределами не только как автор, но и как теоретик фантастики и организатор многочисленных мероприятий, связанных с фантастикой (клубов, встреч, обсуждений, контактов и т.д.).

*А.Г. Зебзеева<sup>1</sup>*

### ОСТАЮТСЯ КНИГИ

Я не знаю пока, чем это объяснить (надо подумать): у большинства моих сокурсников, если не у всех, – две, от силы три записи в трудовой книжке. Вот и у меня в этой жизни было два постоянных места работы – газета «Молодая гвардия» и Пермское книжное издательство. И тем и другим я обязана мо-

---

<sup>1</sup> Зебзеева А.Г., выпускница 1959 г., член Союза журналистов РФ, заслуженный работник культуры РФ, последний главный редактор Пермского книжного издательства.

им старшим университетским товарищам. Если точнее, факультетским, ведь факультет был в свою пору историко-филологическим, а значит, и историк тут на месте.

В журналистику – сначала в родную многотиражку, тогда «Молотовский университет», потом в областную молодежку – буквально за руку привел страстно увлеченный газетой и талантливейший газетчик Борис Брюшинин. Чрезвычайно одаренный был человек. Писал романтические стихи, вечно увлекался чем-нибудь (кем-нибудь!) и обладал исключительно организованным умом, в котором фразы складывались четко и окончательно, ложась на бумагу без черновиков и помарок. Завидовала я этому страшенно, потому что сама что-то там начинала сообщать только после того, как бралась за ручку, бралась же всегда со страхом сомнений и неуверенности и чернил изводила немерено. Свою дипломную о «Русском лесе» Леонова Боря писал, когда уже работал в штате молодежи, писал вечерами, подогревая себя бытовавшим в редакции способом: в ящике стола всегда стоял «огнетушитель» с дешевым вином. Потом очень веселился, когда на защите оппоненты хвалили его за редкостно трезвый анализ романа. Меня, кстати, по его протекции также взяли в штат после четвертого курса, и дипломную я ваяла тоже в молодогвардейском полуподвале. Правда, без «допинга», хотя приобщение к нему там же, естественно, и состоялось.

Из газеты меня умыкнул Александр Моисеевич Граевский. Он казался тогда очень взрослым, еще бы – главный редактор книжного издательства! А на самом деле ему было едва за сорок: со студенческой скамьи попал на фронт, воевал мальчишкой-старлеем, после Победы вернулся на факультет, окончил историческое отделение. Потом я убедилась, что и взрослым-то он был так, внешне, а в душе оставался мальчишкой, и этот мальчишка сквозь отталкивающе холодноватую серьезность прорывался готовностью похулиганить, издевательскими смешками, безудержным хриловатым хохотом. Правя судьбы местной литературы по долгу службы, как профессиональный редактор и организатор процесса, он и сам делал тщетные попытки сказать в литературе свое слово, а потому страдал неудовлетво-

ренным честолюбием. Но как раз в литературе-то и сыграл свою роль, однако об этом чуть ниже.

Кот Баюн и змей-искуситель в одном лице, он приходил вечерами к нам на Карла Маркса, 13 (теперь Сибирскую), подсаживался к огромному ответсекретарскому столу, края которого я могла разглядеть подробно лишь в очках, и начинал «мурлыкать», высмеивая мое тогдашнее существование. Оно было интересным, но и впрямь незавидным. Друзья – «молодогвардейцы», отписавшись и сдав свои материалы, уже шелкали теннисным шариком, а для меня начиналась напряженная страда вычитывания их опусов и рассчитывания – рисования газетных полос, да еще под эту издевательскую сухую стрельбу за стенкой, под жизнерадостные вопли болельщиков и телефонное бухтение директора типографии Титлянова, возмущенного задержкой полос: «Вы, паньте, когда, паньте?! Наборщики стоят, паньте!» Это он так выговаривал слово «понимаете», за что его, человека в общем незлобивога и очень славного, наградили прозвищем «Пантя».

Хороший момент улучил опытный ловец душ Александр Моисеевич, ничего не скажешь, сманил работой, якобы несуетливой и размеренной. Но ведь и рисковал-то он как! Я до сих пор помню шок, испытанный при виде возвратившейся от главреда первого моего редакторского опыта: рукопись была просто-таки разрисована его толстым синим карандашом. Куда и девалось вкрадчивое мурлыканье? Сразу, без соплей и эквивоков, он показал мне разницу между лихой газетной скорописью и тщательным, обстоятельным вылизыванием книжного текста. Спасибо, поняла. Как оказалось, он подарил мне профессию, любимое дело, образ жизни, судьбу.

Но если честно, совсем не по мою душу ежевечерне навещался в наш полуподвал Граевский. Я тут просто так, кстати оказалась. Редакция, а потом и издательство, были местом замечательных встреч и дружб. Именно здесь, а не в стенах университета, который они к тому времени окончили, мне довелось познакомиться с замечательными выпускниками нашего факультета, нащупывающими дорогу в литературу и уже обретшими литературные имена. Подрабатывая в газетах и на радио,

теми вечерами они пропадали тут, как в клубе. Затевали серьезные, до прямых оскорблений, споры и травили несусветные байки, играли – непременно на интерес, азартно и весело! – в шахматы и настольный теннис, устраивали соревнования по поднятию прижившейся в редакции здоровенной гири. Ввиду тогдашних бездомностей и бытовых неустроенностей здесь вообще многое приживалось. Например, во всех диванах лежали книги. Хорошие. С солидным овальным экслибрисом «Из книг Льва Давыдычева» и аккуратными номерами внутри овала. Лев Иванович всю жизнь любовно и жадно собирал свою библиотеку.

Кстати, отчаянными книголюбцами были все – с теми или иными особенностями в пристрастиях, но с отношением к книге прямо-таки благоговейным. И свою библиотеку строил, собирал каждый. Почти у всех она рождалась «с нуля», с началом самостоятельной жизни, а вот в собрании Домнина было множество интересных изданий, доставшихся ему от отца, болевшего историей «Слова о полку Игореве» и на генетическом уровне передавшего этот интерес Алексею.

Здесь, в редакцию «Молодой гвардии», как уже состоявшиеся, а не начинающие писатели приходили теми вечерами бывшие однокурсники Владимир Радкевич, Лев Давыдычев, Алексей Домнин, Андрей Ромашов. Мы, отстоящие от них на одно – два студенческих поколения, чувствовали себя воспитанниками одной альма-матер, но из-за разницы в возрасте и опыте, особенностей их характера и дарования, отношения наши устанавливались различной близости и свойскости. Мы были дружны, но определенное расстояние существовало, и это было очень правильно для дальнейших деловых связей, когда мы оказались по разные стороны стола, как редакторы и авторы.

Я говорю «мы», пишу «редакторы», потому что именно в виду совсем не только себя. Вот сейчас, на этих страницах, у меня появилась возможность отдать дань признательности и любви такому уникальному явлению, как литературный редактор Надежда Гашева, Я помню ее сначала школьницей, когда пришла в ее десятый класс на практику, потом на факультетских вечерах, когда бесстрашная, решительная студентка Надя Пер-

мякова, едва ли не встав на стул, читала свои бесстрашные, решительные стихи. А потом этот человечек, пройдя короткую, но значимую школу радиожурналистики, оказался рядом, за соседним столом в издательстве (и пребывал рядом больше тридцати лет). Потом Надежда выросла в пермский литературный клан Гашевых, обогатив его и преумножив. А главное – она всегда была и остается представителем безупречного вкуса, многие и многие пермские поэты и прозаики обязаны ей своей литературной судьбой. Издательство же – тем, что в самые плодотворные для пермской книги годы оно питалось ее богатейшим творческим потенциалом.

Много позднее, имея за плечами целую жизнь, прожитую в литературной редакции местного радио, среди нас появилась бывшая сокурсница Надежды, редактор Марина Лебедева – и тоже сразу стала бессомнительным издательским авторитетом. Казалось бы, у человека был опыт исключительно устного слова, а он чуть не с первой книги стал образцом скрупулезного отношения к тексту, да еще и примером особого ласкового уюта, привнесенного в общение редактора и автора.

Думаю, не будет нескромным сегодня, с высоты прожитых лет, и в виду убедительного трудового багажа, сказать: присутствие именно нашего филологического начала – основательная классическая подготовка, вкус, внушенный и развитый отменными педагогами, – сыграло немалую роль в том, что в 70 – 80-е годы прошлого века такое явление, как «пермская книга», стало одной из культурных характеристик Прикамья. наших литературных редакторов – а я назвала только самых-самых, позднее появились другие, и среди них были очень даже обучаемые, – всегда отличали способность не просто разглядеть талантливое, но и увидеть четкую архитектуру издания, желание помочь автору вовремя остановиться, свести концы и начала, соблюсти чистоту жанра, умение элементарно придать оригиналу все необходимые признаки книжной культуры. В самую затхлую пору, вынужденные лепить из бог знает чего достойный продукт, мы помещали его в стройные книжные ряды, выучились красиво обводить вокруг пальца вышестоящие органы, которые, запрашивая рукописи на контрольное рецензиро-

вание, угадывали пальцем в самое дорогое и уязвимое, отвечать на замечания цензуры и давить самоцензуру в себе. Наши миниатюры, поэтические малоформатки, библиотеки и серии отечественной и зарубежной классики составляли славу Перми, выводили ее на уровень интеллигентнейших городов страны.

Классика классикой, а утоление голода на качественные издания мировой художественной литературы – дело святое. Для местного издательства одной из первостепенных задач было в те времена непереносимое и активное участие в развитии литературы края. Собственно говоря, когда-то, в 1939 году, для этих целей оно и создавалось.

\* \* \*

Перед филологическим факультетом университета задача взращивания литературных талантов никогда не ставилась. Однако понятно, что именно на наш факультет всегда приходили литературно одаренные люди. Непонятно другое: почему они появляются, как грибы, – мостами? Ну, взаимовлияния возможны всякие, естественные взаимообогащения, однако ведь это уже вторично: должно уже присутствовать то, чем обогащать и обогащаться. Как же это происходит? Почему из одного выпуска выходит сразу несколько писателей-профессионалов разной направленности, разной авторской плодовитости, разной издательской удачливости и популярности у читателей? Как сказано у классика, «...Дай ответ! Не дает ответа».

Первая пермская литературная «горизонталь», вышедшая в середине прошлого века из стен нашего факультета, – писатели-однокурсники Радкевич, Давыдычев, Домнин, Ромашов.

Интересные сложились у нас тогда отношения. Они приносили нам, девчонкам, облеченным ценительскими обязанностями, свои никем нечитанные рукописи и ждали решения их судьбы. Я не устаю повторять: как здорово и как страшно быть литературным редактором. Ты – первочитатель. Какое счастье: ты практически первым читаешь БУДУЩЮЮ книгу, ту, которой еще нет. И какая ответственность: от этого первочтения в большой степени зависит, стать ли ей книгой и что за книга это будет...



И вот они доверяли нам свои детища, и ждали нашего суда, и выслушивали наши советы, и постепенно мы все лучше узнавали друг друга в своем качестве, и они видели наше искреннее уважение к их дарованию и желание помочь им проявиться в книге ярче и гармоничнее. Судьба их книг становилась нашей общей заботой.

Я открываю эти книги одну за другой, читаю сегодняшним своим умом и глазом строки, вглядываюсь в дорогие сердцу автографы, и мне очень грустно: сегодня мы старше их, ушедших так рано, в пределах шестидесяти.

Владимир Радкевич. О нем ходили легенды на факультете, когда мы учились. Мы распевали «Молодая стояла ива, одинокая и ничья», не зная, что эту песню сочинили они с геологом Володей Балалаевым. Иногда поэт появлялся в наших коридорах: красивый темный зачес, легкая хромота, несмотря на которую он отчаянно играл в волейбол, близорукий, но пристальный прищур. Лев Давыдычев написал трогательно дружеское и филологически, критически точное предисловие к его юбилейной (к пятидесятилетию!) книге. Будет справедливо прибегнуть здесь к щедрой цитации. Во-первых, зачем искать новые слова, когда уже сказаны единственно верные? Во-вторых, в этих оценках – они оба: и тот, о котором написано, и тот, который пишет. Итак, отрывки из предисловия Льва Давыдычева к книге Владимира Радкевича «Избранное»:

*«...Хотя Владимир Радкевич весь пермский, уральский, родился он на Смоленщине. Родители были учителями. Потом семья переехала в Ржев. Здесь Володя пошел в школу, а в начале войны оказался с матерью в Башкирии. После окончания средней школы он поступил на историко-филологический факультет Пермского университета. Учился он хорошо, был именным стипендиатом, много занимался спортом, еще больше времени отдавал стихам... Работал после окончания университета инспектором областного отдела культуры, корреспондентом радио, заведующим клубом, литсотрудником в многотиражке «Лесник Прикамья» и областной комсомольской газете «Молодая гвардия». Первая книга вышла в 1951 году в Перми.*

*Стихи Радкевича нравились многим, но не на всех он производил впечатление серьезного человека, и скорее всего потому, что и не пытался им выглядеть. Однажды его житейские огрехи были даже суммированы в газетной статье, где высказывалась неуверенность в будущем молодого поэта. Не стоило бы об этом вспоминать, тем более в данном, юбилейном случае, но надо.*

*Речь идет не о требовании всепрощения творческому человеку, а в поверхностном, искаженном взгляде на труд поэта. В самом деле, кто знает, какой ценой дается создание произведения?*

*Недаром как-то у Радкевича вырвалось:*

*В наш век чернить поэзию не смейте,  
Она во всем пред будущим чиста.  
Она с людьми в бесславье и в бессмертье,  
И в этом цель ее и правота.*

*Зная его много лет, я давно уразумел несоответствие между внешней стороной жизни и внутренней. Внешне все просто, все понятно, он словно нарочно – гусей подразнить – дает поводы для толков и кривотолков, а внутри рождаются стихи, которые с каждым годом становятся всё чеканнее, умнее, всё больше волнуют».*

*И чуть раньше – о характере поэта, о направленности лирического дарования Владимира Ильича:*

*«...Лирик самой высшей пробы, Радкевич, когда случается необходимость, становится откровенно публицистичен, тогда его сердечная взволнованность естественно перерастает в гражданственность, а личные заботы возвышаются до уровня общественных.*

*...Поэзия – его работа, и в ней он признанный мастер.*

*...Как человек пишущий, он отличается редкой скромностью. Я мало встречал, кроме него, профессиональных литераторов, которые были бы так неторопливы с опубликованием своих произведений... Мне эта черта – бескорыстие творческого характера – необыкновенно симпатична: известно, что пробивная сила автора обратно пропорциональна талантности.*

*За неторопливостью Радкевича явственно видится наистрожайшее, целомудренное отношение к поэзии, которое с годами у него не затихает, а обостряется».*

О ком это? Только ли о Радкевиче? Нет, это Давыдычев и о своих пристрастиях и предпочтениях.

Хотя более непохожих людей вряд ли можно было отыскать.

В августе 1955 года с группой физиков мне посчастливилось сходить в неправдоподобно интересный и трудный поход по Северному Уралу. После кошмарного перехода через хребет вышли на Вишеру, сплавились на плотках до Красновишерска, а оттуда, уже отмытые и чуть отъевшиеся, на пароходике поплыли домой. И вот фотография: сидим на широких перилах, у каждой на коленях книга. И подпись: «У всех девочек трудная любовь». Нет, вот так: «Трудная любовь». Это название романа, купленного нами в придорожном магазинчике, – первого романа Льва Давыдычева. Господи, мы только перешли на второй курс, а он уже классик, у него роман!

В 1956 году его принимают в Союз советских писателей. В 1960 – 1967 годы он возглавляет Пермскую областную организацию СП. У него выходят сборники рассказов, в том числе и для детей (как приветы из будущего), в местных театрах репетируют его пьесы. Он на глазах «солиднее и маститеет». Его проза – сдержанное, чуть манерное письмо с психологическим подтекстом. И вдруг – здравствуйте, пожалуйста! На свет появляется второклассник и второгодник Иван Семенов, и критика резко перемещает Давыдычева в разряд детских писателей, к тому же лучших из них. Круглая башка фантазера и замечательного обормота становится родной и узнаваемой. Давыдычев применяет замечательный литературный приемчик: он преувеличивает все обычное и привычное до невероятных масштабов. Правдоподобно и очень смешно. Его старательные положительные герои – усерднее некуда, дураки – быть глупее невозможно, ленивые – чемпионы мира по лени. В последующих романах для детей он совершенствует этот прием, изобретает еще много героев и ситуаций, но Иван Семенов остается по-своему эталонным. По повести сняли не слишком провинциальный,

вполне симпатичный – особенно совпадением юного актера и героя – фильм, она выдержала несколько переизданий в Москве. И вот что оказалось интересно. С выходом «Ивана Семенова» стало многое понятно в самом Давыдычеве: его легкое позерство, некоторое преувеличение по жизни, за которым словно бы прятал он что-то. Был очень элегантен, любил слегка обыгрывать собственное имя: отпускал роскошную гриву, с годами красиво седевшую, подписывал книги на память непременно цветным карандашом коротко «Леф». Изредка вдруг автограф оказывался длиннее: «... Абсолютно интимно от Левы».

Но вот уж кто был богат и изобретателен на автографы – так это Алексей Михайлович Домнин (я их здесь приведу немножко – не для саморекламы, а чтобы было понятно кое-что про него). На каждом присутствовал изошарж – длинненькое лицо, лысенький кумпол в обрамлении остатков прически, усы, характерная бородка. Вот уж кто играл-то всю свою жизнь! Но по-другому: не как Давыдычев, не неведомую избранную роль, а просто творил, как большой ребенок – будто играл в разные игрушки, то увлекаясь ими, то забрасывая и забывая их навсегда. Первую книжку для детей он назвал по рассказу про египетскую кошку Мау-Ми. Потом насочинял для своих подрастающих близнецов поэтическую фантасмагорию про хавров и жавров, которую тут же, недоискавшись в ней смысла, обругал журнал «Крокодил»...

А теперь вернемся к Александру Моисеевичу Граевскому. Патриот Перми и Урала, краеведческую тему он ставил во главу угла. И это он придумал «Библиотеку путешествий и приключений»: вышло больше сорока книг о природе и истории края. Увлекался, уговаривал, заставлял друзей-журналистов и совсем зеленых литераторов поработать для серии, щедро подбрасывал темы, и книга в БПП для многих становилась первой на их писательском пути. Так вот, именно в «Библиотеке путешествий и приключений» вышли первые книги Алексея Домнина и Андрея Ромашова о глубокой уральской старине.

Правда, у Домнина интерес к истории, как уже говорилось, был «семейным», воспринятым по наследству. Повесть «Матушка Русь» стала подступом к работе над текстом «Слова о

полку Игореве»: он попробовал высказать отцовскую версию об авторе великого памятника русской культуры. Другим отдаленным подступом к «Слову» были стихи, которые он начал писать как-то вдруг, и поначалу, по-моему, никто не принимал всерьез его поэтические опыты.

Вышел первый сборник «Руки». Там было немало удач. До сих пор остается ироническим самовыражением и точным автопортретом вот это:

*Эх, куплю я себе тельняшку,  
Трубку шкиперскую куплю,  
А из этой цветной бумажки  
Я кораблик себе слеплю.  
Волны вздыбятся бычьим стадом,  
Лбами галечник вороша.  
За морями страна Эльдорадо,  
И мой парус – моя душа.  
Вот ветрами она наполнилась!  
Вот о доме зачем-то вспомнилось...  
По нечесаным мокрым гривам  
Мой кораблик смешной трусит.  
Мне вдогонку кричат: «Счастливо!  
А зарплату домой неси!  
А еще не забудь сынишке  
В Эльдорадо купить штанишки!...»  
Дорогие мои тюремщики,  
Человечики вы мои,  
Отчего возникают трещинки  
На остывшей коре земли?  
Песни взаперти плачут, как дети.  
Есть зачем-то любовь на свете...  
Эх, куплю я себе тельняшку,  
Трубку шкиперскую куплю,  
А из этой цветной бумажки  
Я гармошку себе слеплю.*

Вот это всё – абсолютно про него. Про постоянную заботу о пропитании трех ребятишек и спокойствии в общем-то до-

вольно спокойной, удивительно надежной и скромной жены Тамары. И про желание малевать маслом абстрактные миниатюры на картонках. Про страсть срываться на охоту: сначала у него был замечательный спаниель Шайтан, который убегивался до полной потери сил, так что домой его приходилось волоочь в рюкзаке, потом он держал роскошного красно-шоколадного сеттера. Про детские увлечения и попытки... А рядом шли переводы и зрел не детский интерес к коми-пермяцкому фольклору, и вот уже Домнин с головой ушел в сочинения по мотивам коми-пермяцких преданий. На книге сказаний о Кудым-Оше и Перехотнике он мне написал:

*Воздымая пас увтыра,  
В переплет стучу, как в бубен:  
Будь хорошей, о Альмира,  
Среди праздников и буден.*

Сделал сноску: «пас увтыра» – посох рода. И подписался: «ВРИО пермских шаманов и заместитель Вайнемуйнена по Пермской области А. Домнин-муйнен» И, как всегда, лысенький свой кумпол пририсовал.

С его милым скромным обликом как-то не вязалась изыскательская, литературоведческая работа. Когда появился авторский перевод «Слова о полку Игореве», тоже не верилось, что это всерьез. А ведь очень крепкий получился перевод. Подумаешь, привыкли: Заболоцкий, Заболоцкий... А Домнина не хотите? А Домнин так завяз в древнерусском, что уже «писал» на нем. Вот очередной автограф на книге сказаний и легенд «Белый олень»:

*Се аз писаше скудно и убого,  
И нагрешихом вскую и зело.  
И напуцаше думу на чело  
Для новых странствий вознесяхом ногу.  
Сей грешный труд Зебзеевой даряше,  
Се молвлю аз: «Не лепо ли ны бяшет...»  
Прочти сии немудрые страницы,  
На забороле аркучи зегзицей.*

Поэтическое переложение Алексея Домнина вошло в редчайшее подарочное издание (Свердловск, 1985), включающее первое печатное издание 1800 года, ритмическое переложение древнерусского текста, гениальные иллюстрации Виталия Воловича на темы «Слова» и очень ценные приложения. Внутренним рецензентом издания был Дмитрий Сергеевич Лихачев.

Мы с Надеждой были у Домнина совсем незадолго до его кончины. Изболевшийся, почти прозрачный, он шутил...

Андрей Павлович Ромашов был старше своих сокурсников, он с 1926 года, даже войны захватил. Его исторические повести «Земля для всех», «Лесные всадники», «Кондратий Рус», «Одолень-трава» издавались в Перми и Свердловске, печатались в журнале «Урал». Всегда удивлялась тому, как ярко и предметно представлял он жизнь и быт первопоселенцев Уральского Севера, наших далеких предков. Был там среди них как свой.

Это был первый «литераторский мост» нашего факультета. (Не мосток! Литераторские мостки – часть петербургского кладбища. Хотя, увы, все они уже там. Только книги остались).

А потом были другие «мосты», такие же плодотворные горизонталы: Дрожащих – Беликов – Асланьян, Пирожников – Юзефович – Винниченко – Горланова – Королев – Ксения Гашева... Пусть простят меня те, кого не назвала или не туда поместила. Просто это уже другое время и другая песня. А в этой хотелось бы «пропеть» вот что: факультет наш как очаг филологической культуры стал еще и уютным гнездом, в котором оперились в буквальном смысле этого слова десятки профессиональных литераторов.

*Р. С.* Было у меня два места постоянной работы. Обоих сегодня нет: пришло новое время, смело их подчистую. Может, и жизни не было? Но вот остались же книги, много книг. И память.

## ПРИСТРАСТНЫЕ ЗАМЕТКИ

**Ю. Беликов**

С Юрием Беликовым мы познакомились случайно в г. Лысьва на одном из конкурсов молодых талантов, проводимых Пермским обкомом комсомола, где Юра представлял литературно-художественную композицию по стихам Владимира Высоцкого, а я, волей случая, оказался в жюри. Юра был как всегда великолепен. Я и сейчас не знаю никого, кто читал бы стихи лучше Юрия Беликова. И, тем не менее, когда голоса в жюри по поводу первого места разделились, мой голос, ставший решающим, был отдан не в пользу Юры. Неудивительно, что после конкурса, когда мы тряслись в кузове попутного грузовика до Чусового, Юра всю дорогу молчал, явно обиженный таким поворотом дела. Но под конец все-таки не выдержал:

– *Послушайте. Если я так здорово читал, как вы говорите, то почему же второе место?! Что, Высоцкий властям поперек?! – Да при чем тут!.. Ты же всех пытался уверить, что Высоцкий не просто бард, а прямо-таки выдающийся поэт нашего времени. Тогда как из текстов, которые ты читал, это никак не следовало. – Ну, например? – Да, пожалуйста. Вот, скажем, баллада «О правде и лжи»:*

*«Правда, конечно, со временем восторжествует,  
Если проделает то же, что наглая ложь...».*

– *Все. Большой поэт здесь должен ставить точку. А Высоцкий продолжает:*

*«Часто, разлив по сто семьдесят граммов на брата,  
Даже не знаешь, куда на ночлег попадешь.  
Могут раздеть, – это чистая правда, ребята...».*

– *Ну, и так далее. Спрашивается, для чего?! Все уже и так сказано...*

---

<sup>2</sup> Антонов А.В., выпускник 1977 г., доцент кафедры философии и права ПГТУ.



– Раз продолжает, значит, так и надо. Потому что талант не вмещается ни в какие рубрики. Он – сам категория, сам – рубрика...

– Кто не вмещается в рубрики, как правило, не вмещается и в искусство. И никакая популярность не выручит. Вон у Рождественского в песне: «А город подумал, а город подумал – ученья идут...» – надо бы заканчивать, а он выдает еще целый куплет:

*«В могиле лежат посреди тишины  
Отличные парни отличной страны...».*

Тут, как назло, машина остановилась в Чусовом, и чем должен был закончиться этот высоколобый спор, который в нашей стране может вестись и в кузове грузовика, и в шарашке, и на лесоповале, – так и осталось неизвестным. Каково же было мое удивление, когда я позднее узнал, что беседовал не просто с исполнителем чужих стихов, а с настоящим поэтом, который и сам претендует на то, чтобы остаться в искусстве отдельной рубрикой.

Впрочем, следующая наша встреча с Юрой была еще более неожиданной – на борту агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Ленинский комсомол». Помнится, трясаясь в купе белой ночью где-то за Полярным кругом, тащились мы с ним под музыку и «Баньки» и «Охоты на волков» В. Высоцкого... Я и сейчас чувствую в Юриных стихах запах нагретых на солнце шпал, тишину забытых полустанков, неизмеримость нашей многострадальной родины. Во всяком случае именно такой, без всякого столичного блеска вошла она в Юрины стихи и прозу. Не случайно одна из глав его повести «Изба-Колесница» так и называется «Ищите Россию на 136-м километре». Может быть поэтому и боль страны дано поэту Беликову чувствовать острее и тоньше многих современников:

*Мы все эмигранты, какой, не припомню, страны.  
И рады бы съехать, да только откуда съезжать?  
Ушла из-под ног, даже топи ее не видны.  
«Ни пяди!», – кричали. А где эта самая пядь?*

(«Подследник»)

Читая Беликова, ощущаешь, что страна-то у нас распалась не только вширь или географически, но и вглубь исторического пространства. И как в своей общественной деятельности: ведя рубрику «Приют неизвестных поэтов», поддерживая сайт «Дикороссы» и другими способами, Юра пытается скрепить русскоязычное единство, так и в стихах своих он пытается соединить, в разные стороны торчащие обломки нашего прошлого, не различая при этом, кто прав, кто виноват.

*Я видел старуху – она с Колчаком танцевала,  
а я ей со сцены зеркального Блока читал  
и выбор оценивал взявшего Пермь адмирала,  
как если б мой выбор оценивал сам адмирал.  
Хоробрых – так звали старуху. И только с такою  
фамилией можно решиться на круг с Колчаком.  
И только Колчак прозревающе-властной рукою  
мог выбрать Хоробрых из барышень, с кем не знаком.  
Откуда он знал, что никто из тех барышень, кроме  
прелестницы этой, не сможет уже удержать  
ни спинки прямейшей, ни памяти, но не о крови –  
о вальсе воздушном, влекущем ход времени вспять, –  
туда, где «из глубы зеркал ты мне взоры бросала»,  
сюда, где ей сызнова Блока со сцены прочтут,  
и в первых рядах комсомольцы не выйдут из зала,  
но, как олигархи, примерным вставаньем почтут...  
Вся в пятнах пигментных, взирая на этих пигмеев,  
последнее, что изощрится подумать она:  
«Повесить бы парочку на фонарях да на реях!»  
И спину покажет. И будет прямою спина!...*

(«Танец с Колчаком»)

Мелкие, выхваченные из истории бытовые эпизоды в Юриных стихах приобретают прямо-таки символическое значение. Так происходит и в том случае, когда Юра вспоминает об одном из палачей, закопавших живым в землю епископа Пермского и Кунгурского Андроника, – некоем Дрокине, который сделал из панагии священника цепочку для собаки, и, глумясь, таскал на ней пса по улицам Перми.

*А если передернуть, как затвор,  
немного ударенье по ранжиру, –  
не Дрокин, а Дракон идет по миру,  
и сговор вырастает выше гор.  
Идет Дракон, затворы передвинув,  
и головы меняет, будто рокер:  
то Андрияшкин, то Маслохутдинов,  
мне все равно, я знаю: это Дрокин.  
А Дрокин – это кровь в дровянике  
и дроги на дороге, и сороки,  
трещащие нещадно «дрокин-дрокин!»,  
когда древко зажато в кулаке...*

(«Цепная Пермь»)

Есть в Юрином даре и нечто пророческое. Да он и сам пишет об этом.

*Мне дан проклятый дар,  
как дырка в атмосфере,  
течь в днище корабля,  
брешь в крепостной стене,  
и входит мир ко мне  
сквозь запертые двери,  
и то, что знаю я,  
не знать бы лучше мне.*

И пускай со времени Пушкинского «Пророка» реалии заметно изменились. К примеру, если поэт у Пушкина мог чувствовать и «гад морских подводный ход», то поэт Беликов в той же стихии различает уже «подлодки, переполненные матом». Все-таки мне кажется, что то, о чем Юра иносказательно говорит в стихотворении «Рябина», с его стихами обязательно слушается:

*Мы поздние, поздние...  
Мы схожи с рябиновыми гроздьями.  
Леса опустеют старинно,  
Останется только рябина.  
Рябина! Боярыня-Морозова*

*Ты – в будущее сослана.  
За то, что еще не картина.  
За то, что не к лету горька.  
О, как ты любима, рябина!  
Однако, сквозь время пока.  
Как в тяжелой цепочке похода  
Сильнейший идет позади,  
Чтоб первой быть в кроссе природы –  
Последней рябина иди.  
Глотайте клубнику на корточках!  
Но все перетянет в мороз  
Скупая, отважная горсточка,  
Высокая красная гроздь.  
И чудо! А может не чудо?!  
А просто в преддверьи зимы  
У истины смыло запруды  
И вот она – чудо!  
И мы, поэтому поздние, поздние...  
Все время смотрящие в спину.  
Но воздух уж пахнет полозьями  
И едет народ по рябину...*

### **В. Дрожащих**

Со Славой Дрожащих мы познакомились на 1 курсе филфака, где Слава сразу же утвердился среди сокурсников как поэт. Стихи он писал зрелые и прекрасные. Поэтому вполне заслуженно, что вскоре Славу назначили редактором филфаковской стенной газеты «Горьковец». А поскольку в ту пору Слава был уверен в себе, весел и ироничен, то как бы сама собой из этой иронии родилась у него идея издавать попутно также и параллельное «Горьковцу» издание – альтернативный журнал. Название этому журналу придумал тоже Слава – «Дых» – «коротко и глухо, как удар ниже пояса», – как формулировалось тогда в редакционной статье. Упоминаю об этом не потому, чтобы эпизод этот имел какое-то эпохальное значение, а лишь потому, что в растиражированных воспоминаниях некоторых филфаковцев стенгазета «Горьковец», постоянно контролируемая парткомом факультета, вдруг в одночасье превратилась в эдакую фор-

му революционного протеста против удушающего режима, где продвинутые либералы-маргиналы с помощью эзопова языка ловко смаковали запретные политические ассоциации. И вот – на тебе! Сам же редактор газеты «Горьковец», оказывается, видел «отдушину» вовсе не в официальном своем детище.

Разумеется, речь в журнале «Дых» шла не о политике. Обычная пародия и литературное хулиганство. Организационная и редакторская работа выпали на мою долю, Слава Дрожащих отвечал за раздел поэзии, Слава Полунин – прозы, а Владимир Абашев – за раздел литературной критики. Содержание номера зеркально отражало то, что было в «Горьковце». Поэтому кроме стихов и прозы там были представлены также и афоризмы от каждого автора. Из Славиных помню один, возможно, не самый удачный – «ночью все кошки – стервы». Зато помню одно из Славиных стихотворений, которое хорошо передает общий ёрнический тон журнала «Дых».

*Под лунный кап  
Забиться в шкаф,  
Втянуться в мамин запах  
И в темноте жевать рукав  
Еще нежней, чем завтрак.  
Ознобом огненным пылать –  
Не сдохнем – блохи-пончики!  
И блох зубами стукотать,  
Волос вздымая кончики.  
Как хорошо! Как хорошо!  
Ногою – в пасть, как надо!  
А за стеной до звезд горшок  
Вздыхал унылой канонадой...*

Конечно, все это литературное веселье могло закончиться плачевно. Но, слава богу, в результате благоразумной медлительности Владимира Абашева, задержавшего сдачу своих материалов, журнал «Дых» так и не увидел свет. И только благодаря этому все перечисленные персонажи смогли благополучно закончить университет.

А то, что опасения по поводу отчисления были не напрасны, вполне доказывается следующим эпизодом. Раньше студенты зависали в Горьковке точно так же, как сегодня в Интернете. Поэтому никого не удивило, что под вечер в зале гуманитарной литературы появился Боря Кондаков, в ту пору уже аспирант. Боря подсел к нам за столик и, глядя в какую-то бумажку, спросил, как проехать к Дрожащих. – А чего это он вдруг понадобился?! – Да вот, – грустно ответил Боря, – затребовали все материалы по диплому, – и, понизив голос, добавил: «Интересуются политическим лицом...»<sup>3</sup>.

Но поскольку милейший и интеллигентнейший Борис Вадимыч ехал к Славе впервые, неудивительно, что к тому времени, когда он позвонил в дверь, мы со Славой и Леной (в ту пору женой Славы) уже минут пятнадцать как обсуждали неожиданно свалившуюся неприятность. При этом нервы наши были так напряжены, что настольная лампа, стоявшая на тумбочке, которой никто из нас не касался, вдруг, без всякого спиритизма,

---

<sup>3</sup> Насколько я помню этот эпизод, события развивались следующим образом. На факультете стало известно, что ожидается очередная комиссия, которая, в частности, будет проверять дипломные работы (в составе комиссии, как справедливо предполагалось, должны были быть преподаватели с кафедр истории партии и научного коммунизма). Зав. кафедрой С.Я. Фрадкина (очень мудрый и осторожный человек!) проверила наличие дипломных сочинений недавних выпускников в архиве кафедры и обнаружила, что почему-то отсутствует дипломная работа В. Дрожащих, которая, по ее обоснованным предположениям, должна была вызвать особый интерес членов комиссии. Мне, лаборанту кафедры русской литературы, немедленно было дано поручение найти дипломную работу В. Дрожащих (или ее дубликат). Изучив работу, С.Я. предложила перепечатать (или переписать?) несколько страниц введения для того, чтобы вставить к нее несколько важных сносок на работы В.И. Ленина, Л.И. Брежнева, материалы очередного съезда КПСС. Действительно, члены комиссии сразу же потребовали показать им дипломную работу В. Дрожащих и стали проверять в ней наличие необходимых сносок (которые все в требуемом количестве и обнаружались). Больше ничего на кафедре комиссию не заинтересовало, и она больше на факультете не появлялась. – *Прим. Б.В. Кондакова.*

подпрыгнула и оглушительно грохнулась на пол, погрузив нас в мрак и ужас...

К счастью, политические невзгоды обошли тогда поэта Дрожащих стороной... А единственная трудность, которая ему реально досаждала – невозможность печататься – никак не была связана с политикой. В таком положении были практически все начинающие авторы. И между прочим именно благодаря этому первой аудиторией, в которой Слава явил свое творчество миру, оказались мы – его сокурсники. Вот почему, например, я сегодня могу уверенно сказать, что стихотворение «Версия плача», которое в Славином сборнике «Рифейские строфы» числится за 1979 годом, на самом деле написано им не позднее 1973...

Нас поражала в Славе новость откуда взявшаяся в столь молодом человеке опытность в ремесле, естественные, как сердечный пульс, ритмы его стихотворений:

*За новым вдогонку без слез, без молитвы  
По травам сменившись, пенным навзрыд.  
По лунам, присохшим к базальтовым плитам,  
Хрипящие тени пройдут без молитв...*

(«Комета-олень»)

Но, пожалуй, больше всего нас восхищала ни на что не похожая образность Славиных стихов:

*С кем встречи – мятеж под дождями державными  
Чьи плечи сводило жемчужною жалобой...*

Казалось бы, еще поэты XVIII века сравнивали женские плечи с жемчугом. Тут тебе – и драгоценность, и матовое свечение, и редкость – все в одном флаконе. Но у Славы-то жемчужною оказывалась жалоба?! Может ли жалоба быть жемчужной?! Вряд ли. А между тем в соединении с плечами мы наблюдаем здесь такой резонанс, такой взрыв поэтического смысла, что нарушение смысла лексико-грамматического попросту не замечается.

Еще пример:

*Рабыня звезды азиатской, что шепчешь мне,  
Что – голосом влажным от страсти, что – в ереси?*

*Вечерняя вся, в поцелуях, нашествие,  
Во тьме краснотелого вереска версия...*

Последняя строчка, может быть, вершина поэзии Дрожащих. Как у А.С. Пушкина в «Евгении Онегине» или у С.А. Есенина в «Анне Снегиной» разговорная речь настолько естественно входит в повествование, что стихи фактически перестают быть стихами, – так и у поэта Дрожащих здесь перед нами уже не стихи, а непосредственно бессвязное бормотание влюбленного. Высший поэтический смысл рождается из кажущегося отсутствия всякого смысла. Чуть-чуть измени ситуацию, – все исчезнет. Останется рэп, а не поэзия, название, а не выражение.

Но как же сложно, оказывается, соблюсти это «чуть-чуть»! Прежде всего, потому, что главной особенностью поэта Дрожащих является интимное переживание каждого слова. Казалось бы, этому можно только радоваться. Ведь именно так поэты «сиять заставляют заново» те или иные слова. Да и сам Слава делал это не раз, самым блестящим образом. *«И хранить в несгораемом сердце драгоценные камни обид...»*. Разве не расширяются от подобной встречи значения слов и «сердце» и «несгораемый»?!

Но, к сожалению, с индивидуальными значениями слов случается и по-другому. *«Ночь лесная, наш угол, честь волчью готовь...»*. В это трудно поверить, но форма «волчью» здесь у Славы – собирательное существительное. Ночные прогулки в лесу опасны для девушки прежде всего из-за двуногих волчьих стай – вот какую тревожную атмосферу встречи хочет передать нам автор. Однако образ этот едва ли дойдет до сознания большинства носителей русского языка. Ведь в обычном словоупотреблении форма «волчью» является определением. В силу машинальной языковой привычки читатель начнет мучительно сопрягать его со словом «честь». И в лучшем случае останется в недоумении, при чем здесь это?!

Не всегда у поэта Дрожащих мы видим смысловый резонанс и в слиянии образов. *«Не губи светносную жилу во мне!»*. Жила здесь – это что: нечто физиологическое или геологическое?! Чем больше образов, тем больше и лексико-



грамматических нестыковок. К тому же, как на грех, Слава принадлежит к тому литературному течению, которое в нашей стране наиболее ярко представлено творчеством Андрея Вознесенского и Олжаса Сулейменова. И которое, с некоторой натяжкой, можно было бы назвать «литературным кубизмом». Форма здесь очевидно господствует над содержанием. Общий смысл рождается из маленьких образов-кубиков. Часто трудно вообще угадать, что хотел сказать автор. Те же стихи позднего А. Вознесенского. Это, скорее, лакомый кусок для любителей ребусов, нежели действительных ценителей поэзии. Вот и у поэта Дрожащих многие вещи, к сожалению, написаны именно в этой изысканно-модной манере:

*Колокола, припаркованы к мертвым, о море, о море судачат,  
о солеварне рессорных волн, о том, что рацейский гнус.  
Цезарь круглится бурный в пакгаузах теплого плача  
узилищ твоих материнских – и пробует волка на вкус.*  
(«Привет Кадриоргу!»)

Это уже, собственно, ничем не отличается от того, что сочиняют компьютеры методом перебора слов...

Как видим, он очень разный – поэт Дрожащих. Фактически его еще только предстоит открыть заново. Очистить от всяких литературных увлечений и преувеличений. Слишком уж многое из написанного Славой говорит о том, что он может и должен стать не поэтом для поэтов, а поэтом для всех...

*Н.Н. Гашева<sup>4</sup>*

## **В ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ**

В университет я поступила в 1978-м, в самый разгар брежневского «застоя». Помню бесконечно-тягучие бдения наши на поточных лекциях по истории КПСС в 70-й аудитории

---

<sup>4</sup> Гашева Н.Н., выпускница 1983 г., доктор культурологических наук, профессор кафедры культурологии Пермского государственного института искусства и культуры.

старого географического корпуса. Троцкисты, ревизионисты, правый-левый уклоны. Большинство, и я в том числе, занимались потихоньку своими делами, прячась за спинами сидящих впереди. Иногда от ровного гудения преподавательского голоса я задремывала. Глушили нас идеологией на протяжении всех пяти лет обучения на родном филфаке по полной программе. Чего стоила только необходимость читать и без конца перечитывать, тщательно при этом составляя подробные конспекты, произведения классиков марксизма-ленинизма! Или незабываемые часы политинформации, на которых наша активистка-однокурсница Таня П., с самозабвенной интонацией, ничуть не уступая Белле Ахмадулиной, зачитывала нам, словно любимые стихи, статьи, посвященные партийной проработке горьковского узника, академика А. Сахарова. Помню, как во время семинара по той же истории КПСС, в самый кульминационный момент обсуждения борьбы Сталина с Бухариным, моя однокурсница, Моника С., шепотом поведала мне последние печальные новости, подслушанные ее папой ночью по «Голосу Америки», о судьбе участников недавно разгромленного московского альманаха «Метрополь», о Василии Аксенове, Анатолии Гладилине и других, столь чтимых нами писателях, которых вскоре постигла участь изгоев. Апофеозом всего этого вялотекущего абсурда явилось одно из моих случайных пробуждений от сладкой дремоты на задней скамейке все той же 70-й аудитории, во время лекции уже по научному коммунизму. Было это на 5-м курсе. Мы стали взрослее, закалились духом, и, в принципе, меня уже трудно было чем-нибудь удивить. Но в тот момент я удивилась: милая дама-преподаватель ласково-вкрадчивым картавым голосом поведала аудитории, что главным виновником известных чешских событий является не кто иной, как Франц Кафка. Вначале мне показалось, что я ослышалась, я стала оглядываться на своих однокурсников, пытаюсь понять их реакцию на сказанное. Однако все были спокойны и, как видно, дружно спали, не закрывая при этом глаз. Мне сделалось страшно. Не хотелось быть детьми застоя, хотелось быть детьми культуры. Спасительной альтернативой повальному оцепенению был филологический контекст. Для меня он стал складываться еще в детстве и

целительную силу его притяжения я ощущаю и сейчас. Контекст этот весьма своеобразен. В нем наряду с «Братьями Карамазовыми» на равных правах присоседились братья Кондаковы. Мифическая личность – Игорь Кондаков – нонконформист, ниспровергатель советского комсомола, на спор с однокурсниками целующий на улице ничего не понимающую случайно встреченную, остолбеневающую незнакомку, – в моем воображении почему-то ассоциировался не иначе как с Чингисханом и Ставрогиным. Здесь Римма Васильевна Комина, как ферзь, а с ней и история ее московского учителя-профессора А. Белкина, обвиненного властями в космополитизме. И она, Р.В., – единственная из его учеников, не предавшая его. И ее ссылка в Пермский университет. И как нам всем вследствие этого повезло. И драматическая история рассыпанного университетским начальством по идеологическим соображениям солженицынского сборника факультета. Тут и вся фантазмагорическая эпопея, связанная с историей моего отца, его письмом в защиту А. Солженицына, и все известные последствия этой истории. И отчаяние моей матери, плачущей на кухне в нашей нищей двухкомнатной квартирке на бульваре Гагарина, когда по радио объявили о снятии Твардовского с поста главного редактора «Нового мира». «Все. Это – конец», – сказала она тогда моему отцу. И привезенная отцом из елабужской командировки фотография самоубийцы Марины Цветаевой (длинная шея, крупные бусины, кадык). Эту страшную фотографию мать потом спрятала (и больше я ее никогда не видела, но запомнила на всю жизнь): накануне был в гостях Дима Щ., только что узнавший от своей матери, что отец его был расстрелян как враг народа – эту тайну от него, активиста-ленинца со стажем и недавнего комсомольца, родные тщательно скрывали много лет. Дима был пьян, плакал, жаловался и маниакально внимательно слушал рассказы моего отца о подробностях самоубийства Марины Цветаевой, там, в Елабуге, в 41-м году. На следующий день мы узнали, что он повесился. Неразрывно, в моем представлении, связаны с именем Р.В. имена Бориса Гашева, Нины Горлановой, Славы Дрожащих, двух Юр: Беликова и Асланьяна. Среди филологинь моего поколения типичен был вопрос, кого ты любишь больше: Юру

Беликова или Юру Асланьяна? Это был своеобразный тест. Причем для себя я так до сих пор и не сделала окончательного выбора в этом вопросе. Загадочным гордым гением предстает в филологическом контексте одинокий демон – Виталий Кальпиди, согласно устному преданию, дерзостно задававший некогда вольнодумно-скептические вопросы на занятиях по истории партии относительно Троцкого и перманентной революции изрядно струсившей коммунистке-преподавательнице. За что и был исключен, и даже, по слухам, посажен в психушку. Для меня он был настоящим героем-мучеником. А чудные его имя-фамилия на слух воспринимались, как стихотворная строчка. Сюда же, в филологический контекст, каким-то образом вписался и Гера Кертман, сам историк и сын известного историка, профессора Л.И. Кертмана, и одной из любимых наших преподавательниц-филологинь – С.Я. Фрадкиной. Гера Кертман был звездой студенческих весен и блестящим автором знаменитой стенной газеты исторического факультета. А еще он был замечательно хорош собой и настоящий джентльмен. Девочки-филологини бредили им. Одна из них, Ира К., впечатлительная натура, грезившая Герой, на колхозных картофельных полях Прикамья под октябрьским мокрым снегом, посылая из деревни родителям телеграмму, написала так: «У меня все хорошо. Целую. Гера Кертман». И скандально известная на факультете поэтесса Наташа Г., с хрустальным профилем, прозрачно-русалочьими глазами и русой головой а-ля Марина Влади, богемная фурия, эксцентрично ругавшаяся рифмами и написавшая любовное письмо молодому преподавателю (не будем называть его имени), дерзко вызвав его на свидание, все равно как на дуэль, о чем тотчас же и разнесся слух по всему филфаку. Свидание сие действительно состоялось в 121-й филологической аудитории. Причем мнения филологов разделились: одни считали, что несчастный избранник новоиспеченной Татьяны Лариной вообще не придет, другие кликушествовали и судорожно ждали назначенного часа. Бедняга преподаватель поступил благородно: он явился. Что происходило за закрытыми дверями аудитории – никому так и не удалось узнать. История об этом умалчивает.

Выросла я в филологическом семействе с традициями семейного чтения вслух, культом «Мастера и Маргариты», песнями Окуджавы и Высоцкого. Все сочиняли, рифмовали, графоманили потихоньку в нашей семье из поколения в поколение. Помню категорическое суждение взрослых: самый талантливый в нашей семье – Боря Гашев. Но характер у него трудный. Это – мой дядя, младший брат отца. Среди тех, кто его знал, Боря был притчей во языцех. О причинах трудного Бориного характера мой отец когда-то высказывал свое предположение, которое здесь и привожу. *«Когда Борька был маленьким, они с моим отцом, тоже тогда мальчишкой, отправились в лес, за грибами, что ли, там, у себя в городке своего далекого детства, в Верещагино. Почему-то Борька отстал от старшего брата и в результате потерялся. Искали его несколько суток всей округой. Когда, найденный пастухами уже в другом районе, он, наконец, был спасен и возвращен домой, это был уже совсем другой Борька. Замкнулся парень в себе, угрюмый стал, молчаливый какой-то. Что он там перечувствовал-передумал один в огромном темном лесу? Он об этом так никому никогда и не рассказывал».*

Так сложилось, что в детстве своем и в юности я мало общалась с ним. Как люди разных поколений, но связанные узами родства, мы, конечно, любили друг друга и, встречаясь во время обычных семейных сходов, обменивались какими-то теплыми словами. Часто, гуляя с сестрой, мы встречали его где-нибудь на улице, и всегда радовались этим встречам. И он тоже радовался. И я помню, как он улыбался нам навстречу, но как неизменно печален и отчужден всегда был его взгляд. Я знала о Боре от взрослых, что он поэт и что он, вследствие этого, горький пьяница. То, что эти вещи как-то неразрывно и фатально связаны друг с другом, казалось мне нормальным. Из детства помню только несколько строчек из Бориного стихотворения, которое часто вслух цитировал отец:

*Дело рук своих несмело  
оглядев со стороны,  
Руки белые от мела*

*вытираю у стены...  
Хорошо на переменке  
повстречать своих ребят,  
Повстречать своих девчат,  
И в учительской у стенки  
Постоять и помолчать...*

Это были стихи из маленькой книжечки 1961 года «Студенческая весна», собранной Р.В. Коминой, с ее же предисловием, где она замечательно пишет о творчестве своих учеников-студентов филфака, а среди них был и Боря, как мне думается, один из ее любимцев. Не случайно же она так хотела, чтобы он поступил к ней в аспирантуру. И много хлопотала, убеждала кого-то в начальственных кругах. Этого, однако, не случилось. И все из-за трудного Бориного характера. Убежал он от дверей начальственного кабинета, где серьезные университетские дяди уже готовились положительным образом решить его судьбу, открыв ему двери, так сказать, в славную советскую науку. В этом своем побеге – весь Боря. Причем он и не стремился объяснить никому своего странного поведения. А просто, как рыба из сетей, всю жизнь норовил ускользнуть из чьих-то чуждых цепких лап (почему-то мандельштамовские строчки здесь мне приходят на память, очень они подходят для характеристики этого странного Бориного свойства:

*С миром державным я был лишь ребячески связан.  
Устриц боялся и на гвардейцев смотрел исподлобья.  
И ни крупицей души я ему не обязан.  
Как я ни мучил себя по чужому подобию...).*

Надежда, моя тетка и Борина жена, вспоминает, что, когда ему предложили вступить в партию, он полюбопытствовал: «В какую?», – больше к нему с этим делом не приставали. Одна из его многочисленных парадоксальных шуток относительно вездесущих друзей или слишком любвеобильных женщин: «Прихожу домой, а там засада...». Одна из экзальтированных поклонниц-филологинь, влюбленная в него, не давала ему проходу, и однажды, когда она прибежала в комнату общежития, где жил Боря, чтобы решительно объясниться с ним, его друг, Во-

лодя З. соврал ей, по его просьбе, что Бори, мол, нету, он, вроде бы в библиотеке. Но она, «Бедная Галя В., с толстыми ногами», – как сам Боря потом растерянно рассказывал, все сразу поняла и смертельно была обижена, она ведь видела, что он в это время прятался за шторкой, и он тоже отлично видел ее из своего надежного укрытия и понял, что она его заметила, но не вышел. Вот так вот он и стремился жить, стараясь следовать мудрости древнего грека Платона: «Счастливо прожил жизнь тот, кто сумел лучше спрятаться» или еще: «Мир ловил меня, но не поймал...». Хотя, как известно, самому Платону это не удалось. Не удалось это и Боре. После университета, променяв советскую науку на журналистику, он довольно быстро перестал писать газетные материалы сам, не желая соучаствовать в умножении демагогического словоблудия. Должность ответственного секретаря давала опять же возможность какой-то неуловимой независимости. Вернее, видимость ее, хотя и довольно зыбкую. И отсюда постоянная затаенная тоска в его глазах. Хотя при этом он всегда шутил. Его друзья и близкие этим шуткам, как правило, удивлялись. Это была его стихия – шутки, каламбуры:

*Я не хочу до похорон  
хоть чем-то радовать ворон.  
Но все равно в ущерб  
Не будут эти стервы.  
Они имеют два крыла.  
Такими мама родила.  
У них какие карты?  
Они умеют каркать.*

Один из его друзей – пермский журналист и писатель Владимир П. – даже завел специальную книжечку, куда записывал Борины шуточки. Многие из них сохранились. Например: «*Старинный русский город Великие Льготы*» или «*Еще неизвестно, какой метод оптимистичней: романтизм или соцреализм. Вот у Жуковского мертвец встает из могилы, а что может быть оптимистичнее, чем встающий из гроба мертвец?*» или «*Андрей Белый заболел и пришел к врачу. «А покажите-ка язык... – «А, батенька, язык-то белый! Белогвардейский язычок-*

*то! А как ваша фамилия?».* Кажется, у И. Бродского есть где-то рассуждение о том, что от всех тоталитарных режимов русский человек во все времена спасался шуточками. Имея дар остро схватывать гротески жизни, Боря о самом страшном в истории народа, о трагических сторонах национального бытия умел написать ненавязчиво, без декларативности и пафоса, ерничеством оттеняя всю серьезность своей рефлексии о судьбах родного отечества:

*Как сейчас говорится,  
Что в войне мировой  
Не случилось укрыться  
Ни семье ни одной, –  
Так и тут, только хуже –  
Там хоть кровь, а тут гной –  
Не осталось, похоже,  
Ни одной, ни одной...*

Или:

*Когда собрался съезд скандальный  
Над потрясенною страной  
и потянулся люд кандалный  
Вдоль по дороге столбовой,  
Тогда безногие Баяны  
Почти что все сошли туда,  
Куда мы, трезвы или пьяны,  
Взглянуть не можем без стыда.*

Причем шутки Борины были парадоксальны и не всегда понятны окружающим, даже обидны. Хотя вообще-то на него не обижались. Особенно женщины. Наоборот, его все любили. Такой он был человек. Легкий. И это даже несмотря на свой трудный характер. Нельзя было обижаться. Даже было такое ощущение, что грешно на него обижаться. Как на ребенка, что ли, или на Моцарта. Но с годами шуточки эти становились даже мрачноватыми, отчаяние в них усиливалось и уже не находило катарсического выхода. Во время проводов Бори на пенсию, когда собралась вся редакция и по традиции было душно от красноречивых славословий коллег, новоиспеченный пенсионер, не



выдержав, сорвался, совсем как вампиловский Зилов в «Утиной охоте», шокируя окружающих, стал насмешничать. Роздал всем «сестрам и братьям по серьгам», так всю правду-матку им и выдал, все, что о них думает, все, что накопилось за многие годы.

Я даже думаю, было в его шутках что-то от юродства, как и во всем его поведении (Ю. Беликов в своих воспоминаниях рассказывает, как Боря в день своего последнего юбилея, приняв изрядную дозу на грудь, упал на диван и, корежась и извиваясь всем телом, кричал остолбеневшим друзьям и родным: «Застрелите меня! Я не хочу больше жить...»), как и в его стихах и в прозе. Стремление все время провоцировать окружающих, обстоятельства, саму жизнь странными выходками, парадоксальным словом, подчеркивая, что главное не Буква, а Дух. Это особое состояние души, свободной, поднимающейся над стереотипами. Неоднородность эта, возможность разночтения, символический подтекст – для других и в слове, и в каждом его человеческом жесте. Мол, вот можно, оказывается, и так – ускользая от окончательных определений, жить, все время пролетая где-то рядом, но не здесь, все время присутствуя, но будучи при этом внутренне совершенно свободным, не связанным никакими из общественно-полезных и общеобязательных установлений, быть все время среди людей, на людях, но при этом – совсем одному, то есть совершенно одиноким, самодостаточным, и, находясь среди даже очень близких и любимых людей, сохранять свою суверенность, свой единственно сокровенный невидимый мир, ведь он – «Невидимка» (так называется одно из лучших его стихотворений, давшее название книге стихов), а значит, свободен от наших условностей и тяжести будней зримой и тяжелой реальности.

Было у него такое странное свойство: присутствовать отсутствуя. Взгляд такой пристальный и отстраненный от повседневности, погруженность в самое существо бытия:

*Срез пустотелого стебля.  
Синего неба простор.  
Но между небом и стеблем  
Все-таки пропуск пустой.  
Все-таки сразу над жнивной*

*Неуловимо, слегка,  
Некий пробел сиротливый,  
Некий пролет сквозняка.  
Словно бы там, над стернею,  
Выше стогов и ракит,  
Небо, как тело живое,  
Дальше летит и летит.*

Надмирность? Пожалуй, нет. Но было во всем его облике что-то от птицы. И физическая хрупкость, и тонкое внутреннее изящество. И очевидно, сам он это ощущал. Недаром так много писал о них:

*Тянет тебя по привычке  
К речке и всякой гульбе...  
Как-нибудь на электричке  
птица придет к тебе.*

Или:

*На подоконник вдруг  
свалился с неба голубь.  
Когда прошел испуг,  
я понял: это к горю.*

У меня сохранилась любительская фотокарточка, где Боря – крупным планом – смеется, шутливо грозит пальцем прямо в объектив. Фокус смазан, и Борины ладони выглядят как растопыренные крылья. Или какой-то особый, сугубо свой, индивидуальный, подход ко всему. И поэтому шутки его были всегда немного с горчинкой:

*Страна наводнена больными:  
Косыми, с нервами, хромыми.  
У нас палат навалом, но –  
Когда заходите в психушку,  
Во-первых, в комнате темно,  
А во-вторых, берут на пушку.*

Ну, представьте, себе такого странного человека, шаткой походкой проходящего по городским улицам, в потертом мятом плащике (который, кстати, часто фигурирует в его стихах), оди-

ногого прохожего, как будто без всякой цели прогуливающегося, между прочим, даже вовсе и не пьяного, и при этом с улыбкой на губах, очень увлеченно и живо разговаривающего с самим собой. Как будто бы он шутил не только с другими, но и с самим собой тоже, и даже над самим собой. И при этом жестикулирует, строит удивленные глаза. Такой городской сумасшедший. Блаженный. Дело в том, что поэтическое мышление его было диалогично. Как и вообще любое творчество есть диалог художника с самим собой или с квазисубъектом. Любое из Бориных стихотворений – это разговор.

*Я ему говорю: «Не обидно?»,  
Но в ответ получаю молчок.  
Я опять пристаю: «Существо ты  
Или ты, – говорю, – вещество?»  
Наконец, отозвался он: «Кто ты?»  
Побоялся узнать не того...*

Это – общение. И не всегда ясно, с кем. Но исповедальная, иногда до инфантильности, трогательно беззащитная его манера общения в поэтическом высказывании, проникает в самое сердце, делает каждого, кто прислушается к его голосу, соучастником драгоценного душевного события:

*Что сказать мне на закате света?  
Темно.  
Где найти тебя?  
Тебя тут нету.  
Все равно.  
Ничего не означает горе  
Из того, что есть.  
Из того, что означают горы,  
Море. Весть.*

Открытость его навстречу миру, почти полная растворенность лирического «я» в окружающем пространстве, радостное переживание естественного родства с ним и в то же время, тревожное сознание близости подстерегающей бездны, которая всегда рядом, экзистенциальное отчаяние:

*Как страшно было там лежать —  
Среди расстрелянных в затылок.  
Но в ожидании носилок  
Опять заставили дышать  
Опять велели память мучить.  
А ведь какая благодать  
Лежать рядом в кровавой куче,  
Не знать, не видеть, не дышать.*

Неизбывное чувство вины, рефлексия о смерти, предчувствие последнего расставания:

*Я жил среди вас, но как воздух,  
Как местность, что возле Оки,  
Как свист за окошком.  
Как возглас  
Сквозь сумерки из-за реки.*

Круг этих вопрошаний был настолько серьезен и так волновал его самого, что это волнение охватывает и нас, читателей его единственной книги, вышедшей уже посмертно. При жизни его практически не печатали. Нельзя сказать, что он был к этому безразличен. Переживал, конечно. Но он как-то был выше унижений, которым частенько подвергают себя неудачливые авторы, суетливо бегающие по редакциям, заискивающие перед нужными людьми, способными «протолкнуть» их сочинения в печать. Не было в нем этого плебейского тщеславия. Был духовный аристократизм, человеческое достоинство:

*И пожалеть тебя, кристаллик,  
Тут ни души.  
Ты шестерня, крути свой валик,  
Дыши, дыши.  
Весь белый свет сметает веник.  
И ни черта.  
Среди членистоногих членик.  
Прибой. Черта.  
Пусты твои потуги, зряишны.  
Но, как никто,*

*Запахиваешь ты отважно  
Свое пальто.*

Возможно, это качество передалось ему по наследству от деда – священника, сгинувшего в сталинских лагерях. Был щедр и не скопидомствовал. Писал легко, рифмы рождались мгновенно, тексты, как он признавался близким, приходили сами собой, во сне. И даже не всегда он их записывал, как и шутки, охотно раздаривая образные находки друзьям. Не рассчитывая и не подсчитывая. «Ни дня без строчки» – это не про него. Ленился. Сибаритствовал. Но не потому, что был бездельник. Глубоко близко ему было цветаевское философское размышление о смысле бытия и творчества:

*А, может, лучшая победа  
Над временем и тяготеньем –  
Пройти, чтоб не оставить следа,  
Пройти, чтоб не оставить тени  
На стенах. А может быть, отказом взять?  
Вычеркнуться из зеркал? –  
Так Лермонтовым по Кавказу –  
Прокрасться, не встревожив скал...*

И между прочим, сто с лишним Бориных стихотворений – это не так мало, если учесть, что каждое из них – чистейший алмаз.

В последние пять лет его жизни мы были почти соседями. Виделись чаще. Был он мрачен. Писал странные пророческие стихи о собственном конце:

*Просыпаюсь – меня отпевают.  
За столом собрались у огня.  
Говорят, головами кивают.  
Вспоминают – не шутят – меня.  
Все, как есть, говорят.  
Все, как было.  
В чем я прав был, а в чем виноват.  
Говорят, дескать, было, да сплыло.  
Говорили ему, – говорят.*

*Невдомек им, что маюсь без сна я.  
Говорят, не посмотрят назад.*

Тосковал по собеседнику. Всем как-то было не до него. Все были заняты своими делами. Возможно, что эта общительность без границ и погубила его. Ведь и в день своей гибели, в мае 2000 года, спасаясь от одиночества и необходимости высказаться, он заговорил во дворе собственного дома с бомжами. Ему очень нужно было, чтобы его кто-нибудь слушал. Не всем дано понять разговор поэта. Удар в висок оказался смертельным. Смерть была мгновенной. Надежда Гашева в своих воспоминаниях рассказывает: *«После его смерти, кроме стихов, прозы, набросков (остались рассказы, незаконченная повесть, фрагменты романа о поэте-декабристе Рылееве и множество блестяще остроумных писем), в его бумагах обнаружился лист, где сверху было написано: «Дочери. Я старался. А внизу: Но Бог не спас». Белое пространство листа осталось чистым. А через много дней после похорон Бориса жена и дочь делали большую уборку в доме. Пришлось перевернуть диван. На его фанерном днище была надпись его рукой: «Здесь спал Боря». Кому он это написал? Нам? Господу Богу?».*

Последняя наша встреча с Борей трагикомична. Сидели у нас дома, разговаривали обо всем на свете. Боря читал стихи, забывая собственные строчки. Все уже устали. Пора было расходиться. Он ни за что не хотел одевать пиджак, артачился, хорохорился. Я взялась помогать ему и была поражена его худобой. С трудом преодолевая его упорное сопротивление, я пропихивала его тщедушную, как птичье крылышко, ручку в рукав пиджака, ощущая под своими пальцами хрупкость и какую-то нездешнюю эфемерность всего его человеческого состава. Воистину, один дух обретался в этом существе. Наконец, мы справились с пиджаком. Он ворчал, ругался и был как-то очень непримирим. Обижен, как будто над ним совершали насилие. На ногах он уже стоять не мог, поэтому его отправился провожать муж моей сестры – Иван. Боря упрямылся, отказывался идти. Иван посадил его на детские санки моей дочери и повез через дорогу. При этом Боря изо всех сил елозил ногами по снежной дороге, тормозил, хватался за кочки и все время норовил вы-

браться из санок или хотя бы опрокинуть их. На рельсах ему, наконец, удалось остановить санки, они прочно застряли в сугробе. Боря торжествовал свою победу, даже улюлюкал, дразнился и показывал Ивану язык. Неотвратно приближался дребезжащий трамвай. Иван в ужасной спешке схватил Борю в охапку, оттолкнул санки в сторону от трамвая и понес поэта, как ребенка, на руках.

В одном из наших телефонных разговоров Боря, между прочим, сказал однажды: «Только что я разговаривал с Юрой Асланьяном. Это последний пермский поэт, которого еще не убили». Было это вскоре после того, как в сентябре 1999 года пермские бомжи запинали на ночной городской улице замечательного поэта Николая Бурашникова. Я вот все думаю, кто эти люди, убивающие наших поэтов? Может быть, это потомки лагерной obsługi? Дети или уже внуки вертухаев? Не помню, писал ли Карл Маркс где-нибудь о том, что классовый инстинкт передается по наследству?

О Юре Асланьяне я слышала еще до поступления в университет, а познакомились мы в 1978-м. В те допотопные времена я, как все уважающие себя филологи, потихоньку складывала стишки, рифмовала что-то типа «слезы-березы». В результате поэтический лидер филфака, редактор факультетской стенной газеты «Горьковец», организатор поэтической группы «Времири», легендарный Юра Беликов, этот суровый и непреклонный, всегда очень серьезный, одинокий, угрюмый, как лермонтовский утес, странный мальчик, с абсолютно фантастическим взглядом косоватых глаз, смотревших всегда куда-то мимо тебя (мне казалось, что он не видит собеседника, а смотрит куда-то внутрь себя, или вглядывается в неведомое нам, простым смертным, в некую непостижимо прекрасную и одновременно ужасную бездну), неожиданно однажды, как обычно, ни с кем не здороваясь, целеустремленно и, может быть, отчасти и маниакально, пробегая (он всегда куда-то спешил, был в вечном движении, на ходу – иначе я себе Юру Беликова и не представляю) мимо всех на своем пути, как бы преследуя свою, только ему одному видимую, смысложизненную точку в пространстве бытия, вдруг на секунду приостановил свой стремительный

судьбоносный бег, заметив меня, и, к моему большому удивлению, пригласил меня выступить вместе с времирями с чтением собственных стихов на концерте в рамках «Студенческой весны». Перефразируя В. Высоцкого, могу сказать, что в тот тесный круг не каждый попадал. Комната в студенческой общаге, в знаменитой «восьмерке», где обитали поэты, была центром всеобщего притяжения. Здесь всегда что-то происходило. Здесь говорили практически только стихами, здесь рождались смелые замыслы, творческие идеи, отсюда дерзкая крамола и свободолюбие распространялись и шли гулять по всему факультету. Наши репетиции перерастали в бесконечные споры, обсуждение уже не только художественной литературы, но и абсурдных реалий истории и современности государства российского. По очень многим вопросам относительно жизни и культуры мы были единомышленниками. При всем своем несходстве, и в человеческом плане, и в характере творческой индивидуальности, два Юры были близки своим отношением к миру, людям, так сказать, своей жизненной философией. Я определила бы ее как самостояние. Беликов – во всем загадка, вочеловеченное воплощение изобретенной им самим «Теневой метафоры». Не одна принцесса Пирлипат обломала свои зубки об этот крепкий орешек Кракатук. Его гениальные стихи как некие зашифрованные послания неизвестных цивилизаций, чьи коды утеряны и требуют напряженных усилий погружения в толщу исторических и культурных пластов, – сложны, многослойны по смыслу, фактурны и осязаемы по форме. Голос его действует гипнотически. Многих раздражает эта смыслообразная перенасыщенность. Да и сам он мог бы быть повежливее, пооткрытее с людьми: временами, пробегая, не замечает знакомых, не здоровается, на приветствия не отвечает. Может быть, он слишком уж занят одним собой? На самом деле, он погружен в себя, в обдумывание бытийных смыслов, ему просто некогда отвлечься от того непрерывного процесса духовно-творческой жизни, которая переполняет его. Однажды, дело было у меня дома, по телевизору показывали премьеру очередной серии «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с Ливановым и Соломиным. Я, как и многие, прилипла к экрану. Юра покорно дождался окончания фильма и



с грустью вздохнул: «Сколько времени потрачено впустую – лучше бы я еще одно стихотворение написал...». При этом в его разных очах мелькнула тусклая тень мерцающего метафизического света.

Совсем другое дело – Юра Асланьян. Что называется, харизматическая личность. Люди тянулись к нему. Про таких говорят – настоящий мужик, звонкий, заводной. С таким в разведку не страшно пойти. Такой не подведет. Не предаст. В беде не бросит. Бездна мужского и человеческого обаяния. Весельчак, балагур и остроумец. И, конечно, Дон Жуан. И, конечно, хулиган и пропойца. Но прежде всего поэт. Стихи его об университетке стали, что называется, шлягером и были своеобразным паролем у филологов моего призыва:

*У сетки ботсада, где елки и липы,  
Где мокрые листья к ограде прилипли,  
В густеющем мраке, на черном асфальте,  
Заботы оставьте, печали оставьте.  
Здесь с легкой руки благосклонного неба  
Я был человеком, а менее – не был.  
Клубятся туманы в разорванном свете,  
И ноги ступают по древней планете  
Вдоль сетки ботсада, где елки и липы,  
Где мокрые листья к ограде прилипли.*

Девицы млели и готовы были ради Юры через пять минут общения на самоотверженные поступки и жертвы. Куча друзей всегда вокруг него. Причем друзья-то все какие-то необыкновенные. Жокеи, букмекеры, гонщики, музыканты, игроки, альпинисты, летчики, охотники. Попадались среди его друзей, впрочем, и бандиты, и бродяги. Но ни одного случайного человека среди друзей Асланьяна не было. Это о них он пишет в своих книгах. Каждый – самодостаточный, упертый в своем деле человек, самоломанный, прорастающий сквозь сопротивление времени, (как сквозь каменный фундамент прорастает российский дикий сорняк), обстоятельств, злокозненных недоброжелателей, но добывающийся своего, отстаивающий свою правду, упрямец: «Одиночки – они узнают друг друга в автобусных

салонах, пивных чепках и тюремных камерах, отвечая на вопро- сительный взгляд соратника незаметной для посторонних глаз улыбкой... Имена одиночек могут звучать на всю страну, но о них мало что известно окружающим – как о разведчиках- нелегалах...» (из романа «Территория Бога»). Прост в общении. Но это совсем не та простота, что хуже воровства. Это некая солидарность с людьми, умение понять любого, уважение и внимательность к каждому. И святая преданность реальности, достоверности жизни. И потому в нем самом чувствовалась та- кая же достоверность, надежность человеческая, нечто настоя- щее, основное, без чего нет ни подлинного общения, ни вообще настоящей жизни. Был он старше многих из нас, вчерашних го- родских девочек и мальчиков, но даже не по возрасту, а по сво- ему жизненному и душевному опыту – осведомленной челове- чески. Больше повидавший и больше и глубже многое поняв- ший в окружающей нас современности, да и в истории родной страны. Меньше нас, может быть, прочитавший книжек к мо- менту поступления в университет, но, имея за душой объеми- стый багаж жизненного опыта, тяжелых, а не только безмятеж- ных впечатлений, он, как какой-нибудь джеклондоновский ге- рой-бродяга, гораздо более трепетно и с обостренным целомуд- ренно-романтическим восторгом открывал для себя новые со- кровища на карте русской и мировой литературы. И в отличие от многих из нас, бесцельно порхавших по волнам юности, он имел цель. Давно уже, еще в годы армейской юности, в долгие ночные часы строевой службы, в зоне особого режима Краслага, читая изумленным зекам, убийцам, грабителям, душегубам сти- хи Есенина и Маркова, и «Евгения Онегина» – весь роман, вы- ученный наизусть во время постовой службы на пятидесятигра- дусном морозе, да, пожалуй, и еще раньше, подростком в бед- ном домике барачного типа, в лагерном североуральском поселе- ке, забытом Богом и советским правительством, на самой ок- раине обитаемого людьми мира, открыв для себя Пушкина, Есе- нина, Блока, решил он стать писателем. И эта мысль тянула его действовать, прилагать усилия, эта мысль грела его, держала в самые тяжелые моменты жизни, в минуты душевных срывов и отчаяния. В романе есть важный эпизод из детства главного ге-

роя (альтер эго автора), раскрывающий суть такого характера и отношения к жизни. Мальчишки позвали его в тайгу за кедровыми шишками. Сказали, чтобы лез первый. Он и полез. Остальные обманули – не стали залезать. Стояли внизу и хохотали, что удалось надуть дурочка. Шишки у кедра растут только на самом верху. Лезть было невыносимо трудно и страшно, кружилась голова, от боли ломило спину и руки, от хвои не было видно, куда он лезет. Душа вздрагивала от обиды и предательства друзей. Но повернуть назад он не мог. Лезть все-таки надо вверх, туда, где под самыми небесами, заветная цель. Страшное одиночество мальчика – по сути, удел человека в мире. Он чем дальше, тем больше остается один, наедине со своей свободой и своей ответственностью. Помощи ждать неоткуда. Надо лезть наверх по стволу кедра в одиночку. Вот почему я хочу сказать, что Юрина внешняя простота и доступность были обманчивы, имели свой предел. Это не все и не сразу понимали. Он бывал добр и весел, терпелив и покладист, пока люди не переходили границы допустимого его нравственным кодексом. Бесцеремонность, наглое хамство, пошлость, фамильярность, пренебрежение к тому, что сам он ценил больше всего на свете, любые попытки посягнуть на его духовную свободу – взрывали его терпение. И тогда люди открывали в нем совсем другие черты: веселое балагурство оборачивалось едким сарказмом, вызывающей убийственной иронией, отчаянным душевным бунтом:

*За то, что ушлую толпу  
Я не любил и не люблю,  
По черепу,  
По черепу  
Я получу.  
Поручат дело стукачу –  
По черепу.  
Я за собой не позову  
В тюрьму или  
На randevu.  
Пока живу.  
Пока живу  
И сберегаю голову*

*В толпе, в снегу и на плаву.*

В романе отец рассказывает герою, что в ту ночь, когда он родился, в подъезде их дома охотники застрелили белого волка, пытавшегося, очевидно, укрыться в человеческом жилище от лютых полярных морозов. Мистика этого события будит поэтическое воображение будущего писателя, переживающего тотемную связь с гордым свободным зверем тайги. Не отсюда ли его волчий прищур и волчий оскал в ответ на любое проявление подлости, лжи, лицемерия окружающих? Твердый стержень внутри его личности, невероятная жизнестойкость, я бы сказала, жизнеутверждающая жизненная позиция, не то чтобы оптимистическая, а, скорее, стоическая, и вера в себя, а также душевная нежность и этическое упрямство – те качества, которые и создали все обаяние его личности, его стихов и прозы. Мы много общались в те университетские годы. Это общение было заполнено бесконечным чтением своих и чужих любимейших стихов (замечательно он читал стихи Н. Гумилева, особенно знаменитое «Озеро Чад»), разговорами, спорами о той же поэзии. Это была дружба домашнего щенка и матерого волка. По молодости лет я легко впадала в грех декаденского уныния. На правах старшего он воспитывал меня, поучал. Помню две его заповеди: «Не верь никому – верь только себе» и «Не бывает безвыходных ситуаций – человек всегда может что-нибудь придумать». Сам он строил и продолжает строить свою жизнь, руководствуясь этими принципами. Помню состояние всеобщего воодушевления и ликования факультета после концерта филфака в декабре 1979 года. Мы сидим в «восьмерке», почему-то в коридоре, прямо на полу. Белый кафель, журчание воды из открытой двери в душевую. Вкус «Акдама» из горлышка, запах «Примы» и оскомины от нее на губах. И хором, втроем, мы с Беликовым и Асланьяном читаем вслух, нараспев любимого Мандельштама:

*Мы с тобой на кухне посидим,  
Сладко пахнет белый керосин.  
Острый нож да хлеба каравай.  
Хочешь, примус туго накачай...*

О том, что О. Мандельштам – не только враг народа, но еще и слабенький, лабораторный поэтишка, через несколько месяцев нам будут вдалбливать маститые члены Союза Советских писателей И. Лепин и М. Смородинов на семинаре молодых писателей, куда Беликов и Асланьян взяли меня и поэтессу из Березников, романо-германку Галю Гусеву, в качестве группы поддержки. Я впервые присутствовала на подобном мероприятии. Стихи моих талантливых друзей были подвергнуты возмутительно-издевательскому даже не разбору, а фактически осмеянию, с клеветническими намеками, фальсификацией смыслов и даже издевательски-обидными оскорблениями и обвинениями в антисоветчине. Это не было судом. Но дух «Процесса» витал в воздухе зала заседаний писательской организации г. Перми. Я в то время очень увлекалась Галичем и не так давно услышала и даже заучила наизусть его посвящение Пастернаку. И потому повторяла про себя мысленно:

*Мы не забудем этот смех  
И эту скуку.  
Мы поименно вспомним тех,  
Кто поднял руку...*

Через много лет я узнала, что умирающий от рака И. Лепин постригся в монахи и доживал свой век в уединенной келье. Возможно, в своих покаянных молитвах он вспомнил и этот эпизод избития поэтических младенцев. В подавленном состоянии мы шли вечерним зимним городом в гости к В. Кальпиди. Он встретил нас гомерическим хохотом. Он удивлялся нашей наивности простодушных людей, впервые столкнувшихся с официальной системой. Набивший многие шишки на своей поэтической голове, отовсюду уже исключенный и изгнанный, он мирно попивал водочку на своей малюсенькой кухне, матерился, посвящал стихи друзьям и любимым женщинам. Он, между прочим, с радостным экстремизмом сообщил нам, что намерен со своим другом Славой Дрожащих произвел ревизию сочинений А. Вознесенского и обнаружил у него всего три сносных стихотворения. Настоящим горем была для нас смерть Владимира Высоцкого летом 80-го. Мы переживали это как по-

терю близкого человека. Встретившись случайно в московском поезде, мы пили вино армянской родни Асляньяна, плакали, пели песни Высоцкого в прокуренном вагонном тамбуре. Наши дружеские сборища с чтением стихов по кругу, бесконечные прогулки по горам Мотовилихи, поездки в Чусовой к Беликову, случайные встречи в московских поездах всегда сопровождались Юриными рассказами. Это были истории, из которых впоследствии и складывалась его проза. Потому что, я думаю, прежде всего он – прозаик. Не случайно свою книгу стихов «Печорский тракт» он опубликовал уже после повестей и замечательного первого романа. В этом есть внутренняя логика. То есть и в его стихах главное – проза жизни, ее первозданная и грубоватая основа:

*Кедры валят за то, что на кедрах растут  
У верхушки все шишки – на самой вершине.  
Может, снова меня проведут, подведут,  
А потом поведут, повезут на машине.  
Ты сегодня с порога рванешься ко мне,  
Потому что в постели, в смертельной тоске,  
В позе Господа Бога я лежу на спине,  
С пузырьком корвалола, зажатым в руке.*

Отсюда его любовь к конкретным деталям. Пристальность к подробностям реального мира. К мелочам. Бог живет в деталях:

*Дурею от запаха дерева,  
Сырого, в заторе.  
Я чайка речного севера,  
со скрипом уключины в горле.  
Не крыльев, а весел взмах, не клюв, а хороший клев!  
В Печенках, сердцах и умах  
Таится небесная кровь.*

В центре его поэтического мира сама реальная действительность в ее противоречиях, переданная через предельно-эпическую, подробную предметность, повествовательность, обращение к документальности (прежде всего, конечно, в прозе,

некнижному, «нестилевому» слову, вообще «некнижной культуре»:

*Я – сын ссыльного пацана –  
Стал солдатом империи.  
Крал патроны, не пил вина.  
Посылал капитана на ...  
Воздавая кэпу по вере.*

Вообще Ю. Асланьян сознательно стремится приспособить «внехудожественность» в качестве наиболее сильного средства и способа выражения переживания. Отсюда часто встречающееся у него нарочитое разрушение ритма стиха, разговорная интонация, профанирующая, оттеняющая серьезность, пафосность мысли:

*Вот напишу я сибирский верлибр,  
Где расскажу, как сумел сам постичь  
гнусную сущность негреческих игр.  
Верно ль я понял Вас, Осип Эмилевич?)  
Есть в нашей бережной санитарии  
Ползучий, казенный морозец морга –  
Кто кровью харкал в сортире,  
Тот помнит, как пахнет хлорка.*

Представляется, что основная мотивация его творчества связана с беспокойством сознающей себя личности, самоопределяющейся через раскрытие своей причастности к судьбе собственного рода, истории, культуры:

*Объявляют подъем. И тревожные сумерки утра  
Обступают уголья костра – караулом как будто.  
Под конвоем идем или ходим в колодках под Богом?  
Ойкумена моя окаянная с лагерным сроком.  
С Божоявленской церкви смотрю на порталы туманов.  
В этой каменной яме задушен боярин Романов.  
То ли мысли мои бесконечны, пустынно и медленны.  
То ли тянется ветер по Печорскому тракту до Чердыни.*

Это процесс, требующий аналитического, взыскующего взгляда на жизнь и человеческие отношения. Нового уровня правды. Переоценки ценностей. Но старое знание о жизни не отбрасывается как ненужное, а становится тем необходимым контекстом, тем полемическим полем, в котором контрастнее и выразительнее звучит новая правда и о лично пережитом, и о судьбе всего народа. Трагическая судьба семьи, война, оккупация, партизанские подвиги его отца и дяди, аресты и ссылки армянской родни из Крыма на Вишеру, в края лагерей, жестко описанных еще сидельцем Варламом Шаламовым, история семьи его мамы, тоже хлебнувшей горя в сталинские времена, история множества встреченных им на жизненном пути «свидетелей истории», многочисленных жертв советского террора, а равно и палачей режима – все это неразрывно переплетается с собственной судьбой, детскими впечатлениями, страхами, событиями романтической юности, страданиями, потерями, мечтами, надеждами, болью, отчаянной верой и многими рухнувшими иллюзиями, объединяющими несколько поколений наших соотечественников:

*Две мои тетки, Нюра и Поля,  
Знали, что значит чалдонская доля.  
Тетка шагала на лесоповал.  
Дядька на бирже баланы катал.*

И все эти переживания, лица, обрывки воспоминаний, событий и дат переплавляются в образном сознании в картины беспощадной и прекрасной реальности бытия:

*Я забыл, что читал наизусть.  
Не запомнил ни слова молитвы.  
Не создал полонеза – и пусть.  
Не погиб и не надо мне битвы.  
Я, наверно, не сяду в тюрьму.  
И суму не возьму в поднебесье.  
Станет ясно потом, почему  
Я любил эмигрантские песни.*



В повестях Ю. Асланьяна «Сибирский верлибр», «Пролом», «По периметру строгого режима», в романе «Территория Бога» в этом сознании жесткие картины исторической и современной жизни отечества запечатлеваются порою с объективированностью протокола, а иногда натуралистическая фиксация событий, чувств, мыслей неожиданно перебивается взрывом эмоций и автор переходит с прозы на стихи. Прием в общем-то не новый, если вспомнить В. Набокова, Э. Лимонова, Сашу Соколова. Однако у Ю. Асланьяна этот синтез оправдан и создает особую атмосферу повествования. Это проза поэта, принимающего огонь реальности на себя, все пропускающего через свое страдающее сердце. Смещения в изображении, вызывающие впечатление выплесков «сырого» материала (необработанного потока «голой» жизни, зафиксированной, но не осмысленной до определившихся духовных оценок сознанием очередного рассказчика-персонажа, рассказывающего свою историю автору), но зорко дозированные поэтическим чутьем автора, создают особый эффект воздействия на читателя. Социальная аналитика и экзистенциальная рефлексия Ю. Асланьяна, с предельно обостренной памятью подробностей, лаконизмом, беспощадностью и аскетикой деталей, беспартизанностью, кинематографической фрагментарностью соединения неожиданных планов, графической точностью словесного эквивалента переживаний, я думаю, направлена на достижение главной цели – не дать собственной личности раствориться в хаосе энтропии, не уподобиться ей по сути, не распылить свою человечность, добровольно отрекаясь от своего имени. Сбереечь собственное лицо вопреки псевдологике выморочного мира удастся благодаря прочной связи с родом, историей, традициями культуры, той «terra inkognita», землей обетованной, коей стала для Ю. Асланьяна родина, образ которой в его романе представлен как «Территория Бога». Заповедная земля на Северном Урале, Вишера – художественный универсум, твердыня Духа человека. Пока мы судорожно ищем смысла в суете повседневной рутины, если повезет, находим, но чаще теряем суть личного и общего существования, Асланьяновская ойкумена просто есть, как уже особая и объективная данность, как неизбежное средоточие бытия. Она им не придумана.

мана, но выстрадана всей поэтической и человеческой его судьбой, открыта им для всех нас, она состоялась и в этом своем качестве может выступать как некий архетип, как абсолютная норма, воплощение универсалий жизни. (К слову сказать, одна филологиня, имеющая в Перми отличную квартиру, престижную работу, прочитав роман Ю. Асланьяна, влюбилась в Вишерский заповедник, бросила городской комфорт и укатила туда учить деревенских детишек английскому языку!). Он не противопоставляет природное бытие культуре и истории. Он очерчивает территорию их возможной гармонии. В этом смысле даже на самых эпических страницах его прозы мы найдем аналитический импульс. Автор погружен в рефлексию, предан размышлениям о человеке. В мире распада, посмодернистского релятивизма, по отношению к которому Ю. Асланьян и как художник, и как человек непримирим, есть то незыблемое, те основы, что удерживают нас от уподобления жалким рутинным обстоятельствам и саморазрушения. Мертвой механике социума и постыдной изнанке истории, открывающейся сегодня современному восприятию, писатель противопоставляет природно-культурное бытие, Вечность, в конечном итоге, диалог с Богом. Это единственный источник, питающий человека, дающий ему силы к творческому бодрствованию и духовному самостоянию: *«Я вдыхаю запах багульника, я стою на коленях и шепчу, проговариваю, высказываю тягучие, горькие, старинные слова моему деревянному идолу: “Господи, сохрани эту землю и этих людей, не допусти предательства и братоубийства, убереги от чумы и холеры, не дай, не позволь погибнуть этой княжеской красоте... Умоляю тебя, Всевышний!”»*.

С той поры, как мы учились в университете, минуло без малого тридцать лет. Видимся все реже. Изредка перезваниваемся. Но присутствие этих людей в своей жизни я ощущаю постоянно. Вот почему заканчиваю словами Б. Ахмадулиной:

*Когда моих товарищей корят,  
Я понимаю слов закономерность,  
Но нежности моей закоренелость  
Мешает слушать мне...*

Что касается филологического контекста, то он бесконечен и открыт в будущее.

*Н.Е. Васильева*

**«Я ЖИЛ СРЕДИ ВАС»**

**(о книге стихов Бориса Гашева «Невидимка» и о нем самом)**

Он жил среди нас... невидимкой, душой, не отягощавшей никого своим присутствием, одарявший всех блеском своего ума, своего тончайшего искрометного юмора. Мы любили его, нет, точнее: мы его обожали – за присутствие-неприсутствие, близость-дальность, явность-непроявленность, молчание-слово. Все знали: «тут, рядом есть душа», но едва ли кто мог с уверенностью зацепиться за суть, за глубину, за главное. Попытки проникнуть за видимую грань он пресекал самообороной из иронии и шутки, ерничанья и меткого словца. Думаю, что только его талантливая семья в «женском триптихе» (умница жена, все понимающая талантливая дочь и рано проявившая свои филологические дарования внука) не то что бы знала ему цену, а просто знала меру его личности, ее самобытной утонченности, ее уникального камерного масштаба. И вот его стихи, изящно и со вкусом собранные вместе. Писать о них трудно – по той же причине: ничего не лежит на поверхности, надо добираться до дна. Борис прав, сказав о себе:

*Мне глубину мою проведать...  
Как будто в обморок упасть.*

Он не любил и не жаловал научного литературоведения, это «тесто темное наук», и вряд ли в его случае будет уместна традиционная рецензия, открывающая читателю поэтическую новинку; открывать надо как-то по-другому; не очень доверяя внешним оговоркам и обмолвкам (а вдруг обманет?), не очень всерьез (а вдруг шутит?), не очень глубоко (а вдруг ерничает?). Не зря ведь он представился читателю:

*Отчужденный от вас.  
Непонятный самому себе.*

Да и вообще «собою не озадачен». Эта его неозабоченность собою имела абсолютный и «установочный» смысл: он никогда никого не догонял, ни с кем не соперничал, никого не держал в кумирах, и вообще никогда не тщился. Полное отсутствие тщеславия делало его самодостаточность необременительной, неким «чистым искусством», не ищущим смысла вне себя самого. Его «я – не я» в каких-то исходных глубинах носило принципиально зыбкий характер, оно балансировало на грани утраты предметного лика, «лизало» края бездны. Была в этом драматическая нота, проступавшая в редких исповедальных строчках:

*Кто-то пробудился бы не мною,  
Потянулся от избытка сил.  
С женщиной, с другом, сам с собою  
Он бы за меня поговорил.*

И к жизни в целом – без благоговения, не заискивая, не моля, не держась, не страшась.

*Держись за эту жесть,  
А то скользи покато.  
Держись за эту жизнь,  
А может и не надо.*

Как точно сказал один из его читателей, поэт, филолог А. Черепанов, «два лада его бытия – жизнь и не-жизнь вопрошают один другого». Борис ведет этот опасный диалог, скользя по краю, рискуя сорваться, то приближаясь к разгадке «тайны жизни», то возвеличивая «заповедную тьму». Истина его неявна, она прорастает сквозь пласты боковых замечаний, проходных реплик, шутливого тона, неопределенных словесных форм:

*Что-то долго пропадал я где-то.  
Что-то я от сути отошел,  
Что-то неодетый, несогретый  
Из нехитрой присказки сокол.*

Редко напряжение внутреннего чувства достигает взрывоопасной точки, и тогда слово автора исторгает мучительный вопль:

*И вообще. Стрелю в сердце ранен –  
Вот торчит.  
Где друзья? Давайте утром ранним  
Помолчим.  
Упрекни меня в словах, попробуй,  
Ты ведь и сама.  
И любовь у нас была до гроба.  
После – тьма.*

Я не сомневаюсь, что наедине с самим собой он много и глубоко размышлял о жизни, о себе, своей доле и участи. Итоги этих раздумий пунктиром «прошили» его книгу, отдельные мысли – замечательны, откровенны, значительны. Пастернаковское «и надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг» находит неожиданное развитие и переосмысление.

*Срез пустотельного стебля.  
Синего неба простор.  
Но между небом и степью  
Все-таки пропуск пустой.  
Все-таки сразу над жнивой  
Неуловимо, слегка,  
Некий пробел сиротливый,  
Некий пролет сквозняка.*

Этот сиротливый тревожный пробел наполняется глубочайшим амбивалентным смыслом: пустота содержательна, в ней сокрыта незавершенность жизни; «пролет сквозняка» – это поле для последнего росчерка, это то, что еще предстоит и, возможно, это пространство для точки. Не поставленная еще точка – открытость и многозначность, надежда, оправдание. Из этого смыслового «узла» рождается последний абзац стиха:

*Впрочем, и сам ты, бездельник,  
В небо пустое глазел.  
Сам пустельга, пустотельник...*

*Если б не этот пробел!*

Если б не этот пробел, книга Бориса Гашева легко бы цепляла на удочку своей простотой. Но простота его обманчива. «Пробелы» вызывают к разгадкам, разгадки тревожны, глубоки, драматичны. Даже тогда, когда он разыгрывает, шутит, «бездельничает»:

*И подернет взгляд тоскою,  
И зачахнет организм.  
Я устроюсь под доскою,  
Не достроив коммунизм.*

\*\*\*

*Вот у тебя аритмия,  
Вот и ряды и суди.  
Вот и над картою мира  
До петухов посиди...*

Это вольтерьянство ума, невесомая легкость, изящество мысли и слога – сокровенная особенность личности Б. Гашева. Но сквозь его ироничную броню – искренний, из глубины идущий прорыв в лирику:

*Все меркнет свет,  
Все небо ниже,  
Все хуже жизнь,  
Все водка жиже.  
А мы с тобой все ближе, ближе...*

Его лирическое самоощущение ориентировано на определенный «сорт» ценностей. Человеческий выбор сделан точно, душа богата немногим: добрая мысль, весомое слово, редкие близкие люди, никакого почтения к вещам и предметам, а главное – абсолютное отсутствие какой-либо «жестикоуляции». Лаконизм как принцип жизни, как эстетический прием, как внутренний комфорт – так ощущают себя в мире аристократы, и не подозревающие, что нищенское убранство их жизни, интерьер их убогой «кельи», полное безразличие к устроенности быта и невозможное в мире людей отсутствие какой-либо жадности,

предметной страсти – это и есть настоящая элитарность, мудрость Диогена, бегущая от суеты, презирующая «слишком назойливые аспекты действительности» (И. Бродский). Мудрость, всегда спокойная и умеющая довольствоваться тем, что есть, не рвущая душу в поисках большего. Я думаю, он был счастлив, только, возможно, не знал этого, а скорее всего – и не думал «в эту сторону». Признавалась власть совсем другой формы смысла:

*И даты, и числа забудешь,  
А все-таки все не беда,  
Лишь только бы горькие люди  
Водились с тобой иногда.*

«Горькие люди» водились, получали приют в его доме, тянулись к нему самому, одинакового воспринимали события и страсти времени, были его узким кругом. Одни дополняли любимый им «не-покой» (сточки маленькой дочери: «в этих мрачных тучах над рекой есть любимый папой непокой»), говорили с ним о метафизике, ценили родство душ и безоговорочно принимали правило:

*А ни в какую жизнь  
Окурком и огарком  
С врагами не делись.*

Они были творцами, серьезно относящимися к писательскому делу; вниманием издателей не избалованные, работали все больше в стол, на будущее, но ответственно понимали:

*Если роза свои лепестки  
Не сумела раскрыть –  
Ей помочь невозможно.*

Борис был близок к широкому признанию: появлялись публикации, сложилась книга, виделась удача. Но ни один из «горьких людей» не вздрогнул, когда незадолго до беды написались строки:

*Голосом, шепотом, всхлипом  
Не ворочусь в этот дом,*

*Не поминай меня лихом  
За опустевшим столом.*

Свое роковое предчувствие он носил в себе. Теперь, когда конец свершился, «образ» его вычитывается из строчек, разбросанных по всей книге:

*И тебя найдет коса,  
От нее не денешься.*

\*\*\*

*Вдруг, ошалев с тоски,  
Иль совестью замучен,  
Ступил на край доски,  
И вот – несчастный случай.*

Иногда он пронзительно ощущал «подоконника горький простор и горячую руку у горла», исчерпанность чего-то в себе. «Вот и жизни стало тесно. Скоро хватимся – зола». Убывала какая-то внутренняя протяженность жизни:

*Любовь или жизнь. Только снова  
За ними тебе не успеть.*

\*\*\*

*Иссякал мой нехитрый запас  
Своеволия и вольнодумия.*

\*\*\*

*Слава богу, ты свою досаду  
Охрани, уйми.  
До веревки, до ножа, до яду  
Шерами.*

Но «колокола высоких слов» бились о его сердце, искали выхода и понимания. И Борис, чурающийся патетического серьева, умеющий от него уйти, вдруг скажет о самом главном обнаженно прямо:

*Все хотелось чего-то целого,  
А не дробного. Изначать!*



Изначать не успел. Трагическое предчувствие конца определило все планы и ожидания. К новому началу придут две его Ксении: Ксения – дочь и Ксения – внучка. Тут все крепко, надёжно и – в божественном даре всей семьи – талантливо.

... Человек бывает со-кровенный и от-кровенный. Борис Гашев – из породы сокровенных. Его невидимая суть не нуждалась в обнажении, не требовала признания и оценок, не обращалась к аудитории. Он – невидимка. Он писал свои стихи, как жил: одиноко, бесшумно, молчаливо. Он сберег свой «пробел» судьбы, свой «пролет сквозняка», и его посмертная книга стихов прекрасно восполнила все пропуски его судьбы.

*А.П. Лукашин*<sup>5</sup>

## **ПО ТИМОФЕЕВСКИМ МЕСТАМ**

В историю советской фантастики Пермский университет вошел в качестве места обучения и приключений студента-историка, и по совместительству гениального изобретателя Виктора Тимофеева. Те, кто учился в ПГУ в начале 70-х, одновременно с автором этих строк и автором «Саги о Тимофееве», экономистом Евгением Филенко, без труда узнают знакомые места и события. Реконструкция ЕНИ и поездки «на картошку», студенческая свадьба и выяснение отношений у «восьмерки»... Узнаваемы и герои – практически на каждом курсе были вариации этих, казавшихся вечными, студенческих типов. Сейчас они доктора и профессора, редакторши солидных изданий и директорши фирм средней руки – или деклассированные элементы, или что-нибудь «in between».

Заряд идей и концепций, сформировавшихся в научной фантастике СССР 60-х годов XX века, выстрелил в 70-х появлением в Перми группы писателей, с легкой руки свердловчанина Виталия Ивановича Бугрова, человека, сыгравшего в нашей фантастике, названной «пермской волной», роль, сравнимую с той, что сыграл в англоязычной фантастике Джон Кэмпбелл.

---

<sup>5</sup> Лукашин А.П., выпускник 1976 г.

Возможно, когда-нибудь исследователи будут спорить, как определить рамки этой «пермской волны». Относится ли к ней Анатолий Королев? Хотя, несомненно, относится его однокурсник Владимир Пирожников<sup>6</sup>. Примыкает к ней начавший писать фантастику практически одновременно Владимир Соколовский, научным фантастом (да и сколько-нибудь традиционным фантастом) которого назвать сложно? Если понятно, где волна начинается, то конца ей, кажется, не видно. Из фантастики вышел в «боллитру» Алексей Иванов (в прошлом – председатель КЛФ «Большая медведица» в Закамске). Туда же последовал за женой – Ниной Горлановой (тоже, впрочем, фантастике не чуждой) Вячеслав Букур, увековечивший в фантастике Акчим (юмореска «Акчимский говор», 1982).

Что было предпосылкой появления именно такой «волны» в довольно беспокойном потоке советской литературы? «Оттепель», конечно. Порыв свежего ветра, ворвавшийся в литературу после смерти Сталина. В фантастике это было заметно как нигде. Только что базовые для нее научно-популярные журналы «Техника-молодежи» и «Знание-сила» печатали рассказы, образно воплощавшие техно-пропагандистские статьи из предыдущего номера и пункты пятилетнего плана, как вдруг открылись звездные горизонты и смелые идеи. Только что разгромные обзоры стирали в порошок реакционную англо-американскую фантастику, как вдруг не зазорно оказалось напечатать самую что ни на есть кондовую, посконно-домотканую космическую оперу Эдмонда Гамильтона «Сокровище Громовой луны». И все это делалось одними и теми же людьми, не дожидавшимися решений XX съезда КПСС.

Не все были довольны таким положением дел, уж больно неконкурентоспособной была «фантастика ближнего прицела», но таран «Туманности Андромеды» пробил такую брешь, что потребовалось лет двадцать на восстановление изоляционизма хотя бы на институциональном уровне. Не успели победители насладиться победой, как грянула перестройка... На идеологическом уровне советская фантастика не оправилась от удара, за

---

<sup>6</sup> В. Пирожников учился на один курс младше А. Королева.

что и получила свою порцию репрессий (точнее, две, в 1968 и 1984) – впрочем, по сравнению с физическим уничтожением фантастов в 30-е, по-брежневски, довольно вегетарианских.

Наша «оттепель» совпала в большей части с тем пассионарным подъемом земной цивилизации, который принято обозначать и мифологизировать как «шестидесятые». Именно 60-е годы XX века дали в англо-американской фантастике «новую волну» (или, если угодно, «Новую волну») писателей, больше озабоченных художественной формой произведений, чем новизной содержащихся в них фантастических идей. Впрямую влияние авторов «новой волны» стало сказываться только в конце 80-х, когда до обычных читателей дошли их переводы, но их декларации и опосредованное воздействие через творчество относительно более переводимых мэтров социальной фантастики косвенно подействовали почти сразу.

Несомненно, самым большим достижением «пермской волны» стало творчество Евгения Филенко. Дебютировав еще в 1964 году рассказом «Космический десант», написанным под сильнейшим влиянием братьев Стругацких, он оказался впоследствии на постсоветском пространстве чуть ли не самым последовательным их наследником, сохранившим веру в исповедуемые практически всеми фантастами-«шестидесятниками» идеалы и не утратившим способности воплощать эту веру в художественно содержательные образы, наполненные отсылками к мировой культуре, – манера, которой ненавязчиво учили братья-фантасты.

Дебютные публикации в пермских газетах и сборниках были еще поисками своего голоса. Хотя уже в повести «Бездна» (1973) появляется ставший узнаваемой маркой автора мир Галактического Содружества, реально осязаемым присутствием Филенко на фантастической сцене страны стало именно с появлением нескольких рассказов из цикла «Саги о Тимофееве». Непритязательные, но тогда вполне себе новые научно-фантастические идеи, осажённые в студенческий быт, разбросанные тут и там цитаты классиков, работа «в традиции» (рассказ «Свадьба пела и плясала» представляет собой уважительное пародирование тем классика пермской НФ, ныне покойного

Бориса Захаровича Фрадкина) – успех цикла был обеспечен, но публикация состоялась только в 1988. Точно так же в начале 90-х дошли до читателя первые книги цикла «Галактический консул», отрывки из которого печатались в газетах и сборниках с конца 70-х.

Картина далекого от стабильности будущего, в котором есть место и необычайным приключениям, и трагедиям столкновения с неизвестным и человеческой ограниченностью, возникшая в цикле, объединенным главным героем – «Галактическим Консулом» Константином Кратовым, и примыкающим к нему в повестях вместе с трилогией «Бумеранг на один бросок», обладала необычайной притягательностью. Цикл писался в преддверии эпохи перемен, и предчувствие этих перемен разлилось в его первых книгах. Изменился мир, изменился автор, но позиция воинствующего оптимизма и веры в прогресс остается для цикла неизменной, хотя и все труднее совместимой с окружающей действительностью. Потому заключительных книг цикла, возможно, придется ждать еще долго.

Владимир Пирожников необычно и сильно заявил о себе в начале 80-х повестью «На пажитях небесных». Это был чистейший киберпанк в антураже обычного для советской фантастики космического будущего. Беда в том, что к моменту написания повести киберпанк еще не был изобретен. Если сопоставить ее с «древнекитайской» повестью «Пять тысяч слов», то выяснится, пожалуй, что занимают автора не проблемы кибернетизированного будущего или реконструированного прошлого. Человеческое достоинство, достоинство творца, обладателя дара, в столкновении с репрессивной системой – вот что занимало автора. Но чтобы сформулировать это, понадобилась полная смена социальной парадигмы.

Окончательное оформление «волны» произошло в начале 80-х, когда в литературу пришли выпускники ПГУ 1980 года Михаил Шаламов и Вячеслав Запольских. Оба принесли в литературу дух бесшабашной, но уже не так озабоченной серьезными вопросами – и не чувствующей таких серьезных угроз – студенческой вольности 70-х. Юмористические «космические оперы» Шаламова и детские повести о несерьезном, но привлека-

тельном будущем Запольских были глотком свежего воздуха в сгушавшейся атмосфере застоя. Хотя серьезные темы не чужды были (и остаются) обоим авторам, все же их стихия – фантазматическая, студенческое буриме, в мире, где все возможно, потому что он состоит не из звезд и планет, а слов.

При всей разнородности творчества пермских фантастов у них были некие общие ориентиры, которые и объединяли их в «волну». Что это были за ориентиры? Попробуем сформулировать.

Фантастика пермских авторов писалась для публикации. Каналы публикации вплоть до конца 80-х строго контролировались «руководящей и направляющей». Для фантаста прорваться в печать было равносильно подвигу пресловутого верблюда. Отсутствие журналов фантастики практически не позволяло попробовать свои силы «на публике». Единственный открытый канал публикаций для региональных фантастов был создан в журнале «Уральский следопыт» его редактором отдела фантастики Виталием Ивановичем Бугровым под покровительством главного редактора Станислава Федоровича Мешавкина. Трудно переоценить их вклад в развитие фантастики! Именно Бугров придумал и при помощи замечательного знатока и библиографа фантастики Игоря Георгиевича Халымбаджи (кстати, геолога по основной специальности, тесно связанного с Пермью и Соликамском) проводил викторину «Мой друг – фантастика», в победителях и участниках которой отметились очень многие будущие фантасты.

Редакторские критерии В.И. Бугрова были очень широкими. Именно он опубликовал первый, если не ошибаюсь, фантастический рассказ Анатолия Королева «Гонки по вертикали». А составляемые им сборники «Поиск» стали стартовой площадкой не одного молодого автора. Читатели «Уральского следопыта» – начинающие авторы – не могли не ориентироваться на то, что уже опубликовано. Смыслового и тематического единства не получалось, но никто и не ставил целью его выработать. Выработывалось понимание и одобрение индивидуальных творческих исканий на любом уровне. Собственно, это понимание, а не

какие-либо манифесты, и было объединяющим в «пермской волне».

И еще объединяло всех, интересующихся фантастикой, фэн-движение, фэндом. В Перми он сложился на основе клуба любителей фантастики «Рифей» (название придумано в 1980 М. Шаламовым). Сначала секция городского клуба книголюбов, он стал самостоятельным в 1978 и послужил той средой, где встречались представители разных поколений увлеченных фантастикой людей, писатели и исследователи фантастики, начинающие и маститые. Клуб дал площадку для публикаций в газете «Молодая гвардия», в многотиражках. Когда на первом в стране конвенте клубов любителей фантастики в 1981 году в Перми встретились любители фантастики с критиками и писателями – москвичами, ленинградцами, представителями десятка регионов страны, то результатом стали вполне весомые публикации в центральных изданиях и десятки других конвентов. Клубная среда, клубный круг общения оказали, думается, не последнее влияние на тех, кто в них был, кто слушал авторское чтение неопубликованных произведений, мог задать вопрос признанным знатокам фантастики, высказать свое, ничем не регулируемое мнение.

Особо стоит сказать о пермском вкладе в фантастиковедение. Две несомненные вершины выделяют в этом отношении Пермь на карте Страны Фантазии. Основатель пермской социологической школы, вероятно, один из немногих серьезных философов-марксистов нашей страны, Захар Ильич Файнбург сохранил живой интерес к фантастике с детских лет и до самой смерти. Его работы, большая часть которых была опубликована уже после его смерти в 1990, уже в новом веке, – с серьезным разбором социально-философского содержания научной фантастики – помогали преодолеть ее «геттоизацию», противостояли попыткам списать с литературного счета как «несерьезный жанр», а разбор творчества Станислава Лема (с которым он дружил еще с 60-х) так и остается в числе лучших русскоязычных работ о величайшем писателе-фантасте XX века.

В разговорах с автором этих строк он не раз и не два возвращался к идее хрестоматии научной фантастики в помощь

изучающим философию и социологию. По его мнению, к примеру, «Трудно быть богом» братьев Стругацких представляло собой готовый учебник исторического материализма, практически не требующий комментариев.

Прошло почти полвека, а небольшая статья Евгения Давыдовича Тамарченко «Мир без дистанций» (1968) все еще остается наиболее адекватным описанием поэтики фантастики, не только в русскоязычном, но и мировом литературоведении. Выпускник нашего филологического факультета 1963 года, он, к великому сожалению, оставался не востребован все годы до конца СССР и писал в основном в стол. Его понимание поэтики фантастики как явления пограничного – литературы и науки, литературы и мистики, изведенного и неизведенного – остается крайне адекватным и плодотворным.

В проспекте оставшейся ненаписанной книги он сформулировал и смысл «пермской волны» – как, впрочем, и любой творческой составляющей фантастики:

*«Смысл фантастики – в самой фантастике как незамеченном, ничем не дублируемом методе видения и осмысления мира. Удивительная форма фантастики богаче ярким смыслом и содержанием – во многом еще не проявившим себя, виртуальным, – чем все на сегодня выраженные с ее помощью конкретные мысли и порой великие образы».*

Волна поднялась, материализовалась в книгах и публикациях... и никуда не исчезла. Кто-то отошел от литературной деятельности, кто-то подался в «большую литературу» и даже там преуспел, но на их место пришли другие.

На излете СССР от клубных публикаций к книжным перешли Сергей Щеглов и Андрей Дворник. Уже в новой России опубликованы фэнтези – эпопея Дмитрия Скирюка и научная фантастика Станислава Гимадеева. Появились романы профессора Пермского технического университета Елены Долговой и Александра Романова. Первые книги выпустили Азат Ахмаров и Владимир Городов. На подходе профессиональные публикации Алексея Жевлакова. Набирает голос (и собирает премии) соликамец Алексей Лукьянов. Публикуются Наталья Володина и Наталья Сова. Их больше не объединяет что-либо, что можно назвать «волной». Зато их объединяет литература. Объединяет фантастика.

## РАЗДЕЛ VII БЫЛО И ТАКОЕ

В напряженной жизни факультета было разное. В этом разделе рассказывается о некоторых показательных «идеологических персоналиях», о которых вспоминать сегодня стыдно и горько, но они, увы, были частью нашей жизни.

Главное «дело» 60-х годов – дело Р.В. Коминой, называемое также «делом Солженицына», поскольку узлом всей истории был Александр Исаевич. В книге оно представлено тремя материалами: рассказом Н.Е. Васильевой о том, как рождались и «разворачивались» эти «дела», студенческой научной работой Е.Д. Тамарченко, послужившей основной «провокацией» в деле Р.В. Коминой, и уникальным воспоминанием Н.В. Гашева об истории знакомства и контактах с А.И. Солженицыным. О «деле И. Кондакова» в постмодернистской манере рассказывает сам пострадавший – ныне профессор РГГУ И.В. Кондаков; дело Г. Оффингейма представляет Л.Л. Кертман, друг Геннадия и свидетель происходившего. В небольшой статье Е.С. Соколовской точно воссоздана атмосфера, в которой зарождались малые и большие идеологические «преступления» в то, совсем недалекое от нас время.

*Е.С. Соколовская*<sup>1</sup>

### «ЖИВИ, ДА БОЙСЯ»

Атмосфера в начале 70-х на факультете была тягостная. В это время закручивали «идеологические гайки». По спущенной сверху «разнарядке» надо было непременно найти врагов, и среди филологов «крайней» назначили зав. кафедрой русской литературы Р.В. Комину. Гонения шли на всю кафедру в целом. Иногда это было забавно. Например, объявлялся «смотр наглядной агитации», и перед смотром проводившая его дама из парт-

---

<sup>1</sup> Соколовская Екатерина Самуиловна, выпускница 1970 г., журналист.



ком сообщала: «Сейчас идем на кафедру русской литературы и, если обнаружим пыль на стендах, так и запишем: идеологическое вредительство».

Объявляли авралы по инспекции курсовых и дипломных работ. Изучали их внимательно в надежде обнаружить какую-нибудь крамолу. Я, тогдашняя кафедральная лаборантка, видела все это «вблизи». Однажды функционерка из университетского парткома пришла на кафедру и приказала мне вынимать по очереди курсовые из шкафа, где они хранились по много лет. Сначала темы попадались все «не те», какие ей были нужны. «Образ коммуниста в романе А. Фадеева “Разгром”». Нет, не то. «Тема коллективизации в “Поднятой целине”». И это не годилось. «Тема любви в лирике Анны Ахматовой». – «Отложите!» – сказала функционерка. «Стилевое своеобразие поэм Марины Цветаевой». – «Это тоже!».

– Но в студенческих работах и не может быть ничего антисоветского! – пискнула я.

– Если бы это предполагалось, – сурово парировала партийная инспекторша, – с вами бы говорили не здесь, а совсем в другом месте! А вот есть ли в них достаточное количество цитат классиков марксизма-ленинизма?..

Наконец, курсовые и дипломные, темы которых, по мысли парткомовки, могли предполагать идеологический криминал, были отобраны. В основном, это были работы по «серебряному веку», по 20-м годам. Конечно, и тогда большое значение имел «человеческий фактор». Именно эта женщина почему-то особенно горела страстью – нагадить. Я унесла работы днем, а вечером, часов в семь, парткомовка позвонила на кафедру и велела мне прийти, взять отобранное и отвезти рецензенту. Даже в университетском парткоме люди были разные. Были оголтелые, вроде этой функционерки. А были вполне нормальные, порядочные. Таким порядочным человеком был, например, некий В. – преподаватель нашей кафедры, он же проректор по учебной, кажется, работе, он же член парткома, он же, как говорили, сотрудник органов. У нашей дамы был выбор: отправить дипломы либо В., либо какому-то другому человеку, фамилию которого я не помню, – он, видимо, числился в особенно «строгих». Если

дипломы попадут к В., отзыв будет заведомо мягкий. А если к «строгому» – то уж точно зубодробительный. И вот сижу я в парткоме, жду указаний. А функционерка все звонит этому «строгому». Но его нет дома. А ситуация такова, что медлить нельзя – на другое утро должно было состояться заседание обкома, на котором решалась судьба Коминой и всей нашей кафедры. Ну, кажется, в чем проблема? Отдай мне дипломы и скажи, чтобы я отвезла их В.! Но нет. Функционерка все звонит и звонит. А того, «строгого», все нет и нет дома. Вот уже 9 часов. 10 часов. 11 часов. Я жду. И дама ждет, все названивает. Через 5 часов (!), без четверти 12, она сдалась. Я все-таки повезла дипломы В. По дороге позвонила по автомату Римме Васильевне, сказала только одно слово: «В.». И та облегченно вздохнула. Это, конечно, лишь мелкий эпизод из тогдашних событий. Но он очень точно отражает атмосферу, в которой мы жили постоянно.

\* \* \*

Другая история, о которой я вспомнила, отнюдь не была эпохальной и никак не может быть названа даже в малейшей степени значимой для жизни факультета. Она имела отношение только ко мне, и о ней знают только близкие мне люди. Но история интересная, можно сказать, детективная, и, главное, тоже очень характерная для жизни факультета тех лет.

Итак, я работала лаборанткой кафедры русской литературы, и меня на лето отправили трудиться в приемную комиссию – секретарем. Моя задача была принимать документы у абитуриентов и выписывать им экзаменационные листы. На каждого абитуриента заводилось «дело» – папка, куда я подшивала все его справки-характеристики. Аттестат хранился там же, в «деле», в особом кармашке, запакованный в специальный конверт. Папки по алфавиту ставились в большие сейфы – у каждого факультета свой сейф. Сейфы закрывались на ключ, один экземпляр которого хранился у факультетского секретаря, т. е. у меня, а другой – у председателя приемной комиссии. Это все происходило в клубе на первом этаже старого главного корпуса (ныне корпус № 2). Зная свою рассеянность, я проверяла и перепроверя-

ряла каждое дело по несколько раз, очень старалась. Долго все было спокойно. Вот-вот должны были начаться экзамены.

В одно прекрасное летнее утро перед моим столом появилась дама – председатель университетской приемной комиссии. Работала она преподавателем одной из кафедр нашего факультета и была личностью известной, в какой-то степени популярной. Эффектная, успешная, партийная. В интеллектуалах не числилась, впрочем, ей это и не надо было. Свое она «добирала» по партийной и общественной линии. Подошла с милой улыбкой и сказала:

– А вы знаете, что у вас пропал аттестат абитуриента?

– Почему вы так решили? – спросила я. – Все аттестаты в «делах», а «дела» в сейфе...

– А вот один аттестат пропал! Давайте-ка вместе посмотрим! Достаньте «дело» такого-то!

Достала я «дело», а там аттестата и правда нет!

Я сильно испугалась. Потеря чужого аттестата – государственного документа, за который я несла ответственность, грозила почти наверняка – увольнением. И не простым, а отягощенным такой характеристикой, с которой на пристойную работу устроиться было невозможно. Я впала в панику. Перерыла все бумаги вокруг, исползала окрестности моего стола и сейфа – все напрасно. На следующий день перебрала все папки в надежде, что обнаружу аттестат в каком-нибудь чужом «деле». Безрезультатно.

Мне не сразу пришло в голову, откуда вообще начальница узнала, что у меня пропал один из аттестатов, и при этом даже точно называет фамилию абитуриента. Конкурс был четыре человека на место, стало быть, в сейфе стояло больше 400 папок. Когда я сообразила, что творится что-то неладное, рассказала все мужу – Володе – он тогда после окончания юрфака работал следователем в Дзержинском ОВД. Володя подошел к делу спокойно, сказал: «Жди, вечером придем».

И вот вечером, когда в приемной комиссии уже никого не было, пришли два оперативника, а с ними собака. Дали ей понюхать остальные бумажки из этого «дела» и учинили обыск во всем помещении по всем милицейским правилам. Отодвигали

сейфы, смотрели и под сейфами, и между ними. Перерыли все открытые ящики и полки. Словом, не было ни одного уголка, который остался бы не обнюханным и не осмотренным. И вынесли заключение: в помещении приемной комиссии искомого аттестата нет. Значит, сказали оперативники, его либо украли, либо взяли специально.

Дальше разгадывать происходящее я стала самостоятельно. Сначала решила выяснить, сколько всего имеется ключей от помещения приемной комиссии. Пошла к коменданту корпуса. И он мне простодушно сообщил, что всего имелось три ключа. Один ключ – у самой начальницы. Другой – у коменданта. А третий – потерян. На следующий день, не спав ночь, я отправилась к начальнице. Сказала:

– Да, вы правы. Аттестата нет. Думаю, его кто-то украл. Видимо, у злоумышленника был ключ от этого помещения. Ведь один ключ потерян, значит, им и воспользовались. Надо заявлять в милицию. Вот и муж мой, следовательно, тоже советует написать заявление. Возбудят уголовное дело, и он сам проследит, чтобы им занялись как следует.

Что оставалось начальнице? Только согласиться, что да, действительно, надо идти в милицию. К тому же два ключа числились на ней, и за потерю одного должна была отвечать именно она... «Хорошо, – сказала начальница. – Только подождите до завтра...»

Самое интересное произошло на следующее утро. Когда я пришла на работу, начальница стояла уже возле моего стола.

– А давайте, – сказала она, – еще раз посмотрим за сейфом. Может, аттестат туда как-то завалился? Двинулась начальница к сейфу, протянула руку, пошарила. И оттуда, где быть ничего не могло, – нате вам! Вытащила аттестат!

– Да, – воскликнула я. – Надо было мне додуматься и за сейфом посмотреть! Какая же я несообразительная!..

Так эта история и закончилась. Правда, выговор мне все равно за «халатность» влепили, но через год сняли.

Остался вопрос: зачем начальнице понадобилось «изымать» аттестат? Зачем было на ровном месте все это раздувать? Никаких личных конфликтов у меня с этой дамой не было.

Мы, можно сказать, и знакомы-то толком не были – она преподавала на другой кафедре.

Ответа на этот вопрос я не знаю. Эта загадка так и осталась неразгаданной. Версии есть, но ни подтвердить, ни опровергнуть их невозможно. Одна из версий: Я была лаборанткой той самой кафедры, где незадолго до описываемых событий с заведования сняли Р.В. Комину. Может быть, мое увольнение должно было стать таким «мелким довеском» ко всем ее неприятностям. Вот, мол, и лаборантка-то у вас халатная, никудышная, государственными документами разбрасывается... А может быть, все гораздо обычнее, и начальнице надо было меня «выкинуть», чтобы посадить на мое место «нужного человечка»...

Характерно, что странные, какие-то гоголевские, фантазмагорические истории – и эта, и предыдущая, про проверку курсовых и дипломных, не казались мне тогда ни странными, ни фантазмагорическими. А все происходящее воспринималось как нечто вполне естественное. Да инциденты эти и как события-то не воспринимались – просто рядовые случаи, из которых плелись будни. По молодости это казалось даже отчасти увлекательным, придавало жизни драйва. Такая атмосфера была и на факультете, и вообще в университете, да и за его пределами.

Это сегодня, спустя десятилетия, начинаешь понимать, что именно на таких историях мы мужали и закалялись. Утрачивали некие идеалистические шоры и приобретали свой жизненный опыт. Складывалась привычка «жить – и бояться», «жить – и выживать», «соображать – и уворачиваться». А кое-кто учился очень важному: делать свой нравственный выбор. Время – в целом – было поучительное. Поэтому каждый, даже мелкий, «несобытийный» случай, сегодня воспринимается как типичный, вырастает до размера знакового события. Так мы учились.

Чему – плохому или хорошему? А об этом еще надо поразмыслить...

## ДЕЛО ГЕННАДИЯ ОФФИНГЕЙМА

Это случилось в 1961 году, в котором я поступила на филфак. Мы не знали тогда, что живём «в легендарные шестидесятые», что они уже заканчиваются и «оттепель» скоро сменится довольно суровыми заморозками. Мы не мыслили тогда такими категориями – просто жили... Но интуитивно что-то чувствовали, и «звоночки», возвещающие о смене эпох, звучали порой так громко, что их трудно было не услышать. Думаю, что каждый человек нашего поколения может, настроив память на эту волну, вспомнить о своём первом ошеломлении от открытия Времени, в котором жили.

Я расскажу о своём.

...На том собрании старшего курса я не была, но громкие отголоски его разлетелись тогда по всему факультету, и я много раз слышала от самых разных людей и «предысторию» его, и описание происходящего на нём. Я и сама настойчиво расспрашивала о подробностях всех «что-то знающих»: эта история по особому волновала меня ещё и потому, что героя её я знала ещё со школы – с девятой школы (это уточнение важно для осмысления всего дальнейшего!), которую Гена Оффингейм закончил на два года раньше меня. Он был ярким и заметным парнем – умный, обаятельно артистичный, сочинитель остроумных сценариев на школьные темы, темпераментно читающий (со школьной сцены) смело звучащие по тем временам стихи поэтов, позднее названных шестидесятниками. Все знали, что он собирался стать режиссёром (и, в конце концов, стал, а в студенческие годы играл в Народном театре у известного тогда в Перми режиссёра Льва Футлика). Мы – девочки «из младших классов» – издали восхищались им, даже не мечтая приблизиться: вся школа знала, что у Гены есть «его девушка» (одноклассница Алла), что они любят друг друга чуть ли не с 7-го класса и никогда не расстанутся. Это была «легендарная» пара, и когда они на большой перемене прогуливались в школьном

---

<sup>2</sup> Кертман Лина Львовна, выпускница 1966 г., писатель.

коридоре, мы «издалека» любовались этой радующей глаз картиной: бурно жестикулирующим Геней, всегда что-то ей увлечённо рассказывающим, и мягкой, женственно спокойной, внимательно слушающей Аллой, не отрывающей от него глаз.

Не желая расставаться, они вместе поступили на филфак. И, скорее всего, благополучно закончили бы его, если бы не тот (в общем-то нелепый!) случай. В студенческую большую перемену они привычно прогуливались по коридору – правда, теперь уже университетскому (главного тогда корпуса), и Гена, как всегда, увлечённо что-то рассказывал, слегка приобняв Аллу за плечи.

Вот этот невинный жест и привёл к дальнейшим, «как снежный ком покатившимся» событиям. Их остановил возмущённый окрик: «Что Вы себе позволяете?»

Сейчас трудно даже представить, чтобы такая целомудренная картина могла всерьёз оскорбить чью-то нравственность, но тогда... Людям старшего поколения (далеко не всем, конечно, но многим), напуганным как долгими годами «прежней жизни», так и не понятными новыми веяниями, такое «вольное поведение» представлялось непозволительной распущенностью. Пожилой преподаватель с кафедры истории КПСС был искренне возмущён:

«Забыли, где находитесь?! Вы же не на танцульках! Немедленно снимите руку с плеча девушки!» Но дерзкий студент не подчинился: «И не подумаю!» – С таким отпором старому коммунисту ещё не приходилось сталкиваться, и в первую минуту он буквально задохнулся от такой «наглости» – «Да Вы отдаёте себе отчёт, где находитесь и с кем разговариваете?!» – «Кто бы Вы ни были, Вы не смеее так приказывать мне! Это моя девушка! – Гена говорил громко и возбуждённо, не снимая руки с её плеча. – По какому праву Вы вмешиваетесь в мою личную жизнь? Она никого не касается, кроме нас!» – «Как никого не касается? Думайте, что говорите! Да за такое поведение можно быстро вылететь из комсомола! Вы комсомолец?»...

...Когда я думаю об этой сцене сейчас, «с высоты прожитых лет», за которые мы столько узнали об испытанном тем поколением в страшное время (30-е и 40-е годы), мне кажется, я

лучше понимаю ощущения того пожилого человека. Нет, ни в коем случае не оправдываю, конечно, но именно лучше понимаю – догадываюсь, как мне кажется, о каких-то тогда не проходящих в голову нюансах... «Вылететь из комсомола» – это была страшная угроза, и в ту минуту «угрожающий» вовсе не собирался всерьёз приводить её в действие: не говоря уж о том, что он не хотел громкого скандала, вышедшего бы за университетские стены, скорее всего, он и не желал «легкомысленному парню» такого зла. Хотел только «вправить мозги», как следует напугав...

Но он и вообразить не мог, что можно *не испугаться* такого – слишком уж противоречило это всему его опыту прожитой жизни. Но Гена именно не испугался. Его переполняли совсем другие эмоции. Он был оскорблён, возмущён, «не мог молчать» и замахнулся, с точки зрения оппонента, «на нерушимые святыни» и «понёс такое», что рушило всю давно сложившуюся в его сознании картину мира: «Вылететь из комсомола» – за такую ерунду?! – Да Вы просто старый ханжа! Да если и так – какое это имеет значение? Что представляет собой сейчас этот Ваш комсомол? – Абсолютно формальная и нудная организация!» – «Как Вы смеете?! Замолчите немедленно!» – «Не замолчу! Только взносы собирает – ничего больше! О нём и вспоминают, только когда комсорг напомнит о взносах!».

Современным молодым людям трудно, наверное, представить, каким страшным «потрясением основ» были тогда эти слова, звучащие сейчас как нечто чуть ли не банальное, «до скуки» само собой разумеющееся... Алла давно уже испуганно дёрнула Гену за рукав, пытаясь увести, но было поздно – его уже нельзя было остановить: «Все давно это знают, только молчат, боятся правду сказать! Надоело это лицемерие!»

Так, неожиданно для самого «героя истории», прорвалось давно, видимо, наболевшее и был брошен вызов, на который старый коммунист уже не мог не ответить так, «как было принято» в прежние годы. Мне почему-то кажется сейчас, что «священный ужас» двигал тогда действиями много лет преподающего историю КПСС преподавателя даже в большей степени, чем искреннее возмущение «кошунством» (тоже, впрочем, присут-



ствующее): Гена говорил громко, без оглядки, и слова его вполне могли слышать проходящие в те минуты по коридору...

В «Тёркине на том свете», опубликованном в «Литературной Газете» летом 1962 года, есть такая строфа: «И смекает голова, / Как ей быть в ответе, / Что слыхала те слова / Даже на том свете!» (Речь идёт об откровенно насмешливых словах «о самом верховном», услышанных там Тёркиным). Услышать такое – и не отреагировать? – Немыслимо! – И в партком филфака поступило заявление, в котором после крайне субъективного описания «печального инцидента» прозвучало требование коллективно обсудить безобразное поведение комсомольца Оффингейма и «принять меры».

Так Геннадий Оффингейм предстал на собрании перед растерянными однокурсниками... Действительно ли все думали тогда о комсомоле (да и шире – о жизни страны) так, как он? Пытаюсь, отодвинув всё передуманное, перечувствованное и понятное за множество истекших с того далёкого времени лет (что требует немалых усилий...), вспомнить свои мысли и эмоции именно тогда... К тому времени у меня – как и у Гены! – за спиной была 9-я школа – с вечерами «новой поэзии», с остроумными сценариями, весело обсуждавшимися за чаем в директорском кабинете Зинаиды Сергеевны Лурье, заразительно хохотавшей над особенно смешными шутками. Она внесла в школу демократичную и обаятельную гуманитарную атмосферу – с интересными «вольными диспутами» на явно не стандартные по тем временам темы: «Что такое порядочный человек?»; «О честности “общественной и личной”»; «Есть ли в наше время проблема “отцов и детей”»? На одном из таких диспутов, помню, Боря Львов (в дальнейшем известный в Перми яркий журналист, рано ушедший из жизни...) выступил со страстной речью о том, что и родители наши, и мы живём в безнравственной атмосфере лжи: дома говорим одно, а в школе и на работе – совсем другое, следуя «негласному правилу» не озвучивать в официальных учреждениях наши «домашние речи»... На первый взгляд прямой «политики» в этих словах не было: речь шла вроде бы о «чисто нравственных» вопросах нашего поведения, о нашем выборе. О комсомоле (и тем более о партии!) ничего не говорилось, но при

желании из такого выступления, конечно же, можно было «раздуть дело». Но в том-то и дело, что такого желания в 9-й школе ни у кого не возникало, и самые дерзкие вопросы задавались на уроках и диспутах без опасений за последствия. Не слышалось там и таких «одёргиваний», такого тона, как в приведшем Гену к «разгромному собранию» эпизоде. Мы росли в «тепличной» атмосфере уважения к личности и хотя «догадывались», что далеко не везде в стране такая атмосфера, но никак не ожидали встретить такой контраст именно в университете. Это было болезненным разочарованием.

Что же касается конкретного «вопроса о комсомоле», по поводу которого Гене теперь инкриминировались то ли «идеологически преступные», то ли «политически незрелые» высказывания – думать об этом (до случившегося) было, пожалуй, скучно. (Дальше говорю именно о своём восприятии). Чуждая душе официальная сфера жизни была так далека от мира любимых стихов и книг и от душевных бесед с друзьями, что от неё просто хотелось держаться подальше, по возможности избегая «ритуальных» собраний (или сидя на них в последнем ряду, уткнувшись в книжку). В то же время, не могу сказать, что когда наступил положенный возраст (14 лет), я не хотела вступать в комсомол и ощущала в этом какое-то «насилие над личностью» (так, как в партию – туда точно не хотела и не вступала «по убеждению») – было спокойное приятие этой «узаконенной необходимости»: как после 10-го класса требовалось получить аттестат зрелости, так в 7-м или 8-м – комсомольский билет. Но и это не всё – было и какое-то праздничное чувство (далёкое, впрочем, от всякой идеологии): ощущение некоего приятного перехода из детства «во взрослость», где уже называют не детьми, а «девушками и юношами». (Недавно где-то прочла, что такие события в СССР были, по сути, «аналогом инициации»). Ну а дальше, как я уже сказала, это как-то не имело «прямого отношения к жизни». Возможно, чувствующие тогда по-другому могут оспорить эти слова, но у меня было так. Думаю, что не у одной меня. В этом меня убеждают и запомнившиеся отголоски того собрания. Жизнь резко поставила ребят перед проблемой, над которой скорее всего они особенно не задумывались, но те-

перь... В глубине души каждый понимал, что Гена лишь «озвучил» то, что давно знали. В то же время не каждый был готов к героическому сопротивлению и жертвам (угрозе исключения из комсомола, а значит, и из университета, по-другому тогда не бывало...), а пример Оффингейма наглядно убеждал, что требуется именно такое. Всем было неловко. Парторг факультета железобетонным голосом прервала растерянное молчание, потребовав «по-комсомольски принципиально» осудить и заклеить позором чуждые взгляды студента Оффингейма». Не увидев ожидаемого «леса поднятых рук», парторг (возможно, тоже немного растерявшись...) с неожиданной бесцеремонностью «перешла на личности»: «Я уверена, что отличница и прекрасная комсомолка, гордость курса Надя Пермякова – думает по-другому».

И – с нажимом: «Выступите, Надя! Вы должны!» (Надежда Николаевна Гашева, которую в Перми – и тем более выпускникам филфака Пермского университета! – не надо «специально представлять» – выступила так, как выступала потом в своей жизни, в том числе и в своей трудной редакторской практике «застойных лет», много раз). А тогда... в ту же минуту парторгу пришлось раскаться в своей настойчивости. «Оффингейм, я тебя уважаю!» – порывисто выкрикнула Надя, идя к трибуне. И пылко выступила в защиту, говоря, что уважает Гену за честность мысли и поведения, за смелость и умение додумывать. После такого горячего выступления Нади Пермяковой, которую на курсе, да и на всём факультете, очень уважали, голоса развязались и ещё несколько человек выступили с добрыми словами о выставленном на осуждение Гене. Таким образом, планируемое «университетскими властями» избивание руками товарищей не состоялось. Выросшие на более свободном воздухе люди нового поколения, которых так не скоро ещё назовут «шестидесятниками», уже не так легко соглашались вписываться в сценарии прежних времён. Но и до победы их было ещё ох как далеко (да и состоялась ли вообще эта победа?). В распоряжении «наследников прежних времён» было ещё немало давно разработанных сценариев. В ход был пущен один из самых грозных – «групповое дело». Логика создания подобных дел была пре-

дельно проста: раз за Оффингейма так заступаются, значит, его тлетворное влияние зашло гораздо дальше, чем озабоченным старшим показалось в начале истории, и значит, на курсе давно окопалась группа враждебно настроенных молодых людей, не достойных учиться в советском вузе. Много лет спустя, с грустным ощущением «узнавания», читала я о подобной широко распространённой в страшные 30-е годы «технологии» в «Детях Арбата» А. Рыбакова (писавшихся, как оказалось, в то самое время, когда на нашем факультете кипели эти страсти, но тогда не пропущенных цензурой и опубликованных гораздо позже). Но, слава Богу, – годы были всё же не тридцатые.

Правда, и в то время, в клонящиеся к закату шестидесятые, далеко не всегда удавалось затормозить «идеологическую кампанию» (и на нашем факультете тоже не всегда), но в тот раз относительно повезло... Идее создания «группового дела» воспротивились по-иному мыслящие преподаватели, которых было уже немало, особенно решительно Нина Евгеньевна Васильева, бывшая куратором на этом курсе. Помню, как замучили её тогда (невзирая на её беспартийность!) вызовами на факультетский и университетский парткомы, но – устояла.

Дальнейших подробностей, увы, не помню. Знаю только, что массовых изгнаний с факультета не было, а Гена Оффингейм – ушёл. Боюсь быть в этом важном вопросе неточной и потому вынуждена признаться, что точно не знаю, была ли в его документах формулировка об исключении из университета или он ушёл «по собственному желанию». Знаю только, что через какое-то время он поступил на режиссёрские курсы в Москве (о чём всегда мечтал), потом работал во многих театрах – сначала Пермской области, потом в Одессе, а «совсем потом» – кажется, уехал в Германию...

Но в первое время после ухода из университета он иногда подрабатывал на телевидении, и однажды у меня случилось забавное «заочное пересечение» с ним: по инициативе неугомонного Н.С. Хрущёва мы, пришедшие в университет прямо из школы, первый год учились на так называемом очно-вечернем отделении и работали, кто где устроился. Я иногда готовила что-то по заданию редакции литературно- драматических пере-

дач Пермского телевидения и в тот (первый!) раз написала что-то об Обломовых (гончаровском и современных). Сдала свой текст – и только месяц спустя, когда мы с родителями торжественно смотрели «мою первую передачу», в конце её услышала: «Автор – Лина Кертман, режиссёр – Геннадий Оффингейм». – Память о «деле Оффингейма» была ещё очень свежа. «Ну-ну, – усмехнулся папа. – Вот и новая «враждебная группа» готова! И фамилии подходящие...».

Но главное, что талантливый парень, слава Богу, всё же не пропал. Через много лет Лидия Чуковская объяснила нам устами Анны Ахматовой, что это, оказывается, всё-таки были «вегетарианские времена». В России надо жить долго...

## **«ДЕЛО СОЛЖЕНИЦЫНА»**

*Н.Е. Васильева*

### **ИЗ КНИГИ ВОСПОМИНАНИЙ О ПРОФЕССОРЕ РИММЕ ВАСИЛЬЕВНЕ КОМИНОЙ «РИММА»**

Осенью 1962 года на Кубу, где я работала преподавателем русского языка, приходили письма – сначала из Москвы, а потом и из Перми – с сообщением о сентябрьском номере «Нового мира», в котором напечатан чрезвычайный рассказ некоего Солженицына, бывшего лагерника, «Один день Ивана Денисовича» – о нем говорит вся столица. Предисловие к нему написал сам Твардовский. К нам журналы шли с опозданием, поэтому мы прочитали этот рассказ уже на фоне подготовленного восприятия. Не предполагала я тогда, что этому рассказу суждено сыграть в моей жизни роковую роль, а Римме Васильевне из-за «узла Солженицына» стать на многие годы мишенью и эпицентром партийных гонений. Дело в том, что мой муж, Евгений Давыдович Тамарченко, написал об этой повести Солженицына под руководством Р.В. Коминой курсовую

работу, которую Римма Васильевна оценила высоко и тут же приняла ее в качестве статьи в формирующийся на кафедре сборник Ученых записок.

Сборник был готов – знаменитые Ученые записки «Современная советская литература (новые течения, направления, жанры, стили)», Пермь, 1966. На 117 – 141 страницах статья Е.Д. Тамарченко «Об историзме поэтики Солженицына». Сама статья выдержана в академически-спокойном тоне; исследовательская по своему характеру, она никого не «задирает». И дело было не в ней, а в Солженицыне. Пока «катилась» пермская издательская телега, воздух времени изменился: нарастал откат, давался отбой по многим позициям, заявленным на XX съезде. Сборник прошел первый типографский этап, первую корректуру и первую цензуру – и в этот момент дали команду «молчать» Солженицына. А разные «Голоса» уже успели передать и саму информацию о сборнике, и даже назвать фамилию пермского студента, что было равносильно смерти. И все же мы по наивности не теряли надежду. Римма Васильевна послала меня в Обллит со словами: «Нина, идите Вы, может быть, Ваша рука окажется более легкой». И я пошла. И помню по сей день ту светлую комнату главного цензора, молодой женщины, приветливой, спокойной, умной, которая объясняла мне, почему сборник придется рассыпать (тираж был уже распечатан). Но она сделала невероятное: отдала мне единственный экземпляр, тот, который сигнальный. Он всю жизнь хранился у Риммы Васильевны. Имела ли она на это право? Не знаю. Может быть, она тоже очень многое понимала. Во всяком случае, за 30 последующих лет этот единственный экземпляр никто ни разу не востребовал. Значит, он остался «в ней».

А «дело Коминой» закрутилось. В сборнике «достали» статьи и других авторов, в том числе и самой Риммы Васильевны, с ее программной схемой стилевых течений. Припомнили и наше зазнайство. И в совокупности получалось, что Римма Васильевна не только протаскивает «литературного власовца», но и идеологически обезоруживает молодое поколение, воспитывает в нем безыдейность и аполитичность. Место ли ей в совре-

менном вузе, готовящем к жизни и борьбе кадры зрелых и идейно подкованных работников?! Вот ведь как поставили вопрос!

Мы не заметили, как наше общее время, вчера еще позволявшее свободно дышать, становилось все более страшным и отчуждавшимся от человека. Поднимали голову «блустители» идеологической чистки, партийные неучи и проходимцы, посредственные «старатели» и просто бездари. Наступало их время – и они действовали. Все чаще и все откровеннее черное и белое менялись местами: собственное суждение, не говоря уже о мысли, объявлялось отступлением от линии партии, вопросы и сомнения исключались как проявление ревизионизма, свободная мысль обвинялась в буржуазной пропаганде; тяга к новому и поиск объяснялись влиянием Запада; эксперимент – формализмом; а если звучало критическое слово, то было и вовсе ужасно: диверсия! В этом искривляющемся пространстве надо было жить и работать. У Риммы Васильевны не было никаких иллюзий относительно того, с кем она имеет дело и какая опасность над ней нависла. Но как истинный шестидесятник, она верила в нечто с человеческим лицом, в идеалы гуманизма и демократии, которым она служила и которые была готова защищать. Однако «кулачный бой» готовился по отработанному сценарию и отступлений от заданных правил игры не предполагал. А Римма Васильевна отступала: ее «били» по лицу, а она его не теряла; удары наносили «ниже пояса», а она не склонялась; от нее добивались признания вины, а она требовала доказать состав преступления; ей нагло «шили» дело, а она хотела, чтобы «хирургические нитки» были стерильно чистыми. Она участвовала в этом бесстыдно дутом процессе с позиций чести, нравственных убеждений и человеческого достоинства – и отступала от правил игры, требовавших другого поведения. Им с ней было трудно. Ни один из огромного стада среднестатистических кожевниковых, быковых, пинаевых и прочих идеологических вождей провинциального покроя и близко не дотягивал до нее ни по интеллекту, ни по глубине убеждений, ни по уровню нравственности. Об интеллигентности и культуре я просто не говорю. Так что с ней им было и в самом деле трудно. Проще было с Е.Д. Тамарченко, которого они в одночасье «сбросили» со счета,

лишив работы, не дав возможности заниматься своим делом, не допуская к публикации, т.е. сломав судьбу. Но сам Е.Д. Тамарченко – принципиально другой случай. Он по натуре своей, по типу личности был аутсайдером – человеком, «который не над схваткой и не вне схватки». Это человек, который не хочет быть закрепощенным какой-то одной позицией» (М. Гефтер). Е.Д. Тамарченко никогда не был ни пионером, ни комсомольцем, ни диссидентом, ни патриотом, ни ревнителем исторической родины, ни сионистом. Он в принципе презирал какую-либо доктрину и всегда бежал «слишком назойливых аспектов действительности» (И. Бродский о себе); мнение «партийных пигмеев» (его слова) никогда его не трогало и не соотносилось с его системой ценностей. Он не был закрепощен какой-то одной позицией и в этом смысле умудрялся быть вне времени и принадлежал только себе и своему «я» – и это, вне всякого сомнения, делало его сильным и внутренне свободным. Римма Васильевна была человеком доктрины, она вышла из партийной «шинели», и как бы ни были сильны ее разногласия с «ячейками» разных уровней – от факбюро до обкома, – она представляла систему и не расходилась с ней по существу. Об этом я еще скажу. Тут уместо привести недавнее высказывание Ивана Охлобыстова в «Аргументах и фактах» (голос совершенно другого поколения) о шестидесятниках: «У шестидесятников был “пионерский” энтузиазм, заряд единой идеи». «Пионерский» энтузиазм записываю на счет молодецкого зубоскальства, а вот «заряд единой идеи» – очень точно. У Риммы Васильевна заряд единой идеи был высокой степени прочности. Другое дело – и это очень важно! – Римма Васильевна была лучше, выше и умнее своего времени (она вообще была человеком будущего) и, как человек высоконравственный, понимала только честную игру. Было ли это ее слабостью?

Как бы то ни было, но весь этот убогий идеологический срам, разыгранный как «дело Коминой», остается безутешным фарсом на совести факультета. Никто из нас не мог защитить ее по-настоящему. Я помню то факультетское собрание, в аудитории 324, на котором Римма Васильевна отбивалась от обвинений – это был самый первый тур проработок; помню яркие и



эмоциональные выступления Тани Пирожковой и Риты Спивак, взволнованные слова Марии Александровны Генкель, взвинченные от возмущения реплики Ксении Александровны Федоровой. Факультет на глазах раскалывался и вступал в новый период жизни – жизни-конфронтации. Дальше открывалась полоса чередующихся персональных дел: лучшие, самые интересные люди факультета в разные годы прошли через идеологическую чистку (Л.Н. Мурзин, Л.В. Сахарный, С.Ю. Адливанкин, Р.С. Спивак, И.В. Кондаков). Все эти «дела» надолго засасывали всех нас в трясину выдуманных страстей, выбивали из колеи, отвлекали от главного, забирали массу времени и нервной энергии. Для Риммы Васильевны тогда «дело» закончилось партийным выговором с занесением в учетную карточку (с. 31 – 33).

*Н.В. Гашев*<sup>3</sup>

## ТРИ ВСТРЕЧИ С СОЛЖЕНИЦЫНЫМ

### 1

Первая встреча с писателем, как, наверное, у многих других, произошла у меня на страницах журнала «Новый мир». Повесть «Один день Ивана Денисовича» в буквальном смысле ошеломила и поразила всех, кто любил литературу, следил за ее процессами. За журналом, где была опубликована повесть, занимали очередь в библиотеках. А когда удавалось достать, готовы были читать и ночами.

Вот, вероятно, по этой причине зимой 1962 года Римма Васильевна Комина, заведующая кафедрой русской литературы нашего университета, чуть было не опоздала на свою лекцию. Нина Гашева, моя жена, в то время работала на кафедре русской литературы, и она до сих пор помнит, как Комина, раскрасневшаяся на утреннем морозе, торопливо вбежала на кафедру и, сбрасывая на ходу пальто, как бы извиняясь за свое опоздание, сказала:

---

<sup>3</sup> Гашев Николай Владимирович, выпускник 1957 г., журналист.

– *Ночью читала Солженицына... Хочется вас поздравить: в нашей литературе появился новый Лев Толстой...*

Римма Васильева Комина для нас, пермских филологов, была непререкаемым авторитетом. Выпускница главного вуза страны – Московского государственного университета, где она сама преподавала, была ученым секретарем ученого совета филологического факультета, она была для нас образцом высокой культуры, интеллигентности, свободомыслия, широты и глубины знаний. Я до сих пор помню ее лекцию о творчестве Салтыкова-Щедрина. Это было весной 1955 года, в аудитории тогдашнего геологического корпуса (там сейчас на 3-ем этаже кафедра теологии). В широкие окна буквально лилось яростное апрельское солнце, и у всех нас, группы студентов 4-ого курса, и у нашего преподавателя Риммы Васильевны настроение было тоже приподнятое, весеннее. Тем более, что Салтыков-Щедрин с его едкой сатирой, с его крылатыми словечками и выражениями – «Держать и не пушать!» – настраивал нас еще и на понимание нашей сегодняшней жизни. И когда прозвенел звонок, все следом за нашим преподавателем высыпали на улицу, продолжая переговариваться, смеяться, повторять эти хлесткие щедринские словечки. Римма Васильевна, шагавшая впереди, обернулась и тоже засмеялась, довольная тем, что мы, студенты, все еще находимся под впечатлением того, что она и стремилась донести до нас в своей лекции.

И ее высокая оценка первого, только что опубликованного в «Новом мире» произведения Александра Солженицына – «Поздравляю вас: в нашей литературе появился новый Лев Толстой!» – тоже во много определила тогда наше отношение к этому писателю. В нашей семье, например, «Один день Ивана Денисовича» был не только в журнальном варианте. Не помню, где мне посчастливилось достать эту повесть в отдельной книге, изданной в 1963 году в Москве издательством «Советский писатель» громадным тиражом – 100 000 экземпляров! Стоила она в то время всего... 19 копеек! Но зато в ней было предисловие самого Александра Твардовского, редактора «Нового мира», того, кто открыл писателя, дал ему путевку в жизнь. А как радовался я, когда сумел купить еще и «Роман-газету» с этой пове-

стью Солженицына! Именно там, в этом издании, тираж которого доходил, чуть ли не до одного миллиона экземпляров, было напечатано в редакторском предисловии, что повесть Александра Солженицына выдвигается на соискание Ленинской премии в области литературы и искусства!

Потом в том же «Новом мире» один за другим стали появляться рассказы – «Матрёнин двор», «Случай на станции Кочетовка», «Для пользы дела», «Захар-калита»... Это были уверенные и твердые шаги в литературу большого мастера со своим неповторимым стилем, языком, своим взглядом на окружающую нас действительность.

И вдруг сразу после того, как Пленум ЦК КПСС снял со всех постов Н.С Хрущева, в литературной судьбе Солженицына все круто изменилось. А когда во Франции был издан «Архипелаг ГУЛАГ», во всех средствах массовой информации началась настоящая вакханалия. «Литературный власовец», «антисоветчик», «предатель» – как только ни изощрялись в жесточайших разносах Солженицына. Свой вклад в это коллективное избиение писателя внесла, конечно, и наша областная газета «Звезда», правда, не своими местными авторами, а в основном тем, что приходило по линии ТАСС. Зато многотиражная газета «Пермский университет», орган парткома, комитета ВЛКСМ, месткома профсоюза, 19 февраля 1974 года предоставила целую колонку Р.Ф. Яшенькиной, доценту кафедры научного коммунизма. Она, что называется, в пух и прах разнесла и Твардовского, и Солженицына, а «Архипелаг ГУЛАГ», который к тому времени еще не был даже опубликован в нашей стране, презрительно назвала антисоветским пасквилом...

Тучи над головой писателя с каждым днем сгущались. И все-таки даже в это время в Пермь из Москвы каким-то образом прорывались его произведения, от которых открещивались все журналы и издательства страны. Так мы с женой за одну ночь, передавая друг другу отпечатанные на машинке страницы, – а их в рукописи было более 500! – прочитали, вернее, проглотили роман Александра Солженицына «В круге первом». «Самиздастовскую» рукопись нам дали под нашу строжайшую ответственность – ни слова друзьям, родственникам и знакомым, про-

читаете и сразу же возвращаете роман из рук в руки тому, кто его принес!

И надо же – рано утром, когда жена уже ушла на работу, звонок в дверь. Это прибежала Татьяна Малярова, выпускница филфака, в то время она тоже у Риммы Васильевы Коминой писала свою кандидатскую диссертацию.

*– Я знаю, роман у вас! Дайте, пожалуйста, прочитать!*

Строжайшие условия конспирации запрещали мне не только передавать кому-то рукопись, но даже и говорить о ней. И мне пришлось разыграть сцену недоумения и даже негодования: дескать, никакого романа у нас не было, и нет! Более того, если бы кто-нибудь подсунил мне, журналисту партийной газеты, сочинения этого антисоветчика, то я бы и читать не стал!

Вот так же буквально из-под полы познакомился я тогда и с так называемыми «крохотками» Солженицына – коротенькими, всего в несколько строк, рассказами. Виктор Широков, тогда студент мединститута, а ныне известный московский поэт, собственный корреспондент «Литературной газеты», передал мне отпечатанные на машинке «крохотки» на трамвайной остановке возле Почтамта, а уже через час я вернул их ему, где-то поблизости от железнодорожного вокзала. Вот на какие ухищрения и уловки приходилось идти, чтобы иметь доступ к произведениям любимого писателя!

## 2

Когда толпа людей бьет человека, не зная даже, за что и по какой причине она делает это, любому нормальному человеку хочется вмешаться, остановить это безобразие. Чтобы поддержать Солженицына, который подвергался такой чудовищной травле, я через «Новый мир» отправил ему письмо. Это был обычный читательский отклик, некоторые писатели получают их сотнями и даже мешками. Но наряду с неизбежными в таком случае комплиментами по поводу всего прочитанного, в моем письме были и такие строки: «Хочется верить, что в это трудное время вас, большого русского писателя, окружают надежные и верные друзья, которые готовы вас защитить от клеветы и несправедливых нападок. Если же это не так, то, как говаривали

зеки в “Одном дне Ивана Денисовича”, пошлите всех ваших злопыхателей... “на фуй” и приезжайте к нам в Пермь! Райской жизни не обещаю, но крыша над головой, стол и стул вам будут обеспечены. А что еще нужно для работы настоящему писателю?»

В трех километрах от Перми у наших старичков, родителей жены, был крохотный домишко, перестроенный под жилье из деревенской бани. Летом домик использовался в качестве дачи, а на зиму родители перебирались к нам в городскую квартиру. Нам казалось, что писатель, не избалованный в своей жизни особыми удобствами и комфортом, там сможет укрыться и спокойно продолжать свою литературную работу.

На ответ я не рассчитывал. Но однажды обнаружил в своем почтовом ящике толстый конверт. В нем было два письма. Одно, от руки, мне лично. Солженицын поблагодарил за приглашение приехать в Пермь, но, как он сам написал, еще не дошло до того, чтобы уходить в подполье. Второе письмо, машинописное, на трех или четырех плотных листках бумаги – 4-ому съезду писателей СССР, проходившему тогда в Москве. Говорят, это письмо Солженицын сам раздавал делегатам съезда у входа в зал, где проходили заседания. Знаю, что такое письмо было у Виктора Петровича Астафьева. Он давал его прочитать некоторым пермским писателям.

Солженицын обращался за помощью к своим коллегам по перу, предлагал бороться за то, чтобы в нашей стране отменили цензуру, сообщал, что кагэбешники захватили его архив, что его, писателя, третий год травят все средства массовой информации, а он лишен возможности опровергнуть эту ложь и наветы, что Союз писателей, его руководители, не делают ничего, чтобы защитить его честное имя, наоборот, даже поддерживают и поощряют злостных хулителей, заявлял, что он даже из могилы будет говорить правду о жизни народа.

Письмо съезду произвело на меня оглушительное впечатление. Мне было тогда 33 года, я был убежден, что главное в моей журналистской работе заключается в том, чтобы защищать несправедливо обиженных людей, бороться со злом и несправедливостью. А тут – любимого писателя рубят под корень!

Ночью на нашей крохотной кухне в двухкомнатной «хрущевке» на бульваре Гагарина я за один присест написал письмо Брежневу. В книге Натальи Решетовской, первой жены Солженицына, «Александр Солженицын и читающая Россия» (Москва, «Советский писатель», 1990 год) это мое письмо приводится почти полностью. Прочитую только одно место: *Мы сами вручили врагам соленую розгу, да еще и подставили то самое место, которое ниже спины! Но они же могут заполучить многократно отвергнутые вещи Солженицына. Они их издадут, да еще и Нобелевскую премию присудят! Вот тогда у них в руках будет уже не розга, а дубина!*

*Так зачем же мы сами себя сечем и позорим? Зачем же мы перед всем миром выставяем себя глупее, чем мы есть на самом деле? Дикость какая-то! Средневековое недомыслие! Невольно вспоминается судьба нашего великого Пушкина: его травили, травили, а потом убили! Сколько времени прошло с той дуэли на Черной речке? Больше двух столетий! А потомки Дантеса все еще не могут отмыть кровь Пушкина со своих рук. Все еще пытаются оправдать Дантеса.*

Сам удивляюсь, как это мне тогда, в 1967 году, удалось угадать, что Солженицын будет Нобелевским лауреатом! За семь лет до этого события!

Это мое письмо, написанное от руки в трех экземплярах, я отправил в Москву в ЦК КПСС генсеку Брежневу, председателю Союза писателей Федину и в Рязань самому Солженицыну. Федин промолчал: подумаешь, там какой-то журналист из Перми вздумал указывать ему на ненормальную обстановку в Союзе писателей! Ответ Солженицына из Рязани пришел короткий. Он написал, что из всех участников съезда писателей за него попытались заступиться 87 человек, поблагодарил меня за попытку помочь ему и написал еще, что по сведениям некоторых ученых-пушкинистов, у Дантеса на груди под мундиром была бронзовая планка, поэтому пуля Пушкина не принесла ему особого вреда.

Ответ от Брежнева пришел не мне лично, а в обком КПСС с пометкой: «Разобраться и принять меры!»

Особенно взбесило тогдашних партийных функционеров, что я осмелился уравнивать их с Дантесом! Сначала вызвали меня в отдел пропаганды и агитации обкома партии. Не буду называть имена тех, кто «разбирался» со мной, хотя все они живы и здоровы.

– *Это ты написал?*

– *Я.*

– *Врага защищаешь? Да как ты посмел!*

Мои объяснения и возражения отскакивали от них как горох от стенки. Меня сверлили суровыми взглядами, словно старались заглянуть в самую душу, разглядеть, что за гнилое нутро у этого очкарика...

Потом в редакции состоялось партийное собрание. Секретарь обкома партии по идеологии И.Я. Кириенко (Виктор Петрович Астафьев, который тогда жил в Перми и, по-видимому, не раз сталкивался с Кириенко и его идеологическим отделом, презрительно называл секретаря обкома «Ванька-идеолог»), обрушился на меня как на своего идейного врага, а также выразил удивление, что в коллективе редакции до сих пор по-настоящему, по-партийному не отреагировали на мой поступок, не дали ему оценку.

В присутствии секретаря обкома партии кое-кто из моих коллег-журналистов тоже постарался продемонстрировать свое верноподданничество. Особенно больно ударил меня один фронтовик. Прекрасно зная, с каким уважением я отношусь к этим людям, защитникам Родины, как дорожу их мнением, их отношением ко мне, он при всех бросил мне в лицо:

– *Я бы с тобой не пошел в разведку!*

После того собрания я пришел домой в таком состоянии, что родные испугались, как бы я с собой что-нибудь не сделал. Мне действительно просто жить не хотелось.

Потом меня еще прорабатывали на партбюро, секретарем которого был Юрий Вахлаков, тоже выпускник филфака университета. Решение вклеить мне строгий выговор с занесением в учетную карточку было принято единогласно. Но вот за что вынести такое строгое партийное наказание? Как сформулировать его? За письмо? Но ведь не в Белый дом оно было отправлено,

не в ООН, а в ЦК партии, генсеку Брежневу! Устав партии не запрещает по любому вопросу обращаться в ЦК. Тогда за что же?

– *За выступление против линии партии!* – неожиданно предложил кто-то, и все члены партбюро дружно подняли руки.

Слава Богу, что на дворе был не 37-й, а 67-й год. Однако после такой формулировочки – «за выступление против линии партии» – и тогда не так просто было выжить, сохранить свое человеческое достоинство. Недаром же во время нашего совместного посещения бывшего лагеря политзаключенных «Пермь-36» в деревне Кучино Виктор Петрович Астафьев, который знал всю эту историю, сказал мне:

– *Ты, Коля, мог бы тоже оказаться в этих камерах...*

Спустя почти два десятка лет, когда Солженицыну вернули гражданство и он с Дальнего востока через всю страну возвращался в Москву, а я опубликовал в «Вечерней Перми» свою статью «Письмо Брежневу», к нам в редакцию пришел А.П. Пилипенко, рабочий завода имени Дзержинского. Видимо, у него была дальновзоркость, и глаза, увеличенные толстыми стеклами очков, были очень большие, круглые, с крупными, словно нацеленными в тебя, зрачками.

Оказывается, в то же самое время, когда я рассылал свои письма, он, тогда, в 1967 году, еще совсем молодой человек, поехал в Рязань к Солженицыну, так ему хотелось повидаться с ним и показать свои стихи. Писателя дома не оказалось, но стихи все-таки попали ему. Пилипенко показал мне письмо Солженицына с небольшой рецензией на его тогдашнее творчество. Помню, что писатель еще советовал молодому человеку читать стихи Лермонтова.

Так вот: за эту поездку в Рязань и за переписку с писателем А.П. Пилипенко, как он сказал мне, арестовали и посадили в тюрьму! На три года!

– *А почему тебя не посадили?* – уставившись в меня своими огромными за стеклами очком глазами, спрашивал он.

Что я мог ему ответить? Не знаю! Хотя все складывалось так, что я, всерьез опасаясь обыска, попытался даже спрятать письма Солженицына, увозил их в Верещагино, где жили мои



родители, закапывал в погреб! А ведь у нас с женой были тогда две прелестные доченьки, я отвечал за них, знал, как плохо им будет, если меня пусть даже не посадят, а просто вышвырнут из редакции «за выступление против линии партии!». Кто примет меня на работу с таким клеймом? А каково будет жене? Она, аспирантка Риммы Васильевны Коминой, уже подготовила кандидатскую диссертацию, но разрешат ли ей теперь защищаться?

На партийном собрании в университете проректор С.В. Владимиров уже поведал всем, что бывший студент нашего университета, филолог Гашев, попытался защитить этого отщепенца и антисоветчика Солженицына! Нина ловила на себе косяе взгляды партийцев, ей ставили в укор: почему не остановила, не вразумила мужа?

Как раз в это время в университете рассыпали набор уже готового к печати сборника ученых записок № 155 «Вопросы изучения русской литературы XIX и начала XX века», составителем которого была Римма Васильевна Комина. Там была статья третьекурсника филфака Жени Тмарченко о Солженицыне. Сейчас об этом писателе написаны горы книг и в нашей стране, и за границей. Но тогда, в 1967 году, эта статья Жени Тмарченко, где анализировалось все, что мы прочитали в «Новом мире»: и повесть «Один день Ивана Денисовича», и все рассказы – возможно, была бы одним из самых первых литературоведческих исследований творчества будущего лауреата Нобелевской премии. С юношеской горячностью студент-филолог сравнивал Солженицына с самим Шекспиром!

В этом же сборнике ученых записок № 155 были рассыпаны и две статьи Нины Гашевой о творчестве Э. Казакевича. Цензура обнаружила и у нее тоже грубейшую политическую ошибку: в цитате из неопубликованного тогда романа «Железный век», посвященного жизни и судьбе Марины Цветаевой, Казакевич устами самого Сталина очень нелестно отозвался о старых большевиках-ленинцах, которые, дескать, выродились, приспособляются, ищут свою выгоду...

Опубликовать такое в ученых записках в год 50-летия Октябрьской революции! Это была крамола, совершенно недопустимая в то время!

По правилам у Нины как раз и не хватало только двух статей для защиты диссертации. В пермском пединституте отказались ее печатать. Хорошо, что доцент Татьяна Леонидовна Занадворова, сестра известного фронтового поэта Владислава Занадворова, не побоялась опубликовать Нинины статьи о творчестве Э. Казакевича в сборнике «Вопросы истории и теории литературы» Челябинского пединститута. И, тем не менее, защита состоялась только через два года в Алма-Ате, по нынешним меркам не в России, а в другом, соседнем государстве!...

А защита докторской диссертации Р.В. Коминой была отложена еще на большее время – почти на четырнадцать лет после того, как ее обсудили и одобрили на заседании кафедры! Это была расплата за тот рассыпанный сборник ученых записок со статьей о творчестве Солженицына. На заседании парткома университета Римме Васильевне объявили строгий выговор с занесением в личное дело...

Чувствуя свою вину за все происходящее и не зная, что делать, что предпринять, я пришел за советом к Юрию Вахлакову, секретарю партбюро редакции, тому самому, кто влепил мне строгий выговор. Он и посоветовал мне записаться на прием к Кириенко, секретарю обкома: *«Одно дело, когда он громил тебя на собрании, и совсем другое, когда ты придешь к нему, так сказать, с повинной...»*

В общем, меня сломали... Я оказался совсем не таким твердым и бесстрашным, как мой любимый писатель Солженицын...

Как побитый пес, приполз к Кириенко. Что я лепетал ему? Помню только фразу, которую заранее заготовил и выучил, направляясь в обком: *«Если начну сейчас каяться, вы сами не поверите мне... Убеждения, пусть и неправильные, не меняются так быстро... Для этого нужно время...»*

– Я понял вас, – сказал Кириенко и, когда я уже выходил из кабинета, покровительственно напутствовал меня:

– *Работайте... Мы будем следить за вами...*

Следили, но, слава Богу, не посадили. И на том спасибо. И даже из редакции не выгнали. Только перевели из отдела куль-

туры в отдел советской работы – подальше от того, что именовалось идеологией.

3

Первым в нашей стране, кто открыто заявил о необходимости возвращения на родину лауреата Нобелевской премии Александра Исаевича Солженицына, был Виктор Петрович Астафьев. Я помню его смелое выступление по этому поводу в телевизионной передаче, а потом интервью в «Комсомольской правде».

В мае 1994 года, когда отмечалось 70-летие Астафьева, он в Красноярске сам показал мне письмо Солженицына из Вермонта. Мне кажется, здесь уместно привести его полностью:

*Дорогой Виктор Петрович!*

*Ваше концеектябрьское письмо получил. Читал и Ваше интервью и в «Комсомольской правде», и о выступлении Вашем по телевидению. Спасибо.*

*Что я тоже внимательный читатель Ваших книг, Вы обнаружите, когда скоро (надеюсь) напечатается мой «Словарь языкового расширения»; Вы обнаружите там немало слов, подсмотренных и заимствованных у Вас (разумеется, со ссылками на Вас).*

*«Подниматься над своими обидами» мне не предстоит, потому что у меня их никогда не было никаких, я же понимал обстановку.*

*Страшна – глубина падения народного состояния, которую трудно определить и измерить (да у Вас она и в «Печальном детективе», и в последней «Людочке», этот «парк ВПРЗ»!).*

*Если Бог пошлет нам выздороветь, то ведь в лучшем случае нам надо на то 100 лет, а то и 150.*

*Вернуться на Родину я надеюсь непременно, но не ранее того, когда повсюду в стране и самым простым читателям («без связей в торговой сети») будут доступны «Архипелаг» и «Колесо».*

*А вернуться прежде того – это значило бы вместо книг всей моей жизни начать заново объясняться, представляться*

– и как? В газетных статьях? Без книг – слишком много ступеней непонимания. Книги мои – это и есть я.

*С пожеланием Вам здоровья и успешной работы, всего Вам самого доброго.*

*А. Солженицын.*

Так и получилось: произведения Солженицына буквально хлынули на нас со страниц многих толстых журналов, которые в свое время поносили его, отказывались принять к печати хотя бы одну строчку. Когда в глянцево-м «Огоньке», который редактировал тогда Коротич, появился прекрасно проиллюстрированный «Матрёнин двор», я с этим журналом в руках пришел к Юрию Николаевичу Вахлакову. Он был тогда уже редактором нашей областной газеты «Звезда».

*– За что же вы топтали меня на партсобрании? За что вlepили строгача на партбюро? Вы же раздували мыльный пузырь! И вот он лопнул! На какую-то ерунду время тратили! Уж лучше бы вы, партийные вожаки, картошку садили! Хотя бы на пяти сотках! Поливали, окучивали, удобряли! Больше пользы было бы всем нам!*

Я видел, как ему неприятны эти вопросы, он бледнел и краснел, хотел только одного: чтобы я поскорее отвязался от него, оставил в покое.

– Ты сам знаешь, какое было время... – проговорил он. Потом, вспомнив, должно быть, что мы с ним филологи, добавил: – Просто ты, оказывается, лучше многих из нас разбирался в литературе... Больше хороших книг прочитал...

Мне, признаться, даже жалко стало Вахлакова. Ну что с него можно взять?

Он, секретарь парткома редакции, слепо выполнял указания обкома, а обком, тот же Кириенко, так же слепо следовал тому, что творилось в верхних эшелонах власти. И все это именовалось «линией партии»!

Я с огромным интересом следил за тем, как Солженицын и сопровождающие его родные через всю страну возвращаются по Транссибу в Москву. Очень обрадовался, когда узнал, что в Красноярске Александр Исаевич прямо с вокзала поехал в Овсянку к Виктору Петровичу Астафьеву. Два больших писателя,

которые еще при жизни стали классиками отечественной литературы, наконец-то встретились лицом к лицу, посидели за общим столом в маленьком домике на улице Щетинкина № 26, по деревенской улице вместе спустились к Енисею. И почти наверняка – Астафьев показал своему собрату по литературе сельскую библиотеку в центре Овсянки, наверное, самую лучшую в сельской местности России, построенную исключительно благодаря упорству и настойчивости Виктора Петровича...

И вот, наконец, проскочив Екатеринбург, поезд остановился в Перми.

Утром я позвонил в гостиницу «Урал», но дежурный администратор наотрез отказался дать мне телефон писателя. Тогда я принялся наугад обзванивать все люксовские номера – о чудо! Будто сам Бог вел меня в этой попытке. Со второго звонка услышал в рубке знакомый по телевизионным и радиопередачам голос писателя.

– *Вы знаете: вашей фамилии нет в моем списке*, – неожиданно услышал я. Значит, у Солженицына уже был заранее составлен список людей, с которыми он должен был встретиться в Перми, а меня, который чуть в петлю из-за него не полез, он, по видимому, даже и не помнит!

Я сложил в конверт «Вечерку» с моей статьей «Письмо Брежневу», публикацию из «Звезды» об однополчанах Солженицына, живущих в Перми – В.М. Дедюхине, М.Л. Фуксе, Е.А. Труфанове, а также задепонированную статью моей жены Нины о только что изданном тогда в нашей стране четырехтомнике «Архипелага ГУЛАГ», и сам поехал в гостиницу. Через полчаса я уже стоял у дверей номера 531 на пятом этаже «Урала». Эта утренняя встреча была короткой – всего две – три минуты. Я обратил внимание, как Солженицын в свои 75 с хвостиком легко, даже стремительно, поднялся с кресла, крепко пожал руку, зорко и с интересом всматривался в меня, незнакомого ему человека. Писатель уже ждал кого-то (недаром у него был заранее составлен список посетителей, и весь день расписан по минутам). Я передал ему конверт с вырезками моих газетных публикаций.

– *Я позвоню вам ближе к вечеру*, – сказал писатель.

И действительно позвонил! И вот мы сидим в гостиничном номере, разделенные журнальным столиком, на котором в высокой стеклянной вазе алеют три свежие розы.

Бросилось в глаза, что в окладистой бороде Солженицына почти нет седины. И читал он без очков («Я только пишу в очках», – заметив мой взгляд, сказал он).

Своим мелким, но четким почерком, знакомым мне еще по коротеньким письмам из Рязани в 1967 году, быстро делал какие-то пометки на узенькой полоске бумаги, спросил зачем-то, с какого я года рождения, записал. Может быть, вот так, по им самим разработанной системе, писатель составлял свои знаменитые карточки, которые помогали ему потом в работе.

Я готовился к этой встрече: взял с собой диктофон, набросал в блокнот с десятков вопросов. Но разговор пошел совсем не так, как предполагалось мне. Оказывается, Солженицын прочитал все, что я принес ему утром. Речь зашла о моем письме Брежневу. Копию его в 1967 году я посылал Солженицыну в Рязань, он вспомнил даже, что письмо было написано от руки, на нескольких листах. А вот что он ответил тогда автору – не помнит.

*– Давайте я вам сейчас сам отвечу, – улыбнулся он. – Только не обижайтесь, пожалуйста: очень наивное письмо. Наивное, но смелое. Я вас благодарю за поддержку. Сами понимаете, в то трудное время любое слово поддержки и одобрения было очень дорого мне...*

И сразу принялся расспрашивать, что было со мной после этого наивного письма в ЦК КПСС. Не посадили? Сейчас-то известно, что были такие случаи. Арестовывали и давали сроки даже за то, что люди читали и хранили книги антисоветчика Солженицына!

Получалось так, что не я, журналист, брал интервью у писателя, а он у меня. Ему за два долгих десятилетия пребывания за границей, проехавшему по Транссибу чуть ли не пол-России, было интересно узнать, как живем мы, пермяки, что сейчас нас волнует и тревожит.

Во время нашего разговора в комнате появился круглолицый молодой человек, очень похожий лицом на Наталью Дмит-

риевну Солженицыну. Это был Ермолай, сын Солженицыных. Тогда ему было лет двадцать, а через несколько лет Ермолай вновь приедет в Пермь, чтобы зарегистрировать в загсе свой брак с Надей Тодощенко, дочкой нашей пермской журналистки Ольги Ивановны Тодощенко (с ней мы, кстати, многие годы работали вместе в «Звезде» и жили в одном доме на улице Крупская № 42). Сюда, в этот дом, и приехал Ермолай со своей невестой. Свадьбу сыграли в одном из наших ресторанов. То есть через Ермолая семья Солженицыных как бы породнилась и с нашим уральским городом!

– *Отец, там к тебе рвется еще один журналист,* – сказал Ермолай. – *Кажется, из «Литературной России»....*

– *Ну ты же видишь, я занят... И дальше у меня еще будут люди...*

Как жаль, что во время этой встречи в гостиничном номере мне только один раз было разрешено записать на диктофон голос писателя. Это произошло, когда речь зашла о статье моей жены Нины об «Архипелаге ГУЛАГ». Солженицын, который до этого почему-то строго запретил мне пользоваться диктофоном, на этот раз сам попросил включить его.

– *Нина Васильевна, вы правильно заметили в своей статье, что в «Архипелаге» я обратился к поэтике кинематографа. Это дает возможность, как в кино, в одном кадре слышать сразу несколько голосов, сталкивать разные точки зрения... Только я не знаю, что значит – «задепонированная» статья? Она хоть и не опубликована, но находится в библиотеке, ее можно затребовать, как книгу, и прочитать?*

Вот так – только эти слова писателя и остались после этой встречи на моем диктофоне. И еще я очень жалею, что не побывал в этот же вечер у Виктора Михайловича Дедюхина, однополчанина Александра Исаевича Солженицына. Оба они зимой 1945 года участвовали в скоротечном ночном бою в Восточной Пруссии. Капитан Солженицын, тогда командир батареи звуковой разведки, сумел вывести ее из-под огня, спас и боевой расчет, и оборудование. А капитан Дедюхин чуть не попал в беду – немцы подступили так внезапно, что он едва успел сжечь штабной автомобиль со всеми документами и с огромным риском

перебрался по льду через речку Пассарга, где на высоком берегу единственное орудие, сохранившееся от всей батареи, вело огонь, сдерживало продвижение танков и бронетранспортеров противника по мосту через речку.

Я знал Дедюхина, несколько раз по своей журналистской работе бывал у него дома. И в этот день сам позвонил ему и сказал, как можно связаться с Солженицыным. Он тоже пришел в гостиницу и пригласил однополчанина к себе домой на пельмени.

Писатель пришел вместе с Ермолаем.

У Маргариты Андреевны, жены Дедюхина, все уже было готово. Пельмени получились превосходные, Ермолай три раза просил добавки. Аппетит у него был отличный, ел и похваливал.

А Дедюхин и его гость уединились на диване и принялись рассматривать фронтовые фотографии – у Виктора Михайловича, бывшего начальника штаба батареи тяжелых орудий пушечной бригады, их целый альбом. Вот командир батареи майор Боев, который героически погиб в том ночном бою. Вот сам Солженицын, молоденький, худощавый капитан, в групповой фотографии командного состава батареи. На одной из них Солженицын вдруг увидел начальника СМЕРШа бригады.

– *Ермолай!* – сразу же позвал он к себе сына. – *Посмотри: вот этот человек арестовывал меня, срывал с меня ордена и погоны!*

Рассказывая мне потом всю эту сцену с пельменями и фронтовыми фотографиями, Виктор Михайлович беспокоился только об одном: не мог ли Солженицын подумать, будто он, Дедюхин, был дружен с этим смершевцем и поэтому нарочно хранил его фото в своем альбоме?

Но Солженицын, конечно же, даже не думал об этом. Через несколько лет он прислал однополчанину сборник своих, только что изданных в Москве произведений. В односуточной повести «Адлиг Швенкиттен», посвященной памяти майоров Павла Афанасьевича Боева и Владимира Кондратьевича Балужева, о жестоком ночном бое в Восточной Пруссии на берегу речки Пассарга действовал и молоденький капитан Топлев, начальник штаба батареи, в котором Дедюхин без труда узнал себя. Он



расстраивался только, что писатель изобразил его каким-то уж очень молоденьким, неопытным и даже хлипким. А ведь к тому времени – декабрь 1945 года – он, Дедюхин, уже почти три года был на фронте и наград у него за боевые дела, как говорится, – полная грудь. Обиженный однополчанин, кажется, даже послал Солженицыну возмущенное письмо...

4

Моя третья встреча с А.И. Солженицыным была в июле 1996 года в Москве, на Тверской – 8, где находилось тогда его литературное представительство. Эта встреча в Москве, на которую он сам пригласил меня, состоялась во многом благодаря газете «Комсомольская правда», которая организовала «прямую линию» читателей с писателем. Мне удалось дозвониться до Солженицына (цитирую по «Комсомольской правде» за 23 апреля 1996 года):

– *Здравствуйте, Александр Исаевич, это Николай Гашев из Перми. Мы с вами встречались, когда вы приезжали в наш город.*

– *Совершенно правильно.*

– *Александр Исаевич, приближаются выборы – что будете делать вы, если коммунисты придут к власти?*

– *Отвечаю. Я не боялся коммунистов тогда, когда они были в необычайной, тоталитарной силе, может быть, вы знаете, что я выступал против них абсолютно открыто. И сегодня нашу власть я обличаю во многих пороках и ошибках, а порой и преступлениях. И говорю, что как проведена приватизация – это колоссальное государственное преступление. И тоже не боюсь. И если придут коммунисты, я их тоже буду так же не бояться, как не боялся раньше.*

– *В Вермонт не вернетесь обратно?*

– *Нет, не уеду, никогда и никуда. Тут и умру.*

– *Второй вопрос: у меня есть все, что вышло из-под вашего пера. Кроме «Красного колеса». Оно почему-то никак не может доехать до Перми. Есть ли возможность какая-то купить эту книгу?*

– Это беда. «Воениздат» по подписке распространяет, но только в Москве и в Петрограде. Восемь томов уже вышло из десяти, надеюсь, еще снова будет издаваться другое издание...

Узнав о том, что «Красное колесо» издается только для Москвы и Питера, – а это главная книга А.И. Солженицына, над которой он работал более 50 лет! – я написал Александру Исаевичу письмо, где задавал только один вопрос: где достать «Красное колесо»? В ответ я получил от писателя вот какое письмо:

*Дорогой Николай Владимирович!*

*Ваше письмо растрогало нас с Натальей Дмитриевной – и вот что мы придумали: посылать комплект «Красного колеса» по почте – может кончиться пропажей его. Поэтому, м. б., лучше чтобы вы или кто-нибудь по вашему поручению приехал в Москву и – в будний день, в часы 11 – 18 – это мое литературное представительство – получите 8 томов «Колеса» в издании «Воениздата». (9, 10 они еще так и не вытянули). Платить ничего не надо, это будет вам подарок, а уж давайте читать пермичам, кто, правда, интересуется. Всего вам доброго!*

*Александр Солженицын.*

*Срок приезда – любой. А может, рискнуть и послать?*

*Но уж при пропаже не жалуйтесь.*

...Я поднялся по лестнице и постоял немного у дверей. Открыла мне молодая смуглолицая женщина. Это была Мунира Мухамеджановна Уразова, секретарь литературного представительства Александра Исаевича Солженицына в Москве. А вот и сам хозяин квартиры появился в прихожей, по-прежнему подтянутый, прямой, легкий и стремительный в движениях – пожалуй, только борода с сединой да лысина свидетельствуют о том, что это далеко не молодой человек.

Мы сидели с ним друг против друга за письменным столом. Пока Солженицын подписывал предназначенные для меня книги (кроме восьми томов «Красного колеса» мне было предложено на выбор еще две книги – только что изданный на русском языке «Бодался теленок с дубом»), я выбрал парижское из-

дание этого произведения, толстенный том в 628 страниц), я тоже вынимаю из дорожной сумки свои подарки. Книгу «Мученики церкви», изданную в Иванове Московской патриархией, я привез в дар Солженицыну, потому что там несколько страниц посвящено отцу Николаю Гашеву, священнику Ильинской церкви, – моему деду.

– *Что с ним? Расстрелян?*

– *Уморили в лагере... Бабушка наша Капитолина Андреевна с него еще живого снимала мерку для гроба. Иначе, предупредил начальник лагеря, сбросят старика в общую яму с биркой на ноге...*

– *С живого! Мерку для гроба! Как это выдержала бабушка... По своему арестантскому опыту, а он у меня маленький, знаю: верующие, служители церкви, в лагерях были самыми порядочными людьми. Не подличали, никого не закладывали, не «стучали», терпеливо переносили все унижения и никогда, или почти никогда, не теряли надежды...*

Второй мой подарок явно обрадовал писателя – увеличенная во много раз фотография однополчан Солженицына, сделанная в военное время в Восточной Пруссии. Среди них и сам будущий писатель, а в то время капитан, командир второй батареи звуковой разведки 68-й армейской пушечной артиллерийской бригады. Этот снимок из архива полковника в отставке, бывшего начальника штаба второго дивизиона бригады В.М. Дедюхина был в свое время опубликован в «Звезде».

А как просветлело лицо Солженицына, когда я достал из сумки маленькую, сильно потрепанную книжку – повесть «Один день Ивана Денисовича», выпущенную издательством «Советский писатель» еще в 1963 году.

– *Как удалось сохранить ее? – спрашивал он. – Прятали? Не давали выносить из дома? Эту мою самую первую книгу изымали из библиотек!*

И взволнованный писатель с видимым удовольствием подписал книгу и мне и моей жене: «Нине Васильевне и Николаю Владимировичу Гашевым – сохраненный ими экземпляр.

25-6-96.

*А. Солженицын».*

...Я шел по Тверской улице к метро и чувствовал, как дорожная сумка, туго набитая книгами, все сильнее врежется лямкой в плечо. Но эта боль даже радовала меня. Все-таки встреча с Солженицыным состоялась! У кого еще в Перми есть теперь десять томов «Красного колеса»? Да еще и «Теленок» из самого Парижа! И все эти книги с автографами самого писателя! Прав был, наверное, Юрий Вахлаков, тогдашний редактор «Звезды», когда сказал, что я, в отличие от него и тех, кто топтал меня за письмо Брежневу, больше читал хороших книг.

Да, читать хорошие книги – для меня это самое любимое дело! Я и в дальнейшем буду продолжать заниматься этим моим любимым делом.

Die Stunde ist zu Ende.

*Е.Д. Тамарченко*

## **ОБ ИСТОРИЗМЕ ПОЭТИКИ СОЛЖЕНИЦЫНА**

Под «историзмом поэтики» здесь понимается соотношение, существующее между поэтической системой произведения и эпохой, которая эту систему обусловила. В том, что такое соотношение является исторически необходимым, в советском литературоведении никто не сомневается. Именно подобное соотношение мы и хотим здесь исследовать на материале четырех произведений А. Солженицына, взятых в той последовательности, в которой они были опубликованы.

Теоретическое затруднение, встающее при таком исследовании, связано с противоречивостью представлений о том, что такое «поэтическая система» произведения и какова методика, позволяющая сопоставить ее с «эпохой». Не имея возможности подробно обосновать здесь избранные нами принципы анализа, мы все же кратко изложим их, прежде чем приступить к разбору.

Прежде всего мы исходим из представления о том, что сопоставляться должны целостная речевая система и целостный исторический период, а не те или иные их изолированные элементы. Для того чтобы целостное сопоставление двух этих ка-

чественно разных явлений стало возможным, нужно, конечно, найти такие единицы, которые бы сделали эти явления соизмеримыми.

Обычно в поисках такой соизмеримости исходят из понятия основного конфликта. Известно, что основной конфликт эпохи обязательно (хотя и глубоко опосредованным образом) формирует ее искусство. Поэтому соизмеримость произведения с эпохой должна быть выражена в единицах этого основного конфликта, т. е. таких явлениях истории и искусства, которые несут в себе все свойства целого периода или его художественного воссоздания.

Для отдельного произведения такими единицами являются, как нам кажется, целостные, относительно самостоятельные в нем ситуации художественного мира<sup>4</sup>.

Системное сходство между литературным произведением и определенным историческим периодом заключается, в частности, в том, что единицы, целостные ситуации того и другого последовательно сменяют друг друга во времени – художественном и метрическом. Однако закономерность этой смены может быть принципиально различна – как для истории, так и для произведения. В одном случае конфликт целостного периода – или произведения – развивается, качественно изменяется как в пределах каждой ситуации, так и в пределах всего целого. В другом случае он неизменно и постоянно пронизывает каждую единицу какого-то исторического периода или произведения, и на их протяжении в нем не происходит никаких существенных сдвигов. Именно последнего рода системная закономерность характерна, на наш взгляд, для произведений А. Солженицына, и ее воплощение и особенности мы стремимся ниже рассмотреть. Мы назвали выразивший таким образом принцип поэтики (в основных своих чертах характерный, конечно, не только для одного Солженицына) **принципом неизменности ситуации** литературного произведения.

---

<sup>4</sup> Их не нужно путать со «сценами»: любая из таких ситуаций может быть «дана» при помощи нескольких сцен.

\* \* \*

Появившаяся в печати первая повесть писателя<sup>5</sup> показывает нам один день лагеря с особым режимом. В нем можно выделить около двадцати эпизодов, внешнее действие которых определяется в основном лагерным укладом. Это подъем и отбой, столовая и санчасть, работа и обыск у ворот. Но вместе с тем можно видеть, что каждый эпизод освещает нам в различных условиях лагеря, в условиях крайней несправедливости, и его ориентировку по отношению к происходящему.

Как можно кратко охарактеризовать эту воплощенную в условиях лагеря несправедливость? Заключение здесь – люди под номерами. Поводом к лишению их элементарных человеческих прав в большинстве случаев служат стандартные обвинения вроде «шпион», приписываемые невинным людям. Эти регламентированные обвинения имеют страшное, владычествующее над людьми существование. Оно настолько самостоятельное, что часто не надо придумывать, какое у шпиона было задание. Уклад лагеря поражает, с одной стороны, своей бесчеловечной логикой – все в нем противостоит элементарным нормам человеческого. С другой стороны, он поражает своим странным алогизмом. «Свободы здесь от пуза», – говорит Иван Денисович (заключенные разговаривают на любые темы); их заставляют самих от себя натягивать колючую проволоку, прежде чем приступить за работу. Репрессиям подвергнуты и бригадир Ивана Денисовича, несправедливо изгнанный из армии, и изгнавший его командир, и девушки-студентки, спасавшие и кормившие бригадира в дороге.

Воплощенную в условиях лагеря несправедливость можно кратко обозначить одним словом. Это – зловещая, враждебная принципам нашего общества схема, в которую пытаются втиснуть живых людей. Навязанная «сверху» концепция действительности стала в этот период исторической силой, поставила людей в глубоко ненормальные отношения друг к другу. Отсюда – алогизм и бесчеловечная логика происходивших тогда на деле и показанных Солженицыным событий.

---

<sup>5</sup> Один день Ивана Денисовича // Новый мир. 1962. № 11.

Вся повесть изображает острейшее, трагическое столкновение людей и схемы. И люди в этих условиях ведут себя по-разному. Если попробовать дробить каждую ситуацию на составляющие ее эпизоды, скрепленные единством внешнего действия, мы увидим, что все они показывают людей в этом разрезе.

Перед каждым из заключенных стоит задача – выжить. Здесь «двести граммов жизнью правят». Но одни пресмыкаются, «лизжут миски», как «шакал» Федюков. Другие живут за счет остальных, как «стукачи», «придурки», завстоловой. Третьими, полностью осознавшими необходимость приспособиться к этим страшным условиям, руководит нечто большее, чем животная жажда жить. Общественное, этическое начало не позволяет им жить за счет других или выклянчивать. Некоторые заключенные впали в апатию, как неудачник и «недобытчик» Клевшин. Есть среди них и «лагерный волк», бригадир, человек с душой, выжженной несправедливостью и страстно ее ненавидящий. Только снаружи все они одинаково черные, а «внутри неровно идет, ступеньками».

Разные люди и среди охраны – от «самого покладистого среди дежурников» – надзирателя Полтора Ивана – до садиста лейтенанта Волкового.

И выбор человеком своего пути зависит от его ориентировки по отношению к несправедливости лагеря. Схема порождает несправедливость и эгоизм, недаром для служения ей удобны садисты и насильники. Условия лагеря таковы, что люди поневоле становятся врагами друг другу.

«Кто первый враг арестанту? Другой арестант». Это – «зверехитрое племя». Многие стараются подольше пробыть в тепле за счет другого и смотрят жадным взглядом в миску соседа. Продолжительная сцена повести показывает, как сначала для мерзнувших у ворот эков врагами являются опоздавшие, из-за которых они мерзнут дольше, потом – конвой, слишком долго пересчитывающий. Затем заключенные замечают движущуюся к лагерю им наперерез другую колонну. Тогда конвой и эки становятся союзниками в своем стремлении раньше попасть в тепло, а врагом – «чужая» колонна эков.

Действие повести происходит на территории лагеря. Иногда, в коротких отступлениях, мы переносимся за его пределы. Ситуация, представляющая в каждом из этих отступлений, всегда организована теми же основными конфликтами, что и каждый эпизод лагерного существования.

Самое значительное из таких отступлений – размышления недоумевающего Ивана Денисовича о письмах из дома, из колхоза. Они кратко и выразительно рисуют нам тяжелую картину. Председатели сменяются, колхозники ищут работу на стороне. И самое большое место в этой картине, как символ внешнего благополучия, прикрывающего разруху, символ лакированного лица схемы, занимают «ковры». Эти ковры рисуют при помощи трафаретов на старых простынях, «каких не жалко». Размышляя об этом «легком», «огневом заработке» бойких односельчан, Иван Денисович не одобряет его. Для этого нужно обманывать, ловчить, «кому-то на лапу совать». Такое занятие не вяжется с внутренней честностью труженика. «Руки у Шухова еще добрее, смогают, не уж он себе на воле ни печной работы не найдет, ни столярной, ни жестяной?»

Но тут уж приходится подумать: «Вот только из-за лишения прав не примут никуда, да домой не пустят – ну, «тогда впору хоть и за ковры» (99).

Кроме двух-трех подобных небольших отступлений, организованных как противостояние человека и схемы и выводящих нас за пределы лагеря, действие, повторяем, распадается на эпизоды одного дня жизни заключенных. И здесь, в центре каждого эпизода и микроэпизода, на которые оно распадается, находится тот же самый основной конфликт.

Все это обуславливает своеобразное строение повести. Ее основной конфликт не вырастает к концу по мере добавления каждой новой части, он уже содержится как целое в любом элементарном составляющем, которое скреплено тематическим единством. При этом он не изменяется ни в пределах единиц произведения, ни в пределах его элементов. Казалось бы, такая композиция в художественном произведении должна порождать застои. А в повести застоя нет. Хотя каждый эпизод освещает одну и ту же неизменную ситуацию, он обдуманно освещает ее



с разных сторон и с разной степенью яркости. Наиболее ярко эта ситуация освещается в сцене работы заключенных, ибо повесть утверждает человеческое начало в человеке, а оно ярче всего раскрывается в труде. Бригада работает вдохновенно, как бы вопреки принуждению. Именно в этой сцене в полный рост вырастает перед нами Иван Денисович и другие люди, и в полном своем ничтожестве предстают те, кто уже не люди. Она и является кульминационным пунктом действия.

Такая своеобразная роль каждой ситуации необходимо обусловлена тем, что заключенная в повести художественная идея не развивается во времени, а постоянно пронизывает каждый момент. Но чтобы всесторонне осветить, полностью выразить уже заключенную в каждом эпизоде художественную идею, Солженицыну понадобилась вся совокупность событий повести. Подлинное сквозное действие «одного дня» – внутреннее. Оно развивается как прояснение художественной идеи в сознании читателя, в то время как внешнее действие повести определяется лагерным расписанием, распадается на ряд эпизодов и имеет напряженный, но чисто событийный интерес. Этому очень способствует острота каждого внешнего проявления основной ситуации, ведь в каждом эпизоде на чашах весов лежит жизнь и смерть ее героев.

Все сопоставления героев повести происходят в плане разных решений или этического конфликта, имеющего общественную природу. Все герои повести так или иначе этически ориентируются в отношении общественной ситуации, которая неминуемо требует выбора от каждого.

Для того чтобы уяснить роль и своеобразие позиции Ивана Денисовича в художественном мире, нужно рассмотреть несколько сопоставлений его с другими героями.

Шухов – работяга-труженик. Он достаточно невежествен и готов поверить, что старый месяц бог на звезды крошит, но он мудр сердцем и в этом смысле выше многих культурных и образованных героев повести. Но мудрость его сердца, народное нравственное начало совсем не означают религиозной судьбы, смирения и терпимости. Иван Денисович воспринимает своего соседа по койке, баптиста Алешку, как человека ненормального.

То, что с них (*баптистов лагеря – Е. Т.*) «как с гуся вода», кажется Ивану Денисовичу неестественным. Здравый смысл Ивана Денисовича заставляет его воспринимать Алешу как человека, исковерканного верой в нелепую систему. «Алеша, – объясняет он, чтобы было доходчивей, – Я же не против Бога, понимаешь? В Бога я охотно верю. Только вот не верю в рай и ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите?..» (72).

Какое-то сходное ощущение ненормальности, странности производят иногда на Ивана Денисовича его образованные соседи: Цезарь, Буйновский, как и неизвестный заключенный Х-123, как и ученый врач, верующий в трудотерапию в условиях лагеря, не понимающий, что «от работы лошади дохнут». В сцене, где Иван Денисович приносит кашу в контору Цезарю и слушает, стесняясь прервать образованный разговор, он отмечает про себя, что Х-123 «кашу ест ртом бесчувственным, она ему не впрок» (а Х-123 говорит при этом о трех поколениях интеллигенции). И Цезарь берет принесенную ему Шаховым кашу, «будто каша сама приехала по воздуху». Цезарь – богатый, он сунул тому и этому и вот работает в конторе придурком». Со всей его образованностью он кажется Ивану Денисовичу странным, не знающим самых простых вещей, не умеющим жить, и Иван Денисович его выручает. Он наблюдает за встречей Цезаря с другим «чудаком в очках, который в очереди все газету читал». «Они, москвичи, друг друга издаля чуют, как собаки. И, сойдясь, все обнюхиваются, обнюхиваются по-своему. И лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадают, слушать их – все равно как латышей или румын» (52).

Еще более странным кажется Ивану Денисовичу поведение Буйновского, который кричит конвою: «Вы – не коммунисты!» и, конечно, получает за это десять суток карцера. Он представляется Ивану Денисовичу «быстрой вошкой, которая первая на гребешок попадает». «С ног уж валится кавторанг, а тянет. Такой мерин и у Шухова был. Шухов-то его приберегал, а потом подрезался он, и шкуру с него сняли». При всем этом Иван Денисович понимает, что Буйновский неплохой человек.

Всех этих людей неестественным, непонятым для Шухова с его здравым смыслом делает их вера в какие-то слова. Иван Денисович как мерило естественности, человечности и народно-го здравого смысла сопоставляется с этими людьми. В момент бесконечно трудно осознаваемого им торжества схемы, Буйновский оказывается в ложном положении. Он трудится со страстью, как работал всегда, и не умеет соизмерять свои силы. Выстоит ли он? Х-123 и Цезарь мало приспособлены. Баптист даже рад своим страданиям. Повесть стремится показать, что наиболее устойчивое противостояние несправедливости в этот момент воплощает Иван Денисович.

Но автор отнюдь не отождествляет себя с Шуховым. Об этом, прежде всего, свидетельствует сказовая, «двухголосая» структура повествования. В сценах, где Иван Денисович присутствует при разговоре интеллигентов, и во многих других по отношению к нему слышатся нотки теплого юмора. Постоянно создавая ощутимую дистанцию между собой и героем, автор одновременно последовательно утверждает позицию Ивана Денисовича, прежде всего как наиболее устойчивое противостояние схеме, в этой вводящей людей в заблуждение ситуации (а не самую идеологически верную позицию во все времена).

Если в «Одном дне» автор воссоздал острый момент противостояния нашего общества схеме, то рассказ «Случай на станции Кречетовка»<sup>6</sup> воплощает трагедию проникновения схемы в душу человека.

Рассказ показывает, как человек, верящий в схему, приносит страдания не только себе, но и другим людям, ибо в то время были созданы общественные условия для торжества схемы над человеком.

Структура «Случая», как и «Одного дня», является концентрической. Герой последовательно предстает в общении с разными людьми, и это освещает с разных сторон и с равной степенью яркости основной конфликт рассказа – борьбу схемы и человека. Отличительная особенность рассказа состоит в том, что основной эпизод, наиболее ярко воплощающий враждеб-

---

<sup>6</sup> Новый мир. 1963. № 1.

ность схемы всему человеческому, дается – и может быть дан – только в самом конце рассказа. Для того чтобы сделать художественную идею убедительной, автор должен показать Зотова, скрыто все время несущего в себе это противоречие, в различных ситуациях, в которых схема не может встать в полный рост и начать самостоятельное существование, калеча живых людей. В этих ситуациях мы видим Зотова милым, симпатичным человеком. И хотя скрытая угроза уже заключена и в нем, и в окружающих его общественных условиях, мы ее не замечаем.

И вдруг создаются необходимые предпосылки, привычный ход вещей как будто озаряется ярким светом, и мы видим эту, прежде скрытую угрозу, неожиданно достигшую чудовищных размеров, и прозреваем ее во всех предыдущих ситуациях. Такая структура произведения создает сначала впечатление некоторой затянутости и раздробленности действия, ибо, как и в «Иване Денисовиче», внешнее действие распадается на ряд эпизодов, которые, будучи более будничными в обычном смысле слова, на этот раз не представляют такого напряженного событийного интереса. Но при наступлении ключевой ситуации мы синтезируем все предыдущее и осознаем необходимость такого построения.

В рассказе можно выделить семь эпизодов, в каждом из которых Зотов сопоставляется с разными людьми. Все эти люди, как и лейтенант Зотов, делают свою часть общего дела в суровой обстановке военного тыла. В каждом из семи эпизодов демонстрация-сопоставление Зотова с разными людьми сопровождается более или менее пространственным комментарием автора, «объясняющим» лейтенанта. Иногда такой же прием авторского объяснения применяется и к людям, с которыми сопоставляется Зотов, – как, например, к сопровождающему эшелон старшине Гайдукову. Но в основном эти люди просто демонстрируются в контакте с лейтенантом, в его размышлениях о них. Такой прием «контрастного показа» позволяет последовательно и объемно вылепить образ Зотова и всесторонне осветить художественную идею. Тот же поэтический принцип, хорошо уживающийся с неизменностью ситуаций, легко увидеть и в «Одном дне...».

Мы помним, что в «Одном дне...» Иван Денисович является мерилom естественности, народного здравого смысла и человечности и в этом отношении противопоставляется, в частности, людям, слепо верящим в слова, в схему. В «Случае» ситуация обратная. Зотов носит в себе страшное противоречие – то представление о мире, которым в определенный период пытались подменить подлинную идею коммунизма, уживается в нем с горячей верой в настоящие идеалы. Это противоречие даже в скрытом виде делает его в чем-то неестественным, ненормальным со здоровой, человеческой, народной точки зрения, заставляет все время вести борьбу с самим собой. Когда же создается подходящая обстановка, почва в душе Зотова уже подготовлена, схема побеждает и губит человека. Невинного, беспомощного, проезжего интеллигента Тверитинова Зотов, по непроверенному нелепому подозрению, передает в руки следственных органов военного времени. А там в это время схема особо живуча. Реального, с плотью и кровью Тверитинова она заменяет схематическим Тверикиным и безапелляционно говорит: «У нас браку не бывает». «И этого уже не исправишь».

Для того чтобы подчеркнуть эту неестественность, ненормальность Зотова, автор последовательно сопоставляет его с людьми, воплощающими здоровую народную точку зрения. Все эти люди – и тетя Фрося, и старик Кордубайло, который «еще до войны десять лет на печи сидел, а сейчас вот вышел», и старшина Гайдуков – не менее мужественно, чем Зотов, трудятся для победы. Но именно Зотов слушает болтовню тети Фроси: «Ранняя зима будет. Ох, в такую войну да зима ранняя... А вы сколько картошки накопили?»... – вот этого он понять не мог, и это вызывало в нем обиду и даже ощущение одиночества. Все эти рабочие люди вокруг него как будто так же мрачно слушали сводки и расходились от репродукторов с такой же молчаливой болью. Но Зотов видел разницу: окружающие жили как будто и еще чем-то другим, кроме новостей с фронта: они копали картошку, доили коров, пилили дрова, обмазывали стекла и по времени они говорили об этом и занимались этим даже больше, чем делали на фронте» (12).

Еще ярче выступает эта разница в разговоре со старым вагонным мастером Кордубайло. Речь идет об одном случае на станции, когда голодные окруженцы растащили муку из стоящего на путях эшелона «Есть все хотят...», – говорит Кордубайло. «Голоду вы не видали, милые». – Лейтенант Зотов переступил порог и вмешался: – «Слушай, дед, а что такое присяга – ты воображаешь, нет?». – Дед сам присягал пять раз, и первый еще Александру Третьему. – «Ну! Теперь – народу присягают. Разница есть?». – «Ну, правильно. – Ничуть не спорил старик. – Да и ребята тоже не немцы ехали, тоже наш народ». – «Вот старик непонятливый! – задело Зотова. – Да что такое порядок государственный – ты представляешь?». – «Так озорничать? Чтобы мимо сыпалось на путя? – присоединяется и тетя Фрося. – Сколько прорвали, да сколько просыпали, товарищ лейтенант! Это сколько детей можно накормить!».

– Ну, правильно, – сказал старик. – А в такой дождь в полувагонках и остальная намокнет.

– А, да что с ним говорить! – раздосадовался Зотов на себя больше, что встрял в никчемный и без того ясный разговор» (15 – 16).

Зотову все заранее ясно. Непонятливым оказывается, конечно, не старик, а он. Там, где требуется при этом же соблюдении государственных интересов принять решение применительно к конкретным обстоятельствам, не входившим в схему, Зотов бессилён. Он больше всего боится потерять такую ясность, которая основана на вере, а не на понимании. «В часы, свободные от службы, от всеобуча и от заданий райкома партии», Зотов читает «Капитал». «Поглаживая грубую бумагу рукой, читал: первый раз – для охвата, второй раз – для разметки, третий раз – конспектируя и стараясь все окончательно уложить в голове. И чем мрачнее были сводки с фронта, тем упрямее нырял он в толстую синюю книгу. Вася так понимал, что когда он освоит весь этот, хотя бы первый том и будет стройным целым держать его в памяти, – он станет непобедимым, неуязвимым, неотразимым в любой идейной схватке». Но немного было таких вечеров и часов, и страниц им было записано несколько – как помешала Антонина Ивановна. «Все студенческие пять лет мечтал он про-

честь заветную эту книгу, и не раз брал ее в институтской библиотеке, и пытался конспектировать и держал по семестру, по году – но никогда не оставалось времени, заедали собрания, общественные нагрузки, экзамены» (21).

Зотов пламенно верит в победу коммунизма, и это замечательно. Хорошее в нем воспитано окружающей действительностью, ему претит «откровенная, воровская сытость» Антонины Ивановны. Он считает, что наглых, толстомордых паразитов Саморуковых нужно расстреливать, в двух шагах от продларьков, которые они обворовывают. Но на почве веры, не соединенной с пониманием, легко угнездилась зловещая схема. И стоит несчастному Тверитинову спросить, как назывался раньше Сталинград, и все теплое, естественное, человеческое чувство к нему у лейтенанта пропадает. На месте Тверитинова немедленно возникает привычный гипотетический шпион-белогвардеец, персонаж схемы, и все его прежнее немедленно укладывается в схематические рамки. Человеческое борется в Зотове с «такими зловещими порождениями, он страдает, все в нем внутренне протестует, но схема выходит победительницей. Один живой человек подавляется ею, другого она губит. И это зависит не от Зотова, который совсем не хочет погубить невинного. Зотов объективно становится носителем и пособником уродливых порождений культа личности. Веря во все самое лучшее, он не заметил, как вместо подлинных коммунистических идеалов ему подсунули схему. И в этом – подлинная трагедия.

То, что схема заставляет Зотова так или иначе отклоняться от человеческого, и показывают все эти эпизоды, предшествующие последней, ключевой ситуации. Зотов не способен сейчас полюбить – «не мог он сейчас беспечно утешаться с какой-нибудь женщиной, когда грозило рухнуть все, что он любил». Он гасит в себе зарождающееся чувство, хотя Валя или Полина – хорошие, настоящие люди. И если презрение к Антонине Ивановне вполне понятно и оправданно с настоящей, человеческой точки зрения, то в случае с Валей или Полиной видно уже какое-то отклонение от человеческого. Антонина Ивановна соблазняет Зотова. «Вася встал, теряя соображение. Он даже шаг-

нул уже крупно к ней – но вид этой откормленной воровской сытости не потянул его дальше, а оттолкнул». Мы видим, как плохое и темное подавляется настоящим и хорошим в душе Васи. А вот в других случаях в Зотове подавляется хорошее, и это делает угнездившаяся в нем схема.

По делам службы к лейтенанту являются сопровождающие свои эшелоны Гайдуков и Дыгин. Автор отводит этим образам разную роль в художественном мире рассказа. Гайдуков едет на фронт, едет защищать свою родину. Это для него кровное и необходимое дело. И он, и его солдаты «не могли смотреть на людей, стынувших на осеннем полотне и ошалело бегающих вдоль составов. Не то, чтобы пускали просящих всех, но и не отказывали многим». Но «особенно отзывно не устраивало их сердце – подхватывали они в свой вагон, опуская руки навстречу, молодок и девок, тоже все едущих куда-то, зачем-то». И те не очень строго принимают их ухаживания. «Да и как не пожалеть солдату, едущего на передовую? Может, это последние в его жизни денечки...» (24). Эти люди исторически нормальнее и поэтому человечнее Зотова. Для изголодавшегося Дыгина с его командой из «замороженных солдат-запасников» Зотов делает все, что в его силах. Субъективно, Зотов хороший человек, и даже схема ему сейчас не мешает – у Дыгина не только документы в порядке, но, более того, его обязаны снабжать продуктами на каждой станции, а не снабжали. Схема и человеческое в этом случае совпадают, и все кончается как нельзя лучше.

И вот наступает ключевая ситуация, в которой схема и человечность вступают в самое острое противоречие. Схема торжествует. Казалось бы, и сейчас все сделано самым правильным образом. «Но никогда потом во всю жизнь Зотов не мог забыть этого человека».

\* \* \*

В принципе рассказ «Матренин двор»<sup>7</sup> построен так же, как и разобранные выше два произведения. Но некоторые частные особенности построения заметно отличают его.

---

<sup>7</sup> Новый мир. 1963. № 1.



Рассказ написан от первого лица. За время повествования мы узнаем многие важные черты рассказчика. Он много страдал из-за лжи, был в заключении. Вернувшись оттуда, он попросил направить его учителем «куда-нибудь подальше от железной дороги». Он любит тишину и русскую природу, мечтает о «тихом уголке России». «Только бы остаться здесь и ночами слушать, как ветви шуршат по крыше, когда ниоткуда, но слышно радио и все в мире молчит». Рассказчик любит жизнь во всех ее, пусть самых простых, проявлениях, ненавидит ложь, которая всегда противница жизни. «По ночам, когда я занимался за столом, – читаем мы в рассказе, – редкое быстрое шуршание мышей под обоями покрывалось слитным, единым, непрерывным, как далекий шум океана, шорохом тараканов за перегородкой. Но свыкся я с ним, ибо в нем не было ничего злого, не было лжи. Шуршание их – была их жизнь. И с грубой плакатной красавицей я свыкся, которая со стены постоянно протягивала мне Белинского, Панферова и еще стопу каких-то книг, но – молчала».

«Тихого уголка России», о котором он мечтал, рассказчик не находит ни в первой деревне, куда его направляют, ни во второй. Хозяйство в обоих развалено, люди живут плохо и бедно. «Что ж, воровали раньше лес у барина, теперь тянут торф у треста». Но во второй деревне, где рассказчик остается, он поселится у человека, который ему все больше и больше нравится. Это – больная старуха Матрена. Рассказчик – человек, чуждый всяких собственных интересов. Он дорожит лишь старой телогрейкой, памятью лагерных лет. «Жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования». Больше его привлекает улыбка Матрены. «У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей» (13).

И большую часть рассказа он говорит нам о Матрене, о ее односельчанах, показывает нам обстановку, в которой она живет, рассказывает о ее прошлом и настоящем и, наконец, о ее смерти.

Рассказчик, в общем, нигде не включается в действие, он является только свидетелем. Его отношение к Матрене, которое проходит разные стадии, ко всему окружающему и происходя-

щему обрисовывает нам образ Матрены и художественную идею рассказа. В то время как сам он остается за пределами действия, известные нам важные черты его личности и биографии углубляют и дополняют основной конфликт. Этот образ является персонифицированным авторским комментарием. Поэтический принцип «контрастного показа», а не прямого объяснения героев, по-видимому, и персонифицировал здесь так явно «голос автора».

В изображении поселка Матрены, жизни окружающих деревень поражают пронизывающая быт бесчеловечная логика и, в то же время, алогизм происходящего. Колхозники вынуждены воровать торф, ибо им не дают другого топлива на зиму. В станционной кассе висит навсегда объявление: «Билетов нет», хотя ездить на крыше строго воспрещается.

Во всем проглядывает злое лицо чуждой принципам нашего общества, враждебной человеку схемы. И, как и везде, она закономерно порождает эгоизм, несправедливость.

Изображенная в рассказе общественная ситуация неизбежно заставляет человека делать выбор, вызывает острый этический конфликт. В условиях Матрениного двора этот конфликт воплощает неодолимое, но пассивное противостояние Матрены собственническому началу.

«Ни труда, ни добра своего не жалела Матрена никогда». Она – неутомимый, щедрый и бескорыстный труженик: любит сам процесс труда, любит «работать так, чтобы звуку не было, только ой-ой-ойньки, вот обед подкатил, вот вечер подступил». Мы помним, что такая же любовь к труду – ярчайшая отличительная черта Ивана Денисовича. Но если Матреной бесконечно помыкают все, то Иван Денисович уже совсем не таков. Он, быть может, лучше всех умеет, не теряя человеческого достоинства, приспособиться к жестоким условиям лагеря. Даже и работа, он знает, бывает разная – «для дурака – дай показуху, для людей – сделай качество». По-своему, но глубоко и мудро он разбирается в окружающих его, порой сложных людях и их взаимоотношениях. Этому научили его жизнь, война, лагерь, люди, которые его окружали.

Матрена – пассивна. Иван Денисович – достаточно активен. Во всяком случае, он умеет постоять за себя – иначе бы он не выжил; и, жалеючи, помочь Цезарю или «недообытчику» Клевшину; и даже мимоходом выплеснуть воду из ведра на обледеневшую дорожку, «по которой ходит начальство». Разница между средой лагеря и первобытной темнотой вокруг Матренина двора, вероятно, и определяет дистанцию между этими двумя людьми, с такой любовью обрисованными Солженицыным.

Сопоставляемые с Матреной герои рассказа – прежде всего старик Фаддей – воплощает эгоизм, собственничество, быть может, в еще более древней, прямой «наивной» форме, чем даже завстоловой из «Одного дня» или Саморуков и Антонина Ивановна из «Случая». Когда-то Фаддей и Матрена любили друг друга. Но, не дождавшись любимого с войны, Матрена вышла за его брата. «На Петров день повенчалась, а к Николе зимнему вернулся... Фаддей... из венгерского плена... Стал на пороге... Ну, говорит, если б то не брат мой родной – я бы вас порубал обоих»... (54). Символическая угроза Фаддея «Сорок лет пролежала в углу, как старый тесак, а ударила-таки». Эта угроза воплощает собственническое начало, собственнические устремления. Из-за жадности Фаддея, тракториста, других людей, – вплоть до маленького фаддеевского внучонка, который всегда ленился в классе, но не ленился помогать деду, когда дело касалось его собственности, – из-за этой жадности гибнет Матрена, гибнут еще два человека, чудом предотвращено крушение пассажирского поезда.

Эта ситуация и является в рассказе ключевой. Она единственная по-настоящему скрепляется внешним действием, если не считать нескольких мелких эпизодов. Тема, связанная с рассказчиком, и тема Матрениного двора и его окрестностей проходят через произведение, расходясь, сливаясь, дополняя и отражая друг друга. В их взаимодействии создается совершенно новое, охватывающее обе темы образное качество. Противостояние схемы и людей проясняется от «периферии» к «центру». Далеким вступлением служит история рассказчика, и тема все более нарастает через описание поселка Матрены, окружающей ее обстановки, ее настоящего и прошлого, достигая предельного зву-

чания к началу ключевой ситуации. Не только для «Матрениного дня», но и для разобранных выше произведений Солженицына характерно, что «связь и смысл жизни, едва видимые, тут же приходят в движение». Эти постепенно проясняющиеся «связь и смысл жизни» приходят в движение в ключевых ситуациях произведений писателя.

\* \* \*

«Для пользы дела» – четвертое опубликованное произведение Солженицына<sup>8</sup>.

Все, что происходит в этом рассказе, группируется вокруг одного события. Выстроенные руками ребят здание техникума неожиданно отбирают у них и передают новому институту. Оправдывается это государственными интересами.

Рассказ воплощает в очередном проявлении ту же общественную ситуацию, которую Солженицын ненавидит и разоблачает во всех своих произведениях, – противостояние схемы человечности, недопустимое в нашем обществе.

Как всегда, такое противостояние создает острый этический конфликт, заставляет каждого выбирать свой путь, и компромиссов здесь не может быть. В рассказе «Для пользы дела» эта общественная ситуация и ее экзотическое разрешение последовательно и многократно изображается в одном и том же плане – в плане взаимоотношений руководителя и народа. Это определяет важнейшие аспекты проблематики произведений. Произведение Солженицына утверждает, что взаимоотношения руководителя и народа должны быть основаны на справедливости. Руководитель должен воспитывать людей, и в его этом его основная задача. Это и будет «для пользы дела». «Не в камнях, а в людях надо коммунизм строить!» – говорит один из героев (8).

Основной конфликт воплощается во взаимоотношениях руководителя и народа не только многократно и в разных аспектах, но и, если так выразиться, в разном масштабе. Как видим, и отношения с ребятами уборщицы тети Дуси, и взаимоотноше-

---

<sup>8</sup> Новый мир. 1963. № 7.

ния с народом первого секретаря обкома Кнорозова напоминают взаимоотношения с народом Сталина.

Любимица ребят – «вождь молодежи» – учительница Лидия Григорьевна не умела «так руководить, как называют в народе “руками водить”»: ей стыдно было бы посылать других туда, куда сама она бы не пошла бы». Директор Федор Михайлович «за долгие годы в этом техникуме старался руководить так, чтобы побольше крутилось без него и поменьше требовалось его единоличных решений... Человек умеренный, нечестолюбивый, он понимал роль руководителя не как капризного прихотника, а лишь как точку благообразного завершения и соединения друг другу доверяющих, друг к другу приработавшихся людей».

Секретарь горкома Грачиков «очень любил решать дела не спехом, а толком – самому подумать и людей послушать. И не по нутру ему было кончать разговоры и совещания приказами, он старался собеседников убедить до конца, чтобы те сказали: “Да, это верно”, – или его убедили бы, что – неверно. И как бы упорно ему ни возражали, он не терял выдержанного, приветливого тона разговора. Все это отнимало, конечно, время; первый секретарь обкома Кнорозов быстро заметил эту слабость и в своей неоспоримой лаконичной манере швырнул ему как-то: “Размазня ты, а не работник! Не советский у тебя стиль!” Но Грачиков стоял на своем: “Почему? Наоборот, я совестно работаю, с народом я советуюсь”» (77).

Строгий «сумрачный завуч» техникума вынужден представить ребятам случившуюся несправедливость в приемлемом свете, хотя ему это очень неприятно. «Вот, кончил техникум – куда работать пойдешь? Вот в то здание, может, и пошлют. Или другие туда попадут. Так ваша работа и оправдается. Все наше будет». Как руководитель, преподаватель, завуч считает своим долгом смягчить для ребят удар. Секретарь партбюро Яков Ананьевич, как говорит ему Лидия Григорьевна, действительно, «как будто просто-таки недоволен, что отобрали здание». «Но Лидия Григорьевна, если это – государственная необходимость, то почему я могу быть этим недоволен?» – спрашивает он. Якову Ананьевичу все совершенно ясно. Если бы схема в душе Зо-

това («Случай на станции Кречетовка») когда-нибудь совершенно вытравила человечность, он стал бы таким. Яков Ананьевич не видит оснований волноваться. Для него здесь просто нет справедливости. «Он говорил очень мягко, негромко, но вместе с тем вразумительно: “Нет, товарищи. Нет. Никакого общего собрания. И никаких собраний по отделениям, ни курсовых, ни даже классных мы по этому поводу собирать не будем. Это значило бы слишком заострять внимание на данном вопросе. Незачем. Узнать они узнают, стихийно”».

Первый секретарь обкома Кнорозов руководит так: «Я говорю вам то, что вам сейчас нужно. А нужно вам то, что я сейчас говорю». Он смотрит «перед собой вперед, в те дали, которые были видны ему одному». «Кнорозов гордится тем, что он никогда не отступал от сказанного. Как прежде в Москве слово Сталина, так в этой области еще теперь и слово Кнорозова никогда не менялось и не отменялось. И хотя Сталина давно уже не было, Кнорозов – был. Он был одним из видных представителей «волевого стиля руководства и усматривал в этом большую свою заслугу. Он не представлял себе, чтобы можно было руководить как-нибудь иначе»<sup>9</sup>.

Все эти люди, руководители, последовательно появляются перед нами, мы видим их в отношениях с другими людьми. С народом. И их методы руководства, их отношения с народом основаны на справедливости, либо на несправедливости. Так их последовательно показывает нам писатель (65). Вот среди студентов на лестнице техникума появляется уборщица тетя Дуся.

---

<sup>9</sup> Ю. Барабаш в своей статье «Что есть справедливость?» (Лит. газета, 31.08.1963 г.) упрекает Солженицына в том, что в рассказе «Для пользы дела» изображены «маленькие люди», расшибившие себе лбы в бесплодных попытках ответить на поставленный вне времени и пространства вопрос «что есть справедливость». Нужно сказать, что в рассказе такой вопрос не ставится. Его герои прекрасно знают, что такое справедливость и несправедливость, и сразу их узнают. Там ставится совершенно другой вопрос и в совершенно конкретной общественной форме: на чем должны основываться отношения руководителя и народа в советском обществе?». И дается ответ: на справедливости, ибо руководитель должен воспитывать людей.

Она готовит справедливое наказание балующемуся парню, «да он увидел прежде и соскочил проворно, так что рука тети Дуси еле по нему прошла... Все громко смеялись. Очень любили все в техникуме тетю Дусю за решительности. Она шла выше, раздвигая студентов, лицо ее было морщинисто, но подвижно и сводилось к решительному подбородку. Может быть, по природе достойна она была лучшего поста, чем занимала?»

Справедливое наказание с юмором воспринимается ребятами. А как они воспринимают несправедливость? В коридоре стоит макет нового здания, превращенный в эмблему. Его с гордостью носили на парадах. «Может, его это...? – не глядя в глаза, спросил один из мальчишек. – Порубить? Чего! И так повернуться негде». Людей обманули, и поколеблена их вера в справедливость, разрушен энтузиазм. «Обманули раз – значит, могут и еще» (64).

Чем же порождается несправедливость в отношениях руководителя и народа? Яков Ананьевич – человек, в котором схема заменила душу. Для него не существует несправедливости, если она оформлена официальным порядком, в письменном виде. В таком случае она для него предстает как «государственная необходимость», а ею он не может быть недоволен. Это ему просто недоступно.

Через весь рассказ проходит образ человека, который постоянно говорит о государственной необходимости, это – директор завода Хабальгин. Он умышленно затягивает передачу техникуму нового здания, а сам через своих знакомых в министерстве, при поддержке Кнорозова, добивается, чтобы НИИ организовали именно в этом городе. Хабальгин рассчитывает стать его директором. Конечно, такой НИИ – не заводик релейной аппаратуры. Тут директору и ставка не та, и почет не тот, и к лауреатству можно славировать. «Так надо, милый, не горюй. Так надо. Для пользы дела», – говорит Хабальгин Федору Михеевичу, ошеломленному несправедливым решением.

В деле организации НИИ в городе в несправедливом решении со зданием основную роль играет Кнорозов. Он также мотивирует свои действия соображениями высшей необходимости. Кнорозов говорит Грачикову: «Ты – секретарь горкома.

Мне ли тебе объяснять, как бороться за честь города? В нашем городе не бывало и нет ни одного НИИ. Не так легко было нашим людям добиться его... Мы этим сразу переходим в другой класс городов – масштаба Горького, Свердловска». – Он прищурился. То ли внутренне примерял себя к каким-то новым постам. То ли видел свой город уже превращенным в Свердловск» (86).

И Кнорозов, и Хабалыгин опираются на схему, которая выступает на этот раз в образе «государственной необходимости». Рассказ демонстрирует, как временное торжество схемы множит, порождает и поддерживает несправедливость в отношениях руководителя и народа. Рассказ демонстрирует, что не только порождением, но и виновником несправедливости является чуждое сознание и «внутренний капиталист в голове».

Сила собственнического начала, чуждого духу нашего общества, в образах Кнорозова и Хабалыгина концентрируется до размеров зловещего символа: «Кнорозов поднялся во всю свою ражую фигуру, и увиделось, что он – из стали весь, без сочленений. И такая была воля и сила в нем, что кажется, протяни он длань – и отлетела бы у Грачикова голова».

Хабалыгин взмахивает рукой, чтобы отхватить у техникума своим «злонаходчивым забором» большую часть территории. «Не только воздух он разрубил, кажется, и самую землю. Нет, не разрубил – он так взмахнул, как бы проложил некую великую трассу. Он взмахнул, как древний полководец, показавший путь войскам, как первый капитан, наконец-то проложивший верный азимут к северному полюсу. И лишь исполнив свой долг, он обернулся в Федору Михеевичу и объяснил ему: “Так надо, товарищ дорогой”» (74).

Хабалыгин и Кнорозов оправдывают свой образ действий государственной необходимостью. Для Якова Ананьевича их мотивировки непреложны, и он с радостью проводит их в жизнь. Даже честный и простодушный Федор Михеевич восхищается Кнорозовым, любит манеру его руководства. «То и дорого было Федору Михеевичу в Кнорозове, что да так да, а нет так нет. Диалектика диалектикой но, как и многие другие, Федор Михеевич любил однозначную определенность».



Что же все-таки в таком случае противостоит схеме, собственническому началу, несправедливости? Сидя в приемной Кнорозова, Грачиков вспоминает один случай из времен войны. Дело было так, что генерал, руководитель, пытался несправедливо, вне очереди проскочить переправу, уйти от опасности за счет других. И Грачиков, который был тогда на переправе дежурным офицером, встал перед радиатором его машины. Потому что, «когда сталкивались справедливость и несправедливость, у второй-то лоб от природы крепче, – ноги у Грачикова как в землю вращались, и уж ему было все равно, что с ним будет». Эта же неодолимая сила, которая заставила Грачикова встать перед радиатором генеральской машины, заставила его встать на пути Кнорозова и полностью высказать ему протест. «Грачикова не только не убедили его фразы, падающие, как стальные балки, а он почувствовал подступ одной из тех решающих минут жизни, когда его ноги сами вращались в землю, и он не мог отойти. Оттого, что сталкивались справедливость и несправедливость» (86).

Именно это, воспитанное обществом чувство справедливости заставляет в конце рассказа озлобиться даже кроткого Федора Михеевича. «Для чего – надо? – озлился Федор Михеевич и затряс головой, – Для пользы дела, да? Ну, подожди! – сжал он кулаки. – Но говорить ему стало не под силу, он отвернулся и быстро зашагал к улице, бормоча: – Ну, подожди, боров! Ну, подожди, хряк!..»

Именно это начало заставляет кричать Лидочку Федору Михеевичу: «Слушайте? Зачем же так несправедливо? Ведь это же несправедливо! – все громче кричала она, то самое, что и он должен был им крикнуть, но он же был директор, и не женщина. Откуда-то много слез катилось по ее лицу. – Что же мы ребятам скажем? Значит, мы ребят обманули?»

Воплощая многократно, в разных аспектах и масштабах отношения руководителя и народа, рассказ обладает тем своеобразным строением, которое характерно для всех рассмотренных произведений Солженицына.

Отношения руководителя и народа в каждой ситуации освещают по-своему внутренне неподвижную художественную

идею рассказа – необоримое противостояние людей собственническому началу, схеме, которая его порождает. Пускай в одном случае Грачиков сумел повернуть генеральские машины, а в другом здание все-таки передано Хабалыгину. Но необходимое противостояние и в этом случае Грачикова и Лидии Григорьевны, и даже озлобление начавшего понимать, что к чему, Федора Михеевича для автора важнее.

Композицию произведения можно представить в виде ряда дублирующих друг друга, внутренне неизменных ситуаций разного масштаба. Эта ситуация «руководитель – народ». Взаимоотношения Кнорозова с народом представляют большую по масштабам художественного мира ситуацию, а взаимоотношения Дуси и ребят – маленькую. Но все они содержат и по-разному освещают одну и ту же художественную идею.

Самой общей из всех ситуаций, объемлющей все остальные в системе целого, является пришедший на память Грачикова случай военных лет. Воплощая наиболее ясно художественную идею и авторскую тенденцию, эта сцена, также изображающая отношения руководителя и народа, является в произведении ключевой. Ее свет выясняет нам эти отношения во всех других случаях. Почти полностью повторяясь в сцене столкновения Кнорозова и Грачикова, эта ключевая ситуация создает полную законченность концентрической структуры. Разный исход в случае с генералом и в случае с Кнорозовым еще более подчеркивает художественную идею произведения – необоримость справедливости, как в случае победы, так и в случае внешнего поражения.

То, что ключевая ситуация вынесена во времени за пределы основных событий рассказа, подчеркивает традиционность конфликта. То, что она отнесена именно ко времени войны, играет в рассказе очень важную роль. Тема войны постоянно присутствует в произведении на заднем плане, усиливаясь к началу ключевой ситуации и достигая в ней предельного звучания. Сообщается, что все неприятности случились с Федором Михеевичем в августе. Эти неприятности – два его ранения и этот случай со зданием. Старая контузия Федора Михеевича, о которой мельком упоминалось в начале, после прихода комиссии, даже

не дает ему подписать бумагу. Неоднократно упоминается, что Грачиков не любил в мирное время военных выражений и воспоминаний времен волны. Но, сидя в приемной Кнорозова, «он изменил своему правилу». Все время глухо присутствующая на заднем плане, пронизывающая мирные события, тема войны говорит о непрекращающейся ни на момент войне справедливости и несправедливости.

Нужно отметить, что это произведение страдает некоторым схематизмом построения, подводящим его к границам сознательной символики. Это сказывается не только в образах Кнорозова или Хабалыгина, но и вообще накладывает на рассказ отпечаток, сглаживающий индивидуальность характеров и событий. В качестве примера можно привести второстепенный эпизод, изображающий Федора Михеевича после прихода комиссии: «В голове у него затмилось и чего-то он никак не мог сообразить. Никому ничего не сказав и на голову ничего не надев, он вышел на улицу, чтоб прояснилось. А выйдя, пошел к переезду, не замечая этого сам, все перетеребливая в уме те десятки жизненных важностей, которые терял техникум вместе с новым зданием. Перед ним опустился шлагбаум – Федор Михеевич остановился, хотя мог поднырнуть. Издали показался длинный товарный поезд. Он подкатил и с грохотом пронесся под уклон. Ничего этого Федор Михеевич не заметил сознательно. Шлагбаум подняли – он пошел дальше».

Шлагбаум здесь выглядит почти символически, и если вспомнить все поведение Федора Михеевича в рассказе, его простодушное неведение относительно деятельности Хабалыгина, его уважение к решениям начальства, можно увидеть в этой маленькой проходной сценке символическое ядро образа. Такая манера изображения, как уже сказано, расширяя типическое и сглаживая индивидуальное в общем, – заметно снижает художественную ценность рассказа.

\* \* \*

Все рассмотренные произведения Солженицына организуют поэтический принцип, который можно назвать «принципом неизменности ситуаций». Каждое из них представляет как

бы ряд художественных высказываний на одну и ту же, внутренне неподвижную тему. Знакомясь с ними в определенной последовательности, читатель постепенно создает себе образ сложного целого. Его основные пропорции уже имелись в каждом из элементов, но все его качественное многообразие и яркость познаются только из их совокупности.

Такое построение обязательно влечет за собой некоторые особенности сюжета. Дело в том, что если каждая из ситуаций уже содержит в себе внутренне неподвижную художественную идею произведения в ее особом аспекте, то развитие действия может происходить только как прояснение этой идеи в сознании читателя. Так оно и происходит в произведениях Солженицына. В «Одном дне» и «Случае» героев объединяет между собой совокупность достаточно разрозненных эпизодов. В «Одном дне» внешняя связь этих эпизодов поддерживается лагерным расписанием, в «Случае» – службой Зотова на железнодорожной станции, в «Матренином дворе» ту же роль играет рассказчик. Внешнего сквозного действия, объединяющего эти эпизоды, нет. А внутренняя их связь и определяется последовательным освещением с разных сторон художественной идеи произведения.

В рассказе «Для пользы дела», казалось бы, все обстоит не так. В нем есть сквозное действие, он объединен событием, а не героем. Но основные события рассказа в каждом отдельном случае предстают лишь как одна из многочисленных, дублирующих друг друга однородных ситуаций. Каждая из них имеет собственное действие, содержит художественную идею произведения, и, освещая ее с разных сторон, в своей совокупности все они создают настоящее, внутреннее движение рассказа.

Во всех произведениях писателя построение тяготеет к ключевой ситуации, которая раскрывает художественную идею в ее основном аспекте. Таким образом, хотя сквозное действие не пронизывает все эпизоды, ключевая ситуация все равно является кульминационным пунктом произведения, ибо она является кульминацией его подлинного, внутреннего движения.

Принцип такого своеобразного построения не может быть выбран произвольно, хотя оно у Солженицына тщательно и

подробнейшим образом продумано. Такое построение является необходимым, если основной конфликт произведения не вырастает и не развивается за время действия, а пронизывает каждый его момент.

Это вовсе не обязательно должно означать, что такой конфликт в произведении дается как вневременной, вечно и неизменно существующий. В определенные исторические периоды какой-то конфликт может насущно и постоянно пронизывать каждый момент. Организация произведения, стремящегося показать такой исторический конфликт, а не просто рассказать о нем, по-видимому, неизбежно должна быть подчинена принципу неизменности ситуаций.

Рассмотрев произведения Солженицына, мы увидели, что, хотя их события отнесены к отрезку времени от 30-х годов до наших дней, все они изображают совершенно определенное общественное явление. Преследования невинных людей, темнота и осталось поселка Матрены, произвол руководителя, оправдываемый государственным интересом.

Все эти явления связываются для нас с периодом культа личности. Их можно охарактеризовать как попытку регламентировать неудержимый исторический процесс, втиснуть его во враждебные принципам общества рамки.

Но писатель не просто изображает эти явления. Он подвергает их художественному анализу. Он хочет указать и заклеить все, что способствует этим темным явлениям.

В связи с этим нужно отметить своеобразие ярко выраженной аналитической тенденции Солженицына, каждая ситуация у него уже содержит внутренне неизменную художественную идею произведения, но часто пока еще в скрытом виде или в особом аспекте. Но автор соединяет их таким образом, чтобы постепенно «связь и смысл жизни» становились видимыми, чтобы все они тяготели к их художественному обобщению, которое представляет ключевая ситуация. Каждая ситуация как будто анализирует частные проявления одного и того же конфликта, а в ключевой ситуации, которая художественно обобщает этот процесс, дается наиболее типическое проявление этого конфликта с точки зрения автора. Всем построением своих произ-

ведений автор как бы старается «раскрыть глаза» читателю, привести его к определенному выводу. Простым показом явления, без всяких прямых объяснений, он стремится убедить нас, что основной конфликт в том виде, в каком он проявляется в ключевой ситуации, является насущным и важнейшим, хочет, чтобы мы постепенно «сами» пришли к этому убеждению. Единицы произведений Солженицына по своей сущности совершенно подобны и внутренне неизменны – и, в то же время, внешне различны. Читая, мы интуитивно обязательно осмыслием их разнообразные внешние различия на фоне их глубинного сходства. Именно таков здесь путь художественного анализа и синтеза.

Ярко выраженное при этом стремление писателя к «показу», а не к «рассказу», к демонстрации, а не к объяснению необходимо связано с особым характером основного конфликта, который он стремится передать. Внутренняя неподвижность внутреннего художественного мира Солженицына не дает автору возможности сразу передать весь образ этого мира, схватить его как целое в авторском комментарии – скажем, так, как делает это Толстой в своем непрерывно развивающемся и изменчивом мире. Текущность, непрерывная изменчивость толстовского мира постоянно создает дистанцию между авторским осмыслением и его объектом; внутренняя неподвижность художественного мира Солженицына постоянно сводит к минимуму дистанцию между автором и изображаемым, что отнюдь не исключает совершенно авторской оценки, но зато заставляет художника для выражения этой оценки последовательно «обойти со всех сторон» каждый показываемый предмет. Принцип такого последовательного всестороннего показа внутренне неподвижного явления и характеризует всю поэтику Солженицына.

Основной конфликт в произведениях Солженицына, какие бы он частные формы ни принимал, всегда есть конфликт между схематизацией общественного процесса и этическими общественными принципами. В каждом своем произведении писатель утверждает этическое, человеческое начало в своих героях. Доброту, достоинство, трудолюбие Ивана Денисовича, бескорыстие Матрены, необратимое чувство справедливости Грачикова,

Лидии Григорьевны, человечность, душевную мудрость людей народа – Кордубайло, тети Фроси, Гайдукова.

Почему Солженицын выдвигает как наиболее яркие образцы противостояния схеме людей типа Ивана Денисовича? Нет ли в самом этом факте противоречия с этическим идеалом социалистического общества? Для того чтобы решить этот вопрос, вернемся к рассказу «Случай на станции Кречетовка». В нем реализм Солженицына проявился сильно и ярко. С блестящим мастерством писатель показывает, как уродливое общественное явление вытравляет хорошее в душе человека. Общественное явление подавляет в душе Зотова человеческое, хотя Зотов субъективно хорош. А объективно он пособник и носитель общественного зла.

И в реалистичности Кордубайло, тети Фроси, Гайдукова никто не усомнится. Эти люди не подверглись влиянию схемы не потому, что они являются почти мистическими носителями народного духа. Рассказ не дает абсолютно никаких оснований для таких выводов. Эти люди – действительно подлинные представители народа и советские патриоты. Но их жизненный опыт несколько иной, чем у Зотова, не давал им подвергнуться такому влиянию схемы. Жизнь всегда убеждала их в обратном – в ценности человеческого и человечности, в неоспоримом превосходстве человека над схемой. Именно это, вместе с их патриотизмом, делает их настоящими представителями народа.

Как в рассказе «Случай», так и в любом другом из рассмотренных произведений писатель всегда противопоставляет схеме людей народа, ибо жизненный опыт народа всегда убеждал в превосходстве человека над схемой. Если воспользоваться литературным термином Г.Н. Пospelова<sup>10</sup>, то можно сказать, что Солженицын всегда противопоставляет в своих произведениях народную «непосредственную идеологию» схеме, лжи, которые выступают как общественные явления.

---

<sup>10</sup> Этот автор считает, что предметом искусства является как раз «непосредственная идеология» людей, те непосредственно усвоенные ими в процессе деятельности, часто не очень осознанные тенденции, которые руководят их поведением в обществе. См., например: Пospelов Г.Н. Эстетическое и художественное. М., 1965.

Именно поэтому привлекающие писателя человеческие качества всегда наиболее полно воплощают для него представители народа, простые русские люди. Иван Денисович и Тюрин, Матрена, Кордубайло, тетя Фрося и тетя Дуся. И близкого сердцу автора секретаря Грачикова, в какой бы чужеземный мундир его ни переодели, «всякий признает за русака». И эта народность идеала определяет в произведениях Солженицына все, вплоть до языка.

Во всех книгах писателя, особенно в «Одном дне», выступают на поверхность глубинные пласты этого народного языка, пронизанные дыханием истории. В «Одном дне» они все время глубоко взаимодействуют с авторскими комментариями, незаметно переходя в него, перекликаясь, создавая тонкую сказовую структуру, пронизанную теплым юмором и глубоким уважением к герою трагической повести. Гораздо более четко отделяясь от этих пластов в «Матренином дворе», рассказчик по временам откровенно любит ими; и два языковых плана, как и два плана содержания, сплетаясь и отражаясь друг в друге, создают новое образное единство. В «Случае» и в рассказе «Для пользы дела эти пласты образуют как бы устойчивый фон, в котором сливаются голоса Кордубайло и тети Фроси, тети Дуся и Грачикова, а на первый план выступает прямой диалог – стационарных служащих или людей городской языковой культуры, преподавателей техникума. И резко отличный от слащавой стилизации язык героев «одного дня» так же историчен и реально ощутим, как и воссозданная там ситуация.

Как и всякий большой писатель, Солженицын сумел эстетически выразить и современную народную речь, и определенное историческое положение вещей.

Не подлежит сомнению, что в жизни нашего общества был необыкновенно острый момент, когда схеме и лжи противостояла, прежде всего, непосредственная народная идеология. И в тот момент, в сущности, это была единственная реакция на уродливые явления периода культа. Сейчас нам известно, что лучшие умы народа, коммунисты, в тот момент в большинстве отказывались осознать планомерность и организованность произвола, ибо верили партии и поэтому верили Сталину. Солже-



ницын в образе капитана Буйновского достаточно убедительно показал, как могли выглядеть первые попытки осмыслить сознательную несправедливость. Буйновский кричит конвою: «Вы не коммунисты! Вы не знаете уголовного кодекса!» – и, конечно, получает десять суток карцера. «Знают, все знают. Это ты не знаешь». Незнание Буйновским масштаба несправедливости, непонимание общественного характера, который она приняла, ставит его в ложное положение. Буйновский верит в партию, в наше общество, и ему кажется, что в несправедливости виноваты отдельные люди – вроде Волкового. А несправедливость в это время приняла гораздо более широкие и опасные масштабы. Именно в этот момент ей противостояла непосредственная народная идеология – несомненно, сама тоже созданная нашими общественными отношениями. Как раз поэтому в самый острый период именно она, а не схема и искаленные ею люди определила историческую норму поведения. И носителями самого устойчивого противостояния были в этот момент, вероятно, те люди, подобные Ивану Денисовичу, Кордубайло, тете Фросе, чьи недостатки – например, необразованность – были в то же время связаны с их глубинным, народным жизненным опытом, который и позволил им так ясно ощущать неестественность и враждебность схемы.

Но исторически этот момент был достаточно краток. Как только, пользуясь выражением Солженицына, «связь и смысл жизни» стали делаться видимыми, уродливые явления культуры личности начали осознаваться с более глубокой, научной, теоретической позиции. И мы знаем, что процесс завершился осуждением этих явлений XX съездом именно с таких позиций.

Таким образом, как только прошел охарактеризованный выше исторический момент, положительная сторона идеологии людей типа Шухова и Кордубайло отодвинулась на второй план, утратив свое кратковременное значение «основного противостояния», и гораздо более крупным планом начали выступать недостатки этой формы идеологии, действительно иногда весьма существенные для членов нашего общества.

Только подходя к творчеству Солженицына с такой исторической точки зрения, мы увидим в истинном свете значение его произведений, их недостатки и своеобразие писателя.

\* \* \*

Те, кто критиковал Солженицына, прежде всего стремились указать на несоответствие между его художественным миром и истинным положением вещей, на недостаточность исторический подход к изображаемому, якобы свойственный этому писателю. Как следует из вышесказанного, такая точка зрения никак не может быть верной.

Вместе с тем, рассматривая напечатанные вещи Солженицына, легко заметить, что «Матренин двор» и, в особенности, «Для пользы дела» отличаются некоторая прямолинейность и схематизм, непосредственно выраженное стремление поучать, чуждые «Одному дню» и «Случаю». В «Матренином дворе» дидактические нотки ярче всего проглядывают в вызвавшей столько нареканий концовке рассказа. Более или менее явный дидактизм снижает художественную ценность рассказа «Для пользы дела».

Чем объясняется эта тенденция? Попыткой автора заставить своих новых по кругозору героев по-прежнему смотреть на мир глазами Ивана Денисовича? Каким-либо другим художественным просчетом? Закономерность это или случайность для автора? С уверенностью ответить на эти вопросы позволит только будущее. Пока лишь можно отметить эту тенденцию и указать на нее как на нечто органически чуждое художественному строю «Одного дня» и «Случая».

Конечно, своеобразие Солженицына не в том, что для его произведений характерна неизменность ситуаций. Если обратиться к истории литературы, мы увидим, что впервые такой принцип последовательно проявился уже в «Дон-Кихоте». Его можно увидеть в «Гамлете» и «Фаусте», «Шагреневой коже» и «Обломове», у Байрона, Хемингуэя и многих других авторов разных времен.

Этот принцип, взятый в его самых основных чертах, характеризует лишь формальную структуру произведения, и

именно поэтому его можно проследить на родственных явлениях далеких друг от друга эпох. Укажем еще один важнейший, всегда свойственный литературе этого рода и поэтому тоже неизбежно формальный признак. Все это – произведения огромного символического диапазона. Известно, как в течение веков «перелицовывали» «Дон-Кихота» и «Гамлета», Фауста» и «Обломова» и какое необъятное, часто исторически весьма разное содержание они могут вмещать. «Способность к символизации» заложена во многом в самой поэтике этих произведений. В сущности, всякая неизменность ситуаций внушает некую платоновскую «идею», нигде не данную непосредственно, представленную для чувственного восприятия только множеством своих в отдельности несовершенных подобий. Даже самые незначительные изменения в этих непосредственно представленных частях, вызванные историческим изменением читательского сознания, неизбежно заставляют его конструировать общий «Символ», весьма непохожий на произведение. Таков закон построения художественной идеи во всех произведениях этого рода.

Однако любое произведение привлекает внимание читателей лишь тогда, когда оно способно взволновать их как эстетическое выражение истории. Поэтому своеобразие Солженицына, конечно, не в том, что он снова нашел издавна употреблявшийся в определенные периоды художественный принцип. Оно в том, что этот автор первым, и поэтому единственным, уловил качественную неповторимость давшей ему задачу исторической ситуации и сумел глубоко передать ее читателю. Именно поэтому «Один день» можно смело поставить в ряд с первоклассными произведениями этого рода, характерными для разных времен.

Только художественное решение новой исторической задачи может быть критерием таланта. Такие задачи заранее и безоговорочно не допускают механического перенесения старых поэтических тенденций на новую почву. Они на ней не приживаются: здесь нужно новое слово. И Солженицын, глубоко подспудно связанный не только с русской и советской, но и с великой мировой литературой, вполне сумел найти и сказать его.

*И.В. Кондаков*<sup>11</sup>

**«ДЕЛО КОНДАКОВА»  
Сцены из советских времен**

**Пролог**

*Автор*

«Дело Кондакова» – это реальная история, которая произошла со мной – в стенах Пермского университета и отчасти за его стенами.

Мало кто сегодня помнит про «дело Кондакова», да и было ли оно? – трудно теперь сказать. Никаких официальных документов по этому поводу не сохранилось, а если и сохранились где-то – под грифом секретности – то, наверное, списаны в архив, «до лучших времен». Многие свидетели и участники этого «дела», развертывавшегося на рубеже 1960-х и 70-х годов, ушли из жизни, даже не догадываясь о том, что участвовали в каком-то «деле»; другие полагали, что «дело сделано» и об этом «деле» можно забыть («дела давно минувших дней»), как будто оно никогда и не делалось; третьи считали, что и дела-то никакого здесь не было, раз оно не возымело никаких последствий для его участников. Наконец, само выражение «дело Кондакова», имевшее хождение в пермских разговорах начала 1970-х, не устоялось и вовсе не имело никакого официального статуса. Скорее это выражение имело смысл иронический, насмешливый («раздули дело»).

Однако, по крайней мере, один из главных фигурантов этого «дела» – сам Игорь Кондаков, т. е. я, – имел последствия» и точно помнил о том, как складывалось и как разрешилось это сомнительное «дело». И я свидетельствую: дело было вполне серьезным – не только для меня лично, но и для всех, кто был со мной связан, для всех, кто в нем участвовал – с той или иной

---

<sup>11</sup> Кондаков Игорь Вадимович, выпускник 1971 г., доктор философских и кандидат филологических наук, профессор кафедры истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ); в описываемый период – студент 5 курса филологического факультета ПГУ.

стороны, кто его затевал... С одной стороны, оно было «проходным», одним из многих подобных в этом ряду; с другой – его цели и задачи явно превосходили полученный результат. Почему эти цели и задачи сорвались, – трудно судить объективно. Возможно, здесь вмешались факторы, мне неизвестные. Так или иначе, круги от «дела» давно разошлись по поверхности и растворились в небытии. Еще немного, – и об этом «деле» просто некому будет рассказать, по крайней мере, изнутри событийного ряда.

Но «дело Кондакова», все же, – не просто эпизод в заурядной автобиографии Игоря Кондакова, выпускника ПГУ 1971 года. Эта тривиальная, даже пошлая советская история – вполне типична, ординарна; она повторялась в различных версиях тысячи и десятки тысяч раз, и нередко в гораздо более драматических обстоятельствах, нежели у меня и со мной. Обо всем этом, может быть, и не стоило вовсе вспоминать, если бы не ощущение, что всё то, что когда-то было со мной и со многими другими советскими людьми, составляет важную характеристику советской эпохи, советской культуры и что все это – в других обстоятельствах, в ином антураже – может когда-нибудь повториться с другими – уже в постсоветское время. «Дело Кондакова», при всей своей тривиальности, поучительно, и его изложение невольно оборачивается исследованием общих проблем советской культурной истории.

Случаи, вольным или невольным участником которых я был, настолько требовали «вживания» в мысленные миры других участников тех же событий, что мне пришла в голову идея: а что если представить разные голоса участников этого сюжета, а вместе с ними – различные точки зрения на одно и то же событие, различные интерпретации общей реальности? Что если именно этим участникам событий и предоставить право рассказать – каждому по-своему о «деле Кондакова»? Ведь им было гораздо видней, чем мне. В результате получилась бы своего рода пьеса, складывающаяся из воображаемых монологов и диалогов реальных персонажей. Конечно, нужно отдавать себе отчет в том, что эти монологи и диалоги – во многом условные, отчасти домысленные автором этих строк, а сами персонажи,

возможно, рассказали бы об этом по-другому – иными словами, с новыми деталями, с отличной от приведенной аргументацией. Но, я надеюсь, речь идет лишь об оттенках смысла, не меняющих сути дела. Впрочем, я буду рад узнать и иные версии излагаемых событий, если кто-нибудь из очевидцев истории сорокалетней давности откликнется со своим рассказом.

В «деле Кондакова», как я его представляю (а мое представление – далеко не объективно, потому что не я это дело «затевал», не я его «вел», а только участвовал в нем, – причем, скорее, как «винительный падеж», не очень-то сознающий и понимающий свою вину и даже изо всех сил отстаивающий собственную невиновность, а затем пожинал плоды этого «дела»), – можно выделить три действия (три акта пьесы), довольно слабо связанные друг с другом, но, несомненно, составляющие звенья одной цепи, сковывающей заглавную личность. Обозначу эти три гипотетических действия.

Одно – собственно научное – разворачивалось вокруг проблем «современной мифологии». С сегодняшней точки зрения, здесь и проблемы-то никакой нет: вся современная культура (в том числе и культура XX века, о которой шла речь) буквально пронизана мифологией – политической, художественной, научной и т. п. В то время существование «современной мифологии» начисто отрицалось, во всяком случае, с официальной точки зрения, и утверждать обратное – было уже идеологическим преступлением.

Второе было связано с советской литературой, причем с таким ее политически одиозным сегментом, как роман Н. Островского «Как закалялась сталь», навязший в зубах каждого советского школьника, а в отдельных своих фрагментах и прямо выученный наизусть («Самое дорогое у человека – это жизнь...»). Именно творческое прочтение романа (как феномена советской мифологии) послужило своего рода «детонатором» для новой ступени развития «дела Кондакова» в идеолого-политическом ключе. Здесь проблемы современной мифологии сомкнулись с конкретным идеологическим материалом современности.

Третье, выступившее за границы университета и университетской жизни (а потому практически не охваченное данным повествованием) касалось тоже советской литературы и идеологии. Однако если в предыдущем случае речь шла о бесспорном советском классике – Николае Островском, то в данном случае речь шла о постоянном возмутителе советского спокойствия – формалисте, экспериментаторе, авангардисте – Андрее Вознесенском, «классичность» которого и спустя год после его смерти осознается с трудом). С тех самых пор, как разъяренный Хрущев орал на Вознесенского, обращаясь к нему: «господин», как к резиденту западной, буржуазной культуры, – говорить или писать о Вознесенском положительно – на протяжении почти десятка лет фактически приравнивалось (по степени негатива) к отрицательным суждениям о романе Н. Островского или его центрального героя – Павки Корчагина – и считалось посягательством на самую «советскость».

Таким образом, я последовательно нарушил три важнейших постулата официальной идеологии: 1) утверждал, что современная культура (в том числе советская культура) мифологична; 2) выразил сомнение в том, что Павка Корчагин – идеал советской молодежи на все времена, и предположил, что это – новый миф советской эпохи; 3) поддержал мысль А. Вознесенского, что искусство выше политической повседневности и всевозможных идеологических постулатов советизма, что оно может жить независимо от них и вопреки им, что в конечном счете искусство в известном смысле свободно от общества (вопреки известному ленинскому афоризму: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя»). Этого было достаточно для того, чтобы возникло «дело Кондакова» и получило в Перми городской и областной резонанс. После того, как прозвучали последние обертоны моего «дела», я вдруг проснулся «знаменитым»!

Это привело к тому, что я поехал работать по распределению учителем в сельскую среднюю школу Пермской области – «на исправление» (это – отдельная история); все мои попытки продолжить занятия наукой были практически пресечены. Вернувшись из Кишерты в Пермь, я тщетно блуждал по городу с

намерением куда-нибудь устроиться на работу, даже в районную библиотеку... Но везде меня ожидал вопрос: «Тот самый Кондаков?», а после подтверждения – один и тот же ответ: – «Только с разрешения обкома партии!», – какового у меня, разумеется, не было, и быть не могло. Единственным местом, где мне было разрешено работать после сельской школы, оказался Пермский телефонный завод, где существовали социологическая и психологическая лаборатории (сектора), в которых латентно все же существовала и развивалась прикладная наука. В них я затерялся, как иголка в стогу сена. Телефонный завод и приютил меня, тем самым «загасив» продолжавшее исподволь тлеть «дело Кондакова». От «дела» остались одни слухи и догадки, превратившие его в легенду, миф.

Оставалось вырваться из тесных объятий телефонного завода, где наукой, в конечном счете, оказалось также невозможно заниматься (все пожирала текучка), и, тайком, украдкой, бежать – «В Москву! В Москву!».

Оглядываясь назад, невольно задумываешься: неужели вот это жалкое «Дело Кондакова» и останется после меня как единственное жизненное достижение? Как «закон Ньютона», как «теория относительности Эйнштейна», как «театр Любимова», как «поэзия Бродского»? Грустно, если так...

Итак, «Дело Кондакова» с разных точек зрения...

### *Действующие лица:*

**Кожевников Павел Иванович** – зав. отделом науки и учебных заведений Пермского обкома КПСС.

**Крылов Вилен Сергеевич** – куратор КГБ по Пермскому университету.

**Копысова Элеонора Степановна** – секретарь обкома ВЛКСМ, освобожденная комсомольская активистка.

**Бельский Александр Андреевич** – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой зарубежной литературы Пермского университета, член партбюро филфака Пермского университета, специалист по творчеству В. Скотта и Дж. Остин. В 1971 г. сме-



нил на должности декана филологического факультета ПГУ С.Ю. Адливанкина.

**Живописцев Виктор Петрович** – Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор химических наук, профессор, в описываемое время – ректор Пермского государственного университета.

**Файнбург Захар Ильич** – доктор философских и кандидат экономических наук, профессор, зав. кафедрой научного коммунизма Пермского государственного политехнического института, руководитель лаборатории социологических исследований ПГПИ, специалист в области социологии труда, культуры, социального планирования, детально исследовал феномен «культы личности» в СССР.

**Мурзин Леонид Николаевич** – доктор филологических наук, профессор<sup>12</sup>, специалист в области теоретической лингвистики, зав. кафедрой общего языкознания Пермского университета; в конце 60-х был секретарем партбюро филологического факультета ПГУ.

**Лейтес Наталия Самойловна** – доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной литературы Пермского государственного университета, литературовед-германист.

**Зверев Алексей Матвеевич** – доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной литературы РГГУ<sup>13</sup>, литературовед-американист.

**Русейкина Валентина Степановна** – кандидат исторических (философских?) наук, доцент кафедры научного коммунизма Пермского государственного университета, член парткома университета, впоследствии, в 1980-е гг., секретарь Пермского горкома КПСС.

**Скитова Франциска Леонтьевна** – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ПГУ,

---

<sup>12</sup> В описываемое время Л.Н. Мурзин был кандидатом филологических наук и доцентом. Он успел побывать деканом и секретарем партийной организации филфака, но был вскоре смещен и с той, и с другой должностей как не справившийся с оказанным доверием.

<sup>13</sup> В описываемый период А.М. Зверев был кандидатом филологических наук, сотрудником редакции журнала «Вопросы литературы».

зав. диалектологическим кабинетом, бессменный член партбюро филфака Пермского университета, исследователь говора деревни Акчим.

**Адливанкин Соломон Юрьевич** – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Пермского университета, специалист по старославянскому языку и исторической грамматике русского языка; некоторое время был деканом филологического факультета ПГУ.

**Комина Римма Васильевна (без слов)** – доктор филологических наук, профессор<sup>14</sup>, зав. кафедрой русской литературы Пермского государственного университета, специалист в области современной советской литературы, научный руководитель дипломной работы И. Кондакова.

**Орлов Владимир Вячеславович (без слов)** – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Пермского университета.

**Дергачев Иван Алексеевич (без слов)** – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русской литературы и фольклора Уральского государственного университета (г. Свердловск), специалист по творчеству Д.Н. Мамина-Сибиряка.

**Антонов Юрий (без слов)** – секретарь комитета ВЛКСМ Пермского государственного университета, впоследствии крупный предприниматель.

**Дробышевский Леонид Петрович (без слов)** – Заслуженный учитель РСФСР, Герой Социалистического Труда, директор Усть-Кишертской средней школы Пермской области, член Кишертского райкома КПСС, преподаватель обществоведения.

**Попов Михаил Афанасьевич (без слов)** – Заслуженный учитель РСФСР, завуч Усть-Кишертской средней школы Пермской области, секретарь партийной организации школы, учитель физики.

---

<sup>14</sup> В описываемый период Р.В. Комина еще не была ни доктором, ни профессором, поскольку коммунист, которому вынесли партийный выговор и не сняли его, в течение многих лет (как это было у Р.В.) не мог быть допущен трудовым коллективом к защите.

## Действие первое МИФОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

### Файнбург З.И. *(взгляд со стороны)*

Мы с Галиной<sup>15</sup> познакомились с Игорем в декабре 1963 года, когда он, будучи школьным товарищем Гриши<sup>16</sup>, стал приходить к нам домой. Поначалу они читали журнал-газету «За рубежом» (на нее трудно было подписаться в то время), на основании прочитанных материалов они готовили политинформации и «международные комментарии за круглым столом». Игорь был любознательным и толковым парнем, интересовался современной поэзией; он даже написал в школе какую-то статью о Евтушенко и Вознесенском. У меня было много поэтических сборников; мне удавалось достать все дефицитные издания: и «Взмах руки» и «Нежность» Евтушенко, и первые сборники Вознесенского – «Парабола», «Треугольная груша», «Антимирь». Я не разрешал брать книги домой, а приходить почитать – пожалуйста! В общем, мы с Галиной были рады, что у Гриши появился такой друг. Им было о чем поговорить друг с другом, а нам – интересно общаться с ними обоими.

Игорь часто заходил – и с Гришей, и без; читал, делал выписки. Иногда получалось обсудить прочитанное. Я, помню, высказал прогноз, что Евтушенко и Вознесенскому принадлежит большое будущее. Женя Евтушенко, сказал я, – это Некрасов нашего времени, а Андрюша Вознесенский – Пушкин нашего времени. Помнится, Игорь очень удивился и задумался, но, думаю, эти рассуждения не прошли для него бесследно. У меня же он прочитал бесцензурный вариант «Наследников Сталина», ходивший в самиздате. Там Евтушенко акцентировал слово

---

<sup>15</sup> Козлова Галина Петровна – жена и соавтор З.И. Файнбурга, кандидат экономических наук, доцент Пермского политехнического института, специалист по политэкономии капитализма и социализма.

<sup>16</sup> Файнбург Григорий Захарович – сын З.И. Файнбурга и Г.П. Козловой, доктор технических наук, профессор Пермского государственного технического университета, специалист по технике безопасности, бывший одноклассник И. Кондакова; в описываемое время – студент физического факультета ПГУ.

«сталинист», фактически запрещенное официально: «Пока на земле жив еще хоть один сталинист, мне будет казаться, что Сталин еще в Мавзолее!» А сколько кругом было настоящих сталинистов (только слово «сталинист» не признавали)!

Помню, как посоветовал читать мемуары Ильи Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь», регулярно печатавшиеся в «Новом мире». В них было много нового и острого, связанного с культурой XX века. Еще среди произведений Эренбурга я особо выделял «Хулио Хуренито», а в этом романе – главу «Великий инквизитор». Это глава о Ленине, и самому Ленину она очень нравилась. Еще я подчеркивал, что Илья Эренбург – большой поэт, во многом недооцененный. Я же обратил внимание на Солженицына, – прежде всего, на «Один день». Вообще сталинская тема ребят явно интересовала, и я подсказывал те воспоминания и повести, где она раскрывалась во всей полноте. Настоятельно рекомендовал статьи Юры Карякина о Достоевском и Солженицыне, опубликованные в «Проблемах мира и социализма».

В связи с гипотетическим моделированием будущего я часто обращался к научной фантастике. У меня собралась прекрасная библиотека научной фантастики; к тому же я переписывался с паном Станиславом (Лемом), с братьями Стругацкими, с Иваном Ефремовым, Ариадной Громовой, Рафаилом Нудельманом, Сергеем Снеговым и др. и сам писал книгу о научной фантастике, которую я предложил «Политиздату». А книгу о научно-технической революции и ее социальных последствиях (фактически моя докторская диссертация) я готовил для «Мысли». В конце концов, ни с «Политиздатом», ни с «Мыслью» романа у меня не получилось. Игорь все время спрашивал меня, когда выйдут написанные книги. К сожалению, «наследники Сталина» были сильны не только в Перми, но и в Москве. Мне пришлось с горечью констатировать, что для «Мысли» – у меня мыслей много, а для «Политиздата» – мысли не те.

У самих «фантастов» в это время тоже многое не клеилось. Аркадий и Борис (Стругацкие) никак не могли издать давно написанный и ходивший в самиздате роман «Гадкие лебеди»; не получалось опубликовать в полном виде «Улитку на склоне»; трудности были и с публикацией «Второго нашествия марсиан»

(журнальный вариант). Я уже не говорю о «Сказке о тройке», также ходившей в самиздате. При переводе романа Станислава Лема «Glos Pana» («Глас Божий») цензура пропустила искаженное название – «Голос неба»; но даже исковерканное заглавие книги несло в себе много символического и философского. Все это подтверждало мою гипотезу: из популярных жанров научная фантастика – самый актуальный и востребованный, аккумулирующий в себе различные философские, социальные, политические, нравственные идеи.

Правда, с моей подачи Женя Тмарченко написал диссертацию по научной фантастике, но, к сожалению, сделал акцент на филологические, собственно литературные особенности. Философские, социологические и культурные черты фантастики остались практически неисследованными. Я Игоря тоже подговаривал писать о фантастике, и он даже что-то на эту тему написал. Но напечатано это не было, не знаю по каким причинам. С другой стороны, меня увлекала идея: взять какой-нибудь роман в духе соцреализма, например «Кавалер Золотой Звезды» Семёна Бабаевского, «Счастье» Петра Павленко или «Знакомьтесь, Балуев» Вадима Кожевникова, и, во всеоружии социологической, философской и литературоведческой техники, доказать полную несостоятельность как формы, так и содержания этих сталинских «шедевров» советской мифологии. Такое, я думаю, пожалуй бы напечатали – из-за самих произведений (а подтекст анализа наверняка бы не поняли). Игорь почему-то не откликнулся на эту идею. Со своей стороны, он предлагал сделать разбор сталинистских романов Ивана Шевцова «Гля», «Во имя отца и сына», «Любовь и ненависть», только что изданных огромным тиражом и имевших скандальную славу у поклонников вождя. Влезать в эту оголтелую идеологию – значило и себя погубить, и ничего не опубликовать. Хотя, несомненно, и романы Бабаевского, и Павленко, и Кожевникова, да и фадеевская «Молодая гвардия» имеют самое непосредственное отношение к современной мифологии. В конце концов, Игорь предпринял в этом ключе интересный анализ романа Н. Островского «Как закалялась сталь», но это тоже ему дорого обошлось.

Постепенно мы обратились к обсуждению философских и социальных проблем культуры, трактуемых, конечно, в марксистском ключе. Я любил в шутку повторять: «У нас, марксистов, печатных трудов до фига и больше». Но это была грустная шутка: печататься и нам с Галиной было трудно – и в Перми, и в Москве. Проще было издаться в Варшаве, Ростове-на-Дону, Саратове. Но больше всего написанного оседало в личном архиве. Не имея возможности дать почитать что-то свое, оставалось внимательно читать классиков.

Особенно настойчиво я рекомендовал читать ранние работы Маркса («Философско-экономические рукописи 1844 года», «Введение. К критике политической экономии», подготовительные тетради к «Капиталу». А из зрелых работ, например, «Немецкую идеологию» и «18 Брюмера Луи Бонапарта»). Нужно заново прочитать последние ленинские статьи, так называемое «Политическое завещание». Там масса интересного и актуального сегодня в отношении культуры, в том числе и имеющего отношение к современной политической мифологии. Я все время ориентировал Игоря на занятия теорией культуры. Я хотел, чтобы Игорь и кандидатскую, и докторскую защищал по теории культуры, которой, я был уверен, принадлежит ближайшее будущее.

Зашла как-то у нас речь о «вульгарной социологии» (В. Переверзев, В. Фриче, И. Иоффе, А. Богданов и др.). Интересная кампания! Я Игорю прямо сказал: никаких ошибок социологического характера у так называемых «вульгарных социологов» не было! Их скомпрометировали в сталинское время, нарочно; социологической вульгаризации в сталинское время было гораздо больше. Их работы по социологии культуры 20-х годов сегодня забыты, но нисколько не устарели. Их нужно сегодня читать и перечитывать, как, впрочем, и работы Фрейда (как и работы Богданова, запрятанные в спецхране). Я все время

говорил Игорю: и в нашей стране будет поставлен памятник Фрейду, как и Бахтину<sup>17</sup>.

Особенно интересен с точки зрения теории культуры А.А. Богданов; он интересен и как писатель (у него замечательные научно-фантастические романы «Красная звезда» и «Инженер Мэнни»), и как ученый-марксист (его работы о пролетарской культуре, об общественном сознании, о коллективистском обществе, не говоря о «Тектологии», предвосхитившей кибернетику, нужно внимательно изучать). У Игоря оказалась доставшаяся ему не то от отца, не то от деда книжка Богданова об общественном сознании 1914 года. Он ее внимательно прочитал, и ему запала идея об уровнях общественного сознания. Потом мы обсудили концепцию Богданова, и я изложил Игорю свою точку зрения на строение общественного сознания в наше время.

Наиболее глубинный уровень – мифологический; над ним надстраивается религиозное сознание (в том числе и современное религиозоподобное сознание, например утопическое или связанное с «культом личности»); наконец, на поверхности располагается научное сознание (в том числе в его обыденных формах). Главное, что все три уровня общественного сознания сосуществуют одновременно, актуализируясь в разное время поразному (как «Я», «Сверх-Я» и «Оно» у Фрейда). Игорь загорелся идеей написать статью о современном мифотворчестве. Я его всячески поддержал в этом намерении, считая, что это действительно сегодня очень актуально, с социологической точки зрения.

На чем держится любой «культ личности» (Сталина, Гитлера, Муссолини, Мао Цзэдуна, Ким Ир Сена, Тито, Фиделя и т. д.)? Во-первых, на том, что фигура легендарного вождя мифологизирована, обожествлена, подчас с мистическим ужасом. Во-вторых, вокруг этой мифологизированной фигуры создается своего рода «религия», с развернутой идеологией, церковные ритуалы, система культа; у этой религии есть своя символика,

---

<sup>17</sup> З.И. Файнбург имел в виду М.М. Бахтина, автора книг о Рабле и Достоевском, которыми он восхищался, считая их философскими и социологическими.

свои жрецы, храмы, свои святые, свое «Священное Писание». Наконец, в-третьих, только с точки зрения науки, марксистского социологического анализа, оказывается возможно объективное изучение, понимание и практическое преодоление этого феномена.

– Могло ли так случиться, чтобы в Советском Союзе или в других социалистических странах не сложилось бы – в тех или иных формах – явление «культа личности»? – спрашивал меня Игорь. – Нет, не могло. Научный марксистский анализ показывает, что существуют закономерности, связанные с современным мифотворчеством, которые с неизбежностью воспроизводят такие фигуры, как Сталин, Троцкий, Мао... И если бы не победил Сталин, то был бы Киров. А еще раньше вождем мог стать Фрунзе.

Словом, статья Игоря, по-моему, была очень актуальной для понимания многих важных проблем социалистической культуры и советского общества, и жаль, что она так и не увидела свет<sup>18</sup>.

Когда Игоря послали в Кишертъ, я ему в утешение посоветовал заняться охотой или, на худой конец, рыбной ловлей. Я, например, только когда ужу рыбу, могу не думать над социологическими проблемами. Когда он вернулся из Кишерти, я очень хотел, чтобы он начал работать на кафедре (или в лаборатории) у меня. Я его мог взять на какую-нибудь маленькую должность – методиста кабинета научного коммунизма, почти что лаборанта. Но ректор воспротивился: «только с разрешения обкома». Пошел я в обком. Не к Кожевникову, – к тому и ходить бесполезно, а к Козлову, секретарю обкома по идеологии. Говорю ему: я вижу Кондакова сотрудником своей кафедры и даже своим преемником. Ну, ошибся парень, заигрался, с кем не бывает. Да и сказал-то он на этой злосчастной конференции сухую ерунду: что-то там про Корчагина. Корчагин – фигура из далекого прошлого. А в нашем дружном марксистском коллективе,

---

<sup>18</sup> Статья И.В. Кондакова «Современное мифотворчество как эстетико-идеологическая проблема» была опубликована – спустя 28 лет после написания, в сокращении. – См.: Мир психологии. 1998. № 3.



под моим присмотром, он быстро исправится. Тем более что заниматься он станет конкретной социологией, а не филологией. Но и Козлов – ни в какую! Нет, говорит, Кондакова в науку – ни за что! Мы и так от него нахлебались всякого дерьма.

Пришлось эту идею оставить. Правда, как Игорь мне потом рассказал, ему после Кишерти удалось устроиться на Пермский телефонный завод, нашу базу по социальному планированию. Там работал начальником социологической лаборатории Слава Иванов, хороший парень. Вот он и взял. Но не удержал.

### **Зверев А.М.**

С И.В. Кондаковым я впервые познакомился в январе 1971 года. В редакцию журнала «Вопросы литературы», которая тогда находилась в доме на Пушечной, пришел молодой человек в очках и принес статью о современной мифотворчестве. Насколько я помню, он был еще студентом. В то время в «Воплях» еще не было опыта публикации студенческих работ, такой опыт пришел много позже. Но нам и тогда не казалось чем-то уже очень рискованным напечатать студенческую работу. Статья Кондакова оказалась на удивление интересной. Если бы над ней еще немного поработать, из нее можно было сделать вполне приличную публикацию. Нам всем статья понравилась, тем более что проблема присутствия мифа и мифологии в современной литературе, наиболее заметно – в западной, представлялась нам актуальной и теоретически важной. Как раз в прошлом, 1970 году мы опубликовали две большие статьи по этой проблеме. Особенно мы гордились статьей Сережи Аверинцева, восходящей звезды отечественной филологии, «“Аналитическая психология” К.Г. Юнга и закономерности творческой фантазии». Несомненно, и Кондаков читал эту статью, во всяком случае, ее влияние в тексте Кондакова было ошутимо.

Однако с этой-то статьей (С.С. Аверинцева) и произошли самые большие неприятности. Бдительный «Октябрь», руководимый Всеволодом Кочетовым, откликнулся на статью Аверинцева гнусной инсинуацией. Схема ее была такая: известно, мол, что после прихода к власти в Германии Гитлера Юнг какое-то время еще работал в этой стране и лишь позднее эмигрировал в

Швейцарию. Это означает, что он сотрудничал с гитлеровским режимом. Теория архетипов Юнга каким-то образом коррелирует с фашистскими теориями, например с «Мифом XX столетия» Розенберга. Это означает, что «аналитическая психология» Юнга – фашистская теория. Аверинцев посвятил свою статью теории Юнга и ее современному значению, расхвалил ее. Значит, он сам фашист и пропагандирует в нашей стране гитлеровский нацизм! Вот такая грубая демагогия.

Сигнал поступил в соответствующие инстанции. И начались бесконечные проверки журнала; усилился контроль со стороны ЛИТа. Искали между строк контрреволюцию и антисоветчину в каждой буквально статье, но больше всего в статьях, посвященных западной буржуазной культуре. Аверинцев надолго стал непубликуемым автором, а слово «миф» применительно к современности стало буквально «красной тряпкой» для всех бдительных надзирателей журнала. Теперь каждый материал, шедший в печать, на всех уровнях читался с лупой, на предмет каких-то скрытых политических намеков или идеологической диверсии. В этих условиях нечего было и думать попытаться напечатать статью Кондакова. Это значило бы только зря «дразнить гусей» и тем самым «вызывать огонь на себя».

Однако для Кондакова хотелось, несмотря на все объективные трудности, сделать что-то хорошее. Когда через несколько дней он пришел за ответом я рассказал ему о наших печальных обстоятельствах, а его статью похвалил, объяснив, почему мы ее не можем напечатать. Взамен я предложил ему написать отзыв от имени редакции «Вопросов литературы» с рекомендацией статьи к публикации – например, в провинциальных «Ученых записках». Мне показалось, что Кондаков не понял мотивов отказа и обиделся. Я еще раз ему сказал, что статья нам понравилась и мы обязательно ее напечатали б, если бы не злосчастная рецензия на Аверинцева в «Октябре», перекрывшая нам «кислород». Он забрал свою статью, но от отзыва отказался, напрасно, по-моему. Заявил, что и так опубликует ее в ближайшем сборнике «ученых записок». Не знаю, удалось ли ему это, ввиду общей идеологической атмосферы в стране.

Сегодня бы эта статья, я думаю, уже не имела бы того значения, которое могла бы иметь в 70-е. Ее основная идея – о том, что существует современная мифология, после работ Ролана Барта, К. Леви-Строса, Е. Мелетинского, Вяч. Иванова и Вл. Топорова, может показаться вполне тривиальной, общеизвестной, но в то время сама постановка вопроса о том, что современная мифология существует и имеет идеологический смысл, т. е. может быть использована в политике для манипулирования массами, что мифология на протяжении всей истории культуры продолжает функционировать, меняя свои формы и наполнение в зависимости от эпохи, тогда казалась довольно смелой и своевременной.

С Игорем Вадимовичем в следующий раз мы встретились уже в РГГУ, в середине 90-х, когда он, как и я, уже был доктором и профессором; я – на истфиле, он – на факультете истории искусства. Вместе принимали вступительные экзамены у поступающих в аспирантуру, кандидатские экзамены. Были у нас и общие точки научных интересов: мы оба занимались культурой повседневности, литературой русского зарубежья, изучали творчество Гайто Газданова... Но о современной мифологии речь зашла только один раз, когда Кондакову на заседании редколлегии «Воплей» вручали премию за одну из его статей в «Вопросах литературы», и он в ответном слове поблагодарил не только редакцию журнала во главе с Л.И. Лазаревым, но и персонально меня за то, что я первым «открыл ему двери» в наш журнал и рассказал о нашей встрече на Пушечной.

### **Бельский А.А.**

До этого я Кондакова совсем не знал. Конечно, мне было известно, что он учился на русском отделении, и учился хорошо. Будучи студентом 3-го курса, он стал Ленинским стипендиатом (его кандидатуру мы утверждали на партбюро). Вскоре он был избран секретарем комсомольского бюро факультета и получил индивидуальный план, позволявший ему свободное посещение лекций. Не помню, чтобы он ходил на мои лекции; во всяком случае, ни зачетов, ни экзаменов мне он не сдавал. По зарубежной литературе, как студент русского отделения, он не

специализировался. Тема его диплома, как она была утверждена на Совете факультета, касалась Толстого и Достоевского, а руководителем дипломной работы почему-то стала Комина, обычно руководившая работами по современной советской литературе, а русскую классику уступавшая З.В. Станкеевой, В.К. Шеншину, Р. Спивак или другим преподавателям кафедры русской литературы. Видно, она почему-то «облюбовала» Кондакова, раз взялась не за свою тему. Да и Кондаков, видимо, не случайно «пошел на диплом» к Коминой. «Яблоко от яблони...».

Правда, после 1968 г. Комина во многом утратила партийное и административное доверие на факультете. Случай со сборником ученых записок, подготовленных кафедрой русской литературы под руководством Коминой, набор которых был по решению ЛИТа<sup>19</sup> рассыпан, а тираж уничтожен, конечно, не был случайностью, как и конференция 1965 года, посвященная едва ли не целиком «творчеству» Солженицына. Мы, принципиальные коммунисты филологического факультета, – К.В. Веселухина, Ф.Л. Скитова, М.Ф. Власов, С.Ю. Адливанкин, Ф.П. Юрин и я, – первые подняли сигнал тревоги по поводу нездорового и опасного увлечения Солженицыным. В сборнике неоднократно упоминался и расхваливался печально известный отщепенец, более того, одному из рассказов Солженицына<sup>20</sup> была посвящена специальная статья ученика Коминой Евгения Тамарченко, кстати, довольно подозрительного и мрачного типа. Наши кураторы – В.С. Крылов и П.И. Кожевников – с пониманием отнеслись к нашему сигналу и вовремя сориентировали ЛИТ. И, что характерно, уже на следующий день после запрещения этого сборника все вражеские радиостанции дружно откликнулись, ратуя «за свободу слова в СССР». Я сам слышал по «Голосу Америки», как наши западные «доброжелатели» выра-

---

<sup>19</sup> ЛИТ (Главлит) – орган советской цензуры, официально – призванный охранять военные и государственные тайны от проникновения в открытую печать.

<sup>20</sup> «Случай на станции Кречетовка» (под таким названием рассказ А.И. Солженицына был опубликован в журнале «Новый мир»; у автора название станции было «Кочетовка»).

жали свои сочувствия кандидату филологических наук Коминой в связи с постигшей ее (и в ее лице Пермский университет) «утратой». Хорошенькая «утрата», нечего сказать!

Вряд ли можно объяснить простым совпадением то обстоятельство, что все ученики Коминой увлекались какими-то сомнительными темами и одиозными именами. В данном случае ничего предосудительного не было в том, чтобы заниматься Толстым и Достоевским, классиками русской литературы XIX века, но ведь известно, что любой предмет можно рассмотреть с предвзятой точки зрения. Ленин, как известно, учил смотреть на Толстого как на «зеркало русской революции». А ведь можно в нем увидеть и другое: скажем, «зеркало контрреволюции» или проповедь «непротивления злу насилием», и тогда это будет ошибочной работой. От учеников Коминой можно всего ожидать.

И вот, мне довелось поближе познакомиться с Кондаковым. Вернувшись после дипломной практики в Ленинской библиотеке в начале 1971 года, он обратился ко мне с просьбой включить его статью в очередной сборник ученых записок «Проблемы метода и жанра в зарубежной литературе», который редактировал я. – Но Вы же не занимаетесь зарубежной литературой, – возразил я. – Почему же? – нахально ответил он вопросом на вопрос, – и зарубежной тоже. – Я не могу Вам гарантировать, что Ваша статья пойдет в этом сборнике, – сказал я, – сначала я должен ее прочитать, а затем – высказать свои замечания по тексту. – Пожалуйста, – ответил он, протягивая свойopus.

Статья называлась претенциозно – «Современное мифотворчество как эстетико-идеологический феномен» и составляла больше 30 страниц текста, полтора печатных листа. – Я прочитаю и затем Вас приглашу, – заключил я. – Только оставьте мне, как и положено, 2 экземпляра. – Пожалуйста (он отдал мне оба экземпляра). А когда мне зайти к Вам? – поинтересовался студент. – Когда я прочитаю, – твердо повторил я и, видя, что автор хочет меня поторопить с чтением, добавил: – Я сейчас очень занят и не смогу сразу читать Вашу работу. Нужно время. Заходите ко мне через месяц. – Месяц, конечно, я назвал наобум,

нужно было сразу назначить месяца два или даже больше. Хотя, признаться, статью Кондакова я прочитал сразу же по получении, в первые два дня.

Название статьи мне очень не понравилось; я сразу же почувствовал дурное влияние Коминой. Прочитав статью, я понял, что автор оправдывает мифологию, считая ее вечным и неизменным явлением культуры; клонит к тому, что мифология никуда не ушла, а продолжает влиять на сознание людей и в наши дни, и, возможно, не меньше, а даже больше, чем в древности, что на смену древней мифологии пришла современная. Если продолжить нить размышлений автора, то можно прийти к выводу, что построение социализма – это миф, и коммунизм – миф, и социалистический реализм – миф, и вообще вся современная политическая деятельность – сплошное мифотворчество. Видно, что автор начитался ревизионистов, вроде Роже Гароди и ему подобных, и проникся вредной идеей «реализма без берегов». У автора получается, что и мифология – «без берегов», и ничего, кроме мифологии, у нас не существует.

Статья слабая, несамостоятельная. Она представляла собой довольно сумбурное изложение этой однобокой концепции, со ссылками на классиков – Маркса, Энгельса, Ленина. Сталин тоже фигурировал, только негативно, как объект политической мифологизации. Даже цитировался запрещенный Троцкий, невесть откуда выкопанный студентом, причем упоминался довольно позитивно. Примеры для анализа брались самые пестрые: здесь были Гоголь и Достоевский, Кафка, Джойс, Томас Манн и т.п. Цитировались Фрейд и Богданов, Лосев и Бахтин, Иванов и Топоров, Аверинцев и Фрейденберг, Аксаков, Стеблин-Каменский, Леви-Брюль, Роже Гароди... Какая-то вселенская смаз! Все ссылки довольно сомнительные и с одной целью подобранные: доказать, что мифология существует всегда. Полное забвение историзма! И из всего этого коллажа цитат следует простая и примитивная мысль, что все процитированные авторы, включая самих Маркса и Ленина, верили в современное мифотворчество, считали его возможным, востребованным и даже необходимым в наше время. Автор где-то даже нашел, что Маркс употреблял в своих письмах выражение «современная

мифология», а Ленин, будто бы, интересовался «мифотворчеством пролетарских поэтов» – незадолго до смерти. Неправдоподобный бред!

То, что статью печатать было нельзя ни при каких условиях и ни в каком виде, – было ясно уже после первого поверхностного просмотра. Ясно было и то, что Кондаков, будучи настырным неопитом, не остановится и после критики, будет по мелочам дорабатывать и приносить новые свои варианты все вновь и вновь. Но главная опасность заключалась в том, что исподволь проводимая автором гнилая антисоветская идея, что всё вокруг – миф, включая советскую действительность и коммунистическую идеологию, начала бы быстро распространяться среди незрелых студентов и недовольных преподавателей. Нужно было срочно найти средство для нейтрализации этой, с позволения сказать, «статьи» и уменьшить наносимый ею вред окружающим. Здесь нужен был профессиональный совет. И я позвонил Вилену Сергеевичу Крылову, мудрому и опытному человеку, как обычно и поступал в критических ситуациях.

В.С. очень внимательно меня выслушал. Задал несколько дополнительных вопросов... По его мнению, дело гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Это не индивидуальный «ляп» Кондакова, а некоторая опасная тенденция, начинающая формироваться в студенческой среде. Сигналы об этом постоянно поступают в Комитет. И важно эту тенденцию в корне пресечь – еще до того, как она начала массовое распространение. Крылов мне посоветовал, во-первых, ни за что не отдавать статью автору на доработку и не возвращать ее, и как можно дольше тянуть с решающим разговором по статье. Во-вторых, вызвать автора и провести с ним «профилактику» (как они говорят), т. е. устроить жесткий разнос в сочетании с критическим анализом статьи и напугать автора далеко идущими последствиями подобных «изысканий». В-третьих, он предложил организовать «сигнал» (официально, от своего лица), направив статью Кондакова (благо, она в двух экземплярах) со своими научными комментариями в два адреса: в обком партии, П.И. Кожевникову (для информации), и (через Крылова) копию в КГБ (для разработки).

Что и говорить, совет был дельный. Лучшего, наверно, и нельзя было предложить. Я так и поступил: написал два разбора кондаковской статьи – для обкома партии и для КГБ, по смыслу одинаковые, только с разными выводами, но ходу им не дал, до запланированного разговора с Кондаковым. В своей докладной записке я констатировал, что автор, весьма начитанный студент, но дурно направленный, подвержен влиянию всех модных буржуазных течений – модернизма, авангардизма, фрейдизма, структурализма, ревизионизма, – концентрированно собрав все самые одиозные западные идеи в одном месте, он сделал из них самые радикальные антимарксистские и антисоветские выводы, искусно придав им научно-привлекательный вид и демонстрируя псевдоноваторство в филологии.

А тем временем этот назойливый студент уже раза три приходил, причем досрочно, с вопросом, конечно: прочитал ли я его сочинение. И каждый раз я отвечал ему хмуро: – Нет, еще не прочитал. Когда я прочитаю, я дам Вам знать. – Прошло месяца три, был примерно март, и я попросил лаборантку отыскать телефон Кондакова (кажется, он был записан на самой статье) с тем, чтобы пригласить его на беседу.

Кондаков явился, как ни в чем не бывало, без тени смущения, без колебаний и сомнений, как будто то, что он написал, было доказанной научной истиной, как будто он – не студент-недоучка, а такой же маститый ученый, как, скажем, я. И никакого пиетета перед доктором и профессором. Нахальная самоуверенность и заносчивость! Возмутительно: он разговаривал со мной как равный с равным. Это, конечно, Комина его так настроила, с ее ложными представлениями о «демократии» в отношениях между студентами и преподавателями и в отношении к любым авторитетам. И еще Лейтес, с сыном которой он, говорят, дружил. И Спивак. Для них же никаких авторитетов не существует; даже классики марксизма для них, наверно, не авторитет, не говоря уже о партийных документах. Комину мы уже поставили на место, пригвоздив ее строгим партийным выговором за развал идеологической работы на кафедре. И этот выговор с нее до сих пор не снят. Но разбрасываемые ею семена, как



видим, всходят на нашей почве и дают свои ядовитые плоды. Дойдет дело и до Лейтес, и до Спивак...

Я начал без обиняков. Усадил Кондакова перед собой, как на допросе, развернул перед собой свои листочки с записями (статьи Кондакова у меня, естественно, с собой не было) и, преодолевая усиливающуюся головную боль<sup>21</sup>, строго начал: – Всё, что Вы тут написали, – спорно, если не сказать – ошибочно. – Почему? – туповато спросил он. – Потому что Маркс писал, что мифология возможна только в эпоху Ахиллеса, а в эпоху свинца и Гутенберга она невозможна. – А он мне, понимаете, возражает: – Но ведь Маркс писал, что возможна и «современная мифология», отличная от архаичной. – Я повысил голос: – Маркс такого не мог писать, потому что он сказал, что в Новое время никакая мифология невозможна. То, что Вы пишете, – не марксизм, а антимарксизм! Вы занимаетесь ревизией марксизма; вы начитались Гароди, не прочитав как следует Маркса. – Вместо того чтобы согласиться со справедливой критикой и принять ее к сведению, Кондаков в ответ начал упрямо повторять свои аргументы в защиту своей порочной идеи «современной мифологии». – Я не выдержал и сорвался: – Да вы только подумайте: вы соединяете все со всем: тут у Вас и Фрейд, и Гоголь, и Леви-Брюль, и Троцкий, и черт-те что! У Вас на одной странице цитируются Кафка и Маркс! – А он мне: – А если бы они были напечатаны на соседних страницах? – тогда можно? – Я даже поперхнулся от возмущения. – Не в страницах дело, поймите же Вы наконец! Ваша статья в целом ошибочная и вредная; Вы находитесь под влиянием растленной буржуазной идеологии и даже не отдаете себе отчета в этом. Как можно в одном и том же научном и идейном контексте рассуждать о Кафке и о Марксе, о Фрейде и Ленине!.. Пока Вы не осознаете свои грубые политические ошибки, мне не о чем с Вами говорить. – Тогда верните мне статью, – сказал он. – Ничего я Вам не верну! – оборвал раз-

---

<sup>21</sup> А.А. Бельский в последние годы жизни страдал от злокачественной опухоли головного мозга, но еще не знал этого. Р.В. Комина полагала, что все политические эксцессы Бельского происходили под действием развивающегося у него рака, что, в конечном счете, будто бы извиняет все его поступки и суждения.

говор я. – Но Кондаков не уходил и требовал вернуть его статью. – Разговор закончен! Вон из моего кабинета! – закричал я. – Кондаков поклонился и вышел с кафедры, чуть ли не улыбаясь.

Нет, этого дела я так не оставлю, – твердо рассудил я и оформил свое заключение по статье Кондакова, которую тут же отправил (2 экз.), вместе со своим заключением по инстанциям: одну – Вилену Сергеевичу Крылову, другую – через университетский партком Павлу Ивановичу Кожевникову. Пусть принимают меры в отношении этого умника. Это удалось, но не сразу.

Еще раз мне довелось столкнуться с Кондаковым уже после того, как он получил диплом и должен был приступить к работе в сельской школе по распределению. Был конец августа, перед началом 1971 / 72 учебного года. Я был в книжном магазине на Дальней и перелистывал филологические новинки (я задумывал тогда исследование по романам А. Дюма). Вдруг ко мне подходит Кондаков. Здоровается. И сразу: – Я хотел бы получить свою рекомендацию в аспирантуру. – Уклониться от беседы было невозможно. – Какую рекомендацию? – я сделал вид, что не понимаю, о чем идет речь (тем более, что их было две). К счастью, я был готов к такому повороту и советовался на этот счет и с Крыловым, и с Кожевниковым. – Кондаков продолжал: – Рекомендацию по итогам защиты моего диплома, которую выдал ГЭК под председательством профессора Черкасского. (Ну, да, другую он просил у С.Ю. Адливанкина).

Я твердо ответил: – Эта рекомендация недействительна. – Почему? – удивился Кондаков. – Объясняю: потому, что рекомендацией можно воспользоваться лишь сразу после получения диплома, при подаче заявления в аспирантуру. А Вы не могли подавать заявления в аспирантуру, потому что Вы уже подписали свое распределение и теперь должны три года отработать в школе. – А могу я воспользоваться рекомендацией после трех лет? – наивно спросил бывший студент. – Нет. Рекомендация в аспирантуру действительна лишь в течение 2-х – 3-х месяцев после окончания вуза. Повторно получить ее нельзя. Поскольку Вы ею уже не воспользовались, она Вам больше не понадобится. – Тем временем, Кондаков не сдавался: – А могу я получить

рекомендацию в аспирантуру, чтобы сохранить ее на память? – Нет. Рекомендация Вам больше не нужна. Никакой я Вам рекомендации не дам. – И я повернулся к Кондакову спиной, давая понять, что разговор между нами закончен.

### **Лейтес Н.С.**

Игорь Кондаков – друг моего старшего сына Жеки (Евгения Демьянова), трагически погибшего вскоре после окончания вуза. В это время Игорь был в «ссылке» в своей деревне, куда он был отправлен по распределению «для исправления». Одно время он часто бывал на нашей старой квартире на ул. Ленина, где они вместе с Жекой читали тексты по зарубежной литературе. Он мне сдавал экзамен по зарубежной литературе XX века, излагая при этом свою концепцию, – спорную, но интересную. Часто я видела его и на своих лекциях, хотя знала, что он специализируется по русской литературе и пишет диплом у Риммы Васильевны.

На моих лекциях нередко возникал сюжет, связанный с мифологическими образами в литературе XX века. Именно «возникал», потому что многие произведения с мифологической основой не входили в программу, а было много программных текстов, которые нельзя было игнорировать. Мое положение как лектора осложнялось еще тем, что на моих лекциях постоянно присутствовали «проверяющие». Это были то Бельский, то его супруга Яшенькина (что одно и то же), то кто-то из парткома, вроде Русейкиной, то кто-нибудь из факультетского партбюро, типа Веселухиной или Скитовой.

Многие из проверяющих ничего не понимали ни в поэтике романа, которой я занималась, ни в истории немецкой литературы XX века (также моя специальность), ни в других профессиональных проблемах литературоведения, да они и не пытались вникать в них. Они все выискивали в моих лекциях какие-нибудь идеологические ошибки и «стучали» во все инстанции при каждом удобном поводе – в партком, в КГБ, в ректорат. «Миф» и «мифология» в зарубежной литературе XX века, наряду с проблемами социалистического реализма в зарубежной литературе и проблемами модернизма, в первую очередь, и со-

ставляли искомые сюжеты, в которых легче всего было «вылавливать» идейные пороки и оговорки. Однако мне удавалось читать лекции таким образом, что никому из проверяющих не удавалось заметить ничего предосудительного. Поэтому я избегала на лекциях особенно углубляться в мифологические сюжеты, чтобы зря не подставляться.

Когда Игорь дал мне почитать свою статью о современном мифотворчестве (один из вариантов), она мне показалась интересной и лежащей в русле актуальных теоретических проблем литературы. Конечно, в статье было еще много, на мой взгляд, ученического, вторичного, но суть главной проблемы была схвачена очень точно. Мне показалось, что в ней было маловато именно зарубежного и особенно немецкого материала. Томас Манн, правда, в статье упоминался, но не более того. Я посоветовала Игорю обязательно проанализировать «Волшебную гору», где много мифологических пластов, и, конечно, «Иосиф и его братья»; «Доктор Фаустус» и многие из новелл Т. Манна также заслуживают пристального анализа с точки зрения присутствия в них мифологических архетипов. Герман Гессе в этом плане тоже показателен («Игра в бисер» и «Степной волк», по крайней мере). Но не нужно ограничиваться немецкой литературой, хотя она здесь очень важна, поскольку она тяготеет к мифологизации. Кажется, я назвала эти имена: А. Камю и Сартр, Ж. Ануи – во Франции; в Америке – Мелвилл, Фолкнер и отчасти Хемингуэй, а из молодых, конечно, «Кентавр» Джона Апдайка. А среди советских писателей я советовала обратить внимание на Чингиза Айтматова, который тяготеет к мифопоэтике.

Вообще я считала, что нужно больше анализировать с этой точки зрения именно современную литературу. И Гоголь, и Джойс, и Кафка – все это хорошо, но далеко не современность. Но главное, над чем Игорю предстояло поработать, – это исследование того, что не объединяет, а различает архаическую мифологию, вроде античной, и современную – у того же Кафки, Джойса, Апдайка и т. д. Не исключаю, что и терминологически было бы уместно современные мифы называть вовсе не «мифами», а, к примеру, «мифоидами», т. е. чем-то подобным мифу,

похожим на него, но мифом в традиционном, классическом понимании не являющимся. Я помню, что Игорь начал переделывать свою статью по моим замечаниям, она разрослась почти до трех листов, но в окончательном виде мне он ее не показывал. Я видела только отдельные наброски<sup>22</sup>.

Что касается истории с Бельским и его реакцией на статью, то в этом нет ничего удивительного: его реакция на подобный текст – вполне предсказуемая. Он всегда так поступал; просто я, зная, с кем имею дело, давала в кафедральные сборники абсолютно «проходимые» статьи: о творчестве, например, Анны Зегерс, классике немецкого соцреализма, с которой я хорошо знакома, переписываюсь. Здесь даже Бельскому, с его антисемитизмом, трудно придрачиться. И я каждый раз внутренне торжествую победу, наблюдая, как он злится от бессилия что-то сделать против меня.

Я удивляюсь другому: кто посоветовал Игорю дать свою статью Бельскому? Ведь это все равно что прямо отправить статью в КГБ, да еще написать в приложение к ней покаянное письмо и признаться во всех своих, даже несовершеннолетних грехах – антисоветских настроениях, любви к модернизму, сочувствии к диссидентам! Или он сам такой наивный, что полагал, будто Бельский примет его рассуждения о современной мифологии с распростертыми объятиями? Конечно, примет! Но только затем, чтобы тут же донести куда следует. Жаль, что он не посоветовался, прежде чем нести свои сочинения Бельскому, со мной.

### **Русейкина В.С.**

Бывают такие обманчивые люди, с двойным дном. На первый взгляд, – студент как студент: старательный, вдумчивый, активный. Учится хорошо, даже отлично. Занимается общественной работой, всегда на виду. Отзывчивый. Полон энтузиазма. А нутро – гнилое. Пропитанное буржуазной и ревизионистской идеологией. С антисоветским душком. Таким вот и являлся на рубеже 60-х и 70-х годов И. Кондаков, заваривший в нашем университет целое «дело». Теперь еще долго предстоит

---

<sup>22</sup> К сожалению, расширенный вариант статьи И. Кондакова потерялся.

его расхлебывать университетской партийной и комсомольской организациям. «Дело Кондакова» – это, конечно, не случайность. Из-за таких, как Кондаков, развалился Советский Союз, поблекла слава Коммунистической партии, померк свет коммунизма, освещавший нам путь вперед, к новым победам...

Впервые я на Кондакова обратила внимание, когда он с группой товарищей (среди них, я помню, был В. Пирожников, возможно, Е. Демьянов, сын нашей профессорши с филфака Н.С. Лейтес, еще кто-то, все мальчишки) явился в университетский партком (я как раз дежурила) с нелепым предложением: создать при студенческом научном обществе (СНО) кружок по углубленному изучению марксизма. И назвать его что-то вроде «Школа молодого марксиста»...

Поначалу я очень удивилась, «сделала большие глаза». – Мальчики! Да зачем же вам такой кружок? Вы ведь и так, на занятиях, под руководством опытных преподавателей изучаете все пять лет марксизм-ленинизм! На первом и втором курсе – историю КПСС, на третьем диамат и истмат, на четвертом – политэкономии капитализма и социализма, на пятом – основы научного коммунизма. Если у вас возникают какие-то вопросы, – всегда можно задать их преподавателю, и ни один не откажется вам помочь. Если есть какие-то спорные моменты, – можно обсудить на семинаре, совершенно официально. Наконец, каждый из вас может заниматься самообразованием, читая труды Маркса, Энгельса, Ленина, документы нашей партии дома, на досуге, что очень похвально и полезно для формирования коммунистического мировоззрения. Но зачем организовывать какой-то доморощенный кружок, где вы, наедине друг с другом, будете обсуждать сложные вопросы марксистско-ленинской теории, в которых вы сами можете не разобраться, наделать ошибок, а в отсутствие опытных преподавателей можете договориться бог знает до чего!

И, понимаете, Кондаков мне говорит: – Мы собираемся читать и обсуждать те произведения Маркса и Ленина, которые не значатся в программе; например, «Философско-экономические рукописи 1844 года», «Введение. К критике политической экономии», подготовительные рукописи к «Капита-

лу» Маркса и последние статьи Ленина из его «Политического завещания». – Но почему в кружке? – возразила я. – Все эти достойные и замечательные произведения классиков вы вполне можете обсуждать и на семинарах, в качестве дополнительной литературы. А если вы станете все это обсуждать самостоятельно, вы можете оказаться во власти буржуазных интерпретаций этих работ, которых развелось, благодаря деятельности ревизионистов всех мастей, видимо-невидимое множество. Западные идеологи только и специализируются на том, чтобы противопоставлять раннего Маркса – позднему, Маркса – Ленину, Ленину – Сталину и современной политике КПСС. Поле для буржуазных извращений марксизма-ленинизма – огромно. И вы только подольете масла в этот огонь.

А Кондаков мне отвечает: – Но ведь мы хотим рассматривать марксистские идеи в широком культурно-историческом и философском контексте. Например, нас интересует, как марксизм повлиял на экзистенциализм, в том числе на рассмотрение пограничных ситуаций существования (Хайдеггер, Ясперс, Сартр, Камю и др.). Или другой случай: как марксизм трактуется у философов Франкфуртской школы (у Маркузе, Фромма, Адорно)... – Я только руками замахала: – Мальчики! Забудьте про экзистенциализм! Это искусная ловушка для заблудших умов, жалкое болото буржуазной идеологии. А Франкфуртская школа – это еще того хуже: под видом марксизма, или, как они говорят, фрейд-марксизма (вы только подумайте: они скрещивают Маркса с Фрейдом, этой «порнографией духа»!) они протаскивают поганые идейки «одномерного человека», «бегства от свободы», отрицая классовый марксистский подход, экономический базис и принцип строгой партийности, который отстаивал всегда Ленин.

Все эти буржуазные течения даже сравнивать нельзя с великим учением марксизма-ленинизма, – продолжала я. – А марксизм есть марксизм. Он не мог повлиять на экзистенциализм, потому что не имеет с буржуазной философией ничего общего; его не может никак трактовать Франкфуртская школа, которая, в свою очередь, не имеет никакого отношения к марксизму, поскольку разделяет порочные идеи реакционной буржуазии...

Представляете? Мы целый час, наверное, вели дискуссию на пустом месте. Интересно, кто это их «просвещает» в отношении буржуазных философов: ведь ни Хайдеггер, ни Ясперс у нас даже не переведены, а у Сартра и Камю – только отдельные литературные произведения. Наверное, это все от Лейтес; она у них главный проводник буржуазной идеологии, по-немецки свободно читает и, вероятно, на других языках тоже; сигналы такие давно поступают в партком. А, может, это все идет от Коминой, которая проявляет нездоровый интерес ко всему упадочному и негативному, вроде ее любимого Солженицына.

Так и ушли «молодые марксисты» ни с чем. Никто им не разрешил устраивать кружки по самовольному изучению «марксизма» (а на самом деле – ревизионизма). А я написала докладную В.С. Крылову, а копию – в партбюро филфака, для памяти.

Другой пример, по-своему не менее показательный. Весной 1968 года я вела у них семинарские занятия по истмату и, чтобы вызвать живую дискуссию на свежем, современном материале, предложила обсудить последние события в братской Чехословакии. – Давайте, ребята, поговорим с Вами начистоту! – И что бы вы думали? – Кондаков с компанией принялись на все лады хвалить Дубчека и его реформы, о «Пражской весне» отзывались исключительно положительно. Называли происходившее «социализмом с человеческим лицом». Стали ратовать за «свободу слова» в СССР, ссылаясь на опыт завоевания свобод литераторами и студентами Чехословакии. – А я им все доверительно: – Ах, вот Вы как думаете! – Или: – Да что Вы говорите! – Повторите еще раз, я запишу! – Договорились до того, что стали выступать за введение в Советском Союзе многопартийности и отмену «монополии КПСС» на политическую власть в стране! Заигрались в буржуазную демократию! Вот тут-то, на спровоцированной «исповеди» и выявилось гнилое интеллигентское нутро! О какой верности марксизму-ленинизму и социализму можно говорить при таких воззрениях на массовые беспорядки оголтелых, распоясавшихся антисоциалистических сил. Действующих на деньги ЦРУ, по указке американских империалистов... Это все равно что объяснять развал СССР какими-то будто бы объективными социальными и политическими



причинами, а не заговором ЦРУ, НАТО и ревизионистов из европейских компартий!

Прошло немного времени, и советские танки (вместе с другими войсками стран организации Варшавского договора) вошли в Чехословакию и положили конец разгулу буржуазных свобод (ГКЧП, я считаю, промедлило с введением танков в Москву, – вот и конец СССР наступил). А молодые пермские нигилисты, во главе с Кондаковым, как ни в чем не бывало, обсуждали перспективы «Пражской весны» в СССР! – Я за ними все подробно записывала, кто что сказал, а вечером оформила «служебку» Вилен Сергеевичу, чтобы подшил к делу. Вот хлопот у Вилен! – с этими «вольнолюбивыми» интеллектуалами и будущими диссидентами... Искренне ему сочувствую. У меня под наблюдением всего десяток – полтора ненадежных студентов. А у него – сотни, со всех факультетов. И всех надо охватить, объять!

И вот когда в июне 1971 года, после госэкзамена по научному коммунизму, И. Кондаков (который, как всегда, сдал его на «отлично», – почему у них теория всегда расходится с практикой?) подошел ко мне и спросил (почему, правда, именно меня?): – Вы не знаете, почему мне не предложили свободного распределения, да и место распределения я не мог выбирать по своей воле, а просто расписался в предложенной клеточке? – Я помолчала (мысленно повторяя: – «Почему, почему... по качану!»), затем ласково ему улыбнулась, округлила глаза и проникновенно ответила: – Игорь!.. Это Вам надо спросить в КГБ. У нас в университете есть куратор от КГБ – Вилен Сергеевич Крылов. Все указания относительно Вас следовали оттуда. Подойдите к ним и спросите! Хотя, впрочем, разве Вы сами не знаете, почему? Я думала, – знаете. – Кондаков вежливо поблагодарил меня за информацию, поклонился и демонстративно удалился.

Конечно, знал!

## Действие второе «КОРЧАГИН – ЖИВ»

**Скитова Ф.Л.**

Признаться, «дело Кондакова» не стало для меня неожиданностью. Этот молодой человек, правда, не без способностей (он и по лингвистике читал очень трудную и абстрактную литературу (Ю. Степанов, А. Зализняк, В. Иванов и В. Топоров и др.), только зачем? Но как только дело доходило до какой-нибудь выраженной «идейности», Игорек всегда находил особенно неприемлемый вариант. Отчего всегда так происходило, я разобраться не могу. Думаю, что не было у него политического чутья, как у меня или Адливанкина, что ли? У нас-то с Солом – абсолютное! Причем, бросались в глаза нам мелочи, но они-то и являются, как правило, показательными.

Например, Павел Корчагин, с которым затеял борьбу Игорь... Казалось бы, мелочь: ну не понял он известный роман, ну решил пооригинальничать с Корчагиным... Чего не бывает! На месте этого романа мог оказаться любой другой – «Поднятая целина», «Тихий Дон», а на месте Корчагина – Нагульнов или Мелехов... Так нет же! Выбрал Корчагина, чтобы отличаться, – и ошибся. В том смысле, что «отличился» наоборот, в отрицательном смысле. И так – постоянно. А вот если бы он выбрал Григория Мелехова и обрушился на него с обличениями, – все бы поплодировали.

Помню, в курсе «Введения в языкознание» мы разбирали тему «Язык и мышление». Материалом для обсуждения были сталинские работы «Марксизм и вопросы языкознания». Чтобы максимально приблизить студентов (все конца 40-х годов рождения) к эпохе и ее стилю, я рассказала, как я, еще совсем-совсем маленькой девочкой из Белоруссии, была в составе республиканской делегации приглашена на елку в Кремль. Представляете впечатления! Огромная елка, подарки, хороводы с Дедом Морозом и Снегуркой, глаза у нас, детишек из Белоруссии, разбегаются, а тем временем по второму этажу залы, по галерее с колоннадой, проходят товарищи Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович и приветливо машут нам, детям. Подумайте!

Сам Сталин не поленился выйти к ребятам из разных союзных республик (а среди нас были дети из Туркменистана, из Молдавии, из Сибири и с Кавказа) и поприветствовать их. Он мог бы вместо себя послать кого-нибудь попроще, но Сталин понимал, что таким образом ему будет легче формировать мышление советского человека. И ведь сформировали, если я, проводя с вами занятия по введению в языкознание, все время вспоминаю о встрече с самим Сталиным. И не потому, что я хочу обелить товарища Сталина и защитить его от критики, да он в этом и не нуждается, а потому, что в его трудах замечательно раскрыта связь языка с мышлением.

Есть ли здесь связь со сталинскими статьями «относительно языкознания»? Конечно, есть! Как бы ни пытались критиковать Сталина за его языковедческие труды, никто не сумел их опровергнуть (см., например, работы членкора АН СССР Б.А. Серебрянникова). И вообще, это единственная серьезная работа классика марксизма по вопросам языкознания. Ни у Маркса с Энгельсом, ни у Ленина таких работ, как у Сталина, нет. Придирались к мелочам: «курско-орловский говор» как основа современного русского языка! Да может, он и существовал когда-то, только мы не помним. А вот ученые начнут глубоко изучать говоры, вплоть до отдельной деревни (как мы с открытием Акчима! – мировое событие в филологической науке, между прочим!), и поймут, что в развитии языка всё зависит от народных говоров. Сталин это понимал, как никто. Он верил в силы народа. А такие, как Кондаков, никогда не верили.

Я и студентам все говорила: вот вы не верите, а скоро нормой русского литературного языка станет диалектная норма, а не наоборот. Вам смешно, когда говорят: «радиво», «какава»? А русский язык не терпит зияний, и такое произношение совершенно естественно; оно и победит в народном употреблении. Вы думаете, когда простые люди говорят про «кофе»: «оно», – это неправильно? Сейчас неправильно, а скоро будет правильно! «Море» – «оно», «горе» – «оно», «поле» – «оно» и т. д., а почему же «кофе» должно быть «он»? Народное сознание не терпит такого издевательства над языком. И пройдет совсем-

совсем немного времени, и мы с вами увидим, как «кофе» станет существительным среднего рода.

Вам кажется странной частица «дак», очень распространенная в северных говорах? А она универсальная. Как никакая другая. Она означает в одних случаях союз «и», в других – союзы «а» или «но», в третьих – она указывает на последовательность, когда одно следует из другого: «Дак вон оно чё!», в четвертых – смыкается с функцией согласия («да» или «так»). Язык устроен экономно и разумно, и скоро мы все будем в разных смыслах употреблять народное слово «дак».

То же произойдет и со склонениями. Мы записали в деревне Акчим: «Я иду с дедушк*ом* домой». Вы можете сказать, что неправильно, это нарушение современной литературной нормы. Но вы же скажете: «с мужик*ом*», «с ямщик*ом*», «с кузнец*ом*», «с внуком», «с Маркс*ом*»... Или, скажем, «с петушк*ом*»! Вот она, норма – окончание «-ом». А «с дедушк*ой*» – это как раз нарушение нормы (ср.: «с девушк*ой*» – это норма женского рода). И скоро все мы будем, будем говорить, вслед за никому не известным акчимским мальчишкой: «с дедушк*ом*», «с мальчишк*ом*», «с Ленин*ом*», «со Сталин*ом*».

Тоже будет и с семантикой. Сегодня мы смеемся над теми, кто считает, что «свинья» и «свинец» – однокоренные слова; называем это «народной этимологией». И правильно: это народная этимология. Но кто сказал, что народная этимология абсурдна? Что она противостоит науке? Сегодня нам кажется, что смысл этих слов различный. Но, если вдуматься, уже и сегодня понятно то общее, что фиксирует народное сознание в словах «свинья» и «свинец», – это «тяжесть», «грузность». Свинья – грузное, тяжелое животное (мы говорим: «толстый, как свинья») и свинец – тяжелый металл (грузила на рыбалку делают из свинца). И постепенно ассоциативная связь между словами вытеснится смысловой, содержательной. И люди будут считать эти слова однокоренными, потому что у них один корень, один смысл. Народная этимология победит, потому что она-то и есть подлинная, глубинная этимология языка, тесно связанная с народным сознанием.

А Игорь не чувствует народной этимологии. Он живет в отрыве от народа. Для него что «Корчагин», что «Кондаков» одно и то же. А семантика разная. Одно дело – «корчага», простая и широко применяющаяся в народе посуда, символ вечности народного быта и его ценностей; другое дело – «кондак», что-то церковное, давно вышедшее из обихода советских людей, – слово, забытое трудовыми массами. Спроси сегодняшнего студента: что такое «кондак» – никто не ответит или ответит невпопад; а про «корчагу» каждый скажет своими словами, что это и для чего. Например, корчага с картошкой. Так и с Корчагиным. Этот персонаж давно стал народным, он уже почти оторвался от Островского и его романа «Как закалялась сталь», зажил самостоятельной жизнью, – не как книжный, а как жизненный герой. Игорь и не заметил, что Кондакова окружают живые Корчагины. Замахнуться на Корчагина – это все равно что замахнуться на народ.

А далекие от народа «кондаковы» живут своей книжной, никчемной жизнью, и никто никогда не вспомнит о них.

Как я слышала, в своем скандальном выступлении против Корчагина (вот оно, стремление к «дешевой популярности», столь распространенное среди современной молодежи) Игорь все время ссылался на, как он сказал, «пермского классика» – Виктора Астафьева. Вот уж «классик», я бы сказала! Да он и не писатель вовсе. Его писателем объявили Комина с Воловинским. «Пермским писателем». «Представителем пермской литературы». На самом деле, – неграмотный мужик, да еще с антисоветскими настроениями. При любом удобном случае Сталина «поливает». Наверное, из «детей врагов народа». Недаром сам Астафьев воспитывался в детском доме Игарки. Здесь случайностей не бывает. А сам все время подделывается, что «из народа».

Некоторые говорят, что Астафьев хорошо владеет «диалектным языком». Это только потому так считают, что не изучали по-настоящему говоров, таких, как, например, говор деревни Акчим. На самом деле Астафьев не знает пермского диалекта и совсем его не изучал. Весь язык у Астафьева такой деланный, искусственный, в нем намешаны без разбору разные

говоры (и уральские, и сибирские, и северно-русские), и только у человека, далекого от народа, может создаться впечатление, что Астафьев сам из народа, что его голосом говорит сам народ. Да народ не говорит – ни так, как Астафьев пишет, ни того, что он пишет.

Вот Кондаков в своем выступлении цитирует слова Астафьева: «Во-первых, не думайте, будто можно создать второго Павку Корчагина, как вы мне все время предлагаете. Ни второго, ни третьего Корчагина, ни второго Пьера Безухова, ни пятого Раскольниковова не бывает. Такие герои появляются в литературе только раз. Но, во-вторых, если допустить, что сейчас, в наши дни, появится новый Павка Корчагин, да еще придет к вам, в обком, – то вы даже не представляете, чем бы это закончилось. Такой, как Корчагин, с вами даже разговаривать не будет. Он только вникнет в ваши речи – и сразу же табуреткой по вашим башкам! И все с вами дела! Вот вам – второй Павел Корчагин». – И это Астафьев думает, что так судит народ? А Игорь считает, что устами Астафьева говорит народ? Все это клевета на народ. Народ – это тот же Корчагин; он не думает, а действует и живет по интуиции, по своему политическому чутью.

И еще. Игорь выразил сомнение, распространенное в диссидентской среде, ему, конечно, любезной, что Корчагина создал вовсе не Николай Островский, а за Островского писали какие-то заказные комсомольские журналисты. Островский будто бы лежал, как труп, и только письма подписывал – Сталину, Калинин, друзьям-комсомольцам, знакомым писателям. А тем временем его коллеги по писательскому цеху дописывали за него его романы – один за другим. Уже потому, как был популярен Корчагин у читателей в наше время, да и сегодня тоже, – видно, что это все досужие слухи. Корчагин – плоть от плоти народа, – это автобиографический образ Николая Островского, созданный им самим, а все фантазии Астафьева, который будто бы даже называл подлинных авторов романа «Как закалялась сталь» – Марка Колосова и Анну Караваеву, – чистый вымысел! И вымысел этот небескорыстен: Астафьев преследует дурные цели – скомпрометировать лучшего советского писателя, исказить облик настоящего советского человека, отображенный в

Павле Корчагине, а главное – оглушить советский народ, будто бы на протяжении полувека не отличающий истину от лжи, подлинное от подделки, героя от обывателя, миф от реальности. А такие, как Кондаков, идут у него на поводу.

Я знаю Кондакова не только по занятиям диалектологией. Дважды он, по поручению партбюро филфака, возглавлял редколлегию факультетской стенгазеты «Горьковец» – как студенческий редактор (и дважды его снимали за идейные ошибки). А я, как член партбюро, была редактором стенгазеты со стороны профессорско-преподавательского состава. Конечно, не за всем мне удавалось уследить, тем более что стенгазета почему-то всегда выпускалась ночью, когда все преподаватели, включая меня, спали. Я думаю, это делалось нарочно, чтобы «протасить» в печать что-нибудь запрещенное или сомнительное. В результате такого «ночного пиратства» под утро газета вывешивалась практически никем из контролирующих инстанций не прочитанной. Бывало, утром рано мне звонят и сообщают, что вышел новый «Горьковец», и я срочно ехала в университет – читать газету.

«Горьковец» во времена Кондакова выходил огромных размеров. Помнится, самым чудовищным по размерам был новогодний номер, выпущенный в канун Нового 1971 года. Он был размером в 24 ватманских листа, склеенных попарно длинной стороной, и, таким образом, был шириной более метра, а длиной – без малого метров 15. Этой длины как раз еле-еле хватало, чтобы занять простенок на первом этаже в корпусе 8-го общежития от входа до 1-й аудитории. Читать это было трудно и тяжело, причем тяжело не только физически, но и морально: сколько же в людях накапливается черной гадости, которой они рады поделиться с окружающими! Мы, честные и принципиальные партийцы (Бельский, Веселухина, Власов, Яшенькина, Адливанкин и я, Скитова) всегда стояли и всегда будем стоять на страже интересов нашей великой Родины, нашей родной Коммунистической партии.

На то, чтобы прочесть все материалы каждого номера, уходило 2 – 3 часа, а иногда и больше. Именно такое время висела стенгазета, после чего неукоснительно снималась, по реше-

нию партбюро (т.е. моему), поскольку в ней практически всегда находились хотя бы 1 – 2, а чаще 4 – 5 материалов безыдейного или идейно-порочного содержания. Разве это дело, чтобы стенгазета висела перед глазами читателей всего несколько часов, а потом ликвидировалась. А получалось всегда именно так, потому что студенческий редактор проявлял политическую близорукость, если не прямое вредительство.

В одних случаях это были проблемные статьи (многие из которых писал сам Кондаков или кто-то из его доверенных лиц). Например, сразу же после пресловутого выступления Кондакова на комсомольской конференции в стенгазете появилась анонимная передовая статья с вырезанным из какого-то журнала заголовком «В чем ошибка Игоря?», написанная, несомненно, самим редактором. В ней подробно пересказывалось выступление Кондакова (для распространения тем, кто не слышал этого выступления «вживую»), сопровождаемое ироническим комментарием по поводу других выступлений, оппозиционных автору. В заключение автор приглашал читателей откликнуться на свои сомнительные идеи и принять участие в дальнейшей дискуссии. Вряд ли имело место продолжение дискуссии о месте Корчагина в современной жизни (мы бы этого просто не допустили), но само желание все время дискутировать вокруг бесспорных мировоззренческих и политических истин, составляющих основу советского строя и образа жизни, были налицо. Кругом скепсис, неверие в идеалы.

Другой распространенный жанр – двусмысленные юморески, в духе модной в то время среди студентов и преподавателей 16-й страницы «Литературной газеты» и ее подозрительной рубрики «12 стульев», почти каждая из которых была «с подвохом» (скрытыми намеками, аллегориями, прозрачными аллюзиями на факультетские и университетские дела). Здесь были и попытки продолжать «роман века» «людоведа и душелюба» Евгения Сазонова «Бурный поток», пародировавший один из лучших романов последнего времени – «Вечный зов» Анатолия Иванова, и просто «хохмы» – в духе пошлых анекдотов про Чапаева, и злые сатирические экскурсы в университетскую жизнь филологов. Запомнилась, например, рождественская сказка про некоего до-



цента Ягину Бабину, которая с явным недовольством читает бездарные студенческие работы, комментирует их и, поставив «неуды» всем, садится на швабру и вылетает почему-то в форточку. Форточка, конечно, была совершенно ни при чем. Но образ доцента мне показался очень знакомым, я даже, кажется, догадалась, кто имелся в виду. Особенно меня порадовала фраза, которую повторяет эта Ягина: «Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы ничего не знать»<sup>23</sup>. Мне подумалось, что очень многие наши преподаватели живут по такому принципу и вполне могли бы подписаться под этим девизом. Хорошо бы на эту тему провести партийное собрание и разобрать поведение таких «коммунистов», как Комина, Лейтес, Мурзин, Сахарный и иже с ними.

Начиная с какого-то из номеров в конце 1970 года, появилась рубрика «За рубежом», с демонстративным прозападным контекстом. Заглавие было написано латинскими буквами: «*Za Ruberjon*», с явным намеком на буржуазный запад. В рубрике делался обзор стенгазет других факультетов («*Golos istorika*», «*Nedra*» и др.), хотя читателя не покидало ощущение, что все это ироническое повествование, переполненное незаслуженными насмешками над публикациями соседей по университету, представляет собой, во-первых, пародию на анализ международной политики в официальных советских газетах, а во-вторых, смутные намеки на отношения Советского Союза и Запада, с их, будто бы, взаимным непониманием и отталкиванием. На полгазеты тянулись схематично изображенные железнодорожные пути, по которым резво бежал маленький паровозик с прицепленными вагончиками, символизовавший стремление уехать из СССР.

Самыми невинными были рецензии на вышедшие филологические книги. Но и здесь сам подбор имен был очень субъективным и тенденциозным. Почти постоянно рецензировались

---

<sup>23</sup> «Ягина Бабина» – инверсия Бабы Яги. Прототипами доцента могли послужить М.А. Ганина, сама Ф.Л. Скитова и, возможно, Р.Ф. Яшенькина. Фраза, которой восхищалась Скитова, – пародийная аллюзия на слова Сократа, в советское время приписывавшиеся Ленину: «Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше».

Д. Лихачев, Ю. Лотман, М. Бахтин, Н. Гей, А. Бочаров, Л. Аннинский, В. Лакшин и др., а идейно выдержанные книги – В. Ермилов, М. Храпченко, А. Метченко, Б. Сучков, Ю. Барабаш, А. Дымшиц, В. Новиков, Л. Якименко и др. почему-то оставались в стороне. Весь этот выбор свидетельствовал о нездоровом идеологическом крене, преобладавшем в стенгазете – под влиянием, несомненно, Кондакова и стоявших за ним Коминой, Лейтес, Васильевой, Спивак.

Не могу сказать, что моей критике подвергались одни письменные тексты, хотя основное идеологическое содержание, конечно, было сосредоточено в них. Оформление газеты, как правило, было тоже отвратительным, а подчас и ужасным. Один модернизм и абстракционизм. На этом поприще подвизался один крайне вредный молодой человек, почитавший себя великим художником, в то время как он вообще не умел рисовать, а лишь выдавал свою жалкую мазню за подражание рисункам модерниста Пикассо, кстати, довольно похоже. Это был некто Анатолий Королев<sup>24</sup>, также студент нашего факультета, хулиган и бандит. У меня все время, когда я глядела на него, было ощущение, что однажды ночью он придет ко мне во двор и кирпичами побьет мне окна. Из-за его модернистского «оформления» газету также приходилось снимать досрочно.

Когда мы во второй раз снимали Кондакова с должности студенческого редактора стенгазеты (первый раз он был редактором в 1968 году и был снят за ослабление бдительности; во второй раз – уже в 1971 году, вскоре после его «громкого» выступления на конференции, он на заседании партбюро филфака, сломленный градом обвинений, заявил себе в оправдание: «Но ведь в день, когда вывешивается газета, около нее собираются люди с разных факультетов и толпятся вокруг нее, читая, пока

---

<sup>24</sup> Королев Анатолий Васильевич – современный писатель – авангардист и постмодернист, автор многих романов, повестей, пьес, эссе, переведенных на разные языки, лауреат международных премий. Член Союза российских писателей и Пен-клуба. Живет в Москве. В описываемое время – студент-старшекурсник, учившийся на год старше И.В. Кондакова. Своими рисунками иллюстрировал брошюру Л.В. Сахарного «Язык мой – друг мой».

она висит», – я ему ответила, почти на крике: «Да если бы вместо газеты вы вывесили одни антисоветские лозунги, как это делали хулиганы-студенты в Чехословакии в 1968 году, – люди бы тоже собирались и с восторгом читали бы написанное!». Разница лишь в том, что Кондаков и К° искусно маскировали такое же содержание в своих текстах – устных и письменных, действуя исподтишка, а те молодчики действовали открыто, а значит, более честно.

### **Копысова Э.С.**

Я не сразу поняла, что происходит на университетской отчетно-выборной комсомольской конференции, задействованной весной 1971 года. Я присутствовала на ней по должности – как секретарь Пермского обкома ВЛКСМ (принцип демократического централизма, помните?). Приготовилась скучать, как всегда приходится на больших молодежных мероприятиях, «заорганизованных» до предела. Обычно все выступающие заранее согласованы, тексты выступлений все написаны; все по очереди выходят на трибуну и зачитывают свои речи по бумажке. Поначалу все так и складывалось. Юра Антонов выступил с отчетным докладом, составленным как положено: обзор достижений, критика недостатков, обязательства и планы на будущее. Начались прения.

Вдруг, чуть ли не сразу после Юриного доклада, выходит на трибуну парнишка, задорный такой, в очках, с усиками, типичный зубрила, и начинает... (Я потом узнала, что это и есть Кондаков). Слушаю и никак не могу взять в толк, к чему он клонит. Говорит без текста, явно импровизирует на ходу. Сначала он спросил аудиторию: – Почему нас все время зовут назад, в 20-е годы? История, мол, не движется же в обратном направлении. Да и что там, в 20-х годах? Разруха, война, голод, – тяжелые испытания народа, а вместе с ним и комсомола. Гражданская война. Разве это наш современный идеал? Разве сегодня мы – «комсомольцы-добровольцы»? Почему же мы должны оглядываться на прошлое, а не смотреть в будущее? А мы, выходит, идем вперед, повернув голову назад!

– Вот, к примеру, Павел Корчагин! (я насторожилась: Николай Островский – лауреат Премии Ленинского комсомола, а Павка Корчагин – извечный образец для подражания у советской молодежи: этот Кондаков покушается на «святое» для нас, комсомольцев). – Когда он оказался прикованным к постели, он был в таком отчаянии, что «посмотрел в дуло револьвера». А всё почему? Корчагину (да и самому Островскому) казалось невозможным продолжать жизнь вне партийной и комсомольской освобожденной работы! Ведь они оба имели только эту специальность: они оба были профессиональными партийно-комсомольскими работниками! И лишь постепенно – и Островский, и его герой Корчагин поняли, что выполнять ответственную партийную и комсомольскую работу они призваны и могут – как писатели, «инженеры человеческих душ». Осознание этого и вернуло их к жизни в 20-е годы.

– Совсем другое дело – наше время, – продолжает с трибуны Кондаков. – Во вчерашней «Комсомольской правде» (он достает вырезку из газеты) мы читаем о московском философе Ракитове (или Ракитине, точно не помню). Так вот, оказывается, этот Ракитов, страдающий такой же точно болезнью, как Островский и Корчагин (сегодня она излечима), ходит в корсете, читает лекции, защитил диссертацию по философии, получил второе высшее – математическое – образование, увлекается музыкой, работает над докторской; преодолевая страдания, читает публичные лекции в вузе, работает в НИИ... И не думает кончать жизнь самоубийством! В 70-е годы молодой человек может жить без общественной работы, может жить интересами своей профессии! А Корчагин (и вместе с ним Н. Островский) – не могли. Вот в чем разница 20-х и 70-х годов... Вот почему мы не хотим возвращаться в 20-е годы.

(Тут меня осенило: думаю, ах ты, б...! Это значит, ты «тянешь» на нас, освобожденных партийных и комсомольских работников! Мешают они тебе! Думаешь, мы – паразиты какие-то «на шее трудового народа»? Да без нас, партийных и комсомольских активистов, если хочешь знать, интеллигент ты вонючий, очкарик поганый, вся жизнь в стране остановится. Из-за таких, как ты, между прочим! Всё, что ни происходит в стране, –

выплавка чугуна и стали, производство станков и автомобилей, добыча угля и нефти, поднятие целины, развитие культуры и идеологии – делается только благодаря нам, партийцам и комсомольским вожакам! Мы занимаем командные высоты, всеми процессами руководим – организационно, идейно и политически, учитываем и контролируем полученные результаты («социализм, говорил Ленин, – это учет и контроль»), организуем массы на свершение трудовых подвигов... Думаешь без нас обойтись? Ты не первый, кто это пытался, да все безуспешно. На самом деле мы – огромная сила, и с ней не справиться поодиночке никому. Да я тебе уже сегодня покажу, на что мы нужны и способны и что мы можем сделать с тобой, выскочка университетский!).

А он себе продолжает: – Приведу один пример. Наша комсомольская организация – филологического факультета – в канун 100-летия со дня рождения Ленина выступила с инициативой: «Каждый студент – лектор!». Мы поставили перед собой задачу: чтобы каждый студент филфака выступил с лекцией, на любую тему, в каком-нибудь коллективе – в честь юбилея Ленина – и тем самым подтвердил свою профессиональную компетентность. Ведь кем бы потом ни работал выпускник филфака – журналистом или театральным работником, преподавателем вуза или школьным учителем, даже писателем, – ему всегда пригодится умение выступать перед аудиторией – коллективом читателей, слушателей, учащихся.

И вот студенты филологического, все до единого, в канун ленинского юбилея вышли с лекциями населению. Кто-то пришел на завод в цех, кто-то – в магазин или ателье, кто-то – в таксопарк, кинотеатр, столовую, кто-то – просто в школу... Одни говорили о международном положении, другие о современном кино, о новинках литературы и искусства, о воспитании в семье и школе, – словом, каждому нашлось дело по душе. Ни один студент не отказался от участия в этом мероприятии, потому что это была не столько общественная акция, сколько проверка своих профессиональных возможностей на практике. И, кроме того – общественный эффект: все лекторы-комсомольцы почувствовали, что их акция была нужна людям. Горели глаза слушателей,

звучали слова благодарности... А сколько благодарностей мы получили на факультете за эти студенческие лекции! Нам писали благодарственные письма, звонили – и официальные лица, руководители предприятий и учреждений, и простые слушатели... Такой эффект комсомольской активности и не снился Павлу Корчагину!

(Ах, вот к чему клонил этот студентик! К тому, что организовать любое масштабное мероприятие они могут без нашей помощи – райкомов, горкомов, обкомов, наших инструкторов, заведующих отделами, секретарей и т. д. Так, пожалуй, этот недоносок может договориться и до того, что не нужны никакие комсомольские и партийные органы – вплоть до ЦК КПСС! Это же чистая антисоветчина! «Советы без большевиков!»).

Не выдержав, я рванулась в бой. Вскоре мне предоставили слово (я попросила Юру Антонова пропустить меня вперед), и я, со всем моим комсомольским задором, ударила из всех стволов! Во-первых, я сказала, что имя Павла Корчагина – святое для каждого комсомольца, для каждого советского человека. И пачкать его, порочить никому не дозволено, тем более какому-то недоучившемуся студенту. Ведь одно то, что он осмелился опровергать корчагинские идеалы советской молодежи, уже показатель того, что он плохо изучал это замечательное произведение, которое почти полвека освещает наш славный путь, у которого миллионы восторженных читателей и почитателей во всем мире! Кому могла прийти в голову абсурднейшая мысль, будто Корчагин сегодня устарел? Только больному, озлобленному и отсталому представителю нашей молодежи. Корчагин – это не миф, а подлинная реальность. Лучшие качества комсомольца и советского человека проявились в нем: энтузиазм, убежденность, самоотверженность, мужество и героизм настоящего большевика. «Нет таких крепостей, которые бы не сумели взять большевики»<sup>25</sup>, – эти слова стали девизом Павла Корчагина и всех корчагинцев, которые следовали за ним и следуют сегодня путем побед.

---

<sup>25</sup> Несколько перефразированные слова Сталина из его речи на съезде молодежи, процитированные в романе «Как закалялась сталь».

Во-вторых, я остановилась на роли комсомольских вожakov, наследников Корчагина, подлинных «маяков» нашего общества. Самодеятельность в общественной работе – это и есть худший непрофессионализм. Человек становится гражданином отнюдь не благодаря своей профессии, а часто – вопреки. Профессия – не главное. – Вспомните передовых рабочих, которые осваивают смежные профессии. А партийный и комсомольский руководитель – это высшая профессия. Куда партия направит своего члена на работу – там он и на своем месте. Партия сказала: «надо», комсомол ответил: «есть».

Партийный или комсомольский руководитель прирожден руководить. Не так уж важно, чем: он может руководить производством в цеху, армейским подразделением, сельхозбригадой, учебным заведением, учреждением культуры, строительным отрядом, – и везде, куда его поставила партия, он справляется со своим делом. Он должен справляться с любым делом! Потому что он – *ответственный* политический работник; он *отвечает* за порученное ему дело, *отвечает* за советский народ, за страну, нашу социалистическую Родину; в нем всегда говорит идейная убежденность, трезвая политическая оценка реальности. Как комсомол без руководящей роли партии, так и рядовые комсомольцы – без руководящей роли аппарата. На то мы и руководствуемся ленинским принципом демократического централизма.

А такие, как Кондаков, посягают на самые основы советского строя, на единство партии и народа, на руководящую роль партии, на роль ответственных партийных и комсомольских работников, которые руководят (и руководят хорошо!) всеми социальными, политическими, экономическими и идеологическими процессами в нашей стране. Договориться до того, что сегодня освобожденные комсомольские работники, эти, так сказать, современные Корчагины, уже не нужны, – то же самое, если бы кто-то осмелился сказать, что комсомол устарел, что Коммунистическая партия не должна выполнять свою руководящую роль в стране. Ведь освобожденные комсомольские работники, в своем большинстве, – все члены партии. И за свою политическую работу мы несем ответственность перед партией и народом.

Выступление Кондакова на вашей конференции является воплощением нигилистических и авантюристических настроений, к сожалению, еще бытующих иногда среди некоторых отсталых представителей молодежи. Критика славной истории комсомола, начинавшейся в 20-е годы, насмешки над одной из наиболее ярких страниц нашей комсомольской славы – героическим подвигом Корчагина-Островского, глумление над талантливой и великой книгой «Как закалялась сталь», на которой учились несколько поколений советской молодежи, миллионы советских людей и людей доброй воли во всем мире, – это суждение невежественного недоучки, идейно незрелого и воинственно аполитичного. Именно с этого начинается падение человека, его нравственная и политическая деградация.

Как допустила комсомольская организация университета, в которой вырос и воспитывался Кондаков, что в ее рядах завелся подобный нигилист? Как произошло, что в стенах Пермского университета, славного своими трудовыми, боевыми и научными традициями, свил гнездо такой отщепенец, как говорится, «Иван, не помнящий родства»? Не пора ли комсомольской организации вуза, известной своей принципиальностью и идейной выдержанностью, задуматься о пребывании в ее рядах человека, чьи мировоззренческие позиции и взгляды несовместимы с комсомолом?

После моего выступления, которое явилось поистине «гвоздем» конференции (мне об этом многие говорили в президиуме, а некоторые поддержали меня и с трибуны), конференция круто развернулась в нужном направлении. Многие выступающие – представители ректората, парткома университета, комитета комсомола прямо поддержали не только положения моего выступления, но и мое предложение: таким, как Кондаков, не место в комсомоле, раз он огульно охаивает его славную боевую историю и оплевывает путеводную звезду Ленинского комсомола – Павла Корчагина, подрывает основы идейно-политического и организационного единства советской молодежи. Были, правда, некоторые выступающие, которые поддержали Кондакова и его разлагающие идеи, что лишний раз подтвердило опасность



распространения подобных тенденций в студенческой среде, если их вовремя не пресекают.

В заключение конференции Юра Антонов почему-то снова предоставил слово Кондакову. Его появление на трибуне было встречено настоящей овацией. Он долго не мог начать свое второе выступление; впрочем, его никто особенно не слушал. Но получилась как бы конференция в рамках другой конференции: два доклада, две дискуссии, два заключительных слова. Тут я даже растерялась...

Но дальше произошло самое интересное. После завершения конференции «раздавали слонов». Кондакову досталось целых два! Оказывается, он был, во-первых, секретарем бюро ВЛКСМ филологического факультета, причем возглавлял комсомольскую организацию факультета целых два с лишним года. Во-вторых, он был отличником и Ленинским стипендиатом – целых три года подряд, и у него вообще в зачетке не было даже четверок! В-третьих, он оказался лауреатом конкурса по общественным наукам (чуть ли не единственным на область!). Грамоты и какие-то книжные дары ему вручались за первые два «достижения», а вручать лауреатский диплом – доверили мне.

Честно говоря, я поначалу растерялась, когда передо мной предстал все тот же самый очкарик со своей гнусной улыбочкой идейного диверсанта. Кондаков! В зале стоит гомерический смех. Все буквально катаются по полу от смеха. Я держу в руках этот проклятый диплом и спрашиваю «лауреата»: – А почему в зале так смеются? – А он, гад, мне тихонько так, исподтишка, злорадно, говорит: – А вот не надо было нам с Вами так остро дискутировать перед этим. А то вот Вы только что обличали меня за безыдейность, политические ошибки, философскую безграмотность, а теперь приходится вручать диплом победителя конкурса по общественным наукам, в незнании которых Вы меня так громко упрекали. Нелогично как-то! Одно с другим плохо согласуется... Зал и смеется.

Я прикусила губу. Диплом вручила, а села на место в президиуме – как побитая. Думаю, как же это так, такой облом... Выходит, я обзывала недоучкой и невеждой круглого отличника, да еще и лауреата конкурса молодых ученых. И доказывала

комсомольскому активисту, зачем нужны комсомольские активисты. Действительно, как-то глупо получилось. Сидела я как оплеванная, и вдруг меня осенило.

– Ну, Эля, – говорю я себе, – ты попала! – Смотри, как тебе подфартило. Ведь это же в жизни выпадает один раз из ста! – такая удача. Материал сам идет тебе в руки. Когда ты еще встретишь такой! И ты будешь действительно круглой душой, если не воспользуешься этим. Теперь партийная карьера тебе обеспечена. Шут с ним, с этим Кондаковым, хотя тот еще тип. Но куда смотрел университет? Где были ректорат, партком, профком, комитет комсомола? Ведь они же его сами выдвигали, поощряли, награждали – и... ничегошеньки за ним не замечали! А тут, под боком у руководства университета, зреет настоящая контрреволюция. Вот где ошибка так ошибка! Это уже не «досадное исключение», не «урод в семье», а прямо – колоссальный «провал в идейно-воспитательной работе среди студенческой молодежи»! Тут надо бить тревогу в областном масштабе.

Приехав поздно ночью домой, после университетско-комсомольского фуршета, я не стала ложиться спать, а села за свою машинку «Эрика» и, пока не забыла деталей, быстренько настрочила:

«Первому секретарю Пермского обкома ВЛКСМ,  
(Копия: Первому секретарю Пермского обкома КПСС,  
Копия: Начальнику КГБ по Пермской области)

#### ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Довожу до Вашего сведения...».

#### **Мурзин Л.Н.**

Мы с Риммой Васильевной Коминой пришли в партию сразу после разоблачений культа Сталина. Поэтому нас можно смело называть «детьми XX съезда». К сожалению, почти всю свою партийную жизнь нам пришлось сражаться со сталинистами, окопавшимися во всех структурах. Лейтес – та вступила в партию раньше, еще на фронте, а Леня Сахарный<sup>26</sup> к нам при-

---

<sup>26</sup> Сахарный Леонид Владимирович – доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Государственной публичной

соединился позже, приехав из Свердловска. Но все равно мы каждый раз оказывались в меньшинстве, а сталинисты, во главе со Скитовой, – в большинстве. На остальных коммунистов невозможно было положиться, – ни рыба ни мясо. Примыкали к большинству, и без того побеждавшему.

И у нас с Риммой созрел план: нужно обновлять парторганизацию, принимать молодежь, не задавленную «культом», с мозгами, не засоренными коммунистической демагогией. Расчет был на студентов, особенно тех, кого мы планировали взять в аспирантуру, которые бы оставались на кафедре. Одним из тех, на которого мы твердо рассчитывали, к кому присматривались, был Игорь Кондаков. Я вместе с ним, еще студентом первого курса, одно время ходил на занятия современной математикой; потом он выбыл, кажется из-за наложения занятий. Потом он ходил в мой структуралистский семинар, но, к сожалению, решил не специализироваться по лингвистике, о чем мы с Сахарным много жалели. Леня хотел, чтобы Кондаков пошел в психолингвистику, а я – в изучение деривационных моделей. Наши люди везде нужны: и в партии, и в науке. Главное переломить ситуацию в свою сторону!

Я, будучи секретарем парторганизации филфака, несколько раз поднимал вопрос о том, что секретаря комсомольского бюро, И. Кондакова, активного общественника и талантливого студента, нам нужно принять в партию. Игорь, отличник, идейно зрелый, способный к занятиям наукой, был, как никто, достоин быть принятым в ряды молодых коммунистов и оставленным при университете для продолжения занятий наукой. Однако сколько раз я ни поднимал этот вопрос, находились ярые противники. То резко «против» выступила Скитова (не знаю, уж чем он ей так досадил?), но она всегда против любого обновления; то ветеран Власов, который брюзжит по любому поводу (тому не понравилось, что Кондаков на экзамене у него ссылался на «Русское именное словоизменение» А. Зализняка, которое

---

библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, по совместительству профессор Ленинградского университета, специалист по психолингвистике и словообразованию.

считал структуралистским); то Бельский, назвавший Кондакова диссидентом и ревизионистом (страшные обвинения для студента), они всегда выступают дружным дуэтом с Яшенькиной; то Адливанкин и Веселухина, – те совсем непонятно, почему, – наверное, как все вышеназванные, заодно. Наконец, возражал и партком, в лице Русейкиной (ссылаясь на совершенно секретную информацию о Кондакове из органов); против был и обком, в лице вездесущего П.И. Кожевникова. Зато – как объявить выговор или снять с должности – они всегда «за». Бдеть – их удел.

Симпатичный, открытый, доверчивый, пожалуй, даже слишком, Игорь все время попадал в трудные ситуации. Одна из них, даже две, были связаны с так называемым «делом Кондакова», произведшим много шума. Про одну, связанную с проблемой современного мифотворчества, я мало что знаю. Какая-то его студенческая статья, не опубликованная, была отрецензирована Бельским, который ударил в набат по поводу ревизионизма. По этому поводу на факультете ходил анекдот (мне его пересказал Леня Сахарный, больше общавшийся со студентами – в связи со смотрами художественной самодеятельности, которые он проводил на факультете):

*«Декан (на заседании факультетского совета):*

*– Товарищи! Я пригласил вас, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие: у нас на факультете завелся ревизионист!*

*Все:*

*– Как – ревизионист? Где – ревизионист?*

*Декан:*

*– Ревизионист, да еще с секретным предписанием из ЦРУ».*

Этот анекдот был очень похож на окружавшую нас реальность. Постоянная бдительность, вечный алармизм по поводу «врагов», «идеологических диверсантов», «диссидентов» и т. п. Было ощущение, что те, кто не мог придумать, чем ему заняться в науке, в качестве компенсации раздували шум: «Пожар! Пожар!». И изо всех сил принимались его тушить. Какая уж тут наука: нужно спасти гибнущую идеологию!

Подобное произошло и на злополучной комсомольской конференции, на которой я присутствовал, так сказать, по долж-

ности, – как секретарь (пока еще секретарь!) парторганизации факультета. Никто не ожидал случившегося. Игорь вышел на трибуну, свободный, раскованный, оживленный. Говорил без бумажки – ярко, иронично, даже насмешливо – по отношению к тому, о чем говорил. Это, я думаю, всех и раздражило. Студенты в зале радовались как дети каждой озвученной Игорем мысли и шумно выражали свой восторг. Напротив, президиум мрачнел с каждой сказанной фразой.

Сначала Игорь высказал бесспорную мысль: нельзя идти вперед, все время ориентируясь назад, в 20-е годы, нельзя жить задачами прошлых десятилетий, когда есть современность; каждое время диктует свои проблемы. На примере своего (нашего) факультета он довольно прозрачно (и убедительно) показал, почему для филологов профессиональные проблемы оказываются важнее идеологических и почему студенты так охотно откликнулись на призыв – выйти на чтение лекций. Все складывалось вполне прилично, но Игорь в полемическом азарте «перегнул палку»: привел в пример Павла Корчагина. Это была первая его ошибка. Речь шла о том, что, по состоянию здоровья лишившись политической работы – партийной и комсомольской, – Корчагин (а в его лице и сам Островский) оказались в жизненном тупике, из которого «светил» один выход – самоубийство. Писательство, понимаемое как общественная работа, примирило легендарных комсомольских лидеров с жизнью.

Понятно, что в современных условиях ни один комсомольский или партийный лидер не сталкивается с такой дилеммой, и нелепо предположить, что кто-то из комсомольцев пойдет по такому максималистскому пути. Это понимали все – и в зале, и в президиуме. Однако поставленный так остро вопрос всех задел за живое. Представители обкома, парткома, ректората почувствовали себя задетыми лично, и все стали выступать наперегонки, доказывая друг другу, что трогать Корчагина нельзя, хотя было ясно, что Корчагин, да и роман Островского, их волнует меньше всего. Кондакова стали «топить» со всех сторон. Ситуацию накаляло еще то, что актовый зал, наполненный рядовыми делегатами, однозначно поддерживал Игоря и был настроен против правящей бюрократии, а позицию президиума не

принимал тем очевиднее, чем яростнее те выступали против. В зале часто вспыхивал смех; ораторов, выступавших против Игоря, «захлопывали», они еще больше ожесточались и выступали все более резко, требуя «крови».

Вторая тактическая ошибка Игоря, заключалась в упоминании имени Виктора Астафьева, который действовал на местную номенклатуру как красная тряпка на быка. А Игорь еще прямо связал ненавистного Астафьеву Корчагина с астафьевскими высказываниями о Пермском обкоме, который он считал рассадником безделья, демагогии и словоблудия. Они платили ему ответной ненавистью. Таким образом, Игорь дважды противопоставил себя – власти – и как критик ее идеологии, и как оппонент ее практики.

В перерыве мы с Леной Сахарным подошли к Игорю. Он был радостно возбужден и, казалось, не замечал надвигающейся катастрофы. Я сказал Игорю: – Вы не чувствуете, как они Вас «топят»? Они на Вас «вешают» политическое дело; они обвиняют Вас в том, что Вы сбрасываете с «парохода современности» Павку Корчагина, что Вы нигилистически относитесь к советской истории, что Вы замахнулись на обкомовский аппарат. Вас «забьют» насмерть. Нужно как-то переломить ситуацию. А ситуация очень опасная! Опасная и для Вас лично, и для факультета в целом. Немедленно подойдите к председательствующему или к Юрию Антонову и попросите предоставить Вам «слово для справки», перед заключительным словом секретаря. Слово для справки – это 3 минуты, не больше. Вы только скажете, что Вас неправильно поняли, что Вы ничего не имеете против освобожденных комсомольских работников, что Вы не покушаетесь на Павку Корчагина, что Вы просто хотели рассказать об опыте своего факультета во время подготовки к юбилею Ленина.

Игорь так и поступил. Слово в слово он повторил то, что придумали мы с Леной. Но мы не рассчитали протестных настроений зала. Вторичное появление Кондакова на трибуне вызвало настоящую овацию. Каждая фраза, независимо от ее содержания, встречалась бурными аплодисментами и одобрительными криками. Со стороны можно было подумать, что Игорь

произносит заключительное слово после дискуссии по своему докладу. Вторую овацию Игорю устроили, когда его награждали за активную работу в комсомоле. Затем вручали ему Диплом лауреата Всесоюзного конкурса по общественным наукам. И снова – рукоплескания, шум... Игорь сиял и выглядел победителем. Но это была, увы, Пиррова победа. Овации в этой ситуации – нехороший признак! Столь демонстративная поддержка зала в глазах президиума – приговор Игорю. Они так просто его успеха не оставят.

Предчувствия меня не обманули. После «триумфа» Игоря на факультет обрушились репрессии. Парторганизацию факультета возглавил сначала Бельский, а когда он стал деканом вместо Адливанкина, секретарем партбюро стала К.В. Веселухина. Снова досталось Коминой. Я «схлопотал» партийный выговор, и наше с Р.В. Коминой положение на факультете сильно пошатнулось. Сталинисты укрепили свои и без того сильные позиции и двинулись в наступление, а «дело Кондакова» стало «лакумовой бумажкой» общего кризиса.

Кондакова услали в деревню «на перевоспитание», и он больше не вернулся в Пермский университет. Так мы потеряли способного молодого ученого, к сожалению, навсегда.

### **Адливанкин С.Ю.**

Мне тоже отчасти пришлось «отдуваться» за «дело Кондакова», хотя я был к нему совершенно непричастен. Статью Кондакова я не читал, – только заключение А.А. Бельского, вполне, впрочем, убедительное. Выступление его на конференции слышал, хотя столкнулся с разными мнениями на этот счет. Главное, конечно, как к этому отнеслись «наверху». А там, как я знаю, Кондаковым были очень недовольны. Собственно, «дело Кондакова» послужило одной из причин моего отстранения с должности декана и назначения на нее Бельского, который вовремя «забил тревогу» по этому поводу. А чем Бельский был лучше как декан, по сравнению со мной? Ничем. Однако выговор получил я, а не он. Как будто это я недоглядел за Кондаковым. Это Комина за ним недоглядела, а не я.

Под конец своего пребывания на должности декана мне довелось «приложить руку» к этому делу. Вышло так, что на

пресловутой комсомольской конференции, на которой Кондаков «прославился» своим выступлением против Павла Корчагина (наш «Герострат!»), ему вручили Диплом – как лауреату второго тура Всесоюзного конкурса студенческих работ по общественным наукам, посвященного 100-летию со дня рождения Ленина за подписью Министра высшего и среднего специального образования академика Столетова. Вручить-то вручили, а к грамоте была приложена – за той же подписью – рекомендация в аспирантуру, которая была передана декану (мне) для вручения победителю – уже в менее торжественной обстановке.

Однако после кондаковского выступления на конференции «пошли круги», и ситуация осложнилась. Мне на следующий же день позвонил вездесущий Вилен Сергеевич Крылов, наш куратор из органов, и сообщил, что «наверху» есть «мнение», что рекомендацию Кондакову нельзя выдавать. Будто бы есть опасность, что он ею воспользуется и останется в аспирантуре университета. По мне, пускай бы оставался у нас в аспирантуре! Парень способный, старославянский язык отвечал мне очень хорошо (а мне трудно сдавать). Эпизод с Корчагиным, я думаю, юношеская блажь, максимализм такой, по молодости у всех бывают такие завихрения. Оставили бы в аспирантуре, – ума бы набрался; старшие бы товарищи помогли понять, что к чему. Тот же Бельский, к примеру. И никаких хлопот с рекомендацией.

Между тем, в министерской грамоте черным по белому говорится, что к ней прилагается рекомендация в аспирантуру. Что делать? Было ясно, что Кондаков с минуты на минуту явится за рекомендацией. Крылов тоже не знает, как тут поступить. Позвонил я Павлу Ивановичу Кожевникову, курировавшему нас по партийной линии, благо, и раньше советовался с ним по трудным вопросам. Тот предложил гениальное решение. – Вы, говорит, «потеряйте» эту бумажку. За это ничего не будет. А когда претендент явится за своей рекомендацией, Вы ему выдайте другую: «Справку в том, что рекомендация Кондакову в аспирантуру действительно прилагалась к сему. Подпись и печать, как положено в официальном документе». – Я так и поступил. Здорово было придумано, ничего не скажешь. Я знаю, что и



Бельскому Кожевников посоветовал то же, но он, кажется, еще меньше рисковал, чем я: отказался с ним говорить на эту тему, и баста!

Признаюсь, за всю свою жизнь мне не приходилось составлять и выдавать подобных справок. Когда Кондаков пришел за справкой (а он действительно вскоре появился), я ему очень доброжелательно и торжественно вручил «Справку о справке», честь честью оформленную. Даже гербовую печать поставил. Поздравил, пожал руку. Внутренне смеюсь...

### **Живописцев В.П.**

Я уже почти десять лет слышал фамилию «Кондаков». Началось все с того, что не то в 1962, не то в 1963 году отец этого Кондакова был исключен из партии, снят с работы и вынужден уехать из Перми. Это было какое-то очень громкое дело, вызвавшее в городе большой резонанс. Не помню уж, что это было за дело, но из партии у нас просто так никого не исключают. Тот Кондаков, кстати, работал совместителем в нашем университете, на экономическом факультете, доцентом. Слава богу, что уехал. И вот теперь Кондаков-сын. Точнее, сыновья. Потому что вслед за Кондаковым И., не успел он закончить университет, прямо на тот же филфак поступил другой сын – Кондаков Б.<sup>27</sup>

В 1966 году эта фамилия «всплыла» в связи с зачислением студентов на филфак. Это был случай, когда золотому медалисту поставили двойку за сочинение без ошибок, а потом... исправили на пятерку, и он поступил в вуз сразу после устного экзамена по русскому и литературе. Из-за чего все это произошло, я не знаю, поскольку тогда еще не был ректором университета. Но мне говорили, что там была замешана какая-то политика, чуть ли не что-то связанное с «самиздатом»<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Кондаков Борис Вадимович – доктор филологических наук, профессор, декан филологического факультета и зав. кафедрой русской литературы Пермского государственного университета, брат И.В. Кондакова.

<sup>28</sup> Эпиграф к сочинению И. Кондакова «Образ человека будущего в современной советской литературе» был взят из самиздатовского варианта стихотворения «Наследники Сталина» Евг. Евтушенко. Прием-

Потом эта фамилия возникала при других обстоятельствах. То в факультетской стенгазете (редактором которой был тогда Кондаков) находили грубые идеологические ошибки, за которые он был дважды снят с должности редактора решением факультетского партбюро. То Кондаков пытался напечатать свою идейно незрелую и ошибочную статью в «Ученых записках», и только благодаря бдительности зав. кафедрой зарубежной литературы, а ныне и декана филфака проф. А.А. Бельского публикация была остановлена. Я помню, этот вопрос обсуждался на парткоме университета, куда поступил сигнал от коммуниста Бельского. Однако тогда дело не получило никакого развития, потому что за Кондакова почему-то вступился профессор В.В. Орлов, зав. кафедрой марксистско-ленинской философии и член нашего парткома. Бельский говорил, что статья Кондакова ошибочная, антимарксистская, а Орлов утверждал, что в ней нет никаких отступлений от марксизма и что статья интересная. Кажется, он даже предлагал Кондакову идти к нему в аспирантуру – изучать соотношение социальной и биологической форм материи. Кому было верить относительно верности марксизму – философу Орлову или филологу Бельскому? Оба доктора, профессора. Каждый, по-своему, убедителен. А ответа нет. В химии, к счастью, таких вопросов не встает.

И вот новая беда с этим Кондаковым. Юра Антонов, секретарь университетского комитета ВЛКСМ, «догадался» пригласить Кондакова на университетскую отчетно-выборную комсомольскую конференцию в качестве одного из докладчиков – якобы с целью «вызвать дискуссию». И пригласил – на свою и нашу голову! Тот там такое понес, – хоть святых выноси! И что освобожденные комсомольские работники не нужны, и что комсомол устарел, и что Павел Корчагин не является идеалом советской молодежи, и что 20-е годы нашей истории, когда в боях с белогвардейцами формировалась и закалялась Советская

---

ной комиссии показалось достаточным этого факта, чтобы оценить сочинение абитуриента отрицательно. Однако трудно было доказать, за что поставлена неудовлетворительная оценка золотому медалисту при отсутствии грамматических и содержательных ошибок – в случае неизбежной апелляции. И оценку срочно пересмотрели.

власть, не вызывают у студенческой молодежи интереса. При этом Кондаков ссылаясь на авторитет бывшего пермского, с позволения сказать, «писателя» Виктора Астафьева, который неправильно повел себя с Пермским обкомом КПСС, повздорил, ни за что обругал Островского и Корчагина; в результате – «хлопнул дверью», уехав, как говорят, в Вологду, а затем, и там не поладив, улетел в свой Красноярск.

В заключение «докладчик» Кондаков призвал всех присутствующих заниматься «своим делом» – профессиональной, а не общественной деятельностью, т. е. тем, чему учат студентов на каждом отдельном факультете: химиков – химией, физиков – физикой, историков – историей, а литераторов – литературой. Получалось так, что ни комитет комсомола, ни партком университета, по Кондакову, больше не нужны! Студенты со всем могут разобраться самостоятельно, без какой-либо идейно-воспитательной работы. Даже сами готовы лекции читать самим себе, без преподавателей!

Словом, выступление Кондакова получилось не столько дискуссионным, сколько антисоветским. И оно сразу нашло отклик у незрелой части аудитории, которая аплодировала, шумела и бурно приветствовала провокатора. Нашлись, правда, и такие, что с трибуны выступили в поддержку новоявленного нигилиста. Однако хуже всего было то, что этот Кондаков вступил в открытый конфликт с присутствовавшим на конференции третьим секретарем обкома комсомола – Элеонорой Копысовой (женщина молодая, нервная, впечатлительная – со всеми вытекающими).

Несмотря на то, что представители ректората, парткома и комитета ВЛКСМ дали достойный отпор возмутителю спокойствия, обиженная Э. Копысова, никого из руководства университета не предупредив, поставила в обкоме комсомола вопрос ребром: о недостатках идейного воспитания студенческой молодежи в университете (на примере Кондакова). Как будто на единичном примере можно делать такие емкие обобщения! Видимо, сыграло свою негативную роль и то, что Кондаков три года был Ленинским стипендиатом (наш недосмотр!), и два года – секретарем бюро ВЛКСМ филфака (тоже наш!), и лауреатом

Всесоюзного конкурса студенческих работ по общественным наукам (Зачем мы его направили на этот конкурс? Никого другого не нашли? Лучше бы никого вообще не направляли!). Вот они, видно, и рассудили: мол, если такие студенты, отличники и активисты, рассуждают с подачи «вражьих голосов», то что взять с троечников и «хвостистов»? Фронтальный провал идеологической работы!

Поднятый Э. Копысовой вопрос получил поддержку, и фамилия «Кондаков» в контексте Пермского университета прозвучала сначала на областной отчетно-выборной конференции комсомола, в отчетном докладе Пермского обкома ВЛКСМ, а затем – в еще более жесткой формулировке («недоработка вузовских партийных организаций в идейном воспитании студенческой молодежи»), опять же со ссылкой на «Кондакова» и Пермский университет (с упоминанием фамилии ректора) – в докладе первого секретаря Пермского обкома КПСС тов. Б.В. Коноплева на областной отчетно-выборной партийной конференции – в канун XXIV съезда КПСС. Позору мы не обрались! А я на конференции просто не знал, куда деться, от стыда. Несколько лет подряд меня с разных трибун попрекали «Кондаковым», как будто мы его оставили при университете навсегда.

Я знал, по информации Крылова, что Кондаков после защиты диплома (успешной, как я слышал; руководителем его была небезызвестная Комина, тоже доставляющая нам немало хлопот) получил распределение в одну из отдаленных школ Пермской области. И мне захотелось напоследок взглянуть на этого студента, причинившего столько неприятностей родному вузу. Через декана, проф. А.А. Бельского, я вызвал Кондакова, уже получившего свой «диплом с отличием» (я его подписывал), к себе на прием. В назначенное время бывший наш студент явился. Я заставил его немного поволноваться в «предбаннике». Наконец, через секретаря-референта я пригласил его в кабинет.

Вошел юноша с интеллигентным лицом, в очках, вроде Чернышевского, несколько растерянный или удивленный. Скромно одет. Тихо поздоровался. Вид самый ординарный, скучный, и не подумаешь, что за этой невзрачной внешностью кроется «хулиганствующий молодчик». «В тихом омуте...», как

говорится. Невольно мелькнула мысль: вот, точно так «невинными овечками» выглядят наши диссиденты, распространяющие подрывные материалы против нашей страны, партии и народа. И раньше, при Сталине, так же прикидывались ни в чем не повинными жертвами злейшие «враги народа», все эти эсеры и меньшевики, троцкисты и бухаринцы, «отзовисты» и «уклонисты», «шпионы и диверсанты», подрывавшие изнутри единство нашего народа, вредившие партии и государству, мешавшие социалистическому строительству... Вот откуда идет главная опасность, искусно маскирующаяся культурой! За всем-то ректор должен следить лично, никакие помощники ему не помогут.

Я сидел за своим столом, он стал напротив. Прошло несколько минут. Я смотрел в упор на него, а он – на меня. В его взгляде не было ни страха, ни раскаяния. Разве что недоумение. Наконец, я его спросил: – Это Вы – Кондаков? – Он ответил: – Я. – Повисла пауза. Я ему не предлагал сесть, и мы еще несколько минут молча смотрели друг на друга. Он меня ни о чем не спросил, и я...

Впрочем, и без слов было понятно, для чего я его позвал. Наконец, я приказал ему: – Идите! – Он повернулся и пошел. Лишь перед тем как выйти из кабинета, он повернулся ко мне и сдержанно попрощался, поклонившись. Больше я его никогда не видел. К счастью, потому что испытал крайне неприятное ощущение от встречи: скользкий он такой, грязный, словно немый. А сам – будто ступил в г... Никак потом словно не мог отмыться.

## Эпилог

### **Крылов В.С.**

Про нас, чекистов недаром в народе говорят: «бойцы невидимого фронта». И в самом деле, работа у нас незаметная. Вот все говорили, говорили про какое-то «дело Кондакова»... А что это за дело, когда оно началось, почему, как развивалось, – никто и не знает, кроме меня. Этот Кондаков только поступал в университет, а его «дело» у меня уже было открыто. Вот, например, у меня в папке копия его вступительного сочинения, с эпиграфом: «Пусть мне говорят: упокойся, послушай, уймись, –

спокойным я быть все равно не сумею! Пока на земле жив еще хоть один сталинист, мне будет казаться, что Сталин еще в Мавзолее!».

Это значит, он пришел учиться в университет в 1966 году под развернутым знаменем антисталинизма. А вот где зыбкая грань, отделяющая в его представлениях и ему подобных, антисталинизм от антисоветизма? Поди сам бы точно не ответил. А уже заявляет от имени поколения: – Сталинисты, долой! Конечно, те еще «сталинисты», половина из них сами Сталина не переносят, но вида не подадут. Вот они – надежная опора Советской власти, на них всегда можно опереться в любом вопросе. Но, главное, они надежная опора нашей организации; главные поставщики разнообразной информации. Всегда даже бегут «вперед паровоза». Есть ощущение иногда, что Советская власть, может, когда-то и кончится, а наша профилактическая работа на благо государства будет продолжаться вечно.

В том же «деле Кондакова». От кого поступила информация о создании «Школы молодого марксиста» на филфаке? Он кого пришло сообщение об отношении студентов филфака к «Пражской весне»? – Все от Вали Русейкиной. Кто первым забил тревогу о современном мифотворчестве и ревизионизме среди студентов филфака – Саша Бельский. Кто подавал «сигнал» о неблагополучии в стенгазете «Горьковец» (то при Спивак, то при Кондакове) – Франя Скитова (ну и нюх у нее на всякое такое!). Кто первым сообщил о выступлении Кондакова на комсомольской конференции? Тут прямо соцсоревнование возникло: кто скорее! Все же первой была Эля Копысова. Все остальные сигнализировавшие – и Юра Антонов, и Адливанкин, и Русейкина, и Скитова, и Бельский, и Яшенькина, по сравнению с ней, отстали... Но информации было – завались... Не успеваешь фиксировать сигналы, а не то что анализировать! А ведь «наверх» нужно всегда подавать проанализированную и обобщенную информацию. И в «Контору», и ректору. Так что работы – невпроворот.

Здесь подшиты и другие донесения с идеологического фронта. Вот сообщения о докладе Кондакова по творчеству Евтушенко и обсуждение его сборника «Катер связи». Вот инфор-

мация о его докладе на кружке советской литературы о поэтике Василия Аксенова. Вот сообщения о его докладах по творчеству Толстого и Достоевского (заготовки к будущему диплому и постдипломный доклад на юбилее Достоевского в ноябре 1971 года. Здесь же вырезки статей и рецензий, опубликованных в многотиражке «Пермский университет»: «Урок царям» (отклик на спектакль «Царь Федор Иоаннович» в пермском драмтеатре), «Почем литр слез?» (о «Варшавской мелодии» в том же драмтеатре), «В жизни главное человечность» (о поэтическом спектакле «Парабола» на стихи А. Вознесенского Ивановского молодежного театра под руководством Р. Гринберг) и др. Все – к делу.

Были у нас и другие добровольцы, из «племени младого, незнакомого». Вот целая пачка «донесений с фронта» Левы Федотова (о встречах в детсадице, о королёвских «Пещере» и «Драконе»<sup>29</sup>, о чтении студентами «Экспресс-хроники» и Солженицына, о журнале «Аз» и др.). Вот «доклады» профессорского сына Гриши Шапошникова, обстоятельные, аналитические – о беседах с Р.В. Коминой, с В.В. Воловинским, с В.В. Орловым, с Л.Е. Кертманом и др. (и с тем же Кондаковым). В этом ворохе бумаг немало оказалось и «поступлений» в «дело Кондакова» (например, сравнительно поздняя докладная о передаче И. Кондакову пленки с автобиографией Евтушенко (не только прочитал, но и оставил у себя); вот наиболее ранняя – о передаче тому же адресату самиздатской перепечатки ахматовского «Реквиема»... А вот – о получении Кондаковым машинописи «Собачьего сердца» Булгакова (копия № 27). Таких сообщений так много, что если бы сам «герой» всю эту переписку прочитал, – сильно бы удивился: он сам не помнит большинства эпизодов, взятых нами «на заметку». Он и знать не знает о своем «деле», а «дело» растёт. Целый талмуд! Такая вот у нас трудная и незаметная работа.

Но вообще-то, Кондаков не был у нас в «разработке». Журнал «Аз», вокруг которого крутились наши юные «писате-

---

<sup>29</sup> Студенческие сочинения Анатолия Королева, ныне известного московского писателя.

ли» – Леонид Юзефович, Анатолий Королев, Владимир Винниченко, Василий Бубнов и «примкнувшая к ним» Нина Горланова и Галя Чудинова, занимал нас гораздо больше. Или сборища в федотовском садике<sup>30</sup>. Или репетиции «Кактуса» дома у Л. Сахарного. Или «творческий кружок» у Р. Спивак. Я не говорю уже о деле «Воробьева – Виденеева», которое мы довели до политического процесса и политического результата. Хотелось бы, конечно, все дела связать в одно, но, увы, не получилось. Например, «дело Кондакова» мы не смогли увязать даже с делом журнала «Аз», в котором Кондаков вовсе не участвовал, да и «писатели» не допускали его к себе, поскольку не считали писателем. А «дело “Кактуса”», к которому Кондаков имел самое непосредственное отношение (чего стоит, например, его роль юродивого Мышкина в пародии на «Идиот» Достоевского!), так и не превратилось в «дело» за недостатком улик против Л. Сахарного. А «дело Кондакова», если честно, настолько мало занимало нас, что, например, я, будучи куратором университета, впервые встретился с Кондаковым лишь после окончания им университета.

Многие считали, что «дело Кондакова» закончилось после его «насильственного распределения» в село Усть-Кишерть Пермской области и политической компрометации на областных отчетно-выборных конференциях – комсомольской и партийной, где его персонально просклоняли первые секретари Пермских обкомов партии и комсомола. И никто, даже он сам, не догадывался, что «дело Кондакова» продолжается и за пределами университета, обрастает новыми подробностями, новыми событиями и сюжетами. Но всё под контролем!

Во-первых, обратите внимание: из университета исчез диплом Кондакова. Исчез совсем. Его нет на кафедре, нет в деканате, нет в библиотеке, он не списан в архив. Он исчез без следов. Оба экземпляра. И никто не знает, как и куда. А я знаю. Один – у меня, так сказать, «подшит к делу», вместе с заказан-

---

<sup>30</sup> Имеется в виду детсад, в котором ночным сторожем работал Л. Федотов. Там вечерами собирались для общения и обмена запрещенной литературой наши юные «писатели», не зная того, что находятся «под колпаком у Мюллера».



ными на него рецензиями. Правда, рецензенты не нашли в дипломе никаких существенных огрехов. Скучно, академично, про какую-то «индивидуальную ситуацию», сюжетные приемы. И материал какой-то школьный: «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы»... Да и что контрреволюционного сегодня можно найти в Толстом и Достоевском, тем более что их сегодня почти не читают?

Разве что можно отметить рискованную попытку автора, со ссылкой на репрессированного литературоведа В.Ф. Переверзева, экстраполировать ленинскую формулу «зеркала революции» на творчество «архискверного», по определению Ленина, Достоевского... Ну и что? Одним «зеркалом революции» больше, одним меньше, – ничего от этого не изменится ни в русской литературе, ни тем более в современной политической жизни.

А второй экземпляр диплома «ушел» в обком, к Павлу Ивановичу Кожевникову. Сам попросил доставить. И с тех пор все читает по ночам. Видно, хочет что-то найти между строк. Я его уверял, что никакой антисоветчины нам обнаружить не удалось, но он не верит, – хочет сам удостовериться. Ну, пусть удостоверится. У него в отношении Кондакова созрел какой-то план, в котором мне тоже предстоит принять участие, хотя Кондаков – с тех пор как перестал учиться в университете – официально вышел из сферы моего влияния. Однако работа есть работа.

Кстати, и экземпляр конкурсной работы Кондакова «Критика мелкобуржуазной концепции личности (на примере философии маоизма)», за которую он получил свой Диплом на конкурсе по общественным наукам в Москве, тоже здесь. У нас ничего не пропадает. Так что если кто-то заинтересуется (тот же П.И.), за какие-такие идеи Кондаков получил Диплом из Москвы, мы тут же дадим взвешенную и объективную информацию. Например, что «маоизм» у Кондакова – своеобразный эвфемизм «сталинизма», а может быть, и марксизма-ленинизма в целом. Вот здесь уж точно, если «копнуть», – можно «накопать» много интересного!

Во-вторых, вся эта хитрая операция с «рекомендациями в аспирантуру». Тоже наша работа. Родилась совершенно безотказная схема! По нулям! Тут главное было – избавиться от рекомендаций, которые могли подтолкнуть Кондакова поступать в аспирантуру. И где сами рекомендации – и та, и другая? – Вот они где: у меня, подшиты в дело. А Кондаков, как и было рекомендовано, – вне аспирантуры. Задание успешно выполнено. Не проводи мы вовремя эту операцию с рекомендациями, Кондаков мог бы уехать поступать в Свердловск, Ижевск или Москву и – ищи-свищи ветра в поле! Если бы поступил, никакое распределение не помогло бы!

А, кстати, «распределение» для Кондакова? Тоже была непростая штука. Тут уж Павел Иванович Кожевников подсказал наилучший вариант: Усть-Кишертская средняя школа, образцово-показательная – среди средних – по Пермской области. Так что, вызывая Кондакова для подписания распределения первым, мы несколько не рисковали, предлагая ему выбрать одно место из одного: Усть-Кишертскую среднюю школу. Как, безусловно, лучшее место работы. А если бы Кондаков вдруг выбрал какое-нибудь Тюлькино или Большую Соснову, он бы вышел из-под нашего контроля и «дело Кондакова» можно было бы закрывать и списывать в архив.

Возглавляет Кишертскую школу наш надежный человек, старый «смершевец»<sup>31</sup> Леонид Дробышевский. Единственный Герой Соцтруда среди учителей Пермской области, Заслуженный учитель России. И завуч у него тоже, как и Дробышевский, надежный; тоже, кстати, Заслуженный учитель РСФСР. Под надежный контроль мы «упекли» Кондакова. Теперь от Дробышевского и Попова каждую неделю о Кондакове будет поступать в «Контору» объективная информация. Эти ребята не подведут: будут все «рыть землю», посещать уроки, требовать учебные планы и всю эту педагогическую муру. Применяют к по-

---

<sup>31</sup> СМЕРШ («Смерть шпионам!») – подразделение НКВД, отделившееся от него в качестве одной из советских контрразведок в годы Великой Отечественной войны. Л.П. Дробышевский во время войны служил в СМЕРШе, а после войны был послан в с. Усть-Кишерть директором школы.

допечному постоянный «учет и контроль». Небось, их новому «подопечному» будет теперь некогда читать самиздат и слушать «Свободу»! (Шучу!).

Л.П. Дробышевский прославился в первые же годы своего пребывания на посту директора Кишертской школы. Рассказывают, после войны он застал школу разбросанной по 4 или 5 маленьким деревянным аварийным зданиям в разных конца села. А здание дореволюционной церковно-приходской школы (каменное, двухэтажное) занимал местный райком партии. И молодой лейтенант МГБ, заняв пост директора, первым делом написал письмо в канцелярию Сталина. – Мол, почему такое отношение к коммунистическому воспитанию подрастающего поколения? Почему дореволюционное здание школы лучше, чем послевоенное? Почему райком занимает здание школы, а школа прозябает в деревянных развалюхах? – Все думали, что за такое письмо молодому директору попадет по первое число или его вообще не удостоят ответа.

Но вдруг приходит из канцелярии вождя ответ, да еще какой: – Здание церковно-приходской школы отдать школе, а райкому – построить новое! – Все разинули рты: вот это директор! С самим Сталиным в переписке состоит! С этого времени авторитет Дробышевского стал неуклонно расти. Теперь уже все сами наперебой предлагали помощь школе. Школу все достраивали, пристраивали, обустривали, пока она не стала занимать целый квартал. И карьера директора резко пошла в гору. Говорят, готовит к защите диссертацию кандидата педагогических наук (зачем ему это?).

Вот «под крыло» Дробышевского (точнее: «под надзор», как говорили в старину) мы и пристроили Кондакова. И Леня, Леонид Петрович – молодец! Мы его попросили «занять» подопечного каким-нибудь «важным» делом. И он придумал такое, что никто бы из нас не догадался. Он с начала августа «загрузил» Кондакова совершенно невыполнимой задачей: представить движение учебных понятий по всем предметам – с первого по одиннадцатый класс!

Наш умник взял под козырек, возился целый месяц, нарисовал сложнейшую схему: примерно метров пять в длину и мет-

ра три в ширину; все разграфлено по предметам; разноцветными стрелочками отмечены межпредметные связи, преемственность различных ступеней обучения, превращение одних понятий в другие. Талантливо, оригинально и в то же время – абсурдно. Ведь даже повесить эту схему можно разве что на фасаде школы. Но все надписи придется рассматривать в бинокль, да еще нужно устанавливать подсветку...

Словом, Кондаков вдумчиво, на высоком научном и методическом уровне выполнил совершенно бессмысленную и никому не нужную работу! Наш подопечный был к ней «прикован» вплоть до начала учебного года. Даже если бы Кондаков вздумал поступать куда-нибудь в аспирантуру (а он имел право это сделать без всякой рекомендации и несмотря на подписанное распределение, но, видимо, просто не знал о своих правах), он бы не имел времени на подготовку, потому что не вылезал из здания пустой школы, делая эту абсурдную и трудоемкую работу – практически в мусорную корзину.

И сразу же, с 31 августа, Кондаков включился в учебную работу Усть-Кишертской школы. Не было дня, чтобы на его уроках ни появлялись контролирующие органы: то директор, то оба завуча, то методист из роно<sup>32</sup>, то посещающий из областного Института усовершенствования учителей, то инспектор из облоно. После каждого посещения – критический разбор урока. Расслабиться не давали ни на минуту. Посещающие почему-то характеризовали уроки, которые Кондаков вел в старших классах, как «профессорские». Что они имели в виду, то ли слишком высокий уровень, то ли лекционный характер, то ли университетское влияние, – неясно. Но смысл – явно отрицательный. У нас в университете, говорят, не все профессора читают свои лекции на профессорском уровне. Но это, скорее, тоже отрицательная характеристика.

Да, еще Кондакову в школе поручили организовать стенгазету. И что бы вы думали? Организовал, да еще какую – в це-

---

<sup>32</sup> Роно – районный отдел народного образования при райисполкоме, руководивший школами района; Облоно – аналогичный бюрократический орган на уровне области.

лую стену! Говорят, хулиганы, выгнанные с уроков, вместо того чтобы курить в туалете, собирались у стенгазеты и читали целые уроки напролет. А в переменку – остальные. Правда, руководство школы скоро поняло, что такая стенгазета не должна слишком долго висеть, поскольку от ее чтения зарождается вольномыслие, неуместное в образцово-показательной школе. И газету, решением партбюро, стали снимать. Повисит немного, часа два, и тихонько снимут. За что, правда, не знаю; мне не докладывали.

И вот, 2 октября 1971 года, наконец, состоялась наша личная встреча с Кондаковым. По настоянию руководства, в том числе по согласованию с обкомом (П.И. Кожевников), я позвонил методисту деканата филфака Лидии Ивановне (наш человек) с тем, чтобы она нашла Кондакова. Она позвонила его матери, продиктовала мой телефон, с тем чтобы, когда он приедет на выходные в Пермь, он мне позвонил. Я ему назначил встречу около цирка (там моя квартира). Однако знаю, по своему опыту, назначение таких конспиративных встреч пугает не меньше, чем когда приглашаешь на «профилактику» к нам в «Контору». Мне потом рассказывали, что невеста Кондакова Л. Мараква, приехавшая вместе с объектом на место встречи, целых два часа просидела в телефонной будке, пока мы с Кондаковым и моей собакой (я выгуливал тем временем своего пса) гуляли вокруг цирка.

Во время нашей встречи, как это и было согласовано с руководством, я выразил удовлетворение, что Кондаков работает в деревенской школе по распределению, а не пошел учиться в аспирантуру. – Да, рекомендации пропали, но это не наши происки, это просто Ваши деканы, Адливанкин и Бельский, не захотели Вам выдавать эти рекомендации. Видимо, у них на то были свои основания. Впрочем, оно и к лучшему. Мы считаем, что Вам еще рано заниматься наукой, хотя мы в принципе не против, чтобы Вы затем шли в аспирантуру, писали диссертацию, работали в вузе. Но это все – потом. Вы слишком много варились в одном котле, среди своих преподавателей, и у Вас сложился слишком односторонний взгляд на мир. Все эти Ваши руководители – Комина, Спивак, Лейтес и др. забили Вам голо-

ву своими выхолощенными теориями, не имеющими никакого отношения к жизни. Вам нужно обязательно уехать из Перми, желательно в сельскую местность.

– Да, я знаю, что Вы уже два месяца работаете по распределению в Кишерти, в средней школе. Мы думаем, что для Вас, человека умного и наблюдательного, это очень полезно. Вы посмотрите жизнь народа, вдохнете свежего воздуха, почерпнете у сельского населения народной мудрости, пообщаетесь со своими коллегами, опытными школьными учителями... Может быть, Вам понравится в Кишерти, и Вы останетесь там работать и дальше. А там, годика через три, со свежими впечатлениями, с новыми идеями, Вы можете, если захотите, смело поступать в аспирантуру, продолжать заниматься наукой, писать диссертацию и т. д. Лучше бы, конечно, не в Перми. Мы считаем, что в Перми университетская среда, особенно Комина, оказывают на Вас дурное воздействие. Вы должны это понять и преодолеть это влияние, хотя, я понимаю, это для Вас пока трудно. Ну вот поработаете на свежем воздухе, а не в спертой атмосфере своего факультета, и тогда уже осуществляйте свои научные планы. Мы Вам не станем препятствовать. Но обязательно смените тему. Займитесь чем-то живым, современным, созвучным современному советскому обществу.

– Кстати, носятся слухи, будто мы Вам испортили карьеру, вмешались в Вашу судьбу, не позволили Вам остаться при университете, на кафедре... Официально Вам заявляю, ко всему этому мы не имеем никакого отношения. Это все решение самого факультета. Они там посоветовались и решили, что Вам пока рано работать в вузе. А мы здесь ни при чем. Заметьте, мы с Вами встречаемся впервые. Мы Вас не приглашали к себе в «Конттору». Если бы мы собирались проводить с Вами нашу традиционную «профилактику», мы бы Вас пригласили к себе, как мы это делали с Вашими друзьями – Королевым, Юзефовичем, Бубновым, Винниченко, Пирожниковым... Мы с ними, как Вы, вероятно, знаете, несколько раз и подолгу беседовали. А Вас мы и сейчас туда не приглашаем. Видите, мы с Вами обращаемся совсем по-другому: неформально гуляем вокруг цирка и ведем светские беседы. Нигде наша с Вами беседа не фиксируется, не

составляется протокол. Кстати, о содержании нашей беседы Вы можете свободно всем рассказывать. Я даже настоятельно рекомендую рассказать о ней всем Вашим друзьям и знакомым, чтобы не было досужих домыслов относительно Вас<sup>33</sup>.

– Вот, например, болтают, будто мы решили воспрепятствовать Вашему брату поступить вслед за Вами на филфак! Ничего подобного. Насколько мне известно, Ваш брат, медалист, успешно сдал два экзамена на пятерки и благополучно поступил на филфак. Неужели Вы думаете, что, если бы мы захотели, мы бы этому не воспрепятствовали! Однако мы позволили событиям развиваться, как они развиваются. Мы вмешиваемся в ход событий лишь тогда, когда они угрожают общественному порядку и благополучию государства. Пусть Ваш брат спокойно учится на филфаке, а Вы – спокойно работайте в Кишерти, изучайте народ, наблюдайте за учащимися, совершенствуйте педагогическое мастерство... Занимайтесь общественной работой... Пишите статьи о своих педагогических начинаниях... Женитесь, наконец. Заведите хозяйство. И все будет хорошо.

На этом наша первая и последняя встреча с Кондаковым завершилась. Но его дело продолжалось. Уже через неделю в учительской Усть-Кишертской школы раздался телефонный звонок из Перми. Звонили из редакции пермской областной партийной газеты «Звезда». Кондакову заказали статью в рубрику «Письма из школы» – о первых шагах учителя словесника. Началась третья фаза «дела Кондакова», задуманная П.И. Кожевниковым.

### **Кожевников П.И.**

Я и не сомневался, что Кондаков согласится на статью. Не сомневался и в том, что его статья, даже после многократного редактирования в редакции «Звезды», станет хорошей мишенью для партийной критики. Судя по его прежним «достижениям», это человек неисправимый и всегда лезет «на рожон», подстав-

---

<sup>33</sup> В тот же день я рассказал о встрече с В.С. Крыловым Л.М. Мараковой, а на другой Р.В. Коминой. Выяснилось, что преподаватели за глаза зовут Крылова «кумом».

ляясь под огонь. К тому же у него отличная идейная родословная: Комина, Файнбург, Спивак, Лейтес... Тут отклонений не может быть. Безотказная «наживка».

Кондаков «купился» на статью сразу. Наверное, думал: они меня – в дверь, так я – в окно. Он только не знал, что это будет за «окно». Он – только влезет, а мы его – за ж... И, как слепого кутенка, – в помойное ведро! Статья его называлась нейтрально: «Постижение» (хотя, как я знаю, первоначальное ее название: «Я боюсь этих строчек тыщи...», из поэмы Маяковского «В.И. Ленин». – Этого нам еще не хватало – защищать Ленина от Кондакова!). Однако и в изрядно почищенной статье было достаточно материала для разгромной критики.

И вечера-то поэзии он проводит «при свете свеч» (для создания декадентской развратной атмосферы), и читает стихи Вознесенского с Евтушенко обмирающей от восторга школьной аудитории, и задает сочинения на тему «Отцы и дети» с явным современным подтекстом, и, наконец, цитирует кульминационное четверостишие Вознесенского: «Минута молчанья. Минута как годы. Себя промолчали, – все ждали погоды? Сегодня не скажешь, а завтра уже не поправить... Вечная память!». Все, конечно, с намеком на «сталинщину», на репрессии, на события в Чехословакии... В общем, статья Кондакова получилась «ударной» (в смысле подходящей для удара в дискуссии, а это означает, что дискуссия должна получиться, да еще и с оргвыводами).

В январе 1972 года нами как раз было запланировано проведение областного семинара секретарей партийных организаций опорных школ области. Базой для проведения семинара была выбрана Усть-Кишертская средняя школа, во многих отношениях образцовая, с ярко выраженными элементами показухи (в хорошем смысле). Школу возглавляет наш лучший директор Леонид Петрович Дробышевский, Герой Социалистического Труда, под наблюдение которого был направлен Кондаков. Дробышевский объявил всеобщую мобилизацию: все уроки – открытые, все учителя готовятся к посещениям знатных гостей. Все техническое оборудование и наглядная агитация были приведены в полную боевую готовность. Школьное общежитие бы-



ло освобождено от учащихся для размещения примерно 200 секретарей парторганизаций школ. Было завезено приличное продовольствие, спиртное для банкетов, памятные подарки... Но участникам было приготовлено и другое, более острое угощение.

Приезжаю я на открытие семинара, прямо из Перми, на черной «Волге». Благо – зима, дороги хорошие: подмерзло и не замело. Меня встречают директор Дробышевский, завуч Попов, первый секретарь Кишертского райкома Шмаков, председатель райисполкома Урбан, зав. Кишертским роно и другие ответственные товарищи и проводят в актовЫй зал школы, где уже сидят все собравшиеся секретари. Перед каждым – листок районной газеты с перепечатанной по этому поводу статьей Кондакова «Постыжение» (они обязаны были перепечатать статью, опубликованную в областной печати, если она касалась дел района, а она касалась, раз Кондаков работал в Кишерти и рассказывал о своем опыте). Мне предоставляют слово для открытия семинара.

После приветствия от имени обкома и его первого секретаря я перехожу к главному. – Перед каждым из вас, говорю, лежит листок местной газеты, а в ней статья некоего Кондакова, молодого человека, приехавшего по распределению из Пермского университета. Очень советую всем внимательно прочесть эту статью и даже взять с собой на память. О чем нам хочет рассказать вчерашний студент, ставший школьным учителем? Читаем (разворачиваю газету): он проводит вечера поэзии в темноте, «при свете свеч»... Ну, сами понимаете, «темнота – лучший друг молодежи», атмосфера буржуазного разложения, дореволюционного декадентства. А стихи? Думаете, он читает школьникам Пушкина, Лермонтова, Некрасова или Маяковского? Нет, он им читает Евтушенко и Вознесенского. Например, фальшивый «Плач по двум нерожденным поэмам», запрещенную вещь Вознесенского, льющего воду на мельницу врага! Да еще и хвалится этим в статье, как о высшей доблести.

– Спрашивается, куда смотрит партийная организация школы, где работает молодой учитель?! Почему ему позволяют встречаться с учащимися в темноте и зажигать свечи, как в

церкви? Почему недоучившийся студент, понимаете, свободно и безнаказанно читает запрещенные стихи известных антисоветчиков Евтушенко и Вознесенского? И никто не контролирует его действий. Делай что хочешь, читай что хочешь, пиши что хочешь! Хочется спросить, это советская школа? Или какое-то сборище западных бой-скаутов, которым «всё дозволено», которые слушают «Битлз» и пьют кока-колу, носят нестриженные космы и драные джинсы? Этому безобразию должен быть положен конец!

– Я думаю, мы должны обязать педагогический коллектив Усть-Кишертской средней школы (директор тов. Л.П. Дробышевский) и ее партбюро (секретарь тов. М.А. Попов) разобраться со случившимся. Думаю, все со мной согласятся, что таким «любителям поэзии» (по преимуществу антинародной и антисоветской), как этот Кондаков, – не место в советской школе. Такие, как Кондаков, не только не способствуют коммунистическому воспитанию учащейся молодежи, но, напротив, всемерно разлагают ее, подчиняют растлевающему влиянию буржуазной пропаганды, разоружают перед вражеским наступлением американского империализма и его клеветов из НАТО. Я надеюсь, что здоровый, в своей основе, педагогический коллектив Усть-Кишертской силы во главе с коммунистом Л.П. Дробышевским найдет в себе силы очиститься и найти подходящую замену идейному диверсанту, пробравшемуся в его ряды.

Выслушав всех выступающих, включая Дробышевского и Попова, клятвенно заверивших семинар и меня в том, что меры будут приняты и рекомендации семинара будут учтены, я уехал в Пермь, не дожидаясь банкета. Прошло две недели, и я получаю информацию, о том, что в школе был проведен педсовет, посвященный поведению учителя Кондакова. Все шло по плану: выступил Дробышевский; он зачитал и прокомментировал в политическом плане отдельные фрагменты пресловутого «Плача Вознесенского». «Погибло искусство, незаменимо все это. И это не менее важно, чем речь на торжественной дате». – Это что, речь Леонида Ильича Брежнева на XVI съезде профсоюзов имеется в виду? «И вы, член Президиума Верховного Совета това-

рищ Гамзатов, встаньте!» – А это что? Издевательство над Верховным Советом? – Оправдания Кондакова выглядели жалко, хоть он обложился специально привезенными книгами (его кто-то предупредил о готовящемся педсовете), и успеха не имели.

И вдруг – облом! Стал выступать с критической речью за вуч и парторг школы М.А. Попов. И для убедительности своих обличений Кондакова сослался на свой опыт: – Я, говорит, даже специально зашел в районную библиотеку, спросил книги Евтушенко и Вознесенского. Так в библиотеке даже книг таких авторов нет! – И тут какая-то учительница с галерки поднимает руку: – Михал Афанасьевич, а можно вопросик? – Он: – Конечно, можно! – Она: – А вот если у нас, в Кишерти, мяса нет, дак нам и мяса не есть? – Попов растерялся и не сумел ответить. – А за эти вопросом другие: – А если наших детей в Перми, при поступлении в вуз, спросят, читали ли они Евтушенко и Вознесенского, а они скажут, что таких авторов у нас в районной библиотеке нет, то их, пожалуй, и не примут. А тут молодой человек об этом что-то рассказывает, читает стихи. – А что, нас кто-то обязал начинающего учителя уволить или дать ему выговор? Он уедет, а кто будет у нас литературу старшеклассниками преподавать? – Зачем мы будем Кондакову судьбу ломать, ведь он старается, а без ошибок ни у кого не бывает... Словом, «дело Кондакова» распалось как карточный домик, и педсовет Усть-Кишертской школы разошелся, так и не приняв никакого решения.

Однако «дело Кондакова» на этом не закончилось. В ноябре 1973 года наш секретарь по идеологии Козлов ушел в отпуск, я замещал его в его кабинете. – Звонок по вертушке. – Звонит секретарь по идеологии Свердловского обкома партии и рассказывает мне следующую историю.

Оказывается, Кондаков за это время стал кандидатом в члены КПСС и подал документы в УрГУ на конкурс по замещению вакантной должности ассистента кафедры русской литературы и фольклора. Сосватала его, разумеется, Комина, а взял его к себе известный уральский литературовед И.А. Дергачев. Сначала Кондаков все никак не мог получить выписку из приказа (она все время почему-то терялась на почте). Наконец, Дергачев

с оказией передал Кондакову конверт с выпиской из приказа. И тут началось. Кондаков подал заявление об увольнении из школы; ему его все подписывали, но как можно больше тормозили. К 7 ноября он добрался со своими бумагами в облоно. Зав облоно позвонил мне, и я посоветовал ему не подписывать. Он так и поступил: порвал все кондаковские бумажки и отправил его обратно – работать в Усть-Кишерти дальше. Тот пожаловался по телефону Дергачеву, тот обещал все уладить и пришел в свердловский обком КПСС с тем, чтобы один секретарь обкома позвонил другому и они между собой все уладили полюбовно.

Но не тут-то было. Я, выслушав эту историю внимательно, спокойно и твердо ответил: – Да вы отдаете себе отчет в том, кого приглашаете в Уральский университет?! Да Кондаков – это наш главный диссидент и воплощение безыдейности среди студенческой молодежи! Его фамилия упоминалась в негативном контексте на наших недавних областных комсомольской и партийной конференциях как пример идейно-воспитательной недоработки вузовских комсомольских и партийных организаций. Мы его направили в сельскую школу в надежде на то, что, оказавшись в трудовой среде, он исправится. А вы его вытягиваете в вуз, чтобы он развалил вам всю идейно-воспитательную работу! Этого нельзя делать ни в коем случае.

На том конце провода пошептались: – Ты знаешь, кого берешь? – Нет. – Так знай, что это у них самый главный диссидент! – Не знал, ей-богу, не знал! – Так вот теперь знай. Быстро аннулируй приказ и скажи этому подонку, чтобы носу своего в Свердловск не казал. – И свердловский секретарь горячо поблагодарил меня за своевременную информацию.

Конечно, с этой диверсией все обошлось. Но как получилось, что Дробышевский и Попов решились, без согласования с обкомом, принять Кондакова в кандидаты КПСС? Я немедленно позвонил в Кишерть и потребовал, чтобы рекомендующие забрали свои рекомендации, что они сразу и сделали. И когда Кондаков, после трех лет работы в Кишерти, вернулся в Пермь

и должен был переходить из кандидатов в члены КПСС, у него не оказалось рекомендаций!..<sup>34</sup>.

Правда, после возвращения Кондакова в Пермь в обком приходил З.И. Файнбург, из Политехнического, с предложением взять на работу в свою лабораторию Кондакова. Приходил он и ко мне, и к Козлову, но у него ничего не получилось. И он сам, и его лаборатория у нас и так не на лучшем счету, а тут еще Кондакова решили «пригреть». Если уж у Свердловска не получилось, то уж в Перми, где у нас все под контролем, и тем более не получится. Так и ушел бедный Захар Ильич ни с чем.

После этого для меня следы Кондакова потерялись, и его «дело» можно было считать закрытым.

Я все вспоминаю свой разговор с Коминой, научным руководителем и идейным вдохновителем Кондакова (кажется, по поводу Солженицына). Разговор перешел в острый спор, и я его закончил фразой:

– Римма Васильевна! Если Вы правы, то я должен положить свой партбилет на стол. Но если прав я, то партбилет выложите Вы!

До тех пор пока партия в нашей стране является руководящей силой, я прав, а такие, как Комина и Кондаков, не правы. Они не должны быть ни в партии, а значит, ни в науке, ни в учебных заведениях<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Этому проекту не дано было осуществиться. После решающего разговора И. Кондакова с Л.П. Дробышевским в конце 1974 г., тот встретился с первым секретарем Кишертского райкома партии Шмаковым и убедил его, под свою ответственность принять Кондакова в ряды КПСС, после чего свои рекомендации Кондакову вернули сам Л.П. Дробышевский, Т.И. Перепечо и А.Ф. Белоус. Парторганизация Отраслевого научно-исследовательского отдела социологии и психофизиологии труда (ОНИОСПТ) Пермского телефонного завода в начале 1975 г. приняла И.В. Кондакова в свои ряды, а Ленинский райком г. Перми утвердил это решение.

<sup>35</sup> Этой мечте П.И. Кожевникова также не дано было сбыться.

## РАЗДЕЛ VIII НАШИ ЮБИЛЯРЫ

В уходящем 2011 году на факультете было бы три юбилея: 15 января – 90-летие Н.С. Лейтес, 30 мая – 85-летие Р.В. Коминой и 30 декабря – 90-летие С.Ю. Адливанкина. Юбилеи представлены в книге по-разному: дате Н.С. Лейтес посвящены воспоминания Р.С. Спивак и А.Ф. Любимовой; сын Н.С. Лейтес любезно прислал из Америки книгу, написанную Натальей Самойловной и адресованную родственникам. Из этого источника мы приводим ряд интересных фрагментов.

К юбилею Р.В. Коминой материал подготовила ее дочь М.В. Воловинская, который целиком посвящен рассказу о корнях и родословной Риммы Васильевны. Эти данные почти не представлены в книге «Римма», изданной в 1996 г., поэтому они существенно дополняют представление о ней как об ученом, педагоге, общественном деятеле, человеке, личности.

О С.Ю. Адливанкине для настоящей книги удалось собрать разнообразные материалы: воспоминания вдовы В.Л. Шаховой, родственников Т.Л. Шаховой и Б.А. Шапиро; научная деятельность Соломона Юрьевича описана профессором В.А. Мишлановым; частные воспоминания любезно предоставлены профессором ПГПУ Г.М. Ребель и доцентом Р.Г. Андаевой. Эти материалы существенно обогащают информацией известную ранее книгу памяти о С.Ю. Адливанкине «Еще волнуются живые голоса», переиздание которой планируется на филфаке к концу 2011 года.

### НАТАЛЬЯ САМОЙЛОВНА ЛЕЙТЕС

*А.Ф. Любимова<sup>1</sup>*

Наталья Самойловна Лейтес... Все то, что пришло с ней на филологический факультет университета, освещено светом ее

---

<sup>1</sup> Любимова Аделаида Федоровна, выпускница 1959 г., до 2009 г. доцент кафедры зарубежной литературы ПГУ.

личности: глубина и сила научного мышления, манера преподавания с неизменной ориентацией на сильного студента, который мог стать ее единомышленником или оппонентом. Установка на сильного могла восприниматься критически только теми, кто не знал методики Натальи Самойловны, целью которой было сформировать индивидуальность, заставить молодого человека ощутить радость интеллектуального открытия.

Научные труды Натальи Самойловны, посвященные истории и теории западной литературы и немецкой культуры, всегда содержали идеи, которые взывали к размышлению. Ее концепция современного романа востребована и поныне. Будучи яркой, самобытной личностью, Наталья Самойловна всегда несла в себе желание жить и действовать, ее творческая энергия казалась неистощимой. Но жизнь не раз испытывала ее на прочность: смерть мужа, старшего сына, молодого талантливого журналиста, казалось, могут сломить ее навсегда, но она выстояла. Отъезд в Америку вслед за детьми был способом избежать одиночества. Но и там она трудилась – читала лекции, публиковалась в журналах; одна из ее последних статей о Курте Воннегуте, глубокая и блестящая по стилю, бережно хранится мною.

Последний приезд Натальи Самойловны в Пермь связан с теплыми и грустными воспоминаниями о посещении ею родных могил, долгими разговорами за вечерним чаем, бережным возвращением к прошлому за перелистыванием альбомных страниц.

С Натальей Самойловной всегда было безумно интересно, она принадлежала не только своему поколению, но и ВРЕМЕНИ, с которым соединилась теперь уже навечно...

*Р.С. Спивак<sup>2</sup>*

Между нами было семнадцать лет разницы, но мы ее не ощущали, и она не помешала нам стать близкими друзьями и двадцать лет быть ими. Это оказалось возможно, потому что

---

<sup>2</sup> Спивак Рита Соломоновна, выпускница 1959 г., профессор кафедры русской литературы ПГУ.

Наталья Самойловна всегда была очень молода душой. Нет, конечно, и я, по сути, была ее ученицей, как я теперь понимаю. Но тогда я этого не чувствовала, и она об этом не думала.

Она приехала в Пермский университет из Ижевска – красивая, в расцвете своих интеллектуальных и физических сил, с красивым, остроумным, все обо всем знающим мужем, Ари Яновичем Демьяновым, которого теперь мы бы назвали по его служебному положению топ-менеджером крупнейшей государственной компании, с тремя красавцами-сыновьями. Я только что вернулась в Пермь из московской аспирантуры. Мы не расставались с семидесятых до начала девяностых годов – до ее вынужденного отъезда в США. Муж умер, дети эмигрировали. Куда же ей было деваться...

Странной, яркой, полной потерь и открытий, творческих радостей и настоящей борьбы за право быть самой собой была наша жизнь 70-х – 80-х годов. В ней можно было выделить три ее составляющие – как сказал бы Блок, «неслиянные» и «нераздельные» в то время. Их сплав порождал острую напряженность, особую невесомость, осязаемость каждой прожитой минуты, навсегда врезающейся в память. Я говорю о таких трех началах нашего тогдашнего существования, как «живая жизнь» естественных человеческих радостей, жизнь научная и идеологическая.

«Живую жизнь» Наталья Самойловна любила, понимала, что именно в ней скрыта первооснова бытия, – может быть, потому, что была любима мужем и поэтому сама всегда чувствовала себя женщиной, хранительницей жизни, а может быть, что прошла войну медсестрой в прифронтовом госпитале. И она любовно занималась домом и детьми, мужем и немолодой матерью. Устраивала приемы для друзей, пекла большие яблочные пироги, редко, но с увлечением вязала и шила.

Мы тогда часто встречались одной постоянной компанией близких по мироощущению и политическим взглядам, любящих друг друга людей – Наталья Самойловна и Ари Янович, Идея Васильевна Дроздецкая и Израиль Абрамович Смирин, Людмила Александровна и Александр Абрамович Грузберги, мы с Львом, иногда Берлины, а в качестве гостей порой Кертманы, Римма Васильевна Комина. Поводов встретиться и сил было



много, желание увидеться, поговорить, обсудить ситуацию – всегда. В памяти живет много чудесных картин наших встреч. Например, такая.

Мы все в особняке Демьяновых, в большой комнате с высокими старинными окнами и высокими старинными, расписными по дереву дверьми, за который поднял тост младший Демьянов, Алик, тогда еще школьник, когда ему на взрослом застолье впервые предоставили слово. Большой стол под белой льняной скатертью, уставленный хрустальными бокалами и закусками, посреди стола большой яблочный пирог. За столом – все трое красавцев-сыновей Натальи Самойловны и красавец отец в белых рубашках. Мы сочиняли и разыгрывали шарады, много пели и танцевали, остряли и смеялись, читали и придумывали стихи. Иногда хором разучивали новые песни – Высоцкого, Окуджавы, песни, исполняемые Камбуровой, русские народные песни и романсы. Запомнилось, как однажды к нам на «пир» зашли Кертманы и как у них от неожиданности округлились глаза, когда мы слаженно и самозабвенно грянули им на встречу «Солдатушки, бравы ребятушки...».

Наталья Самойловна любила море и хорошо плавала, но одновременно, как выросшая на Украине, тосковала по маленьким живописным, среди лиственных деревьев пролагающим себе дорогу узеньким речушкам, маленьким тихим городкам, утопающим в зелени. Но и нашу уральскую природу она «приняла» в свою душу. Все свободные от занятий летние дни мы проводили на Чусовском заливе, взяв с собой нашу овчарку Рекса – у нас слевой был маленький, старенький, все время лوماющийся и требующий починку катерок, и мы на нем много плавали.

Однако более значимую часть нашей жизни занимала, как сказали бы теперь, жизнь духовная, интеллектуальная – разговоры, размышления об «интересном»: искусстве, нравственных ценностях и сущности бытия, нашем социуме и, конечно, о филологии. О науке мы говорили всегда и всюду – обсуждали каждую новую тему, новую концепцию, написанную кем-то из нас или только что задуманную статью, новый придуманный термин. Для нас наша работа, в том числе работа научная, была органической, неотделимой от всех других форм жизни частью. И

когда мы говорили о литературе, мы не развлекались и не отдыхали, а как раз продолжали работать – к нашему всеобщему удовольствию, творчески, радостно, в полную силу наших интеллектуальных возможностей. Мы думали и говорили о литературе и литературоведении на любых наших сборищах – за праздничным столом и во время уборки квартиры (если кто-то из наших приходил, например, во время ремонта помочь), за городом, на берегу Камы и в поезде по дороге с очередной конференции. Что только мы не обсуждали! Этапы развития литературного процесса, новый взгляд на человека в литературе XX века, эволюцию жанра романа, которой Наталья Самойловна серьезно занималась, проблемы метода в русской и немецкой литературной науке и «вечные образы» в искусстве, их архетипы (тоже тема Натальи Самойловны, к которой она обратилась в отечественном литературоведении едва ли не первая). В атмосфере этих разговоров, споров, обсуждениях каждой новой версии рождались, «обкатывались», получали апробацию книги и статьи Натальи Самойловны, которые легли в основу ее докторской диссертации. Какая это была прекрасная научная школа для всех нас! И как мне ее не хватает по сей день, когда по разным причинам наша компания перестала существовать, и я с горечью повторяла бессмертные пушкинские слова «Одних уж нет, а те далече...». Мы ведь не просто «говорили», мы – думали, создавали и корректировали наши концепции, осваивали появляющиеся новые методологии анализа Лотмана, Кормана, Гаспарова, Топорова.

Запомнилось, как однажды Римма Васильевна с удивлением рассказала мне о чем-то странном, для нее непривычном (она работала в одиночку), что, когда она готовила обед, к ней зашла Наталья Самойловна поделиться, как она, стирая очередную стопку мужских сорочек (в семье четыре щеголя), поняла, чем отличается подход к изображению человека в XX веке от его изображения в XIX веке. А дело в том, что Наталья Самойловна «думала», значит «работала», в любых условиях – за стиркой, приготовлением обеда, мытьем посуды, по дороге в университет. Это был ее образ жизни – настоящего научного работника, который не может провести границу между тем, ко-

гда работает и когда отдыхает. Таким настоящим профессором ее видели и воспринимали все окружающие.

Она была в дружеских отношениях с известными литературоведами, ценившими ее талант – Мелетинским, Лазаревым, Гуревичем, Павловой, Карельским – и признанным авторитетом для целой плеяды тогда еще молодых ученых Ленинграда, Воронежа, Свердловска, Томска, Новосибирска, Уфы, Риги, Даугавпилса, готовящихся к защите своих докторских диссертаций и успешно их затем защитивших.

В те 70 – 80-е годы в нашу научную жизнь ее неотъемлемой частью вошли Всесоюзные научные конференции. Наталья Самойловна всюду, где они проводились, была желанным авторитетнейшим их участником. Ее выступления ждали с нетерпением.

В научной жизни нашего факультета появление Натальи Самойловны сопровождалось революцией в предмете научного исследования, с ее приходом идеологический аспект авторской позиции был потеснен поэтикой в широком, литературоведческом смысле. Предметом анализа в работах Натальи Самойловны была художественная структура произведения, которая в ее интерпретации открывала путь к пониманию содержания художественного целого. Эта методология быстро завоевывала в 70-е годы признание и в то же время вызывала озлобленное сопротивление «идеологических зубров». Научные предпочтения Натальи Самойловны открывали молодым филологам новые творческие перспективы, для многих стали руководством в научной и педагогической деятельности. Лекции Натальи Самойловны привлекали студентов и с других курсов, число желающих попасть к ней в аспирантуру росло, аспиранты гордились возможностью научного общения с ней как с руководителем. Она вмещала в себе талант историка литературы и теоретика – например, едва ли не первая в отечественном литературоведении уловила такую особенность мирового литературного процесса, как смещение интереса от индивидуального характера человека в сторону антропологии личности. Разработку этой идеи встречаем сегодня и в пермских публикациях, в частности на материале творчества Мандельштама, но без ссылок на своего теоретического предшественника. С моей точки зрения, кафедра зарубеж-

ной литературы Пермского университета снискала уважение в России и за рубежом прежде всего благодаря научному авторитету Натальи Самойловны. Я имею право так считать на основании моих бесед с коллегами во многих городах на многочисленных конференциях и заседаниях диссертационных советов, в работе которых я в той или иной роли принимала участие.

Однако именно научный авторитет Натальи Самойловны, как и независимость ее мышления и поведения, был источником множества неприятностей и бед, которые отягчали ее существование на протяжении всех лет ее работы под начальством А.А. Бельского. Циничный и небескорыстный рутинер, он в течение десяти лет возглавлял на факультете все, что можно было возглавить (кафедру, редколлегию, деканат; его жена и вдохновитель карательной активности Р.Ф. Яшенькина руководила работой философского семинара филологов и была членом всех комиссий парткома университета по проверке идеологической чистоты преподавателей). В их руках, таким образом, была громадная власть над профессорско-преподавательским составом факультета. Горестным результатом таких обстоятельств стала постоянная, изматывающая борьба Натальи Самойловны и нас, близких ей своим мироотношением людей, за свое научное, профессиональное выживание, за право на свое мнение и слово и, наконец, просто на работу в университете. Наталья Самойловна вызывала их ревность, по всей видимости, тревогу за прочность карьеры, болезненное желание «поставить ее на место», их раздражал ее талант, с которым они не могли тягаться.

В 1965 году, почти сразу по приезде Натальи Самойловны в Пермь, мои друзья срочно вызвали меня из МГУ, где я проходила аспирантуру, в Пермь. Случилось нечто в университете, до этого невиданное – открытое для всех желающих партийное собрание факультета с присутствием ректора и партбюро университета. Хрущевская оттепель доживала последние дни, но все-таки еще длилась. На повестке заседания стоял вопрос о поступившем в партбюро доносе А.А. Бельского и Р.Ф. Яшенькиной на гордость всего факультета Римму Васильевну Комину и Наталью Самойловну Лейтес. Они обвинялись в том, что идеологически развращают студентов и молодых работников факультета. Это было беспроектное обвинение, тогда не требовав-

шее доказательств, перед ним всякое начальство немело. Нас, защитников наших любимцев, было много, обвинение сняли, но авторы доноса остались на своих местах, а конец «оттепели» упрочил их положение в университете и в городе.

Эти годы ее профессиональной зрелости как преподавателя и научного работника были тяжелыми и одновременно радостными. Наталья Самойловна опубликовала пять книг (а в те времена публиковаться человеку из провинции было трудно), защитила докторскую диссертацию. Чтобы избежать очередных доносов в ВАК и срыва защиты, она защитилась далеко от дома, в Тбилиси, где в эти годы работали известные зарубежники, обладавшие международным авторитетом, защитилась блестяще, упрочил свою известность в научных кругах.

Но первое боевое крещение Натальи Самойловны не было последним. Ее борьба за возможность работать в университете затянулась на 20 лет, обостряясь с каждой новой ее публикацией, докладом на Ученом совете факультета, с каждой блестяще написанной под ее руководством дипломной работой студентов. Снова и снова приходилось доказывать, что «ты не верблюд и не намерен копать под Ламаншем туннель из Москвы в Лондон». Хорошо помню, как в момент очередной вспышки борьбы с «неверными» член партбюро университета, отвечающий за связь с КГБ, когда видела меня с Натальей Самойловной на территории университетского городка, торопилась перейти на другую сторону улицы, чтобы избежать необходимости поздороваться и не дать никому заподозрить ее в дружеском к нам отношении.

Но в крови Натальи Самойловны не был генетически заложен страх. Может быть, потому, что родилась еще в относительно свободные 20-е годы и кончала легендарный ИФЛИ, рассадник вольномыслия, а может, потому, что прошла войну. Она приехала в наш университет столичной шестидесятницей, настоящей московской интеллигенткой, хотя родом из Запорожья, живая, естественная и свободная в поведении и высказываниях, внутренне ориентированная не на смирение, а активность и инициативу, сопротивление всякому мракобесию, верящая в свою правоту.

Мне кажется, представление о времени, на которое пришла жизнь Натальи Самойловны, и о ней в этом времени в какой-то степени даст написанное тогда мною шуточное поздравление ко дню ее рождения.

*Нет, мы не Блоки, мы другие...*

Года идут, и тяжелеет ноша  
  прожитых дней.  
А жизнь полна и горьким,  
  и хорошим.  
      Куда полней!  
И вечный бой! То с Бельским,  
  то с Раисой.  
      Вперед, вперед!  
Век в памяти ижевских  
  черемисов  
      Тот бой живет.  
За Кафку бой, за Белля  
  и за Гесса,  
      Хоть стой, хоть плач!  
А доктор Лейтес  
  впереди прогресса  
      Несется вскачь!  
Перед тобой давно склонились  
  низко  
      И Грузия и Русь.  
С тобой и мглы – немецкой,  
  модернистской –  
      Я не боюсь.  
Пусть ночь. Она сменится  
  днями.  
      А грянет гром –  
Вы кликните –  
  и мы за Вас и с Вами  
      На бой пойдем.

Филологи сразу поймут уместность эпитафии, ижевские черемисы – отсылка к городу, откуда Наталья Самойловна приехала в Пермь, перечислены писатели и проблемы, интер-

претация которых стоила Наталье Самойловне определенного риска, смелости, упорства, в Грузии она защищала диссертацию.

У Натальи Самойловны я училась самоуважению, освобождению от всяких комплексов.

В ней не было и капли снобизма. Система общения в советском государстве строилась на соблюдении субординации и чинопочитании, хотя чины были другие, нежели в царской России. Секретарь не только обкома, но и райкома не мог проводить досуг с дворником и, думаю, даже с рядовым учителем. Их разделяло много ступеней номенклатурной лестницы. Разные круги общения, что складывалось как-то само собой, были и у профессорско-преподавательского состава, и неостепененных лаборантов. Профессора в провинциальных вузах в шестидесятые годы были редкостью, они вместе с доцентами составляли высокую, немногочисленную элиту, знающую себе цену. Субординация в определенной степени лежала в основе поведения даже самых передовых профессоров и доцентов с самыми либеральными взглядами. Наталья Самойловна приехала в Пермь без пяти минут профессором, но открытая для общения с «социальными низами» вузовской иерархии – студентами, аспирантами, методистами, старыми и молодыми. И я тогда усвоила первый урок настоящего, «природного» демократизма, который сразу дала, сама того не замечая, нам с мужем Наталья Самойловна.

Незадолго до приезда Натальи Самойловны наша кафедра встречала известного, уважаемого профессора, который был приглашен читать спецкурс. Преподаватели готовили прием, по поводу которого дали мне и моей подруге, тоже лаборанту, задание: мне – удивить гостя знаменитым, домашнего приготовления, маминым тортом, а моей подруге – тоже знаменитой квашеной капустой, которую умела готовить ее мама. Но при этом нас самих не пригласили, хотя бы формально. Мы приняли это как должное. Мой муж числился инженером при кафедре, и мы чувствовали себя соответственно нашему статусу, т. е. не представляющими интереса для преподавательской элиты.

Жила я тогда с семьей в полуподвале. Наталью Самойловну с мужем, занимавшем высокую должность в Совнархозе, поселили в старинном особнячке недалеко от нас. И как же мы были поражены, когда однажды вечером в наше окошко посту-

чали Наталья Самойловна и Ари Янович, и пригласили погулять вместе с ними – просто так, без всякого повода, пообщаться, поговорить. Вся лестница субординации была опрокинута. И мы, конечно, с удивлением задавали себе вопрос: «Значит, мы им интересны?»

Наталья Самойловна социальных «уровней» не принимала во внимание и во взаимоотношениях с кафедральным начальством. Понятно, что самим своим видом, а тем более своими политическими и научными взглядами, она действовала на мало-талантливых карьеристов, как красная тряпка на быка. Но она всегда оставалась собой – выступала на конференциях, готовила с боем отвоеванных у Бельского аспирантов, писала книги, статьи, вопреки сопротивлению партийного начальства, устраивала приемы с яблочным пирогом для друзей. Конечно, в США она тосковала по работе, друзьям, но талант требовал какой-то реализации. И она в условиях, совсем не располагавших к научной деятельности, занималась в библиотеке, делала доклады своим высокообразованным соседям по дому, в котором жила вместе с другими бывшими россиянами, писала статьи и воспоминания. По телефону она рассказывала мне, что обнаружила нового для себя в Довлатове, Бродском, любимом ей О. Генри. Она открыла мне чрезвычайно интересного, большого израильского писателя А. Шалева. В наш последний разговор я спросила ее, чем она занимается. При этом я не имела в виду какие-то серьезные научные занятия. А она мне ответила, как будто извиняясь, что «ничем серьезным сейчас, к сожалению, заниматься не получается», но читает, гуляет, играет на фортепьяно, дописывает воспоминания. Ей было 90 лет.

Жизнь утроена так, что за счастье приходится расплачиваться горем. Она была первой, к кому я бросилась, когда мне сказали, что мама умерла и когда рухнула первая моя семья. Она была рядом, когда мне грозило увольнение из университета как идеологически вредному элементу. С ней я ездила к морю лечить наших детей, и к ней, в США, летела через океан, чтобы познакомить ее с моим вторым мужем, который составил мое счастье. Тем, кто был близок с ней, никто и ничего ее не заметит.



## **ИЗ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ (Страницы воспоминаний)**

«...» Мы прожили в Перми с 1962-го года по 1992-й, т.е. полных 30 лет, бóльшую часть нашей трудовой жизни. Об этих годах мне писать почему-то всего сложнее. Может быть, они еще недостаточно отодвинулись в прошлое. А было там многое.

Город Пермь оказался много больше, чем Ижевск. Большие заводы – Мотовилиха, завод им. Свердлова, нефтеперегонный завод. Большой порт. Много высших учебных заведений – университет со своими традициями, созданный еще в 1916 году, институты – педагогический, политехнический (теперь они тоже стали университетами), медицинский, фармацевтический, культуры, сельскохозяйственный, балетное училище, из которого вышли известные мастера этого вида искусства, танцующие в столичных театрах. Хороший оперный театр, отличный балет, известный по всей стране. Богатый музей изобразительного искусства. Известное книжное издательство. Большая областная библиотека, и т.д., и т.п.

Город тянется по берегам Камы, реки широкой, полноводной, судоходной, с живописными берегами и притоками. Густые смешанные и хвойные леса плотно окружают его и вторгаются в его пределы, или, может быть, город вторгается в эти леса. Пермь – город холодный, более северный, чем Ижевск, с настоящими белыми ночами, как в Санкт-Петербурге, с коротким и жарким летом (в июле) и ранней осенью (порой уже в августе)...

В Перми мы прошли через ряд этапов и жизни страны, и жизни нашей семьи. Здесь мы пережили расцвет и спад «оттепели», период застоя, горбачевскую перестройку, развал СССР, последующие за этим годы правления Ельцина. Все эти перемены мы принимали близко к сердцу, горячо обсуждали всё происходящее, спорили, надеялись и утрачивали надежду, вновь надеялись и вновь разочаровывались, всё яснее понимая, что надеяться на многое нет реальных оснований. Становились всё очевидней иллюзорность и вредоносность социалистической

идеи, новой большой идеи не было, задача построения «социализма с человеческим лицом», неосуществимая по определению, быстро сменилась устремлением к переходу от социализма к капитализму, идеологический вакуум, особенно после начала перестройки, стал заполняться мифологическими, мистическими, религиозными увлечениями. Попытки демократических преобразований были, видимо, не слишком реалистическими в своих основах, и, наверное, не слишком умелыми. Они тормозились сопротивлением «верных ленинцев», фашистов, сторонников сильной власти, национал-шовинистов, монархистов и просто воров разного масштаба. Небывало выросла организованная и неорганизованная преступность, практика заказных убийств. Шел распад экономики, неуклонно ухудшалось снабжение. Всё это непосредственно касалось и нашей работы, и нашего быта, становившегося всё тяжелее.

⟨...⟩ С развитием гайдаровских реформ жить стало вовсе невозможно. Когда я уезжала из страны, полки магазинов были пусты. Еду надо было не покупать, а доставать с большой затратой времени и энергии, не говоря уже о деньгах. В очередях за мукой, яйцами, сахаром стояли целыми днями, кооперируясь с соседями, если не хватало членов семьи, и сменяя друг друга. Помню, как однажды в длинной и многолинейной очереди за сахаром, уже к концу дня, какая-то молодая женщина зло произнесла, косвенно обращаясь ко мне: «Вот стоят тут всякие пенсионеры, очереди создают; могли бы и утром прийти, когда люди работают». «Я работаю», – сообщила я очереди и ей, но лишь подлила этим масла в огонь. «А зачем вы места занимаете? – закричала она. – Вот из-за таких, как вы, молодые не могут устроиться на работу». Последнее слово всё же осталось за мной: «Когда у вас будет такая квалификация, как у меня, я уступлю вам свое место». Она замолкла, но я понимала ее раздражение. Народ в Перми, и, конечно, повсюду, был раздражен и озлоблен. Люди перегораживали улицы и останавливали движение городского транспорта, протестуя против перебоев в снабжении куревом и спиртным. Последнее давали по талонам, и все, даже все непьющие, стремились отоварить свои талоны, потому что водка была своего рода валютой: ею можно было заплатить за другие продукты или за услуги водопроводчика, слесаря и т.п.

«...» Пермь, как и Ижевск за 10 лет до того, началась для нас со встреч с новыми людьми и новой атмосферой, показавшейся нам более свободной и более интеллигентной, чем в Ижевске. Еще бы! Ведь мы приехали в Пермь в пору, когда оттепель была еще на подъеме. Да и культурная жизнь в Перми была много активнее.

«...» Университет, в котором я начала работать, мне понравился сразу. В нем были серьезные научные силы, талантливые студенты. Были по-настоящему творческие люди, что меня особенно привлекло. Но с первых же дней я увидела и другое (глаз у меня уже был наметан): люди, как и везде, были очень разные, между ними постоянно шла скрытая борьба, не раз вырвавшаяся на поверхность. В ее основе лежала зависть бездарностей и доктринеров, уверенных, что указания сверху и есть истина в последней инстанции, к людям творческим, внутренне свободным, ищущим, сомневающимся. Первые, испытывавшие, как правило, дефицит популярности в преподавательском коллективе и любви со стороны студентов, боролись, по сути, за власть и влияние и вели себя агрессивно, выдавая свои атаки на вторых за идеологическую борьбу с марксистских позиций. Вторые же добивались «права на труд», возможности работать в согласии со своей совестью и научными убеждениями и, защищаясь от нападок первых или предпринимая контратаки, ссылались на те же авторитеты. Уже сама очевидность этого двоемрия внушала надежды, было куда меньше провинциальной трусости, стиль «чего изволите» вовсе не был господствующим, и оттого дышалось здесь много легче.

Конечно, не всё и не всегда было просто, случались и сложные, неоднозначные ситуации. Но в общем, схема, прикинутая мной, я думаю, недалеко от истины. Соотношение сил менялось от периода к периоду, бывало порой очень трудно, но все же дежурная фраза – «хороших людей всегда больше» – верна, на мой взгляд, и для тех обстоятельств. Перипетии внутрифакультетской борьбы во многом зависели от нестабильности идеологической ситуации в стране, были моменты, когда борьба достигала большой остроты. Аналогичным образом обстояло дело и в большинстве других, особенно гуманитарных, учебных заведений, – пермский филфак не составлял исключения. Но он

принадлежал к числу тех учреждений, в которых было немало по-настоящему интеллигентных людей, так что даже когда «верные ленинцы», стимулируемые и поддерживаемые городскими и областными партийными властями, брали верх, настраивание на факультете в целом, несмотря на весьма напряженную обстановку, оставалось демократическим.

Я в Перми сразу же оказалась занята сверх всякой меры. Бельский, видно, задетый тем, что я прошла на кафедру вопреки его воле, дал мне очень большую и крайне неудобную нагрузку, состоявшую из разномастных остатков от других. Она включала семь разных видов работы на разных отделениях и в разные смены. Было трудно мгновенно переключаться с одного на другое, подготовка ко всему этому множеству лекций и семинаров требовала много времени и усилий. К тому же Римма Васильевна Комина, заведующая кафедрой, поручила мне доклады на Совете факультета и на методологическом семинаре, мотивируя тем, что я – человек новый и должна показать себя коллективу. Пришлось показываться.

⟨...⟩ Мой служебный рост состоял в том, что я защитила в 1972 году докторскую диссертацию, через три года (через целых три!) получила утверждение, еще через два года сделалась профессором и еще через какое-то время получила право руководить аспирантами, к чему я очень стремилась. Произошло это не столько благодаря обстоятельствам, в которых я находилась, сколько вопреки им. Меня тормозили на каждом этапе. Бельский делал всё, что мог, чтобы я двигалась вперед не слишком быстро. В ВАКе моя работа проходила дважды через каждую ступень утверждения, хотя всё было в порядке и все отзывы были положительные.

Замысел докторской диссертации о немецком романе 20-го века возник у меня еще в Ижевске (потом он, правда, существенно уточнился). Когда я сообщила о своих планах на кафедре в Перми, Римма Васильевна представила меня Совету как кандидата на получение двухгодичного творческого отпуска с переводом на ставку старшего научного сотрудника. Такая практика появилась тогда в стране для подобных случаев. Но мне отпуск не дали, мотивировав отказ тем, что у меня мало публикаций по теме. Одновременно со мной о таком же отпуске про-

сил Леонид Владимирович Сахарный, блестящий лингвист, работавший на кафедре русского языка (тоже еврей). Ему сказали, что у него много публикаций и потому он сможет закончить работу и без отпуска. Пятый пункт в равной мере мешал и мне, и ему. Мы, надо сказать, не слишком расстроились, потому что не слишком надеялись на положительное решение этого вопроса, зная по опыту, на что мы могли бы рассчитывать. И он, и я справились с работой и без длительных отпусков, только это, конечно, было много труднее и делалось за счет семьи, за счет отдыха и здоровья. Но мне во всяком случае (не знаю, как Лёне) было не впервой.

⟨...⟩ Далеко не последней стороной нашей жизни в Перми, как и в Москве, и в Кургане, и в Запорожье, и в Ижевске, составляли отношения с друзьями, которых мы и здесь приобрели немало. Пристрастные обсуждения ситуации в стране, в университете, на факультете, не говоря о наших личных проблемах, выработка стратегии и тактики поведения в меняющихся обстоятельствах, дискуссии вокруг разных проблем социально-политического, философского и эстетического характера были главным содержанием наших частых встреч. Мы не тешились иллюзиями, говорили откровенно, спорили и во всем стремились разобраться до конца. Наши сборища были теплыми, доверительными, нередко веселыми, часто взволнованными, на них царила атмосфера взаимного понимания с полуслова, звучали остроты, песни Галича, Окуджавы, Высоцкого, Визбора, стихи поэтов Серебряного века и поэтов-шестидесятников, а порой и собственные стихи, к нам попадали произведения самиздата. Словом, это были те самые встречи «на кухне», о которых так много писали как о важнейшей примете быта советской интеллигенции в 60-е годы. Они очень помогали жить. А еще мы пели, танцевали, играли в разные интеллектуальные игры. Чаше всего собирались у Кертманов или у нас – у них квартира была самая большая (они жили в доме научных работников) и у нас, особенно когда мы перебрались в деревянный дом, тоже не маленькая. Дом у нас, как и у них, был открытый и для наших друзей, и для разновозрастных друзей наших разновозрастных детей. Собирались и у Спиваков, и у Смириных, и у Грузбергов. Нередко в этих сборищах участвовали разные поколения.

«...» Лев Ефимович Кертман, его жена Сарра Яковлевна Фрадкина и Римма Васильевна Комина, с которыми я познакомилась еще до переезда в Пермь, были первой нашей дружеской опорой на новом месте. Со Львом и Саррой нас сближала общность мировосприятия и судьбы. Они, как и я, были жертвами борьбы с космополитизмом и приехали в Пермь с Украины. Родились они в Киеве, там учились, оттуда Лев ушел в армию, а Сарра эвакуировалась, туда они вернулись после войны, там стали кандидатами наук, начали преподавать в университете, но вскоре были обвинены в космополитизме, потеряли работу и были вынуждены уехать. Лев занимался всеобщей историей, он был крупным ученым в этой области, широко известным в стране, а Сарра читала курс советской литературы. Оба были очень знающими и увлеченными специалистами, авторами многих печатных работ, блестящими преподавателями и лекторами, хотя и каждый по-своему.

«...» Лев Ефимович Кертман был, вместе с тем, своего рода ребе, охотно дававший советы в самых разных ситуациях. Он удивительно умел слушать, вникая в проблемы другого, – и научные, и житейские; советы его, как правило, были конструктивными и учитывали ситуацию момента. Нередко помогал он и практически, используя свой авторитет. Я ему многим обязана. Сарра тоже умела слушать и помогать, мне есть за что ее благодарить. Оба они помогли нам в трудных домашних ситуациях, а мне – и в решении ряда проблем, связанных с моей работой. Сарра, например, подарила мне название моей книги «От Фауста до наших дней», помогала мне в редактировании некоторых моих рукописей, разговоры с Лёвой нередко помогали в углублении собственной концепции. Оба они были достаточно избирательны в своих симпатиях и, как правило, держали некоторую дистанцию. Они весьма щепетильно относились к своему престижу и знали себе цену. Лев был бессменным завкафедрой, любимым и почитаемым своими коллегами и учениками, а на его кафедре все были таковыми. Он умело ладил с университетским начальством, решая вопросы разного рода, никогда не поступался при этом своим достоинством, но всегда считался с обстоятельствами, проявляя порой большую дипломатичность. Ведь иначе ему вряд ли удалось бы что-нибудь решить, особен-

но кадровые вопросы, вряд ли он мог бы, например, брать евреев в аспирантуру или готовить их к докторской защите.

Римма Васильевна выросла на Урале, училась в МГУ, работала там какое-то время, а потом приехала в Пермь. Была она женщиной острого ума и независимого характера, творческой, яркой. Разговаривать с ней было интересно, но непросто. Мысли собеседника пробуждали в ней зачастую дух оппонирования, она сразу же выдвигала контрдоводы, подчас не столько действительно возражая, сколько как бы проигрывая возможные возражения. Аудиторией она владела абсолютно, студенты ее чуть ли не боготворили. Муж шутливо называл ее королевой формулировок. Пятый пункт был у нее в порядке, но путь ее тоже оказался тернистым. Римма Васильевна работала радостно, с неистощимой энергией, но когда оттепели пришел конец, ее свободный полет вдруг натолкнулся на глухую стену и она больно ударилась об нее.

Хочу также вспомнить Екатерину Осиповну Преображенскую, заведующую кафедрой немецкого языка, читавшую курсы и по кафедре зарубежной литературы. Она была намного старше нас, но бывала в нашей компании. Мы считали ее одной из «наших». Человек большой культуры, она являла собой пример для всех нас во многих отношениях. Она происходила из дворянской семьи, жила прежде в Ленинграде и сохранила в себе черты аристократической интеллигентности, предполагавшей деликатность и уважение к людям. Ей тоже пришлось пережить немало, – в 30-х годах она была репрессирована, муж ее умер в заключении. Работалось ей с Бельским далеко не всегда легко. Но она любила литературу, любила студентов и старалась пренебрегать его придирками. Екатерина Осиповна всегда очень сопереживала тем, кто оказывался мишенью нападок борцов за чистоту коммунистической идеологии.

⟨...⟩ Рита и Лёва Спивак были моложе нас на 16 лет. Но это нисколько не чувствовалось, – мы ведь тоже были еще молодыми, во всяком случае ощущали себя таковыми. Они были пермяками если не по рождению, то, во всяком случае, со школьных лет. Рита с родителями попала в Пермь в эвакуацию. Оба работают в университете: Рита – на кафедре русской литературы, Лёва – на кафедре физики, работают азартно и как пре-

подаватели, и как исследователи. Мы с Ритой оказались одной породы – интерес к науке был у нас органическим, мы способны были говорить о наших темах без конца, что со стороны, должно быть, выглядело порядочным занудством. Риту вдохновлял особый интерес к философско-поэтическому содержанию литературы и связанным с этим поэтическим формам. Недаром свое докторское исследование она посвятила проблеме философского метаянтра и философской поэзии начала XX века – Бунину, Блоку, Маяковскому. Что же касается научных интересов Лёвы, то я в них ничего не понимаю и потому не могу рассказать о них.

Одессит Саша Грузберг, у которого пятый пункт тоже подкачал, приехал в Пермь учиться, женился на местной девушке Люсе Обориной и стал пермяком. Оба лингвисты. Саша – человек очень добрый и добродушный, страстный книголюб, его домашняя библиотека, я думаю, в Перми вне конкуренции, и мы частенько прибегали к его помощи, когда нам нужны были книги, которых нельзя было обнаружить в университетской или областной библиотеке. Он очень увлекался и увлекается научной фантастикой на английском языке, и когда в России появились частные издательства, он занялся художественными переводами с большой пользой для читателей и для своей семьи. Мой муж тоже этим увлекался и, достигнув пенсионного возраста, говорил мне, что охотно бросил бы свою работу по материальному снабжению и стал бы переводить, если бы это давало постоянный и достаточный заработок. Но он не дожил до времени, когда это стало возможным.

Люся Грузберг – большая умница, отличный лектор, добрый товарищ, с большим чувством юмора, прирожденная оптимистка. Редко я видела ее без улыбки, смеялась она часто и охотно. Ей довелось поездить в качестве преподавателя русского языка по многим странам мира. Мы, по сути невыездные, слушали ее рассказы с большим интересом. Не будучи еврейкой, она была как бы нашей посланницей в странах, с которыми большинство из нас в то время могли познакомиться только заочно.

... А еще мы дружили с Лёней и Таней Сахарными, приехавшими в Пермь из Свердловска, со Смириными, Изей и



Идой, перебравшимися в Пермь из Алма-Аты. Лёня был одаренный лингвист и разносторонне талантливый человек, очень контактный и доброжелательный. Он притягивал студентов как магнит, они просто роились вокруг него, выступал ли он перед ними в роли преподавателя или же в роли руководителя самодеятельности. Он пел, сочинял юмористические тексты, режиссировал студенческие спектакли.

Для Лёни Сахарного язык был не безличной структурой, а живым языком людей, подобно тому как для Льва Кертмана история была живой историей «человеков». Лёню интересовали вопросы психолингвистики, и он был очень инициативен в своих теоретических и экспериментальных исследованиях. Он придумывал и проводил разного рода анкетирование и другие эксперименты, втягивая в эту работу студентов. У него учился на первом курсе наш Лёня, через его научную школу прошел Боря Чарный. Пожалуй, по числу учеников, не только «курсовиков» и дипломников, но и тех, кто стал под его руководством кандидатом или доктором наук, он был среди нас рекордсменом. Несколько позже вровень с ним встал в этом отношении его друг, коллега и тезка Леонид Николаевич Мурзин. Борин брат, Юра Чарный, учился у Мурзина, его статья об иронии напечатана в научном сборнике кафедры, возглавлявшейся Мурзиным.

У Лёни Сахарного была еще одна примечательная особенность: он был человек широкий в отношениях с другими, умел ладить с людьми очень разными и мог пойти на компромисс, не отказываясь от своего понимания вещей. В нем не было той немудрой задиристости, которая (каюсь!) была свойственна мне, формулировавшей иной раз свою точку зрения недипломатично и резко, не было и той наивности, что была присуща Мурзину, человеку по-детски чистому и нередко высказывавшемуся с излишней прямолинейностью.

«...» Изя Смирин был едва ли не первым в стране (и по времени, и по уровню) специалистом по творчеству Бабеля, заядлым библиофилом, превосходным лектором, «отъявленным пропагандистом», как выразилась, характеризуя его, Рита Спивак. До Перми он работал в Алма-Ате, откуда его фактически уволили, не проведя по очередному конкурсу в связи с кампанией по укреплению алма-атинских учебных заведений кадрами

коренной национальности. Работая в пермском пединституте, Изя опубликовал целую серию интереснейших статей о Бабеле, высветив его многообразные связи с русской и еврейской классикой. Они читались как части большой книги о писателе, которую автор так и не успел собрать. Ему мешала, быть может, его страсть к просветительству – уж очень охотно и часто читал он лекции по русской литературе перед самыми разными аудиториями в Перми и Пермской области. Безотказно, всегда с полной готовностью он встречался с молодыми литераторами и нелитераторами, делился своими знаниями и размышлениями, пропагандировал книги, живопись. Его любили. Любили многие. Когда друзья и ученики Израиля Абрамовича пришли проводить его в последний путь, их оказалось намного больше, чем можно было предположить. Он был несколько старше шестидесяти, т.е. совсем не стар по нынешним меркам, но не перенес операцию, как и Леонид Владимирович Сахарный. Похоже, оба они стали жертвами уровня возможностей российской медицины постперестроечного периода.

Близким другом нашей семьи была Наташа Петрова, в прошлом моя студента, почти ровесница и друг нашего Жени. Ныне она доцент Пермского педагогического университета, «в девичестве» – пединститута. Шла она к этому очень трудно. Знающий, увлеченный, способный литературовед, она, будучи наполовину еврейкой, не смогла устроиться на преподавательскую работу в Перми и, оставив мать и маленького сына, уехала работать в далекое от Перми Кемерово. Она попала туда по приглашению Кемеровского университета, филологи которого, услышав ее выступление на научной конференции в Донецке, высоко оценили ее возможности. Проработав там год или два, она вернулась в Пермь, уже имея стаж вузовского преподавания. Но и на сей раз ей, по-видимому, не удалось бы устроиться в пермском пединституте, если бы мой муж не помог ей в этом, используя служебное положение.

Я подружилась также с бывшими нашими студентами Татьяной Тихоновец, ныне доцентом Института культуры и театральным критиком, и ее мужем Володей Винниченко, поэтом. С ними я особенно сблизилась в годы перестройки, когда мы вместе остро переживали все события в Белом доме и вокруг

него, не отходили от телеэкрана и тут же обменивались впечатлениями, въявь или по телефону.

Я назвала здесь тех, с кем мы встречались домами, делились едва ли не всеми нашими проблемами, кому доверяли полностью, всегда или на определенных этапах. Были у нас и другие друзья и единомышленники, может быть не такие близкие, но всё же, – среди них уже упомянутый выше Леонид Николаевич Мурзин; его коллега по кафедре Соломон Юрьевич Адливанкин, талантливый лингвист, прославившийся также как галантный красавец-мужчина, знаток поэзии, сам пишущий стихи, блестящий лектор и автор учебника по столь трудному для студентов предмету, как старославянский язык; Нина Евгеньевна Васильева, очень талантливый литератор, прекрасно владеющий пером, и к тому же человек отзывчивый, способный решать всякие сложные проблемы с врачами, лекарствами и пр., отнюдь не только для себя, а и для других. Для многих ей доводилось играть роль «скорой помощи», и она делала это с дружеской готовностью и часто успешно. Я сердечно дружила со своими бывшими студентами, а позже аспирантами, Светланой Краснобаевой и Лидией Жереховой. Тепло общалась с Ниной Горлановой и ее мужем Славой Букуром, ставшими писателями. Нина в свое время училась в одной группе с Женечкой и тем была мне особенно близка, а Слава очень помог мне перед отъездом решить проблему с Осиной могилой.

⟨...⟩ Каждый из наших пермских, и не только пермских, друзей достоин особого разговора. Большинство из них – яркие люди со сложной судьбой. Многие, как и мы, попали в Пермь в силу перипетий истории страны, это было в некотором роде ссылкой, и мы всегда это ощущали. За многие годы Пермь стала нам близкой, но всё же не забывалось, что мы не оттуда. Вокруг Перми было очень красиво: Кама, ее притоки, леса, холмы, – но это был не наш край, и климат там был для меня тяжелым, мало приветливым, слишком холодным. Климат идеологический был в первое время после нашего приезда, в пору хрущевской оттепели, вполне приемлемым и внушавшим надежды, но уже с середины 60-х стало холодать. Была какая-то закономерность в том, что на каждом этапе жизни, с каждым нашим переездом более или менее либеральная атмосфера, какой она виделась

нам вначале, неуклонно сменялась ужесточением ситуации. Условия, казавшиеся благоприятными, надежды, иллюзии или, на худой конец, возможность успешного балансирования в какой-то момент внезапно вытеснялись поворотом вправо, обострением противоречий, усилением противостояния и борьбы разных идеологических тенденций. Это происходило и в центре, и «на местах». В Перми немало конфликтов такого рода было и до меня, и при мне. С ослаблением оттепели пошла столкновение за столкновением, история за историей. Когда началась перестройка, снова потеплело, снова расцвели иллюзии и снова потом пришлось пережить их утрату.

В ту пору поворот к старому особенно резко обозначился на конференции 1965 года. Это была большая межвузовская конференция по проблемам литературоведения. Было много участников из других городов, все мы тоже, конечно, выступали. Выступил и студент-старшекурсник Женя Тамарченко с докладом о Солженицыне. Солженицын тогда еще был новинкой, открытием. Он был в чести, Твардовский напечатал в «Новом мире» его рассказ «Один день Ивана Денисовича», положивший начало развитию лагерной темы, до того не допускавшейся на страницы советской печати. Казалось, что этим навсегда сняты все запреты и небо над нами почти безоблачно. Но тучи уже начали сгущаться. Женя Тамарченко работал до этого над творчеством Хемингуэя под научным руководством Бельского. Ретроградные требования Александра Андреевича заставили Женю сменить руководителя; он перешел к Римме Васильевне Коминой и стал работать над новой темой. Бельский выступил на конференции с резкой критикой доклада Тамарченко, обвинил его в отступлении от принципов марксизма и заявил, что, ввиду идеологических ошибок Тамарченко, он вынужден был отказаться от руководства его работой. Зал был шокирован. Помню реплику историка Гордона из пединститута в ответ на упрек Бельского в адрес Тамарченко, что у того в докладе нет цитат из классиков марксизма: «Я каждый день надеваю свежую рубашку, но я вовсе не должен повсюду кричать об этом».

Был набран сборник по материалам конференции, но еще до его выхода состоялись заседания парткома университета, факультетское партсоборание, заседание бюро горкома. Во всех ин-

станциях Римму Васильевну осудили, дали ей партийное взыскание, отозвали с должности старшего научного сотрудника, на которую перевели год назад, чтобы дать ей возможность завершить задуманную ею докторскую диссертацию о стилевых течениях в советской литературе, а уже готовый набор сборника рассыпали. Декана Мурзина и замдекана Сахарного лишили этих должностей. В общем, шума было много и головы летели. Вслед за этим «политическим делом» на факультете возникли другие. Факультет был взят под особый контроль, облегчавшийся тем, что на нем, как и всюду, нашлись и стукачи, и ревностные инициаторы подобных дел. Эти люди, охваченные «азартом попадания в директиву» (выражение Л. Гинзбург) и охочие до «охоты на ведьм», жестко придерживались позиции «Держать и не пущать».

⟨...⟩ Расскажу также историю, связанную с учеником Риммы Васильевны, отличным студентом Игорем Кондаковым. Он, будучи секретарем комсомольского бюро факультета, сказал на одном студенческом собрании, что Павка Корчагин сегодня уже не является идеальным героем для молодежи и что теперь желателен герой, обладающий не столько классовым чутьем, сколько высоким интеллектуальным развитием. Сразу же прогремел гром. Вместо московской аспирантуры, которую прочили Кондакову, он попал в сельскую школу, где работал, надо сказать, талантливо, на совесть. Потом он наверстал свое – и аспирантуру закончил, и печататься стал широко, и лекции читал в московских вузах, и докторскую написал. Но тогда путь в науку ему преградили. И то, что он преодолел преграды, демонстрирующие мракобесие властей, свидетельствует о его одаренности и силе воли.

Показательна также история, случившаяся с Леонидом Николаевичем Мурзиным и Ритой Соломоновной Спивак. Шла студенческая весна. После отъезда Сахарного студенческую самодетельность факультета курировал Мурзин. Ребята из творческого кружка, руководимого Ритой Соломоновной, подготовили сценку по мотивам пьесы Горького «На дне» о ситуации на филологическом факультете и отношении к факультету университетских и городских властей. Сатин в этой сценке жаловался, что у него болит голова. «Почему это?» – спрашивали его. «Да

ведь бьют и бьют, и все по голове», – отвечал Сатин. Программу предварительно просматривала комиссия парткома. Мурзина и Спивак обвинили в идеологических ошибках. Леониду Николаевичу дали партийное взыскание, отозвали из Ленинградского университета его документы, представленные для защиты докторской диссертации, и сорвали ему защиту. Мурзин попал в больницу в предынфарктном состоянии и смог защититься только через год или два. А ведь он был настоящим ученым, организовал новую кафедру, имел множество аспирантов. Он фонтанировал идеями и был очень любим своими коллегами и учениками. Риту Соломонову власти прочили после скандала с самодеятельностью в «героини» городского пленума по идеологии. Уже был подготовлен проект решения о недопуске ее к идеологической работе, что означало не только перспективу увольнения из университета, но и невозможность получить работу где бы то ни было, включая школу. Бельский стал говорить «наверху» о том, что Рита Соломоновна якобы собирается уезжать в Израиль, а такое намерение уже само по себе в те времена вызывало гонения. Друзья Риты подняли на ноги самые разные силы, чтобы отвести от нее опасность. Люся Грузберг стала распространять слух, что Рита беременна, а беременных женщин увольнять было нельзя. Старый приятель Риты, учившийся в школе вместе со вторым секретарем горкома, пошел к нему на прием с просьбой о помощи в этой ситуации, но тот не сумел или не захотел сделать это. Наконец, знакомая Ритиной подруги, бывшая в то время любовницей какого-то другого партийного секретаря, воздействовала на своего возлюбленного в желательном направлении, и пленум был отменен. Ну чем не политический детектив в периферийных масштабах?!

У меня в Перми тоже было немало трудностей подобного рода, хотя, может быть, и не столь тяжких, а может быть, я не так остро реагировала на подобные вещи, поскольку изрядно закалилась еще с запорожских времен. Работать на кафедре Бельского, а после его смерти в 1977 году под началом его вдовы Яшенькиной, не менее ретивой партийки и куда более скандальной особы, чем был он, мне было не просто. Ректорат позволил Яшенькиной унаследовать от мужа кафедру, «чтобы научное направление кафедры не изменилось», хотя она не была

ее штатным работником и имела степень кандидата наук не по филологии, а по философии. Бывали дни, когда я старалась не заходить в комнату нашей кафедры и отдыхать между лекциями на соседних, так мне было неприятно на нашей. Благо, на факультете и преподаватели в большинстве своем, и тем более студенты относились ко мне хорошо <...>.

## РИММА ВАСИЛЬЕВНА КОМИНА

*М.В. Воловинская*<sup>3</sup>

85 лет – юбилей относительный, думаю, что мама была бы смущена намерением коллег еще раз почтить ее память в связи с этой скромной датой. В прекрасной книге «Римма», за которую я бесконечно благодарна всем, кто был причастен к ее созданию, и в первую очередь, конечно, Нине Евгеньевне Васильевой, сказано уже очень много... Что можно к этому добавить? Мама нередко говорила мне, что окружающие переоценивают ее возможности. За месяц до смерти она перечитывала свои дневники, написанные в школьные и студенческие годы, подводила жизненные итоги, подчеркивала отдельные фразы и оставляла на полях комментарии. Так, в дневнике за 1945 год есть запись: *«Если я чего-нибудь добьюсь в жизни, то это из-за моего обычного желания “перешагнуть через себя” <...> Во мне нет таких внутренних сил, чтобы переделать себя. Все зависит от случайностей (которых в принципе не бывает!)»*. В 1995 (ровно через пятьдесят лет) она прокомментирует свои юношеские рассуждения: *«Я и не переделаю себя никогда, а сделаю больше, чем могла по способностям, только из-за доброго ко мне отношения разных хороших людей. Это и будут неслучайные случайности»*.

В ее судьбе было много хороших людей, но начиналось все с семьи. Ни один праздник в нашем доме не обходился без

---

<sup>3</sup> Воловинская Марина Владимировна, выпускница 1984 г., доцент кафедры русской и зарубежной литературы ПГПУ.

теплых воспоминаний об ее родителях – Наталье Романовне и Василии Родионовиче.

Рассказать о них и старшем поколении маминых родственников в целом, хочу и я в этих заметках. Мои воспоминания основаны во многом не на собственных впечатлениях, а на рассказах мамы и ее записях. Вряд ли мне удастся избежать некоторых неточностей, впрочем, мемуарист, который являлся свидетелем событий, тоже не может претендовать на полную объективность. Мама, приступая к воспоминаниям об учебе в МГУ, которые частично будут процитированы в этом материале, тоже понимала это. Она писала: *«Страшно начинать мемуары... Ведь это – остановить живую жизнь воспоминаний, овеванных сиюминутными ассоциациями, теплом, дыханием жизни в однозначном, застывшем в своей единственности слове. Упростить бывшее, приукрасить себя, задеть близких и неблизких неизбежной неточностью и неполнотой подробностей. Назвать имена. Забыть имена. Но и – надо спешить...»*. Да, надо спешить, другой возможности может и не представиться.

Моя бабушка Наталья Романовна Комина родилась в 1893 году в большой крестьянской семье. У прадеда Романа Дмитриевича, человека мудрого и рассудительного, было семь дочерей и только два сына, что весьма затрудняло ведение хозяйства (как известно, основным работником в крестьянской семье является мужчина), однако семья не бедствовала и избежала раскулачивания только потому, что Роман Дмитриевич ушел из жизни перед самой революцией. Бабушка всегда вспоминала, как ее отец говорил жене по утрам: «Не буди девок, пусть подольше поспят, еще успеют в своей жизни наработаться». Действительно, «наработаться» всем пришлось сполна, жизнь никого не баловала и не щадила, но все достойно несли свой крест, поддерживая друг друга в трудных ситуациях, так, как могут это делать только по-настоящему близкие люди.

Особенно дружны были младшие сестры – Наталья (моя бабушка), Мария и Галина. Все они получили образование в церковно-приходской школе (остальные члены семьи были неграмотными) и стали учителями начальных классов, принимали в 1920-е годы участие в ликвидации неграмотности, работали в сельских школах, позднее бабушка закончила Пермский педаго-



гический институт (который в те годы еще не именовался университетом) и преподавала географию.

В институте учителем Натальи Романовны был Вадим Александрович Кондаков. Фотография, на которой профессор запечатлен в окружении студентов, висела в златоустовской квартире Коминых над маминой кроватью, и позже она вспоминала, что первое, что видела в детстве, открывая по утрам глаза, – лицо профессора Кондакова. Тогда она не могла предположить, что внуки Вадима Александровича, Игорь и Борис, впоследствии станут ее любимыми учениками.

На всю жизнь в маминой памяти осталась трогательная дружба трех сестер Коминых. Может быть, отчасти с этим связано ее особое лирическое отношение к пьесе Чехова «Три сестры». Впрочем, аналогия между чеховскими героинями и сестрами Комиными весьма относительна. Образование бабушки и сестер не было блестящим, но их любовь к детям, огромное трудолюбие, человеческое обаяние, бескорыстие, естественная, как дыхание, доброта всегда вызывали уважение и даже восхищение у тех, кто их знал.

Наталья Романовна была награждена двумя орденами – Ленина и Трудового Красного Знамени. В годы моего детства я безумно этим гордилась, однако сейчас я понимаю, что этот факт может быть воспринят по-разному. Конечно, такое внимание со стороны правительства к скромной златоустовской учительнице в какой-то степени было пропагандистским жестом, но это нисколько не умаляет бабушкиных заслуг. Она не была карьеристкой и конъюнктурщицей, не принимала участия ни в каких идеологических мероприятиях и, кстати, даже не состояла в КПСС. К статусу «кавалера двух орденов» относилась вполне здраво. Когда я в раннем детстве начинала капризничать, мне прикалывали ордена, от чего я сразу почему-то успокаивалась. Бабушка не видела в таком «нецелевом» использовании правительственных наград ничего предосудительного, а, напротив, радовалась, что ее ордена служат доброму делу.

Наталья Романовна единственная из сестер получила высшее (пусть и заочное) образование, Мария и Галина всю жизнь проработали учителями начальных классов, Галина – в Златоусте, Мария – в родном селе Карлыханово.

Мама успела рассказать о Марии Коминой в своих мемуарах, из которых я хочу привести соответствующий фрагмент: *«Моя удивительная, добрейшая теть Маня, воспитавшая пятерых детей рано умершего брата, спасавшая в годы войны нас, многочисленных городских племянников от полуголодного городского лета, ни разу никогда не сказала ни одного слова, в котором был бы скрытый упрек или хоть косвенная похвала себе, такой щедрой. Оду деревенскому огороду и людям деревни написал В. Астафьев – более совестливый, чем все мы, остальные. Да, этот не очень-то уж и большой огород, неустанные труды, привычное самоограничение сделали то, что мы, храня любовь и благодарность к тете Мане, не почувствовали, по сути, что же такое был (в том числе и на Урале) голод середины 40-х годов. Уверена, что наши скромные городские дары ни в какой сопоставимой мере не компенсировали тете Мане того, что было сделано для нас. И эта ситуация может быть прочитана и прочитывается сегодня мной как поголовный долг всех горожан 40-х годов перед нашей бесхлебной и беспаспортной деревней тех лет...*

Улыбкой смягчая эти невеселые мысли, вспоминаю о том, что “зато” теть Маня приглашена была из своей уральской деревни и на мою защиту (имеется в виду кандидатская диссертация. – М.В.), и на мой “банкет”, на который птицу и закуски заказывали в “Метрополе”, а в гостях был не только цвет профессуры моего факультета. Здесь за столом оказался чудом даже Иван Семенович Козловский, в этот час заглянувший к соседу-доценту вместе с Ириной Федоровной Шаляпиной. Кто-то поднял тост за него как за нашу национальную гордость, но Иван Семенович отвел его, сказав, что только время ответит, кто наша национальная гордость, что пока мы можем сказать это лишь о Федоре Ивановиче Шаляпине, чья дочь сидит за этим столом. Выпить же он предложил, разумеется, за “нашего диссертанта”...

Вскоре был сделан жест ответного гостеприимства – на факультет присланы роскошные билеты на “Лебединое озеро”. И вот уже моя теть Маня сидит вместе с племянницей в самом почетном ряду Большого театра, а капельдинеры и другие “посвященные” удивленно и почтительно разглядывают ее не-

*привычную для столичных партеров внешность скромной сельской учительницы».*

Помню, что мама рассказывала еще о наивном вопросе тети Мани: можно ли пойти в Большой театр в домашних тапочках, но в контексте ее воспоминаний эта по-своему выразительная деталь оказалась стилистически неуместна.

С большим уважением пишет мама в дневнике за 1962 год о старшей бабушкиной сестре, которая ушла из жизни в год моего появления на свет: *«29 марта умерла Ефросинья Романовна Трифонова – самая старшая в нашем большом роду. Маринка – самая младшая. Два века – а не просто два поколения. Я бы хотела, чтобы Маринка унаследовала от старшей из маминых сестер ее самое главное качество – бесконечную женскую доброту. Как это воспитать?»* В последние годы своей жизни, в связи с произошедшими в стране кардинальными изменениями, мама неоднократно с улыбкой вспоминала неграмотную тетьку Ефросинью, еще в середине 20 века робко высказывавшую свои предположения «ученой» племяннице: *«Я думаю, Риммочка, чтобы наступила хорошая жизнь, нужно закрыть колхозы (она так и не научилась выговаривать это странное слово) и открыть церкви».* Нельзя сказать, что мама была с ней полностью согласна, но прозорливость ее не могла впоследствии не оценить.

Атмосфера коминской семьи во многом определила мамино отношение к жизни, ее систему ценностей, но не меньшее влияние оказал на нее и отец. Отношения мамы с Василием Родионовичем – это отдельный сюжет, заставляющий вспомнить русские психологические романы 19 века, в первую очередь, «Подростка» Достоевского. В отличие от внутренне цельной, глубоко серьезной Натальи Романовны, Василий Родионович был человеком, который, словно следуя завету Л. Толстого, «рвался, путался, бился и ошибался», ощущал неподдельную вину перед любившими его женщинами, осуждал себя, но всегда был предельно честен перед собой и другими.

Он, как и бабушка, родился в деревне, его отец, сельский священник, был расстрелян в 1938 году. Мама узнала об этом, когда была уже взрослым человеком, возможно, если бы этот

факт стал известен ей раньше, это сказалось бы на ее мировосприятии.

С рождением Василия Родионовича связана любопытная семейная легенда. Он родился на покосе, новорожденного замотали в тряпицу, положили в телегу, утомленная родами молодая мать задремала... Когда телега подъехала к дому, кто-то воскликнул: «Ой, а Ваську-то мы потеряли!». Пришлось возвращаться – живого и невредимого младенца обнаружили лежащим на дороге. Так началась нетривиальная жизнь моего будущего деда.

Классической семьи у маминых родителей никогда не было, именно поэтому она не носила отцовской фамилии, была не Сударикова, а Комина. Василий Родионович ненадолго появлялся в доме Натальи Романовны, затем снова исчезал. В один из приездов (он жил в Челябинске, а мама с бабушкой в Златоусте) он купил дочери пианино, чем потряс ее до глубины души, мама навсегда запомнила, как просыпалась по ночам от восторга, не веря своему счастью, подходила к инструменту и бережно прикасалась к нему. По поводу того, почему отец не живет с ними, у мамы еще в раннем детстве сложилась своя версия. Она связывала это с тем, что всех ее знакомых мужчин звали Иванами, а ее отец был Василием. Нужно отдать должное такту Натальи Романовны, которая не спешила опровергать это предположение, никогда не высказывала обиду на Василия Родионовича в присутствии дочери и пыталась всячески способствовать установлению добрых отношений между ней и ее отцом.

Так или иначе, дед действительно отличался от своего окружения, в ранней юности в период жизни в деревне он плохо вписывался в сельский быт, все смеялись над ним из-за того, что он никак не мог запомнить, как выглядит его корова, поэтому встречать корову с пастбища было для него сущей мукой. «Как же ее можно узнать, – недоумевал он, – если они все одинаковые?»

Зато все знакомые поражались, как точно дед умел предсказывать политические события, также он всю жизнь великолепно играл в шахматы, а будучи уже немолодым человеком, как-то очень лихо угадывал выигрышные номера в «Спортлото» (была такая азартная игра государства с гражданами в советское

время). По профессии Василий Родионович был бухгалтером, одно время работал главным бухгалтером центрального универмага Челябинска. Естественно, на него написали донос, обвинив в хищениях, не сомневаясь, что человек, занимающий такую должность, не может не воровать, что называется, «по определению». Однако недоброжелателей ждало жестокое разочарование: представители правоохранительных органов, пришедшие к деду с обыском, были поражены скромностью обстановки его комнаты и, несмотря на проявленное рвение, не нашли, в чем его обвинить.

Наталья Романовна, не имевшая в 30 – 40-е годы ни малейшего представления о существовании генетики, всегда поражалась, насколько моя мама похожа на своего отца, которого в детстве практически не знала, не только внешним обликом, но и манерой поведения, жестами, бытовыми привычками и даже рассуждениями. Василий Родионович со свойственной его профессии точностью в одном из писем к маме за 1946 год так высказался по этому вопросу: *«Ты похожа и на меня, и на маму (в процентах это выражается, вероятно, так: моего в тебе 50 %, маминого 49 %, от бабушек и дедушек 1 %)*». Дело, конечно, не в процентах, а в том, что отец тоже видел между собой и дочерью важное внутреннее сходство, несмотря на то что по-настоящему познакомился с ней, когда она была уже студенткой.

Естественно, всю жизнь объяснять семейную ситуацию тем, что отец «не был Иваном», мама не могла. В какой-то период она демонстративно отказывалась встречаться с Василием Родионовичем, не желая простить ему нанесенную Наталье Романовне обиду, но потом навсегда поняла и приняла его, и это стало как для отца, так и для дочери огромным духовным обретением и источником ни с чем не сравнимого счастья.

Я с такой уверенностью говорю об этом потому, что не только помню мамины рассказы, но и располагаю документальными свидетельствами – мамиными дневниками и письмами деда к ней. Вот что писала мама в сентябре 1945 года (в эту пору ей 19 лет): *«Думала, что возьмусь за дневник снова только тогда, когда провалюсь на экзаменах, влюблюсь или что-нибудь в этом роде. Случилось большее – встретила с отцом... Сама*

*не верю: ведь именно этого я ждала от нашей встречи еще в шестнадцать лет! Как много дали мне эти дни, ....три дня. Дело не в том, что я увиделась с отцом – мы виделись и раньше, мы переписывались почти с осени... Самое важное и значительное то, что я встретила человека, которого я искала всю жизнь, которого сама выдумала и которого не должно было существовать, потому что физически невозможно представить такую идеальную близость двух людей. И вот он есть на свете. Он любит меня. Он – мой отец...».* Мамино ощущение от встречи подтверждают и письма отца. Парадокс заключается в том, что мама не переживала драму расставания родителей, так как в «полной» семье никогда не жила и не представляла себе, что это такое, зато остро ощутила радость обретения отца в тот момент, когда духовно оказалась к этому готова.

Мне трудно сказать, о чем разговаривали отец с дочерью в далекие сороковые, но думаю, что Василий Родионович, сын расстрелянного священника, воспринимавший жизнь гораздо более трезво, чем мама, счастливая студентка МГУ, не спешил сеять в ее душе семена сомнений, оберегая ее.

Пока дед был здоров, он ежегодно приезжал к нам на десять дней (говорил, что это оптимальный срок для пребывания в гостях: неделя – мало, две недели – утомительно для хозяев), мама знакомила его со своими учениками, он помнил имена многих из них, спрашивал в письмах об их делах, то есть испытывал потребность по-настоящему приобщиться к тому, чем жила его дочь. Добрые отношения сложились у деда с папой, именно его (и маме это было очень приятно) он называл своим любимым зятем.

У Василия Родионовича, кроме мамы, было еще две дочери от разных жен – Наташа и Лида. Обе они стали филологами и работали в школе (Лидия Васильевна, по всей видимости, закончила историко-филологический факультет, так как одно время преподавала и историю, и литературу), несмотря на то что их матери никакого отношения ни к филологии, ни к педагогике не имели. Из-за того что сестры не воспитывались вместе, они воспринимали свое родство и принадлежность к общим корням как-то обостренно-радостно, Лида всегда начинала письма к маме со слов «Римма, родная!». Когда мама умерла, Лида в те-

леграмме соболезнования написала: «Сердце не смирится с потерей, для меня Римма больше, чем сестра, это был дар судьбы...».

Мама тоже воспринимала своих сестер как «дар судьбы». Трудно сказать, как все сложилось бы, если бы Наталья Романовна и Василий Родионович были «каноническими» супругами. Но размышляя о нашей, как выразился дед в одном из писем, «распыленной» семье, я думаю, что Толстой, может быть, был не совсем прав: не все счастливые семьи похожи друг на друга.

*Н.С. Лейтес*

### **СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ (ИЗ КНИГИ «РИММА»)**

Римма Васильевна работала радостно, с неистощимой энергией. Но этот свободный полет вдруг натолкнулся на глухую стену: оттепели пришел конец, мы же, потеряв, что называется, всякую бдительность, проглядели его приближение. Переломным событием для филфака стала межвузовская научная конференция 1965 года по проблемам литературы. На ней открыто столкнулись Римма Васильевна Комина и Александр Андреевич Бельский. Поводом послужила дипломная работа Евгения Тамарченко, тогда студента-выпускника. Тамарченко готовил свое дипломное сочинение о прозе Хемингуэя под научным руководством Бельского, но Бельский быстро стал «чужаком» для этого студента, и Е. Тамарченко публично отказался от его научного руководства. Он заявил об этом письменно на одном из Ученых советов, показав, в сущности, беспрецедентный случай в жизни филфака. Руководство дипломной работой студента-«отказника», но уже по рассказу Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», только что появившегося, но сразу же оцененного как поворот в искусстве к недозволенной прежде правде, взяла на себя Римма Васильевна. С этого и начались тяжелые времена и для нее, и для филфака. Мне, впрочем, рассказывали, что факультету это было не впервой.

В атмосфере все усиливающегося политического похолодания набор «Ученых записок» с материалами конференции, главным образом из-за статьи Тмарченко, по воле партийных властей рассыпан, – Солженицын уже впал в немилость. На Римму Васильевну обрушились репрессии. Она была снята с заведования кафедрой, отозвана из творческого отпуска, получила партийное взыскание, что было, конечно, проявлением снисходительности, – ведь ее могли исключить из партии, а это почти наверняка означало бы потерю работы. Пострадали и члены редколлегии, и декан, и зам. декана. Вслед за этим «политическим делом» на факультете последовали другие, в которых фигурировали студенты. Факультет был взят под особый надзор, облегчавшийся тем, что на нем нашлись и «стукачи», и ревностные инициаторы подобных дел. Их было очень немного, но, как известно, довольно одной ложки дегтя, чтобы испортить целую бочку меда. Все это стоило немало здоровья лучшим работникам и воспитанникам филфака.

Римма Васильевна поначалу, причем довольно долго, держалась в этой ситуации замечательно. Она боролась отчаянно, защищая себя и своих подопечных, кафедру, факультет. Она написала письмо в ЦК, которое, естественно, возымело лишь негативное действие, поскольку его, как было заведено, переслали из центра на рассмотрение местного руководства. Ее смелость усилила восхищение ею, Л.Е. Кертман назвал ее Жанной д'Арк. Да, Римма Васильевна стала героиней факультета, высоко державшей его знамя и за то подвергнутой гонениям. Тут не было ничего театрального, все было всерьез. В свое время она уже видела подобные гонения на «космополитов» и свободомыслящих в МГУ, но сама еще через такое не проходила. Закалки у нее не было. И потом ей, наверное, не верилось, что такие времена могут повториться (с. 109 – 110).



## СОЛОМОН ЮРЬЕВИЧ АДЛИВАНКИН

*В.А. Мишланов<sup>4</sup>*

Начиная эти заметки, я вспомнил один давнишний разговор с проф. Л.Н. Мурзиным, когда мы вдруг задались вопросом, что важнее для вузовского ученого и вузовской науки – интересы собственно науки (фундаментальной теории, доктрины, концепций, разрабатываемых на таких уровнях абстракции, на таких горизонтах мысли, которые с точки зрения учебного процесса явно избыточны) или интересы студента, ради которого в известном смысле вузовский ученый и существует. Леонид Николаевич был убежден, что интересы высокой науки в принципе не могут противоречить потребностям вузовского преподавания. Я, соглашаясь с этим, несколько смещал акцент, подчеркивая, что вузовский ученый во главу угла должен ставить изучение таких проблем, которые, будучи актуальными для развития теоретического знания, в то же время легко могли быть сориентированы на прикладные задачи, связанные с подготовкой специалистов: дидактические, лингводидактические и иные.

Тогда мы сошлись на том, что для того, чтобы стать хорошим преподавателем, недостаточно быть хорошим ученым. Но тот, у кого нет способностей к научным исследованиям, вряд ли может стать хорошим преподавателем. И если бы меня спросили, в ком из известных мне людей наиболее гармонично сочетаются качества и настоящего ученого, и талантливого преподавателя, я бы назвал в первую очередь С.Ю. Адливанкина. Студентом-первокурсником (понимавшим, конечно же, что формальная принадлежность к «профессорско-преподавательскому составу» университета знаком учености еще не является) я воспринимал его не просто как яркого человека, интереснейшего преподавателя, но и как ученого мужа, одного из немногих.

Коллеги, вспоминая о Соломоне Юрьевиче, по-моему, несколько недооценивают его как ученого, в лучшем случае отмечая его интерпретаторский талант или сожалея о том, что он

---

<sup>4</sup> Мишланов Валерий Александрович, выпускник 1976 г., доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой речевой коммуникации ПГУ.

сделал меньше, чем мог и должен был сделать. Список его научных трудов не впечатляет обширностью (не секрет, что, говоря о заслугах ученого, нередко подчеркнута упоминают о внушительном числе публикаций). Но не в том ведь истинный критерий оценки заслуг ученого. Для меня несомненно, что по учености и эрудиции Соломон Юрьевич в действительности был доктором, по преподавательскому дарованию – профессором, и в значительно большей мере, чем многие из докторов нынешних.

Говорю об этом совсем не потому, что так требуется по законам жанра. Я – ученик Соломона Юрьевича, и я имел счастье быть его коллегой. Конечно, он был и блестящим интерпретатором. В том смысле, что, воспринимая чьи-либо идеи, толкуя их, он умел творчески развить их: *«Он легко... входил в строй мыслей другого [ученого]. Можно сказать, что здесь был его талант (один из многих!). Стоит тебе высказать какое-либо необщепринятое соображение по поводу того, над чем ты сейчас работаешь, как он подхватывал твою мысль, начинал ее развивать и... тебе же разъяснять ее... Это был великолепный дар интерпретатора – необходимый компонент всякого научного мышления»*<sup>5</sup>.

Яркой особенностью научных работ С.Ю. Адливанкина была их, как теперь принято говорить, экспланаторность. А это один из методологических приоритетов современной науки (ибо экспланаторность научной концепции не есть нечто техническое, «антуражное», это ее внутреннее, самодовлеющее свойство).

Идеалом историко-грамматического исследования для Соломона Юрьевича всегда было стремление не просто описать ход языковых изменений, а **объяснить** их (при том, что в 60-е гг. прошлого столетия в советской лингвистике для многих были предпочтительней иные методологические принципы, определяемые ориентацией на статический структурализм, для которого описание внутреннего устройства языка становилось главной задачей, описание системы и было объяс-

---

<sup>5</sup> Мурзин Л.Н. Мы звали его Соломоном // Еще волнуются живые голоса. Воспоминания о С.Ю. Адливанкине. Пермь. С. 7.

нением, а вопрос о причинах в синхронной статической системе выносился за пределы «внутренней» лингвистики). В одной из ранних статей он писал: «...И рассмотрение фонетических процессов без учета того, в какой системе соотношений они происходят и какие изменения в эту систему вносят, и, обратно, исследование исторической смены фонематических систем без учета влияния на их трансформацию внесистемных (именно – артикуляционных) факторов – и тот и другой подход может дать лишь однобокие и потому часто несостоятельные представления о природе изучаемых явлений. Необходимо рассмотрение диалектического взаимодействия выражаемого и выражающего. Несомненно, что главной задачей историка языка является раскрытие причин конкретных исторических изменений, – причин, в которых воплощается суть эволюционного процесса»<sup>6</sup>.

В 70 – 80-е годы (в период расцвета пермской школы дериватологии) Соломон Юрьевич самым активным образом участвовал в организации научных конференций по дериватологии. В это время появляются его небольшие по объему, но яркие по содержанию работы по словообразованию – диахроническому и синхроническому.

Исследуя природу лексической (диахронической) деривации, С.Ю. Адливанкин выдвинул и теоретически обосновал интересное, эпистемически весьма продуктивное понятие – *модель словообразовательного процесса* (отличное от давно известного понятия *словообразовательной модели*)<sup>7</sup>. Сосредоточение внимания на деривационном процессе позволяет глубже и точнее осмыслить саму природу номинативной деятельности человека.

В своих дериватологических исследованиях С.Ю. Адливанкин исходит из того же диалектического методо-

---

<sup>6</sup> Адливанкин С.Ю. О некоторых закономерностях эволюции праславянского вокализма // Ученые записки ПГУ. Т. 137. Вып. 1. Языкознание. Пермь, 1965. С. 4.

<sup>7</sup> См.: Адливанкин С.Ю. Модели словообразовательного процесса и способы словообразования // Деривация и семантика. Слово – Предложение – Текст: Межвузовский сб. научных трудов. Пермь, 1984. С. 6 – 13.

логического принципа, на который опирался в изысканиях по исторической фонетике. *«Историческая дериватология не может... автономизироваться от исторической структурологии (“исторической грамматики”), поскольку результаты деривационных процессов прямо (хотя и не в полной мере) отражаются в парадигматической организации языковых знаков и, с другой стороны, поскольку акты деривации непосредственно опираются на эту совокупность в каждый данный период ее эволюции»*<sup>8</sup>.

Другими словами, статическая система языковых знаков (на всех уровнях) в каждый момент своей истории (на данном синхронном срезе) есть результат предшествующих генетических процессов (иначе – исторической деривации), а синхронические деривационные процессы (акты деривации номинативных и коммуникативных единиц в процессах текстопорождения) в известной мере воспроизводят генетические процессы. Этот вывод становится основополагающим для Пермской школы дериватологии (динамической лингвистики). По существу, речь идет об онтологическом единстве, об общности генетических (диахронических) и деривационных (синхронических) процессов, открывающей возможность использования единых понятий и методов в синхронических и диахронических реконструкциях.

Коллеги и друзья Соломона Юрьевича в воспоминаниях о нем сожалеют, что не нашел он тему для докторской – при том что по эрудиции, по учености своей он мог это сделать. Быть может, причина того, что не стал он «оформлять» докторскую степень, кроется в его высокой требовательности к себе. Показательный пример: великолепная статья о хиатусе была расценена им как *«первоначальный, общий абрис некоторого круга вопросов, относящихся к судьбе зияния в истории русского языка»*<sup>9</sup>, в действительности же эта статья представляет собой

---

<sup>8</sup> Адливанкин С.Ю. О предмете исторической дериватологии // Деривация и история языка. Тез. докладов Межвузовской научной конференции. Пермь, 1985. С. 4.

<sup>9</sup> Адливанкин С.Ю. К вопросу об истории зияния в русском языке // Ученые записки ПГУ. Т. XXII. Вып. 1. Языкознание. Пермь, 1962. С. 5.

вполне завершённое, глубокое исследование, обобщающее опыт десятков отечественных и зарубежных исследователей (в статье даются ссылки на более чем 50 работ по этой теме). И главный научный труд Соломона Юрьевича – учебное пособие по истории праславянской фонетики<sup>10</sup> – вполне мог стать основой докторской диссертации. По-моему, С.Ю. Адливанкину как никому иному из специалистов в области фонетики праславянского языка удалось в этой работе осветить важнейшие причины и механизмы эволюции звукового строя языка древних славян.

В прошлых – почти пятнадцатилетней давности – воспоминаниях об этом замечательном ученом я писал, что трудно найти в наших университетах преподавателя, который читал бы курс праславянской фонетики лучше доцента Адливанкина. Упомянутые учебные пособия по этой теме и сейчас пользуются необычайной популярностью у преподавателей и студентов-филологов. Заложенные Соломоном Юрьевичем традиции углубленного изучения языка древних славян по сей день живы в нашем университете, и будут жить, не сомневаюсь, долго, как бы далеко в развитии ни ушла палеославистика, какие бы дидактические и методические новации ни вводились будущими преподавателями старославянского языка.

*Р.Г. Андаева*<sup>11</sup>

«Жизнь можно прожить хорошо, если ты настоящий с другими людьми, если у тебя есть с миром и людьми глубокий контакт, – эти слова принадлежат современному британскому режиссеру Деклану Доннелу.

---

<sup>10</sup> Адливанкин С.Ю. Краткий очерк истории праславянской фонетики. – Пермь, 1973; Адливанкин С.Ю., Фролова И.А. История праславянской фонетики. Ранний период / Перм. ун-т. Пермь, 1978; Адливанкин С.Ю., Фролова И.А. История праславянской фонетики. Поздний период / Перм. ун-т. Пермь, 1979.

<sup>11</sup> Андаева Раиса Германовна, выпускница историко-филологического факультета 1958 г., доцент кафедры отечественной истории ПГПУ.

Вспоминая минувшие годы, ловлю себя на приятной мысли: таких людей в нашем крае, слава Богу, было немало. Среди них и Соломон Юрьевич Адливанкин.

Он был настоящим и с собою и с окружением, которое было, как водится, достаточно разнообразным – коллеги, студенты и ученики, знакомые и малознакомые, друзья и гости дома. Соломону было свойственно создавать вокруг себя обстановку совершенной непринужденности и дружелюбия.

Общественная энергия Соломона Юрьевича была необычайно широка. Самых разнообразных замыслов у него (и когда он был деканом, и когда был просто преподавателем) было немало. Находились единомышленники, подхватывающие инициативу, становившиеся помощниками, соратниками, чтобы воплотить их. Много им удавалось! Тематические вечера с шутками-прибаутками, периодические выпуски стенных газет-полотнищ, концертные выступления, литературные «посиделки» с розыгрышами и т. д. – все это имело огромный резонанс не только в университетской среде. Как слушателям, так и участникам запоминалось и радовало многое – тематическая изобретательность сценариев, нестандартные «решения, исполнительский задор, увлекающей студентов и преподавателей. Огромное значение обретали нюансы, оттенки, иносказания, догадки. Остроумные репризы затем «гуляли» самостоятельно, запоминались, цитировались, становились удачной «подсказкой» при случае.

В те времена, когда читать, слушать, смотреть модно было только то, что проходило жесткую цензуру, любая инициатива, основанная на других подходах, была чревата большими неприятностями. Однако Соломон Юрьевич, как и иные, нередко шел на риск.

Мне запомнился, да, полагаю, и не мне одной, музыкально-литературный вечер, посвященный литовскому композитору, поэту и художнику М.К. Чюрлёнису. То был 1974 или 1975 год. Организатором его был Соломон Юрьевич. Чюрлёнис, говоря сегодняшним языком, – это «другое» искусство. А значит, нежелательное для распространения. Замечу, в проведении такого вечера нужны были не только искреннее желание (ибо Чюрлёнис – удивительный мастер!), но и достаточная решительность:

можно было «схлопотать» общественное замечание, наказание, а то и оргвыводы.

Микалоюс Константинас Чюрлёнис (1875 – 1911) – уникальное явление в истории литовского искусства, да и в истории европейской культуры. Но в силу обстоятельств (плохая сохранность его живописных и графических произведений, требовавшая реставрации и поэтому не позволявшая транспортировать живопись и графику по выставкам) Чюрлёниса мало видели, мало и плохо знали. А главное, за художником в те годы закрепилось название «художника-мистика», «непонятого», «трудного», а потому ненужного для зрителя. Чрезвычайно настаивало официальную критику и то, что искусство Чюрлёниса не было связано с повседневной реальной жизнью.

А между тем его музыка, поэзия, живопись, графика связаны с мечтой, сказкой, фантазией, легендами, да и с философскими размышлениями. Многие же его живописные и музыкальные произведения навеяны были природой родного литовского края, загадочными легендами литовского народа. Действительно, работы очень необычные – и по названию, и по исполнению, особенно живописные и графические. У живописных и графических произведений Чюрлёниса были названия, ассоциирующиеся с музыкальным настроением, музыкальной терминологией. И это тоже было необычно. Такого типа произведений у него немало: «Соната весны. Скерцо», «Соната весны. Анданте», «Соната Солнца. Аллегро», «Соната солнца. Финал». В заметках художника можно прочитать: «Рисую сонату... Дается она с трудом... Но какая радость работать упорно, бешено, почти до потери сознания, забыв все».

И правда, искусство необычное, но завораживающее!

В 70-е годы минувшего столетия творчество Чюрлёниса постепенно стало находить дорогу к зрителям и слушателям, живущим за пределами Литвы. Узнавали о художнике разными путями. Уже был открыт музей на его родине – в Друскининкае. В самом Вильнюсе в 1969 году была открыта галерея им. Чюрлёниса. Появились материалы о творчестве Чюрлёниса и на пермской земле. Прежде всего, благодаря Прибалтике.

...Следует сказать, что своего рода «европейским континентом» для многих из нас в те годы была Прибалтика. Друски-

нинкай, Лиелупе, Тарту, Таллинн (тогда «Таллин» – с одним «н»), Вильнюс, Рига, Паланга, Тракай, Прибалтийское побережье. Отправляясь путешествовать в эти края, мы беспокоились только о железнодорожном, автобусном или авиабилете. Не надо было, как для туристической поездки в Европу, заполнять многочисленные анкеты, собирать подписи о благонадежности, клясться, что в турпоездке советскую родину не подведешь. А при возвращении из путешествия не надо было проходить таможенный контроль.

Колесили по Прибалтике в свое удовольствие! Удивляло, привлекало и радовало все: чистый воздух, хорошие дороги, уютные гостиницы, изящные готические церкви, уединенные средневековые дворики, старинные костелы, смотровые башни, ухоженные пляжи, уличные кафе, бары. И привыкали к сдержанному характеру хозяев, исполненному достоинству. Ездили в те края не только отдыхать и лечиться (в том числе пить лечебную воду). Но и расширяли свои представления о современной культуре. Какие удивительные (несмотря на летний и осенний сезон) демонстрировались там выставки! Ярко выраженные национальные традиции культуры сохранялись не только в музеях, но и в уютных салонах-магазинах, которые предлагали на выбор декоративно-прикладные изделия (керамику, кожу, шитье, вязание, дерево). Музеи под открытым небом впечатляли обилием этнографического материала, оформлением композиций, ярко выраженной любовью к своей традиционной культуре, гостеприимством. Впечатляли каталоги выставок и музеев, где находился материал о сборе памятников, о принципах устройства экспозиций, характеристика наиболее ярких произведений: каталоги были изданы на хорошей бумаге, в плотном переплете, с цветными репродукциями – как в Европе! Книжные магазины, музыкальные салоны изобиловали пластинками и литературой на русском и национальном языках. Просматривая неторопливо книги и журналы на книжных полках, мог встретить самиздатовское имя писателя, поэта. Можно было увидеть альбомы, пластинки, которых в Москве, Ленинграде, Перми днем с огнем не найдешь. И если позволял карман, приобретали любившиеся, чтобы привезти домой.



Для меня Соломон Юрьевич Адливанкин однажды и навсегда стал олицетворением УНИВЕРСИТЕТА.

Было это так.

Август 1969 года. В просторном холле тогдашнего главного корпуса на площадке над входной лестницей стоит высокий, элегантный, очень красивый, совершенно нездешний по манерам и облику человек, который с кем-то увлеченно разговаривает. Я как увидела – так и застыла на бегу. Я не знала, кто он, у меня были свои собственные неотложные абитуриентские дела, но отвести взгляд, переключиться, сдвинуться с места – не могла. В столбняке восхищенного созерцания я находилась до тех пор, пока мизансцена не изменилась, то есть пока поразивший, пленивший, приковавший меня к себе человек не покинул площадку. Из оцепенения вывела мысль: в *таком* университете я очень хочу учиться.

Тут следует сразу засвидетельствовать: личное знакомство не отменило и не ослабило, а подтвердило, усилило это чувство, наполнило множеством обертонов. Хотя в тот момент я и не подозревала, что прекрасный незнакомец – филолог и действительно будет моим преподавателем, и даже деканом.

...Вот я перебираю фотографии, которые позволила скопировать для «Филолога» вдова Соломона Юрьевича, Вера Лукьяновна Шахова, и пытаюсь найти те зафиксированные на бумаге мгновения, ракурсы, которые могут воскресить хотя бы тень впечатления, ставшего для меня 40 лет назад одним из самых сильных эстетических переживаний.

Борода у Соломона Юрьевича появилась после того, как его сняли с деканов. Этот драматический момент хорошо помню: мы начинали учиться в эпоху Соломона, в атмосфере творческой вольницы, а заканчивали уже при А.А. Бельском, в условиях «подморозки» и активного искоренения инакомыслия. Соломонова борода была знаком фронды – именно так «прочитал» это обстоятельство партком, всерьез обсуждавший на одном из

---

<sup>12</sup> Ребель Галина Михайловна, выпускница 1974 г., профессор кафедры русской и зарубежной литературы ПГПУ.

своих заседаний нарушителя университетского дресс-кода – слова такого тогда не было, но суть оно передает точно.

Очевидный контраст между С.Ю. и окружающими выразительно воспроизводят «случайные», «курортные» фотографии, на которых все в полный рост, – тут, как говорится, без комментариев. Единственный, кто, с моей тогдашней точки зрения, в какой-то мере выдерживал внешнее сравнение с С.Ю. Адливанкиным, – это появившийся на телеэкранах к моменту нашего окончания университета Тихонов-Штирлиц...

Наверное, такое начало воспоминаний о преподавателе может показаться очень несерьезным. Однако, во-первых, любой другой вариант был бы лукавством и искажением, а во-вторых, в данном случае «форма» абсолютно соответствовала содержанию: Соломон Юрьевич был красив, притягателен, неотразим во всех смыслах. Как выразилась Р.С. Спивак, «он был достоин своей красоты».

И прежде всего – С.Ю. Адливанкин был замечательным лектором: вдохновенным, увлеченным, очень внятным, логичным, убедительным. После его лекций по старославянскому языку я никак не могла перестроиться на восприятие древнерусского, мне в нем все казалось неправильным, а мудрая Ксения Александровна Фёдорова, дружившая с С.Ю. с довоенных лет (для него она была «Ася») и прекрасно понимавшая причины моей горячей приверженности к праграмматике, снисходительно и терпеливо втолковывала неизбежность и неотменимость случившихся языковых трансформаций.

Соломон (так мы называли его между собой, но это было не умаление, а величание) говорил на эталонном литературном языке, был тончайшим стилистом и слыл ходячей энциклопедией, – не дай бог, было при нем позволить себе какой-нибудь речевой или грамматической ляп, стыда не оберешься. Однако та же Ксения Александровна рассказывала мне, что в свое время он приложил немало усилий, чтобы избавиться от белорусского акцента, и его эталонная речь была результатом целенаправленного труда. Для выразительности он нередко использовал контрастные стилистические краски: *добре, дюже, друже*. Одно из писем с фронта заканчивается привычным с детства «всего наилучшего».

Он был родом из Минска. В 18 лет уехал в Москву учиться, поступил в знаменитый ИФЛИ. Юноша 1922-ого года рождения, плюс восемнадцать... Да, то самое поколение, которое прямо из школы, с первого курса института шагнуло в войну. *«Работаю командиром разведки», – сообщал он в письмах к родителям и заверял: «Живем ничего, весело». О главном – между делом, вскользь: «Я, право, каюсь – замолчался. То да се, – время уходит, устанешь, набегаетесь, потом отдыхаешь, потом снова в перепалку... Одет я тепло: получили еще по паре теплого белья, 2 пары теплых портянок, шапку-ушанку, шерстяной подшлемник, ватную куртку и брюки, теплые перчатки, плащ-палатку – кажется, все. Впрочем, чего же еще?»...*

Мне хорошо знакома интонация и слог этих писем с фронта: такая же уверенность в победе, бодрость и забота о родных – в письмах маминого брата, тоже московского студента, навеки сгнувшего летом 1942 года под Сталинградом.

Соломон Юрьевич был дважды ранен, в 1943-ем оказался в госпитале в Саратове и был признан негодным для военной службы. По-видимому, это спасло его от гибели, он попал в считанные проценты оставшихся в живых мужчин из своего почти полностью выбитого поколения.

В 1946-ом году С.Ю. закончил в Саратове Ленинградский университет, эвакуированный туда во время войны, то есть как бы два университета сразу: Саратовский и Ленинградский.

Дипломную работу писал под руководством одного из самых талантливых советских ученых-литературоведов – Григория Александровича Гуковского.

Учитель, окруженный на послевоенных фотографиях благодарными, веселыми, смеющимися учениками, вскоре попадет под очередной репрессивный каток. В 1949 году Григорий Александрович Гуковский, вернувшийся к тому времени в Ленинград, был арестован в ходе кампании борьбы с безродным космополитизмом и в 1950 году умер в московской тюрьме Лефортово от сердечного приступа.

На летней безмятежности саратовских фотографий 1946 года – незримая зловещая тень эпохи. Эта еще не случившаяся катастрофа готовилась задолго, и Соломон Юрьевич чувствовал ее подземные толчки.

Надежда Гашева вспоминает рассказанную им историю: во время войны в часть, где он служил, приехал генерал Батов и во время знакомства с личным составом обратил внимание на бравого сержанта с медалью «За отвагу» на груди.

– Фамилия?

– Сержант Адливанкин, товарищ командующий!

– Белорус?

– Никак нет, еврей!

Командующий, готовый было к похвале, помрачнел и удалился...».

Может быть, ощущение неблагополучия и заставило его, несмотря на уроки и рекомендации Гуковского, предпочесть литературоведению более дистанцированную от идеологии лингвистику.

Впрочем, к языку у него было природное чутье и давнее пристрастие. Даже на фронте он находил время для утоления этого интереса: «...изучаю народный язык севера. Он мне глаголет: «Ночень кукушка-та закуковала». – А я ему: «Дюже гоже»».

Работать начал в учительском институте в Балашове – после Саратовско-Ленинградского филологического пиршества здесь было томительно, скучно. Настроение этого времени передают строки из «Послания другу»:

*Ты столько раз просил: «Пиши!» –*

*Да что там... О житье убогом.*

*Полгода я сижу в глуши.*

*Людьми покинутый, и богом...*

*Здесь в школах делают турне*

*В словарь семнадцатого года:*

*Здесь «город» – му-жес-каго рода!*

*Здесь азбука: ка-лэ-мэ-нэ...*

Но, может быть, и тут судьба к нему благоволила и удерживала-хранила в глуши и в тени – уж слишком был хорош, ярок, талантлив, обаятелен, окажись на столичном виду, при всем своем миролюбии, обязательно задел бы чьи-нибудь злоб-

но-завистливые амбиции, а этого было достаточно, чтобы лишиться не только места, но и жизни.

В 1960 году Соломон Юрьевич защитил кандидатскую диссертацию и перебрался в Пермь. Почти через двадцать лет после балашовских «учений», в 1972 году, он будет руководить педпрактикой на нашем курсе, в группе, в которую попала я, – и каждое его появление в школе станет для нас и экзаменом, и праздником одновременно. Мне уже приходилось об этом писать: такого скрупулезного, добросовестного, требовательного и точного в каждом своем суждении методиста я больше не встречала. С.Ю., насколько мне известно, никогда не работал в школе, но замечательно понимал методическую основу, методическую природу школьного урока. Думаю, это обеспечено было собственным преподавательским опытом. Успех его лекций и практических коллегам связывался преимущественно с его личными качествами, с его неотразимым обаянием, артистизмом, и все это действительно работало, но при этом, как мне кажется, недооценивалось его *искусство* преподавателя, великолепно владевшего тайнами мастерства и охотно делившегося ими со студентами.

Немаловажно и другое. Многие вузовские преподаватели отбывают руководство практикой как досадную необходимость, как умаление их вузовского достоинства и, если уж не удалось избежать этой повинности, не утруждают себя тем, чтобы вникать в существо дела.

Соломон Юрьевич не просто вникал, он делал это – он всё так делал! – с интересом и энтузиазмом.

Старшекурсники предупреждали – стращали: конспекты уроков будете переписывать по десять раз.

Это, как и многое другое, связанное с ним, было легендой. Мне вообще не пришлось ничего переписывать. Главным событием в процессе приобщения к учительской профессии под руководством С.Ю. Адливанкина было вовсе не переписывание конспектов, а обсуждение уроков. Он учил нас тому, что сейчас почему-то называется в педагогике словом «рефлексия», – учил адекватному, точному, детальному, разностороннему анализу и самоанализу урока. Ничто не ускользало от его собственного

взора, ничто не воспринималось как незначительное, несущественное – то совершенство, которое в качестве преподавателя являл он сам, имело под собой прочную, тщательно выверенную, продуманную и постоянно обновляемую профессиональную основу.

Внимательно и уважительно выслушав каждого из нас, он обобщал, уточнял, углублял сказанное, и при этом неизменно корректировал ситуацию в сторону поддержания слабейших и охлаждения самоуверенных. Если урок был откровенно и безнадежно плох, он обязательно находил в нем достоинства (не придумывал их, а находил!), если урок был отличный, он указывал (совершенно справедливо) на промахи и недочеты. Это никогда не было обидно – это всегда был очень корректный разговор по существу, разговор о деле во имя интересов дела, это было очень интересно и во всех смыслах поучительно.

В моем случае не обошлось без казуса-курьеза. Первый свой урок я дала, по общему признанию, замечательно, даже Соломон Юрьевич практически не нашел в нем изъянов. А на следующем уроке, проверяя, как ученики усвоили материал, к ужасу своему обнаружила, что они ничего из моего дивного объяснения не вынесли и ничего не знают. Разумеется, это было не совсем так, тем более что «приставала» я со своими вопросами преимущественно к нерадивым, но делала это намеренно: я же так хорошо все объяснила, сам С.Ю. меня похвалил!

Кое-как дотянув до конца урока, в учительской я разразилась горькими рыданиями – случившееся казалось мне полным профессиональным поражением. Недоумевающие учителя (ситуация-то была совершенно штатная, нормальная) утешали меня, объясняя, что дети, скорее всего, не столько слушали, сколько изучали юную учительницу, разглядывали ее, но это только подливало масла в огонь.

Соломон Юрьевич узнал о случившемся постфактум, в тот день в школе его не было, но безучастным не остался. Разговор со мной он перенес из школы в мирную обстановку собственной квартиры.

В назначенное время я явилась с очередным конспектом, на который он даже не взглянул.

Разговаривали о разном. С.Ю. очень внимательно и ласково ко мне приглядывался. Только где-то к концу беседы мягко пожурил за чрезмерную впечатлительность. В качестве утешения и награды подарил дивный вид из окна – на Каму, на противоположный берег с уходящим за горизонт лесом, на догорающий закат. И уже у двери сунул мне в руку завернутые в бумажку таблетки элениума, которые велел выпить перед следующим уроком.

Я их долго хранила как сувенир.

А вот сфотографироваться с ним мы тогда как-то не удостоились. Или не удосужились? В юности не думается о мгновении, которое нужно остановить. Теперь приходится довольствоваться фотографиями, на которых он с другими<sup>13</sup>.

Необходимым комментарием к фотографиям мне кажется рассуждение Нины Евгеньевны Васильевой, очень точно определившей природу красоты этого человека: *«Жаль, что многие из знавших Соломона Юрьевича оказывались сбиты с толку и оценивали в нем, прежде всего то, что непосредственно бросалось в глаза и не требовало усилий – его романную красоту и общую романтическую привлекательность. Они делали ее легендой, но подлинной легендой было совсем другое: далеко не всегда выходящее наружу, чистое и почти детское свечение души, ее высокое благородство, столь же детская и по-детски нескрываемая потребность нравиться и быть замеченным; доброта, сама себя не акцентирующая, становящаяся от этого еще более необходимой и дорогой. Доброта его вообще была россыпью, которой он одаривал людей без учета и требования ответной благодарности. Не оттого ли сегодня каждый из нас вдруг обнаруживает, что от этой россыпи досталось и ему – и всем как-то само собой, щедро, без лукавства и расчета. Так делятся добротой только те, в ком она неподдельна и легка. И я грешным делом сегодня думаю, что, может быть, он и красив был потому, что добр?!»*.

А еще потому, что очень талантлив – опять-таки щедро, оплодотворяющее талантлив.

---

<sup>13</sup> См. фотографии на вкладках.

Л.Е. Щербакова вспоминает, как Соломон Юрьевич призвал ее, пропавшую из виду, к отчету о работе над диссертацией неотразимым и ошеломляющим аргументом: «Ведь я обещал?!» (В смысле: обещал помочь – значит, должен выполнить обещание.) Она принесла свои бесчисленные карточки, которые никак не могла привести в систему. Он разложил пасьянс – один раз, другой: «Спишите. Это должно быть интересно. Подумайте».

*«Дома, – рассказывает Щербакова, – я достала метеорологический словарь, открыла, как много раз до этого, на “осадках” – и поняла – сразу и навсегда – что Он – Гений. И через все годы работы с ним я пронесла – и до сих пор сохранила – это чувство ошеломленности. Ошеломленности и восторга.*

*Со временем я поняла, что гениальность не была для него чем-то исключительным. Она его не посещала. Она была его нормой».*

Про него говорили: разбрасывается. Вместо того чтобы сосредоточиться на своей теме, написать и защитить докторскую, дарит свои идеи направо и налево.

Мне тоже чуть было не подарил. Весной 1974 года, за три месяца до защиты диплома, я все еще пребывала в смутном творческом поиске. «*Галя, давайте сядем, подумаем вместе, выберем тему и сделаем работу*», – кто еще мог это предложить, кроме него?!

Предложение я не приняла (во мне вырвались собственные идеи), но ни минуты не сомневалась, что это была не фраза и не поза, – именно так помогал он очень многим, абсолютно бескорыстно, как бы между делом, тратя себя на это безрасчетно и щедро.

Более того, ему все – и литературоведы, и лингвисты – стремились представить свои тезисы, рефераты, доклады, диссертации. Одобрение Адливанкина значило больше, чем вердикт соответствующей комиссии. Кроме уникальной разносторонней образованности здесь срабатывало еще два обстоятельства: его мысль работала снайперски точно, из хаоса отрывочных наблюдений и невнятицы сырого материала он легко выстраивал систему, при этом был непревзойденным стилистом.

Его учебник старославянского языка, по которому десятилетиями учились студенты, стал событием и в научном мире.



А докторскую не защитил потому, что, как объяснил Н. Гашевой, «не хотел работать локтями». И еще, наверное, потому, что для него было естественнее и важнее помогать другим – «разбрасываться»... То есть – одаривать.

И был он так прекрасен в своей щедрости и так щедро делился своей красотой, что и по прошествии трех с половиной десятилетий после нашей с ним разлуки, и через четверть века после своего ухода, он стоит у меня перед глазами совершенно живой и вспоминается с нежностью, восхищением и благодарностью.

*В.Л. Шахова-Адливанкина*<sup>14</sup>

**ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИЛИ**

Былые дни, былые вечера...  
Насущное отходит вдаль, а давность  
Приблизившись, приобретает явность.  
Гете «Фауст».

Дом стоял на крутом берегу Камы. Построенный для высшего командного состава Пермского военного гарнизона в 36-м году, он был украшен алыми звездами, которые со временем потускнели и как бы стерлись. Почти стерлась память и о бывших храбрых офицерах и генералах того периода советского государства, когда и армия, и те, кто служили в ней, жили в уважении и почете... Теперь это уже давняя давность.

Мы же переехали в этот дом в 70-м году, когда от его престижа остались только огромные, по сравнению с заполнявшими Пермь хрущевками, квартиры: четырехметровой высоты, с дымоходами для каминов и денщицкими комнатками...

Но переехать – это не значит начать жить. Как и в сегодняшних элитных новостройках, дом нужно было построить внутри.

---

<sup>14</sup> Шахова Вера Лукьяновна, выпускница историко-филологического факультета 1959 г., тележурналист.

И Соломон Юрьевич стал сразу прорабом, маляром, электриком, плотником. Неимоверными поисками и трудами доставая доски, гвозди, краску, обои, даже внутреннюю проводку (все было очень непросто), он один, своими руками смастерил наше красивое, уютное жилье.

Я вспоминаю, как он, высокий, стоит на деревянных козлах и упаковывает проводку в синюю изоленту. Как навешивает светильники-фонари, которые мы привезли из наших путешествий. Как сам сбивает книжные стеллажи и сам, когда мы с ним кочевали по Прибалтике, пытается раздобыть мебель, выстаивая ночами очереди в рижском спецмагазине, с номерком, начертанным на руке. Мне, безмятежно спавшей в гостинице, оставалось только проследить погрузку. Дело в том, что «нерижанам» нельзя было вывозить то, что и самим-то латышам доставалось с трудом. Соломон в очереди познакомился с какими-то (назовем их фарцовщиками) симпатичными ребятами, которые и покупку оформили на себя, и мебель нашу вместе со мной вывезли на какую-то дачу. И пока муж оставался в Риге, чтобы утрясти товарно-денежные отношения, молодцы все упаковали в моем присутствии и, дождавшись хозяина, т. е. Соломона, общим кортежем повезли на железнодорожную станцию...

А там мебель поехала в Пермь, а мы – в дальнейшее путешествие... (о путешествиях, которые Соломон любил совершать, я еще расскажу...)

А пока мы начали жить в нашем доме на набережной.

Течение Камы, густой лес на противоположном берегу. Звездное небо, казавшееся совсем близким к нашему балкону на последнем этаже дома. Поющие соловьи. Ласточки, слепившие гнездо на балконе, обучающие птенцов полету и каждый год возвращавшиеся к нам.

Все это: бесконечно текущая вода, близкие звезды в ночи, восходы и закаты солнца – создавало ощущение жизни в центре Вселенной.

Летним днем Кама оживала: уходили от речного вокзала в плавание большие белые теплоходы, стремительно мчались «Ракеты», «Метеоры» и, как ни странно, иногда продвигались медленные плоты. С палуб кораблей, возвращавшихся из дальних плаваний (Пермь – Волгоград – Астрахань – Ленинград и

т.д.), лилась и далеко разносилась по воде популярная в те годы музыка. Особенно помнится песня Геннадия Шпаликова «Пароход белый-беленький, белый дым над трубой, мы по палубе бегали, целовались с тобой...».

Вечерами Кама затихала, темнела, зажигались бакены. Под балконом по набережной маршировали курсанты, готовясь к отбою (наш дом примыкал вплотную к зданиям Высшего Военно-инженерного училища ракетных войск). Мне всегда становилось весело от курсантских песен, и придумывалось невольное, что чеканящие шаг роты выдают в текстах важные секреты отечественного вооружения.

Соломон сидел поздними летними вечерами на балконе, смотрел вдаль, думал о чем-то, и со стороны казалось, что он слит воедино и с уходящим за горизонт светилом, и с тихим плеском воды, и с чернеющим небом...

А вообще, балкон наш, большой, широкий, где легко размещались небольшой стол и стулья, нередко становился гостевым пристанищем. Мы нагревали электрический самовар и, бывало, сиживали за ним знаменитая балерина Татьяна Михайловна Вечеслова с Людмилой Павловной Сахаровой, писательница Виктория Токарева, драматург Мария Сторожева, поэт и прозаик Елена Андреевна Вечтомова – вдова поэта Юрия Инге, погибшего в самом начале войны при выводе кораблей из Нарвы, балетмейстер Николай Боярчиков, театральный художник Алла Коженкова, литературный критик Лев Ильич Левин, декан РГГУ Галина Белая и, конечно же, близкие друзья-ифлищцы Борис Шварцкопф и Ефим Гинзбург – профессора Института русского языка при Академии наук СССР.

И еще многое множество наших друзей и знакомых из круга ученых, журналистов, писателей, актеров.

Как-то гастролировал в Перми «Театр на Малой Бронной». И в нашем доме «по случаю» после телепередачи и спектакля оказалась группа артистов и в их числе Леонид Броневой. Он был еще сравнительно молод, прост и легок в общении. Видно было, что в театре его «любят и почитают».

Равных Леониду Броневому по умению и таланту рассказывать «случаи из жизни» и анекдоты, пожалуй, нет. Могу свидетельствовать.

Смех в нашем доме стоял до утра. Он же был, как всегда, невозмутим, как сыгранный им впоследствии Мюллер. Только в глазах «прыгали чертики».

Запомнилась иная, неожиданная по произведенному впечатлению встреча.

В Университете проходила одна из конференций по языкознанию, по окончании которой некоторые из ее участников пришли в наш дом. Среди них оказался знаменитый академик Себастьян Шаумян, выдающийся специалист по проблемам общего языкознания.

Ужин был скромный. Беседа – тихой и неспешной. Как-то с самого начала создалось ощущение не встречи, а прощания.

Я не могла отвести глаз от лица этого человека. Не знаю, сколько лет ему было. Но бывает красота, обреченная на вечность...

И в вечности этой красоты изумляли, поражали глаза – огромные, темные, погруженные в себя.

Иногда он вдруг вскидывал седую голову и оглядывал сидящих как-то вопрошающе, как будто хотел что-то услышать. Получить ответ.

Как Гамлет со своим неизменным «Быть или не быть?»...

Оказалось, что Себастьян Шаумян стоял перед выбором отъезда из Москвы, из России. Навсегда. Он был погибающе растерян...

Как сложилась его судьба – не знаю. Но его – помню.

Мы не жили уединенно. Жили шумно, весело, очень насыщено. При том, что я много работала, как говорится, с утра до ночи, пропадала в командировках, а Соломон Юрьевич был деканом, секретарем партбюро факультета, увлеченно, страстно занимался самодеятельностью, т.е. наш дом часто без нас скучал, а сын обитал у бабушки и тоже без нас скучал.

Но все свободные часы, выходные, вечера, праздники мы были дома, с родными, друзьями. Старались выбраться «на природу». Чаше с семьями Мурзиных и Потаповых. Зимой уезжали на лыжную базу, брали напрокат лыжи, и Соломон, покруче

многих, на вираже съезжал с гор. Я же трусила, и Нонна Потапова учила меня, как, ребром ставя лыжи, сползть с горы.

Летом ходили «по грибы». Леня и Рита Мурзины с сыном Колей, Виктор и Нонна Потаповы с дочками Таней и Леной. «Чин по чину» – с корзинами и ножами набирали грибов и дома варили грибовницу.

Соломон любил своих коллег, своих студентов, своих аспирантов. Хлопотную работу в деканате разделяла с ним Елена Николаевна Полякова – серьезный ученый, благородный человек, обаятельная женщина.

Друзья упрекали: «Почему ты не пишешь докторскую?» – «Мне гораздо важнее помочь проложить путь своим ученикам», – объяснял Соломон.

Когда приходила аспирантка Люда Щербакова, она, волнуясь, как школьница, еще в прихожей говорила мне: «Я боюсь, как я боюсь, мне неловко, я делаю все не так!» А потом они часами сидели в большой комнате, и Соломон Юрьевич обстоятельно, спокойно и кропотливо работал с ней.

Когда же приходил Саша Грузберг, то робела я. Было в нем что-то от героев знаменитого английского кинорежиссера Питера Гринуэя. Какая-то степенность, уверенность, загадочность.

Защита его диссертации, впрочем как и Людиной, прошла успешно.

Приходили студенты, то ли перед экзаменом, то ли после, скорее – второе...

Девочки, как птички, стайкой влетали в комнату, усаживались за стол, и начиналось чаепитие-щебетание. Как будто наши ласточки впорхнули с балкона. Всем было легко и весело.

Когда мы переехали в «наш дом», сыну Максиму исполнился год. День этот – 29 сентября 1970 года – помню до мелочей.

Это был первый большой праздник в нашем доме. В ту пору у нас жили мама и папа Соломона Юрьевича, приехала из Ленинграда моя сестра Тамара, нагруженная продуктами (неизбежная многолетняя проблема пермяков), и все они, включая мою маму и меня, хлопотали в кухне и кружили вокруг стола.

К вечеру стали собираться гости – друзья-приятели, коллеги по телевидению и университету и еще родственники, и еще добрые знакомые.

Подарки на виновника суеты сыпались как из рога изобилия. Но особый восторг вызвал у него трехколесный велосипед, на который Максим с нашей помощью водрузился и практически весь вечер крутил педали.

Это был подарок семьи Дедюкиных – Людмилы Михайловны и Михаила Николаевича. За столом они были самыми почетными гостями. И не только потому, что Михаил Николаевич стал знаменитым пермяком, построив и возглавив как ректор, на долгие годы Политехнический институт. Уже возводили за Камой напротив нашего дома политехнический городок – его детище, его гордость.

Мы просто очень любили этих людей. За их доброту, открытость, за честнейшую честность во всем, за равнодушие и помощь людям, за их преданность друг другу. Они и познакомились-то в блокадном Ленинграде, на Дороге жизни, где спасали людей, погибающих от голода и от ран, и где сами спасались верностью, мужеством и любовью.

Многие пермяки помнят, как трагически развернулась судьба Дедюкиных. Погиб Никита – уже взрослый сын. Долгие дни напролет разыскивал отец утонувшего сына, а потом слег от неизлечимой болезни, а вскоре и сам ушел в ту дальность, откуда не возвращаются. На его похоронах у Соломона Юрьевича в очередной раз сорвалось сердце, случился новый глубокий инфаркт.

...Но вернусь к семидесятым. Годы были заполнены интересной работой у меня и у мужа, было много творчества, новых знакомств, дружеских встреч, поездок. Впрочем, к этому времени Соломон объездил уже почти всю страну (а тогда это был СССР!): все республики Средней Азии, Украину, Молдавию, Белоруссию, весь Кавказ, Прибалтику, окунул ноги в Байкале и привез омуля. Но мы так долго хранили рыбку, ожидая гостей, что в холодильнике ей стало жарковато, и попробовать ее не довелось. Не был он лишь на Дальнем Востоке, о чем горько сожалел, но уж так случилось... А вот на Соловках побывал со студентами!

Многочисленные поездки выявили некоторую его склонность к авантюризму.

Так, например, когда он любовался Литвой, ему очень захотелось посетить заповедное место на Балтике – Ниду. Но там шло какое-то важное строительство, и об этом даже сообщалось в газетах, а вот пускать туда любопытный люд было запрещено.

Как мы давно знаем, охота – пуще неволи. Соломон, заболев желанием побывать-таки в Ниде, отправился в Клайпедский стройтрест, стройуправление № 4, в чьем непосредственном ведении и находилась загадочная Нида.

Что он там говорил, кого очаровал – не знаю. Но дома хранятся подлинные документы, содержание которых я излагаю:

*Клайпеда, 1 августа 1975 года. № 756*

*Справка*

*Настоящая дана ПРОРАБУ СУ-4 Кл.СТ тов. Адливанкину Соломону Уравичу в том, что он ведет спецмонтажные работы на котельной в гор. Нида.*

*Начальник СУ-4 Кл.СТ (Гелингис).*

А к справочке этой приложено командировочное удостоверение:

*Выдано Адливанкину С.У. ПРОРАБУ СУ-4, командированному в г. Нида. Срок командировки – 3 дня по 6 августа 1975 г. Убыл из Клайпеды 1 августа 1975 г.*

Все печати и подписи на положенных местах.

А дальше я поверила ему самому и вам, читатели, того же желаю. Соломон Юрьевич никогда не сочинял впустую.

Путешествуя по Армении, он, будучи в Ереване и налюбовавшись его красотами, «заглянул» к Католикосу, сумел с ним познакомиться, вызвал к себе доверие и симпатию, имел счастье встречаться и беседовать с ним не один раз. Оба остались довольны друг другом, и, вернувшись в Пермь, мой муж уговаривал меня переехать в Армению, где мы «будем жить в доме из розового туфа». Я соглашалась. Но, увы, состояться сему не было суждено.

В Грузии он «зашел» к грузинскому Католикосу, и произошло приблизительно то же самое: знакомство, интересная беседа и даже прогулка к замку царицы Тамар.

В Тбилиси Соломон впервые услышал о водах Логидзе. Вернее, он сначала выпил необычайно вкусной газированной воды, разноцветье и разнообразие которой его поразило.

Продавец поведал ему, что изобрел производство этой воды некий Логидзе (имени я не помню), который долгое время жил в эмиграции в Америке, а теперь вот вернулся на родную землю и вместе с сыновьями открыл на проспекте Шота Руставели большой специальный магазин – «Воды Логидзе».

Долго ли любопытному человеку дойти туда, куда ведет интерес. Соломон нашел то, что хотел, и познакомился с батоно Логидзе, который щедро угощал его «соками всех фруктов мира», которые, будто брызгами редчайшего шампанского, наполняли высокие прозрачные бокалы.

Когда же мы отправлялись в поездки вместе, то он непременно водил меня к «старым проверенным знакомым». В Сухуми мы ели настоящие хачапури у Гурама, в Одессе починить обувь мог только мастер Беретто – высокий пожилой красивый итальянец. Уж как он оказался в этом городе у моря, только ему и известно. Помню, что его мастерская – высокая узкая будка – примыкала к самому популярному в Одессе ювелирному магазину, в витрине которого висели на веревочках огромные «слитки золота» – муляжи, обернутые в позолоченную бумагу.

В Одессе же Соломон повез меня на Привоз, а потом и на Толкучку – знаменитый вещевого рынок. Добираться туда пришлось на подхваченном по дороге мотоцикле. Вот тут-то, на прославленной барахолке я поняла, что значит – толчея. Огромная плотная масса, где каждый так плотно прижат друг к другу, что не поймешь, где именно твои руки-ноги. Едва попав в этот «мешок», сразу начинаешь думать, как оттуда выбраться.

Правда, нам выпала большая удача. Мне были куплены настоящие белые американские джинсы – большая по тем временам редкость, а Соломону – ярко-красный пуловер, который он носил долгие годы.

Конечно, это только частицы его путешествий. Его путевые блокноты и записные книжки полны записей о музеях, от-



дельных картинах, церквях и церквушках, дворцах, минаретах, о посещениях театров. Он был горячим театралом и, попав в Москву, Ленинград или какой-либо другой большой город, где на сцене игрались нашумевшие спектакли, непременно шел в театр. Благо, ему везло. Возвращаясь домой, отчитывался: у Любимова на Таганке был, в «Современнике» был, у Ефремова был, в Акимовском в Ленинграде был, был и у Якобсона, попал на спектакль к Райкину...

Правда, однажды в Москве, не встретив известного режиссера Владимира Шлезингера, с которым был дружен и который, естественно, способствовал проявлению любви друга к театральному искусству, Соломон «пошел на таран» театра «Ленком». Он забрался по пожарной лестнице и через открытое окно (дело было летом) шагнул в театральное пространство. Ну а там, внутри, для него препятствий не было. Его всегда принимали за своего: то ли знакомый актер, то ли критик, то ли представительское лицо... место для него всегда находилось.

А вот однажды в предновогодней столице ему непременно, тотчас же захотелось побывать в нашумевшей «нехорошей квартире», где «квартировали» какой-то срок булгаковские герои – Воланд с компанией. Ну и отправился Соломон на Большую Садовую...

Свидетельство этому хранится в его архиве: фотография милой интеллигентной молодой женщины с надписью: «...В память о вечере воскресном на Б. Садовой улице в доме № 302-бис возле квартиры № 50, 27 декабря 1978 г.».

Я, конечно, не помню, как звали эту «странную сумасшедшую», как сама себя назвала прелестная и приятная московская литературовед-экскурсовод. Как не вспомню, были ли они в самой квартире. Но то, что они до глубокой ночи сидели на ступеньках лестницы, то и дело обращая взоры на № 50, и говорили о Михаиле Афанасьевиче, Елене Сергеевне, о неизвестных тогда широкому кругу читателей подробностях их жизни и творчестве самого Булгакова, запомнила со слов мужа.

Случались и потрясения. Такое, буквально, произошло в Ташкенте, где Соломон Юрьевич был на научной конференции. Внезапно номер гостиницы, в которой он остановился, «поплыл», завалился, зазвенела люстра, а со стола сползла чашка.

Выскочив в коридор, он наткнулся на бежавшую горничную, которая, крикнув: «стойте под притолокой!», тут же исчезла. А застывший на месте уважаемый лингвист не мог сообразить, под какую притолоку он должен встать. Все, к счастью, завершилось очень быстро, землетрясение ограничилось незначительным толчком. В память об этом событии Соломон купил на восточном базаре две пары старинных четок, которые должны были «снимать напряжение». И мы оба, бывало, прибегали наивно к их «магическому свойству».

Наш дом в семидесятые был похож на улей или большое беличье колесо, где всё и все вертелось, кружились в вихре работы, набегов множества друзей, участников лингвистических конференций. Я очень много ездила в командировки, пропадала на съемках, репетициях, вела передачи в кадре, редактировала авторские сценарии и значилась редактором почти всех телеспектаклей. Редакция-то моя была «художественной».

Виктор Астафьев, Лев Давыдычев, Владимир Радкевич, Алексей Домнин, Алексей Решетов, художники Александр Репин, Анатолий Тумбасов, Иван Борисов, Евгений Широков, Маргарита Тарасова, Павел Шардаков, искусствоведы Галина Поликарпова, Наталья Скомаровская, Раиса Андаева (просто не перечислить все персоны, пермские и московские, и из других больших городов) были «подопечными» пермского ТВ, занимавшего тогда третье место после двух столиц.

Соломон иногда говорил мне: «лучше бы ты была преподавателем, чаще бы мы видели тебя дома».

А сам с утра, непременно повязав галстук, как бы подчеркивая необходимость выглядеть элегантно, мчался в родной университет, который любил до самозабвения, серьезно и много работал в деканате, буквально «сгорал» в смотрах художественной самодеятельности и – главное – вел занятия со студентами. Лекции, семинары, экзамены. Дома, на столе – всегда куча тетрадей по древней грамматике, которые нужно было проверить.

Он еще умудрялся заниматься хозяйством, забегал в полупустые магазины, ездил на рынок, к поездкам из Москвы и Ленинграда, когда друзья «подкидывали» нам продукты.

Уговаривая меня «идти в науку» (я даже сдала под его напором кандидатский по философии), он сам все увереннее ста-

новился телевизионным журналистом. Помогая мне перепечатывать мои сценарии, он начинал их «править», придумывать эпизоды и постепенно так увлекся, что стал соавтором, а в написании текстов – просто Автором.

Вместе с ним мы «создали» один из первых цветных телефильмов о хранящейся в Пермской художественной галерее уникальной иконе «Богоматерь Владимирская с клеймами». «О Руси Великой и ордынском хане Темир-Аксаке» – так назвали мы фильм. А повествовал он о походе на Русь Тамерлана и о победе славянского воинства. Сопровождали фильм фрагменты оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии». Музыка и либретто просто сливались с изображением. Оператором был наш корифей Михаил Заплатин, а озвучивал текст, который от первой до последней буквы написал Соломон, известный ленинградский актер Олег Окулевич. После записи Олег Георгиевич признался, что очень давно не получал такого удовольствия от чтения замечательного, на редкость талантливого текста. Фильм этот был закуплен многими странами и, естественно, много раз прошел по экранам нашей страны.

К глубочайшему сожалению, в титрах имя Адливанкина не значилось. Не вписывали его имя и в программе «Телемост Пермь-Свердловск-Челябинск-Тюмень», хотя популярная тогда диктор Свердловска, а затем Москвы, Тамара Останина, читавшая журналистские тексты, сказала: «Пермь – впереди. Никто и нигде так хорошо не писал о своем крае!». А случилось «вето», запрет на появление Адливанкина в кадре и титрах сразу, как только мы стали мужем и женой. Меня вызвала к себе в кабинет главный редактор нашего художественного вещания Ольга Анатольевна Черемухина, закончившая ИФЛИ в 1941 году, уже ехавшая по направлению в Брест, когда началась война. С дороги она возвращалась с беженцами, добралась до Перми, и здесь взяли ее на работу инструктором в Обком партии. Ведала она культурой. Была образованна, умна, да, честно говоря, талантлива и порядочна. Видимо, она не совсем соответствовала укладу жизни и стилю работы высших партийцев, и когда представилась возможность «найти ей подобающее место», она и была направлена в набирающую силы и уже признанную в стране те-

лестудию. Мы, молодые, лихие в работе, отчаянные новаторы, сразу полюбили свою начальницу, а она полюбила нас.

Так вот, любимая моя «Бабушка» (так за глаза звали мы О.А, так как были много ее моложе) сказала мне: «Вера Лукьяновна! Передачу “О слове нашем” Ваш муж вести больше не может. Семейственность не рекомендована». Ольга Анатольевна была явно смущена. Потому что эта самая неприемлемая семейственность всю процветала: Соколовы, Ивановы, Берестецкие, Березовские, да и мужья и жены под разными фамилиям – целые кланы...

Мне так было жаль Соломона. Он уже сроднился со своей программой, ему было самому очень интересно и составлять ее, и отвечать зрителям на многочисленные их вопросы. Оказалось, что зрители Пермского края хотят говорить правильно. Они привыкли к ведущему, доверяли ему. За все годы моей длительной работы на ТВ такого количества писем не было никогда! Можете мне поверить...

К моему удивлению, Соломон спокойно отнесся к решению, которое явно было принято не Черемухиной, а кем-то сверху. Ведь над нами тогда стояли и цензоры из Обллита, и кураторы из Управления культуры и Обкома КПСС (да и КГБ в стороне не оставался).

Так мы с мужем стали «подпольщиками». Ну, как в кино Юлия Кима переделали в Ю. Михайлова. Уйдя из эфира, мой законный муж стал моим помощником, моим редактором, моей машинисткой. Конечно, это не было системой.

Большую, значительную часть своей работы я делала сама. А к помощи Адливанкина прибегала в самых ответственных случаях. Но о его даре, нашем соавторстве и готовности помогать знали все мои друзья. Телевидение – творчество коллективное. Мы и творили целыми группами. Зачастую это происходило в нашем доме, иногда сутками. По полу раскладывались отпечатанные листы сценариев (печатал всегда Соломон), а к утру мы мчались в родное «Т7», чтобы успеть к худсовету.

Мы же, телевизионщики, помогать Соломону в его работе, увы, не могли. Мы были бессильны в его науке, которая со студенчества стала значительной частью его жизни, его судьбы.

В любое время, свободное от нахождения в университете и от хлопот, которые окружали и которыми нагружали его в семье, дома, он садился за свою машинку «Эрика», которая заменила ему старенький трофейный «Рейнметалл», и печатал свои статьи.

В 1972 году был опубликован основной его труд «Краткий очерк истории праславянской фонетики», учебное пособие для студентов. Он был счастлив. Книга удалась, его поздравляли, хвалили друзья-слависты, пришли отзывы из многих городов, из Польши, из Югославии. Во многих излагалась просьба «помочь в приобретении Вашей книги». Я приведу несколько фрагментов из писем, подписи авторов которых разобрать не могу. Конверты не сохранились, а инициалы мне, увы, расшифровать не удалось.

Из Ростова: *Твоя книга заставила нас задуматься над многими вопросами и мы (даже!) отказались от первого варианта своего пособия, где хотели изложить «облегченный» вариант курса.*

*Мы с Ольгой упиваемся твоей книгой, ты действительно смог изложить систему...* Г.

06.03 1972

*С благодарностью подтверждаю получение Вашей книги. Высокий академический уровень Ваших работ всем достаточно хорошо известен.*

*От всего сердца желаю Вам дальнейших успехов.*

*Проф. Р. Гельгардт.*

26.04.1972

*Дорогой Соломон Юрьевич!*

*Сердечно благодарю Вас за хороший подарок – Ваши тщательно выполненныйopus. Внимательно его еще не успел прочитать, но, в общем, труд производит добротное впечатление...*

*Ваш Н. Толстой.*

Из Москвы: 27.02.1972

*Книга написана всерьез, на хорошем уровне, и если Ваши студенты (не говорю уже о заочниках) по ней работают, они*

*могут получить весьма основательные знания и об общеславянском и по языкознанию в целом.*

*С уважением, Ольга Васильевна.*

*Книгу твою посмотрела. По-моему, это очень здорово. Неужели у вас так серьезно занимаются славистикой? Молодцы! У нас, в общем-то, мало. Фактически 3 спецкурса для лингвистов – украинский, польский (или чешский) и сравнительная грамматика. Я очень люблю этот предмет. За книгу великое спасибо. Всяческих тебе благ дома и на работе.*

*Саратов. Галя.*

Однако «блага дома и на работе» неожиданно обернулись бедами.

Внезапно заболел серьезно Максим. Первый приступ астмы – и мы все трое в больнице. С утра до вечера я с трехлетним сыном в боксе, вечером сразу приезжал из университета муж и оставался до утра. На какое-то время болезнь удалось заглушить. Но потом проявления ее участились, приступы стали более затяжными. Скорые помощи, кислородные подушки, больницы. Соломон разыскивал специалистов по всем городам и весям. Мы уезжали в Краснодар, к сестре его Рае, в Кисловодск, Вильнюс, в Ленинград, где сын задержался надолго и отец оставался с ним. Дома нам помогала моя мама, с которой у Соломона сразу же, как только мы поженились, сложились добрые родственные отношения. Ни раздражений, ни размолвок, никаких разногласий. Только уважение и забота друг о друге, а значит, и о семье.

А между тем работа продолжалась. Как-то я уехала в командировку в Кудымкар, и вдруг позвонил Соломон: «Постарайся приехать быстрее, у меня неприятности, - и довольно спокойным, но каким-то упавшим голосом добавил – в университете».

Я помчалась на автовокзал и первым же автобусом выехала домой.

Соломон никогда не говорил о своих бедах, как никогда почти не говорил о войне (тема эта был закрытой). «Я больше не декан», – сказал он мне. По лицу, по вдруг ссутулившимся

плечам я увидела, насколько ему тяжело. Попыталась расспросить, но он только сказал: «Не нужно. Это мое. Я так любил эту работу!» и еще добавил «Будь почаще дома!».

И тут я вспомнила, что незадолго до этого Максим, пережив приезд скорой помощи и «надышавшись кислородом», произнес совсем недетский монолог-упрек: «Когда я был еще очень маленьким и жил в родительном доме, я мечтал, что у меня будут мама и папа. Но папа всегда в Университете, а ты всегда на телевидении...»

Я обняла мужа: «Солик, мы теперь оба будем чаще дома».

У него действительно появилось больше времени, и он проводил его с сыном. Они много разговаривали друг с другом, лепили из пластилина, выпиливали лобзиком самолетики, машинки.

Умевший с 3-х лет читать, Максим увлекся «папиными языками», учился распознавать буквы и слова древних славянских и древне-русских языков. И как-то незаметно пристрастился вместе с отцом проверять контрольные. Они устраивались (усаживались) рядом: большой папа и маленький сын, который точно показывал, где ошибка. Соломон очень гордился Максимом.

На каждый его день рождения мы приглашали к нему друзей-ровесников: Митю Серебренникова, Сашу Зозулю, Кирилла Дедюкина, Сашу Михайловского. «Ди-джеем (по-нынешнему) был Соломон. Он придумывал забавные конкурсы: играли в буриме, сочиняли стихи, рисовали портреты друг друга, лепили из пластилина, пели любимые песенки, играли в 12 записок...

Мальчишки от души веселились. А потом были маленькие смешные подарки и подарок-сюрприз, необычный и впечатляющий: мама Мити, Татьяна Петровна Чернова, опубликовала в газете «Вечерняя Пермь» репортажи с детского праздника. Тут уж начинала звонить вся знакомая Пермь!

Мальчишки давно стали взрослыми. Кирилл Дедюкин – врач-анестезиолог, Саша Зозуля – специалист по кондиционерам (живет в Израиле), Саша Михайловский – физик, один из ведущих специалистов американского университета в Санта-Барбаре, Митя Серебренников – директор «Юридической фирмы», живет, как и его мама, Татьяна Петровна, в нашем городе.

Т. Чернова по-прежнему остается одним из лучших журналистов Перми.

Из воспоминаний Т. Черновой:

### **СОЛОМОН**

*Он был необыкновенно красив. Не только внешне, хотя в первое мгновение привлекал его облик – высокий рост, складная фигура, красивая борода и необыкновенные глаза, словно «читающие» собеседника. Буквально с первых минут знакомства поражала способность Соломона Юрьевича вести беседу. Он умел слушать (дар довольно редкий), любил дискутировать, но больше всего, так мне кажется, стремился быть полезным – старался не просто выслушать, а дать мудрый совет. Причем делалось это без назидания, с шуткой или легкой иронией, что придавало разговору доверительный тон.*

*В нем удивительным образом сошлись, соединились две великих культуры – Востока и Запада. Эрудиция и интеллект Запада в сочетании с экзотической мудростью Востока настолько органично смешались в Соломоне, что благодаря этому крутому «замесу» он был ни на кого не похож. Этакая «Белая ворона» среди обычных пичужек...*

*Любопытно, что он умел быть абсолютно разным: несколько отстраненным на лекциях, своим в «доску» с друзьями, сдержанным в официальном кругу и очень домашним в семье. Его лекции в университете пользовались огромным успехом у студенчества, а его передачи о русском языке по местному телевидению смотрела и обсуждала вся Пермь.*

*Еще одно поразительное качество было у Соломона Юрьевича – он умел дружить, и был в дружбе очень преданным. Как это ему удавалось в то жесткое время, – секрет. Наверное, были в его допермском периоде сложные жизненные ситуации, но он умел хранить молчание и всегда все невзгоды и неприятности (вроде обсуждения на партсобраниях) принимал с достоинством, никогда не жалуясь на обстоятельства, отравляющие ему жизнь.*



*Отец и муж Соломон был потрясающий – водил сына по врачам, бегал по магазинам, стараясь облегчить домашним быт.*

*Нет, я не делаю из него икону. Конечно, у Соломона были недостатки. Но, признаться, мы старались их не замечать, потому что он был не только старше нас, но и мудрее... И все телевизионное братство его сильно уважало.*

...От рождения у сына был хороший слух. Иногда он напевал что-нибудь услышанное с пластинок. Раздавались звуки:

– «Ля-ля-ля, ля, ля, ля, ля...», – узнавалась ария Джильды.

Было удивительно и забавно. Мы решили определить его в музыкальную школу. Время зачисления уже прошло, но Соломон, разузнав, кто самый лучший в городе педагог, отправился «на поклон» к Ирине Дмитриевне Колесниковой. Она согласилась послушать мальчика и в результате взяла его к себе в обучение в третью музыкальную школу.

Повезло нам и с роялем. Старинный, со множеством медалей под декой, «Шредер» безвозмездно перекочевал к нам из дома Лены и Бориса Шенфельдов. Дед Бориса – знаменитый в конце 19 – начале 20-го веков пермский доктор Илья Ааронович Левин завещал инструмент внуку.

Теперь рояль живет (если «живет») в университете.

Пока Максим совершал подвиги по сольфеджио и фортепиано, мы – Галка Лебедева, Зоя Падас, Таня Кокшарова, Галя Заугольников, Рита Константинова – авторы почти всех телекапустников, трудились на ниве собственных развлечений, не забывая привлекать Соломона. Шумно и весело отметили сорокалетия всех близких друзей и знакомых. Разыгрывались целые спектакли, создавались поэмы, перформансы.

В теплый май, после дождичка, обрядив себя в несусветные костюмы, мы, чтобы поздравить с днем рождения подругу Зою, наняли кавалькаду такси и отправились в Мотовилиху. Шоферы «по рации» связались друг с другом, хохоча, «ловя кайф»: «У тебя артисты?» – Да. – И у меня артисты!»

А когда вся наша группа высадилась перед домом Зои и на мокрой зеленой лужайке затянула серенады, из окон высыпа-

лись зрители с криками: «Ура» Цирк приехал! Надя Гашева крутила шарманку, а Соломон во фраке, с цветочком в петлице, выплясывал танцевальные па, будто канкан в «Мулен-Руж»...

Так же весело, зажигательно и остроумно отметили мы пятидесятилетний юбилей Соломона 29 декабря 1971 года. Старались все: кафедралы с «заводилами» – Ленями Сахарным и Мурзиным, «остроумец» Феликс Бобков с женой Полиной Галаховой, нашу телевизионную команду поддержала и «поэт всея Перми» Надежда Гашева. К радости Соломона участником юбилейного торжества стал старший сын Аркадий, специально приехавший с женой из Саратова.

В нашем доме, благодаря «Шредеру», стали появляться певцы из Оперного. В самый торжественный момент раздавался звонок в дверь и бас Сергей Кокшаров с «подельниками» – тенорами и басами, влетали в нашу большую комнату, где размещалось до 30 – 40 человек и во всю консерваторскую мощь запевали: кто куплеты мсье Трике из «Онегина», кто «Эпиталаму» из «Нерона», и, конечно, романсы. Тут за рояль садился Максим, и под его аккомпанемент Сергей пел «Гори, гори моя звезда»...

И наступало затишье, к горлу подкатывал комок, вспомнились те, кого уже с нами не было: Ксения Александровна Федорова, Маша Сторожева и ушедшая в 79 году любимая мама Соломона. Он слег в больницу. Сердце всерьез напомнило о себе.

Но Соломон был сильным и мужественным человеком. Слабые на фронт добровольцами не уходят и в 19 лет не назначаются командирами разведки.

Аддиванкин работал. Университет оставался цитаделью его души. Улица Генкеля-1 была его главным адресом. Мелькали дни, годы, менялось поколение студентов. Он все больше говорил дома об оправдавших надежды, о «рванувших вперед», в науку Валерии Мишланове, Владимире Салимовском, Володе Абашеве, Галочке Ребель и Ирочке Овчинниковой, с которой у него сложились особые нежно-душевные отношения. Уезжая в Ленинград по своей кандидатской, она всегда писала своему учителю и как-то прислала фотографию: милая, тонкая, умная девочка с доверчивыми глазами. Эта фотография всегда стояла у

него на книжной полке. А сейчас она в моем доме и всегда напоминает мне мужа. До сих пор помню, как он сидит в кресле возле рояля и рассказывает, кто кем стал и кто кем еще станет. Радовался литературным дебютам Лени Юзефовича и Толи Королева, всегда отличал особое чутье Володи Абашева к новому стилю, открытиям в литературе: и в прозе, и в поэзии. Именно от него, Абашева, пришло к Соломону признание редкой одаренности Виталия Кальпиди. Но человеческой, страстно отцовской привязанностью на долгие годы оставался для него Борис Проскурнин. «Это интеллигент европейского образца, – говорил он мне. – Когда Борис рядом, я спокоен. Таких мало: несуетных, порядочных без оговорок и в то же время доверчивых и добрых. Никогда повышенного на кого-либо голоса, всегда радость за успехи других». Соломон с Борисом вместе занимались художественной самодеятельностью, готовили и проводили студенческие смотры и Весны.

А вот к Екатерине Осиповне Преображенской он относился с особым почтением, как к прекрасной Даме рыцарских времен. Уважал ее, преклонялся перед нею. Когда Е.О. Преображенская и наша семья отдыхали вместе в Предуралье, мы раным-рано отправлялись на прогулку в лес, а вечерами засиживались за светскими разговорами. С тех дней началась дружба Максима с Екатериной Осиповной. Он ездил к ней в дом за книгами и «за беседами». О чем уж они там говорили – не знаю. Но умение вести себя сдержанно и достойно, я думаю, в какой-то мере Максим приобрел в общении с этой «Прекрасной Дамой».

Кстати, в отношении с женщинами, к женщине, Соломон был «романтиком старой закалки». Особенно почтительно относился к пожилым, восторженно замирал перед прелестью юных.

Поэтическое обращение Окуджавы «Ваше Величество женщина...» было свойственно и его сердцу.

«А молодой гусар, в Амалию влюбленный,  
Он всё стоит пред ней коленопреклоненный»...

В одном из воспоминаний о Сергее Довлатове я прочтала недавно: «Он был последним мужчиной в Америке, который целовал женщине руку»... Коленопреклоненно опускался перед

женщинами и целовал им руки мой муж Соломон Юрьевич Адливанкин. Я горжусь им.

В семидесятые как вихрь пронеслось в университете и в нашем доме понятие «Деривация». Его родоначальник, профессор, заведующий кафедрой общего и славяно-русского языкознания Леонид Николаевич Мурзин, человек живой, эмоциональный, словно «Юноша бледный со взором горящим», пробивал свою идею, свое открытие. Он сколачивал своих сторонников, как Ермак дружину. И представители многих языковедов страны откликнулись, и начались наезды в Пермь специалистов, и собирались научные конференции, и известные ученые института Русского языка при Академии Наук СССР, профессора МГУ, остепененные преподаватели из многих вузов страны, становились единой командой, погруженной в самое любимое дело жизни – познание слова и языка. Часто после заседаний собирались у нас дома... И продолжались споры, обсуждения и много шутили, и много смеялись. Как ликовал Л.Н. Мурзин! Его глаза сияли просто «небесным огнем»! Иногда казалось, что этот серьезный ученый – по сути сохраняющий в себе радостное детство, прыгнет на табуретку и произнесет речь, равную тираде Цицерона или Демосфена.

Когда-то в нашу детскую пору была популярной пионерская книжка «Васек Трубачев и его товарищи»... Так невольно соединились в моей памяти герои этой книжки и взрослые – сторонники «Деривации». Ведь и в науке непременно присутствует элемент игры, «загадки-разгадки», а иначе как же «глаголом жечь сердца людей»?

Кафедральные дизайнеры разработали специальный значок с изображением тонкого деревца, пустившего ветки исторического развития «слова». Сторонники «разветвления» тут же приколотили «Деривацию» на свои костюмы. «Знай, мол, наших!». Значок Соломона я храню.

Я не припомню, чтобы на больших или малых сборищах коллег мужа когда-либо вспыхивал политический спор или бурное обсуждение каких-либо событий. Конечно, их не обходили стороной ни Прага, ни Афган, ни Новочеркасск, ни Солженицын, ни процесс Синявского и Даниэля, ни Сахаровская ссылка... Все они переболели этими бедами и, собираясь по случаю,

обсуждали, размышляли и делились тем, кому что удалось прочитать, услышать по «Голосу Америки» или «Радио Свобода». У нас в доме стояла почитаемая тогда «Ригонда». И ближе к ночи мы с Соломоном пытались слушать (а глушили нещадно) «Красное колесо», «Архипелаг Гулаг», новости Севы Новгородцева, Панича, Галича, Вику Некрасова...

Ночами же читали данные «только на одну ночь» «В круге первом», «Раковый корпус», главы «Доктора Живаго» и т.д.

Настоящие политические баталии разгорались в доме, когда оказывались вместе университетская команда и команда телевизионная. Мы были моложе, категоричнее. Идеологически «око государево» пристально наблюдало за нами, и мы в результате такой «опеки» были быстрее и лучше информированы. Сверху «спускались» бумаги-указания: Этого в эфир не пускать! Эту передачу запретить! О войне поменьше! О пьянстве – молчать! Мондрус сбежала! Муллерман остался в Германии! Нурев – предатель Родины! И пр. и пр.

Доходило вплотную и до своих, пермских! Нашу с Галиной Лебедевой передачу о старейшем пермском журналисте Савватии Михайловиче Гинце сняли с экрана, потому что в ней участвовал неугодный пермскому обкому партии Виктор Астафьев.

Телеспектакль по рассказу Льва Давыдычева «Не забудьте мои страдания», объявленный в эфире, запретили, потому что в интриге жена уходила от своего мужа, полюбив другого. А муж был полковником. А от советских полковников жены не уходят!

Передачу Зои Падас о фламандском художнике Якобе Йордансе осудили как «прокладку из голых тел».

Популярная программа Галины Лебедевой «Прошу слова!» о проблеме алкоголизма была ликвидирована как «искажающая советскую действительность».

Когда переброс информации от одной команды к другой доходил до предела, мы все выглядели «бунтовщиками хуже Пугачева».

Останавливал глас Соломона: «Не тарыхтите! Давайте по сути!»

...С очередным сердечным срывом лежал Соломон в ставшей ему вторым домом клинике на Плеханова. Соседом его по палате оказался на сей раз Ари Янович Демьянов – муж Натальи Самойловны Лейтес.

Вхожу, вижу оживленное трио: пришедшая навестить друга Соломона Ксения Александровна Федорова взволнованно читает что-то со страниц чужестранной газеты (как оказалось, польской). Читала, переводила, что-то Ари и Соломон понимали сами. Началось возбужденное обсуждение действий «Солидарности» и ее лидера Леха Валенсы. «Лешек» становился популярным политиком не только Польши. Симпатизировали ему, поддерживали его, пусть и не с трибун, многие в России. Близкие нам люди – тоже.

...Периодами Соломона начинала «мучить» раненая под Курском нога. В ход шли костыли. Он страдал от боли, но еще больше от того, что не может бывать в университете, вести занятия, общаться с коллегами и студентами. Страдало и сердце. Доктора посоветовали санаторий в Кисловодске. Путевку дали на декабрь. 18-го мы проводили его в Москву.

А дальше начинается детективная история. Излагаю ее по письму сына, которое десятилетний Максим адресовал Министерству здравоохранения и Министерству связи.

*Дорогие товарищи!*

*Ваша безответственная работа меня очень возмутила. Мой отец, С.Ю. Адливанкин, 18/XII выехал из Перми через Москву в Кисловодск. Перед отъездом у него был сердечным приступ, и из-за этого он чуть не опоздал на поезд. 20/XII он позвонил из Москвы, что уезжает и что пришлет телеграмму или позвонит. Но до сегодняшнего дня (25/XII) от него не было никаких известий.*

*Что касается работников санатория, то они во время нашего звонка ответили, ЧТО ЕГО ТАМ НЕТ!..*

Прерываю послание, чтобы от себя сообщить, что наши паника и страх не знали предела!

Я в ужасе позвонила в Москву Борису Шварцкопфу. Тот, в не меньшем волнении, связался с каким-то руководством и по всей железной дороге от столицы до Кисловодска был объявлен розыск пропавшего гражданина С.Ю. Адливанкина.

Из письма Максима:

*Мы послали срочную телеграмму на имя главного врача. И что же? Пришла телеграмма, датированная сегодняшним днем от отца, в которой он пишет, что сразу по приезду в санаторий послал нам телеграмму 22/XII.*

*Так вот, если вы хотите, чтобы люди зарабатывали инфаркты, то работайте так же. Если же не хотите, то работайте лучше и не относитесь к работе так халатно.*

*М.С. Адливанкин.*

И немного из переписки отца и сына...

*Здравствуй, папа! Ну как у тебя дела? Хорошо, средне или плохо? Мне абсолютно не везет в рисовании красками: кисть оставляет желать много лучшего и мажет...*

*Я очень скучаю без тебя и все мы тоже очень скучаем. Выздоровливай скорее!*

*Макс.*

*Приветствую тебя, друже!*

*Письмо твое получил, спасибо! Надеюсь, Пермь не замерзает? Здесь тепло и можно ходить без пальтА. Хожу в горы, дышу кислородом.*

*Жму лапу. Папа*

*Привет женищинам!*

*Здравствуй, папа!*

*Как тебе в санатории? Я очень скучаю. Выздоровливай скорее! Извини, но мне кажется, что тебе надо начать собирать коллекцию костьлей, столько их у тебя накопилось... Но лучше выздоравливай и приезжай, мы все тебя ждем.*

*Сын.*

Из открытки с изображением «Кольцо-гора»:

*Здравствуй, друже! Нравится тебе это колечко?*

*Насчет коллекции - обмозгуем вместе...*

*Может, начать бегать трусцой?! Здесь по-прежнему  
хожу в горы и дышу кислородом.*

*Привет женщинам. До скорой встречи. Папа.*

*Кисловодск, сан. «Москва», II корпус, пал. 323.*

Год 1980-й мы встретили втроем: две женщины (я и моя мама) и наш мальчик – сын Максим. Все ждали Папу... В двенадцать часов ночи он позвонил и поздравил нас с Новым годом – 1980-м.

Но я позволю себе вернуться к началу семидесятых, в значительный для нашей семьи период. Женился старший сын Соломона Аркадий и подарил отцу первую внучку – Катю, Екатерину. Моя сестра Тамара родила дочку Анну, мою племянницу и племянницу Соломона. Сын сестры Соломона Раи Борис произвел на свет сына, нам – внучатого племянника. Род Адливанкиных пустил новые ветви...

А само древо? Откуда есть-пошли предки самого Соломона Юрьевича?

Это сейчас стало модным и распространенным - изучение «генеалогических древ». А ведь несколько поколений, запуганных чекистскими поисками «дворянства, белогвардейщины, связей с врагами народа и родственников за границей», молчало о своем происхождении.

Старшие не откровенничали, а молодые привыкли не спрашивать. Вот поэтому я безмерно сожалею, что не узнала многого, а практически – ничего от родителей мужа, да и от него, от его свидетельств остались какие-то крохи.

Раньше и сейчас тоже биографы пишут: «родился в еврейской семье...». Ну а в какой же еще мог родиться Соломон Адливанкин? Не в китайской же! И предки его жили в местах, ограниченных чертой оседлости, как демаркационной линией.

Гомель, Могилев, Витебск, Вильцы, что-то еще из белорусских территорий, где евреям позволено было существовать.



Дед Соломона со стороны отца был балигулой, еврейским извозчиком. Детей было много, в основном – сыновья. Жили бедно. Один из сыновей примкнул к эсерам, скорее – к бундовцам, которые в 20-е годы разошлись с вождем пролетариата и постепенно бежали от ленинского диктата кто куда. Сын извозчика Иосифа Адливанкина уехал в Америку. Железный занавес опустился, и он исчез навсегда.

А вот сын Ура остался, был он хорошим каменщиком, клал печи в бедных еврейских домах. А вот где, как и когда он встретил и полюбил свою будущую красавицу жену – неизвестно. Известно только, что брак был мезальянсом, ибо дед Соломона по маме числился в какой-то немалой должности при Варшавском лесничестве, а значит, и был побогаче. Не очень-то ему хотелось отдавать свою любимицу замуж за Уру, но тот «унес» невесту, как Марк Шагал свою возлюбленную на знаменитой его картине «Полет над городом».

Звали маму Соломона, а это была она, Хайя-Эстер-Мойше Ошеровна Эпштейн (какое прекрасно-певучее восточное имя...). Извлекаю из него вывод: второго деда Соломона звали Моисей Эпштейн.

Официальной черты оседлости уже не было, революция ее уничтожила. И молодые уехали в Минск. Они были счастливы, любили друг друга, и у них родились дети: сын Соломон и дочь Рахиль (Рая).

Дату рождения сына родители при регистрации ребенка «просмотрели»... Он родился 29 декабря 1921 года, а в свидетельстве о рождении стоит дата 15 января 1922 года. Но это ничему не мешало. И никакой роли в жизни не сыграло.

Дети росли. Юрий Иосифович (тогда и позже еврейские имена были не в ходу, их в быту заменяли на русские: Ура – Юра) пошел на повышение, его назначили техноруком на кирпичный завод в Могилеве, он уже значился инженером хлебопекарной промышленности. За мужем отправилась и Эсфирь Моисеевна с детьми. Имя ее стало короче и доступнее, а забот прибавлялось. Она тоже устроилась на завод в один из цехов. Соля (так родители звали сына) учился в школе № 2, вступил в комсомол, выполнял какие-то обязанности в комитете комсомола,

работал над школьной стенгазетой. Подросла и пошла в школу Рая.

Жили-были, как многие семьи в предвоенную пору. Соломон шагал своими длинными ногами из класса в класс... Учился отлично. Отлично и школу закончил. А дальше? А дальше – Москва.

Сохранилась копия письма, которое отправил Соломон Юрьевич в Москву из Перми 21 августа 1984 года. Адресовано оно писателю Валентину Катаеву.

*Дорогой Валентин Петрович!*

*«Основанием» для этого письма служит событие 45-летней давности – столь солидный срок, наверно, может быть принят во внимание.*

*В 1939 году, в августе, перед самым зачислением в вузы, двое мальчишек из Белоруссии пришли к Вам искать защиты и помощи. Я и мой друг Миша Ольховский приехали поступать в МИФЛИ, но получилось неладно: в том году – в последний раз! – чтобы поступить на филологический, надо было сдавать экзамены по всем школьным предметам – и по математике (устно и письменно), и по физике, и по химии... Из 45 возможных баллов требовалось «набрать» 44, а мы срезались на точных науках, и по одному баллу не доставало. Но обоих нас сильно ухвалили на экзаменах по литературе, я писал стихи, а друг состоял в роли штатного критика в литкружке Дома пионеров – и мы сочли себя достойными высокой защиты.*

*Сознаюсь, шли мы не к Вам, а к кому-нибудь из коллег-поэтов, который единственно и мог бы оценить мои поэтические свершения, но в Союзе писателей принимали тогда только Вы – выхода не было! Те мальчики не знали о Вашей ранней поэзии, не было еще «Алмазного венца», где Багрицкий, Маяковский, Мандельштам, – как им было довериться непоэту! И еще: идти к Валентину Катаеву было страшно. (Помнится, мы не знали Вашего отчества, но незадолго перед тем Вас наградили, и, провинциально стесняясь справиться у секретаря, побежали в библиотеку разыскивать газету с Указом).*

*А дальше было все прекрасно! Пиджак (с редчайшим тогда орденом Ленина!) висел на спинке стула, Валентин Катаев*

сидел за большим столом с засученными рукавами – врезалось это. Вы изругали мои стихи, поспорили (о Малларме) с Ольховским, сказали, что в нас, однако, что-то есть, представили зашедшему Павленко и предложили поступать в Литинститут – «правда, если найдется где жить в Москве: общежития нет!». А мы были без жилья, и Вы написали добрейшее письмо ректору МИФЛИ Анне Самойловне Карповой... Вы вручили нам это письмо в незапечатанном виде, полагаясь, естественно, на нашу порядочность, но мы... мы, естественно, прочли его и даже скопировали (не сохранилось!), вслед за Вами подчеркнув дважды слово «талантливые».

В институт нас приняли, а потом фронт, ранения (Ольховского я потерял), поэта из меня не вышло (Вы ошиблись), а стал я лингвистом, работал в вузах – кафедрой заведовал, деканом был, проректором. И все многие годы помню я и друзьям рассказывал, и студентам, как был у самого Катаева.

Но это, конечно, не главное. Главное – это то, с каким великодушным радушием, щедростью, желанием поверить и помочь встретился я, начиная взрослую дорогу.

Вот это взятое у Вас «поверить и помочь» старался, по совести, делать почти столетия.

Спасибо Вам, большому человеку.

Пусть дни Ваши будут светлыми!

С огромным уважением и признательностью

21 августа 1984 года

614001, Пермь, ул. Окулова, 6, кв. 24

Соломон Юрьевич Адливанкин.

Вот так началась в 1939-м «взрослая дорога» Соломона. Восемнадцатилетний, он упивался Москвой, ИФЛИ, лекциями знаменитых профессоров и вечерами поэзии.

Рядом, тут же, в аудиториях и коридорах, на лестничных площадках встречал уже шумевших по Москве Павла Когана, Давида Самойлова, Николая Майорова, Марка Бершадского.

«Все они – таланты, все они – красавцы, все они – поэты», пусть и постарше, но были рядом.

Жить было здорово! Весело и интересно! А денег часто не хватало и на еду. Соломон заболел цингой. Но счастье, как и

поэзия, шли рядом. Синеглазая, тоненькая однокурсница Ася Федорова «буквально «выходила», откормила друга и оставалась с ним рядом до самой войны. И на войну его проводила. Ей он посвятил в 40-м:

Ты вошла в мои сны и дела  
Так неожиданно простая, весенняя,  
И в мой стих жемчугами вплела  
Имя самое светлое – Ксения...

Так случилась в его судьбе первая, самая светлая любовь.

Соломон, как и многие ифлийцы, ушел добровольцем защищать Москву.

15 октября 1941 года он отправил родителям в Саратов, куда они были эвакуированы из Белоруссии, почтовую карточку:

*Родные мои!*

*Уезжаю на фронт командиром. Одет очень тепло. Уверен в себе. Буду бить, как положено. Думаю, вернусь. Но вернусь тогда, когда уже не найдем себе работы в передовых линиях. Целую крепко всех.*

*Горячо любящий Соля.*

А уже 2 ноября 1941 года сержант, командир орудия 694-го противотанкового артиллерийского полка попадает в МСБ-500 на Волоколамском шоссе. Из записной книжки 41 года:

Школьный зал. Голубые стены.  
Под стенами – койки уставлены в ряд.  
Люди на койках. Портрет Ленина.  
Подушки со штампом «Медсанбат»  
За окнами – яблонь замерзшие ветви.  
Мороз. За двойными квадратами рам  
Ветер, метель. Обснеженный ветер.  
В комнате тихо. – Сестра!  
– Сестра!!!

Когда я обращалась в Военно-медицинский музей Министерства обороны по поводу ранений мужа, то узнала, что Медсанбат-500 на Волоколамском шоссе разбомбили до основания. Не осталось и следа. Соломон оказался «везучим» сержантом. Но сколько полегло в снежно-красном месиве под Москвой его ровесников и не только ровесников! Это сейчас понемногу мы узнаем правду о войне.

Первая награда Соломона – медаль «За отвагу», которой он был награжден, защищая столицу, а за ней – всю страну, дорогого стоит.

Почтовые карточки и треугольники писем со штампом «Просмотрено военной цензурой» приходили в Саратов на Приютскую улицу, 56, где снимали жилье Эсфирь Моисеевна и Юрий Иосифович. Оба работали на кондитерской фабрике. Они еще не знали, что все их родные с желтыми звездами Давида на одежде погибли в Могилевском гетто и что еще другие – сестры и братья, и сам Моисей Эпштейн – будут уничтожены в гетто Варшавском.

А их первенец, их бесценный сын Соля будет бить врага и успокаивать маму с папой и сестренку Раю:

*У меня все в порядке. У нас задача крепко бить врага, громить его так, как некоторые мои товарищи по Бронницам, многие из которых служат уже в гвардейских полках. Двое из них награждены. Одному будет присвоено звание Героя Советского Союза – парнишке с 3-го курса нашего института Ефиму Дыскину, звонкому Бронницкому запевале.*

*Так что живу хорошо... Весело. Бодро. Песни поем. Можем и бить и отдыхать. Пишите побольше. Пришлите скорее адрес Аси. Я вам очень благодарен за заботу о ней.*

*С сыновним приветом, Соля.*

Ася Федорова к этому времени тоже жила в Саратове... (Полно и хорошо написали о военном периоде жизни Соломона и об их отношениях с Ксенией Александровной Федоровой Надежда Гашева и Нонна Потапова в книге воспоминаний «Еще волнуются живые голоса»).

Из архивной справки:

*Командир взвода упр. батареи 297 артиллерийского полка Западного фронта старший сержант Адливанкин Соломон Уравич, 1922 года рождения, на фронте Великой Отечественной войны 23 апреля 1943 года получил сквозное пулевое ранение...*

Ранение оказалось тяжелым, и последовали медсанбат, пять эвакогоспиталей и шестой № 3922 в городе Орске. В результате в его «воинском деле» появится запись: «уволен в запас по ранению».

Все это было под Курском, жестокая битва была еще впереди. Но шли позиционные бои. В один из вечеров, уже под ночь, ребята-артиллеристы решили «сходить в баньку помыться». Ну и пошли. Соломон тоже. Только замешкался, шнурок на ботинке развязался. Нагнулся... И услышал грохот. Прилетел в баньку снаряд, а может и не один. Боевые друзья погибли, а он очнулся в медсанбате. «Повезло», как под Москвой...

Ехал солдат из Орска долечиваться в Саратов к маме на улицу Приютская, 56. Думал об Асе. И сложились в поезде Соль-Илецк – Саратов строчки:

...Я, схватясь за поручни,  
Дым пушу махорочный,  
Самый некурящий, – закурю!  
Ночь пойдет бессонная,  
Веки воспаленные  
Встретят невеселую зарю.  
За окошком веером,  
Пыльная и серая,  
Закружится Чкаловская степь.  
Сколько ни проеду я,  
Сердцем и надеждою  
На твоей застряну я версте...

В Саратове военной поры было и голодно, и холодно, но каким счастьем было новое обретение родного дома и долгожданная встреча с Асей...

Но, как это часто бывает в жизни, что-то не заладилось, что-то сорвалось в отношениях с «синеокой иркутяжкой», девчонкой-однокурсницей. Им суждено было расстаться.

Так уж, видно, предназначено  
Волей Вышних сил,  
Чтоб немного неудачно,  
Чтоб немного незадачно  
Я тебя любил...

Расставшись, они не разлучились, оставались верными и надежными друзьями, очень близкими до конца своих дней...

Соломон недолгое время проработал военруком в ремесленном училище, обострилась рана, опять госпиталь. И военкомат «освободил его от воинских обязанностей».

В декабре 1943 года Адливанкин становится студентом филфака Ленинградского университета, эвакуированного в начале войны в Саратов.

...Он зашел в аудиторию, прихрамывая, опираясь на палочку, высокий, худой, в гимнастерке, ни на кого не похожий. И очень скоро стал всеобщим любимцем: отлично учился, читал стихи, писал в университетскую стенгазету. Он вдруг снова почувствовал себя юношей-ифлийцем, погруженным в богатство литературы от средневекового Данте до более близких нашей эпохе Сумарокова, Фонвизина, Державина, Карамзина и, конечно, Пушкина и Гоголя.

Соломону повезло, ему выпал счастливый билет: он стал учеником знаменитого литературоведа, большого знатока, талантливое исследователя русской литературы 18 века, профессора Григория Александровича Гуковского.

Цитирую Г. Макогоненко:

*Г.А. Гуковский был блистательным лектором. Открывая высокий и прекрасный мир идей и образов русской литературы, он увлекал слушателей богатством материала, смелыми концепциями, тонким анализом поэтических произведений. Между профессором и студентами никогда не было дистанции. Его уважали и любили, видя в авторитетном ученом старшего то-*

*варища. Он свободно и легко вступал в споры, не только на семинарах и заседаниях кафедры, но в коридорах университета, после лекций и у себя дома – в кругу друзей и учеников, потому что любил самостоятельную мысль...*

*...Делясь с окружающими всем, чем одарена была его богатая натура, Г.А. Гуковский был счастлив. Душевная щедрость – главная особенность его характера. К нему тянулись все знавшие его люди.*

И Соломон без сомнений вверяет свою судьбу избранному Учителю. И Учитель «отмечает» и «благословляет» тоже избранного ученика. Они становятся друзьями. Соломон пропадает на лекциях, семинарах, сидит в библиотеке, бывает частым гостем в доме Гуковских. А тот, как близкие родные, зовет его Солей. Так же зовет его и шестнадцатилетняя дочь Гуковского Наташа, ставшая впоследствии известной писательницей и киносценаристом Натальей Долининой.

Рядом с Гуковским не рвались снаряды, рядом с Гуковским стояли ратью герои романтиков – Жуковского, Карамзина, Гнедича, Пушкина:

Година страшных испытаний  
На вас ниспослана, Россияне, судьбой!  
Но изнеможете ль во брани,  
Врагу торжествовать дадите ль над собой?  
Нет, нет, еще у вас оружемоцны длани,  
И грудь геройская устремлена на бой,  
И до конца вы устоите...

В университете – почти сплошь девушки, ровесники – на войне. Соломон вернулся, пусть раненый, но живой, значит, и других нужно ждать. Ждать и любить...

Гуковский с Адливанкиным выбирают тему для курсовой – «Лиризм “Божественной комедии” и роль образа поэта».

Она сейчас передо мной, подлинная, с пометами Григория Александровича.

Рассуждая о новых чертах человеческой личности, созданных Данте, студент Адливанкин выделяет:



*Любовь – «любовь, любить велящую любимым».*

*«И знал ли кто-нибудь,*

*Какая нега и мечта какая*

*Их привела на этот скорбный путь!»*

(о Франческе и Паоло)

*Данте понимает, зовет такую любовь: он сам готов так любить, а потом – хоть в ад!*

Руководитель курсовой Гуковский ставит за работу «Отлично».

В Саратове тех лет мирно сосуществовали два университета: свой, саратовский, и ленинградский. Многие преподаватели из ленинградского преподавали и в саратовском (как профессор Г.А. Гуковский), а студенты обоих университетов весело перемещались друг к другу на вечера.

На одном из таких вечеров, чуть ли не на новогоднем, Соломон познакомился с очаровательной красивой девушкой. Звали ее Галина. Она училась на филологическом, но саратовском. Пришла любовь. Вскоре Соломон Уравич Аддиванкин и Галина Николаевна Братчикова стали мужем и женой, а 13 августа 1945 года у них родился сын Аркадий.

(О саратовском периоде жизни Соломона вспоминает профессор О.Б. Сиротинина, заведующая кафедрой русского языка Саратовского университета, в книге «Еще волнуются живые голоса», с. 9 – 13).

Ленинградский университет готовился к возвращению в родной город.

Соломон защитил дипломную работу «Гоголь и русская повесть в “Отечественных записках” 1840-х годов». Его руководитель Григорий Александрович так заключил свой отзыв:

«Оцениваю работу как отличную!

1 мая 1946 года. Профессор Гр. Гуковский».

В этом же году Саратовский университет впервые выпускает исследование Г.А. Гуковского «Пушкин и русские романтики» тиражом в 500 экземпляров, с пометой «бесплатно», книга тогда же стала библиографической редкостью. Конечно, поз-

же она переиздавалась, и большим тиражом, в Москве, в издательстве «Художественная литература», но тогда, в 46-м, первом послевоенном, написанная в эвакуации, она была щедрым подарком университету и городу Саратову, где высоко ценили и любили ученого.

Итак, пришла пора расставания. Григорий Александрович уговаривал Соломона уехать в Ленинград и заниматься серьезной литературно-исследовательской работой. Он очень верил в него, считал его одаренным, талантливым. Но, увы, жизнь распорядилась по-иному. Семья Адливанкиных по распределению должна была выехать на работу в Педагогический институт города Балашова.

Смотрю на редкие фотографии: Г.А. Гуковский среди выпускников Саратовского университета. Снимки сделаны 23 июня 1946 года. Рукой Соломона написано: «между вторым и третьим гос. экзаменами».

А рукой Гуковского: «Дорогому Соле на память о двух университетах от старого Гука» 1946.VI.28

«Старому» Гуку было всего 44 года, а Соле – 24.

Из автобиографии Адливанкина Соломона Уравича:

*С 1946 года работал в Балашовском учительском институте. В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию по русской диалектологии. Два года заведовал кафедрой русского языка, работал заместителем директора института по учебной и научной работе.*

Десять молодых лет пройдут в заштатном тогда городке, где круг общения почти ограничен семьей и институтом. Работает много, работа увлекает, но при любой возможности старается вырваться в Ленинград, в дом Гука. Здесь шумно, спорно, весело. В друзьях Григория Александровича «светила науки» – Б.В. Томашевский, В.М. Жирмунский, Б.М. Эйхенбаум, кинорежиссер Г.М. Козинцев... У Наташи – молодежная компания – смех, музыка, розыгрыши.

Соломон невольно окунался в жизнь особого, высокого звучания.

Вдруг и в этот дом пришла беда. В июле 1949 года Григорий Александрович Гуковский был арестован как враг народа, а 2-го апреля 1950 года он трагически погиб.

Для Соломона это был страшный удар. Он долго не мог прийти в себя. У него даже почерк изменился, как у человека, перенесшего тяжелую болезнь. Я думаю, что с болью этой утраты он жил всю дальнейшую жизнь. Он таил ее в себе, как и войну, о которой никогда не рассказывал.

Спасают работа и семья. Подрастает сын, ласковый мальчик с темными глубокими отцовскими глазами. Жена преподает в том же Балашовском институте, пишет диссертацию. Сам Соломон занимается судьбой местных говоров русского языка, участвует в совещаниях Института русского языка Академии Наук СССР по вопросам составления Диалектологического атласа русского языка, о чем свидетельствуют приглашения доцента С.Ю. Адливанкина в Москву, подписанные Директором института академиком С.П. Обнорским и заведующим Диалектологическим сектором профессором Р.И. Аванесовым.

Студенты относятся к своему преподавателю, как он, еще недавно, к «старому Гуку».

Но случается разлом... в собственном доме. В каждой семье – своя история мужчины и женщины. Галина Братчикова и Соломон Адливанкин в 1956 году расстаются.

По воспоминаниям О.Б. Сиротининой, «суд, вероятно, был потрясен тем, что разводящиеся супруги пришли и ушли “под ручку”, не сказали друг о друге ни одного плохого слова, наоборот, он сказал, что она лучшая в мире жена, а она, что он заботливый муж...».

Галина Николаевна уехала в Москву по вопросам своей диссертации, а Соломон – в Майкоп.

#### *Приказ № 114*

*по Адыгейскому государственному педагогическому институту*

*10 августа 1956 г.*

*г. Майкоп*

*Адливанкина Соломона Уравича, кандидата филологических наук, зачислить в штат работников института по кафедре русского языка и литературы с 1-го сентября 1956 г. с*

*месячным окладом 3200 рублей, избранного по конкурсу на должность ст. преподавателя русского языка.*

*Директор К. Новиков.*

Сына, десятилетнего мальчика, росшего в добре, любви, родители проводили на вокзал и одного отправили в Саратов..., где будет жить и работать мама. Он уже знал, что папы с ним не будет.

Такую беду переживают, к сожалению, многие дети, мальчики – особенно остро. Но Адик выстоит. И обретет характер мужественный и сильный, сохраняя при этом в сердце нежность и доверие. С возрастом в нем все больше будут проявляться черты Соломона: помимо красоты – честность, искренность, щедрость и, несомненно – ум и одаренность.

Он закончит Саратовский государственный университет, станет физиком и будет заниматься разработкой и производством инжекционных полупроводниковых лазеров.

С отцом их соединит настоящая мужская дружба и глубокому родственная привязанность.

Итак, Майкоп, столица Адыгеи, где предстояло С. Адливанкину прожить четыре года. Особая область Краснодарского края, где жили адыги, кабардинцы, черкесы.

Это не Балашов. Здесь другая природа, совсем иные обычаи, нравы, свои устои. В отношениях хотя и строгость, но приветливая. Радущие...

Студенты – как везде. На то и молодость. Соломону нравится с ними работать. А им доставляет удовольствие у него учиться. Полтора года он был деканом факультета, заведовал секцией языка кафедры русского языка и литературы.

К сожалению, я не встретила в его архиве материалов, которые могли бы рассказать подробно об этом периоде жизни. Есть фотографии со студентами, есть изданная в «Ученых записках» Адыгейского пединститута статья «Вокализм русских говоров», но она связана с Саратовской областью.

И есть удивительный знак его пребывания в Адыгее... Он жил один. Семьи не было. Тосковал о сыне. Заботиться о себе не

получалось, и кто-то из коллег по институту посоветовал ему воспользоваться услугами проходящей пожилой домработницы, русской женщины, зарабатывающей на жизнь в семьях интеллигентных майкопцев.

Я не могу вспомнить ее имени, но хорошо помню, как Соломон рассказывал о том, что она, общаясь в «высших кругах», легко схватывала незнакомые мудреные слова, а уж как применяла их в практике...

Однажды она приготовила борщ и, ставя кастрюлю на стол перед Соломоном, произнесла:

«Изготовлено великолепно, изящно, массивно! Отведайте!»

Борщ оказался действительно вкусным. Но горячая кастрюля стояла не на чем-либо, а на редчайшем издании «Академии» 1934 г. «Слова о полку Игореве», древнерусский текст которого был писан и иллюстрирован знаменитым палехским мастером Иваном Голиковым!

Вот тебе и подарок с основательно поврежденным окладом бесценной книги-альбома! Храню, берегу его.

С Майкопа начались Соломоновы скитания по стране, по многим городам и весям. О чем я уже упомянула.

Конечно, бывал в Саратове, где по-прежнему жили родители и сестра Рая с сыном Борей. Непременно встречался с Адиком.

В Москву притягивали друзья-ифлийцы, в Ленинград – память о Гуке. Кажется, он навещал Наташу Долинину...

И еще в Ленинграде жили дядя и тетя Соломона, уцелевшие в блокаду. Единственные из большого рода Адливанкиных – Эпштейнов, кто выжил в войну.

Дядя, Георгий Ефимович Лебедев, окончивший в Минске Белорусский университет в 1926 году, сразу уехал в Ленинград. Работал в институте истории искусств, а с 1933 года – старшим научным сотрудником Русского музея, заведовал секцией русской живописи, отделом нового искусства. Был назначен в 1941 году зам. директора по научной части. Когда началась война, Георгий Ефимович возглавил Русский музей (официально исполнял обязанности директора).

Он и его сотрудники сохранили в блокадном Ленинграде оставшиеся, невывезенные художественные ценности.

Любопытен факт: с 18 сентября по 8 октября 1945 года Георгий Ефимович был командирован в город Молотов (нашу Пермь), для подготовки и отправки ящиков с картинами Русского музея в Ленинград.

Все военные годы бережно хранились бесценные сокровища Русского музея в запасниках Пермской художественной галереи. (Все эти сведения и даже фотографию Г.Е. Лебедева мне предоставили сотрудники «Русского музея», в основном Галина Александровна Поликарпова, близкая моя подруга, долгие годы работавшая главным хранителем нашей галереи, а потом – главным хранителем Русского музея).

Жена Г.Е. Лебедева Фаина Соломоновна была родом из Вильно, до войны работала педагогом средней школы на Фонтанке. Вела уроки химии. В блокаду была рядом с мужем. Мне трудно сегодня разобраться, кто по крови, по родству был ближе Соломону – Фаина Соломоновна или Григорий Ефимович. Мне он говорил: «Мои дядя и тетя». Разузнать уже не у кого. А они оба умерли в 1958 году и покоятся в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.

Мое неожиданное сближение с памятью о них случилось в 2005 году в Институте культуры, где я с оператором Семеном Токманом работала над юбилейным фильмом об истории института.

Однажды я зашла в зал, где состоялась встреча с Михаилом Козаковым, приехавшим в Пермь. Он читал, как всегда прекрасно, стихи, а потом попросил задавать ему вопросы. Один из юношей спросил: «А где и когда Вы научились любить поэзию?»

Улыбнувшись, да скорее рассмеявшись, Козаков ответил: «Вы не поверите. На уроках химии. У нас была замечательная учительница Фаина Соломоновна Лебедева, которая, помимо химических формул и опытов, читала нам стихи. Мы с ней незаметно выучили всего «Евгения Онегина»... И муж у нее был замечательный, знаток русской живописи...»

Мне кажется, что по крови Фаина Соломоновна была к Соломону ближе... но это мои личные домыслы.

Ловлю себя на том, что стараюсь отодвинуть 80-е, слишком они были непростыми (мягко говоря) для нашего дома.

Но сначала о том, как Соломон вообще оказался в Перми... Благодаря Асе, с которой он все годы поддерживал дружескую связь. К.А. Федорова, уехав из Саратова, закончила МГУ, аспирантуру и приехала в 1950-м работать в Пермский университет. Кафедра русского языка и общего языкознания расширялась, и Ксения Александровна рекомендовала руководству пригласить на работу С.Ю. Адливанкина. С 60-го года он – доцент кафедры.

Итак, начало 80-х.

Соломон Юрьевич вернулся из Кисловодска бодрым, здоровевшим и сразу «окунулся в работу». В марте он едет в Тюменский государственный университет, как было принято говорить, «по обмену опытом».

У лингвистов, языковедов языки «отточенные», и они преподносят Соломону следующее:

*В Ы П И С К А*

*из протокола заседания кафедры  
общего языкознания Тюменского госуниверситета  
от 22 марта 1980 года*

*В глуши, в неведенье бесславном  
Увы! Тянулись наши дни  
Мы ничего о самом главном  
Не знали, как же все они –  
Славянские языки – образовались  
И как потом сформировались...  
Но вот премудрый Соломон,  
Презрев покой, а может, сон,  
На нашу кафедру явился –  
И сразу свет для нас открылся.  
По всем славянским языкам,  
Пройдясь изящно, как по нотам,  
Пока на кафедре работал  
Наш гость о том поведал нам,*

*Что звуковая-де система,  
Какой бы сложной ни была,  
Но все ж подвластна и она  
Всем фонетическим законам,  
Открытым Пермским Соломоном.*

*Что, мол, утрата долготы  
Или ее приобретенье  
Определяет измененье  
Всех гласных звуков. Простоты  
Достичь и толка и системы  
А значит, далеко не каждый  
Звук приживется в языке,  
И промежуточный подъем  
Покорно исчезает в Ём.*

*И каждый долгий гласный звук,  
Презрев «золотую середину»  
Стремится вверх иль строго вниз.  
И это вовсе не каприз,  
А языка закономерность.  
Все это архидостоверно  
Нам гость на фактах доказал  
И тем признание снискал  
Всех нас без всякого сомненья.*

*Благословляя провиденье,  
Мы Вас сейчас благодарим  
И Вам «спасибо» говорим!  
Мы все – и власти и народ  
Отныне, присно и вперед.*

*Зав. кафедрой общего языкознания ТГУ Б. Игнатов  
Члены кафедры*

А в родном университете работа кипит. Кафедра погружена в дериватологию. Соломон – в ряду ее поборников. Пишет научные статьи. Один и в соавторстве с Л.Н. Мурзиным, выступает на конференциях, продолжает увлеченно работать с Ф.Л. Скитовой над «Акчимским словарем».



В доме на Каме жизнь тоже кипучая. Приходят, приезжают друзья. Снова радуемся встрече с Б. Шварцкопфом, М. Преображенской, А. Кузнецовой. Часто бывает у нас Таня Пирожкова, мама которой жила в Перми, а вместе с ней Аня Пугач, журналистка, работавшая в «Юности», бывшая Танина студентка, энергичная, жизнерадостная, буквально «феномен бодрости» (теперь она жена поэта Андрея Дементьева). Вместе с ними входят в дом новости всяческие: и литературные, и светские, и политические.

Не оставляла своим вниманием Надя Гашева – любимица, дорогой друг Соломона на многие годы. Пожалуй, ближе Нади по душевной схожести у Соломона никого не было. Они могли быть рядом часами, днями. У них были свои долгие разговоры... Они усаживались на диване и, переговорив о делах насущных, начинали читать стихи. Взахлеб. Один за другим. Сколько оба знали и помнили! Наде и до сих пор нет в Перми равных.

Наступал момент, и Соломон просил: «Надежда, давай свои...». И Надя читала стихи, необыкновенные по глубине, страсти, напряженности. А потом появились стихи ее дочки Ксюши, тонкие, чистые, льющиеся в самое сердце. Соломон перепечатывал их, и они долго лежали на его письменном столе. А над ними на дверце стенового шкафа висели портреты любимых сыновей: маленького Максима, подростка Адика и юной Нади – красивое запрокинутое вверх лицо и светлые, будто под ветром разлетающиеся волосы. То ли Сольвейг, то ли героиня «Бегущей по волнам». Одним словом – Надежда. Она и была надеждой на то, что все еще будет хорошо.

Кстати, это Надя Гашева «подарила» в начале 60-х Пермскому телевидению С. Адливанкина. Я, составляя очередной квартальный план, задумала сделать цикл о русском языке, вернее, о том, как мы, жители Прикамья, говорим и как говорить следует. Назвала его «О слове нашем». Оставалось дело за ведущим.

Иду по коридору студии. Навстречу – Надя Гашева, которая сотрудничала в молодежной редакции радио. Я спрашиваю: «Надь! Не знаешь ли ты кого-нибудь из преподавателей, кто бы мог... (и говорю ей об идее)».

Она не раздумывая, сходу, объявила: «Знаю! Адливанкин! Только Адливанкин!».

Вот так Надежда Гашева открыла для телевидения прекрасного ведущего, который 13 августа 1964 года стал моим мужем. Он любил число 13, считал его счастливым, в этот день у него родился сын Аркадий.

С Аркадием мы встретились впервые, по-моему, в 65-м. И как-то сразу стали не чужими людьми. Нам было легко, просто, никаких натянутостей. Может быть, потому, что разница в возрасте не была такой уж большой – всего девять лет. А может быть, и потому, что он поверил мне или в меня... Но мы и сейчас остаемся, я так думаю, близкими людьми. Все чаще звоним друг другу. Он мне из Саратова, я ему – из Перми. И, конечно, всегда вспоминаем Соломона.

Повторюсь: после Кисловодска у Соломона все шло хорошо.

И вдруг – тяжелый инфаркт в октябре 1981 года. У меня билет на самолет до Красноярска, четкая договоренность с Виктором Петровичем Астафьевым о съемке.

Доктора говорят: «Летите», муж говорит: «Лети. Со мной все обойдется».

Зав. кардиологией Раф Гуревич успокаивает, врач Женя Модестова, жена известного пермского адвоката Оскара Теслера (оба они были друзьями нашего дома) убеждает меня, что каждый час будет заходить в палату и звонить мне в Красноярск.

В эти же дни в Спецбольнице лежит умирающий Ваня Байгулов (писатель), муж моей близкой подруги Зои Падас.

Я, в страхе и сомнениях, в полном душевном разладе еду в аэропорт, рейс задерживается. Ночую в гостинице, а утром, надев шинель знаменитой пермской летчицы Галины Смагиной, сажусь на служебный спецрейс и вместе с Галиной лечу в Красноярск. Прилетаю – звоню в больницу. Женя Модестова успокаивает: все в норме.

Еду к Виктору Петровичу, с трудом держу себя в руках, провожу интервью и, много-много теряя от того, что встреча была вынужденно короткой, возвращаюсь в Пермь и мчусь на Плеханова, в больницу. Соломон спасен!

И вот тут-то мне надо было бы бросить работу, но телевидение – этот жестокий Молох, требовал жертв.

Не уходил из Университета и Соломон. Для него жизнь без студентов не имела смысла. И мы продолжали жить, скорее – выживать. Нет, все-таки жить!

29 декабря 1981 года отмечали 60-летие Соломона Юрьевича Адливанкина. Отмечал университет, коллеги его родной кафедры и кафедры романо-германской филологии, не забыл и «Институт русского языка Академии наук СССР». Словами доктора филологических наук, профессора Всеволода Всеволодовича Иванова институт напомнил, что «Соломон Юрьевич – крупный специалист в области сравнительно-исторического и славянского языкознания» и что его «работы по фонетике праславянского языка внесли большой вклад в развитие современной славистики».

А в доме «крупного специалиста» было многолюдно, «многодружно», «вкусносытно» и «многовесело».

Снова блистал Леня Сахарный – со стороны разноязычных кафедр, а с встречной стороны Надя Гашева, Галя Лебедева, Феликс Бобков, Татьяна Кокшарова со скоморохами-музыкантами и незаметно подросшие дети, удивившие «взрослых мужей и жен» остроумием и находчивостью. Когда гости удалились, мы остались одни: Соломон, я и приехавший на юбилей отца Аркадий с женой Ольгой. Олю мы видели впервые, она стала второй женой Адика, но впечатление было такое, что мы давным-давно не только знакомы, но и живем-то вместе.

Милая, черноглазая, улыбчивая, она умиротворяла и вносила спокойную уверенность в том, что все идет как надо.

Выйдя ненадолго в свой кабинет, Соломон, вернувшись, прочитал нам свой экспромт:

Черт бы взял эти «круглые» даты!

Не уловишь – летят и летят.

Было сорок, как было семнадцать

Не оглянешься – ан шестьдесят!

Где она, та последняя круглая

/У порога, быть может, стоит?

Колесницею Джаггенраута

За каким поворотом гремит?  
Сестры Парки, Макбетовы ведьмы,  
Нити наших запутанных лет  
Проведя через взлеты, паденья  
Размотают как скоро на нет?  
Знаешь, надо считать по-другому,  
Обмануть круговерть минут:  
Примем летоисчисление новое –  
Ну а Парки – пока подождут!

82-й год встретили тихо, по-домашнему... Аркадий с Олей были с нами...

А вот злобные Парки ждать не хотели!

Уже не было на земле ни Эсфири Моисеевны, ни Юрия Иосифовича. И Парки, как военные танки, шли по пятам за их сыном. Война догоняла старшего сержанта С. Адливанкина, ставшего в мирное время старшим лейтенантом запаса. Лекции в университете – как короткое затишье. Больничная палата – как медсанбат. Доктора настоятельно рекомендуют обратиться за консультацией, а вернее – лечь на операцию во Всесоюзный кардиологический центр.

Но этого нужно добиваться самим. В Перми нет необходимых специалистов, а хирургов-кардиологов тем более. До «Сухановского кардиоцентра» еще было далеко...

Соломон вспомнил, что до войны, еще в Могилеве, по комсомольским школьным делам он соприкасался с Михаилом Зимяниным, который сделал партийную карьеру и стал одним из секретарей ЦК.

Выбора не было. Прямо из больницы муж пишет короткое письмо-просьбу:

*Только жестокий диагноз заставляет меня нескромно обратиться к Вам, Михаил Васильевич, за содействием: если можно, помогите, пожалуйста, попасть в ВНКЦ... 12.03.82 г.*

5 мая 1982 года Соломон Юрьевич уже находился на лечении в Москве в VII клиническом отделении Института кар-

диологии им. А.Л. Мясникова. Он прошел полное обследование. Неутешительными были данные велоэргометрии, т. е. операция была рискованной.

Соломон не решается на шунтирование. 17 июня выписывается из Института кардиологии и возвращается в Пермь. Я встречала его на вокзале вместе с Нонной Потаповой.

Он подошел к выходу из вагона с огромной сеткой апельсинов. Высокий, очень похудевший и как бы мгновенно состарившийся.

Мы помогли ему выйти, забрав из его рук апельсины, сами вынесли чемодан. «Как же ты садился в поезд в Москве? Зачем апельсины?» – «Апельсины – Максиму. А в поезд меня посадила Таня Пирожкова».

Соломон очень изменился. Для себя он принял решение и все же сдаваться не хотел. Врачи требовали оформлять инвалидность, не работать. Он сказал, что без Университета ему не жить, и пытался доказать всем, что жить он будет.

Не сдаваться сложно – невозможно купить нужные лекарства – их не было в Перми. Как заклинание, я повторяла «курантил, сустак, нитронг...» В бой вступила дружеская «тяжелая артиллерия» – близкие из Москвы и Ленинграда, подруги детства – надежные и верные. Нина Васильева, Полина Галахова делали все возможное и невозможное – лекарства были найдены. Соломон говорил: «Нина Васильева – мой спасательный круг». И действительно, помощь в решении самых сложных вопросов всегда приходила от Нины. Для меня она – не просто подруга, – сестра, «судьбы скрещенье».

Соломон снова работает. Ездит на трамвае на лекции, принимает экзамены, продолжает писать научные статьи. Они публикуются в Гродно, Ленинграде, Перми.

Он берет путевки в Верхне-Курьинский дом отдыха и много гуляет по лесу, по маленьким улочкам поселка. Как-то случайно забредает к баптистам и остается на их религиозной службе... Когда я приезжала его навестить, он позвал меня: «Пойдем, послушаем, их пение успокаивает». И мы пошли. Сели в их маленьком храме на скамью, а они, узнавши Соломона, запели, будто к нему обращаясь. Он был тих, погружен в себя...

13 мая 1983 года Соломону выдали пенсионное удостоверение инвалида второй группы с заключением: может выполнять труд преподавателя вуза на 0,5 ставки. Пенсия назначается в сумме 120 руб. 00 коп.

Соломон упрямо и упорно работал, неохотно ложился в больницу с очередным ухудшением и снова работал. На письменном его столе возле телефона все чаще появлялись горькие строчки, как эти:

А телефон молчит, молчит.  
А час идет за часом снова –  
И ни полслова, ни полслова.  
И век мой без тебя бежит.  
И голос у меня дрожит.

Он хотел непременно дожидаться сорокалетия Дня Победы. Почему – не знаю. Что он ждал от этого дня?

Мы с Зоей Падас готовили к этому дню передачу «Семиэтажка». В ней хотели рассказать о деятелях культуры, которые в годы войны были эвакуированы в Пермь и жили в самой большой гостинице напротив Театра оперы и балета, называемой в народе «семиэтажкой». Мы уже договорились об участии в передаче и о приезде на видеосъемки Бориса Вахтина, замечательного писателя, сына Веры Пановой, писателя Ильи Меттера, композитора Михаила Слонимского, Вениамина Каверина. Мне даже удалось дозвониться до Галины Сергеевны Улановой... Договорились со многими.

А 13-го апреля нам устроили «разгром»!

Убрать из сценария и того, и того, и этого. Особенно раздражал участников разгрома Михаил Ботвинник, который готовился в «семиэтажке» к Чемпионату Мира по шахматам. Ну, а уж песня Окуджавы «После дождичка небеса просторны» довела некоторых до визга. Я вышла раздавленная, никакая. Я все понимала, но когда, когда это кончится?

С помраченным сознанием я брела по улицам и села не в тот трамвай. Нужен был номер 4, чтобы доехать до Плеханова, а я села в «третий», который подвез меня к Географическому кор-

пусу университета, где занимались филологи. И куда 25 лет подряд ездил на работу муж.

Добравшись, наконец, до больницы и зайдя в палату, я объяснила Соломону: «Знаешь, я случайно оказалась возле твоего корпуса и поэтому так долго до тебя добиралась». И услышала от него: «Как я тебе завидую! Я так скучаю по университету».

Выглядел Соломон неплохо, мне только показалось странным, что глаза его, карие, почему-то поголубели и ярко сияли. «Ты хорошо себя чувствуешь?» – «Да», – ответил он. Я присела на кровать. И мы заговорили о чем-то не очень значительном. О своих телевизионных делах я сказала, что все хорошо, и еще сообщила, что в нашем доме меняется квартира на первом этаже (врачи давно рекомендовали ему поменять четвертый этаж на первый, но мы не могли подыскать подходящий вариант, а тут подвернулся – и в нашем доме). Соломон отреагировал неожиданно: «Я не хочу оставлять тебя в плохой квартире». Мне стало как-то не по себе. И я еще раз спросила: «Как ты себя чувствуешь?» А он в ответ: «У меня небывалое ощущение легкости. Я как будто лечу... Не волнуйся. Все хорошо».

В палату зашла молодая женщина-врач, лечившая Соломона, и, улыбаясь, сказала: «Ну вот, Соломон Юрьевич, завтра мы Вас выписываем. Так что можете обрадовать Вашу жену». «Спасибо», – сказал Соломон. «Спасибо», – сказала и я. попрощавшись, врач ушла.

На улице темнело, и муж решительно стал отправлять меня домой. Я поцеловала его: «До завтра», и мы расстались. Я шла к трамвайной остановке и плакала. И не могла осознать, что же я так горько плачу.

На другой день 14 апреля рано утром в доме раздался телефонный звонок. Я подняла трубку и услышала: «Вера, это Рита Спивак. Я все знаю о Соломоне...» «Что... Что ты знаешь...» – кричала я. Рита бросила трубку. Мне стало страшно. Я начала звонить. Звонила, звонила, не помню кому. И, наконец, Нина Васильева ответила мне: «Вера, Соломон умер...».

Что было дальше? А дальше – тишина...

Приходили люди. Приносили телеграммы. Их было много – и людей, и телеграмм. Все были искренни, я всем благодарна. Но вспоминать об этом нет сил.

*Трудно поверить, что никогда уже не встречу самого красивого и самого яркого однокурсника-ифлийца Солю Адливанкина.*

*Т. Коготкова.*

*Скорбим от невозполнимой потери близкого друга, дорогого нам человека, яркого и талантливого во всем. Красивого, обаятельного и сердечного от первых дней знакомства в МИФЛИ и до последних дней.*

*Маша Преображенская и Борис Шварцкопф.*

Называю эти имена и привожу их слова потому, что они знали Соломона восемнадцатилетним, когда впереди была вся жизнь.

Почему мы исчезаем  
так внезапно, так жестоко,  
даже слишком, может быть...

Это так несправедливо,  
горько и невероятно –  
невозможно осознать:  
был счастливым, жил красиво,  
но уже нельзя обратно,  
чтобы заново начать.

Б. Окуджава

Дом, в котором мы жили, стоит на прежнем месте, но это давно уже не наш дом. Не знаю, поют ли в тех местах соловьи, я никогда не хожу в ту сторону...

У Соломона Юрьевича Адливанкина три внуки:

Екатерина – микробиолог, Галина – историк, Анна – филолог. Внук Виктор – начальник геологического управления предприятия группы «ЛУКОЙЛ» в Когалыме. Правнук Иван –



выпускник военного училища, ищет гражданское применение своим знаниям. Правнучке Дарье – шесть лет.

*Т.Л. Шахова*<sup>15</sup>

## **СОЛОМОН, МУЖ МОЕЙ СЕСТРЫ...**

Соломона я впервые увидела в телепередаче «О слове нашем», в которой он был и автором, и ведущим. Придумала же и редактировала весь цикл передач моя сестра Вера. Естественно, что мы с мамой не отрывали взоров от экрана, когда «О слове нашем» появлялась в эфире. Нужно сказать, что и все наши знакомые эти передачи смотрели, с интересом учились правильно говорить и обсуждали ведущего, который был хорош собой и очень доверительно общался со зрителями.

А познакомились мы в феврале 1964 года, когда вечером раздался звонок в дверь нашей квартиры. Открыла дверь я. На пороге стоял Соломон: он пришел «просить руки» Веры. «Проходите, раздевайтесь...» – сказала я.

На нем был элегантный серый костюм, а в руках – чемоданчик-саквояж, из которого «явились миру» шампанское и цветы. Я никогда в жизни до этого мгновения не видела таких цветов. В заснеженной Перми их сиренево-белые ароматные стебли показались удивительной сказкой.

Гиацинты... Это были Гиацинты...

Соломон поговорил с мамой наедине, потом в комнату вошли мы с сестрой. Почти сразу Соломон попросил меня обращаться к нему на «ты». Это было невозможно!!! Высокий, красивый, с бархатным обволакивающим голосом, такой великолепный! Да к тому же – Доцент! (В Перми того времени ученые степени вызывали особое уважение.)

Но во все последующие встречи он не разговаривал со мной, если слышал не «ты», а «Вы». Пришлось привыкать.

И еще одно: сразу же Сол, так звали его в близком окружении, начал учить меня говорить правильно, т.е. малейшая

---

<sup>15</sup> Шахова Тамара Лукьяновна – сестра В.Л. Шаховой-Адливанкиной.

ошибка в речи, неточное ударение немедленно им исправлялись, так что с тех пор я не могу слышать неграмотную речь!

Сам же Соломон говорил просто безукоризненно, не только грамотно, но и построение фраз, каждое произнесенное им, порой резкое слово раскрывали красоту русской речи, ее богатство и мощь. Невольно вспоминался Тургенев с его поэтическим гимном Русскому языку.

Однако нам с сестрой как-то удалось «улучить» самого Соломона в неправильном ударении в слове «сутана». «Су-та-наА» – почему-то сказал он. А когда мы победоносно засмеялись, он, заглянув в словарь и убедившись в нашей правоте, был весьма сконфужен. Но, скорее всего, это можно считать странным недоразумением.

По прошествии нескольких лет семейной жизни Соломон как-то с гордостью сказал мне, что помогает Вере писать сценарии передач: «Она, конечно же, все “придумывает”, у меня такой фантазии нет, но слов я знаю гораздо больше! И, честно говоря, телевизионное творчество мне так нравится!»

А сама Вера утверждала, что муж не только помогает ей в работе, но часто и заменяет ее: пишет дикторские тексты к ее документальным фильмам, составляет вопросы для особо ответственных интервью и т.д.

По-настоящему я сблизилась с Солом, когда после летнего их путешествия по Крыму (или Кавказу?) он попросил меня помочь в решении «одного вопроса»...

Оказалось, что они, задумав украсить свою «хрущевку», привезли сухие стебли бамбука и каштаны, которые сами собрали в каштановой роще. Из этого материала решено было собрать занавес для проема из коридорчика-прихожей в комнату, причем занавес, какого ни у кого не будет (кстати, так и случилось).

И вот, вечерами перед выходными я приезжала к ним, и до поздней ночи мы занимались «рукоделием»: распиливали бамбук на палочки сантиметров по 10 – 15 и, держа их на длинном гвозде над газом, обжигали, пока не проступали пятна-подпалины; каштаны же покрывали лаком. Затем попеременно нанизывали на леску каштан – палочку – каштан... Долгие годы

шуршал, постукивал этот необычный занавес в квартире Адливанкиных.

Естественно, все вечера проходили за разговорами, телевизора не было, но имелась радиола «Ригонда». Радиостанция «Юность» радовала нас песнями Сергея и Татьяны Никитиных, Юрия Визбора, Ады Якушевой, Александра Городницкого, а на пленках уже звучали «запретные голоса» и полулегальные Ангаров, Кукин, Клячкин и, наконец, Александр Галич, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий...

Но возвращаюсь к дизайнерским способностям и умелым рукам Соломона.

Он вообще любил что-нибудь мастерить. Когда они с Верой и годовалым Максимом переехали в новую квартиру, Сол с большим удовольствием все, что возможно, делал сам: провел внутреннюю электропроводку, покрыл полки деревоплитой, уложил кафель в ванной, сколотил стеллажи для книг, покрасил стены. Разработал самолично эскизы для встроенного шкафа и занялся «наведением красоты». Где только мог, больше – в Москве и других городах, покупал редкие в ту пору светильники-фонари и превратил большую комнату в красиво-таинственное обиталище.

Все: каждый винтик и гвоздик в квартире – было вбито его руками. Все расставлено, развешено и закреплено по его замыслу.

Правда, зачастую он ставил условие: рядом должна находиться особа женского пола, которая подавала бы ему инструменты и восхищалась его умением.

Первой же зимой его семейной жизни мы все встали на лыжи: Адливанкин, я, Зоя Падас, подруга и сослуживица Веры, Нонна Потапова. Встречались на лыжной базе «Звезда», брали напрокат лыжи и шли через лес кататься на горках.

Как оказалось, Сол встал на лыжи впервые, но с горы спускался смелее и быстрее нас, чем очень гордился. А я все пыталась доказать ему, что у него это получается за счет длинных ног и большой, по сравнению с нами, массы.

Накатавшись и «нападавшись», мы отправлялись на улицу Культуры, 45 (так мы называли адливанкинский дом), варили

картошку, с аппетитом ели ее с квашеной капустой. При этом ставили на стол бутылку водки.

Но Солик, мне кажется, за всю свою жизнь бутылки водки не выпил. Ему вообще было непонятно желание «выпить», и всегда, когда семья готовилась к приему большого количества гостей, возникал спор – сколько же купить напитков и каких. Он не пил, ему трудно было понять, что кому-то это нравится. Приходилось убеждать его, что так принято и т. д.

Наше застолье после лыжных походов часто сопровождалось слушанием записей А. Вертинского, П. Лещенко и других редких исполнителей песен и романсов.

К зиме 1966 года Сол уже купил лыжи себе и жене и действительно стал кататься лучше нас.

...Летом 66-го выходные дни мы проводили на яхте «Легенда», владельцами которой была семья известного диктора радио Нетты Трониной. Собиралась большая компания «телевизионщиков» и «радийщиков» (Вериных друзей), и мы отправлялись в плавание.

Было много веселых и курьезных случаев. Вот один из них: первый же выход у нас чуть не сорвался. Одна из подруг опоздала, и мы явились к месту сбора на водной базе, когда «Легенды» и след простыл.

Мы все огорчились, а Соломон не растерялся, тут же договорился с хозяином какого-то катера, и мы помчались догонять «Легенду», стремительно идущую под полными парусами.

В открытом море (Камском) мы с катера перебрались на борт яхты и уже ночью уткнулись в берег где-то в верховьях Камы.

Рано утром все отправились в лес за грибами. Сол ходил один и, вернувшись к костру, содержимое своей корзинки никому не показывал, прятал ее за спиной и только жену попросил проверить, что он собрал. Две трети собранного было безжалостно выброшено, ибо оказалось, что грибы Соломон собирал впервые в жизни! Но в дальнейшем он всегда получал от этого занятия большое удовольствие.

\* \* \*

Моя жизнь сложилась так, что в 1966 году я уехала в Ленинград, в аспирантуру ЛЭТИ (Ленинградского электротехнического института), а закончив ее, осталась работать в Научно-исследовательском институте «Электроприбор» (г. Гатчина). Так начался мой «гатчинский период», который длится по сию пору.

С Соломоном стали видеться реже, правда, я всегда прилетала в Пермь на Новый год и его день рождения, иногда на день рождения сестры и майские праздники.

А летом обычно наша мама с Максимом приезжали в Гатчину. Иногда отпуск у нас проводила Вера, приезжал и Соломон.

Жила я тогда в коммунальной квартире, но моя двадцатиметровая комната всех вполне устраивала. Собирался дружный, веселый семейный табор, спали на полу, так как мебели было минимум, но даже это не мешало той радости, которую мы испытывали.

Гатчина – город очень зеленый, уютный, с прекрасными парками, прудами, озерами. А чего стоит только один Павловский дворец! Много и подолгу гуляли с детьми: Максимом и моей дочкой Аней. Катались на лодках, качались на каруселях, путешествовали в Пушкин, Павловск и т. д.

Надолго Соломон приехал в Гатчину глубокой осенью 1972 года с заболевшим астмой Максимом. Я смогла перед этим договориться о консультации с главным детским пульмонологом Ленинграда. Максима направили на рентген. Вышедший к нам молодой симпатичный рентгенолог сказал, что нет пленки, но, узнав, что ребенка привезли из Перми, провел Максима с папой в кабинет.

Почему я вспоминаю об этом? Прошло много лет, примерно 15, и я в доме моей «медицинской знакомой» встретила этого рентгенолога. Он меня, конечно, не узнал, но, когда ему напомнили обстоятельства нашей с ним встречи, он вспомнил... Вспомнил Соломона! – «Красивого и интеллигентного мужчину». Вот такое Соломон производил впечатление. На каждого. Его обаяние было всепобеждающим.

Новый 73-й год Соломон встретил у нас в Гатчине (Максим лежал в Ленинграде в больнице).

Моя мама осталась с моей маленькой дочкой дома, а мы с Соликом отправились в мою инженерно-техническую компанию. Все тогда были молоды, женской половине, в основном, по 25 – 30 лет. Легкий в общении, Соломон покориł всех: и женщин, и мужчин. Этот новый год мои коллеги вспоминали много лет спустя. Одна из девушек, как выяснилось, больше всего была потрясена тем, как он красиво... ел.

А первого января после бессонной новогодней ночи Сол на первой электричке (около 6 утра) помчался в Ленинград, добрался до БДТ (тогда еще имени Горького), чтобы быть одним из первых у театральной кассы. Именно первого числа можно было купить билеты на спектакли ближайшей декады. БДТ тогда был на взлете, и купить хорошие билеты даже в кассе было невозможно. Поэтому ему достались три места на третьем, в лучшем случае на втором, ярусе. Не помню, какие спектакли ему удалось тогда посмотреть, но помню обстоятельства посещения театра.

Солик ездил в БДТ в сером костюме и черной водолазке, выглядел элегантно и в первый же вечер в театре только первый акт посмотрел с верхнего яруса. В антракте он уже покориł всех билетерш (а надо знать пожилых ленинградских дам аристократического вида), и его устроили на свободное место в партере, близко к сцене. А на следующих спектаклях его встречали как своего, как человека из артистического мира. Но с посещением Соломоном театра мне запомнилась одна тревожная бессонная ночь. Он не вернулся из Ленинграда с последней электричкой, и мы с мамой не спали до утра. Появился он рано утром, когда на Гатчинской платформе «Татьянино» остановилась первая электричка, идущая в сторону Ленинграда. Оказалось, Соломон уснул в вагоне и проспал нашу остановку, а когда очнулся, попытался выйти на ближайшем полустанке, где кроме касс и платформы ничего не было. Хорошо, что его удержал какой-то добрый попутчик, объяснив, что, выйдя здесь, он просто замерзнет, что нужно доехать до станции «Сиверская», где есть здание вокзала, и там можно дождаться первой утренней электрички. История, конечно, неоднозначная... Но как мы всей семьей (мама,

сестра и я) завидовали способностям Соломона засыпать в любой обстановке, как говорится – на ходу, на лету. Например, выйдя с телефоном в руке из комнаты, полной гостей, «на минуточку» к себе в кабинет, вернуться отдохнувшим, выспавшимся за 1 – 2 минуты...

Мне запомнился его рассказ о том, как он спал зимой 41 года под Москвой, в разведке. Лежал на снегу, обняв своего напарника за валенок, чтобы тот вдруг не сбежал в минуту опасности.

Но вот больше воспоминаниями о войне он со мной не делился.

После встречи 1973-го года Солик у нас в Гатчине бывал редко, только проездом из отпуска или в отпуск, если мама (бабушка) с Максимом лето проводили у нас. А мы с дочкой в Пермь летали часто, и много раз все вместе встречали Новый Год (до сих пор благодарно вспоминаю Солика, который всегда оплачивал наши поездки, мне это было не осилить). Особенно запомнилась встреча 1980 года. Приезжал из Саратова старший сын Соломона Аркадий, и была приятная суэта по покупке подарков.

Мы с дочкой (так мне запомнилось) получили подарков больше всех. Рюкзачок для походов, альбом для марок, вьетнамское панно из дерева: море, скалы, золотое вечернее небо и три лодочки. И только на самой дальней – маленькая фигурка человека. Солик выбирал ее сам и очень волновался, понравится ли мне. Это панно и сегодня на стене моей комнаты. И видится с любой точки, и думается: а может, на той дальней лодочке уплывающий Соломон...

А еще вспоминается наш приезд в мае 1976-го года, когда большой компанией: Адливанкины, Шаховы, семья Нонны Потаповой – муж Виктор и дочери Лена и Таня, Леонид Николаевич Мурзин с женой Ритой и сыном Колей – сели в трамвай номер 13 (был тогда такой маршрут) и по мосту через Каму приехали в лес, весенний, еще совсем прозрачный. Гуляли, собирали подснежники. Их свежий запах напоминал мне запах гиацинтов, которые держал в руках Соломон в первую нашу встречу...

...И были открытки – поздравления к каждому празднику, обычно в два слова: «Приветствую Вас!» Но как не хватает этих слов теперь!

*Б.А. Шапиро*

## **ВСПОМИНАЮ...**

Об авторе: Бэлла Александровна Шапиро – троюродная сестра С.Ю. Адливанкина. В 1951 году, после окончания Первого Московского института, вместе с мужем Семеном Самуиловичем Гурвицем по распределению приехала в Пермь. Одинадцать лет работала врачом отоларингологом в Пермской железнодорожной поликлинике, затем, до отъезда в 1971 году в Москву – в Пермской областной психиатрической больнице. Здесь ее муж Семен Гурвиц работал ведущим врачом-психиатром.

Но Пермь интеллектуальная знала его еще и как литературного критика, публиковавшегося в газете «Звезда» под псевдонимом С. Гравин. Энциклопедически образованный, прекрасно знающий литературу, театр, музыку, он сотрудничал и с Пермским книжным издательством, для которого писал рецензии на поступающие рукописи начинающих авторов и уже состоявшихся писателей.

В Пермском государственном университете Семен Гурвиц руководил кружком при газете «Горьковец», в редакции которой особенно заметными были студенты Надя Пермякова (Гашева), Марина Лебедева, Таня Шерстнева, Жанна Гойхман, Алик Нечиперович, Борис Пахучих.

С. Гурвиц способствовал появлению первых студенческих литературных публикаций в сборнике Пермского издательства «Молодой человек».

Из письма Вере Шаховой, жене С.Ю. Адливанкина:

г. Долгопрудный – 23 сентября 2008 года.

*Дорогая Верочка! После разговора с тобой почти всю ночь не спала. Пыталась вспомнить письмо-стихи, присланное мне Соликом с фронта в Самарканд.*



*Начало совсем не помню. Из середины несколько строк (... «О ручьях, бурлящих в краснотале... Чтобы сестренки-девочки глаза искрами веселыми сверкали...»). А вот вторую половину, конец стихотворения, вспомнила полностью...*

*Мне б хотелось очень долго жить,  
Созидать, мечтать и куролесить...  
Мне б хотелось Землю обойти,  
Прошагать по всем дорогам света  
С неизменным спутником моим –  
Записною книжкой поэта.  
Дифирамбом чествовать зарю,  
Воздухом дышать, пропахшим мятой...  
Очередью длинной автомата  
НЕНАВИСТЬ!!! – я гадам говорю!*

*Когда в своих письмах с фронта Солик писал о противнике, он никогда не называл врагов ни немцами, ни фрицами, ни фашистами, а просто емким словом гады!*

*...Я тебе рассказывала, что в 1937 году, когда мне было 10 лет, моего папу арестовали, а меня с мамой выслали в Самарканд. Год я там прожила, а в сентябре 38-го за мной приехал муж моей тети и увез меня к ним в Могилев. Там же жили Адливанкины, на улице Пионерской (Солик, его мама, папа и младшая сестра Рая).*

*Помню огромный, весь в зелени, деревьях и кустарниках двор, где стояли несколько деревянных домов, в одном из которых и жили Адливанкины.*

*Когда началась война и налеты бомбардировщиков на Могилев, мы бежали к ним, прятались в кустах. Казалось, что так безопаснее.*

*А потом началось общее отступление и наше бегство из города. Сначала пешком, потом на перекладных, в теплушках, с ранеными. Борисоглебск, Воронеж, Куйбышев и дальше – до Самарканда.*

*Как эвакуировались Адливанкины – не вспомню. Но только знаю, что все наши близкие, родственники, погибли в Могилевском гетто, взрослые и дети.*

*Солик еще до войны блестяще закончил школу и уехал в Москву, где поступил в МИФЛИ (Московский институт филологии, литературы и искусства).*

*Оттуда он ушел на фронт...*

*...Теперь интересная подробность...*

*В первом Московском медицинском институте я училась с Наташей Плещининой, которая была на 5 лет старше всех нас, знала, что она из Белоруссии, что годы войны провела в партизанском отряде, но не знала одного...*

*В нашем институте каждые пять лет проводились встречи курса, а группой мы встречались обязательно один раз в год.*

*Как-то, когда я уже получила из Перми книгу о Солике, мы собрались группой у меня в Долгопрудном. Среди приехавших была и Наташа Плещинина, которая после распределения жила и работала в Краснодаре.*

*...Вдруг она заметила книжку про Солика. Да как закричит: «Боже! Так это же Солик!». Шесть лет мы проучились с ней вместе, еще много лет прошло после окончания нами института, а я и понятия не имела, что она ИЗ МОГИЛЕВА! Мало того, она жила в одном дворе с Адливанкиными, училась с Соликом в одной школе... Много и хорошо говорила о нем, мальчишке, за которым «все девочки бегали». К слову сказать, ни одна школьная газета не выходила без его стихов.*

*К горькому сожалению, в прошлом году Наташи не стало. И уже не позвонишь...*

*О Перми.*

*Я уже не помню точно, в каком году, летом я была в отпуске, а когда вернулась, Сеня мне сообщил, что у меня тут «Объявился какой-то брат...». Так я узнала, что в Пермь приехал Солик.*

*И конечно, все годы, до нашего возвращения в Москву, мы виделись с ним, знали все друг о друге, собирались у нас дома, особенно когда приезжала моя мама, которую он очень любил, а она любила его. Собирались и у вас...*

*Помню квартиру вашу в Мотовилихе, на первом этаже, на улице Культуры... Однажды, когда у вас жили мама и папа*

Солика, было большое застолье, к которому тетя Эсфирь наготовила много еврейских блюд, я о них сроду никогда не слышала. А Солик в каждое блюдо воткнул какие-то палочки-лучинки, нанизал на них листочки бумаги – названия и подавал каждому гостю после того, как тот произносил точное название «Кушанья».

Последняя моя «встреча» с братом случилась на его похоронах. Я приехала из Москвы.

Помню, как на поминках преподаватели кафедры говорили Максиму, что двери университета для него всегда открыты.

Но сын пошел в медицину, зато внучка Солика Адливанкина теперь в этом университете.

...Какими мы сами стали взрослыми, аж жуть! Ну да ладно... Я заканчиваю мое сумбурное письмо. Не взыщи. Я тебя люблю, всегда помню. А Солик тебя очень любил, это чистая правда...

Бэлла.

## РАЗДЕЛ IX

### ВОСПОМИНАНИЯ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

В последнем разделе книги помещены материалы, не связанные между собой тематически, которые, тем не менее так или иначе связаны с филфаком. Воспоминания Е.Н. Голдобиной – эмоциональное слово автора от имени выпускников 1951 года, которые в 2011 году празднуют 60-летие со дня окончания университета. Теплые слова и воспоминания А.П. Клоц и А.В. Аборкиной – выпускниц романо-германского отделения – обращены в адрес «русского» филфака, что придает этим материалам особую ценность для этой книги.

*Е.Н. Голдобина*<sup>1</sup>

#### ЮБИЛЕЙНЫЙ 1951

*«Мне в жизни очень повезло. У нас был замечательный курс»...* – этими словами начинал свои встречи со студенческой аудиторией выпускник филологического отделения истфилфака ПГУ пермский писатель Алексей Домнин. Ему вторит выпускник этого курса Григорий Горбунов. В своем стихотворном послании своим однокурсникам он писал:

*Наш курс филологов родился  
В сорок шестом, после войны.  
Был недород. А мир дымился.  
И пахло голодом весны.  
Шли люди разного «причета»:  
Один на ДИПе токорил,  
Другой строчил из пулемента,  
А третий поле боронил.  
Из школы шли гуртом девчата  
Учиться им не привыкать.*

---

<sup>1</sup> Голдобина (Валдайских) Евгения Николаевна, выпускница 1951 года, работала сотрудником библиотеки ПГУ.

*Но так не скажешь про солдата –  
Через войну пришлось шагать.  
Про этот сплав людей бывалых,  
И школьниц в платьицах обычных  
Заметил Букирев тактично:  
«Таких до ныне не бывало».*

Это было действительно так. Курс филологов 1946 года был неестественным для филфака: половина курса – фронтовики и труженики тыла, половина – вчерашние школьники. В аудиториях и коридорах университетского корпуса – везде можно было встретить людей в военных кителях, кирзовых сапогах, в шинелях. Это были фронтовики, пришедшие в университет навестать упущенное из-за войны время. А рядом с ними были мы – вчерашние школьники и труженики тыла. Зима 1946/47 года была для нас самой тяжелой, самой голодной. Не все выдержали эти испытания. Но основная часть осталась. Осталась для того, чтобы получить знания, постигнуть профессию. Несмотря на трудности, учились яростно, взахлеб, особенно фронтовики. Именно они задавали тон и в учебе, и в общественной жизни. По прошествии стольких лет возникает вопрос: чем же привлекла филология фронтовиков и школяров в такое непростое время? Сложный вопрос. Это могло быть стремление отогреть словом уставшую в боях, госпиталях, душу, желание окунуться в мир прекрасного, необходимость познать профессию – будь то учитель, журналист, библиотекарь – и пойти с нею в жизнь.

За пять лет учебы на нашем курсе родились профессионалы-писатели, поэты Лев Давыдычев, Алексей Домнин, Андрей Ромашов, журналисты – Галим Сулейманов, Николай Кустов, Юрий Молодцов, Григорий Горбунов, Генрих Шлыков и опять же Алексей Домнин; школьные учителя – Татьяна Каракаш, Нина Птицына, Галина Зеленина, Роза Златкина, Нина Казакова, Евгений Можав; преподаватели вузов, училищ, техникумов – Елена Голушкова, Василий Опалев, Леонид Кочев, Иван Шилов, Иван Одегов, Герман Афанасьев; партийным деятелем стала Быкова Инна.

За время учебы у многих наших однокурсников появилась тяга к литературному творчеству. Так создался литературный творческий кружок, объединивший фронтовиков и вчерашних школьников. На импровизированных заседаниях кружка, которые проходили в какой-нибудь свободной аудитории, новоиспеченные авторы читали свои творения, шло яростное обсуждение того или иного опуса. Уже тогда Лев Давыдычев представил на суд товарищей свой первый рассказ «Бутылочка нефти». Проходили апробацию первые стихи Леши Домнина, Жени Моисеева. Будущие поэты, писатели, журналисты давали оценку произведениям своих друзей, так как никакого руководителя этого самопроявительно созданного кружка не было.

Как все это начиналось, вспоминает Гриша Горбунов: *Стихи свои иногда читали на заседаниях СНО. Но это было редко. Ведь с чего все началось? С наших стихов ко дню рождения наших девчонок. Они, эти стихи, конечно, корявы, но искренни. Через эти стихи мы учились владеть русским словом. И если толковать расширительно, то из наших к вам поздравлений родились наши курсовые писатели и журналисты... Постепенно мы стали отходить от юбилейных стихов...*

Первым, кто отошел от юбилейных опусов, самый талантливый из наших ребят, был Жена Моисеев. Фронтовик с тонкой лирической душой оставил немало своих стихов, которые раздавал своим друзьям, некоторые просто хранил у себя. Он рано ушел из жизни. Была попытка собрать его лирику, но чем это закончилось, мне не известно. Приведу одно из его стихов, чтобы хоть как-то познакомить с его творчеством, в первую очередь, филологов.

*День гаснет, тихий и заснеженный,  
Исчез туман, подмерзла грязь.  
А в небе чистая и нежная  
Заря вечерняя зажглась.  
Я мерил жизнь неверной мерою  
И в поэтическом бреду  
В далекой юности уверовал  
В свою счастливую звезду.  
Казалось мне, что нечто умное*

*Свершить мне в жизни суждено.  
И слава дерзкая и шумная  
Уже стучит в мое окно.  
Но оказалось все изменчиво,  
Мечты развеялись как дым,  
И слава – ветреная женщина  
Давным-давно живет с другим.  
И мне, хоть я того не требовал,  
Опять напомнила звезда  
О том, чего со мною не было  
И не случится никогда.*

Послевоенная жизнь не была легкой, поэтому ребята подрабатывали (жить-то чем-то надо было), кто где мог. Некоторые подрабатывали в молодежной газете «Большеви́стская смена» – в будущем «Молодая гвардия». Работая там, они оттачивали свое поэтическое слово.

«Студенты университета – Леша Домнин, Галим Сулейманов, Юра Молодцов и Коля Кустов – старались сделать “БС” самой грамотной газетой... Сочинять, особенно стихи, мы были горазды. А Домнин прекрасно рисовал на юморные сюжеты», – вспоминал Николай Кустов.

Гриша Горбунов, работая ответственным секретарем университетской многотиражки, увлекся журналистикой. Проработав после окончания университета в областной молодежной газете «Большеви́стская смена» недолгое время, был направлен в Москву, работал в «Комсомольской правде», других газетах и молодежных журналах. Последние годы – начальник главного управления книжных издательств. Наступил пенсионный возраст – появилась возможность заняться поэзией. В результате – сборник стихов «Я верю». Великая Отечественная война стала основной темой его стихов. Сборник – это еще и родословная война, любящего свою Родину, большую и малую, свой родной русский язык.

Вот такими были и стали наши ребята. Надо отдать должное их стремлению пополнять знания. И тяга к литературному творчеству не заслоняла главного – учебу и науку. Проявился интерес у нас к научной работе. Это выразилось в работе науч-

ных кружков. Особенно активно работал фольклорный кружок под руководством замечательного преподавателя, профессора Павла Степановича Богословского. Мы слушали его лекции, буквально раскрыв рты и глаза. И когда настала пора сбора фольклорного материала, было собрано огромное количество самых различных произведений, причем без выезда из города. Павел Степанович был в восторге от такого объема собранного.

Диалектологический кружок, а затем первая экспедиция за народными говорами Пермской области. В экспедиции участвовала тогда еще лаборантка Маргарита Николаевна Кожина. А кружком руководила красивая Франциска Леонтьевна Скитова. Участвуя в работе этих кружков, мы черпали огромное богатство народного языка, что способствовало освоению нами будующих профессий.

Как мы начали с азартом, или – как говорили наши фронтовики – «яростно», учиться, так и проучились все пять лет. А учили нас замечательные преподаватели. Все пять лет с нами был Иван Михайлович Захаров. Франциска Леонтьевна Скитова вместе с нами начинала свой педагогический труд. Латынь у нас вел Николай Петрович Обнорский – полиглот, интеллигент, умнейший библиотекарь. А какие чудесные лекции мы слушали по зарубежной литературе! Их читала Екатерина Иосифовна Преображенская. Много сделала для нашего становления как филологов Сарра Яковлевна Фрадкина. С ней мы встретились только в конце учебы, но как много она нам успела дать! Я специально называю наших наставников. Они все вместе сумели сделать все для того, чтобы мы навсегда остались верны филологии. Благодаря им, этот сплав фронтовиков и школьников овладел знаниями, которые помогли или состояться в разных ипостасях.

Многие выпускники нашего курса получили звания, отмечены правительственными наградами «заслуженных».

...Сейчас уже нет в живых очень многих, да и оставшиеся уже не те люди. А осталось нас так мало...

Уже шестьдесят лет, как мы покинули студенческие аудитории.



## **РОДНОЙ ФИЛФАК**

### **Отрывок из воспоминаний «Это повесть моя»**

Позади школа. Впереди проблема, где учиться, какую выбрать профессию. В течение нескольких лет я мечтала стать врачом, но моя мама, сама успешный врач, запретила мне поступать в медицинский, полагая, что эта профессия слишком трудная для моего хилого здоровья. И тогда я решила подать заявление туда, где был самый высокий конкурс. Это было отделение «Романо-германские языки и литература» на филологическом факультете. Языки стали входить в моду, хотя Пермь еще была закрытым городом и никаких иностранцев в городе не было и в помине. Я была уверена, что меня не примут и, в таком случае, за год я смогу убедить родителей и через год поступить в мединститут.

Подала заявление, сдала вступительные экзамены и, к своему удивлению, нашла свою фамилию в списках поступивших.

Это была госпожа Судьба. Стань я врачом, не было бы у меня профессиональной близости с моим сыном, талантливым славистом в Йельском университете, с которым мы живем в не-обозримой дали друг от друга, но, не смотря на это, филологическое образование дает мне возможность посылно помогать сыну, быть вовлеченной в проблемы современной славистики, которые являются значительной частью моих интересов. И всем этим я обязана родному филфаку.

Из вступительных экзаменов запомнился экзамен по русской литературе. В то время филологический факультет имел два отделения: русской филологии и романо-германских языков. Поэтому чтобы поступить на иняз, нужно было, кроме английского языка, сдать экзамены по русской литературе и русскому языку. Экзамен по русской филологии принимала у меня краси-

---

<sup>2</sup> Клоц Алла Петровна, выпускница филологического факультета 1967 г. (романо-германская филология), преподаватель английского языка.

вая молодая женщина, только что закончившая аспирантуру в Москве. Это была Рита Соломоновна Спивак. Она поразила меня своей неординарной внешностью, красивым бархатным голосом, доброжелательностью и заинтересованностью, которые так редко мне встречались в школьные годы.

Впоследствии, учась на романо-германском отделении, я частенько слушала лекции Риты Соломоновны, сначала стоя под дверью, но однажды, не успев отойти от двери, столкнулась лицом к лицу с выходящей из аудитории Ритой Соломоновной, которая спросила: *«А что здесь делает умненькая девочка с романо-германского отделения?»* Я ответила: *«Слушает Вашу лекцию»*. На что последовала фраза: *«Так ведь удобнее слушать, сидя в аудитории»*. Так я получила доступ к курсам русского отделения и уже без страха начала посещать лекции других преподавателей, фактически прослушав весь курс русского отделения.

Так случилось, что и друзей у меня было больше среди «русских». У нас было много общих лекций. Кроме того, и нам, романо-германцам, преподавались такие предметы, как современный русский язык, введение в общее языкознание, основы теории литературы. И читали эти курсы самые замечательные преподаватели, которые не делали скидки на то, что у нас другая специальность. Впоследствии я оценила, как это было здорово! И ценю по сей день.

Нашему курсу сильно повезло. Курс «Современный русский язык» нам читал Соломон Юрьевич Адливанкин – замечательный преподаватель и ученый. Несмотря на название курса, он построил его как курс истории русского языка. Прекрасно понимая, что русский язык – не наша специальность и будучи уверенным, что каждый филолог должен знать истоки родного языка, Соломон Юрьевич не желал делать нам никаких поблажек. Его курс, предполагаемый как ликбез, в действительности оказался серьезным испытанием для наших филологически нетронутых мозгов. И как же это все пригодилось при изучении истории английского языка, в преподавании, в обретении филологической культуры! Мудрый педагог излагал нам не только узко языковые факты, но общие тенденции развития и измене-

ния языковых реалий. Соломон Юрьевич был человеком высокой культуры, что проявлялось во всем: в манере читать лекции, одеваться – всегда темный костюм, светлая рубашка и галстук, в манере задавать вопросы и отвечать на наши вопросы, обращаясь к нам вежливо с его неизменным «коллеги», впрочем, с налетом легкой иронии. Кроме прочих достоинств, этот человек обладал неотразимой внешностью, был красавцем. Кто явно, а кто тайно, но все мы были в него влюблены. Перед каждой его лекцией аудитория превращалась в салон красоты: девушки тщательно причесывались, прихорашивались. Войдя в аудиторию, Соломон (так мы его между собой называли) вежливо и суховаато здоровался. В его полуулыбке, разбавленной едва заметной усмешкой, чувствовалось, что он все замечает и понимает и что это ему льстит. Мы же в едином порыве поклонения этому прекрасному человеку ловили каждое его слово, жест, взгляд, замечание, суждение и, как ни странно, все это способствовало лучшему усвоению нелегкого предмета. В своих требованиях Соломон был педантичен, не прощал нерадивости, высмеивал глупости, но при этом всегда был готов объяснить непонятное или повторить уже сказанное. Экзамен оказался гораздо труднее, чем мы предполагали, и сдать его на «хорошо» было самым большим, на что мы оказались способны.

На первом курсе нам повезло прослушать курс еще одного выдающегося ученого-лингвиста Леонида Владимировича Сахарного. Курс назывался «Введение в языкознание». Леонид Владимирович был блестящим лектором. Для него, как ни для кого другого, было характерно излагать самые сложные вещи так, что все становилось понятным даже для начинающих, какими были мы. Самые сложные понятия и закономерности в его изложении были понятны и казались простыми. И когда на 5 курсе Леонид Владимирович читал нам серьезный курс «Общее языкознание», многое нам уже было знакомо и практически все понятно. Его манеру изложения материала можно сравнить с джазом, когда проигранная в унисон тема обрастает побочными мелодиями, неожиданными аранжировками, неожиданными разработками, в результате чего получается сложная композиция. Сахарный был поистине человек-оркестр. Он нас любил.

Чувствовалось, что мы ему интересны, он был прост в общении. Он объединил студентов всех курсов в один лингвистический кружок, в котором на равных участвовали первокурсники и пятикурсники, и, что поистине невероятно, всем было одинаково интересно. Я посещала этот кружок все пять лет учебы, но в конце пятого курса решила писать диплом по литературе. На выпускной церемонии Леонид Владимирович подарил мне книгу и написал: *«Неудавшемуся лингвисту, но, надеюсь, успешно-му литературоведу»*. Не получилось из меня ни лингвиста, ни литературоведа, но было удивительно приятное ощущение, что талантливый Учитель верит в тебя. Знания, полученные у замечательных лингвистов пермского филфака, помогают мне в моей работе на протяжении 40-летнего процесса преподавания, перевода, они определили мой интерес к языкам вообще, к сравнению языков, к изучению разных языков, помимо основного английского. Многих Сахарный увлек теорией психолингвистики. Многие всерьез увлеклись наукой, защитили диссертации.

Все, кто учился у Аддиванкина и Сахарного, никогда их не забудут. Помимо лекций, кружков, научной работы, эти замечательные люди возглавляли самодеятельность факультета, зажигая нас своим энтузиазмом. Сахарный и Леонид Николаевич Мурзин сами пели и плясали на концертах театральной студенческой весны, сочиняли смешные экспромты, ставили со студентами мини-спектакли. И делали это с не меньшим энтузиазмом, чем преподавание.

Еще один курс, который повлиял на формирование филологического мышления, но уже со стороны литературы, был курс «Введение в литературоведение», прочитанный нам Натальей Самойловной Лейтес. Блестящий лектор, выпускница знаменитого ИФЛИ, ушедшая на фронт Великой Отечественной вместе со своими однокурсниками, женщина поразительной внешней и внутренней красоты и культуры, высочайшего интеллекта, сложной судьбы, с изумительным мелодичным голосом, который имел особенность не стареть, когда она сама уже состарилась. С вечной сигаретой во рту. Такой она запомнилась и такой же оставалась, когда спустя 36 лет я ее навестила в Бостоне в Доме для стариков. Наталья Самойловна была немного

надменна, мало доступна простому человеческому общению. Ее побаивались. Но для тех, кто казался ей интересным и перспективным учеником, она делала исключение, приглашала домой, помогала, учила и наставляла. Она не выносила глупости в любом проявлении, будь то студент или партийный лидер. Она не была дипломатом и в коллективе преподавателей держалась особняком. «Теорию литературы» и спецкурс по современной немецкой литературе она читала только для студентов немецкого отделения, но мне удалось прослушать и эти ее курсы.

Мне удивительно, как я умудрилась, учась на английском отделении, прослушать практически все лучшие курсы «русско-го» отделения. Я приходила к началу лекции, просила разрешения у преподавателя присутствовать на лекции, и никто ни разу не отказал. Мне было гораздо интереснее все, что происходило у «русских», чем скука и однообразие наших «английских» будней. Я считаю большой удачей, что мне удалось прослушать лекции по русской литературе конца 19 века у профессора Риммы Васильевны Коминой, несколько лекций Сарры Яковлевны Фрадкиной. И, конечно же, я не пропускала возможности послушать мою любимую Риту Соломоновну Спивак, особенно ее курс о поэзии Серебряного века. И так было угодно Судьбе, что учеба на романо-германском отделении дала мне диплом учителя английского языка и любимую профессию, а знания, полученные параллельно на «русском» отделении, дали мне кругозор, филологическое мышление, что и стало содержанием всей моей профессиональной жизни. И за это я безмерно благодарна родному Пермскому филфаку.

*А.В. Аборкина*<sup>3</sup>

## **ВОСПОМИНАНИЯ...**

Зовут меня Анна Владимировна Аборкина. Родилась я в семье известного в 50 – 70-х годах пермского журналиста Вла-

---

<sup>3</sup> Аборкина Анна Владимировна, выпускница 1979 года.

димира Ивановича Аборкина и его жены корректора Нины Дмитриевны Аборкиной (Обориной).

Мой отец закончил филологическое отделение историко-филологического факультета Молотовского государственного университета в 1951 году, а мама – в 1955 году.

В 1974 году я легко поступила на филфак. К поступлению не готовилась, надеясь на «авось» и великолепную память: увидела – запомнила, услышала – запомнила.

Шла я в Университет как на праздник. С детства слышала родительские рассказы о веселой студенческой жизни. А ведь они учились в сталинские годы... Не самое веселое время.

Я ожидала, что моя университетская жизнь будет похожа на родительскую: стихотворное буйство – стихи писали все, вечера поэзии, веселые компании, поездки на природу, походы в театры и на концерты. На вручении всему курсу зачетных книжек и студенческих билетов с ужасом узнала, что из меня будут «делать» учителя. Похоже, это потрясло только меня, все остальные были довольны <...>.

Я решила поучиться пять лет, за это время что-нибудь изменится – и учительская «сеялка» окажется не в моих руках.

Целый месяц, сентябрь 1974 года, в Университете было пусто – учились только перво- и пятикурсники. Все остальные курсы трудились в колхозах области. Нас все-таки вывозили несколько раз на поля. Техника выкапывала картофель или морковь, а мы подбирали овощи и складывали их в мешки. Где-то через неделю после первой поездки нас снова привезли на знакомое поле. Все наши мешки стояли в прежнем положении. Никто даже не потрудился украсть овощи...

С нас требовали общественную работу. Я сразу же записалась в лекторскую группу. Пять лекций в год – и ты свободен. Лекции читала обычно в средних школах или рабочих общежитиях. Один раз прочитала лекцию о Роберте Бернсе в поселковой Оверятской школе.

После лекции мне задавали вопросы. В рабочих общежитиях главным вопросом был: «А где мясо и сливочное масло?» Нас учили не реагировать на такие вопросы. Но неприятно, ко-

гда ты полтора часа рассказываешь слушателям о творчестве У. Фолкнера, а тебя спрашивают о мясе...

Преподаватели у нас были разные. Нас учили С.Я. Фрадкина, Р.В. Комина, Р.С. Спивак, Л.В. Сахарный, А.Ф. Любимова, Л.А. Грузберг, Н.С. Лейтес. Я их вспоминаю с огромной благодарностью.

На втором курсе пришлось выбирать, на какой кафедре писать курсовую работу. На кафедре зарубежной литературы курсовые и дипломные писались на русском языке, на английской кафедре – на английском. Все дружно рванули на английскую кафедру...

Я три года была единственной студенткой из двух английских групп, которая работала на кафедре зарубежной литературы. Мой первый руководитель Л.В. Шипицына работала со мной только год, а затем перешла в институт культуры. И меня взяла умнейшая, благородная Аделаида Федоровна Любимова. Она терпела мои болезни, лень, терпеливо ждала, когда я начну работать. Знала, что я все сделаю, но в последний момент.

Работу я начала писать в мае, а защита назначена на середину июня. Когда я в начале мая позвонила Аделаиде Федоровне, она сказала мне: «Анна, я была уверена, что вы не собираетесь писать работу. Я хорошо знакома с вашим стилем работы, но ведь это дипломная работа».

Когда я написала диплом, она проверила его, сделала кое-какие замечания и сказала: «Вариант оптимальный, но на защите может быть все». В те годы у А.Ф. Любимовой были очень напряженные отношения с заведующей кафедрой Раисой Федоровной Яшенькиной. Защитилась я на «отлично».

Несмотря ни на что, мои университетские годы были яркими и счастливыми.

В 1979 г. я закончила университет...

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История филологического факультета тесно связана с историей нашего университета и с историей всей страны. В ней были свои взлеты и падения, счастливые открытия и горестные утраты, победы и поражения... И это закономерно: настоящий Филолог - это человек, органично ощущающий свое время и понимающий его место в широкой исторической перспективе.

Филологический факультет никогда не был особенно богатым: ни в прошлом, ни в настоящем. Но преподавателей и студентов всегда отличала напряженная духовная деятельность. Именно эту духовную жизнь факультета и отразил настоящий сборник.

Особенность сегодняшней ситуации на факультете заключается в том, что мы, имея большие возможности (доступ к ранее закрытым источникам информации, возможность разнообразных международных научных контактов, наличие определенной технической базы и т. п.), не всегда умеем их полностью использовать. Опыт наших предшественников показывает, как можно *жить и творить* вопреки обстоятельствам времени.

Работа по изучению прошлого филологического факультета, несомненно, будет продолжена в ближайшие годы.

Будущая книга, которую мы собираемся подготовить к 100-летию университета, видится в ее системном варианте либо как академическая история, либо как «100 событий из жизни филфака», где будут представлены тщательно собранные факты, даты, имена. Настоящее издание станет хорошей основой для расширенного и углубленного разговора о сложной истории факультета.

Рубрики будущей книги, посвященной столетию факультета, должны быть принципиально расширены. Например, в ней могут быть следующие разделы: «Выпускники филфака в государственных наградах и званиях», «Наши деканы в столетней истории», «Наши ветераны», «Филологические династии и семьи», «Жизнь факультета в сатире и юморе» и др.



*Научно-художественное издание*

Автор проекта и составитель *Нина Евгеньевна Васильева*

## **ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ**

Страницы истории филологического факультета Пермского университета

Издается в авторской редакции

Компьютерная верстка *В. А. Леготкин*

Адаптация для веб *А. В. Пустовалов*

Подписано в печать 12.10.2011. Формат 60x84/16.  
Уел. печ. л. 35,34. Тираж 200 экз. Заказ 330..

Редакционно-издательский отдел Пермского государственного национального  
исследовательского университета 614990. Пермь, ул. Букирева, 15

Типография Пермского государственного национального исследовательского  
университета 614990. Пермь, ул. Букирева, 15